В.А. Звегинцев

ИСТОРИЯ ЯЗЫКОЗНАНИЯ XIX-XX ВЕКОВ В ОЧЕРКАХ И ИЗВЛЕЧЕНИЯХ

Часть I

Издание третье, дополненное

Издательство «Просвещение»
Москва, 1964

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Преподавание общеязыковедческих дисциплин «Введение в языкознание», «Общее языкознание», «История лингвистических учений», а также спецкурсы, связанные с этими дисциплинами) носит в наших вузах в значительной степени лекционный характер. Из-за отсутствия соответствующих пособий и источников студенты знакомятся с концепциями отдельных языковедов или лингвистических школ только со слов лектора, который по ряду причин часто излагает материал курсов суммарно и нередко не по первоисточникам, а доверяясь доступным ему обозрениям (главным образом кратким руководствам В. Томсена «История языковедения до конца XIX века» и Б. Дельбрюка «Введение в изучение языка»). В результате та цель, которая ставится названными дисциплинами, не всегда достигается в полной мере. Ознакомление с подлинными трудами виднейших языковедов на практических занятиях, семинарах или при написании курсовых и дипломных работ тоже наталкивается на большие трудности: работы многих зарубежных лингвистов (например, Ф. Боппа, Р. Раска, Я. Гримма, А. Шлейхера, младограмматиков и др.) никогда не переводились на русский язык, и для чтения их требуется весьма основательное знание нескольких иностранных языков; а что касается трудов отечественных языковедов, то они часто являются библиографической редкостью и имеются в немногих крупных библиотеках. Некоторые труды даже не издавались типографским способом (например, литографированные курсы Ф. Ф. Фортунатова или И. А. Бодуэна де Куртене), и распространение их ограничивалось отдельными городами. Переиздание основных работ крупнейших русских языковедов, предпринятое Учпедгизом, облегчает ознакомление с их концепциями, но пока еще ограничивается сравнительно тесным кругом авторов. Со всеми этими трудностями приходится сталкиваться и тем, кто вне вуза хочет познакомиться с историей языкознания. В этом случае возникают дополнительные сложности, связанные с тем, что читатель лишается систематичности и последовательности изложения.

Преодолению всех этих трудностей и должна служить настоящая книга. В первую очередь она носит учебный характер, но может использоваться и для общего ознакомления с ходом развития основных лингвистических концепций за последние два века.

Никакой обзор, конечно, не в состоянии отразить всего многообразия проблем, поднимавшихся в науке о языке. Поэтому подбор текстов в книге ориентируется преимущественно на два основных для науки о языке момента: на проблему предмета (природа и сущность языка) и на проблему научного

метода лингвистического исследования. Вследствие этого неизбежного ограничения многие вопросы и проблемы даже в том случае, когда они характеризуют особенности отдельных лингвистических направлений (например, проблема субстрата или смешения языков), остаются за пределами книги.

Нельзя забывать и о другой, в такой же мере существенной оговорке. Не следует думать, что у всех языковедов можно найти четко сформулированное определение указанных двух основных проблем науки о языке. Совсем наоборот: чаще всего их понимание приходится устанавливать косвенным путем, в побочных рассуждениях, на основании разрабатываемых языковедами смежных проблем. Так, например, ясно, что поднятый младограмматиками вопрос о фонетических законах и процессах аналогии — это не только новые для своего времени проблемы, но вместе с тем и особое понимание как природы языка, так и методов его научного исследования. Подобного рода проблематика, представляющая выражение понимания названных основных проблем языкознания, по возможности находит отражение в данной книге.

Некоторые работы, представляющие собой веху в развитии языкознания, почти не содержат рассуждений общетеоретического характера (это, в частности, относится к работам почти всех языковедов первой половины XIX в. — Ф. Боппа, А. Х. Востокова, в меньшей мере — Р. Раска и Я. Гримма). Отношение этих языковедов к главным теоретическим проблемам языкознания вскрывается в практике их научных исследований. Но такие, часто многотомные, исследования, конечно, невозможно включить в книгу, подобную настоящей, а их пересказ противоречит самому принципу ее составления.

В этой связи необходимо отметить, что объем и количество включенных в книгу текстов (а иногда и отбор авторов) в ряде случаев определяются не значимостью отдельных трудов данного языковеда (или самого языковеда), а наличием у него высказываний общетеоретического порядка. Так, например, именно по этой причине у Л. В. Щербы полностью взята его статья «О трояком аспекте языковых явлений», а статья «Очередные проблемы языковедения» приводится в отдельных, и притом небольших, отрывках, хотя последняя является более поздней, более зрелой и содержит ряд замечательных мыслей, не имеющих, однако, отношения к теме настоящей книги.

С целью более полного и верного ознакомления с концепциями языковедов в книге даются не краткие выборочные цитаты, вырванные из контекста общего рассуждения, а по возможности более или менее законченные разделы больших трудов или полностью отдельные работы. К сожалению, частично по описанным выше причинам, а частично по причине экономии места не всегда удавалось следовать этому принципу.

В книге принято более или менее канонизированное подразделение лингвистических школ и направлений. Однако необходимо учитывать известную условность некоторых из них. Например, психологическое направление отнюдь не представляет целостной и замкнутой школы, и психологическое истолкование явлений языка обнаруживается не только у А. А. Потебни или Г. Штейнталя, но и у младограмматиков, представителей казанской школы и др. Что же касается современных лингвистических направ-

лений, находящихся в процессе становления, то их границы во многом еще не ясны.

Каждый раздел книги предваряется небольшим очерком. Он дает общую ориентацию и должен помочь пониманию взаимоотношений школ и направлений в науке о языке, их положения в общем процессе развития лингвистических идей и некоторых их особенностей. Приводимые в конце этих вводных очерков библиографические данные учитывают только ту литературу на русском языке, которая может помочь углубленному пониманию соответствующих лингвистических школ и направлений. При отборе литературы учитывалась ее учебная ценность.

Подобную же вспомогательную цель имеет в виду и краткий «Очерк истории языкознания до XIX века», которым открывается книга.

Как уже указывалось выше, работы многих зарубежных авторов впервые появляются на русском языке в этой книге. Если переводчик не указан, это значит, что перевод выполнен составителем, а во многих других случаях под его редакцией. В обоих случаях составитель несет ответственность за точность перевода.

Настоящее, третье, издание выходит в значительно дополненном виде. Расширены как первая, так и в особенности вторая части.

В первую часть дополнительно включены: впервые переведенная на русский язык работа В. Гумбольдта «О сравнительном изучении языков применительно к различным эпохам их развития», которая позволяет более полно представить философию языка основоположника общего языкознания; извлечения из трудов одного из виднейших представителей психологического направления в языкознании — Вильгельма Вундта; ряд новых разделов из книги Ф. де Соссюра «Курс общей лингвистики», в результате чего она оказывается представленной во всех своих наиболее существенных аспектах; статья Э. Бенвениста, позволяющая проследить эволюцию теоретических принципов социологического направления.

Вторая часть пополнилась тремя новыми разделами и общим заключением.

Благодаря новым материалам читатель получит более полное представление об истории языкознания, а также о направлениях в лингвистическом исследовании, возникших в последнее время. Заключение должно помочь определить место новых методов в системе лингвистических знаний и установить их отношение к другим направлениям и школам.

Включение новых материалов осуществлялось на основе тех же принципов, которым следовало предыдущее издание.

ОЧЕРК ИСТОРИИ ЯЗЫКОЗНАНИЯ ДО XIX ВЕКА

Обычно становление науки о языке относят к началу XIX в., определяя весь предшествующий период как «донаучное» языкознание. Такая хронология правильна, если говорить только о сравнительно-историческом языкознании, но она неправильна, если говорить о науке о языке в целом. Постановка многих, и притом основных, проблем языкознания (например, проблем природы и происхождения языка, частей речи и членов предложения, связей языкового знака со значением, взаимоотношения логических и грамматических категорий и пр.) уходит в далекую древность. Ряд теоретических положений, разрабатывавшихся, например, в XVII и XVIII вв., вошел составным элементом в языкознание XIX в. Кроме того, сравнительно-историческое языкознание не есть результат единой линии развития; у его истоков лежат три научные традиции: древнеиндийская, классическая и арабская, каждая из которых внесла соответствующий вклад в развитие науки о языке. Именно поэтому представляется необходимым вкратце охарактеризовать основные особенности и направления исследований каждой из названных научных традиций.

* * *

Наиболее древней научной традицией является древнеиндийская, возникновение которой было обусловлено причинами по преимуществу практического порядка. С течением времени язык древних религиозных гимнов (вед) стал отличаться от форм разговорного языка древней Индии — пракритов. Стремясь, с одной стороны, сохранить точность произношения священных гимнов и обеспечить их понимание, а с другой стороны, стараясь уберечь их язык от влияния пракритов и осуществляя нормализацию сан-

скрита как литературного языка, древние индийцы посвятили себя тщательному изучению явлений языка и создали своеобразную и высокоразвитую науку. Указанные предпосылки придали этой науке в основном эмпирическую и описательную направленность.

Вопросы языка трактуются в специальном плане уже в самих памятниках ведической литературы — в ведангах (третья группа памятников ведической литературы). Одна из веданг (Шикша) трактует вопросы фонетики и орфоэпии, другая (Чханда) посвящена метрике и стихосложению, третья (Вьякарана) — грамматике и четвертая (Нирукта) — этимологии и лексике. Этими четырьмя ведангами определены основные направления, по которым развивалась древнеиндийская наука о языке. Фонетика, грамматика и этимология подвергались тщательному и детальному рассмотрению в работах замечательнейшего языковеда древней Индии — Панини (время его жизни обычно относят к IV в. до н. э.; при этом сам Панини указывает, что он использовал работы своих предшественников, и называет много имен и даже отдельные грамматические школы) и его комментаторов — Вararучи Катьяяна (III в. до н. э.; ему принадлежит также первая грамматика пракритов — «Пракрита-пракаша»), Патанджали (II в. до н. э.), Бхартхари (который рассматривал категории грамматики в философском аспекте) и др. Позднее стала развиваться индийская лексикография, связанная с именами Амарусипха (VI в. н. э.) и Хемачандра (XII в. н. э.). Синтаксис не составлял сильной стороны древнеиндийского языкознания, не выделялся в его отдельную отрасль и эпизодически рассматривался в ряду морфологических явлений.

Грамматика индийцев в том виде, как она дана у Панини, обнаруживает поразительно точный и тщательный анализ морфологического строя санскрита и замечательное по своей ясности и детальности описание его звукового состава. Построение грамматики Панини очень своеобразно. Его сочинение состоит из 3996 стихотворных правил (сутр), хотя и разделенных на главы и книги, но лишенных систематичности европейских грамматических руководств. Отдельные главы излагают различные явления языка в том виде, в каком они выступают в разных формах речи, почему явления фонетики, морфологии и синтаксиса свободно чередуются друг с другом.

В своем изложении Панини обращает внимание на диалектальные особенности на востоке страны, отмечает своеобразие разговорных форм языка, говорит об особенностях ведического языка, хотя основное внимание обращает на ту литературную форму древнеиндийского языка, которая носит название санскрита. По мнению академика А. П. Баранникова, то обстоятельство, что Панини в ряде случаев сопоставляет санскрит с ведическим языком, дает основание утверждать, что уже в труде Панини имеются элементы сравнительного метода. Однако эти сравнения носят эпизодический

характер, и, кроме того, у Панини отсутствует понимание исторического развития языка.

Анализ языка в древнеиндийской научной традиции строится на методе обобщения и разложения, на выявлении сходств и различий в языковых явлениях. С помощью этого, метода устанавливаются общие категории, под которые подводятся отдельные явления. Особенно последовательно проводится этот метод при изучении и классификации глагольных форм, а также при расчленении слов на корневые и формальные части.

Основной единицей языка для древнеиндийских грамматиков является предложение, так как только оно способно выражать мысль. Слово лишено этой способности и поэтому вне предложения не существует. Слово не обладает самостоятельностью ни в отношении содержания, ни в отношении формы. Вместе с тем не только не отрицается возможность анализа предложения по составным частям, но и практически проводится его расчленение, правда, с той оговоркой, что расчленение облегчает изучение грамматики.

В отношении классификации частей речи среди древнеиндийских грамматистов не было единогласия, но обычно выделялись четыре части речи (например, у Яска): имя (nāman), глагол (ākhyāta), предлог (upasarga) и частица (nipāta). Глагол определяется как слово, обозначающее действие, а имя — как слово, обозначающее идею субстанции. Глагол при этом может обозначать как происходящее действие (bhāva), так и совершившееся (dragva). Функции предлогов состоят в том, что они определяют значение имен и глаголов, и поэтому они рассматриваются скорее как указывающие, чем значащие элементы языка. Частицы в зависимости от своих значений делятся на три группы: 1) частицы сравнения, 2) частицы соединения и 3) незначимые частицы, употребляемые как формальные элементы в стихах. Что касается местоимений и наречий, то они не выделяются в самостоятельные части речи (хотя вместе с тем отмечаются их особенности) и распределяются между двумя основными частями речи — именем и глаголом.

Продолжая свой анализ, древнеиндийские грамматики разлагают слово на его первичные элементы. Такой анализ, известный под термином saṃskara, считается основным принципом древнеиндийской грамматики. Согласно этому принципу, при анализе текстов обращается внимание на сходные по форме и по значению слова и таким образом выделяются разные формы одного и того же слова. Затем при сравнении двух таких форм слова выявляются две составные его части: с одной стороны, часть, которая в сходной форме встречается в обоих словах, — основа (prakṛti), с другой стороны, часть, которая не обнаруживает сходства и подвержена изменениям как по форме, так и по значению, — окончание (pratyaya).

К корням или основам (dhātu) главным образом с глагольным значением (выражающим действие или результат действия) индийские грамматики стремятся свести все слова. Панини приводит в своем труде длинные списки корней с указанием их значения.

Что касается классификации корней, то они обычно делятся на три категории: 1) простые, или первичные, корни, 2) корни, выступающие в качестве образующих элементов, и 3) производные корни, включающие в себя определенные суффиксы. Эта последняя категория охватывает каузативные (ṇijanta), многократные (yananta), деноминативные (nāmadhātu) и дезидеративные (sannanta) корни или основы.

Тщательному морфологическому анализу подвергаются также имена, у которых выделяются семь падежей: именительный, винительный, орудийный, дательный, отложительный, родительный и местный. Падежи, впрочем, не имеют особых названий и обозначаются как первый, второй и т. д.

Хотя фонетика не отграничивается от морфологии и фонетические явления обычно трактуются совместно с морфологическими, она достигла у древних индийцев необыкновенно высокого развития и отличается большой точностью описания. Уже в памятниках ведической литературы мы встречаемся с такими фонетическими понятиями, как артикулятор, место артикуляции, взрывной, фрикативный, гласный, полугласный и т. д.

Описание звуков в древнеиндийских грамматиках строится на физиологическом принципе, причем даются подробные описания способов образования каждого звука. Но основное внимание обращается на сочетание звуков в речи и их взаимовлияние. Это обстоятельство, по-видимому, обусловливалось той целеустановкой, которая руководила направлением фонетических описаний, — сохранением устной традиции чтения религиозных текстов, что было важно из богословских соображений.

Описывая образование звуков, древнеиндийские грамматики различают место артикуляции (sthāna) и орган, принимающий участие в артикуляции, — артикулятор (karana). Когда речь идет о гласных, они говорят о сближении органов речи, а применительно к согласным — о смыкании их. В качестве артикуляторов называются корень языка (jihvā-mūla), середина языка (jihvā-madhya) и кончик языка (jihvāgra). При произношении гортанных артикулятором выступает нижняя часть голосовой щели. В качестве мест артикуляции определяются «корень челюсти», т. е. мягкое нёбо (hanu-mūla), само нёбо (tālu), зубы (danta) или «корень зубов», т. е. альвеолы. Нижняя губа служит артикулятором, а верхняя — местом образования звука.

Очень подробно изучены и тонко описаны различные звукообразующие и звукоизменяющие работы речевого аппарата, придающие отличительный характер каждому звуку в различных фонетических условиях и позициях. Все разнообразие случаев при этом подводится под четкие классификационные категории.

Интересна трактовка слоговой структуры. В качестве основы слога называется гласный, согласный же элемент лишь присоединяется этой гласной к основе. В соответствии с этим гласные считаются самостоятельными фонетическими элементами, так как они

наделены слогообразующими функциями (образуя слоги даже и без участия согласных), а согласные — подчиненными, не способными выступать без гласных. Именно поэтому название каждого согласного (кроме *r*) всегда сопровождается гласным *a* (например, *к* как *ка* или *ka-kārd),* в чем, конечно, не нуждаются гласные (так, гласный *i* называется по своему звуковому качеству или *i-kāra).*

Даже это беглое перечисление лингвистических категорий, разработанных древнеиндийскими грамматистами, показывает, какого значительного развития достигла наука о языке в древней Индии. Нельзя поэтому не признать справедливости суждения В. Томсена, когда он пишет: «Высота, которую достигло языкознание у индусов, совершенно исключительна, и до этой высоты наука о языке в Европе не могла подняться вплоть до XIX в., да и то научившись многому у индийцев»[1].

* * *

Совершенно в ином направлении протекало изучение проблем языка в древней Греции. Если самой характерной чертой древнеиндийского языкознания был эмпирический подход к изучению явлений языка, то в древней Греции проблемы языка рассматривались в первую очередь в философском аспекте, в соответствии с чем вопросы языкознания первоначально входили составной частью в общий комплекс философских вопросов и разрабатывались по преимуществу философами.

Указанные особенности древнегреческого языкознания обусловили и характер проблем, разбиравшихся в первый — «философский» — период науки о языке, который длился вплоть до возникновения александрийской школы, когда языкознание (или, вернее, грамматика) выделилось в самостоятельную дисциплину. Одной из самых основных проблем, которая занимала античность на протяжении нескольких столетий и разделила древних философов на два лагеря, была проблема отношений между словами, вещами и их именами. Сущность этой проблемы, которая несколько видоизменялась в разных философских школах, сводится к ответу на вопрос, присваиваются ли слова вещам в соответствии с природой последних (по природе — φύσει) или же связь между словом и вещью устанавливается по закону, по обычаю (νόμω, συνθήκη, έθει), т. е. произвольно и, следовательно, «неправильно» (только по положению — θέσει). В этом споре, занимая различные позиции, приняли участие Гераклит, Демокрит, Протагор, Эпикур и другие, ему посвящен замечательный диалог Платона «Кратил». В диалоге между Кратилом и Гермогеном подробно разбираются аргументы в пользу обеих точек зрения и в конечном счете дается уклончивое разрешение задачи: ни одну, ни другую точку зрения нельзя

[1] В. Томсен, История языковедения до конца XIX в., Учпедгиз, М., 1938, стр. 10.

признать правой, так как «правильный по природе» язык может существовать только в идее. Диалог Платона интересен и как первая в древней Греции попытка провести классификацию слов (в ссответствии с общей тенденцией науки о языке того времени) на логической основе. Язык, или речь (λογοσ), Платон делит на две часчи — имя (όνομα) и глагол (ρημα). Именами называются слова, о которых что-либо утверждается, т. е. слова, выступающие в качестве подлежащих, глаголы же показывают, что утверждается об именах, и, следовательно, являются сказуемыми. В соответствии с этой классификацией прилагательные, способные употребляться в качестве сказуемых, относятся к глаголам.

Подробнее и основательнее проблему категорий речи, сохраняя логическую основу их классификации, разбирает другой великий философ древности — Аристотель, оказавший огромное влияние на последующую разработку этой проблемы. Рассматривая человеческую речь, он пишет в «Поэтике»: «Во всяком словесном изложении есть следующие части: элемент, слог, союз, имя, глагол, член, падеж, предложение».

Элемент — это «неделимый звук, но не всякий, а такой, из которого может возникнуть разумное слово». Элементы могут составить образование, которое не имеет самостоятельного значения, — слог. Член — это также «не имеющий самостоятельного значения звук, показывающий начало, конец или разделение предложения»[1]. Союз (куда по смыслу изложения следует отнести также местоимение и собственно артикль) — «это не имеющий самостоятельного значения звук, который не препятствует, но и не содействует составлению из нескольких звуков одного, имеющего значение. Он ставится и вначале, и в середине, если его нельзя поставить в начале предложения самостоятельно. Или это не имеющий самостоятельного значения звук, который может составить один, имеющий самостоятельное значение, из нескольких звуков, имеющих самостоятельное значение».

Основными частями речи (и одновременно членами предложения) у Аристотеля являются имя и глагол (точнее, высказывание, оно же и логический предикат). Имя — это «составной, имеющий самостоятельное значение звук без оттенка времени», и, в противоположность ему, глагол — это «составной, имеющий самостоятельное значение звук с оттенком времени... Например, *человек* или *белое* не обозначают времени, а *идет* или *пришел* имеют добавочное значение; одно — нынешнего времени, другое — прошедшего». Глаголы и имена могут иметь падежи, под которыми Аристотель понимал все их косвенные формы и формы множественного числа. Таким образом, по Аристотелю, падежами обладают, например, слова *человеку, люди, иду, идет, идешь* и т. д. Имена,

[1] Следует иметь в виду, что звуками Аристотель именует и отдельные звуки, и слоги, и слова, и даже предложения, отмечая, правда, что некоторые из этих образований являются «составными».

кроме того, делятся по родам на имена мужские (ονόματα άρενα), женские (θήλεα) и лежащие между ними (μεταξύ).

Наконец, предложение — это «составной звук, имеющий самостоятельное значение, отдельные части которого также имеют самостоятельное значение». Этим последним своим качеством предложения отличаются от других сложных образований (или, по терминологии Аристотеля, «составных звуков»), отдельные части которых не имеют самостоятельного значения. «Не всякое предложение, — уточняет при этом Аристотель, — состоит из глаголов и имен. Может быть предложение без глаголов, например определение человека. Однако какая-нибудь часть предложения всегда будет иметь самостоятельное значение».

В другой своей работе — «Риторике» — Аристотель говорит о трех частях речи: именах, глаголах и союзах (σύνδεσμοι), определяя первые две категории как слова, обладающие самостоятельным значением, а союзы — как слова, выполняющие определенные грамматические функции.

Дальнейшая работа по уточнению категорий языка связана с философской школой стоиков. Они устанавливали уже пять частей речи: глагол, союз, член и как самостоятельные части речи имя собственное и имя нарицательное («нарицание»). При этом, в отличие от Аристотеля, они все части речи признавали значащими. К стоикам восходит уточнение понятия падежа (его применение ограничивается именами), разделение на прямой и косвенный падежи и то наименование отдельных падежей, которое в дальнейшем закрепилось в греческой и латинской (с добавлением в этой последней отложительного падежа — ablativus) грамматиках, а затем в последующие века стало применяться и к другим языкам.

Включившись в спор о «природном» или условном характере слов и придерживаясь той точки зрения, что слова «изначально истинны», т. е. отражают действительную природу обозначаемых ими вещей, стоики выдвинули перед античной наукой о языке новую задачу — обнаружение истинной сущности или природы слов.

Тем самым был сообщен стимул для зарождения новой лингвистической дисциплины — этимологии (ετυμολογια), или науки об истинном значении слова. Поисками этих «истинных» значений особенно охотно и особенно много занимались древнеримские и средневековые грамматики и философы (Варрон, Элий Стило, Сенека, Августин, Трифон, Нигидий Фигул и др.). Так как при этом никакими твердыми принципами древние и средневековые ученые не располагали, то их этимологии ничего общего с современными этимологическими исследованиями не имеют. Абсолютно произвольные истолкования «истинного» значения слов создали этимологии прочную дурную репутацию, которую не смог развеять даже Расмус Раск, выступивший в ее защиту, и которая была устранена только с выходом капитальных этимологических работ Августа Потта.

Расцвет классической традиции в истории языкознания и наступление второго — «грамматического» — периода ее существования начинаются в эллинистическую эпоху и связаны со столицей египетского государства Птолемеев — Александрией (и отчасти Пергамом). Здесь в III и II вв. до н.э. сформировалась так называемая александрийская школа грамматики. Эта школа имела перед собой более утилитарные задачи, в соответствии с чем и общий характер изучения языка в работах ее представителей имеет более эмпирический характер. Как и в древней Индии, внимание александрийских ученых, находившихся вдали от Греции и переживших славную эпоху ее культурного расцвета, было направлено на сохранение литературной традиции греческого языка и стремление уберечь его от посторонних влияний. Это не могло не способствовать развитию филологической науки, из которой постепенно стала вычленяться грамматика уже в специальном смысле.

Но вместе с тем александрийцы не чуждались и философского истолкования вопросов языка. Унаследовав от стоиков проблему «аномалии», они подвергли ее тщательному рассмотрению, сделав одним из центральных вопросов своих споров. Под аномалией разумелось несоответствие между вещью и обозначающим ее словом. Например, аномалией является обозначение словом женского рода *черепаха* как женских, так и мужских особей этой разновидности животных. Когда этот спор перешел от философов к грамматикам, эти последние в противовес учению об аномалии выдвинули тезис об «аналогии», или единообразии, как господствующем принципе языка. Характерно, что даже этот отвлеченный спор между «аномалистами» и «аналогистами» в конце концов привел к практическим следствиям: выявленные в процессе этого спора языковые факты послужили материалами для построения систематической грамматики, где рядом с регулярными грамматическими правилами («аналогиями») нашли свое место и разного рода исключения из них («аномалии»).

Система александрийского грамматического учения создавалась главным образом трудами Аристарха, Кратеса из Маллоса, ученика Аристарха — Дионисия Фракийского, Аполлония Дискола и его сына Геродиана. К сожалению, работы этих древних ученых, за редким исключением, сохранились в незначительных отрывках или пересказах более поздних авторов. На основе этих совершенно недостаточных данных система александрийской грамматики вырисовывается следующим образом.

Сравнительно с другими античными грамматическими теориями александрийская отличается более глубоким вниманием к звуковой стороне языка, но все же в этом отношении она значительно уступает древнеиндийской. Описание звуков ориентируется у александрийцев на акустический принцип, хотя они обладают и некоторыми представлениями о физиологических основах произношения звуков. Отождествляя звуки и буквы, александрийцы разде-

ляют их на две основные группы: гласные и согласные. Гласные, характеризуемые тем качеством, что они «сами по себе образуют полный звук», подразделяются в свою очередь на долгие, краткие и «двухвременные» (т. е. способные выступать и как краткие и как долгие «буквы»). Среди согласных, которые образуют «полный звук только в сочетании с гласными», выделяются полугласные и немые (с подразделением последних на легкие, средние и придыхательные).

Слово определяется как «наименьшая часть связной речи», а предложение или речь (λόγοσ) — как «соединение слов, выражающее законченную мысль».

Очень подробно разработаны у александрийцев учение о частях речи и морфология. В соответствии с классификацией Аристарха выделяется восемь частей речи: имя, глагол, причастие, член, местоимение, предлог, наречие и союз (у древних римлян вместо члена, который отсутствует в латинском языке, прибавлялось междометие).

Определяя имя, Дионисий Фракийский пишет: «Имя есть склоняемая часть речи, обозначающая тело или вещь (тело, например, — камень; вещь, например, — воспитание) и высказываемая как общее и как частное (общее, например, — человек; частное, например, — Сократ)». Под категорию имени подводятся и прилагательные. Имена изменяются по падежам и числам.

«Глагол, — пишет тот же автор, — есть беспадежная часть речи, принимающая времена, лица и числа и представляющая действие или страдание». Он выделяет пять наклонений — изъявительное, повелительное, желательное, подчинительное и неопределенное; три залога — действия, страдания и средний; три числа — единственное, двойственное и множественное; три лица — от кого речь, к кому речь и о ком речь. О временах Дионисий Фракийский пишет: «Времен три — настоящее, прошедшее, будущее. Из них прошедшее имеет четыре разновидности — длительное, предлежащее, преждезавершенное, неограниченное. В них три сродства — настоящего с длительным, предлежащего с преждезавершенным, неограниченного с будущим».

К категории причастий относятся слова, объединяющие в себе некоторые признаки глагола и имени (причастие — это «слово, причастное к особенностям и глаголов и имен. Акциденции причастия — те же самые, что у имени и глагола, кроме лиц и наклонений»).

Другие части речи Дионисий Фракийский определяет следующим образом:

«Член есть склоняемая часть речи, стоящая впереди и позади склоняемых имен. Акциденций у него три: роды, числа, падежи».

Местоимение есть «слово, употребляемое вместо имени, показывающее определенные лица».

Предлог — «часть речи, стоящая перед всеми частями речи и в составе слова и в составе предложения», т. е. выступающая в разных словообразованиях и синтаксических сочетаниях.

«Наречие есть несклоняемая часть речи, высказываемая о глаголе или прибавляемая к глаголу».

«Союз есть слово, связывающее мысль в известном порядке и обнаруживающее пробелы в выражении мысли».

Синтаксису посвящена специальная работа Аполлония Дискола, но все же он разработан не так подробно, как морфология, которая содержит подробные классификации отдельных грамматических типов слов в зависимости от функций, выполняемых словами в речи.

Вклад, внесенный древними римлянами в изучение языка, довольно незначителен. Римские ученые, среди которых первое место, несомненно, принадлежит Марку Теренцию Варрону, занимались по преимуществу приложением принципов александрийской грамматической системы к латинскому языку. Античная грамматическая терминология именно в латинской своей форме прошла через все века и в значительной части сохраняет хождение и в настоящее время. В какой-то степени это было обусловлено популярностью грамматик Доната и Присциана, которые представляли простые компиляции, но благодаря своей простоте и удобопонимаемости имели широкое хождение в средневековой Европе, использовавшей латынь в качестве международного языка науки и католической религии.

При всех своих замечательных успехах античная наука о языке обладала и существенными недостатками: как и древнеиндийская наука, она лишена была понимания исторического развития и замыкалась границами одного языка — греческого или латинского, хотя сами исторические обстоятельства, казалось, наталкивали на сравнительное изучение по меньшей мере этих двух языков. Зависимость от философии, которую античная грамматика пыталась преодолеть в эллинистическую эпоху, также наложила на нее определенный отпечаток, подчинив грамматические категории логическим. Эту свою особенность античная наука о языке оставила в наследство и последующим векам.

Но вместе с тем не следует забывать, что «грамматическая система Европы вплоть до XIX в. основывалась на лингвистическом учении греков в его измененном на римской почве виде»[1].

* * *

Бурное развитие арабского языкознания в эпоху халифата (VII — XII вв.) всегда вызывало удивление исследователей. Правда, были попытки поставить под сомнение не только арабское языкознание, но и всю арабскую науку в целом, основанные на том, что арабы сохранили и пронесли через мрачную эпоху сред-

[1] В. Томсен, История языковедения до Конца XIX в., Учпедгиз, М., 1938, стр. 25.

них веков многие культурные ценности античного мира и затем передали их Европе нового времени. Выражением такой точки зрения является, например, утверждение французского семитолога и философа Э. Ренана, что «страница из В. Бэкона заключает в себе более истинного научного духа, чем вся эта взятая из вторых рук наука, заслуживающая уважение как звено исторической преемственности, но ничтожная с точки зрения исторической оригинальности». Внимательное изучение арабской науки и культуры доказало всю несостоятельность этой точки зрения. Арабы были не только хранителями культурных ценностей древнего мира, но и, как показывают их труды в области географии, истории, математики, астрономии, медицины и т. д., глубокими и трудолюбивыми учеными, внесшими огромный вклад в развитие мировой культуры. Эта общая характеристика их научных достижений в полной мере применима и к языкознанию.

Зарождению науки о языке у арабов способствовали, видимо, те же причины, что и в древней Индии, — различия между языком религии и разговорным языком, которые с течением времени стали проступать все отчетливее. Кроме того, известную роль при этом играла, с одной стороны, необходимость сделать доступной для мусульман инородного происхождения священную книгу ислама — коран, а с другой стороны, стремление защитить классический язык от неблагоприятных влияний многочисленных арабских диалектов и языков мусульман-инородцев. Последняя причина наиболее часто фигурирует в объяснениях туземных историков арабской филологии.

В ответ на эти практические потребности и стала развиваться арабская наука о языке, причем ее развитие происходило несколько иными путями, нежели в Индии и Греции. Как показывает пример других наук, арабы никогда не отказывались от утилизации культурных достижений других народов. Естественно было и в этом случае обратиться к уже сложившимся грамматическим системам — греческой и индийской, достигшим наибольших успехов в этой области науки. Не следует забывать и того обстоятельства, что арабская наука создавалась не только самими арабами, но и другими народами, находившимися в подчинении у Арабского халифата, — персами, греками, сирийцами, евреями, коптами, берберами, вестготами, которые пользовались арабским языком как орудием культурного творчества. Эти народы в новом месте применения своих талантов и знаний неминуемо должны были внести ранее усвоенные ими научные традиции и, следовательно, иноземные элементы во вновь созидаемую науку.

Однако, несмотря на отчетливые следы влияния греческой и индийской грамматических систем на арабскую науку о языке, последнюю никак нельзя рассматривать (как это охотно делали многие европейские ученые) лишь как простую копию греческой науки или же как комбинацию греческой и индийской грамматик. Да это было просто и невозможно — слишком далеки друг от

друга структура арабского языка, с одной стороны, и греческого и древнеиндийского — с другой. При этих условиях механическое перенесение грамматических категорий из одного языка в другой ничего бы не дало, а арабское языкознание отличается именно тщательностью и тонкостью описания фонетических, морфологических и лексических сторон родного языка. Таким образом, заимствовав только общие языковые категории (часто обусловленные по примеру греческой науки логическими категориями) или же общие принципы описания языковых явлений (преимущественно у индийцев, в частности это относится к фонетике), арабские филологи наполнили их новым реальным содержанием. Часто при этом все ограничивалось только использованием готового термина, который в применении к новому материалу получал иное истолкование. Для проведения этой работы требовался огромный труд, и поэтому нельзя не выразить своего восхищения той быстротой, с которой арабы сумели создать систему своей грамматики.

Первые грамматические работы вышли из Басры и Куфы — двух городов, находившихся на территории мощных древних цивилизаций в бассейне Евфрата и Тигра. Эти два города создали две грамматические школы, которые вели друг с другом по не всегда ясным вопросам бесконечные и горячие споры, утихшие только спустя несколько веков, когда центр грамматической науки стал перемещаться в столицу Арабского халифата — Багдад. Представителем басрской школы, персом по рождению, Сибавейхи и был создан обширный труд «Аль-Китаб» («Книга»), в котором система арабской грамматики предстает уже в завершенном виде как итог предыдущих разработок.

В своем труде Сибавейхи дает подробные и многословные формулировки по всевозможным грамматическим частностям, снабжая их примерами из корана и древней поэзии (свыше 1000 стихов).

Позднейших арабских филологов настолько поражала законченность и систематичность грамматики в труде Сибавейхи, что его фигура заслонила всех его предшественников, хотя сам Сибавейхи в своих объяснениях неоднократно ссылается на некоего «человека, на которого можно положиться» и под которым, видимо, следует понимать его учителя Халиля аль Фарахиди, автора знаменитого словаря «Книга Айна». Чтобы показать, каким колоссальным авторитетом пользовалась «Книга» Сибавейхи, достаточно сослаться на то, что даже при остром соперничестве между школами Басры и Куфы она находила почетный прием и у куфцев.

При всех своих достоинствах первого систематического и авторитетнейшего труда по грамматике громоздкая «Книга» в основном всегда оставалась не руководством для широких практических потребностей изучения классического арабского языка, а ученым трудом для специалистов-филологов, которые после Сибавейхи довольствовались по преимуществу тем, что уточняли отдельные

положения его работы или для практических целей по-иному располагали материал, не меняя основного содержания и добавляя малосущественное. Первая практическая переработка труда рано умершего Сибавейхи принадлежит одному из его учителей — аль Ахфашу. Затем последовали компиляции, дополнения и учебники аль Мустанира, аль Мубаррада, ибн Джини, аль Анбари, аз Замахшари, Сакикки и др.

Говоря о достижениях арабских ученых, необходимо отметить следующее. В отличие от античных ученых, арабы делали четкое различие между буквой и звуком, между графическим символом речевого звука и самим речевым звуком, указывая на несоответствия между написанием и произношением. Описание звуков опирается на физиологический принцип, хотя вместе с тем до известной степени учитывается и акустический. Арабские филологи проводили следующие различия: 1) звуки с голосом и без голоса, 2) напряженные и ненапряженные звуки, 3) закрытые и открытые звуки, 4) «приподнятые» и «неприподнятые» звуки (по подъему языка). Сибавейхи различает 16 мест образования звуков и в соответствии с этим классифицируют звуки арабского языка. В его последующих грамматиках даются точные описания артикуляции отдельных звуков и различных их комбинаторных изменений.

В отношении классификации слов по частям речи арабы следовали за Аристотелем, устанавливая три категории: глагол, имена и частицы.

С замечательной четкостью арабы выделяли понятие трехсогласного корня, специфического для семитских языков, должным образом учитывая значение аффиксации и флексии гласных в корне. Именно эти морфологические категории оказали наибольшее влияние на грамматические теории европейских ученых XVIII и XIX вв., в частности на Ф. Боппа. Арабские филологи высказали очень трезвые мысли о роли аналогии в языке и о разрушительном действии на звуковой состав слов частоты их употребления .

Синтаксис, так же как и у греков и индийцев, является наиболее слабым местом в арабской грамматике, хотя в этой области в более позднее время были сделаны значительные успехи. Для арабской грамматики характерно смешение разных сторон языка, однако фонетика занимает более четко обособленное положение, чему в немалой степени способствовало значительное развитие у них просодии и метрики (в связи с выработкой правил чтения корана).

Арабские языковеды занимались и другими языками, в частности турецким, монгольским, персидским, но ни о каком сравнительном изучении языков при этом не может быть и речи. Идея сравнительности или исторического развития языков также была совершенно чужда арабской лингвистической мысли, вследствие чего многие явления других языков не были поняты должным

образом. Так, воспитанные на арабской грамматике филологи, описывая грамматику турецкого языка, не придали никакого значения такому его характерному явлению, как сингармонизм гласных.

Наибольшие достижения арабского языкознания лежат, однако, не в области фонетики или грамматики, а в области лексикологии и, точнее, лексикографии. Арабы собрали огромный лексический материал и расклассифицировали его по словарям самого различного типа (наиболее популярными были предметные словари). Они всячески подчеркивали изумительное лексическое богатство арабского языка, подбирая, например, для слова *меч* 500 синонимов, для слова *лев* 500 синонимов, для слова *верблюд* 1000 синонимов и т.д. Передают остроту Хамзы аль Исфахани, филолога X в., который, насчитав 400 синонимов к слову *беда,* воскликнул с комическим отчаянием: «Имена бед сами по себе беда».

В составление словарей родного языка арабские филологи вложили колоссальный труд. Так, аль Фирузабади составил 60-, а по другим источникам 100-томный словарь, скомпонованный из трудов ибн Сида и индийского мусульманина Сагани со значительным добавлением южноарабской лексики. Этот гигант среди словарей не сохранился, но на основании его Фирузабади составил другой, под названием «Камус» («Океан»); о его популярности свидетельствует тот факт, что этим именем стали в дальнейшем называть вообще все словари.

При всем своем богатстве арабские словари имеют ряд значительных недостатков. Основной из них — это отсутствие диалектологической и исторической перспективы, а также неумение проводить различие между общепринятыми словами и авторскими поэтическими неологизмами.

Собирая лексику у различных бедуинских племен, в языке которых одно и то же слово подчас обладает различными значениями, арабские лексикографы в своих словарях закрепляют их за одним словом без указания на диалектное происхождение отдельных значений. Все это происходит вследствие отсутствия отчетливого представления о явлениях омонимии. С другой стороны, норма «классического» языка представляла хронологически уже далекий этап, отдельные корни с тех пор изменили свой смысловой объем или значительно уклонились от первоначального семантического ядра. Процесс семантического развития слов был особенно интенсивен в городах, где происходило формирование арабского койне. Арабские лексикографы при всей своей пуристической верности классическим канонам не могли не отдать должного живому, разговорному языку и при всем отвращении к вульгарным, «не точно установленным» формам были вынуждены вводить в свои словари множество новых слов и значений, вошедших в практический обиходный и литературный язык, но опять-таки без всяких временных коррективов. Вследствие этого создавалось такое

нагромождение значений, что обращавшийся к словарям за справками нередко оказывался совершенно сбитым с толку.

Не обладал четкостью и твердой системой и порядок расположения материала. Наибольшими преимуществами в этом отношении отличаются словари аль Джаухари — «Сыхах» (на 40 000 слов) и аль Герави — «Улучшение в лексикологии» (в 10 томах). В этих словарях слова располагаются по алфавиту (а не как обычно, исходя из физиологического принципа произношения звуков-букв) и именно по последней букве корня — метод, который затем был усвоен последующими лексикографами и который, учитывая особенности арабской письменности, представлял определенные преимущества. Так же, как это принято в современных словарях (с той только разницей, что счет идет с обратного конца), корни, оканчивающиеся на одну и ту же букву, располагаются по второй и третьей букве.

Совершенно обособленно в истории арабского языкознания стоит загадочный ученый, известный под именем Махмуда аль Кашгари. Многотомный труд этого «богатыря тюркологии» — «Диван турецких языков», написанный около 1073 — 1074 гг., затерялся в массе арабской научной литературы и был открыт спустя много веков уже в наше время в библиотеке некоего Али Эмира Диарбекирского и вскоре после этого опубликован в Стамбуле в 1912 — 1915 гг.

Труд Махмуда аль Кашгари представляет собой настоящую тюркскую энциклопедию, в основу которой положена сравнительность как сознательный научный принцип. Это исключительная по точности описаний и богатству собранных материалов сравнительная грамматика и лексикология тюркских языков в полном смысле этого слова, сопровождающаяся обильными данными по истории, фольклору, мифологии и этнографии тюркских племен. В его труде приводится масса стихов, пословиц, народных изречений, используемых автором для пояснения отдельных слов, замечания этимологического порядка и т. д. Надо иметь при этом в виду, что он не имел в своем гигантском труде предшественников и всю работу по собиранию и систематизации материала проделал самостоятельно, побуждаемый патриотическим чувством доказать «равноценность турецкого и арабского языков». Исходя из положения, что «первоначально языки мало различались» и что различия языков возникли позднее в процессе их развития, Махмуд аль Кашгари дает звуковые соответствия различных тюркских наречий, отмечая особенности в них сингармонизма гласных, рассеивая по всей работе меткие замечания о формативных суффиксах и инфиксах и т. д. Можно сказать без преувеличения, что основные законы тюркской фонетики и морфологии были подмечены и основательно изучены этим удивительным ученым еще в XI в. Поэтому вполне оправданы гордые слова Махмуда аль Кашгари, сказанные им о своем труде: «Я написал .книгу, которая не имеет себе равной. Я изложил корни с их причинами и выяснил правила, чтобы мой

труд служил образцом. При каждой группе я даю основание, на котором строится слово, ибо мудрость вырастает из простых истин».

Однако труд Махмуда аль Кашгари, намного опередивший свое время, не оказал того влияния, какое мог бы оказать на развитие науки о языке. Но он не остался бесполезным, так как его позднее открытие все же много способствовало дознанию отношения тюркских языков и их истории.

* * *

Средние века в Европе знаменуются теоретическим застоем в области языкознания (как и во многих других науках). Более того, можно говорить даже о движении назад. Единственным языком, который изучался в этот период, был латинский язык, так что латинская грамматика и грамматика вообще превратились в синонимы. В качестве пособий при изучении латинского языка широко использовались руководства Доната и Присциана или же компиляции, приспособленные для конкретных целей преподавания. Но и изучение латинского языка проводилось не ради научного познания, а в практических целях, поскольку в средневековой Европе он был универсальным языком науки и только практическое владение им открывало доступ к духовному или светскому образованию. Отсюда и общая направленность грамматики: она была не столько «описывающая» (описательная), сколько «предписывающая». Этот характер грамматики подчеркивает и ее определение, обычное для латинских руководств: грамматика — «искусство правильно говорить и писать». Подобные же нормативные принципы лежали и в основе словарей.

Доминирующее положение латыни в средневековой науке о языке оказало сильное и длительное влияние на общий подход к изучению языков. Это влияние осуществлялось по трем линиям.

1. Латинский язык был мертвым и использовался главным образом для письменного общения (в XVI в. ученые Франции и Англии уже не понимали друг друга при устном общении на латинском языке). Это обстоятельство привело к тому, что звуковая сторона языка оказалась в полном пренебрежении: изучались буквы, а не звуки.

2. Совмещение понятий латинской грамматики и грамматики вообще обусловило то обстоятельство, что при изучении других языков (и, в частности, живых языков крупных национальных образований Европы) на них стали механически переноситься нормы латинской грамматики. В результате этого установилась своеобразная слепота к специфическим особенностям конкретных и часто очень несхожих друг с другом языков.

3. Изучение латинского языка рассматривалось как логическая школа мышления. В более широком плане этот тезис привел к тому,

что правильность грамматических явлений стала устанавливаться логическими критериями. Наряду с развитием философии рационализма это создает предпосылки для возникновения так называемых универсальных или логических («философских») грамматик, которые смысловую сторону различных языков стремились свести к единому логическому знаменателю, полагая, что у всех языков должна быть общая логическая основа. Немалую роль при этом продолжал играть авторитет Аристотеля. Это привело к установлению общих для всех языков положений, подчинению грамматики логике и принципу целесообразности, истолкованию слова как внешнего (и только в своей звуковой форме варьирующегося от языка к языку) знака понятия, единого в своей сущности для всех языков, отождествлению членов предложения с логическими категориями субъекта и предиката, а суждения с предложением и т. д. Образцом грамматики, построенной на таких принципах, является знаменитая «Грамматика универсальная и рациональная», составленная в 1660 г. Клодом Лансло и Арно в аббатстве Пор-Рояль (она поэтому известна под названием грамматики Пор-Рояля). Грамматика Пор-Рояля, ставившая своей целью установить «естественные основы искусства речи» и «принципы, общие всем языкам», вызвала многочисленные подражания.

Эпоха Возрождения, продолжая ориентироваться по преимуществу на латинский язык, возродила интерес и к греческому языку, который оставался в пренебрежении на протяжении средних веков. Вместе с тем Возрождение много способствовало развертыванию филологического изучения памятников классической литературы. Большие заслуги по изданию и филологическому комментированию литературных произведений классической древности принадлежат Юлию Цезарю Скалигеру, а также Роберту и Генриху Стефанусам (XVI в.).

Теологические интересы обращают ученых Европы к занятиям семитскими языками (древнееврейский — язык «Ветхого завета»). Удивительно разносторонняя деятельность Иосифа Юстуса Скалигера (сына Ю. Ц. Скалигера) и несколько позднее Рейхлина способствовала ознакомлению европейских ученых с теоретическими положениями туземных семитских языковедов. Не подлежит сомнению, что влиянию семитских языков и туземных работ о них следует приписать формирование понятия корня как первичного слова (де Бросс и Фульда) и суффикса как его модификатора. Учение семитских грамматиков о том, что личные окончания глаголов по происхождению являются личными местоимениями, получило в дальнейшем широкое хождение среди европейских языковедов и нашло свое отражение в теории агглютинации Ф. Боппа.

Географические открытия, начало колониальной экспансии, пропаганда христианства новым народам, изобретение книгопечатания создают предпосылки для значительного расширения лингвистического кругозора ученых Европы. XVI, XVII и XVIII века

с полным основанием можно назвать эпохой накопления языкового материала. Эта чрезвычайно важная и нужная работа, заложившая основания для теоретического изучения языков, подытоживалась в многоязычных «сравнительных» словарях. Первым словарем подобного рода был четырехтомный словарь русского путешественника и естествоиспытателя П. С. Палласа (вышел в Петербурге в 1786 — 1791 гг.), включающий избранный словник по 276 языкам (в том числе некоторым языкам Африки и Америки). Испанский монах Лоренцо Эрвас-и-Пандура сначала по-итальянски, а затем по-испански (в 1800 — 1804 гг.) опубликовал основательный труд «Каталог языков известных народов, их исчисление, разделение и классификация по различиям их наречий и диалектов», в котором он дал сведения приблизительно о 300 языках, не ограничиваясь их словарным составом, но приводя также краткую их грамматическую характеристику (по 40 языкам). Наиболее известным словарем подобного типа является «Митридат, или всеобщее языкознание» немецкого языковеда И. Х. Адглунга (1806 — 1817 гг., четыре тома), в котором приводится «Отче наш» почти на 500 языках и диалектах.

Рост национального самосознания со своей стороны способствовал обращению к изучению живых языков (в первую очередь, конечно, родных) и их прошлого. Влияние этого фактора обусловило создание эмпирических грамматик национальных языков Европы, ставивших себе практические цели, но вместе с тем способствовавших познанию специфических особенностей родных языков. Образцами такого рода эмпирических грамматик могут служить «Грамматика языка английского» Уоллиса (1653), «Грамматика Словенска» Лаврентия Зизания (1656), «Грамматики Славенские» Мелетия Смотрицкого (особенно московское переиздание 1648 г.) и др. Обращение к прошлому языков обусловило опубликование такого ценнейшего памятника, как «Серебряный кодекс» (часть перевода библии на готский язык; опубликован Франциском Юнием в 1655 г.), многочисленных работ по англосаксонским древностям Дж. Хикса, и составление первой работы по сравнительному изучению германских языков Ламберта-тен-Кате (в XVIII в.).

Собранный в этот период огромный языковой материал требовал теоретического осмысления и классифицирования. Характерно, однако, что при решении важнейших теоретических проблем языка, которые стали интенсивно разрабатываться в XVII в. и особенно в XVIII в., преобладал все же спекулятивный, философский подход, а накопленный материал использовался совершенно недостаточно. Основные проблемы языка рассматривались в трудах виднейших философов этой эпохи — Руссо, де Бросса, Декарта, Лейбница, Вико и других, а ученые, стоящие ближе к языковому материалу, ограничивались пока эмпирическими описаниями.

В трудах по философии языка доминирующее положение зани-

мает механическая концепция языка как совокупности знаков, замещающих понятия. С подобным пониманием связана разработка всеобщего языка (у Декарта, Лейбница, Кондорсэ и др.), имеющая прямое отношение к тому направлению в описании языков, которое нашло свое воплощение в грамматике Пор-Рояля. С другой стороны, значительное место в работах, посвященных философии языка, начинает занимать проблема происхождения языка и тесно связанная с ней проблема многообразия языков.

Рационалистическую философию нового времени уже никак не могла удовлетворить теория божественного происхождения языка. Выдвигаемые в этот период различные теории происхождения языка отражают общефилософские концепции разных ученых. Руссо ставит возникновение языка в зависимость от общественной потребности и выдвигает положение о совместном развитии языка и мышления от первобытного «природного крика» к грамматически упорядоченному языку. В известной мере к Руссо примыкает де Бросс, также настаивавший на общественной обусловленности развития языка от элементарных криков к лексическому богатству с общей направленностью изменения значений слов от конкретного к абстрактному. Гердер всячески подчеркивает связь возникновения и развития языка с возникновением и развитием мышления, но изолирует язык от общества и сводит его создание к индивидуальному творческому акту. К Гердеру близок Монбодо, сосредоточивающий свое внимание на идее развития языка от животного крика к языку как творческой силе. К Гердеру же восходит идеалистическая теория обусловленности языка наличием у человека разума, пользуясь которым человек «собирал» язык из звуков природы, используя их в качестве признаков предметов. Он же всячески подчеркивал тезис о том, что в языке находит свое выражение дух народа. Оба эти положения получили дальнейшее развитие в работах В. Гумбольдта.

Характерно, что разработка русской грамматики в трудах разностороннего великого русского ученого М. В. Ломоносова (1711 — 1765) следует строго эмпирическому методу, противопоставляясь априорным схемам философии языка XVIII в. Свою «Российскую грамматику», послужившую основой для последующих работ по русскому языку, М. В. Ломоносов делит на шесть «наставлений» (разделов), в которых рассматривает фонетику, орфографию, словообразование, словоизменение и особенности отдельных частей речи, синтаксис, а также общие проблемы грамматики (в первом «наставлении»).

Своеобразным итогом исследовательской работы в области философии языка и его грамматического изучения являются работы А. Ф. Бернгарди (1769 — 1820). Оба его сочинения — «Учение о языке» (1801 — 1803) и «Начальные основы языкознания» (1805) — как бы подводят черту под исследовательскими работами целого периода, за которой начинается уже новая эпоха в развитии языкознания.

Бернгарди устанавливает состав науки о языке, который во многом становится традиционным для XIX в. Он выделяет фонетику, этимологию, словопроизводство, морфологию, словосочетание (учение о сочетании и управлении слов) и синтаксис. Он устанавливает два аспекта в изучении языка: исторический и философский. В соответствии с историческим принципом язык, возникновение которого обусловлено потребностями разума, развивается по «обязательным» законам, но совершенно бессознательно. Достигнув своего расцвета, язык вступает на путь регресса. Философский аспект имеет дело с языком как законченным продуктом. Это главный аспект в изучении языка. «Языкознание, или философская грамматика, — пишет Бернгарди, — есть наука об абсолютных формах языка». Все изложение языкознания идет у него от простейших элементов ко все более сложным единствам. Оно начинается с букв, отождествляемых со звуками («Каждый отчетливо звучащий элемент в языке называется буквой»). В языке различаются слова-основы и слова-корни. Слова-основы обладают чистым (без обозначения отношений) значением. Слова-корни — те же слова-основы, но состоящие из абсолютно простого слога (т. е. простого согласного и простого гласного). Обе эти категории слов первоначально разделялись на обозначающие материю и обозначающие отношения. Слияние их и дало нынешние типы слов. При определении частей речи Бернгарди базируется на логической основе, соотнося их с категориями субъекта, предиката, связки. Комбинируя эту логическую классификацию с грамматической, он выделяет еще частицы, которые подчиняет основным частям речи (так, категории субъекта подчинены частицы — артикль и предлоги). Как пишут сами Ф. Бопп и В. Гумбольдт, работы Бернгарди оказали на них большое влияние.

Начало XIX в. в истории языкознания проходит под воздействием трех факторов: проникновения исторического взгляда в науку, развития романтического направления и знакомства с санскритом.

Идея исторического развития проникла в языкознание из философии, социологии, правоведения, представители которых стали широко применять исторический принцип истолкования разного рода явлений. Романтизм обусловил интерес к национальному прошлому и способствовал изучению древних периодов развития живых языков. Изучение санскрита не только дало в руки ученых язык, в котором с наибольшей четкостью представлена индоевропейская структура, но и познакомило их с высокоразвитой наукой о языке древних индийцев.

Первые сведения о «священном языке брахманов» начали поступать уже с XVI в. (письма из Индии Ф. Сассети), но действительное знакомство с санскритом началось только с конца XVIII в благодаря трудам У. Джонса. Широкое внимание к культуре и языку Индии привлекло вышедшее в 1808 г. сочинение Ф. Шлегеля «О языке и мудрости индийцев». В нем Ф. Шлегель указывает

на близость санскрита латинскому и, греческому (и даже персидскому и германскому) языкам не только по корнеслову, но и по грамматической структуре. Он выдвигает предположение о наибольшей древности санскрита и указывает на необходимость сравнительного изучения языков. Однако дальше общих и довольно туманно выраженных предположений Ф. Шлегель не пошел.

Идею исторического и сравнительного изучения языков воплотили в конкретных исследовательских трудах другие языковеды, трудами которых и начинается настоящая книга.

I. ЗАРОЖДЕНИЕ СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ

Впервой четверти XIX в. в разных странах почти одновременно публикуются работы, заложившие основы сравнительно-исторического языкознания.

В 1816 г. вышла первая работа Франца Боппа (1791 — 1867) — «О системе спряжения санскритского языка в сравнении с таковым греческого, латинского, персидского и германского языков». (Первое издание основной работы Ф. Боппа в трех томах «Сравнительная грамматика санскрита, зенда, армянского, греческого, латинского, литовского, старославянского, готского и немецкого» было опубликовано в 1833 — 1852 гг.; второе, значительно переработанное, — в 1857 — 1861 гг. В 1866 — 1874 гг. появился французский перевод этой работы с предисловием М. Бреаля, в котором дается наиболее полное изложение теоретических взглядов Ф. Боппа.)

В 1818 г. появилась работа датчанина Расмуса Раска (1787 — 1832) «Исследование в области древнесеверного языка, или происхождение исландского языка». (Собрание его сочинений — Udvalgte afhandlinger — вышло в трех томах в Копенгагене в 1932 — 1935 гг.)

В 1819 г. — первый том «Немецкой грамматики» Якоба Гримма (1785 — 1863). (Второе, совершенно переработанное издание — в 1822 г. Все четыре тома были закончены к 1837 г. В 1840 г. Я. Гримм начал готовить третье издание своего труда, значительно его перерабатывая, но успел закончить лишь первую часть первого тома. Общетеоретические работы Я. Гримма по языкознанию собраны в первом томе «Мелких сочинений», вышедшем в 1864 г.)

В 1820 г. — работа А. Х. Востокова (1781 — 1864) «Рассуждение о славянском языке». (Из позднейших работ наибольшее значение имеет опубликованная в 1831 г. «Русская грамматика Александра Востокова, по начертанию его же сокращенной грамматики полнее изложенная».)

Названные работы широко используют опыт предыдущих исследований и частично некоторые ранее высказанные теории. (Это, в частности, относится к Ф. Боппу и Я. Гримму.) Именно поэтому содержащиеся в них чрезвычайно скупые и редкие общетеоретические рассуждения кажутся несколько наивными, а у Я. Гримма к тому же сильно затуманенными манерой изложения, в которой находит отражение его принадлежность к романтической школе. Но о научных заслугах перечисленных выше языковедов нельзя судить только на основании их теоретических суждений, так как они не отражают Достаточно адекватно их подлинных достижений. Главная ценность их работы заключается в практике научного исследования, образцы которого,

однако, не могут быть включены в настоящую книгу. Эти работы положительно характеризуются тем качеством, что они стремятся покончить с голым теоретизированием, которое было столь характерно для предыдущих эпох, и в частности для XVIII в. В них привлечен для научного исследования огромный и разнообразный материал. Но главная их заслуга заключается в том, что по примеру других наук они вводят в языкознание сравнительный и исторический подход к изучению языковых фактов, а вместе с тем вырабатывают новые конкретные методы научного исследования. Сравнительно-историческое изучение языков, которое проводится в перечисленных работах на разном материале (у А. Х. Востокова на материале славянских языков, у Я. Гримма — германских языков) и с разной широтой охвата (наиболее широко у Ф. Боппа), было тесно связано с формированием идеи о генетических отношениях индоевропейских языков. Применение новых методов научного исследования сопровождалось также конкретными открытиями в области структуры и форм развития индоевропейских языков; некоторые из них (например, сформулированный Я. Гриммом закон германского передвижения согласных или предложенный А. Х. Востоковым способ определения звукового значения юсов и прослеживание судьбы в славянских языках древних сочетаний *tj, dj* и *kt* в позиции перед *e, i*) имеют общеметодическое значение и выходят тем самым за пределы изучения данных конкретных языков.

Ф. Бопп в первой из своих работ («О системе спряжения санскритского языка»).рассматривает в сравнительном плане грамматические формы названных в заглавии языков, опираясь по преимуществу на санскрит, который в его *работе* впервые был привлечен для лингвистического исследования.

Он высказывает мнение, что на основе сравнения засвидетельствованных языков можно установить их «первобытное состояние». Выполнение этой задачи он поставил целью основной своей работы «Сравнительная грамматика». Опираясь также на санскрит, Ф. Бопп стремится здесь проследить развитие отдельных грамматических форм и по возможности найти их первоисточник.

Для последующего развития языкознания огромное значение имели не столько наблюдения Ф. Боппа над строем индоевропейских языков и его генетические построения (эта часть его трудов сравнительно быстро устарела), сколько выработанный им метод исследования. Сам Ф. Бопп указывал, что исследование родства языков есть не самоцель, а орудие проникновения в секреты развития языка. «Бопп задался целью открыть конечный первоисточник флективных форм, а вместо этого создал сравнительное языкознание» (О. Есперсен).

Р. Раек не ставил перед собой таких широких задач, как Ф. Бопп: он исследовал главным образом скандинавские языки, устанавливая родственные связи их с рядом индоевропейских языков, но не стремясь при этом к восстановлению первоначальных форм сравниваемых языков. Он, в отличие от Ф. Боппа, не привлекает санскрите значительное внимание уделяет как грамматическим, так и лексическим сопоставлениям, указывая при этом на необходимость учета в первую очередь лексики, связанной с самыми необходимыми понятиями, явлениями и предметами.

«Рассуждение о славянском языке» А. Х. Востокова является фактически первой работой по исторической фонетике одной из групп индоевропейских языков. Ее значение заключается как в тех конкретных выводах, которые делаются в отношении славянских языков (периодизация истории славянского и русского языков, отношение древнерусского языка к церковнославянскому, польскому и сербскому), так и в определении методов исторического изучения близкородственных языков.

В этом же направлении, хотя и в гораздо более широком масштабе, проводит свою работу в области германских языков Я. Гримм (название его работы — «Немецкая грамматика» — не отражает действительного ее содержания). Он не занимается никакими реконструкциями и не выдвигает никаких глоттогонических теорий (подобные теории он выдвигал позднее), но делает упор на исторический подход к изучению родственных языков и дает тща-

тельное и подробное описание всех грамматических форм германских языков в их историческом развитии.

«Немецкая грамматика» Гримма «...была первым описанием целой группы диалектов, начиная с самых древних засвидетельствованных форм, и тем самым послужила образцом для последующих исследований других групп диалектов, засвидетельствованных древними документами; самые мелкие подробности отмечаются в ней со старанием, или, лучше сказать, с благоговением; но тонкая и сложная игра действий и воздействий, которыми разъясняются языковые явления, еще полностью не освещена; это скорее собрание наблюдений, а не объяснений» (А. Мейе).

Следует отметить, что не все указанные работы оказали одинаковое влияние на дальнейшее развитие науки о языке. Написанные на языках, недостаточно известных за пределами их стран, работы А. Х. Востокова и Р. Раска[1] не получили того научного резонанса, на который они были вправе рассчитывать, в то время как работы Ф. Боппа и Я. Гримма послужили отправной точкой для дальнейшего развития сравнительно-исторического изучения индоевропейских языков.

ЛИТЕРАТУРА

Б. Дельбрюк, Введение в изучение языка, Петербург, 1904. Опубликована в «Трудах Петербургского университета» совместно с работой С. Булича «Очерк истории языкознания в России».

В. Томсен, История языковедения до конца XIX века, Учпедгиз, М., 1938.

А. В. Десницкая, Вопросы изучения родства индоевропейских языков, изд. АН СССР, М. — Л., 1955.

А. Мейе. Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков (приложение: «Очерк развития сравнительной грамматики»), ОГИЗ, М., 1938.

Д. Н. Овсянико-Куликовский, Бопп и Шлейхер, «Жизнь», 1900, № XI.

[1] В 1822 г. И. С. Фатер опубликовал на немецком языке вторую часть работы Р. Раска под названием «О фракийском языковом классе».

Ф. БОПП

О СИСТЕМЕ СПРЯЖЕНИЯ САНСКРИТСКОГО ЯЗЫКА В СРАВНЕНИИ С ТАКОВЫМ ГРЕЧЕСКОГО, ЛАТИНСКОГО, ПЕРСИДСКОГО И ГЕРМАНСКОГО ЯЗЫКОВ[1]

(ПРЕДИСЛОВИЕ)

Под глаголом, или verbum, в собственном смысле слова следует понимать ту часть речи, которая выражает соединение предмета с качеством и их отношения друг к другу.

В соответствии с этим определением глагол не имеет никакого реального значения, но есть только грамматическая связка между субъектом и предикатом, посредством внутреннего изменения которой обозначаются указанные существенные отношения.

Под это понятие подходит только один-единственный глагол и именно так называемый verbum abstractum — *быть,* esse. Но и у этого глагола, поскольку его функцией является выражение отношений между субъектом и предикатом, мы должны отделить понятие существования, которое он включает в себя; в своей грамматической функции ему не надлежит выражать существование субъекта, поскольку оно выражается вступающим в связь субъектом. Так, в предложении homo est mortalis (буквально: *человек есть смертен)* существование субъекта homo выражает не глагол est *(есть);* понятие существования содержится в качестве первого и основного признака в понятии, выражаемом словом homo, и к нему, так же как и к другим признакам, связываемым с понятием homo, присоединяется посредством связки est признак mortalis. В предложении der Gott ist seynd *(бог есть существующий)* слово seyn[2] выполняет две различные функции. В соответствии с первой оно в качестве грамматической связки обозначает только отношение между субъектом и предикатом; в соответствии со второй оно выражает качество, которое соединяется с субъектом.

Мне кажется, что только ввиду отсутствия полностью абстракт-

[1] Franz Bopp, Über das Conjugationssystem der Sanskritsprache in Vergleichung mit jenem der griechischen, lateinischen, persischen und germanischen Sprache, Frankfurt am Main, 1816.

[2] Seyn — архаическое написание немецкого глагола sein *(быть),* одной из форм которого является ist. *(Примечание составителя.)*

ного глагола в роли грамматической связки используется глагол, которому присуще понятие существования. Можно легко себе представить существование языка, имеющего лишенную всякого значения связку, посредством изменения которой выражаются отношения между субъектом и предикатом... Соединение субъекта со своим предикатом не всегда выражается посредством особой части речи, но может только подразумеваться; в этом случае отношения и дополнительные определения значения обозначаются посредством внутреннего изменения и флексией самого слова, выражающего атрибут. Изменяемые таким образом прилагательные составляют область глагола в обычном смысле.

Среди всех известных нам языков священный язык индийцев обладает наибольшими способностями к передаче самых различных отношений совершенно органическим образом — посредством внутренней флексии и изменения основы. Но несмотря на эту поразительную гибкость, он иногда присоединяет к корню verbum abstractum, вследствие чего основа и присоединенный verbum abstractum различаются в грамматических функциях глагола.

Среди языков общего с древнеиндийским происхождения нас должен удивлять прежде всего греческий той же способностью выражать различные отношения посредством флексии. В спряжении глагола он следует не только тому же принципу, что и санскрит, но употребляет те же самые флексии, которыми выражает те же самые отношения; он объединяет их в одинаковые tempora и соединяет тем же способом verbum abstractum с основой.

Латинский язык сходствует с индийским не меньше, чем греческий; в нем едва ли можно найти хоть одну выражающую отношение флексию, которая не была бы общей с санскритом. Однако в спряжении глагола соединение корня с вспомогательным глаголом является у него господствующим принципом. При этом соединении часть подлежащего определению отношения он выражает не посредством флексии основы, как это имеет место в индийском и греческом, но оставляет корень совершенно неизменным.

Целью настоящего исследования является показать, как в спряжении древнеиндийского глагола определения отношений выражаются соответствующими видоизменениями корня и как иногда verbum abstractum сливается с основой в одно слово, а основа и вспомогательный глагол различаются в грамматических функциях глагола; показать, далее, что в греческом мы имеем аналогичное положение, а в латинском стала господствующей система соединения корня с вспомогательным глаголом, и вследствие этого возникло кажущееся различие латинского спряжения от спряжения в санскрите и греческом, наконец, доказать, что во всех языках, которые произошли от санскрита или вместе с ним от общего предка, ни одно определение отношения не обозначается такой флексией, которая не была бы у них общей с упомянутым праязыком, а мнимые своеобразия возникают или вследствие слияния основы с вспомогательными словами в одно слово, или же в резуль-

тате производства из причастий tempora derivativa, употреблявшихся уже в санскрите, способом, которым в санскрите, греческом и многих других языках образуются verba derivativa.

Под языками, находящимися в близком родстве с санскритом, понимаю я главным образом греческий, латинский, германский и персидский. Поразительно, что бенгальский, который среди прочих новоиндийских наречий меньше всего пострадал от чуждых примесей, в грамматическом отношении обнаруживает меньше совпадений с санскритом, чем упомянутые языки, хотя он при этом сохранил значительное количество древнеиндийских слов. Процесса замены новыми органическими видоизменениями древнеиндийских флексий не происходило, но после того, как постепенно вымер смысл и дух этих последних, постепенно прекратилось и их употребление и tempora participialia (под которыми я понимаю отнюдь не описательные времена, как лат. amatus est) *заменили* времена, образовывавшиеся в санскрите посредством внутреннего изменения основы. Так, в новогерманских языках многие отношения выражаются описательно, тогда как в готском они обозначались флексией, так же как в санскрите и греческом.

Чтобы показать в полном свете истинность этого положения, в высшей степени важного для истории языка, необходимо прежде всего познакомиться с системой спряжения древнеиндийских языков, затем сравнительно рассмотреть спряжение в греческом, латинском, германском и персидском языках, устанавливая их тождественность и познавая одновременно постепенное и ступенчатообразное разрушение простого языкового организма, а также стремление заменить его механическими соединениями, вследствие чего создается впечатление нового организма, хотя в действительности наличествуют старые, но не узнаваемые нами элементы.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ГРАММАТИКА САНСКРИТА, ЗЕНДА, АРМЯНСКОГО, ГРЕЧЕСКОГО, ЛАТИНСКОГО, ЛИТОВСКОГО, СТАРОСЛАВЯНСКОГО, ГОТСКОГО И НЕМЕЦКОГО[1]

(ИЗВЛЕЧЕНИЯ)

В этой книге я намереваюсь дать сравнительное и охватывающее все родственные случаи описание организма указанных в заглавии языков, провести исследование их физических и механических законов и происхождения форм, выражающих грамматические отношения. Незатронутой остается только тайна корней или принципов наименования первичных понятий; мы не исследуем, почему, например,. корень *i* означает «ходить», а не «стоять»,

[1] F. Bopp, Vergleichende Grammatik des Sanskrit, Send, Armenischen, Griechischen, Lateinischen, Altslavischen, Gothischen und Deutschen, 2 Ausg., Berlin, 1857.

или почему комплекс звуков stha или sta означает «стоять», а не «ходить». Кроме того, мы стремимся проследить как становление, так и процесс развития языков, но таким образом, что те, кто необъяснимое, с их точки зрения, желает оставить без объяснений, найдут в этой книге, очевидно, меньше побудительных причин, чем можно было бы ожидать в связи с высказанными выше намерениями. В большинстве случаев первичное значение и тем самым происхождение грамматических форм устанавливается само по себе, посредством расширения нашего лингвистического кругозора и путем сопоставления родственных по происхождению явлений, в течение тысячелетий разделенных друг с другом, но тем не менее несущих на себе отпечаток несомненных семейных черт. В исследовании наших европейских языков действительно наступила новая эпоха с открытием нового языкового мира — и именно санскрита, относительно которого удалось установить, что он по своему грамматическому строению находится в самой тесной связи с греческим, латинским, германским и т. д. языками, в результате чего было создано твердое основание для понимания грамматической связи обоих названных классических языков и их отношений к германскому, литовскому, славянскому. Кто бы мог каких-нибудь 50 лет тому назад мечтать о том, что из далекого Востока к нам придет язык, который по совершенству своих форм не уступает, а иногда и превосходит греческий и оказывается способным внести ясность в борьбу диалектов греческого, указывая, в каких из них сохраняются древнейшие явления.

Отношения древнеиндийского языка к своим европейским родственникам настолько ясны, что они очевидны даже для того, кто бросает взгляд на эти языки издалека; но, с другой стороны, они бывают настолько скрытыми, настолько глубоко переплетенными с самыми тайными процессами языкового организма, что каждый привлекаемый для сравнения с ним язык кажется самостоятельным и мы вынуждены применять всю силу грамматической науки и грамматического метода, чтобы познать и представить различные грамматики как первоначальное единство.

Семитские языки более компактной природы и, если не говорить о лексике и синтаксисе, обладают в высшей степени экономичной структурой; они утеряли очень немногое, и то, что им было дано с самого начала, передали последующим временам. Трехчленный согласный корень, отличающий это семейство от прочих, вполне достаточен, чтобы выделять каждый принадлежащий к нему индивидуум. С другой стороны, родственная связь, охватывающая индоевропейские языки, не менее всеобща, но во многих отношениях бесконечно более тонкого характера. Члены этого семейства вынесли из своего более раннего состояния чрезвычайно богатое оснащение, а в безграничной способности к составлению и агглютинации располагают необходимыми средствами. Они смогли, потому что имели многое, многое утерять и тем не менее продолжать языковую жизнь. И в результате многократных потерь, много-

кратных изменений, звуковых отпадении, преобразований и передвижений древние члены одного семейства стали почти неузнаваемыми друг для друга.

Несомненным фактом остается по крайней мере то, что с наибольшей ясностью проявляющиеся отношения латинского к греческому хотя никогда и не отрицались, однако вплоть до настоящего времени толковались совершенно неточным образом, а также то, что язык римлян, который в грамматическом отношении можно сопоставить только с самим собой или же с языками того же семейства, и теперь все еще рассматривается как смешанный язык, так как он действительно обладает многим, что является свойственным греческому, хотя элементы, из которых возникли подобные формы, не чужды греческому и другим родственным языкам, как это я пытался доказать уже в своей «Системе спряжения». Если не считать многочисленных некритических сопоставлений слов без всякого принципа и порядка, то родство классических и германских языков, до того как обнаружились связующие азиатские звенья, оставалось почти совсем неустановленным, хотя знакомство с готским насчитывает уже более 150 лет. А готский столь совершенен по своей грамматике и столь ясен в своих отношениях, что если бы раньше существовало строго систематическое сравнение языков и описание анатомии языка, то давно было бы уже вскрыто, прослежено, понято и признано всеми филологами отношение его, а вместе с тем и всей совокупности германских языков к языкам греков и римлян. И действительно, что важнее и чего более можно требовать от исследования классических языков, как не сравнения их с нашим родным языком в его древнейшей и совершеннейшей форме? С того времени, когда на нашем лингвистическом горизонте появился санскрит, его элементы не представляется возможным исключать при глубоком грамматическом изучении родственных ему языковых областей, чего ранее не имели в виду даже самые испытанные и всеобъемлющие исследователи в данной области науки[1]. Не следует бояться того, что практическое и основательное изучение utraque lingua, что для филологов представляется наиболее важным, пострадает от распространения на слишком многие языки. Многообразие исчезнет, как только будет установлена действительная тождественность и поблекнут краски, придававшие

[1] Мы ссылаемся на в высшей степени важное суждение В. ф. Гумбольдта о безусловной необходимости санскрита для истории и философии языка. Было бы уместно вспомнить и слова Я. Гримма из предисловия ко второму изданию его замечательной грамматики: «В силу того, что благородное состояние латинского и греческого не во всех случаях способно оказать помощь германской грамматике, в которой слова обладают более простыми и глубокими звуками, более совершенная индийская грамматика, по меткому замечанию А. Шлегеля, может служить хорошим коррективом. Этот язык, относительно которого история свидетельствует как о наиболее древнем и наименее испорченном, может предоставить важнейшие правила для общего описания рода и видоизменить до настоящего времени открытые законы более поздних языков, не отменяя всех этих законов»

ей пестроту. Одно дело — изучать язык и другое дело — обучать ему, т. е. описывать его организм и механизм. Изучающий может придерживаться тесных границ и не выходить за пределы изучаемого языка, а взгляд обучающего, напротив того, не должен быть ограничен одним или двумя языками одного семейства, он должен собрать вокруг себя представителей всего рода, с тем чтобы внести жизнь, порядок и органическую связь в расстилающийся перед ним материал исследуемого языка,. Стремление к этому кажется мне справедливым требованием нашего времени, а последние десятилетия дали нам необходимые для того средства.

Так как в этой книге языки, о которых идет речь, трактуются ради них самих, т. е. как предмет, а не как средство познания, и так как она стремится дать физику и физиологию этих языков, а не введение в их практическое изучение, то некоторые подробности, которые не содержат ничего существенного для характеристики целого, опускаются, что освобождает место для более важного и более тесно связанного с жизнью языка. Посредством этого и на основе строгого метода, рассматривающего с единой точки зрения все взаимосвязанные и взаимообъясняющие явления, мне удалось, как я надеюсь, объединить в одно целое основные явления многих развитых языков и богатых диалектов исчезнувшего языка-основы.

В санскрите и родственных ему языках существует два класса корней; из первого и более многочисленного возникают глаголы и имена (существительные и прилагательные), которые находятся в родственной связи с глаголами, а не развиваются из них, не производятся ими, но вырастают совместно, как побеги единого ствола. Однако ради различения и в соответствии с господствующей традицией мы называем их «глагольными корнями»; глагол также находится в близкой формальной связи с ними, так как из многих корней посредством простого примыкания необходимых личных окончаний образуются все лица настоящего времени. Из второго класса возникают местоимения, все первичные предлоги, союзы и частицы. Мы называем этот класс «местоименными корнями», так как все они выражают местоименное значение, которое заключается в более или менее скрытом виде в предлогах, союзах и частицах. Все простые местоимения ни по их значению, ни по их форме нельзя свести к чему-либо более общему — их тема склонения[1] есть одновременно и их корень. Между тем индийские грамматики выводят все слова, включая и местоимения, из глагольных корней, хотя большинство местоименных основ уже и по своей

[1] Под темой склонения Ф. Бопп понимал неизменяемую основу. *(Примечание составителя.)*

форме противоречит этому, так как они в большинстве случаев оканчиваются на *-a,* а некоторые и состоят только из одного *a*. Среди же глагольных корней нет ни одного с конечным *-a,* хотя долгое *a* и все другие гласные, за исключением *âu,* встречаются в конечных буквах глагольных корней. Имеют место также случайные внешние совпадения, например *i* в качестве глагольного корня означает «ходить», а в качестве местоименной основы — «этот».

Глагольные корни, как и местоименные, состоят из одного слога, и признаваемые за корни многосложные формы содержат или редупликационный слог, как jâgar, jâgr — «бодрствовать», или сросшийся с корнем предлог, как ava-dhir — «презирать», или же развились из имен, как kumâr — «играть», которое я вывожу из kumâra — «мальчик». Кроме закона односложности, санскритские, глагольные корни не подлежат никаким дальнейшим ограничениям, и односложность может выступать во всевозможных формах, как в самых кратких, так и в самых распространенных, так же как и в формах средней степени. Это свободное пространство было необходимо, когда язык в пределах односложности должен был охватить все царство основных понятий. Простые гласные и согласные оказались недостаточными, необходимо было создать также и корни, где несколько согласных сливаются в нераздельное единство, выступая одновременно как простые звуки; например: stha — «стоять» есть корень, в котором давность слияния *s* и *th* подтверждается однозначными свидетельствами почти всех членов нашего семейства языков... Предположение, что уже в древнейший период языка было достаточно одного гласного, чтобы выразить глагольное понятие, доказывается тем замечательным совпадением, с каким почти все члены индоевропейского семейства языков выражают понятие «ходить» посредством корня *i.*

Если, следовательно, подразделение языков, проводимое Фридрихом Шлегелем, неприемлемо по своим основам, то в самой идее естественноисторической классификации языков заключается известный смысл. Мы; однако, предпочитаем с Августом Шлегелем устанавливать три класса, различая их следующим образом: во-первых, языки без настоящего корня и без способности к соединению и поэтому без организма, без грамматики. Сюда относятся китайский, который весь, как кажется, состоит из голых корней, грамматические категории, так же как и вторичные отношения главных понятий, узнаются в нем по положению слов в предложении. Во-вторых, языки с односложными корнями, способными к соединению, почти только этим единственным путем получающие свой организм, свою грамматику. Основной принцип словообразования в этом классе, как мне представляется, заключается в соединении глагольных и местоименных корней, которые совместно представляют и тело и душу. К этому классу принадлежит индоевропейское семейство и, кроме того, все прочие языки, если только они не подпадают под первый или третий класс и сохра-

няются в состоянии, которое делает возможным сведение форм слова к простейшим элементам. В-третьих, языки с двусложными глагольными корнями и тремя обязательными согласными в качестве единственного носителя основного значения. Этот класс-охватывает только семитские языки и образует их грамматические формы не посредством соединения, как второй класс, а только внутренней модификацией корня.

Из односложных корней возникают имена — существительные и прилагательные — посредством присоединения слогов, которые мы без соответствующего исследования не должны рассматривать как лишенные самостоятельного значения или как нечто подобное сверхъестественным существам; нам не следует отдаваться во власть пассивной веры в непознаваемость их природы. Несомненно, они имеют или имели значение, так как языковой организм соединяет значимое со значимым. Почему же языкам добавочные значения не обозначать также добавочными словами, присоединяемыми к корням? Все получает смысл и олицетворение посредством осмысленного и органического языка. Имена обозначают лица или предметы, к ним примыкает то, что выражают абстрактные корни, поэтому в высшей степени естественно среди словообразовательных элементов выделять местоимения как носители качеств, действий и состояния, которые корень выражает in abstracto. И действительно, как это мы покажем в главе о словообразовании, обычно обнаруживается полная тождественность между важнейшими словообразовательными элементами и некоторыми местоименными основами, которые в изолированном состоянии еще склоняются. Не следует удивляться, если некоторые словообразовательные элементы не представляется возможным с полной вероятностью объяснить на основе сохранивших свою самостоятельность слов; эти прибавления происходят из самых темных эпох доистории языка и поэтому в позднейшие периоды сами не способны определить, откуда они взялись, почему присоединенные суффиксы не всегда точно повторяют изменения, которые с течением времени осуществляются в соответствующих изолированных словах, или же изменяются, в то время как те остаются неизменяемыми. И все же в отдельных случаях обнаруживается поразительная верность, с какой присоединенные грамматические слоги сохраняются в течение тысячелетий в неизменном виде, что видно из того полного совпадения, которое имеет место в различных членах индоевропейского семейства языков, хотя они уже с незапамятных времен потеряли друг друга из виду и каждый член языковой семьи с тех пор был предоставлен собственной судьбе и опыту.

При историческом изучении языков, при определении более близкой или более далекой степени родства различных языков речь идет не о том, чтобы установить внешние различия в известных частях грамматики, а о том, чтобы выяснить, не обусловлены ли

эти различия общими законами и нельзя ли вскрыть те скрытые процессы, посредством которых язык от своего предполагаемого прежнего состояния пришел к своему нынешнему. Различия перестают быть различиями, как только устанавливаются законы; в силу которых то, что ранее имело определенную форму, либо должно было тем или иным образом перемениться, либо с известной свободой сохраняло прежний вид, либо на место старой формы ставило новую. Подобного рода законы, которые частично обязательны, а частично можно игнорировать, я надеюсь открыть в славянском и тем самым разрешить загадку отличия его типа склонения от типа склонения родственных ему языков.

P. PACK

ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ДРЕВНЕСЕВЕРНОГО ЯЗЫКА, ИЛИ ПРОИСХОЖДЕНИЕ ИСЛАНДСКОГО ЯЗЫКА[1]

О ПРОИСХОЖДЕНИИ ДРЕВНЕСКАНДИНАВСКОГО, ИЛИ ИСЛАНДСКОГО, ЯЗЫКА

Введение

... Религиозные верования, обычаи и традиции народов, их гражданские институты в древнее время — все то, что мы знаем о них, — в лучшем случае могут дать нам лишь намек на родственные отношения и происхождение этих народов. Вид, в каком они впервые являются перед нами, может послужить для некоторых выводов об их предшествующем состоянии или о тех путях, какими они достигли настоящего. Но ни одно средство познания происхождения народов и их родственных связей в седой древности, когда история покидает нас, не является столь важным, как язык. На протяжении одного человеческого поколения народ может изменить свои верования, традиции, установившиеся обычаи, законы и институты, может подняться до известной степени образованности или вернуться к грубости и невежеству, но язык при всех этих переменах продолжает сохраняться, если не в своем первоначальном виде, то во всяком случае в таком состоянии, которое позволяет узнавать его на протяжении целых тысячелетий. Так, например, греческий народ претерпел все превратности судьбы, но в речи греческого крестьянина еще можно узнать язык Гомера. В других странах, где обстоятельства были более благоприятными, язык изменился еще менее; так, арабы понимают то, что было написано по-арабски за много столетий до Магомета, а исландцы читают еще то, что писал Аре Мудрый и говорил Эйвин Скальд. Необходимо полное раздробление или уничтожение народа, чтобы язык был совершенно искоренён; даже насильственное подавление и сильнейшее смешение с чужими народами лишь спустя много столетий приводит к изменению языка, и обычно все

[1] R. Rask, Undersögelse om det gamie Nordiske eller Islandske Sprogs Oprindelse, Kjöbenhavn, 1818.

ограничивается лишь переходом в другой, тождественный, но более простой по своему грамматическому строю и более смешанный по своему характеру вид языка. Так, еще в VI в. нашей эры во Франции говорили на галльском языке, несмотря на огромные усилия римлян искоренить его, и еще до сегодняшнего дня говорят по-кимрски в Уэллсе, а в современном английском языке можно еще ясно распознать англосаксонский.

Происхождение языка издавна рассматривалось как важнейший фактор при определении происхождения народа и его древнейшего местонахождения; все цивилизованные нации, которые считают интересным для себя узнать о себе и своей древнейшей истории, должны были бы, как и мы, проделать исследования в этом направлении или хотя бы высказать по этому вопросу догадки; но этому предмету до сих пор во многих странах уделялось так мало внимания, что едва ли можно думать о более или менее полном научном исследовании происхождения древнего языка народа и всего того, что сюда относится.

ОБ ЭТИМОЛОГИИ ВООБЩЕ

... Как только берешься за исследование языка, так сейчас же замечаешь, что имеются две различные стороны, с которых он может быть рассмотрен, что соответствует двум частям языка. Первая из них — это грубая и свободная материя, без которой язык вообще не существует, другая состоит из более или менее разнообразных форм и связей, без которых материя может быть зафиксирована в письме, но без помощи которой народ не может говорить, да и сам язык не может быть создан; первая — это отдельные слова (лексика), вторая — это изменение их форм и способы связи, или строй языка (грамматика).

Если мы сравним несколько языков, стремясь к тому, чтобы это сравнение было полным и дало нам возможность судить об их родстве, древности и прочих отношениях, то мы должны непременно иметь в виду обе эти стороны языка и особенно не забывать о грамматике, так как опыт показывает, что лексические соответствия являются в высшей степени ненадежными. При общении народов друг с другом невероятно большое число слов переходит из одного языка в другой независимо от характера происхождения и типа этих языков. Так, например, значительное число датских слов попало в гренландский, а множество португальских и испанских слов — в малайский и тагалогский языки.

Грамматические соответствия являются гораздо более надежным признаком родства или общности происхождения, так как известно, что язык, который смешивается с другим, чрезвычайно редко или, вернее, никогда не перенимает форм склонения и спряжения у этого языка, но, наоборот, скорее теряет свои собственные. Так, например, английский язык не перенял форм склонения и спряжения у скандинавского или французского, но, напротив,

потерял многие древние англосаксонские флексии. Таким же образом ни датский язык не перенял немецких окончаний, ни испанский — готских или арабских. На эту сторону соответствий, являющуюся наиболее важной и значительной, до настоящего времени почти совершенно не обращали внимания при исследовании языка, что составляет самую большую ошибку большинства работ, написанных до сегодняшнего дня в этой области, и служит причиной того, что они являются столь сомнительными и имеют столь малую научную ценность.

Язык, имеющий наиболее богатую формами грамматику, является наименее смешанным, наиболее первичным по происхождению, наиболее древним и близким к первоисточнику; это обусловлено тем обстоятельством, что грамматические формы склонения и спряжения изнашиваются по мере дальнейшего развития языка, но требуется очень долгое время и малая связь с другими народами, чтобы язык развился и организовался по-новому. Так, датский язык в грамматическом отношении проще исландского, английский проще англосаксонского; такие же отношения существуют между новогреческим и древнегреческим, итальянским и латинским, немецким и мизиготским, и так же обстоит дело во всех известных нам случаях.

Язык, каким бы смешанным он ни был, принадлежит вместе с другими к одной группе языков, если наиболее существенные, материальные, необходимые и первичные слова, составляющие основу языка, являются у них общими. Напротив того, нельзя судить о первоначальном родстве языка по словам, которые возникают не естественным путем, т. е. по словам вежливости и торговли, или по той части языка, необходимость добавления которой к древнейшему запасу слов была вызвана взаимным общением народов, образованием и наукой; формирование этой части языка зависит от множества обстоятельств, которые могут быть познаны только исторически. Только с их помощью можно установить, заимствовал ли народ подобные элементы непосредственно из другого языка или сам создал их. Так, английский язык по праву причисляется к готской группе языков, и в частности к саксонской ветви, основной германской ее части, так как целый ряд слов английского словарного запаса является саксонским в своей основе... Следует отметить, что местоимения и числительные исчезают самыми последними при смешении с другим неоднородным языком; в английском языке, например, все местоимения готского, а именно саксонского, происхождения.

Когда в двух языках имеются соответствия именно в словах такого рода и в таком количестве, что могут быть выведены правила относительно буквенных переходов из одного языка в другой, тогда между этими языками имеются тесные родственные связи;

[1] Под готскими Р. Раск разумел германские языки. *(Примечание составителя.)*

особенно если наблюдаются соответствия в формах и строении языка, например:

греч.	φήμη	— лат.	fāma	греч.	ολκὸσ	— лат.	sulcus
	μήτηρ		māter		βολβὸσ		bulbus
	φήγὸσ		fāgus		αμόργη		ămurca
	πηλὸσ		pállus		ολκοσ		vulgus

Здесь мы видим, что греческое η часто в латинском переходит в *a*, а *ȯ* в *u;* известно, что, сравнивая множество слов, можно вывести большое число правил перехода, а так как в данном случае имеются большие соответствия также в грамматике обоих языков, то мы можем с полным правом заключить, что между латинским и греческим языками имеют место тесные родственные связи, которые достаточно хорошо известны и которых мы можем здесь больше не касаться.

Отдельные языки могут иметь очень значительное сходство с другими как в словарном составе, так и в грамматическом строе, но даже самые малые соответствия вряд ли могут быть открыты при переводе отрывка одного языка на другой. Поэтому очень опасно делать выводы относительно еще не установленных языковых соответствий по переводу «Отче наш» — способ, который так долго использовался и который Аделунг вновь употребляет в своем «Митридате»[1].

Язык следует знать, как и всякий другой предмет, если хочешь судить о нем, и вряд ли существует какой-либо окольный путь для достижения этой цели. Если сравнивать, таким образом, отрывок из греческого с хорошим латинским переводом его или наоборот, то едва ли можно подумать, что между этими языками имеются хотя бы самые отдаленные исторические или этимологические связи, доказывающие, что латинский язык почти целиком имеет своим источником греческий. Различные точки зрения, исходя из которых разные грамматисты рассматривают один и тот же предмет в двух языках, и различные способы, которыми они пользуются для выведения соответствия в них, могут очень легко ослепить того, кто сам не обладает основательными познаниями строения языка и его внутренней сущности...

Один язык может утерять одни слова из общего первоначального фонда, другой — другие, один может позже развить или приобрести одни новые слова, другой — другие, образуя их иным способом или заимствуя из иного источника. То же самое может иметь место и в отношении окончаний. В результате подобных

[1] «Митридат, или всеобщее языкознание» И. Х. Аделунга (1732 — 1806) представляет собой четырехтомный сборник переводов «Отче наш» почти на 500 языков и диалектов. Опубликован посмертно в период 1806 — 1817 гг. Фактически И. Х. Аделунгом обработан был только первый том и часть второго, а остальное — И.С. Фатером (1771 — 1826). *(Примечание составителя.)*

процессов беглому взгляду может показаться неодинаковым на вид то, что по существу является очень близким.

Но даже слова, являющиеся фактически тождественными в обоих языках, очень редко в них употребляются в той же самой связи, так как значение и употребление слов очень редко совпадают в двух даже близкородственных языках... В подтверждение сказанного можно было бы привести многочисленные примеры, но легче всего можно в этом удостовериться, если взять шведскую или немецкую книгу и перевести отрывок из нее на датский язык таким образом, чтобы по возможности повсюду употреблять те же самые слова; в результате мы получим, конечно, нестерпимый, а скорее всего и просто непонятный датский язык...

... Одно и то же слово может иметь не только разные значения в двух языках, когда, например, в одном случае оно расширено, в другом сужено, т. е. когда общее понятие в одном языке сведено в своем употреблении до частных случаев, а в третьем его употребление допустимо только в некоторых случаях, имеющихся в первом языке, или когда из буквального оно становится фигуральным или обособленным и т. п., — но иногда одно и то же слово в двух языках или даже в том же языке имеет прямо противоположное значение. Это бывает в тех случаях, когда основное значение нейтрально, но может употребляться иногда в положительном, иногда в отрицательном смысле; так, например, лат. hostis обозначало первоначально любого чужого человека, затем стало употребляться дифференцированно:

1) гость, отсюда в слав. языках: русск. *гость,* польск. gość, и т. д.; в готск. gast, исл. gestr; это употребление, возможно, из одного из этих языков перешло в латинский. Отсюда, кроме того, и латинское hospes, которое является лишь произносительным вариантом первого, как и франц. hôte и т. д.;

2) враг — значение, которое и удерживается в латыни. Примерами других примечательных изменений в значении являются: исл. frænde — родственник, нем. Freund — друг; исл. feigr — близкий к смерти, нем. feige — трусливый; исп. nenna — желать, датск. nænde — решаться, сметь; исл. geta — мочь, датск. gide — желать; исл. timi — время, датск. time — час; исл. kátr — веселый, радостный, датск., kåd — резвый, шаловливый, шведск. kåt — сладострастный, бесстыдный.

То, что здесь сказано о различии в значении родственных слов, применимо и к окончаниям, где различие также может быть очень велико, несмотря на установленное родство; о различии собственно форм или букв будет идти речь позже, когда будут рассматриваться окончания или формы склонения и спряжения, которые, конечно, также могут не совпадать. Один язык осуществляет небольшое изменение в одном направлении, другой — в другом, но каждый — по-своему; иногда один язык теряет одно, другой — другое, и оба притом могут развить или воспринять что-то новое; иногда один язык употребляет те же самые окончания для того, чтобы обозна-

чить иную связь между понятиями. Так, например, латинские аблативы стали именительными падежами в итальянском, испанском и португальском, точно так же исландские аккузативы стали именительными в датском и шведском языках. Это может иметь место также и в таких двух языках, которые имеют одинаковое число падежей или форм связи, а отсюда легко может быть объяснено то, что один язык требует другого окончания в ряде часто встречающихся случаев, чем другой, или что значение окончания с самого начала не было ясно определенным, но распространялось на много случаев. Так, в греческом форма вокатива ποιητα стала в латинском формой именительного poeta; в древнегреческом языке имелись обе формы. Точно так же формы латинских именительных падежей на *-о* стали формами аккузатива в исландском, где слова получили новую форму именительного падежа на *-а:*

лат.	passio	— исл.	passia,	аккузат.	passio	или	passiu
»	ordo	»	orda,	»	ordo	»	ordu

(см. Р. Рас к, Грамматика исландского языка, стр. 24).

Если одно и то же слово имеется во многих языках, то следует считать, что оно принадлежит тому языку, в котором оно выступает в своем наиболее необходимом, материальном и общем значении; например: шведск. pojke, датск. paag (мальчик) происходит, без сомнения, от финского pojca (сын, мальчик), так как оно имеет там гораздо более распространенное, древнее и необходимое значение...

Если в пределах одной группы слово встречается в одном или нескольких языках и совершенно неизвестно в остальных, но в другой, граничащей с ней группе языков встречается повсеместно, тогда совершенно очевидно, что оно перешло из второй группы языков в первую; например: kjeijte — левая рука и kjejthaandet — левша, из финно-лаппск. gjetta, лапл. gjat, фин. käsi, род. п. käden — руки и köttö — однорукий; исл. kot — дом, маленький хутор, финно-лаппск. guatte, лапл. kåte, фин. kota и т. п.

Если слово выступает изолированно в одном языке, без каких-либо очевидных связей и без производных слов или с очень небольшим их числом и, напротив, в другом языке имеет ясные связи (если оно является производным или сложным) или имеет целый ряд производных (если оно является корневым словом) и кажется, таким образом, совершенно вплетенным в язык, тогда можно заключить, что это слово перешло из второго языка в первый; например: исл. kinrok, датск. kjönrög — сажа из нем. Kien-rusz — сажа (смолистая); исл. skial — документ из финно-лаппск. zhial, а это последнее из топ zhiaellam — я пишу и др.; исл. bal — пламя, огонь, датск. et baal из финно-лаппск. buolam — жгу (нейтр.), boaaldam — сжигаю; датск. forstyrre из нем. stöhren, verstöhren, zerstöhren и др.

Если слово обладает формами изменения, свойственными языку данной группы, и такое слово встречается в другом языке, в строе которого не имеется форм склонения и спряжения, в которых слово нуждается, то в высшей степени вероятно, что оно перешло из последнего языка в первый. Так, исл. gamall, gömul, gamalt, датск. gammel — старый — не имеет степеней сравнения, так как формы ældre — старее и ældst — самый старый — образованы от положительной степени другого слова (нем. alt, älter, ältest), оно поэтому, возможно, произведено из древнееврейского корня elm...

При исследовании языка не следует думать, что можно выяснить подлинное происхождение всех слов; многие слова являются корневыми, и для них можно указать только побочные слова в другом языке и родственные или производные слова в самом языке. Они максимально используются, если с их помощью вскрываются следы древнейшей формы и первичного значения, или, короче, основная форма и основное значение целой группы связанных между собой слов. Впрочем, не следует приводить это самое слово из других языков при условии, если будет доказано, что оно в одном из них древнее и отсюда, очевидно, перешло в тот язык, о котором идет речь. Например, если указать, что исл. betur, betri (betst), bezt (bestur), beztur — это то же самое слово, что и датск. bedre — лучше, best — самый лучший, англ. better, best, нем. besser, best и т. д., то это ничему не поможет, так как это не приблизит нас к источнику; но если доказать, что это слово является тем же самым, что и греч. βελτιον, ψν; βελτιστον, οσ, η, то это будет иметь уже определенную ценность, поскольку греческий более древен, чем исландский, и ближе к первоисточнику, если только сам не является источником общих элементов.

Корневые слова характеризуются краткостью, простотой и материальностью значения. Имея дело со сложным или производным словом, можно получить основное слово, причем, возможно, древнейшее из сохранившихся. При этом следует все же от слогов производящих отличать короткие окончания или формообразующие слоги, с помощью которых слова сначала включаются в язык, а затем принимают в соответствии со своей природой формы склонения или спряжения; например, греч. φιλοσ, исл. vinur не следует называть производными словами, несмотря на οσ и ur, так как они являются лишь признаками именительного падежа; напротив, слово ămīcus является производным, так как us — это только окончание, но icus является производной формой, общей для многочисленных слов в латинском языке; мы стремимся все же отыскать более краткий корень, который, по-видимому, обнаруживается в слове ămo. В исл. vingast — вступать в дружбу -st есть окончание, -ga- — производный элемент и vin- — корень.

Когда сравниваются слова, следует отделять корень от всех остальных частей; если корни совпадают, то родство слов неопровержимо, какими бы несхожими ни были производные слоги или

окончания. Но особенно тщательно нужно следить за тем, чтобы не затронуть или не разрушить сам корень, который выступит тогда в ложном виде и запутает наблюдателя. Если взять, например, omhyggelig — заботливый, старательный, то от- является предлогом, входящим в состав сложного слова, -elig — производным окончанием, как в glaedelig — радостный, visselig — конечно, наверное и т. д., но *g* удвоено, так как оно стоит между двумя гласными, а *y* в производных словах часто происходит из *u.* Таким образом, корень имеет вид hug (или hyg), который довольно ясно может быть выведен из исл. hugr — ум, сознание, ad hyggia — думать, omhyggelig — тот, кто думает о чем-то, у кого ум и сознание направлены на что-то, кто заботится о чем-то. Исландцы говорят hugsa urn там, где датчане говорят at tænke på.

Когда, таким образом, слова оказываются освобожденными от всех добавлений, то их оказывается возможным сравнить между собой; здесь следует быть чрезвычайно осторожным, чтобы не смешать неродственные слова или не спутать корень слова в его древнейшей форме с новым и широко распространенным словом в другом языке; здесь нет иного средства помощи, кроме значения. Как мы видели из предшествующего, оно не обязательно должно быть то же самое, но значения сопоставляемых слов все же должны находиться в известном родстве и связи друг с другом, так как если значение в одном слове совершенно чуждо значению другого, то они неродственны друг с другом. Показательным в этом отношении является приведенный выше корень hug, который ни в малейшей степени не родствен с датским словом et Hug — удар, толчок, весьма распространенным в современном датском языке; оно является производным от hugge — ударить, бить, исл. högg — удар из höggva — рубить; эти оба значения не имеют ничего общего между собой.

В словах, которые мы считаем идентичными в разных языках, не только значения и окончания должны не совпадать, но и вся форма их корней может иметь все буквы совершенно иные; если бы все эти три части, а именно значение и обе формы — окончание и корень — были совершенно общими, то это было бы одно и то же слово того же самого языка. Различие в одной из этих частей делает их не одним и тем же словом одного языка. Бесконечное разнообразие человеческих группировок и формирований, различие в строе чувств и образе мыслей делают легко понятным, что вся совокупность понятий и представлений, обозначаемая и хранимая языком того или иного народа, может быть совершенно тождественной у разных, иногда далеких друг от друга народов. Разнообразие человеческой речи, различное устройство органов речи, которое позволяет признать иностранца, стоит поговорить с ним один только раз, даже и не видя его, делают естественным, что множество слов у различных народов получает почти бесконечные видоизменения в произношении и форме.

ОБ ИСТОЧНИКЕ ГОТСКИХ ЯЗЫКОВ, В ЧАСТНОСТИ ИСЛАНДСКОГО

...Список слов, которые, по-видимому, имеют тесные родственные связи во фракийских[1] и готских языках, особенно в исландском, может быть легко увеличен, но я опускаю многие слова, очевидно тождественные в обеих языковых группах, каковыми, например, являются все междометия: греч. ουαι, лат. vae, исл. vei, откуда vein и kvein наряду с veina и kveina; греч. αι, исл. æ (читай aj); греч. φευ, датск. fy и многие другие. Я отбираю слова не столько по легкости, с какой можно увидеть их сходство, сколько по значению, чтобы показать, что первейшие и необходимейшие слова, обозначающие элементарные предметы мысли, являются идентичными в обеих группах языков. С этой целью я и распределил их по разрядам. Я не считаю, что все согласятся со мной в отношении всех этих слов, но если даже отбросить некоторые вызывающие сомнение, то все же из 352 слов (а считая и приведенные выше 48 — 400 слов) останется такое количество, что они вместе с грамматическими параллелями, приведенными выше, смогут быть доказательными в такой же степени, как и 150 слов с грамматическими замечаниями, которые Sainowicz привел для «доказательства» близости венгерского и лаппского языков, что, насколько мне известно, ныне никто не отрицает.

Соответствия, которые мы нашли в словарном составе и строе языка, согласуются с недвусмысленными историческими свидетельствами о переселении наших предков на север из Скифии; в частности, это относится к последней основной волне поселенцев, которые принесли нам из Tanais язык, поэтическое искусство и руны, имеющие столь бросающееся в глаза сходство с древнейшим финикийско-греческим алфавитом. По-видимому, скандинавы и германцы являются ветвями великого фракийского племени и их языки происходят также из этого первоисточника. Это совпадает и с тем, что известно о языке латышского племени и его отношении к греческому. Латышское племя является ближайшей ветвью фракийского, затем скандинавского и германского; последний, очевидно, находится в более далеких связях, что вполне естественно вследствие того, что местопребывание наших предков находилось на юго-востоке; но это различие не столь велико, и оба языка, очевидно, были рядом друг с другом. Однако ни в коем случае скандинавское племя не может считаться происходящим от фракийского, косвенно через германское, что противоречит и истории и внутренней сущности языка. Но, с другой, стороны, никак нельзя сказать, что исландский происходит от греческого. Греческий не является древним чистым фракийским; меньше всего, говоря о греческом, можно ограничить себя аттическим, так как он является одной из позднейших разновидностей греческого и совсем не той, где родство выступает яснее всего. Насколь-

[1] Под фракийскими языками Р. Раск разумеет греческий и латинский *(Примечание составителя.)*

ко аттический имеет преимущество в образовании и благозвучии, настолько дорический и эолийский — в древности и важности для науки о языке. Если бы эти последние были утеряны, то едва ли идентичность с латинским, или, скажем, с исландским была бы удовлетворительно доказана. На основании всего сказанного мы считаем возможным заключить, что исландский, или древне-северный, имеет своим источником древний фракийский язык; во всяком случае в своей основной части он произошел от языка великого фракийского племени, древнейшими и единственными остатками которого являются греческий и латинский, вследствие чего эти языки следует рассматривать как его источник. Но для его полного этимологического разъяснения большое значение имеют латышские и славянские группы языков. Кроме того, значительное влияние оказывает также финский язык.

АЗИАТСКИЕ ЯЗЫКИ

Мы замкнули круг и рассмотрели все окружающие нас языки, а также обнаружили источник древнесеверного языка; вместе с тем можно допустить, что существует еще более близкий его источник; идя в этой связи далее, мы находим на юго-востоке так называемую остерландскую группу языков. Мы уже видели, что различные слова, а возможно и окончания, могут найти четкое объяснение на основе данных этой группы и что некоторые слова этой группы языков ближе готским языкам, чем фракийские...

Но так как языки остерландской группы имеют совершенно иную структуру и совершенно иное строение, чем готские языки, как в образовании слов и форм, так и в изменении как имени, так и глагола (это слишком хорошо известно, для того чтобы мне нужно было описывать и развивать это далее), то подобное сходство не может быть объяснено не чем иным, как заимствованием. Эти заимствования имели место в древнейший первобытный период существования племен. Ни один непредубежденный человек не сможет сравнить подобные совпадения в отдельных немногих словах с прочным родством и тесным единством с фракийской группой языков, не говоря уже о том, что он отдаст ей предпочтение при определении источника готских языков. На северо-востоке мы встречаем другую примечательную группу языков — армянскую.

Одной из многочисленных ошибок Аделунга, обесценивающей «Митридат» и делающей его пригодным для употребления только в качестве литературного источника, является утверждение, что это племя вообще не стоит ни в какой связи с фракийским.

Армянские языки, напротив, кажутся гораздо ближе к готским, чем остерландские; по крайней мере слова, обозначающие ближайшее родство, и подобные им, у них общие. Это свидетельствует, как кажется, о настоящем, хотя и очень отдаленном, родстве между языками. Правда, армянский язык слишком далек, чтобы его можно было признать источником фракийского или готского.

Он, кроме того, настолько неизвестен и недоступен, что в наших условиях не стоит его исследовать подробнее; это едва ли приведет нас ближе к цели. Но так как армянский язык, по-видимому, не прерывает линии родства, то, возможно, все же было бы интересно пойти далее, до тех пор пока связи прервутся. И действительно, наряду с остерландскими и армянскими языками мы находим очень большое племя и языковую группу, или, возможно, вернее сказать, две группы — персидскую и индийскую, каждую из которых определяли как источник германской группы. Санскрит, зендский, пехлевийский и персидский языки являются основными частями этой необыкновенно большой семьи.

Бесспорно, что эти языки имеют много бросающихся в глаза сходств с германскими и северными языками, но все же в большинстве случаев это тождество не непосредственное, а идущее через фракийские языки. Но так как можно утверждать с определенностью, что никто из тех, кто выдвинул эти предположения, не оценил всего значения трех древних основных языков готской группы (именно исландского, англосаксонского и мизиготского), не говоря уже об индийских и персидских языках, и так как, далее, для того чтобы доказать подобный тезис, требуется тщательнейшее исследование обоих сравниваемых предметов, то едва ли можно то, что основывается лучше на некоторой части схожих слов и отдельных грамматических совпадениях, принимать за что-либо большее, нежели за предубежденность или по крайней мере за недоказуемую, хотя и интересную догадку. Эта догадка недоказуема уже потому, что на индийских и персидских языках имеется очень мало памятников и совсем нет грамматик или словарей, а если что и имеется, например на санскрите, который является древнейшим и важнейшим из всех указанных языков, то это слишком недоступно или недостаточно.

Мы видели на примере финской группы, какое большое число слов и даже грамматических окончаний может совпадать в языках, не связанных подлинным родством. Поэтому, слишком опрометчиво доверившись совпадениям, рискуешь тем, что при более глубоком ознакомлении с языком откажешься от своих гипотез, или тем, что вызовешь улыбку. То немногое, что может быть добыто предварительной работой, ни в коей мере не достаточно, чтобы доказать, что одна группа языков произошла от другой, особенно если этому противоречит значительное различие между племенами в области религии, обычаев и общественных установлении, известных нам так же давно, как и оба племени.

Кроме того, уже географическое положение стран свидетельствует о том, что индийский или персидский языки не могут быть подлинным источником, из которого берет начало исландский язык. Нет никаких исторических свидетельств, что наши предки вышли из Индии или Персии; напротив, все обстоятельства указывают на фракийское племя, откуда, как мы выше нашли возможным заключить, и произошло северное племя. Но это племя имело, конечно,

как и всякое другое, свой корень, и не так уж невероятно, что индийское племя и является таким корнем, достойным того, чтобы его познали и исследовали, если он только не слишком глубоко скрыт под землей. Пока же мы будем довольствоваться ближайшим и ясным источником нашего древнего языка и предоставим греческим ученым исследовать, откуда ведет свое подлинное происхождение фракийская группа. Но мы уверены, что и им не нужно будет идти далее индийских языков, так как цепь прерывается на одном конце односложными языками, на другом конце — малайской и австралийской языковыми группами, которые со своей стороны ограничены великим Мировым океаном. Обе эти широко распространенные группы языков отличаются, как небо от земли, от готской, фракийской и индийской групп языков.

А. Х. ВОСТОКОВ

РАССУЖДЕНИЕ О СЛАВЯНСКОМ ЯЗЫКЕ, служащее введением к грамматике сего языка, составляемой по древнейшим оного письменным памятникам

(ИЗВЛЕЧЕНИЯ)

Довольно уже писано о языке славянском, или, вернее, словенском, на который преложены в IX в. церковные книги для болгар и для моравов.

Сочинитель рассуждения, помещенного в VII части Трудов нашего Общества, *О славянском и в особенности церковном языке* заключает весьма основательно, что язык, на который преложены священные книги, не мог быть коренным или первобытным языком всего народа славянского, разделенного тогда на многие племена и на великом пространстве Европы рассеянного: он был наречием одного какого-нибудь племени. Но какого именно? — Сербского, — думает ученый Добровский, а с ним и сочинитель помянутого рассуждения.

Оставляя теперь рассмотрение доводов, на коих мнение сие утверждается, почитаю нужным сказать нечто о самом строении, или грамматике, сего языка в древнейшем его виде и заметить перемены, каким он в течение веков подвергался. Следуя за таковыми переменами в строении слов и в правописании языка славянского от древнейших письменных памятников до новоисправленных печатных книг церковных, после коих язык сей никаких уже дальнейших перемен не принимает, можно разделить оный по постепенным его изменениям с течением столетий на древний, средний и новый.

Древний язык заключается в письменных памятниках от IX и за XIII столетие. Он неприметно сливается с языком средним XV и XVI столетий, а за сим уже следует новый славянский, или язык печатных церковных книг.

Новый язык утратил многие формы грамматические, которые обогащали древний славянский и которые открываются еще и в среднем языке; но принял зато другие, заимствованные частью из образовавшихся между тем живых языков — русского, сербского, польского, коим говорили переписчики книг, частью же и изобретенные позднейшими грамматиками. Как переписчики, так и грамматики имели свои причины переменять, или, по их мнению,

поправлять, язык уже мертвый, в книгах только сохранявшийся. Одни почитали нужным заменить невразумительные для них слова или окончания употребительными в их время и на их диалекте, чтоб быть понятными для народа, среди коего писали. Другие самопроизвольными переменами думали придать правильность языку, который в доставшихся им книгах, может быть, действительно был искажен неучеными переписчиками или коего древние, правильные формы могли показаться им ошибками переписчиков, когда они в их время были уже неупотребительны и притом еще когда они не подходили под правила греческой и латинской грамматики.

Между тем видно по рукописям XIV даже столетия, что сей язык, на который переложены библейские книги, был не только у сербов, как полагает Добровский, но и у русских славян едва ли не в общенародном употреблении! Замечавшие большую разность между древним русским языком, коего остатки находят в *Русской правде,* в *Слове о полку Игореве* и проч., и между церковнославянским, разумели, конечно, под сим последним язык печатных церковных книг. Они бы не сказали того о древнем церковнославянском. Разность диалектов, существовавшая, без сомнения, в самой глубокой уже древности у разных поколений славянских, не касалась в то время еще до склонений, спряжений и других грамматических форм, а состояла большею частью только в различии выговора и в употреблении некоторых особенных слов. Например, русские славяне издревле говорили *волость* вместо *власть, город* вместо *град, берег* вместо *брег* и пр. *Щ* в словах *нощь, пещь, вращати* и пр. заменяли они издревле буквою *ч: ночь, печь, ворочати,* так, как поляки в тех же случаях *щ* заменяют буквою *ц:* noc, piec, wracać, а сербы ћ (ть): нойћ, њеђ, врайати. Таким же образом церковнославянское *жд* заменяется у русских одинаким *ж: вожь* вместо *вождь, дажь* вместо *дождь,* у поляков — dz: wodz, у сербов ђ (дь): вођ. Русские не имели также звуков, выражаемых буквами ѫ, ѧ кирилловской азбуки, а вместо оных у, ѣ выговаривали.

Особенные слова, коими отличался русский диалект от церковнославянского в древнем оного периоде, были некоторые частицы, местоимения, наречия и тому подобные; например, *оже* вместо *еже, аже* и *аче* вместо *аще, ать* вместо *да, оли* и *олны* вместо *даже до* и проч.

Но чем глубже в древность идут письменные памятники разных славянских диалектов, тем сходнее они между собою. Крайнский язык X столетия, сохранившийся в некоторых отрывках, найденных в Баварии (см. Добровского Slovanka, 1,249), вообще весьма близок к церковному славянскому языку.

Собрание богемских древних стихотворений XII и XIII столетий, изданное в 1819 г. в Праге под заглавием Rucopis Kralodworský, имеет многие разительные сходства в оборотах и в строении языка даже с русским того же времени, при всем том, что чехи

и русские славяне принадлежат к двум разным поколениям, к западному и восточному, издревле разделенным некоторыми отменами диалекта.

По сему почти заключать можно, что во время Константина и Мефодия все племена славянские, как западные, так и восточные, могли разуметь друг друга так же легко, как теперь, например, архангелогородец или донской житель разумеет москвича или сибиряка.

Грамматическая разность диалектов русского, сербского, хорватского, между славянами восточного племени, стала ощутительною уже спустя, может быть, 300 или 400 лет после преложения церковных книг и потом, увеличиваясь с течением веков и с политическим разделением народов, дошла, наконец, до той степени, в какой мы видим ее ныне, когда каждый из сих диалектов сделался особенным языком. То же происходило с диалектами западного племени, с богемским, польским, лузатским и проч., кои, однако ж, остававшись всегда в ближайшем соседстве одни с другими, кажется, не столь много потеряли сходства между собою.

Каждый из новославянских языков и диалектов сохранил какие-нибудь особенные, потерянные другими слова, окончания и звуки общего их прародителя, древнего словенского, как сие можно видеть, сличая их грамматики и словари с памятниками, от древнего языка оставшимися. С помощью такового сличения, полагая в основание древнейший известный мне памятник языка и письма славянского — *Остромирово евангелие,* я постараюсь изложить грамматику древнего славянского языка. Льщусь надеждою, что сей труд может быть полезен не только при составлении этимологического словаря славянского, коему грамматика необходимо должна предшествовать, но также при будущем исправлении или пополнении и грамматик в новых языках, происшедших от славянского.

Возвращаюсь к принятому мною разделению церковного славянского языка на древний, средний и новый. Мы имеем доселе только сего последнего языка грамматики. Дабы дать читателю понятие, чем отличается древний славянский язык от нового и какие постепенные изменения слов и окончаний образуют переход от древнего к новому, т. е. средний язык, покажу здесь некоторые главнейшие особенности языка древнего и последовавшие в оном перемены...

Не одни сербы (мы говорим здесь об ученом духовенстве), но и другие славяне и даже неславяне греческого исповедания, например волохи, отправляющие богослужение по славянским церковным книгам, пишут хорошо на церковном славянском языке, как я имел случай видеть по некоторым бумагам. Язык сей, коему они смолоду учатся, сделался для них книжным языком так, как для западного духовенства латинский. В таком же употреблении был славянский язык в России между духовенством, пока народный

русский язык не сделался книжным. Нынешний же сербский едва ли не более всех восточнославянских диалектов отдалился от церковного славянского, так что трудно поверить непосредственному его просхождению от оного. Правда, что и русский простонародный язык весьма несходен стал не только со славянским, но даже с русским же книжным языком, обогатившимся многими словами из церковнославянского и поправляющим по оному выговор свой и правописание. Если бы русский язык с самого начала не находился в беспрестанном соотношении с церковным славянским, а предоставлен бы был своему собственному ходу и изменению так, как, например, краинский, лузатский и другие диалекты, на коих писать стали в новейшие только времена, то и мы, может быть, теперь писали бы, соображаясь с народным выговором: *маево, тваево* или еще *маво, тваво* вместо *моего, твоего; фсево* вместо *всего; хто, што* вместо *кто, что* и тому подобное. Какому бы диалекту первоначально ни принадлежал язык церковных славянских книг, он сделался теперь как бы собственностью россиян, которые лучше других славян понимают сей язык и более других воспользовались оным для обогащения и для очищения собственного своего народного диалекта.

Я. ГРИММ

ИЗ ПРЕДИСЛОВИЯ К „НЕМЕЦКОЙ ГРАММАТИКЕ”[1]

... Мною сильно завладела мысль предпринять составление исторической грамматики немецкого языка, даже если бы ей, как первой попытке, было суждено через непродолжительное время оказаться превзойденной последующими работами. При внимательном чтении древненемецких источников я ежедневно открывал такие формы и совершенства языка, из-за которых мы обыкновенно завидуем грекам и римлянам, когда оцениваем свойства нашего теперешнего языка; следы, которые в современном языке еще сохранились в обломках и как бы в окаменелом виде, стали мне мало-помалу ясными, и резкие переходы сгладились, когда явилось возможным связать новое со средним и среднее с древним. Вместе с тем обнаружились самые поразительные сходные черты между всеми родственными наречиями, равно как и не замеченные до сих пор отношения их отличий. Мне казалось весьма важным проследить до мелочей и изобразить эту непрерывную распространяющуюся связь; осуществление плана я представил себе настолько совершенно, что сделанное пока мною остается далеко позади его.

...В грамматике я чужд общелогических понятий. Они, как кажется, привносят с собой строгость и четкость в определениях, но они мешают наблюдению, которое я считаю душой языкового исследования. Кто не придает никакого значения наблюдениям, которые своей фактической определенностью первоначально подвергают сомнению все теории, тот никогда не приблизится к познанию непостижимого духа языка. И в этой области можно обнаружить два различных направления, одно сверху вниз, а другое снизу вверх; оба они обладают своими достоинствами. Возможно, греческие и римские грамматики с высоты расцвета их языков имели бы основание подвергать сомнению посягательство немецкого языка на такую же тонкость и совершенство. Однако так же, как возвышенное состояние латинского и греческого

[1] Jacob Grimm, Deutsche Grammatik. Erster Theil. Первое издание в 1819 г., второе, совершенно переработанное, — в 1822 г.

не во всех случаях способно удовлетворить немецкую грамматику, в которой отдельные струны звучат еще чище и глубже, точно так же, по меткому замечанию А. Шлегеля, и во многом более совершенная индийская грамматика не может служить коррективом этим двум последним. Диалект, который нам история представляет в виде самого древнего и наименее испорченного, должен устанавливать правила для общего описания всех разветвлений племени и преобразовать уже вскрытые законы более поздних наречий, не уничтожая их при этом. Мне представляется, что наша немецкая грамматика скорее выигрывает, чем проигрывает от того, что изучение ее следует начинать снизу вверх. Тем самым она сможет лучше способствовать описанию общей и вместе с тем детальной картины, если даже при этом некоторые из ее первоначальных правил в результате более глубокого познания должны будут быть определены иным образом.

... Мне думается, что развитие народа необходимо для языка независимо от внутреннего роста этого последнего; если он не хиреет, он расширяет свои внешние границы. Сказанное объясняет многое в грамматических явлениях. Диалекты, которые по своему положению находятся в благоприятных условиях и не притесняются другими, изменяют свои флексии медленнее; соприкосновение нескольких диалектов, если даже при этом побеждающий обладает более совершенными формами в силу того обстоятельства, что он, воспринимая слова, должен выравнять свои формы с формами другого диалекта, способствует упрощению обоих диалектов. Это явление может быть исследовано только посредством точного сравнения всех немецких диалектов, что здесь неуместно.

О ПРОИСХОЖДЕНИИ ЯЗЫКА[1]

(ПРОЧИТАНО В АКАДЕМИИ НАУК 9 ЯНВАРЯ 1851 г.)
(ИЗВЛЕЧЕНИЯ)

Каково бы ни было наше отношение к тем результатам, которые могли быть достигнуты и были достигнуты в 1770 г.[2], нельзя никак отрицать того, что с тех пор положение в языкознании существенно или полностью изменилось. Уже поэтому попытка дать новый ответ на этот вопрос, как он нам в настоящее время представляется, является желательной, так как на любом предмете, который подвергается философскому или историческому рассмотрению, должно сказаться благое влияние более тщательной его разработки и

[1] J.Grimm, Über den Ursprung der Sprache. Kleinere Schriften. Erster Band, Berlin, 1864.
[2] Речь идет о книге Гердера «Рассуждение о происхождении языка» (Abhandlung über den Ursprung der Sprache), которая была опубликована в 1772 г. *(Примечание составителя.)*

более совершенного анализа. Сейчас все лингвистические штудии находятся в несравнимо более выгодном положении и имеют куда лучшую базу, чем в то время; можно сказать даже, что они развились в настоящую науку только в нашем столетии. Характер изучения классических языков в прошлом, да фактически и в настоящем (хотя он уместен для иных высоко ценимых мной целей филологии) никогда не приводил даже случайно к общим и решающим выводам относительно соотношения языков между собой. Пытались проникнуть в сущность латинского или греческого языка настолько, насколько это было необходимо для понимания духа драгоценных и достойных восхищения во все времена памятников, в которых эти языки нашли свое отражение и в которых они дошли до нас; а для того чтобы овладеть этим духом, нужно чрезвычайно много. Мощное внешнее проявление и форма языка оказались подчиненными этой цели. Классическая филология относилась в известной мере равнодушно к тому, чтобы понять, какие моменты в ней выходили за пределы речевого обычая, поэтического искусства и содержания произведений, и из всех более тонких и детальных наблюдений ценными ей казались почти исключительно такие, которые каким-либо образом способствовали созданию более твердых правил критики текстов. Сам по себе внутренний строй языка привлекал мало внимания и словно предполагался в своей красоте и богатстве, почему даже самые примечательные лексические явления, представлявшиеся по своим понятиям ясными, в большинстве случаев оставались нерассмотренными. Подобно тому как полновластно распоряжающийся родным языком и безупречно владеющий им художник не нуждается почти ни в каких сведениях о его внутреннем строе и тем более о его исторических изменениях и только иногда ищет какое-нибудь редкое слово, которое он употребляет в подобающем месте, так и грамматист лишь в порядке исключения искал какую-нибудь странную для него форму корня слова, рассматривая ее как материал для упражнения в своем искусстве. В этом причины того, почему проводимое в течение многих веков неустанное внимательное изучение латинского и греческого языков в школе и в кабинетах ученых достигло наименьших успехов в области элементарной морфологии и принесло плоды только для почти наполовину не принадлежащего грамматике синтаксиса. Не умели четко сопоставить строй обоих языков и с равным правом объяснить взаимно факты одного языка фактами другого (а ведь именно к этому настоятельно побуждали оба этих классических языка), потому что ошибочно считали латинский язык покорной дочерью греческого; еще меньше были в состоянии помочь занять подобающее место нашему родному языку, которому повсюду в школе приходилось выполнять вспомогательную работу в качестве бесправного поденщика, не говоря уже о том, чтобы рассматривать его как третий основной предмет, хотя как по трем заданным точкам можно построить фигуру, так и из соотношения трех родственных языков можно вывести закон их жизни.

Многократно и не без основания изучение языков ставили рядом с изучением естественной истории; они сходны друг с другом даже по характеру своих худших и лучших методов. Бросается в глаза, что как филологи в прежнее время исследовали памятники классических языков для вывода критических правил исправления поврежденных и испорченных текстов, так и ботаники первоначально прилагали свою науку для открытия целебных сил в отдельных травах, а анатомы вскрывали трупы, чтобы получить точные сведения о внутреннем строении и, опираясь на них, восстанавливать расстроенное здоровье. Материал привлекал к себе не как таковой, а как средство. Но постепенно назревало изменение во взглядах и методах. Естественным является и подтверждается на опыте то обстоятельство, что люди проходят мимо знакомых фактов, ежедневно представляющихся их взору, а чужое и новое гораздо сильнее притягивает их внимание и побуждает к наблюдению. Поэтому позволительно утверждать, что с путешествиями за границу, с появлением в наших садах чужих редких растений, с переселением многих видов животных из далеких частей света в Европу науки изменили свой характер и при изучении этих предметов они отошли от названных практических целей и вступили на путь более беспристрастных, но потому и более научных исследований. Ведь истинным признаком науки является как раз то, что она стремится к всесторонним результатам и ищет, находит и подвергает тщательнейшему испытанию каждую видимую особенность вещей, не думая о том, что из этого получится. Как мне кажется, языкознание подверглось столь же основательному преобразованию на том же пути; вступление на который означало для науки о строении растений и животных отход от прежней ограниченной точки зрения и возвышение до сравнительной ботаники и анатомии. Несомненно, что с появлением составленного в 1787 — 1790 гг. по указу императрицы Екатерины Петербургского словаря[1], хотя он и был построен на еще очень неудовлетворительной основе, сравнение языков вообще получило толчок к дальнейшему действенному развитию...

... Совершенство и поразительная правильность санскрита, помимо того что этот язык пролагал путь к одной из древнейших и богатейших литератур, побудили к ознакомлению с ними ради него самого, и после того как лед был сломан и найден компас, с помощью которого могли ориентироваться все странствующие по языковому океану, так неожиданно и ярко осветилась длинная вереница непосредственно связанных с индийским и родственных ему языков, что благодаря этому отчасти уже выяснилась и частью выясняется истинная история всех этих языков, как она еще никогда не открывалась взору языковеда. Были получены ошеломляющие результаты, глубоко вскрывающие суть дела. В то же самое время были сделаны попытки показать законы исторического

[1] «Glossarium comparativum linguarum totius orbis».

развития наших германских языков, которым до тех пор уделяли непонятно мало внимания. Так естествоиспытатель открывает в стеблях и клубнях родных трав те же самые чудесные силы, что и замеченные им в чужеземных растениях. Одновременно с этих позиций было уделено гораздо больше внимания соседним с нами славянским, литовским и кельтским языкам, за которыми постепенно было признано их значение для истории и которые уже стали предметом исторического рассмотрения или, без сомнения, подвергнутся ему. Таким образом, были найдены если не все, то по крайней мере большинство звеньев великой, почти необозримой цепи языков с общими корнями и с общей системой флексий. Эта цепь простирается от Азии до наших стран, заполняет почти всю Европу и уже сейчас может быть названа могущественнейшей семьей языков на всем земном шаре... Этот индогерманский язык должен в то же время дать самые исчерпывающие разъяснения относительно путей развития человеческого языка вообще, может быть, и относительно его происхождения. Они могут быть получены в результате изучения внутреннего строя этого языка, который может быть отчетливо прослежен в своих бесчисленных видоизменениях, принимаемых им в каждом отдельном случае. Я имею право говорить о возможности выполнения исследования о происхождении языка как о проблеме, в удачном решении которой многие еще сомневаются. Если бы все же оказалось, что ее можно решить, то такие скептики возразили бы, что наши языки и наша история должны восходить к еще более раннему периоду, чем это возможно сделать, так как вероятно и даже несомненно, что древнейшие памятники санскритского или зендского языков, подобно памятникам еврейского языка или еще какого-нибудь, который хотят выдать за самый древний язык, на многие тысячелетия отстоят от момента действительного происхождения языка или от момента сотворения рода человеческого на земле.

При поверхностном рассмотрении многое располагает к тому, чтобы предположить наличие самопроизвольно развившегося человеческого языка. Если мы представим себе всю его красоту, мощь и многообразие и то, как он распространяется по земному шару, то в нем проявится что-то почти сверхчеловеческое, вряд ли созданное человеком, скорее кое-где испорченное его руками, посягнувшими на совершенство языка. Разве не подобны виды языков видам в растительном и животном мире и даже самому роду человеческому во всем почти бесконечном многообразии их облика?

Разве язык в благоприятных условиях не расцветает, подобно дереву, которое, не будучи ничем стеснено, пышно разрастается во все стороны? И разве не перестает развиваться язык и не начинает хиреть и мертветь, как хиреет и сохнет растение при недостатке света и земли? Удивительная целебная сила языка, с кото-

рой он залечивает полученные раны и восполняет потери, также кажется принадлежащей к силам могущественной природы вообще. Подобно природе, язык умеет обойтись незначительными средствами и поразить своим богатством; так как он бережлив без скупости и исключительно щедр без расточительства.

Нет, язык не есть прирожденное человеку свойство, и во всех своих проявлениях и достижениях и успехах он не может быть приравнен к крикам животных; в некоторой степени общим для них является только одно — их основа, необходимо обусловленная физической организацией сотворенного тела.

Всякий звук образуется в результате движения и сотрясения воздуха; даже стихийный шум воды или потрескивание дерева в огне обусловлены сильными ударами волн друг о друга и производимым ими давлением на воздух 'или расходованием горючих веществ, приводящих воздух в движение.

Необходимая очередность и мера этих звуков и тонов естественно обусловлены, так же как гамма в музыке или последовательность и градация цветов. К их закону ничего нельзя добавить. Ведь кроме семи основных цветов, дающих бесчисленные сочетания, не мыслимы никакие другие. Мало также можно прибавить к трем гласным *a, i, u,* из сочетания которых образуются *e, o* и все остальные дифтонги с возникающими из них долгими гласными, или расширить в принципе порядок полугласных, являющихся в бесчисленном многообразии сочетаний. Эти первоначальные звуки прирождены нам, так как, будучи обусловлены органами нашего тела, они возникают в результате выдохов разной силы из легких и гортани или производятся с помощью нёба, языка, зубов и губ. Некоторые из этих условий настолько ясны и осязательны, что их можно воспроизвести до известной степени и, по-видимому, изобразить с помощью искусственных механических приспособлений. Так как органы многих видов животных сходны с органами человеческого тела, то не следует удивляться тому, что как раз среди птиц, которые по своему строению гораздо дальше отстоят от нас, чем млекопитающие, но по прямой посадке шеи приближаются к нам и потому обладают благозвучными голосами, попугаи, скворцы, вороны, сороки и дятлы в состоянии почти безупречно запоминать человеческие слова и повторять их. Напротив, никто из млекопитающих не может сделать этого, а тем более до ужаса похожие на нас обезьяны, которые, хотя и пытаются повторять некоторые наши движения, но никогда не подражают нашему языку. Можно было бы подумать, что тем видам обезьян, которые овладевают прямой походкой, должно удаться воспроизведение гласных, зубных и нёбных согласных, хотя для них было бы не-

возможно произнесение губных звуков из-за оскаленных зубов. Но ничто не указывает на то, что они отваживаются говорить.

Моей задачей было доказать, что язык так же не мог быть результатом непосредственного откровения, как он не мог быть врожденным человеку; врожденный язык сделал бы людей животными, язык-откровение предполагал бы божественность людей. Остается только думать, что язык по своему происхождению и развитию — это человеческое приобретение, сделанное совершенно естественным образом. Ничем иным он не может быть; он — наша история, наше наследие.

Но язык и мышление не существуют изолированно для каждого отдельного человека. Напротив, все языки представляют собой уходящее в историю единство, они соединяют мир. Их многообразие служит умножению и оживлению движения идей. Вечно обновляющийся и меняющийся род человеческий передает это драгоценное, доступное всем приобретение в наследство потомкам, которые обязаны сохранять его, пользоваться им и умножать полученное достояние, так как здесь усвоение и обучение непосредственно и незаметно проникают друг в друга. Младенец у материнской груди слышит первые слова, произнесенные мягким и нежным голосом матери, и они прочно запечатлеваются в его не отягощенной ничем памяти еще прежде, чем он овладевает собственными органами речи. Поэтому язык и называется родным языком (Muttersprache), и с годами знание ребенка растет все быстрее. Только родной язык связывает нас наиболее крепкими узами с родными местами, а что применимо к отдельным народам и племенам, обладающим равным языковым своеобразием, то должно иметь силу для всего человечества. Без языка, поэзии и своевременного изобретения письменности и затем книгопечатания могли бы истощиться лучшие силы человечества. Хотели приписать божественному указанию также и появление у людей письменности, но ее явно человеческое происхождение, ее постоянное усовершенствование должны, если это понадобится, подтвердить и пополнить доказательства человеческого происхождения языка.

Из соотношения языков, которое дает нам более надежные сведения о родстве отдельных народов, чем все исторические документы, можно сделать заключения о первобытном состоянии людей в эпоху сотворения и о происшедшем в их среде образовании языка. Человеческий дух испытывает возвышенную радость, когда он, выходя за пределы осязаемых доказательств, предчувствует то, что он может ощутить и открыть только разумом и для чего еще отсутствуют внешние подтверждения. В языках, памятники которых дошли до нас от глубокой древности, мы замечаем два

различных направления развития, на основании чего необходимо должен быть сделан вывод о том, что им предшествовало третье направление, сведениями о котором мы не располагаем.

Старый языковой тип представляют санскрит и зендский язык, в большой степени также латинский и греческий языки; он характеризуется богатой, приятной, удивительной завершенностью формы, в которой все вещественные и грамматические составные части живейшим образом проникают друг в друга. В дальнейшем развитии и позднейших проявлениях тех же языков — в современных диалектах Индии, в персидском, новогреческом и романских языках — внутренняя сила и гибкость флексии по большей части утрачена и нарушена, а частично с помощью различных вспомогательных средств восстановлена. Нельзя отрицать и того, что в наших германских языках, источники которых, то едва пробивающиеся, то мощно бьющие, прослеживаются на протяжении долгого времени и должны быть собраны, происходит тот же процесс утраты прежнего, более полного совершенства форм, а замена утраченного идет по тому же пути. Если сравнить готский язык IV в. с современным немецким языком, то там мы заметим благозвучность и энергичность, а здесь за счет их утраты — во много раз возросшую разработанность речи. Повсюду древняя мощь языка оказывается уменьшенной в той мере, в какой древние способности и средства замещены чем-то новым, преимущества чего также нельзя недооценивать.

Оба направления противостоят друг другу отнюдь не резко, и все языки оказываются на различных, тождественных, но не на одних и тех же ступенях развития. Например, утрата форм началась уже в готском и латинском языках, и как для того, так и для другого языка можно предположить существование предшествовавшего им более древнего и более богатого формами этапа развития, который так относится к классическому периоду их истории, как этот последний к нововерхненемецкому или французскому языку. Иными словами, мы можем сказать, обобщая, что достигнутые древним языком вершины совершенства форм не поддаются историческому установлению. Точно так же, как ныне немало приблизилось к своему завершению духовное совершенствование языка, противоположное совершенству его форм, оно не достигнет его еще в течение необозримо долгого времени. Допустимо утверждать существование более древнего состояния языка, предшествовавшего даже санскриту; в этом периоде полнота его природы и строя выражалась, вероятно, еще яснее. Но мы не можем установить его исторически и только догадываемся о нем по соотношению форм ведийского языка с более поздними.

Но пагубной ошибкой, которая, как мне кажется, и затрудняла исследование праязыка, было бы перенесение этого совершенства форм в еще более ранние эпохи и в предполагаемую эпоху райского состояния. Из сопоставления двух последних периодов развития языка вытекает скорее, что как флексию сменяет ее соб-

ственное распадение, так и сама флексия должна была возникнуть в свое время из соединения сходных частей слов. Следовательно, необходимо предположить не две, а три ступени развития человеческого языка: первая — создание, так сказать, рост и становление корней и слов; вторая — расцвет законченной в своем совершенстве флексии; третья — стремление к ясности мысли, причем от флексии вследствие ее неудовлетворительности снова отказываются; и если в первый период связь слов и мысли происходила примитивно, если во второй период были достигнуты великолепные образцы этой связи, то в дальнейшем она, с прояснением разума, устанавливается еще более сознательно. Это подобно периодам развития листвы, цветения и созревания плодов, которые по законам природы сопутствуют друг другу и сменяют друг друга в неизменной последовательности. Сам факт обязательного существования первого, неизвестного нам периода, предшествовавшего двум другим, известным нам, как мне кажется, полностью устраняет ложные представления о божественном происхождении языка, потому что божьей мудрости противоречило бы насильственное навязывание того, что должно свободно развиваться в человеческой среде, как было бы противно его справедливости позволить дарованному первым людям божественному языку терять свое первоначальное совершенство у потомков. Язык сохраняет все, что в нем есть божественного, потому что божественное присутствует в нашей природе и в нашей душе вообще.

Наблюдая язык только в той форме, в которой он является в последнем периоде, никогда нельзя приблизиться к тайне его происхождения, и тех исследователей, которые хотят вывести этимон какого-нибудь слова с помощью данных современного языка, обыкновенно постигает неудача, так как они не в состоянии не только отделить формант от корня, но и определить его вещественное значение.

Как кажется, вначале слова развивались без помех, в идиллической обстановке, не подчиняясь ничему, кроме своей естественной, указанной чувством последовательности; они производили впечатление ясности и непринужденности, но в то же время были слишком перегружены, так что свет и тень не могли в них как следует распределиться[1]. Но постепенно бессознательно действующий дух языка перестает придавать столь большое значение побочным понятиям, и они присоединяются к основному представлению в качестве соопределяющих частей в укороченном и как бы облегчен-

[1] Можно сказать, пожалуй, что лишенный флексий китайский язык в известной мере застыл в первом периоде образования. *(Примечание автора.)*

Мнение о том, что лишенный флексий китайский язык застыл на начальном периоде развития, отражает широко распространенный в первой половине XIX в. взгляд, в соответствии с которым отдельные морфологические типы языков представляют собой стадии развития единого языкового процесса. Эта точка зрения не учитывает своеобразия путей развития языков. *(Примечание составителя.)*

ном виде. Флексия возникает из сращивания направляющих и подвижных определительных слов, они, подобно наполовину или почти полностью скрытым колесам, увлекаются основным словом, которое они приводят в движение; они также сменили свое первоначально вещественное значение на абстрактное, сквозь которое лишь иногда просвечивает прежнее значение. Но в конце концов и флексия изнашивается и превращается в совершенно неощутимый знак; тогда снова прибегают к помощи того же механизма, но применяют его извне и с большей определенностью; язык теряет часть своей эластичности, но повсюду приобретает правильную меру для бесконечно возросшего богатства мыслей.

Только после удачного выделения флексии и расчленения производных слов — что явилось великой заслугой проницательного ума Боппа — были выделены корни и стало ясно, что флексии в огромной части возникли из присоединения к корням тех самых слов и представлений, которые в третьем периоде обычно позиционно предшествуют им в качестве самостоятельных слов. В третьем периоде появляются предлоги и четко выраженные сложные слова; второму периоду свойственны флексии, суффиксы и более смелое словосложение; первый период характеризуется простым следованием отдельных слов, обозначающих вещественные представления, для выражения всех случаев грамматических отношений. Древнейший язык был мелодичным, но растянутым и несдержанным; язык среднего периода полон сконцентрированной поэтической силы; язык нового времени стремится заменить потерю в красоте гармонией целого и, располагая меньшими средствами, достигает большего.

Наш язык — это также наша история. Как народы и государства складываются из объединения отдельных племен, которые принимают общие нравы и законы, действуют совместно и расширяют свои владения, точно так же и обычай требует, чтобы в основе его был какой-то начальный акт, из которого выводятся все последующие и к которому все снова и снова обращаются. Продолжительность существования сообщества обусловливает затем множество изменений.

Состояние языка в первый период нельзя назвать райским в обычно связываемом с этим словом смысле земного совершенства, так как язык живет почти растительной жизнью, когда драгоценные дары духа еще дремлют или пробуждены только наполовину. Я позволю себе обрисовать это положение следующим образом.

Проявления языка просты, безыскусственны, полны жизни, подобны быстрому обращению крови в молодом теле. Все слова кратки, односложны, образованы почти исключительно с помощью кратких гласных и простых согласных; слова теснятся густой толпой, как стебли травы. Все понятия возникают из чувственно ясного созерцания, которое уже само было мыслью и от которого

во все стороны распространялись элементарные новые мысли. Соотношения слов и представлений наивны и свежи, но выражаются без прикрас последующими, еще не присоединенными словами. С каждым своим шагом общительный язык развертывает свое богатство и способности, но в целом он производит впечатление лишенного меры и стройности. Мысли, выражаемые им, не обладают постоянностью и неизменностью, поэтому язык на самой ранней стадии не оставляет памятников духа и исчезает, как исчезла и счастливая жизнь древнейших людей, не оставив следов в истории. Но в почву упало бесчисленное множество семян, подготовляющих новый период.

В этом периоде умножаются все звуковые законы. Из великолепных дифтонгов и их преобразования в долгие гласные возникает наряду с господствующим пока обилием кратких гласных благозвучное чередование; таким образом, и согласные, не разделяемые более повсюду гласными, сталкиваются друг с другом и увеличивают силу и мощь выражения. С более тесным соединением отдельных звуков частицы и вспомогательные глаголы начинают сближаться, и, в то время как их собственное значение постепенно ослабевает, они начинают объединяться с тем словом, которое они должны определять. Вместо трудно обозримых при уменьшившейся силе чувства отдельных понятий и бесконечных рядов слов возникают благотворно действующие периоды нарастания и моменты покоя, которые выделяют существенное из случайного, определяющее из соподчиненного. Слова становятся более длинными и многосложными, из свободного расположения слов образуется множество сложных слов. Как отдельные гласные становились компонентами дифтонгов, так и отдельные слова превращаются во флексии, и, подобно дифтонгу в редукции, составные части флексии становятся неузнаваемыми, но тем более удобными для употребления. К неощущающимся суффиксам присоединяются новые, более четкие. Язык в целом еще эмоционально насыщен, но в нем все сильнее проявляется мысль и все, что с нею связано; гибкость флексии обеспечивает бурный рост числа живых и упорядоченных выражений. Мы видим, что в это время язык наилучшим образом приспособлен для стихосложения и поэзии, которым необходимы красота, благозвучность и изменчивость формы; и индийская, и греческая поэзия указывают нам в бессмертных творениях на вершины, достигнутые ими в свое время и недостижимые впоследствии.

Но так как человеческая природа, а следовательно, и язык находятся в состоянии вечного неудержимого подъема, то законы этого второго периода развития языка не могли удовлетворять все времена, но должны были уступить стремлению к еще большей свободе мысли, которую, как казалось, сковывали даже прелесть и сила совершенной формы. Как бы мощно ни сплетались слова и мысли в хорах трагиков или одах Пиндара, все же при этом возникало нарушающее ясность чувство напряжения, которое еще сильнее ощущается в индийских сложных периодах, где образы

нагромождаются друг на друга; дух языка стремился освободиться от гнета действительно подавляющей формы, поддаваясь влиянию простонародных оборотов, которые при всех переменах в судьбе народов снова оказывались на поверхности и опять проявляли свои плодотворные качества. В противовес приходящей в упадок со времени введения христианства латыни развивались на иной основе романские языки и рядом с ними со временем встали немецкий и английский языки, которые к своим древнейшим средствам присоединили новые, обусловленные в своем возникновении ходом истории. Чистота гласных была давно нарушена умляутом, преломлением и прочими неизвестными древности явлениями, системе наших согласных пришлось испытать перебои, искажения и отвердение. Можно сожалеть о том, что чуть не произошло распадение всей системы звуков вследствие ее ослабления; однако никто не будет отрицать, что с возникновением промежуточных звуков были неожиданно созданы новые вспомогательные средства, которые можно было широко использовать. Благодаря этим звуковым изменениям множество корней утратило прежний облик; с тех пор они существуют не в своем первоначальном вещественном значении, но только для обозначения отвлеченных представлений; большая часть прежних флексий навсегда погибла и заменилась частицами, более богатыми по своим возможностям и более подвижными, которые даже превосходят флексию, потому что мысль выигрывает, кроме верности, и в том, что она может быть выражена более многообразно. Четыре или пять падежей греческого или латинского языков, кажется, располагают меньшими возможностями, чем четырнадцать падежей финского языка, но все же последний достигает гораздо меньшего при всей своей скорее видимой, чем действительной гибкости; так и наши новые языки утратили в целом меньше, чем можно было бы подумать, наблюдая, как исключительно богатые формы греческого глагола или остаются в них невыраженными, или, там где это нужно, заменяются описательными оборотами,

Языки очутились не под властью вечного и неизменного закона природы, подобного законам света и тяжести, но попали в умелые руки людей; они то быстро развивались с расцветом народов, то задерживались в своем развитии в результате варварства тех же народов, то переживая пору радостного расцвета, то прозябая в скудных условиях. Только в той мере, в какой наш род (при противоборстве, свободы и необходимости) подлежит вообще неизбежным влияниям находящейся вне его силы, можно говорить о наличии в человеческом языке явлений колебаний, испарения или тяготения.

Но какие бы картины ни открывались перед нашим взором при изучении истории языка, повсюду видны живое движение, твердость и удивительная гибкость, постоянное стремление ввысь и падения, вечная изменчивость, которая никогда еще не позволяла

достичь окончательного завершения; все свидетельствует нам о том, что язык является произведением людей и несет на себе отпечаток добродетелей и недостатков нашей натуры. Однообразие языка немыслимо, так как для всего вновь вырастающего и возникающего нужен простор, которого не требуется только при спокойном существовании. Функционируя в течение необозримо долгого времени, слова окрепли и отшлифовались, но в то же время истерлись и частично исчезли в силу случайных обстоятельств. Как листья с дерева, падают они со своих ветвей на землю и вытесняются вырастающими рядом с ними новыми; те, которые отстояли свое существование, так часто меняли свой облик и значение, что их едва можно узнать. Но в большинстве случаев потерь и утрат обычно почти одновременно и сами собой появляются образования, заменяющие и компенсирующие утраченное. Ничто не ускользает от спокойного взора бодрствующего духа языка, который в короткое время залечивает все раны и противодействует беспорядку; только одним языкам он выражает все свое благоволение, а к другим он благоволит в меньшей степени. Если угодно, это также проявление основной природной силы, которая возникает из неисчерпаемого источника врожденных нам первоначальных звуков, соединяется со строем человеческого языка, заключая каждый язык в свои объятия. Отношение способности издавать звуки к способности говорить такое же, как отношение тела к душе, которую в средние века метко называли госпожой, а тело — служанкой.

Из всех человеческих изобретений, которые люди тщательно охраняли и по традиции передавали друг другу, которые они создали в согласии с заложенной в них природой, язык, как кажется, является величайшим, благороднейшим и неотъемлемейшим достоянием. Возникнув непосредственно из человеческого мышления, приноравливаясь к нему, идя с ним в ногу, язык стал общим достоянием и наследием всех людей, без которого они не могут обойтись, как не могут обойтись без воздуха, и на которое все они имеют равное право; язык — приобретение, которое дается нам одновременно легко и трудно. Легко, потому что особенности языка с детских лет запечатлеваются в нас и мы незаметно овладеваем даром речи, так же как усваиваем друг от друга различные жесты, оттенки которых бесконечно схожи и различны, подобно оттенкам языка. Язык принадлежит нам всем, и все же в высшей степени трудно в совершенстве овладеть им и постичь его самые сокровенные глубины. Огромное большинство удовлетворяется примерно только половиной или еще меньшей частью всего запаса слов.

II. ВИЛЬГЕЛЬМ ГУМБОЛЬДТ

Вильгельм Гумбольдт (1767 — 1835) — «один из величайших людей Германии» (В. Томсен), основоположник общего языкознания и вместе с тем создатель теоретических основ, на которые опираются все разновидности идеалистических направлений в науке о языке. Трудно назвать какого-либо другого ученого, который мог бы сравниться с ним по глубине и силе влияния на все последующее развитие лингвистики. С чувством глубокого благоговения говорил о нем Ф. Бопп; его учениками и последователями называли себя А. Потт, Г. Штейнталь, Г. Курциус, А. Шлейхер, К. Фосслер, А. А. Потебня и даже такой независимый ученый, как И. А. Бодуэн де Куртене. В современном зарубежном языкознании видное место занимает так называемое неогумбольдтианство. Многие поднятые В. Гумбольдтом проблемы находятся в центре оживленных дискуссий и в настоящее время.

В. Гумбольдт был разносторонне и блестяще образованный человек, занимавшийся философией, литературоведением, классической филологией, государственным правом и дипломатической и политической деятельностью; его огромные познания, охватывающие языки от баскского до туземных языков Америки в одном направлении и до малайско-полинезийских в другом, обеспечивали ему необычайную широту лингвистического кругозора и служили основой для точных и проникновенных наблюдений и выводов. Его лингвистические работы открываются докладом «О сравнительном изучении языков применительно к различным эпохам их развития», прочитанным 29 июня 1820 г. в Берлинской академии. В этом докладе он излагает свою программу исследовательской работы в области языкознания, обосновывает правомерность создания отдельной науки о языке («Сравнительное изучение языков только в том случае сможет привести к верным и существенным выводам о языке, развитии народов и образовании человечества, если оно станет предметом самостоятельного исследования, направленного на выполнение своих задач и следующего своим целям»), выделяет в ней ряд подразделений и вместе с тем затрагивает важнейшие вопросы общеязыковедческого и философского характера, к которым он частично возвращался в последующих своих работах в более развернутом виде, а частично уже нигде не повторял. В этой первой лингвистической работе В. Гумбольдта, позволяющей глубже проникнуть в его философию языка, настоятельно проводится мысль, что язык даже на первичных этапах своего существования представляет цельное и законченное образование. Он пишет: «Для того чтобы человек мог понять хотя бы одно-единственное слово не просто как душевное

побуждение, а как членораздельный звук, обозначающий понятие, весь язык полностью и во всех своих связях уже должен быть заложен в нем. В языке нет ничего единичного, каждый отдельный его элемент проявляет себя лишь как часть целого». В. Гумбольдт всячески подчеркивает важность и необходимость членимости (или, говоря современным языком, дискретности) для функционирования языка, которая должна осуществляться в обоих планах языка — в плане содержания (мир идей) и в плане выражения (звуковое обозначение). «Закон членения, — указывает он, — неизбежно будет нарушен, если то, что в понятии представляется как единство, не проявляется таковым в выражении, и вся реальная действительность отдельного слова пропадает для понятия, которому не достает такого выражения. Акту мысли, в котором создается единство понятия, соответствует единство слова как чувственного знака, и оба единства должны быть в мышлении и через посредство речи как можно более приближены друг к другу». Уже в этой своей работе В. Гумбольдт проводит мысль, что в языках, наряду с общими элементами, обусловленными тождеством психической природы человека, наличествуют частные своеобразия, которые оказывают прямое влияние на процессы мышления. Специально этому вопросу он посвятил вторую свою лингвистическую работу «О возникновении грамматических форм и их влиянии на развитие идей», написанную в 1822 году и впервые опубликованную в 1824 году.

По словам Гумбольдта, он задавался в ней целью выяснить, «как в языке возникает тот способ обозначения грамматических отношений, который заслуживает быть названным грамматической формой, и в какой мере для мышления и развития идей является важным, что эти отношения обозначаются через посредство действительных форм или же другими средствами».

К исследованию В. Гумбольдт привлек большой, разнообразный языковой материал. В результате он пришел к выводу, что «мышление, осуществляемое посредством языка, направляется либо на внешние, материальные объекты, либо на самое себя, т. е. на духовные объекты. В этом двояком направлении оно нуждается в ясности и определенности понятий, которые в языке большей частью зависят от способа обозначения грамматических форм». Развивая эту мысль, он пишет: «Мышление руководствуется необходимостью и стремлением к единству. Общее устремление человечества направлено в ту же сторону. В конечном итоге оно ставит своей целью не что иное, как вскрыть закономерности или же обосновать их. Если язык хочет отвечать на запросы мышления, он должен соответствовать ему своим строением, а по возможности и своим организмом. Иначе язык, носящий в общем символический характер, будет отражать несовершенным образом то, с чем он непосредственно связан. В то время как совокупность словарного состава языка воспроизводит объем его мира, грамматическое строение языка дает представление об организме мышления. .Язык должен сопровождать мысль. Мысль должна иметь возможность в беспрерывной последовательности переходить в языке от одного элемента к другому и находить знаки для всего, в чем она нуждается для своей связи».

В последующий период В. Гумбольдт написал несколько небольших работ, посвященных более частным проблемам: «О буквенном письме и его связи со строением языка» (1824), «О двойственном числе» (1827), «О связи письма с языком» (1836) и пр. Все эти годы он работал также над трехтомным трудом «О языке кави на острове Ява», который был опубликован уже посмертно (в 1836 — 1840 гг.).

Большое теоретическое введение к этому труду, носящее название «О различия строения человеческих языков и его влиянии на духовное развитие человеческого рода», и является главной работой В. Гумбольдта, содержащей наиболее полное изложение его взглядов на язык.

Научное творчество В. Гумбольдта чрезвычайно противоречиво. Знакомясь с его работами, с необыкновенной ясностью ощущаешь борьбу его идеалистического мировоззрения с теми выводами, которые делает его острый ум в результате глубокого проникновения в сущность процессов развития и функционирования языка. С помощью искусственных приемов он стремится свои выводы, подсказанные наблюдением над действительной природой

языка, во что бы то ни стало втиснуть в идеалистические схемы, но очень часто под напором вскрытых им самим фактов и явлений эти схемы рушатся. Этим и следует объяснять непоследовательности в его изложении. Но для понимания направления развития языкознания и современной лингвистической проблематики знать работы В. Гумбольдта необходимо.

Философская позиция В. Гумбольдта определяется взглядами Канта. Подобно Канту, Гумбольдт рассматривает сознание как особое начало, независимое от объективно существующей материальной природы и развивающееся по своим законам. Обращая это положение к определению языка, он пишет: «Язык есть душа во всей ее совокупности. Он развивается по законам духа». Вместе с тем В. Гумбольдт характеризует язык как орудие мышления. Он многократно на протяжении своей работы подчеркивает, что формой существования языка является его развитие («Язык есть не продукт деятельности, а деятельность»). С этим положением связывается и другое — то, что язык нельзя представлять себе в виде какой-то исчисляемой совокупности, он состоит не только из фактов, но и из методов, или способов; которыми осуществляется непрерывный процесс развития языка. Это положение обусловливает новое разграничение — между языком и речью («Язык как совокупность его продуктов отличается от отдельных актов речевой деятельности»).

В. Гумбольдт подчеркивает значение коммуникативной функции языка и его звуковой стороны. Оба эти фактора приводят, по его мнению, к объективизации субъективных (и индивидуальных) по своему происхождению фактов языка. Слово как знак понятия может существовать только в звуковой форме («...В слове всегда наличествует двоякое единство — звука и понятия», «Звуковая форма есть выражение, которое язык создает для мышления»). Вместе с тем он полагает, что понятие, хотя и в неоформившемся виде, предшествует слову, которое только оформляет и закрепляет понятие.

В языке, по мнению В. Гумбольдта, фиксируется определенное мировоззрение, отражающее духовные качества народа — его носителя. Это происходит потому, что язык находится между человеком и внешним миром («... весь язык в целом находится между человеком и воздействующей на него внутренним и внешним образом природой») и рисует умственному взору каждого человека картину внешнего мира в соответствии с особенностями того мировоззрения, которое фиксировано в языке. «Человек окружает себя миром звуков, чтобы воспринять и усвоить мир предметов... Так как восприятие и деятельность человека зависят от его представлений, то его от-. ношение к предметам целиком обусловлено языком». Таким образом, язык описывает вокруг человека как бы волшебный круг, выйти из которого можно только вступив в другой круг, т. е. изучив другой язык. А переход на другой язык приводит и к изменению мировоззрения: «Изучение иностранного языка можно было бы поэтому уподобить приобретению новой точки зрения в прежнем миропонимании». На этих теоретических предпосылках строится учение В. Гумбольдта о внутренней форме языка, фиксирующей особенности национального миропонимания, и о внутренней форме слова, в которой находит отражение своеобразие связей звуковой формы с понятием, характерное для каждого языка в отдельности.

В. Гумбольдт выступал против дедуктивной всеобщей грамматики, которая шла от готовых логических схем к изучению конкретных языков, и вместо нее выдвигал необходимость построения индуктивной грамматики, которая исходя из конкретных фактов постепенно поднимается до все более широких обобщений. Создание такой индуктивной общей грамматики он мыслил путем изучения многообразия способов звукового выражения понятий. Посредством подобного сопоставительного изучения внутренних форм разных языков (которое не исключает сравнительного изучения генетически близких языков) В. Гумбольдт считал возможным проникнуть в непостижимую пока тайну образования человеческого языка вообще.

Перечисленные положения, имеющие прямое отношение к проблеме предмета и метода языкознания, составляют только часть огромного комплекса вопросов, поднятых В. Гумбольдтом.

Несмотря на идеалистические основы своего учения, В Гумбольдт высказал много интересных и ценных мыслей, мимо которых не может пройти ни один языковед, хотя понимание их часто затрудняется туманным и сложным способом изложения.

«Его высокая и неподкупная любовь к правде, его взгляд, постоянно направленный к самым высоким идеальным целям, его стремление не утерять из виду целого за частным и частного за целым и тем самым избежать опасности как излишней специализации, так и схематичности прежней общей грамматики, продуманная справедливость его суждений, его всесторонне образованный ум и благородная гуманность — все эти качества действовали упорядочивающе на всех, кто сталкивался с В. Гумбольдтом, и этот характер воздействия, я думаю, Гумбольдт будет сохранять долго, оказывая влияние даже на ученых, противостоящих его теориям» (Б. Дельбрюк)

ЛИТЕРАТУРА

Р. Шор. Краткий очерк истории лингвистических учений с эпохи Возрождения до конца XIX в. Послесловие к книге В. Томсена «История языковедения до конца XIX в.», Учпедгиз, М., 1938.

А. Потебня, Мысль и язык (глава «В. Гумбольдт»), изд. 3, Харьков

В. ГУМБОЛЬДТ

О СРАВНИТЕЛЬНОМ ИЗУЧЕНИИ ЯЗЫКОВ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К РАЗЛИЧНЫМ ЭПОХАМ ИХ РАЗВИТИЯ[1]

1. Сравнительное изучение языков только в том случае сможет привести к верным и существенным выводам о языке, развитии народов и образовании человечества, если оно станет предметом самостоятельного исследования, направленного на выполнение своих задач и следующего своим целям. Но исследовать таким образом даже один-единственный язык будет весьма затруднительно. Ибо, хотя общее впечатление о каждом языке и легко уловимо, при стремлении установить, из чего же оно складывается, теряешься среди бесконечного множества подробностей, которые кажутся совершенно незначительными, и скоро видишь, что влияние языков друг на друга не столько зависит от неких больших, решающих своеобразий, сколько основывается на соразмерном качестве элементов, отдельные следы которых едва различимы. Но именно здесь общность изучения становится средством для того, чтобы особенно отчетливо осознать этот тонко сплетенный организм языка, так как прозрачность всегда в общем одинаковой формы облегчает исследование многоликой структуры.

2. Как земной шар, который прошел через грандиозные катаклизмы до того, как моря, горы и реки обрели свой настоящий рельеф, но внутренне остался почти без изменений, так и язык имеет некий предел законченности организации, после достижения которого уже не подвергаются никаким изменениям ни его органическое строение, ни его структура. Зато именно в них, как живых созданиях духа, может до бесконечности происходить более тонкое совершенствование языка. Если язык уже обрел свою структуру, то важнейшие грамматические формы уже не претерпевают никаких изменении; тот язык, который не знает различий в роде, падеже, страдательном или среднем залоге, этих пробелов уже не восполнит; большие семьи слов также мало пополняются основными видами производных. Однако посредством созданных для выражения более тонких ответвлений понятий,

[1] W. von Humboldt, Ueber das vergleichende Sprachstudium in Beziehung auf die verschiedenen Epochen der Sprachentwicklung, Gesammelte Werke, 3. Band, Berlin, 1843. Приводится с сокращениями. Перевод З.М. Мурыгиной.

сложением, внутренней перестройкой структуры слов, их осмысленным соединением, прихотливым использованием первоначального значения слов, точно схваченным выделением известных форм, искоренением излишнего, сглаживанием резких звучаний язык, который в момент своего формирования беден, слаборазвит и незначителен, если судьба одарит его своей благосклонностью, обретет новый мир понятий и доселе неизвестный ему блеск красноречия.

3. Достойным упоминания является то обстоятельство, что еще не было обнаружено ни одного языка, находящегося ниже предельной границы сложившегося грамматического строения. Никогда ни один язык не был застигнут в момент становления его форм. Для того чтобы проверить историческую достоверность этого утверждения, необходимо основным своим устремлением сделать изучение диалектов диких народов и попытаться определить низшее состояние в становлении языка, с тем чтобы познать из опыта хотя бы первую ступень в иерархии языковой организации. Весь мой предшествующий опыт показал, что даже так называемые грубые и варварские диалекты обладают всем необходимым для совершенного употребления, что они являются теми формами, где, как этого достигли самые высокоразвитые и наиболее замечательные формы, с течением времени мог выкристаллизоваться весь характер языка, пригодный для того, чтобы более или менее совершенно выразить любую мысль.

4. Язык не может возникнуть иначе как сразу и вдруг, или, точнее говоря, языку в каждый момент его бытия должно быть свойственно все, что делает его единым целым. Как непосредственное проявление органической сущности в ее чувственной и духовной значимости, язык разделяет природу всего органического, где одно проявляется через другое, общее в частном, а целое обладает всепроникающей силой. Сущность языка беспрерывно повторяется и концентрически проявляется в нем самом; уже в простом предложении, основанном на грамматической форме, видно ее завершенное единство, и так как соединение простейших понятий побуждает к действию всю совокупность категорий мышления, где положительное есть отрицательное, часть — целое, единичное — множественность, следствие — причина, случайное — необходимое, относительное — абсолютное, измерение в пространстве — определение во времени, где одно ощущение находит себе отклик в другом, то как только достигается ясность и определенность выражения простейшего соединения мысли, в изобилии слов оказывается представленным язык как целое. Каждое высказывание образует еще не высказанное или подготавливает его.

5. Таким образом, две области совмещаются в человеке, каждая из которых может члениться на обозримое количество конечных элементов, обладает способностью к их бесконечному соединению, где своеобразие природы отдельного выявляется всегда через отношение его составляющих. Человек наделен способностью как

разграничивать эти области: духовно — присущей ему способностью размышлять, физически — произносительным членением, — так и вновь воссоединять их части: духовно — синтезом мысли, физически — ударением, посредством которого слоги соединяются в слова, а из слов составляется речь. Поэтому как только его сознание достаточно окрепло, чтобы воздействовать на каждую из обеих областей, дабы вызвать такую же способность воздействия у слушающего, он овладел уже их целым. Их обоюдное взаимопроникновение может осуществляться лишь одной и той же силой, и ее направлять может только разум. Способность человека произносить звуки — пропасть, лежащая между бессловесностью животного и человеческой речью, — также не может быть объяснена чисто физически. Только сила разума способна расчленить материальную природу языка и выделить отдельные звуки — осуществить процесс, который мы называем произносительным членением.

6. Сомнительно, чтобы более тонкое совершенствование языка можно было связывать с начальным этапом его становления. Это совершенствование предполагает такое состояние, которого народ достигает лишь за долгие годы своего развития, в процессе которых он испытывает на себе перекрестное влияние других народов. Такое скрещивание диалектов является одним из важнейших моментов в становлении языков; оно происходит тогда, когда вновь образующийся язык, смешиваясь с другими, воспринимает от них более или менее значимые элементы или когда, как это происходит при огрублении и вырождении культурных языков, немногие чуждые элементы нарушают течение их спокойного развития, и существующая форма не признается, искажается, начинает переосмысливаться и употребляться по другим законам.

7. Едва, ли можно оспаривать мысль о возможности одновременного и независимого возникновения сразу нескольких языков. И обратно, нет никакого основания ее отбросить ради гипотетического допущения всеобщей взаимосвязанности языков. Ни один из самых отдаленных уголков земли не является настолько недоступным, чтобы население и язык не могли появиться там откуда-то извне, мы даже не располагаем никакими данными для того, чтобы оспаривать существование языков и народов в те времена, когда рельеф материков и морей был отличен от теперешнего. Природа самого языка и состояние человеческого рода до тех пор, пока он еще не сформировался, способствуют такой связи. Потребность быть понятным вынуждает обращаться к уже наличествующему, понятному, и, прежде чем цивилизация еще более сплотит народы, языки долго остаются достоянием мелких племен, которые так же мало склонны утверждать право на место своего поселения, как и неспособны успешно защитить его; они часто вытесняют друг друга, угнетают друг друга, смешиваются между собой, что, бесспорно, сказывается и на их языках. Если даже и не соглашаться с мыслью о перво-

начальной общности происхождения отдельных языков, то едва ли в дальнейшем хотя бы одно племя могло легко избегнуть такого смешения. Поэтому основным принципом при исследовании языка должен считаться тот, который требует устанавливать связь различных языков до тех пор, пока ее можно проследить, и в каждом отдельном языке точно проверять, образовался ли он самостоятельно или же на его грамматическом и лексическом составе заметны следы чужого влияния и какого именно.

8. Таким образом, следует выделить три аспекта для разграничения исследований языков: первичное, но полное образование органического строения языка; изменения, вызываемые посторонними примесями, вплоть до достижения состояния стабильности; внутреннее и более тонкое совершенствование языка, когда его внешнее очертание (по отношению к другим языкам), а также его строение в целом остаются неизменными.

Два первых не поддаются точному разграничению. Но выделение третьего основывается на существенном и решающем отличии. Границей, отделяющей его от других, является та законченность организации, когда язык обрел все свои функции, овладел ими; за пределами этой границы присущее языку строение уже не претерпевает никаких изменений. На фактах дочерних языков латинского языка, новогреческого и английского языков, которые служат поучительным примером и являются благодатным материалом для исследования возможности возникновения языка из весьма разнородных элементов, период становления языка можно проследить исторически и до известной степени определить заключительный момент этого процесса; в греческом языке при его первом появлении мы находим такую высокую степень завершенности, которая не свойственна никакому другому языку; но и с этого момента — от Гомера до Александрийцев — греческий продолжает идти по пути дальнейшего совершенствования; мы видим, как римский язык в течение нескольких десятилетий находится в состоянии покоя, прежде чем в нем начинают проявляться следы более тонкой и развитой культуры.

9. Намеченное здесь разделение образует две различные части сравнительного языкознания, от соразмерности трактовки которых зависит степень их законченности. Различие языков является таким предметом, где, исходя из данных опыта и с помощью истории, должен изучаться причинный характер развития и влияния языка в его отношении к природе, к судьбам и назначению человечества. Однако различие языков проявляется двояким образом: во-первых, в форме естественноисторического явления, как неизбежное последствие племенных различий и обособлении, как препятствие непосредственному общению людей; затем как явление интеллектуально-телеологическое, как средство формирования народа, как орудие развития всего многообразия и индивидуального своеобразия интеллектуального творчества, как средство созидания таких отношений, которые основываются на

чувстве общности культуры и связывают духовными узами наиболее образованную часть человечества. Последняя форма проявления языка свойственна только новому времени, в древности она прослеживалась лишь в общности греческой и римской литературы, и так как расцвет последних не совпадал во времени, то наши сведения об этой форме проявления языка не являются достаточно полными.

10. Ради краткости изложения я хочу, безотносительно к одной небольшой неточности, которая заключается в том, что совершенствование языка, конечно, оказывает влияние на его уже сформировавшийся организм, и также в том, что последний, еще до того как он обрел это состояние, бесспорно подвергался совершенствованию, — обе рассмотренные части сравнительного языкознания назвать, во-первых, изучением организма языков, во-вторых, изучением языков в состоянии их развития.

Организм языка возникает из присущей человеку способности и потребности говорить; в его формировании участвует весь народ; культура каждого народа зависит от его способностей и судьбы, ее основой является большей частью деятельность отдельных личностей, вновь и вновь появляющихся в народе. Организм относится к психологии разумного человека, совершенствование — к особенностям исторического развития. Разграничение различных особенностей организма языка ведет к разграничению исследования области языка и области языковых способностей человека; исследование более высокого уровня языка ведет к познанию того, каких вершин человеческих стремлений можно достичь посредством языка. Изучение организма языка, с одной стороны, требует, насколько это возможно, широких сопоставлений, проникновения в сущность процесса развития, а с другой стороны, концентрации на материале одного языка, проникновения в его самые тонкие своеобразия — отсюда и широта охвата и глубина исследования. Следовательно, тот, кто действительно хочет сочетать изучение обоих разделов языкознания, должен, занимаясь очень многими, различными, а по возможности и всеми языками, всегда исходить из точного знания одного-единственного или немногих языков. Отсутствие такой точности ощутимо сказывается в пробелах никогда не достигаемой полноты исследования.

Проведенное таким образом практическое сравнение языков может показать, каким различным образом человек создал язык и какую часть мира мыслей ему удалось перенести в него, как индивидуальность народа влияла на язык и какое влияние оказывал язык на нее. Ибо язык, постигаемое через него назначение человека вообще, род человеческий в его продолжающемся развитии и отдельные народы являются теми четырьмя объектами, которые в их взаимной связи и должны изучаться в сравнительном языкознании.

11. Я оставляю все, что относится к организму языка, для более обстоятельного труда, который я предпринял на материале аме-

риканских языков. Языки огромного континента, заселенного и исхоженного массой различных народностей, о связях которого с другими материками мы ничего не можем утверждать, являются благодатным объектом для этого раздела языкознания. Даже если обратиться там только к языкам, о которых имеются достаточно точные сведения, то обнаруживается, что по крайней мере около 30 из них следует отнести к языкам совершенно неизвестным, которые можно рассматривать именно как новые естественные разновидности языка, а к этим языкам следует присоединить еще большее количество таких, данные о которых не являются достаточно полными. Поэтому очень важно точно расклассифицировать все языки. При таком положении, когда общее языкознание еще не достаточно глубоко исследовало отдельные языки, сравнение многих может очень мало помочь. Принято считать, что вполне достаточно фиксировать отдельные грамматические своеобразия языка и сопоставлять более или менее обширные ряды слов. Но даже диалект самого грубого народа — слишком благородное творение природы для того, чтобы его членить столь произвольно и представлять столь фрагментарно. Он является органической сущностью, и с ним следует обращаться лишь как с таковой. Поэтому основным правилом является прежде всего изучить каждый известный язык в его внутренних связях, проследить и систематически расположить все обнаруженные в нем аналогии, чтобы овладеть наглядными знаниями способов грамматического соединения идей в языке, объемом обозначенных понятий, природой их обозначения, а также присущим им в большей или меньшей степени жизненным духовным стремлением к росту и совершенствованию. Кроме таких монографий о всех языках в целом, для сравнительного языкознания необходимы также исследования отдельных частей языкового строения, например о глаголе во всех языках. В таких исследованиях должны быть обнаружены и соединены в одно целое все связующие нити, одни из которых, через однородные части всех языков, тянутся как бы вширь, а другие, через различные части каждого языка, — как бы вглубь. Тождественность языковой потребности и языковой способности всех народов определяет направление первых, индивидуальность каждого отдельного — последних. Лишь путем изучения такой двоякой связи можно установить, насколько различается человеческий род и какова последовательность образования языка у каждого отдельного народа; и язык, и языковой характер народа выступят в более ярком свете, если их одновременно противопоставить как общности, так и частным случаям. Исчерпывающий ответ на важный вопрос о том, подразделяются ли языки по своему внутреннему строению на классы, подобно семействам растений, и как именно, можно получить лишь таким образом. Все сказанное до сих пор, несмотря на все остроумие, без строгой фактической проверки остается, однако, лишь догадкой. Наука о языке, о которой здесь идет речь, может опираться только на реальные факты,

а не на односторонние или недостаточно полные. При определении отношений народов друг к другу по данным языка также должны быть установлены путем точного анализа, которого все еще недостает, основы таких языков и диалектов, родство которых доказано исторически. Пока и в этой области исследователи не пойдут от известного к неизвестному, они будут оставаться на скользком и опасном пути.

12. Но как бы точно и обстоятельно ни были изучены языки в их органическом строении, вопрос о том, чем они могут стать, решается все же лишь употреблением языков. Ибо то, что целесообразное употребление черпает из области понятий, в свою очередь обогащает и формирует ее. Поэтому могут достичь цели только такие исследования, которые выполняются лишь применительно к развитым языкам. Следовательно, здесь находится краеугольный камень лингвистики — точка соприкосновения с наукой и искусством. Если исследования не проводить подобным образом, не рассматривать различий в организме и тем самым не постигать языковую способность в ее высочайших и многообразнейших применениях, то знание многих языков может быть полезным в лучшем случае лишь для познания строения вообще и для отдельных исторических исследований; оно не без оснований отпугнет разум от изучения множества форм и звуков, различных по звучанию, но в конце концов одинаковых по значению.

Безотносительно к живому употреблению языка сохраняет значение исследование лишь тех языков, у которых есть литература; оно будет находиться в зависимости от последней, как это принято в филологии, противопоставляющей себя общему языкознанию, науке, которая носит такое название потому, что она стремится постигнуть язык вообще, а не потому, что желает заниматься всеми языками сразу, к чему ее скорее вынуждает эта задача.

13. Что касается развитых языков, то прежде всего возникает вопрос: способен ли каждый язык постичь всеобщую или лишь какую-либо одну значительную культуру или, быть может, существуют языковые формы, которые неизбежно должны быть разрушены, прежде чем народы окажутся в состоянии достичь посредством речи более высокого назначения человечества? Последнее является наиболее вероятным. Язык следует рассматривать, по моему глубокому убеждению, как непосредственно заложенный в человеке, ибо сознательным творением человеческого разума язык объяснить невозможно. Мы ничего не достигнем, если при этом отодвинем создание языка на многие тысячелетия назад. Язык невозможно было бы придумать, если бы его образ , не был уже заложен в человеческом разуме. Для того чтобы человек мог понять хотя бы одно-единственное слово не просто как душевное побуждение, а как членораздельный звук, обозначающий понятие, весь язык полностью и во всех своих связях уже должен быть заложен в нем. В языке нет ничего единичного, каждый отдельный его элемент проявляет себя лишь как часть целого.

Каким бы естественным ни казалось предположение о постепенном образовании языков, они могли возникнуть лишь сразу. Человек есть человек только благодаря языку; а для того чтобы создать язык, он уже должен быть человеком. Когда предполагают, что этот процесс происходил постепенно, последовательно и вместе с тем неравномерно, что с каждой новой частью обретенного языка человек все больше становился человеком и, совершенствуясь таким образом, мог снова придумывать новые элементы языка, то забывают о неотделимости сознания человека от языка, о природе мыслительных процессов, необходимых для восприятия отдельного слова и вместе с тем достаточных для понимания всего языка. Поэтому язык невозможно представить себе как нечто заранее данное, ибо в таком случае совершенно непостижимо, каким образом человек мог понять эту данность и заставить ее служить себе. Язык, безусловно, возникает из человека и, конечно, мало-помалу, но так, что организм языка не лежит мертвым грузом в потемках души, а является законом, обусловливающим мыслительную функцию человека, поэтому первое слово уже определяет и предполагает существование всего языка. Если эту уникальную способность человека попытаться сравнить с чем-либо другим, то придется вспомнить об инстинкте животных и назвать язык интеллектуальным инстинктом разума. Но как инстинкт животных невозможно объяснить их духовными предрасположениями, так и создание языка нельзя выводить из понятий и мыслительных способностей диких и варварских племен, являющихся его творцами. Поэтому я никогда не мог представить себе, что столь последовательное и в своем многообразии искусное строение языка должно предполагать колоссальную мыслительную тренировку и будто бы является доказательством существования ныне исчезнувших культур. Из самого первобытного состояния природы может возникнуть такой язык, который сам есть творение природы, но этой природой является человеческий разум. Последовательность, равнооформленность даже при сложном строении несет на себе всюду отпечаток творения этой природы, и трудность их воспроизведения еще не есть самая большая трудность. Сущность создания языка заключается не столько в установлении иерархии бесконечного множества взаимосвязанных отношений, сколько в непостижимой глубине простейших мыслительных актов, которые необходимы для понимания и воспроизведения даже единичных языковых элементов. Если это налицо, то само собой приходит и все остальное, этому невозможно научиться, это должно быть присуще человеку. Инстинкт человека менее связан, а потому представляет больше свободы индивидууму. Поэтому продукт инстинкта разума может достигать разной степени совершенства, тогда как проявление животного инстинкта всегда сохраняет постоянное единообразие, и пониманию языка совсем не противоречит то обстоятельство, что некоторые из языков, в том виде как они дошли до нас, по своему состоянию еще не достигли полного

расцвета. Опыт перевода с различных языков, а также использование самого примитивного и неразвитого языка при посвящении в самые тайные религиозные откровения показывают, что, пусть даже с различной точностью, каждая мысль может быть выражена в любом языке. Но это является следствием не только всеобщего родства, а также гибкости понятий и их знаков. Для самих языков и их влияний на народы доказательным является лишь то, что из них естественно следует; не то, что им можно навязать, а то, к чему они сами предрасполагают и на что вдохновляют.

15. Не будем задерживаться здесь на несовершенстве некоторых языков. Лишь при сопоставлении одинаково совершенных языков или таких, различия которых не достигают значительной степени, можно ответить на общий вопрос о том, как все многообразие языков вообще связано с процессом происхождения человеческого рода. Не является ли это обстоятельство случайно сопутствующим жизни народа, которым можно легко и умело воспользоваться, или оно является необходимым, ничем другим не заменимым средством формирования мира представлений? Ибо к этому, подобно сходящимся лучам, стремятся все языки, и их отношение к миру представлений, являющемуся их общим содержанием, и есть цель наших исследований. Если это содержание независимо от языка, или если языковое выражение безразлично к содержанию, или оба они созданы сами по себе, то изучение образования и различий языков занимает зависимое и подчиненное положение, а в противоположном случае приобретает обязательную и решающую значимость.

16. Наиболее отчетливо это выявляется при сопоставлении простого слова с простым понятием.. Слово еще не исчерпывает языка, хотя является его самой важной частью, так же как индивидуум в живом мире. Безусловно, далеко не безразлично, использует ли один язык описательные средства там, где другой язык выражает это одним словом, без обращения к грамматическим формам, так как последние при описании выступают по отношению к понятию чистой формой, не как модифицированные идеи, а как способы модификации; однако не при обозначении понятий. Закон членения неизбежно будет нарушен, если то, что в понятии представляется как единство, не проявляется таковым в выражении, и вся реальная действительность отдельного слова пропадает для понятия, которому недостает такого выражения. Акту мысли, в котором создается единство понятия, соответствует единство слова как чувственного знака, и оба единства должны быть в мышлении и через посредство речи как можно более приближены друг к другу. Как мыслительным анализом производится членение и выделение звуков в произношении, так и обратно — произношение должно оказывать аналогичное действие на материал мысли и, переходя от одного нерасчлененного комплекса к другому, через членение проложит путь к достижению абсолютного единства.

17. Мышление не просто зависит от языка вообще, потому что до известной степени оно определяется каждым отдельным языком. Правда, предпринимались попытки заменить слова различных языков общепринятыми знаками по примеру математики, где имеются взаимно однозначные соответствия между фигурами, числами и алгебраическими уравнениями. Однако ими можно исчерпать лишь очень незначительную часть всего многообразия мысли, так как по самой своей природе эти знаки пригодны только для тех понятий, которые образуются лишь одними абстрактными построениями, либо создаются только разумом. Но там, где необходимо наложить печать понятия на материал внутреннего восприятия и ощущения, мы имеем дело уже с индивидуальным способом представлений человека, от которого неотделим его язык. Все попытки свести многообразие различного и отдельного к общему знаку, доступному зрению или слуху, являются всего лишь куцыми методами перевода, и было бы чистым безумием льстить себя мыслью, что таким способом можно выйти за пределы, я не говорю уже, всех языков, но хотя бы одной определенной и узкой области даже своего языка. Вместе с тем такую срединную точку всех языков следует искать и ее действительно можно найти и не упускать из виду также и при сравнительном изучении языков как в их грамматической, так и в лексической части. Как в той, так и в другой имеется целый ряд элементов, которые могут быть определены совершенно априори и отграничены от всех условий каждого отдельного языка. И напротив, имеется гораздо большее количество понятий, а также и грамматических своеобразий, которые так органически сплетены с индивидуальностью своего языка, что они не могут быть общим достоянием и не могут быть без искажений перенесены в другие языки. Значительная часть содержания каждого языка находится поэтому в неоспоримой зависимости от этих своеобразий, так что выражение их не может оставаться безразличным для самого содержания.

18. Слово, которое одно способно сделать понятие отдельной единицей в мире мыслей, прибавляет к нему многое от себя. Идея, приобретая благодаря слову определенность, вводится одновременно в известные границы. Из звуков слова, его близости с другими сходными по значению словами, из сохраняющегося в нем, хотя и переносимого на новые предметы, понятия и из его побочных отношений к ощущению и восприятию создается определенное впечатление, которое, становясь привычным, привносит новый момент в индивидуализацию самого по себе менее определенного, но и более свободного понятия. Ибо с каждым значимым словом соединяются все вновь и вновь вызываемые им чувства, непроизвольно возбуждаемые образы и представления, и различные слова сохраняют друг к другу отношения в той мере, в какой воздействуют друг на друга. Так же как слово возбуждает представление о предмете, оно вызывает, хотя часто и незаметно, восприятие, одновременно соответствующее своей природе и природе пред-.

мета, и непрерывный ход мыслей человека сопровождается такой же непрерывной последовательностью восприятии, которые определяются представляемыми предметами согласно природе слов и языка. Предмет, появлению которого в сознании всякий раз сопутствует такое индивидуализированное языком, постоянно повторяющееся впечатление, тем самым представляется в модифицированном виде. В отдельном это мало заметно, но власть влияния в целом основана на соразмерности и постоянной повторяемости впечатления. Ибо оттого, что характер языка запечатлен в каждом выражении и каждом соединении выражений, вся масса представлений получает свойственный языку колорит.

19. Но язык не является произвольным творением отдельного человека, а принадлежит всегда целому народу; позднейшие поколения получают его от поколений минувших. В результате того, что в нем смешиваются, очищаются, преображаются способы представления всех возрастов, каждого пола, сословия, характера и духовного различия данного племени, результате того, что народы обмениваются словами и языками, создавая в конечном счете человеческий род в целом, — язык становится великим средством преобразования субъективного в объективное, переходя от всегда ограниченного индивидуального к всеобъемлющему бытию.

20. Из взаимообусловленной зависимости мысли и слова явствует, что языки являются не только средством выражения уже познанной действительности, но, более того, и средством познания ранее неизвестной. Их различие не только различие звуков и знаков, но и различие самих мировоззрений. В этом заключается смысл и конечная цель всех исследований языка. Совокупность познаваемого, как целина, которую надлежит обработать человеческой мысли, является достоянием всех языков и независима от них. Но человек может постичь этот объективно существующий мир не иначе, как присущим ему способом познания и восприятия, следовательно, только субъективным путем. Именно там, где достигается вершина и глубина исследования, прекращается действие механического и логического способа мышления, наиболее легко отделимого от своеобразия, и наступает процесс внутреннего восприятия и творчества, из которого и становится совершенно очевидным, что объективная истина проистекает от полноты сил субъективно индивидуального. Это можно установить только посредством языка и через язык. Но язык как продукт народа и прошлого является для человека чем-то чуждым; поэтому человек. с одной стороны, связан, но, с другой стороны, обогащен, укреплен и вдохновлен наследием, оставленным в языке ушедшими поколениями. Являясь по отношению к познаваемому субъективным, язык по отношению к человеку объективен. Ибо каждый язык есть отзвук общей природы человека, и, если даже их совокупность никогда не сможет стать совершенной копией субъективного характера человечества, языки все же беспрерывно приближаются к этой цели. Сам по себе субъективный характер всего человечест-

ва снова становится для него чем-то объективным. Первоначальная тождественность между вселенной и человеком, на которой основывается возможность всеобщей познаваемости истины, таким образом, вновь обретается постепенно и неизменно на пути ее обнаруживания. Ибо объективное является тем, что, собственно, и должно быть постигнуто, и когда человек субъективным путем языкового своеобразия приближается к этому, он должен приложить новое усилие для того, чтобы отделить субъективное и совершенно вычленить из него объект, пусть даже через смешение одной языковой субъективности с другой.

21. Если сравнить в различных языках выражение для нечувственных предметов, то окажется, что одинаково значимыми будут лишь те, которые, поскольку они являются чистыми построениями, не могут содержать ничего другого, кроме в них вложенного. Все остальные выражения пересекают различным образом лежащую в их центре область (если так можно назвать совокупность обозначаемых ими предметов) и приобретают иные назначения. Выражения для чувственно воспринимаемых предметов в той мере одинаково значимы, в какой в них всех мыслится один и тот же предмет; но так как они выражают различный способ его представления, то они вместе с тем расходятся в значении. Ибо воздействие индивидуального представления о предмете на образование слова является определяющим, пока оно ощущается, так же и то воздействие, когда словом вызывается предмет. Но множество слов возникает также из соединения чувственных выражений с нечувственными или из умственной их переработки, и поэтому все они несут на себе неизгладимый индивидуальный отпечаток этой переработки, если даже с течением времени он исчезает у первого. Так как язык есть одновременно и отражение и знак, а не просто продукт впечатления о предметах и не просто произвольное творение говорящего, то каждый отдельный язык в каждом своем элементе несет на себе отпечаток первого из обозначенных свойств, но узнавание его следа основывается в каждом случае, кроме присущей ему отчетливости, на склонности духа воспринять слово главным образом как отражение или как знак. Ибо дух, располагая властью абстракции, способен сосредоточиться на отражении, но он также может, проявив всю свою восприимчивость, ощутить полноту воздействия самого материала языка. Говорящий может склониться либо к тому, либо к другому и часто употребление поэтического выражения, не свойственного прозе, не оказывает никакого иного влияния, кроме как создание расположения не воспринимать язык как знак, а отдаться полностью во власть его своеобразия. Если это двоякое употребление языка противопоставить друг другу как два его вида, то можно один назвать научным, а другой речевым. Первый вид является одновременно и деловым, а второй — обычным, повседневным. Ибо свободное общение ослабляет оковы, которые связывают восприимчивость духа. Научное употребление в принятом здесь

значении используется лишь в науках, оперирующих чисто логическими построениями, а также в некоторых областях и методах эмпирических наук; при каждом же акте познания, требующем совместных усилий людей, выступает речевое употребление. Но лишь этот вид познания излучает свет и тепло на все другие; лишь на нем основывается поступательное движение всеобщего духовного образования, и народ, который не ищет и не обретает вершины этого познания в поэзии, философии и истории, лишается благотворного обратного воздействия, потому что он по своей вине не питает его более материалом, который один может сохранить в языке молодость и силу, блеск и красоту.

22. Это последнее и наиболее важное применение языка не может быть чуждым первоначальному его организму. В нем заложен зародыш дальнейшего развития, и ранее раздельные части сравнительного языкознания находят здесь свое соединение. На основе исследования грамматики и лексического запаса всех народов (в той мере, в какой мы располагаем для этого возможностями), а также на основе изучения письменных памятников их образованной части должно быть осуществлено связное и ясное изложение вида и степени мыслетворчества, достигнутого человеческими языками, и выявлена доля влияния различных качеств языков, находящих свое выражение в их строении.

23. Моим намерением здесь было обозрение сравнительного изучения языков в целом, установление цели этого изучения, а также доказательство того, что для достижения этой цели необходимо совместное рассмотрение происхождения и процесса завершения языков. Только в том случае, если мы будем проводить наше исследование в этом направлении, мы будем испытывать все меньше склонности трактовать языки как произвольные знаки и, проникая глубже в духовную жизнь, найдем в своеобразии их строения средство изучения и познания истины, а также форму возникновения сознания и его характерных особенностей.

О РАЗЛИЧИИ СТРОЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЯЗЫКОВ И ЕГО ВЛИЯНИИ НА ДУХОВНОЕ РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РОДА[1]

(ИЗВЛЕЧЕНИЯ)

ПРЕДМЕТ НАСТОЯЩЕГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Разделение человеческого рода на народы и племена и различие их языков и диалектов взаимосвязаны, но находятся также в зависимости от третьего явления более высокого порядка — воссоз-

[1] W. Humboldt, Ueber die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues und ihren Einfluss auf die geistige Entwickelung des Menschengeschlechts. W. von Humboldt's Gesammelte Werke, 6. Band, Berlin, 1848.

Следует иметь в виду, что немецкие слова Geist и geistig имеют двоякое значение: в переводе на русский язык они могут означать «дух», «духовный»,

дания человеческой духовной силы во все более новых и часто более высоких формах. В этом явлении они находят свое оправдание, а также в той мере, в какой исследование проникает в их связь, свое объяснение. Это неодинаковое по форме и степени проявление человеческой духовной силы, совершающееся на протяжении тысячелетий по всему земному шару, есть высшая цель всякого духовного процесса и конечная идея, к которой должна стремиться всемирная история. Подобное возвышение и расширение внутреннего бытия индивида является вместе с тем единственным, чем он, однажды достигнув, прочно обладает, а применительно к нации — той средой, в которой развиваются великие личности. Сравнительное изучение языков, тщательное исследование многообразия, в котором находят свое отражение способы решения общей для бесчисленных народов задачи образования языка, не достигнут своей высшей цели, если не подвергнется рассмотрению связь языка с формированием народного духа. Но проникновение в действительную сущность народа и во внутренние связи языка, точно так же как и отношения последнего к условиям образования языков вообще, полностью зависит от изучения общих духовных особенностей. Именно они в том виде, который им придает природа и положение, обусловливают характер народа — эту основу всех явлений жизни народа, его деяний, учреждений и мышления, иными словами всего, что составляет силу и достоинство народа и переходит в наследство от одного поколения другому. Язык, с другой стороны, есть орган внутреннего бытия, само это бытие, находящееся в процессе внутреннего самопознания и проявления. Язык всеми тончайшими фибрами своих корней связан с народным духом, и чем соразмернее этот последний действует на язык, тем закономернее и богаче его развитие. Поскольку же язык в своих взаимозависимых связях есть создание народного языкового сознания, постольку вопросы, касающиеся образования языка в самой внутренней их жизни, и одновременно вопросы возникновения его существеннейших различий нельзя исчерпывающе разрешить, если не возвыситься до этой точки зрения. Здесь, разумеется, не следует искать материала для сравнительного изучения языков, которое по самой своей природе может быть только историческим; но только таким путем можно постигнуть первичную связь явлений и познать язык как внутренне взаимосвязанный организм, что способствует правильной оценке и каждого явления в отдельности.

В настоящем исследовании я и буду рассматривать различие языков и разделение народов в связи с проявлением человеческой духовной силы во всех ее меняющихся видах и формах, поскольку оба эти явления способны содействовать пониманию друг друга.

но также «ум», «мысль» и «умственный». В настоящем переводе повсюду даются только первые значения, так как в изложении Гумбольдта трудно во всех случаях их разграничить, *(Примечание составителя.)*

ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ О ПУТЯХ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Создание языка обусловлено внутренней потребностью человечества. Он не только внешнее средство общения людей в обществе, но заложен в природе самих людей и необходим для развития их духовных сил и образования мировоззрения, которого человек только тогда может достичь, когда свое мышление ясно и четко ставит в связь с общественным мышлением. Если каждый язык рассматривать как отдельную попытку, а ряд языков как совокупность таких попыток, направленных на удовлетворение указанной потребности, можно констатировать, что языкотворческая сила человечества будет действовать до тех пор, пока в целом или по частям она не создаст того, что наиболее совершенным образом сможет удовлетворить предъявляемым требованиям. В соответствии с этим положением даже и те языки и языковые семейства, которые не обнаруживают между собой никаких исторических связей, можно рассматривать как разные ступени процесса их образования. А если это так, то эту связь внешне не объединенных между собой явлений следует искать в общей внутренней причине, которой может быть только развитие творческой силы. Язык является одним из тех явлении, которые стимулируют общечеловеческую духовную силу к постоянной деятельности. Выражаясь другими словами, в данном случае можно говорить о стремлении раскрыть полноту языка в деятельности. Проследить и описать это стремление составляет задачу языковеда в ее конечном, но и первостепеннейшем итоге.

ВОЗДЕЙСТВИЕ ОСОБОЙ ДУХОВНОЙ СИЛЫ. ЦИВИЛИЗАЦИЯ, КУЛЬТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ

... Потребность в понятии и обусловленное этим стремление к его уяснению должны предшествовать слову, которое есть выражение полной ясности понятия. Но если исходить только из этого взгляда и все различие в преимуществах отдельных языков искать лишь на этом пути, можно впасть в роковую ошибку и не постичь истинной сущности языка. Неправильной уже сама по себе является попытка определить круг понятии данного народа в данный период его истории исходя из его словаря. Не говоря уже о неполноте и случайности тех словарей неевропейских народов, которыми мы располагаем, в глаза бросается то обстоятельство, что большое количество понятий, в особенности нематериального характера, которые особенно охотно принимаются в расчет при подобных сопоставлениях, может выражаться посредством необычных и потому неизвестных метафор или же описательно. Более решающим в этом отношении обстоятельством является то, что в кругу понятий в языке каждого, даже нецивилизованного, народа наличествует некая совокупность идей, соответсвующая безгра-

ничным возможностям человеческого прогресса, откуда можно без посторонней помощи черпать все, в чем испытывает потребность человечество. Не следует называть чуждым для языка то, что в зародыше обнаруживается в этих недрах. Фактическим доказательством в данном случае являются языки первобытных народов, которые (как, например, филиппинские и американские языки) уже давно обрабатываются миссионерами. В них без использования чужих выражений находят обозначения даже чрезвычайно абстрактные понятия. Было бы, впрочем интересно выяснить, как понимают туземцы эти слова. Так как они .образованы из элементов их же языка, то обязательно должны быть связаны между собой какой-то смысловой общностью.

Но основная ошибка точки зрения заключается в том, что она представляет язык в виде некоей области, пространства которой постепенно расширяются посредством, своеобразного и чисто внешнего завоевания. Эта точка зрения проходит мимо действительной природы языка и его существеннейших особенностей. Дело не в том, какое количество понятий обозначает язык своими словами. Это происходит само по себе, если только язык следует тем путем, который определила для него природа. И не с этой стороны следует судить о языке. Действительное и основное воздействие языка на человека обусловливается его мыслящей и в мышлении творящей силой; эта деятельность имманентна и конструктивна для языка.

ПЕРЕХОД К БЛИЖАЙШЕМУ РАССМОТРЕНИЮ ЯЗЫКА

Мы достигли, таким образом, понимания того, что в первичном образовании человеческого рода язык составляет первую и необходимую ступень, откуда можно проследить развитие народа в направлении его прогресса. Возникновение языков обусловливается теми же причинами, что и возникновение духовной силы, и в то же время язык остается постоянным стимулирующим принципом последней. Язык и духовные силы функционируют не раздельно друг от друга и не последовательно один за другим, но составляют нераздельную деятельность разума. Народ, свободно создавая свой язык как орудие человеческой деятельности, достигает вместе с тем чего-то высшего; вступая на путь художественного творчества и раздумий, народ оказывает обратное воздействие на язык. Если первые и даже грубые и неоформившиеся опыты интеллектуальных устремлений можно называть литературой, то язык идет тем же путем и в неразрывной связи с ней.

Духовное своеобразие и строение языка народа настолько глубоко проникают друг в друга, что, коль скоро существует одно, другое можно вывести из него. Умственная деятельность и язык способствуют созданию только таких форм, которые могут удовлетворить их обоих. Язык есть как бы внешнее проявление духа на-

рода; язык народа есть его дух, и дух народа есть его язык — трудно себе представить что-либо более тождественное. Каким образом, они сливаются в единый и недоступный нашему пониманию источник, остается для нас необъяснимым. Не пытаясь определить приоритет того или другого, мы должны видеть в духовной силе народа реальный определяющий принцип и действительное основание различия языков, так как только духовная сила народа является жизненным и самостоятельным явлением, а язык зависит от нее. Если только язык тоже обнаруживает творческую самостоятельность, он теряется за пределами области явлений в идеальном бытии. Хотя в действительности мы имеем дело только с говорящими людьми, мы не должны терять из виду реальных отношений. Если мы и разграничиваем интеллектуальную деятельность и язык, то в действительности такого разделения нет. Мы по справедливости представляем себе язык чем-то более высоким, нежели человеческий продукт, подобный другим продуктам духовной деятельности; но дело обстояло бы иначе, если бы человеческая духовная сила была доступна нам не в отдельных проявлениях, но ее сущность была бы открыта нам во всей своей непостижимой глубине и мы могли бы познать связь человеческих индивидов, так как язык поднимается над раздельностью индивидов. В практических целях важно не останавливаться на низшем принципе объяснения языка, но подниматься до указанного высшего и конечного и в качестве твердой основы для всего духовного образования принять положение, в соответствии с которым строение языков человеческого рода различно, потому что различными являются и духовные особенности народов.

Переходя к объяснению различия строения языков, не следует проводить исследование духовного своеобразия обособленно, а затем переносить его на особенности языка. В ранние эпохи, к которым относит нас настоящее рассуждение, мы знаем народы вообще только по их языкам и при этом не в состоянии определить точно, какому именно из народов, известных нам по происхождению и историческим отношениям, следует приписать данный язык. Так, зенд является для нас языком народа, относительно которого мы можем строить только догадки. Среди всех прочих явлений, по которым познается дух и характер, язык является единственно пригодным к тому, чтобы проникнуть к самым тайным путям. Если, следовательно, рассматривать языки в качестве основы для объяснения последовательного духовного развития, то их возникновение следует приписывать интеллектуальному своеобразию и отыскивать характер своеобразия каждого языка в отдельности, в его строении. С тем чтобы намеченный путь рассуждения мог быть завершен, необходимо глубже вникнуть в природу языков и в их различия и таким путем поднять сравнительное изучение языков на высшую и конечную ступень

ФОРМА ЯЗЫКОВ

Чтобы можно было успешно идти по указанному пути, необходимо установить определенное направление в исследовании языка. Язык следует рассматривать не как мертвый продукт, но как созидающий процесс, надо абстрагироваться от того, что он функционирует в качестве обозначения предметов и как средство общения, и, напротив того, с большим вниманием отнестись к его тесной связи с внутренней, духовной деятельностью и к взаимному влиянию этих двух явлений. Успехи, которыми увенчалось изучение языков в последние десятилетия, облегчают обзор предмета во всей совокупности его черт. Ныне можно ближе подойти к выяснению тех особых путей, идя которыми различным образом подразделяемые, изолированные или же связанные между собой народные образования человеческого рода создавали свои языки. Именно здесь находится причина различия строения человеческих языков и его влияния на процесс развития духа, что и составляет предмет нашего исследования.

Но как только мы вступаем на этот путь исследования, мы тотчас сталкиваемся с существенной трудностью. Язык предстает перед нами во множестве своих элементов: слов, правил, аналогий и всякого рода исключений. Испытываешь смущение оттого, что всё это многообразие явлений, которое, как его ни классифицируй, представляется хаосом, следует приравнять к единству человеческого духа. Если мы даже и располагаем всеми необходимыми лексическими и грамматическими данными двух важных языковых семей — санскритской и семитской, мы все же еще не в состоянии обрисовать характер каждой из них в таких простых чертах, посредством которых эти языки можно было бы успешно сравнивать друг с другом и по их отношению к духовным силам народа определять принадлежащее им место среди всех других типов языков. Для этого необходимо отыскать общий источник отдельных своеобразий, соединить разрозненные части в органическое целое. Только таким образом можно удержать вместе все частности. И поэтому, чтобы сравнение характерных особенностей строения различных языков было успешным, необходимо тщательно исследовать форму каждого из них и таким путем определить способ, каким языки решают вообще задачу формирования языка. Но так как понятие формы языка истолковывается различно, я считаю необходимым сначала объяснить, в каком смысле я употребляю его в настоящем исследовании. Это тем более необходимо, что мы здесь будем говорить не о языке вообще, а об отдельных языках различных народностей. В этой связи важно четко отграничить отдельный язык, с одной стороны, от семьи языков, а с другой — от диалекта и вместе с тем определить, что следует понимать под одним и тем же языком, имея в виду, что с течением времени он подвергается значительным изменениям.

По своей действительной сущности язык есть нечто постоянное

и вместе с тем в каждый данный момент преходящее. Даже его фиксация посредством письма представляет далеко не совершенное мумиеобразное состояние, которое предполагает воссоздание его в живой речи. Язык есть не продукт деятельности (ergon), а деятельность (energeia). Его истинное определение поэтому может быть только генетическим. Язык представляет собой беспрерывную деятельность духа. стремящуюся превратить звук в выражение мысли. В строгом и ближайшем смысле это определение пригодно для всякого акта речевой деятельности, но в подлинном и действительном смысле под языком можно понимать только всю совокупность актов речевой деятельности. В беспорядочном хаосе слов и правил, который мы обычно именуем языком, наличествуют только отдельные элементы, воспроизводимые — и притом неполно; — речевой деятельностью; необходима все повторяющаяся деятельность, чтобы можно было познать сущность живой речи и создать верную картину живого языка. По разрозненным элементам нельзя познать того, что есть высшего и тончайшего в языке, это можно постичь и ощутить только в связной речи, что является лишним доказательством в пользу того, что сущность языка заключается в его воспроизведении. Именно поэтому во всех исследованиях, стремящихся вникнуть в живую сущность языка, следует в первую очередь сосредоточивать внимание на связной речи. Расчленение языка на слова и правила — это только мертвый продукт научного анализа.

Определение языка как деятельности духа правильно и адекватно уже и потому, что бытие духа вообще может мыслиться только в деятельности. Расчленение строения языков, необходимое для их изучения, может привести к выводу, что они представляют собой некий способ достижения определенными средствами определенной цели; в соответствии с этим выводом язык превращается в создателя народа. Возможность недоразумений подобного порядка оговорена уже выше, и поэтому нет надобности их снова разъяснять.

Как я уже указывал, при изучении языков мы находимся, если так можно выразиться, на полпути их истории, и ни один из известных нам народов или языков нельзя назвать первобытным. Так как каждый язык наследует свой материал из недоступных нам периодов доистории, то духовная деятельность, направленная на выражение мысли, имеет дело уже с готовым материалом: она не создает, а преобразует.

Эта деятельность осуществляется постоянным и однородным образом. Это происходит потому, что она обусловливается духовной силой, которая не может преступать определенные, и притом не очень широкие, границы, так как указанная деятельность имеет своей задачей взаимное общение. Никто не должен говорить с другим иначе, чем этот другой говорил бы при равных условиях. Кроме того, унаследованный материал не только одинаков, но, имея единый источник, он близок и общему умонастроению. Постоянное и единообразное в этой деятельности духа, возвышающей

артикулированный звук до выражения мысли, взятое во всей совокупности своих связей и систематичности, и составляет форму языка.

При этом определении форма языка представляется научной абстракцией. Но было бы абсолютно неправильным рассматривать ее в качестве таковой — как умозаключение, не имеющее реального бытия. В действительности она представляет собой сугубо индивидуальный способ, посредством которого народ выражает в языке мысли и чувства. Но так как нам не дано познать форму языка во всей ее совокупности и цельности и так как мы узнаем о ее сущности только по отдельным проявлениям, то нам не остается ничего другого, как формулировать ее регулярность виде мертвого общего понятия. Сама же по себе внутренняя форма едина и жива.

Трудность исследования самых тонких и самых важных элементов языка нередко заключается в том, что в общей картине языка наше чувство с большой ясностью воспринимает отдельные его преходящие элементы, но нам не удается с достаточной полнотой формулировать воспринятое в четких понятиях. С подобной трудностью предстоит и нам бороться. Характерная форма языка отражается в его мельчайших элементах, и вместе с тем каждый из этих элементов тем или иным и не всегда ясным образом определяется языком. Вместе с тем едва ли в языке можно обнаружить моменты, относительно которых можно сказать, что они сами по себе и в отдельности являются решающими для определения характера языка. В каждом языке можно найти многое, что, не искажая его формы, можно представить по-иному. Обращение к общему впечатлению помогает и раздельному рассмотрению. Но в этом случае можно достичь и противоположного результата. Резко индивидуальные черты сразу бросаются в глаза и бездоказательно влияют на чувство. В этом отношении языки можно сравнить с человеческими физиономиями: сравнивая их между собой, живо чувствуешь их различия и сходства, но никакие измерения и описания каждой черты в отдельности и в их связи не дают возможности сформулировать их своеобразие в едином понятии. Своеобразие физиономии состоит в совокупности всех черт, но зависит и от индивидуального восприятия; именно поэтому одна и та же физиономия представляется каждому человеку по-разному. Так как язык, какую бы форму он ни принимал всегда есть духовное воплощение индивидуально-народной жизни, необходимо учитывать это обстоятельство; как бы мы ни разъединяли и ни выделяли все то, что воплощено в языке, в нем всегда многое остается необъясненным, и именно здесь скрывается загадка единства и жизненности языка. Ввиду этой особенности языков описание их формы не может быть абсолютно полным, но достаточным, чтобы получить о них общее представление. Поэтому понятие формы языка открывает исследователю путь к постижению тайн языка и выяснению его природы. Если он пренебрежет этим путем, многие моменты останутся неизу-

ченными, другие — необъясненными, хотя объяснение их вполне возможно, и, наконец, отдельные факты будут представляться разъединенными там, где в действительности их соединяет живая связь.

Из всего сказанного с полной очевидностью явствует, что под формой языка разумеется отнюдь не только так называемая грамматическая форма. Различие, которое мы обычно проводим между грамматикой и лексикой, имеет лишь практическое значение для изучения языков, но для подлинного языкового исследования не устанавливает ни границ, ни правил. Понятие формы языка выходит далеко за пределы правил словосочетаний и даже словообразований, если разуметь под последними применение известных общих логических категорий действия, субстанции, свойства и т. д. к корням и основам. Образование основ само должно быть объяснено формой языка, так как без применения этого понятия останется неопределенной и сущность языка.

Форме противостоит, конечно, материя, но, чтобы найти материю формы языка, необходимо выйти за пределы языка. В пределах языка материю можно определять только по отношению к чему-либо, например основы соотносительно со склонением. Но то, что в одном отношении считается материей, в другом может быть формой. Заимствуя чужие слова, язык может трактовать их как материю, но материей они будут только по отношению к данному языку, а не сами по себе. В абсолютном смысле в языке не может быть материи без формы, так как все в нем направлено на выполнение определенной задачи, а именно на выражение мысли. Эта деятельность начинается уже с первичного его элемента — артикулированного звука, который становится артикулированным только вследствие процесса оформления. Действительная материя языка — это, с одной стороны, звук вообще, а с другой — совокупность чувственных впечатлений и непроизвольных движений духа, предшествующих образованию понятия, которое совершается с помощью языка.

Ясно поэтому, что для того, чтобы составить представление о форме языка необходимо обратить особое внимание на реальные свойства его звуков. С алфавита начинается исследование формы языка[1], он должен служить основой для исследования всех частей языка. Вообще понятием формы отнюдь не исключается из языка все фактическое и индивидуальное; напротив того, в него включается только действительно исторически обоснованное, точно так же как и все самое индивидуальное. Можно сказать, что, следуя только этим путем, мы обеспечиваем исследование всех частностей, которые при другом методе легко проглядеть. Это ведет, конечно, к утомительным и часто уходящим в мелочи изысканиям, но именно эти мелочи и составляют общее впечатление языка, и нет ничего более несообразного с исследованием языка, чем поиски

[1] В. Гумбольдт, как и все современные ему языковеды, отождествлял букву и звук. *(Примечание составителя.)*

в нем только великого, идеального, господствующего. Необходимо тщательное проникновение во все грамматические тонкости слов и их элементов, чтобы избежать ошибок в своих суждениях. Само собой разумеется, что эти частности входят в понятие формы языка не в виде изолированных фактов, но только в той мере, в какой в них вскрывается способ образования языка. Посредством описания формы следует устанавливать тот специфический путь, которым идет к выражению мысли язык и народ, говорящий на нем. Надо стремиться к тому, чтобы быть в состоянии установить, чем отличается данный язык от других как в отношении своих целей, так и по своему влиянию на духовную деятельность народа. По самой своей природе форма языка, в противоположность материи, есть восприятие отдельных элементов языка в их духовном единстве. Такое единство мы обнаруживаем в каждом языке, и посредством этого единства народ усваивает язык, который передается ему по наследству. Подобное единство должно найти отражение и в описании, и только тогда, когда от разрозненных элементов поднимаются до этого единства, получают действительное представление о самом языке. В противном случае мы подвергаемся опасности не понять указанные элементы в их действительном своеобразии и тем более в их реальных связях.

С самого начала следует отметить, что тождество и родство языков должно основываться на тождестве и родстве форм, так как действие может быть равным только причине. Одна только форма решает, с какими другими языками родствен данный язык. Это, в частности, относится и к языку кави, который, сколько бы он санскритских слов ни включил в себя, не перестает быть малайским языком. Формы многих языков могут сходиться в более общей форме, и, действительно, мы наблюдаем это в отношении всех языков, поскольку речь идет о самых общих чертах: о связях и отношениях представлений, необходимых для обозначения понятий и словосочетаний; о сходстве органов речи, которые по своей природе могут артикулировать определенное количество звуков; наконец, об отношениях между отдельными гласными и согласными и известными чувственными восприятиями, вследствие чего в разных языках возникает тождество обозначений, не имеющее никакого отношения к генетическим связям. В языке таким чудесным образом сочетается индивидуальное со всеобщим, что одинаково правильно сказать, что весь род человеческий говорит на одном языке и что каждый человек обладает своим языком. Но среди прочих сходных явлений, связывающих языки, особенно выделяется их общность, основывающаяся на генетическом родстве народов. Здесь не место говорить о том, как велика и какого характера должна быть эта общность, чтобы можно было с уверенностью говорить о генетическом родстве языков, не подтвержденном историческими свидетельствами. Мы ограничимся только указанием на применение развитого нами понятия формы языка к генетически родственным языкам. Из всего изложенного с полной очевидностью

явствует, что форма отдельных генетически родственных языков должна находиться в соответствии с формой всего семейства. В них не может быть, что было бы несогласно с общей формой; более того каждая их особенность, как правило, тем или иным образом обусловливается этой общей формой. В каждом семействе существуют языки, которые чище и полнее других сохранили первоначальную форму. В данном случае речь идет о языках, развивающихся друг из друга, когда, следовательно, реально существующая материя (в описанном выше смысле) передается от народа к народу (этот процесс редко удается проследить с точностью) и подвергается преобразованию. Но само это преобразование может осуществляться только родственным образом, учитывая общность характера представлений и идейной направленности вызывающей его духовной силы, сходство речевых органов и унаследованных артикуляционных привычек и, наконец, тождество внешних исторических влияний.

ПРИРОДА И СВОЙСТВА ЯЗЫКА ВООБЩЕ

Так как различие языков основывается на их форме, а эта последняя находится в тесной связи с мировоззрением народа и с той силой, которая создает и преобразует ее, то представляется необходимым подробней остановиться на этих понятиях.

При рассмотрении языка вообще или же при анализе конкретных и отличающихся друг от друга языков мы сталкиваемся с двумя явлениями — звуковой формой и ее употреблением для обозначения предметов и для связи мыслей. Процесс употребления обусловливается требованиями, которые предъявляет мышление к языку, вследствие чего возникают общие законы языка. Эти законы в своем первоначальном направлении (если не считать своеобразия духовных склонностей людей и их последующего развития) едины для всех. Напротив того, звуковая форма составляет конституирующий и ведущий принцип различия языков как сама по себе, так и в качестве стимулирующей или препятствующей силы, противопоставляющей себя внутренней тенденции языка. Как часть человеческого организма, тесно связанная с внутренними духовными силами, она находится в зависимости от общих склонностей народа, но сущность и причины этой зависимости представляют непроницаемую тайну.

На основе обоих этих явлений и их глубокого взаимопроникновения образуется индивидуальная форма каждого языка; изучение и описание связей этих явлений составляет задачу языкового анализа. В основу подобного исследования должен быть положен верный и строгий взгляд на язык, на глубину его начал и на обширность его объема. На этом мы и остановимся.

Я намереваюсь исследовать функционирование языка в самом широком плане — не только в его связях с речью и составом его лексических элементов как непосредственных продуктов речи,

но и в отношении к деятельности мышления и восприятия. Рассмотрению будет подвергнут весь путь, на котором язык, исходя от духа, оказывает на него обратное воздействие.

Язык есть орган, образующий мысль. Умственная деятельность — совершенно духовная, глубоко внутренняя и проходящая бесследно — посредством звука речи материализуется и становится доступной для чувственного восприятия. Деятельность мышления и язык представляют поэтому неразрывное единство. В силу необходимости мышление всегда связано со звуком языка, иначе оно не достигает ясности и представление не может превратиться в понятие. Неразрывная связь мышления, органов речи и слуха с языком обусловливается первичным и необъяснимым в своей сущности устройством человеческой природы.

Общность звука с мыслью сразу же бросается в глаза. Как мысль, подобно молнии, сосредоточивает всю силу представления в одном мгновении своей вспышки, так и звук возникает как четко ограниченное единство. Как мысль охватывает всю душу, так и звук обладает силой потрясать всего человека. Эта особенность звука, отличающая его от других чувственных восприятии, покоится, очевидно, на том, что слух (в отличие от других органов чувств) через посредство движения звучащего голоса получает впечатление настоящего действия, возникающего в глубине живого существа, причем в членораздельном звуке проявляет себя мыслящая сущность, а в нечленораздельном — чувствующая. Как мышление в своих человеческих отношениях есть стремление из тьмы к свету, от ограниченности к бесконечности, так и звук устремляется из груди наружу и находит замечательно подходящий для него проводник в воздухе — этом тончайшем и легчайшем из всех подвижных элементов, мнимая нематериальность которого лучше всего символизирует дух. Четкая определенность речевого звука необходима разуму для восприятия предметов. Как предметы внешнего мира, так и возбуждаемая внутренними причинами деятельность одновременно воздействуют на человека множеством своих признаков. Но разум стремится к выявлению в предметах общего, он расчленяет и соединяет и свою высшую цель видит в образовании все более и более объемлющих единств. Он воспринимает предметы в виде определенных единств и поэтому нуждается в единстве звука, чтобы представлять их. Но звук не устраняет других воздействий, которые способны оказать предметы на внешнее или внутреннее восприятие; он становится их носителем и своим индивидуальным качеством указывает на качества обозначаемого предмета, так как его индивидуальное качество всегда соответствует свойствам предмета и тем впечатлениям, которые предмет оказывает на восприятие говорящего. Вместе с тем звук допускает безграничное множество модификаций, четко выделяющихся и не сливающихся друг с другом при связях звука, что не свойственно в такой степени никакому другому чувственному восприятию. Интеллектуальная деятельность не ограничивается одним рассудком, но воздействует

на всего человека, и звук голоса принимает в этом большое участие. Он возникает в груди как трепетный тон, как дыхание самого бытия; помимо языка, он способен выражать боль и радость, отвращение и желание; порожденный жизнью, он вдыхает ее в чувство; подобно самому языку, он отражает вместе с обозначаемым объектом и вызываемые им чувства и во все повторяющихся актах объединяет в себе мир и человека или, иными словами, свою деятельность со своей восприимчивостью. Речевому звуку соответствует и вертикальное положение человека (в чем отказано животному); оно даже вызвано звуком. Речь не может простираться по земле, она свободно льется от уст к устам, сопровождаясь выражением взгляда и лица или жестом руки и выступая в окружении всего того, что делает человека человеком.

После этих предварительных замечаний относительно соответствия звука духовным процессам мы можем детальней рассмотреть связь мышления с языком. Посредством субъективной деятельности в мышлении образуется объект. Ни один из видов представлений не образуется только как голое восприятие посредством созерцания существующего предмета. Деятельность чувств должна объединиться с внутренним духовным процессом, и лишь эта связь обусловливает возникновение представления, которое, противопоставляясь субъективному моменту, превращается в объект, но посредством нового акта восприятия опять становится субъективным. Но все это может происходить только при посредстве языка. С его помощью духовное стремление прокладывает себе путь через уста во внешний мир, и затем результат этого стремления в виде слова через слух возвращается назад. Таким образом, представление объективируется, не отрываясь в то же время от субъекта. И все это возможно лишь с помощью языка; без описанного процесса объективизации и возвращения к субъекту, совершающегося посредством языка и тогда, когда мышление происходит молча, невозможно образование понятий, а тем самым и действительного мышления. Даже и не касаясь потребностей общения людей друг с другом, можно утверждать, что язык есть обязательная предпосылка мышления и в условиях полной изоляции человека. Но в действительности язык всегда развивается только в обществе, и человек понимает себя постольку, поскольку опытом установлено, что его слова понятны также и другим. Когда мы слышим образованное нами слово в устах других, объективность его увеличивается, а субъективность при этом не испытывает никакого ущерба, так как все люди ощущают себя как единство. Более того, субъективность тоже усиливается, так как преобразованное в слово представление перестает быть исключительной принадлежностью лишь одного субъекта. Переходя к другим, оно становится общим достоянием всего человеческого рода; в этом общем достоянии каждый человек обладает своей модификацией, которая, однако, всегда нивелируется и совершенствуется индивидуальными модификациями других людей. Чем шире и оживленней общественное воздействие

на язык, тем более он выигрывает при прочих равных обстоятельствах.

То, что язык делает необходимым в простом процессе образования мысли, беспрестанно повторяется во всей духовной жизни человека — общение посредством языка обеспечивает уверенность и стимул. Мысль требует одинакового с нею и вместе с тем отличного от нее. Одинаковое побуждает ее к действию, а посредством отличного она испытывает существо своих внутренних порождений. Хотя основа познания истины и ее достоверности заложена в самом человеке, его устремление к ней всегда подвержено опасностям заблуждения. Отчетливо сознавая свою ограниченность, человек оказывается вынужденным рассматривать истину как лежащую вне его самого, и одним из самых мощных средств приближения к ней и измерения расстояния до нее является постоянное общение с другими. Речевая деятельность даже в самых своих простейших формах есть соединение индивидуальных восприятии с общей природой человека.

Так же обстоит дело и с пониманием. Оно может осуществляться не иначе как посредством духовной деятельности, в соответствии с чем речь и понимание есть различные формы деятельности языка. Процесс речи нельзя сравнивать с простой передачей материала. Слушающий, так же как и говорящий, должен его воссоздать своею внутренней силой, и все, что он воспринимает, сводится лишь к стимулу, вызывающему тождественные явления. Поэтому для человека естественно тотчас воспроизвести понятое в своей речи. Таким образом, в каждом человеке заложен язык в его полном объеме, что означает лишь то, что в каждом человеке заложено стремление, регулируемое, стимулируемое и ограничиваемое определенной силой, осуществлять деятельность языка в соответствии со своими внешними или внутренними потребностями, притом таким образом, чтобы быть понятым другими.

При рассмотрении элементов языка не подтверждается мнение, что он лишь обозначает предметы, доступные нашему восприятию. Это мнение не исчерпывает глубокого содержания языка. Как без языка не может быть понятия, так для души не может быть и никакого предмета, потому что только посредством понятия душе раскрывается сущность даже внешних явлений. Но в образовании и употреблении языка находит свое отражение характер субъективного восприятия предметов. Возникающее на основе этого восприятия слово не есть простой отпечаток предмета самого по себе, но его образ, который он создает в душе. Так как ко всякому объективному восприятию неизбежно примешивается субъективное, то каждую человеческую индивидуальность независимо от языка можно считать носителем особого мировоззрения. Само его образование осуществляется через посредство языка, так как слово в противоположность душе превращается в объект всегда с при

месью собственного значения и таким образом привносит новое своеобразие. Но в этом своеобразии, так же как и в речевых звуках, в пределах одного языка наблюдается всепроникающая тождественность, а так как к тому же на язык одного народа воздействует однородное субъективное начало, то в каждом языке оказывается заложенным свое мировоззрение. Если звук стоит между предметом и человеком, то весь язык в целом находится между человеком и воздействующей на него внутренним и внешним образом природой. Человек окружает себя миром звуков, чтобы воспринять и усвоить мир предметов. Это положение ни в коем случае не выходит за пределы очевидной истины. Так как восприятие и деятельность человека зависят от его представлений, то его отношение к предметам целиком обусловлено языком. Тем же самым актом, посредством которого он из себя создает язык, человек отдает себя в его власть; каждый язык описывает вокруг народа, которому он принадлежит, круг, из пределов которого можно выйти только в том случае, если вступаешь в другой круг. Изучение иностранного языка можно было бы поэтому уподобить приобретению новой точки зрения в прежнем миропонимании; до известной степени фактически так дело и обстоит, потому что каждый язык образует ткань, сотканную из понятий и представлений некоторой части человечества; и только потому, что в чужой язык мы в большей или меньшей степени переносим свое собственное миропонимание и свое собственное языковое воззрение, мы не ощущаем с полной ясностью результатов этого процесса.

Язык как совокупность его продуктов отличается от отдельных актов речевой деятельности; на этом положении следует несколько задержаться. Язык в полном своем объеме содержит все, что облекается в звук. Но как невозможно исчерпать содержание мышления во всей бесконечности его связей, так невозможно это сделать и в отношении того, что получает обозначение и соединение в языке. Наряду с уже оформившимися элементами язык состоит из способов, с помощью которых продолжается деятельность духа, указывающего языку его пути и формы. Уже прочно оформившиеся элементы образуют в известном смысле мертвую массу, но в ней заключается живой зародыш нескончаемых формаций. Поэтому в каждый момент и в каждый период своего развития язык, подобно самой природе, представляется человеку — в отличие от всего уже познанного и продуманного им — в виде неисчерпаемой сокровищницы, в которой он вновь и вновь открывает неизведанные ценности и неиспытанные чувства. Это качество языка проявляется во все новом виде в каждом случае обращения к нему, и человек нуждается в нем для воодушевления к продолжению умственного стремления и дальнейшего развертывания его духовной жизни, чтобы наряду с завоеванными областями его взору всегда были открыты бесконечные и постепенно проясняющиеся пространства.

ЗВУКОВАЯ СИСТЕМА ЯЗЫКОВ

...Под словами следует понимать знаки отдельных понятий. Слоги образуют звуковое единство, но становятся словами только тогда, когда получают значение, для чего часто необходимо соединение нескольких слогов. Таким образом, в слове всегда наличествует двоякое единство — звука и понятия. Посредством этого слова превращаются в подлинные элементы речи, так как слоги, лишенные значения, нельзя назвать таковыми. Если язык представлять в виде особого и объективировавшегося самого по себе мира, который человек создает из впечатлений, получаемых от внешней действительности, то слова образуют в этом мире отдельные предметы, отличающиеся индивидуальным характером также и в отношении формы. Речь течет непрерывным потоком, и говорящий, прежде чем задуматься над языком, имеет дело только с совокупностью подлежащих выражению мыслей. Нельзя себе представить, чтобы создание языка начиналось с обозначения словами предметов, а затем уже происходило соединение слов. В действительности речь строится не из предшествующих ей слов, а, наоборот, слова возникают из речи. Но слова оказывается возможным выделить даже и в самой грубой и неупорядоченной речи, так как словообразование составляет существенную потребность речи. Слово образует границу, вплоть до которой язык в своем созидательном процессе действует самостоятельно. Простое слово подобно совершенному и возникшему из языка цветку. Словом язык завершает свое созидание. Для предложения и речи язык устанавливает только регулирующие схемы, предоставляя индивидуальное оформление их произволу говорящего.

...Звуковая форма есть выражение, которое язык создает для мышления. Но ее можно представлять себе и в виде здания, в которое встраивается язык. Понятие творчества в полном и действительном смысле применимо только к первоначальному изобретению языка, т. е. к состоянию, которого мы не знаем, а предполагаем в качестве обязательной гипотезы. В средних периодах развития языка возможно лишь приспособление существующей звуковой формы к внутренним потребностям языка...

ВНУТРЕННЯЯ ФОРМА ЯЗЫКА

Все преимущества благозвучных и богатых звуковых форм, даже и в сочетании с упорядоченностью их произношения, еще не способны создать достойные духа языки, если только лучистая ясность направленных на язык идей не наполнит их своим светом и теплотой. Именно эта совершенно внутренняя и чисто интеллектуальная сторона звуковых форм, собственно, и составляет язык; она есть не что иное, как употребление, которое делает из звуковой формы языковое творчество; именно посредством нее язык оказывается способным придать выражение всему, к чему в про-

цессе образования идей стремятся лучшие умы каждого поколения. Это ее свойство зависит от согласия и совместного действия, которые наблюдаются как в законах функционирования этой стороны, так и между законами созерцания, мышления и чувства. Духовная способность, однако, имеет свое бытие лишь в своей деятельности, которая представляет собой следующие друг за другом вспышки силы, взятые в своей совокупности и направленные по определенному пути.

Эти законы, следовательно, не что иное, как пути, по которым идет духовная деятельность в языковом творчестве, или, употребляя другое сравнение, формы, в которых эта последняя выражает звуки. Не существует ни одной силы духа, которая не принимала бы в этом участия; нет ничего внутри человека настолько глубокого, настолько тонкого и всеобъемлющего, что не переходило бы в язык и не было бы через его посредство познаваемым. Интеллектуальные преимущества языков поэтому покоятся исключительно на упорядоченной, твердой и ясной духовной организации народов в эпохи их образования или преобразования, они представляют их картину или даже непосредственный отпечаток.

Может показаться, что все языки в интеллектуальном отношении одинаковы. Бесконечное многообразие звуковых форм представляется понятным, так как в чувственном и телесном отношениях индивидуальность обусловливается таким количеством разнородных причин, что невозможно даже перечислить все богатство их разнообразия. Но что касается интеллектуальной стороны языка, то она в силу того, что покоится только на независимой духовной деятельности, а кроме того, имеет своим основанием равенство целей и средств у всех людей, должна была бы быть одинаковой. И действительно, эта сторона языка обладает большой однородностью. Но и в ней обнаруживаются значительные различия, обусловленные множеством причин. С одной стороны, эти различия обусловливаются наличием разных степеней влияния языкотворческой силы как в общем плане, так и применительно к ее взаимодействиям с проявляющимися в ней тенденциями. С другой стороны, здесь действуют силы, деятельность которых не представляется возможным измерить посредством разума и определить с помощью понятий. Фантазия и чувство вызывают индивидуальные образы, в которых отражается индивидуальный характер народа, и в этом случае, как это имеет, место во всех индивидуальных явлениях, многообразие форм, в которое облекается одно и то же содержание, может быть бесконечным.

Но и в собственно идеальной стороне языка, зависящей лишь от связи понятий, обнаруживаются различия, которые происходят в результате неправильных или несовершенных комбинаций. Чтобы убедиться в этом, достаточно обратиться к собственно грамматическим законам. Так, например, формы, образующиеся в системе глагола в соответствии с потребностями речи, должны были бы быть одинаковыми во всех языках как в количественном отноше-

нии, так и в отношении их признаков, по которым они классифицируются по определенным разрядам, так как эти формы можно определить как простые производные понятий. А вместе с тем, сравнивая в этом отношении санскрит с греческим, мы с удивлением видим, что в санскрите понятие наклонения осталось не только неразвитым, но было неправильно истолковано при самом образовании языка, так как не было отграничено от понятия времени. Именно поэтому оно неудачно связывается с понятием времени и неполно проводится по всем временам.

...Как в звуковой форме важнейшими моментами являются обозначение понятий и законы словосочетаний, так и во внутренней, интеллектуальной стороне языка дело обстоит подобным же образом. При обозначении здесь, как и там, следует различать два момента: ищутся выражения для совершенно индивидуальных предметов или же изображаются отношения, которые, прилагаясь к целому ряду предметов, сводятся по форме к одному общему понятию. Таким образом, фактически приходится иметь дело с тремя случаями. Обозначение понятий, к которым относятся первые два случая, у звуковой формы приводит к созданию слов, которым во внутренней стороне языка соответствует образование понятий. Чтобы артикуляционное чувство могло найти необходимые для обозначения звуки, нужно, чтобы во внутренней сфере каждое понятие было отмечено каким-либо свойственным ему признаком или было поставлено в связь с другими понятиями. Так обстоит дело даже и в отношении внешних, телесных, чувственно воспринимаемых предметов. И в этом случае слово не является эквивалентом чувственно воспринимаемого предмета, но пониманием его, закрепляемым в языке посредством найденного для него слова. Здесь находится главный источник многообразия обозначения одного и того же предмета. Если, например, в санскрите слон называется либо дважды пьющим, либо двузубым, либо снабженным рукой, то в данном случае обозначаются различные понятия, хотя имеется в виду один и тот же предмет. Это происходит потому, что язык обозначает не сами предметы, а понятия, которые дух независимо от них образует в процессе языкотворчества. И именно об этом образовании понятий, которое следует рассматривать как глубоко внутренний процесс, опережающий чувство артикуляции, и идет в данном случае речь. Впрочем, это разграничение проводится в целях анализа языка, а в природе оно не существует.

С другой точки зрения, два последних случая из трех вышеописанных находятся в более близких отношениях. Общие отношения подлежащих обозначению отдельных предметов и грамматические формы основываются большей частью на общих формах воззрения и логических отношениях понятий. Тут наличествует, следовательно, определенная система, с которой можно сопоставлять систему языка. При этом определяются опять-таки два момента:

полнота и правильное разграничение обозначаемых явлений, с одной стороны, и отобранное для каждого такого понятия обозначение — с другой. Здесь повторяется изложенное выше. Но так как в данном случае речь идет об обозначении нечувственных понятий, часто всего только отношений, то понятие, чтобы войти в язык, должно принять, хотя и не всегда, образную форму. И как раз в соединении простейших понятий, пронизывающих весь язык до основания, и проявляется вся глубина гения языка. Понятие лица, а следовательно, местоимения и пространственные отношения играют здесь главную роль; часто оказывается возможным показать, как оба эти элемента соотносятся друг с другом и соединяются в еще более простое представление. Отсюда следует, что язык, как таковой, самым своеобразным и вместе с тем инстинктивным образом обусловливается духом. Для индивидуальных различий здесь почти не остается места, и все различие языков в этом отношении сводится к тому, что одни языки оказываются более изобретательными в этом плане, а в других почерпнутые из этой глубины обозначения определены яснее и нагляднее для сознания.

Обозначение отдельных внутренних и внешних предметов оказывает более глубокое воздействие на чувственное восприятие, фантазию, чувство и посредством взаимодействия этих явлений — на характер вообще, так как в данном случае действительно соединяются природа и человек, подлинно материальное вещество с формирующим духом. В этой области особенно четко проступает национальное своеобразие. Это объясняется тем, что человек, познавая природу, приближается к ней и самопроизвольно вырабатывает свои внутренние восприятия в соответствии с тем, в какие отношения друг с другом вступают его духовные силы. И это также находит свое отражение в языке, поскольку он для слов образует понятия. Разграничивающим моментом здесь является то, что один народ вносит в язык больше объективной реальности, а другой — больше субъективных элементов. Хотя это различие становится ясным постепенно, в поступательном развитии языков, однако зародыш его заложен уже в самых их начатках. Звуковая форма также носит на себе следы этого различия. Чем больше света и ясности вносит чувство языка в изображение чувственных предметов, чем чище и нематериальней используемые им определения духовных понятий, тем отчетливее формируются звуки и тем полнозвучней складываются в слова слоги, ибо то, что мы разделяем в отвлеченном мышлении, в глубине души составляет единство.

СОЕДИНЕНИЕ ЗВУКА С ВНУТРЕННЕЙ ФОРМОЙ ЯЗЫКА

Соединение звуковой формы с внутренними законами языка образует завершение языка, и высшая степень этого завершения основывается на том, что такое соединение, происходящее всегда в одновременных актах языкотворческого духа, приводит к полному взаимопроникновению обоих этих элементов. Уже в самых

своих первичных основах образование языка есть синтетический процесс в самом точном значении этого слова, когда синтез создает нечто такое, чего не было ни в одной из соединившихся частей. Поэтому полностью цель достигается только тогда, когда все строение звуковой формы прочно и единовременно сливается с внутренней структурой языка. Положительным следствием такого слияния является полное соответствие одних элементов другим. Если эта цель достигнута, тогда нет ни одностороннего внутреннего развития языка, при котором оно оказывается оторванным от образования фонетических форм, ни преобладания излишней роскоши звука над потребностями мысли.

III. НАТУРАЛИСТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ЯЗЫКОЗНАНИИ (А. ШЛЕЙХЕР)

Развитие натуралистического направления связано с именем Августа Шлейхера (1821 — 1868) — выдающегося представителя языкознания XIX в., научная деятельность которого характеризуется широтой и многообразием интересов.

Начав с конкретных исследований в области сравнительной грамматики и изучения отдельных, в частности балто-славянских, языков (в 1852 г. он опубликовал «Морфологию церковнославянского языка», а в 1855 — 1857 гг. — «Руководство по изучению литовского языка»), А. Шлейхер в 1861 г. выпустил первое издание своего главного и систематизирующего большой материал труда «Компендий сравнительной грамматики индоевропейских языков», который оказал большое влияние на последующее развитие языкознания. К этой работе примыкает опубликованная в 1869 г. «Индоевропейская хрестоматия», содержащая образцы и краткие описания исследуемых в «Компендии» языков (к этой работе А. Шлейхер привлек и своих учеников).

С наибольшей отчетливостью натуралистические воззрения А. Шлейхера отражены в двух его поздних работах — «Теория Дарвина и наука о языке», 1863 (в 1864 г. вышел русский перевод этой работы) и «Значение языка для естественной истории человека», 1865. Наиболее полно общетеоретические взгляды А. Шлейхера изложены в книге «Немецкий язык». (Первое издание вышло в 1860 г., второе, переработанное и расширенное, в 1869 г.) В этой — по мысли автора — популярной книге подробно развиваются общие принципы изучения языка в связи с приложением их к немецкому языку (точнее — германским языкам), а также высказывается (хотя и в неразвернутом виде) ряд мыслей, перекликающихся с теми проблемами, которые в дальнейшем оказались в центре внимания лингвистов (например, о фонетическом законе, об аналогии, о системном характере языка и пр.).

Рассматривая язык как естественный организм, подчиняющийся тем же закономерностям функционирования и развития, что и прочие создания природы, А. Шлейхер стремился применить точные методы, выработанные в естественных науках, к изучению процессов развития языков и к их классификации. Идя по этому направлению, он пытался определить строгие и устойчивые законы развития звукосочетаний отдельных индоевропейских языков и установить всеобщие законы, приложимые ко всем языкам.

Целью своего основного труда — «Компендия» — А. Шлейхер ставил, опираясь на вскрытые законы, восстановление индоевропейского языка и прослеживание его развития в каждом из его разветвлений. При этом основной упор он делал на фонетическую сторону изучаемых языков, а затем

уже на их морфологическую структуру. Результаты своих исследований в области отношений языков Друг к другу и определения последовательности процессов их формирования он представил в виде родословного дерева развития индоевропейских языков. Он был настолько уверен в своих реконструкциях, что даже написал басню на «индоевропейском» языке.

«Шлейхер реконструировал общий язык, определил его существенные черты и эволюцию; он был неправ, видя в этой эволюции только упадок, он не сумел всегда быть верным принципу закономерности, который он теоретически признавал, но метод, им примененный, сделался с тех пор методом всех лингвистов и подчинил себе все последующее развитие науки» (А. Мейе).

Биологическая концепция языка, помимо А. Шлейхера, в той или иной степени и с рядом видоизменений находит свое отражение и в работах других (хотя и немногочисленных) языковедов: Морица Раппа («Физиология языка», 1840, и «Сравнительная грамматика, как естественная наука», 1852), Макса Мюллера («Лекции по науке о языке», 1861; русский перевод под названием «Наука о языке» вышел в 1865 г.), а также частично В. Д. Уитни («Жизнь и рост языка», 1875; русский перевод под тем же названием начал печататься в журнале «Филологические записки» в 1885 г., вып. IV, но остался незаконченным).

ЛИТЕРАТУРА

Б. Дельбрюк, Введение в изучение языка, Петербург, 1904. Опубликовано в «Трудах Петербургского университета» совместно с работой С. Булича «Очерк истории языкознания в России».

В. Томсен, История языковедения до конца XIX века, Учпедгиз, М., 1938.

А. В. Десницкая, Вопросы изучения родства индоевропейских языков, изд. АН СССР, М. — Л., 1955.

А. Мейе, Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков (приложение: «Очерк развития сравнительной грамматики»), ОГИЗ, М., 1938.

А. С. Чикобава, Проблема языка как предмета языкознания, Учпедгиз, М., 1959.

Л. ШЛЕЙХЕР

КОМПЕНДИЙ СРАВНИТЕЛЬНОЙ ГРАММАТИКИ ИНДОЕВРОПЕЙСКИХ ЯЗЫКОВ[1]

(ПРЕДИСЛОВИЕ)

Грамматика составляет часть языкознания, или глоттики[2]. Эта последняя есть часть естественной истории человека. Ее метод в основном — метод естественных наук вообще; он состоит из точного наблюдения над объектом и выводов, которые устанавливаются на основе наблюдения. Одной из главных задач глоттики является установление и описание языковых родов или языковых семейств, т. е. языков, происходящих от одного и того же праязыка, и классификация этих родов по естественной системе. Относительно немногие языковые семейства точно исследованы на сегодня, так что разрешение этой главной задачи глоттики — дело будущего.

Грамматикой мы называем научное рассмотрение и описание звуков, форм, функций слова и его частей, а также строения предложения. Грамматика, следовательно, состоит из учения о звуках, или фонологии, учения о формах, или морфологии, учения о функциях, или учения о значениях и отношениях, и синтаксиса. Предметом изучения грамматики может быть язык вообще, или определенный язык, или группа языков: общая грамматика и частная грамматика. В большинстве случаев она изучает язык в процессе его становления и, следовательно, должна исследовать и описать жизнь языка в ее законах. Если она занимается исключительно только этим и, следовательно, имеет своим предметом описание жизни языка, то ее называют исторической грамматикой или историей языка; правильнее было бы именовать ее учением о жизни языка[3] (о жизни звуков, форм, функций, предложений), которое в свою очередь может быть как общим, так и более или менее частным.

Грамматика индоевропейских языков есть, следовательно, частная грамматика. Так как она, далее, рассматривает эти языки

[1] A. Schleicher, Compendium der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen, Weimar, 1876.

[2] Это отличное слово, которое решительно надо предпочесть неудачно образованной «лингвистике», создано не мною. Я обязан им местной университетской библиотеке, где оно уже давно употребляется.

[3] Языки живут, как все естественные организмы; они, правда, не поступают, как люди, и не имеют истории, в соответствии с чем слово «жизнь» мы употребляем в более узком и буквальном смысле.

в процессе становления и исходит из их более или менее древних состояний, то ее правильнее было бы назвать частной исторической грамматикой индоевропейских языков.

Примечание 1. Вошло в обычай именовать сравнительной грамматикой не только описательную грамматику, но также и грамматику, по возможности объясняющую языковые формы и поэтому, как правило, не ограничивающуюся отдельным языком.

Примечание 2. Настоящий труд охватывает только две стороны, доступные научному рассмотрению при изучении языка, — звуки и формы. Функции и строение предложения индоевропейских языков мы еще не в состоянии обработать в такой же степени научно, как это оказалось возможным в отношении более внешних и более доступных сторон языка — его звуков и форм.

Невозможно установить общий праязык для всех языков, скорее всего существовало множество праязыков. Это с очевидностью явствует из сравнительного рассмотрения ныне еще живущих языков. Так как языки все более и более исчезают и новые при этом не возникают, то следует предположить, что первоначально было больше языков, чем ныне. В соответствии с этим и количество праязыков было, по-видимому, несравненно большим, чем это можно полагать на основе еще живущих языков.

Жизнь языка (обычно именуемая историей языка) распадается на два периода.

1. Развитие языка — доисторический период. Вместе с человеком развивается язык, т. е. звуковое выражение мысли. Даже простейшие языки есть результат постепенного процесса становления. Все высшие формы языка возникли из более простых: агглютинирующие из изолирующих, флективные из агглютинирующих.

2. Распад языка в отношении звуков и форм причем одновременно происходят значительные изменения в функциях и строении предложения — исторический период. Переход от первого периода ко второму осуществляется постепенно. Установление законов, по которым языки изменяются в течение их жизни, представляет одну из основных задач глоттики, так как без познания их невозможно понимание форм языков, в особенности ныне живущих.

Посредством различного развития в разных областях своего распространения один и тот же язык распадается на несколько языков (диалектов, говоров[1]) в течение второго периода, начало которого, однако, также выходит за пределы исторических свидетельств. Этот процесс дифференциации может повторяться многократно.

Все это происходит в жизни языка постепенно в течение дли-

[1] Различия говора, диалекта и языка с определенностью невозможно установить,

тельного времени, так как все совершающиеся в жизни языка изменения развиваются постепенно.

Языки, возникшие первыми из праязыка, мы называем языками-основами; почти каждый из них дифференцируется в языки, а языки могут далее распадаться на диалекты и диалекты — на поддиалекты.

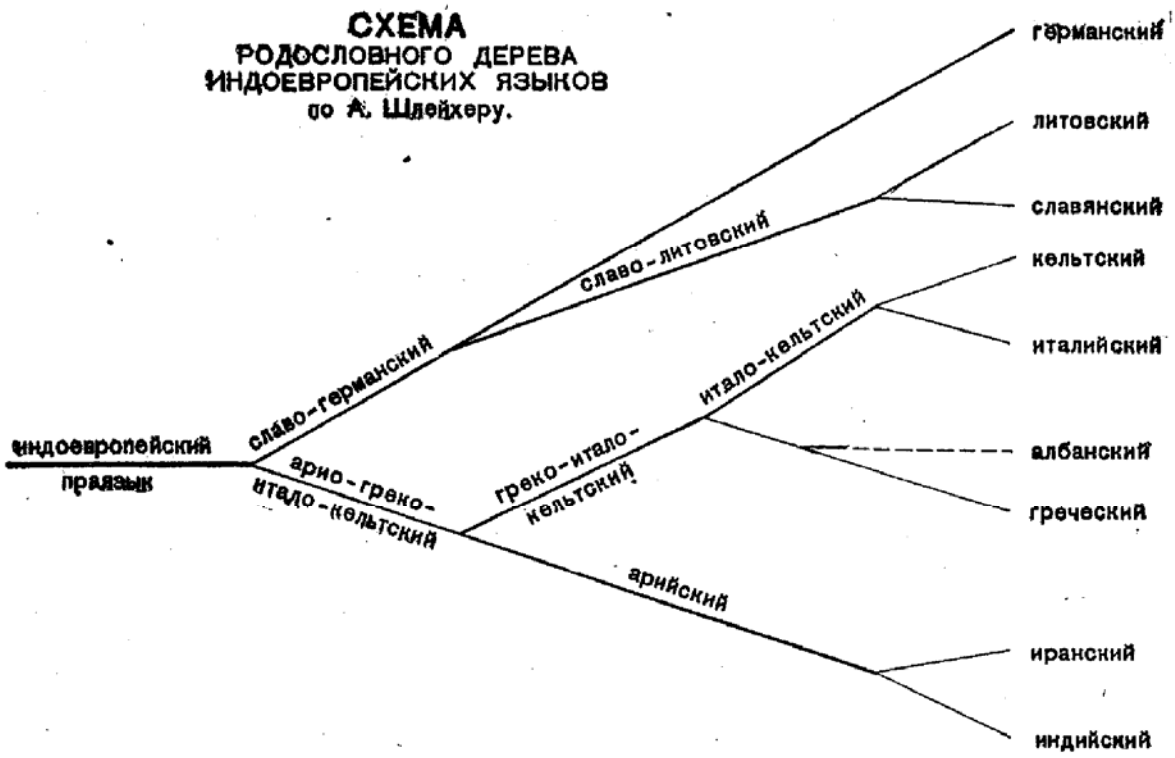
Все языки, происходящие из одного праязыка, образуют языковой род, или языковое дерево, которое затем делится на языковые семьи, или языковые ветви.

Индоевропейскими языками называют определенную группу языков Азии и Европы, которые обнаруживают настолько тождественные и отличающиеся от всех прочих языков свойства, что происхождение их от одного общего праязыка не вызывает сомнений.

В результате неравномерного развития в различных областях своего распространения индоевропейский язык разделился на две части. Сначала выделился славо-германский (который позднее расчленился на германский и славо-литовский); оставшаяся часть праязыка — арио-греко-итало-кельтский — разделилась на греко-итало-кельтский и арийский, из которых первый расчленился на (албано-)греческий и итало-кельтский, а второй, т. е. арийский, еще долго оставался неразделенным. Позднее славо-литовский, арийский (индо-иранский) и итало-кельтский разделились еще раз. Не исключено, что при некоторых или даже при всех делениях возникало больше языков, чем теперь представляется возможным установить, так как с течением времени некоторые индоевропейские языки могли исчезнуть. .

Чем восточнее живет индоевропейский народ, тем более древним остался его язык, и чем западнее, тем менее древних черт и более новообразований содержит он. Отсюда, так же как и из других данных, следует, что славо-германцы первыми начали свои переселения на запад, за ними последовали греко-итало-кельты. Из оставшихся арийцев индийцы направились на юго-восток, а иранцы распространились в юго-западном направлении. В соответствии с этим родину индоевропейцев следует искать на Центрально-Азиатском плоскогорье.

Относительно индийцев, покинувших свою исконную родину последними, мы знаем с абсолютной достоверностью, что они на своей новой родине вытеснили неиндоевропейский народ, из языка которого переняли некоторые черты. Применительно к другим индоевропейским народам это также в высшей степени возможно. Древнейшие деления индоевропейского вплоть до возникновения языков-основ и языковых семейств, образующих родословное дерево, можно проиллюстрировать следующей схемой. Длина линий обозначает на ней длительность периода, а отдаленность их друг от друга — степень родственной близости.



НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК[1]

(ИЗВЛЕЧЕНИЯ)

...Что такое язык? Популярное определение — язык есть мышление, выраженное звуками, — абсолютно правильно. Остановимся на этом на некоторое время.

Язык есть звуковое выражение мысли, проявляющийся в звуках процесс мышления. Чувства, восприятия, волеизъявление язык прямо не выражает; язык — не непосредственное выражение чувства и воли, но только мысли. Если необходимо через посредство языка выразить чувства и волю, то это можно сделать только опосредствованным путем, и именно в форме мысли. Непосредственное выражение чувств и восприятия, так же как воли и желания, осуществляется не через язык, но через естественные звуки — крики, смех, а также через звуковые жесты и подлинные междометия, как, например*, о! эй! тет! ш-ш!* и др. Эти звуки, выражающие чувство и волю непосредственно, — не слова, не элементы языка, но приближающиеся к животным крикам звуковые жесты, которые мы употребляем наряду с языком. Они в большей степени свойственны инстинктивному человеку (ребенку, необразованному или охваченному болезненными чувствами и аффектами человеку), нежели человеку образованному и находящемуся в спокойных условиях культурных форм жизни. Эти звуки не имеют ни функции, ни форм слова, они находятся ниже языка. Язык имеет своей задачей создать звуковой образ представле-

[1] A. Schleicher, Die Deutsche Sprache, 2. verbesserte und vermehrte Auflage, Stuttgart, 1869.

ний, понятий и существующих между ними отношений, он воплощает в звуках процесс мышления. Звуковое отображение мысли может быть более или менее полным; оно может ограничиться неясными намеками, но вместе с тем язык посредством имеющихся в его распоряжении точных и подвижных звуков может с фотографической точностью отобразить тончайшие нюансы мыслительного процесса. Язык, однако, никогда не может обойтись без одного элемента, именно звукового выражения понятия и представления; звуковое выражение обоих явлений образует обязательную сторону языка. Меняться или даже совершенно отсутствовать может только звуковое выражение отношения; это меняющаяся и способная на бесконечные градации сторона языка.

Представления и понятия, поскольку они получают звуковое выражение, называют значением. Функции звука состоят, следовательно, в значении и отношении.

Звуки и звуковые комплексы, функцией которых является выражение значения, мы называем корнями.

Значение и отношение, совместно получившие звуковое выражение, образуют слово. Слова в свою очередь составляют язык. В соответствии с этим сущность слова, а тем самым и языка заключается в звуковом выражении значения и отношения. Сущность каждого языка в отдельности обусловливается способом, каким значение и отношение получают звуковое выражение.

Кроме звучания, кроме звуковой материи, применяемой для выражения значения и отношения (функций), и кроме функций, мы должны выделить еще третий элемент в природе языка. То многообразие [способов соединения слов], которое мы отметили, частично основывается не на звуке и не на функциях, а на отсутствии или наличии выражения отношений и на том положении, которое занимают относительно друг друга выражение значения и выражение отношения. Эту сторону языка мы называем его формой. Мы должны, следовательно, в языке, а затем и в слове выделять три элемента. Точнее говоря, сущность слова, а тем самым и всего языка определяется тремя моментами: звуком, формой и функцией.

Для определения родства языков, объединяемых в языковые роды, решающим является не их форма, а языковая материя, из которой строятся языки. Если два или несколько языков употребляют для выражения значения и отношения настолько близкие звуки, что мысль о случайном совпадении оказывается совершенно неправомерной, и если, далее, совпадения проходят через весь язык и обладают таким характером, что их нельзя объяснить заимствованием слов, то подобного рода тождественные языки, несомненно, происходят из общего языка-основы, они являются

родственными. Верным критерием родства является прежде всего происходящее в каждом языке особым образом изменение общей с другими языками звуковой материи, посредством которой он отделяется как особый язык от других языков. Эту свойственную каждому языку и диалекту форму проявления общей для родственных языков звуковой материи мы называем характерными звуковыми законами данного языка. Ниже будет показано, что языки находятся в беспрерывном изменении и что эти изменения не равномерны для всей области языка. Посредством подобного неравномерного изменения в различных областях языка из языка-основы с течением времени возникает несколько языков, которые позднее развиваются еще в некоторое количество языков или диалектов и т. д. Все возникшие таким образом языки, которые хотя и через множество поколений, но в конечном счете можно свести к единому языку-основе, образуют языковой род, или, как обычно говорят, единое языковое дерево; относящиеся к нему языки являются родственными. В пределах подобных языковых родов мы часто можем выделить языковые семейства, а в этих последних — отдельные языки, распадающиеся затем на диалекты, говоры и т. д.

В действительности, конечно, развитие происходит не так регулярно; отдельные языки, развиваются по-разному. Одни имеют более многочисленные и частые деления, чем другие, и т. д.

Несомненно, далее, что не каждое языковое дерево состоит из обильно членящегося рода; члены этого последнего могут в процессе исторического развития исчезать, что в большинстве случаев происходит в результате того, что народы принимают другие языки. Так, например, в настоящее время от баскского языкового дерева сохранилась только одна ветвь, распадающаяся, правда, на несколько диалектов, и мы не знаем ни одного другого языка, который обнаруживал бы родственные связи с ним. Языковой род, таким образом, может быть представлен одним индивидуумом в силу того, что другие вымерли, или же потому, что они еще не были обнаружены нами.

Нет ни одного случая, чтобы все ранние ступени развития языкового организма, образующего языковой род, оставили после себя письменные памятники; часто оказывается, следовательно, необходимым восстанавливать на основе доступных нам более поздних форм существовавшие в прошлом формы языка-основы семейства или же праязыка всего рода. Метод восстановления подсказывается нам жизнью языка и, в частности, жизнью звуков. Мы познаем законы, по которым происходит изменение языка, на основе наблюдений над языками, развитие которых мы можем проследить в исторический период на протяжении столетий и даже тысячелетий. Применяя установленные таким путем законы изменения языков, мы,, продлеваем историю языков в доисторические времена.

Если два или несколько членов языкового дерева обнаружи-

вают значительные сходства, мы делаем логический вывод, что они уже как самостоятельные члены недавно отделились друг от друга. Это дает нам даже критерий, с помощью которого можно установить последовательность происходивших в доисторические времена языковых делений.

Языковые роды находятся в процессе постоянного становления, своим происхождением они обязаны закону развития, проявляющемуся в жизни языков. Это приводит нас к новому аспекту, который языки предоставляют наблюдению, именно к рассмотрению их жизни, их становления, расцвета и исчезновения, — короче говоря, к рассмотрению истории их развития.

Все языки, которые мы прослеживаем на протяжении длительного времени, дают основания для заключения, что они находятся в постоянном и беспрерывном изменении. Языки, эти образованные из звуковой материи природные организмы, притом самые высшие из всех, проявляют свои свойства природного организма не только в том, что все они классифицируются на роды, виды, подвиды и т. д., но и в том, что их рост происходит по определенным законам.

Но какого же рода этот рост языкового организма и как протекает жизнь языка?

Возникновение и становление языка мы никогда не можем наблюдать непосредственно; историю развития языка можно установить только посредством разложения образовавшегося языкового организма.

Этот вывод мы могли бы, несомненно, сделать и в связи с тем обстоятельством, что историческое существование народа без языка невозможно, что историческая жизнь предполагает существование языка, что человек, когда его разум связывается со звуком, целью своей бессознательной духовной деятельности имеет язык, а будучи духовно свободным и желая самоутвердиться, может использовать язык только как средство выражения своей духовной деятельности. Образование языка и история — чередующиеся деятельности человека, два способа проявления его сущности, которые никогда не осуществляются одновременно и из которых первое всегда предшествует второй.

Можно даже объективно доказать, что история и развитие языка находятся в обратных отношениях друг к другу. Чем богаче и сложнее история, тем скорее происходит распад языка, и чем беднее, медленнее и устойчивее первая, тем более верным себе остается язык.

Как только народ вступает в историю, образование языка прекращается. Язык застывает на той ступени, на какой его застает этот процесс, но с течением времени язык все более теряет свою звуковую целостность. Некоторые народы развивают свои языки

в доисторический период до высоких форм, другие ограничиваются более простыми языковыми образованиями. В образовании языка и в истории (охватывающих всю совокупность духовного развития) проявляется сущность человека, и каждой народности в частности. Этот особый в каждом отдельном случае способ проявления называют национальностью. Тот же разум, который в своей связанности со звуком образует язык, в своей свободной деятельности обусловливает историческое развитие. Поэтому между языком и историей народа наблюдается непременная связь...

Жизнь языка распадается прежде всего, следовательно, на два совершенно отдельных периода: история развития языка (доисторический период) и история распада языковых форм (исторический период).

Тем самым жизнь языка не отличается существенно от жизни всех других живых организмов — растений и животных. Как и эти последние, он имеет период роста от простейших структур к более сложным формам и период старения, в который языки все более и более отдаляются от достигнутой наивысшей степени развития и их формы терпят ущерб. Естествоиспытатели называют это обратной метаморфозой.

Где развиваются люди, там возникает и язык; первоначально, очевидно, это были только звуковые рефлексы полученных от внешнего мира впечатлений, т. е. отражение внешнего мира в мышлении, так как мышление и язык столь же тождественны, как содержание и форма. Существа, которые не мыслят, не люди; становление человека начинается, следовательно, с возникновения языка, и обратно — с человеком возникает язык. Звуки языка, т. е. звуковые образы представлений, полученных мыслительным органом посредством чувств и понятий, образованных в этом органе, у различных людей были различны, но, по-видимому, в основном однородны, а у людей, живущих в одинаковых условиях, тождественны. И в позднейшей жизни языка обнаруживается аналогичное явление: в основном одинаковые и живущие в одних и тех же условиях люди изменяют свой язык тождественным образом, следуя внутреннему неосознанному стимулу. Поэтому в высшей степени возможно, что как позднее у целых народов изменения языка происходили в основном однородным образом, так и в доисторическое время образование простейших звуков, наделенных значением, осуществлялось среди общавшихся друг с другом индивидуумов идентичными путями.

Почему у разных людей проявляются различия, почему не все люди развивают в своей среде один и тот же язык — на эти вопросы должна нам дать ответ антропология. Относительно различия языков мы знаем только то, что уже в звуках первых языков обнаруживаются большие различия. Эти различия проявляются, однако, не только в звуках, но основываются прежде всего на том, что с

самого начала в языках существуют различные потенции развития; одни языки обладают большей способностью к более высокому развитию, чем другие, хотя первоначально форма всех языков должна быть одинаковой. Подобным образом происходит развитие органической жизни вообще. Первичные клеточки, например, различных животных в семени совершенно одинаковы по форме и материи; точно так же и лучший ботаник не сможет отличить семена простейшей астры от семян роскошной гигантской астры, и тем не менее в этих, казалось бы, абсолютно одинаковых объектах содержится все будущее и особое развитие. Это же имеет место и в царстве языков.

Так же как развитие языков, их распад происходит по определенным законам, которые мы устанавливаем на основе наблюдения над языками, прослеживаемыми на протяжении столетий и тысячелетий. Таких языков, конечно, немного, так как приниматься во внимание могут только языки народов, вошедших в качестве культурных в историю в очень раннее время. Впрочем, полученный из немногих примеров историко-языковедческий материал настолько богат, что его вполне достает, чтобы получить отчетливое представление о процессе языковых изменений во второй период жизни языка. На основе этих данных мы в состоянии делать историко-языковедческие предположения и относительно тех языков, жизненное развитие которых мы не имели возможности наблюдать в течение длительного времени. Часто в их формах мы усматриваем более поздние стадии развития и посредством известных нам законов с уверенностью восстанавливаем формы, предшествующие фиксированным. Мы реконструируем более или менее ранние жизненные эпохи языков, возводя фактически известную нам позднюю форму к более древней. Говоря образно, достаточно знать нижнее течение потока, чтобы не только установить, что он имеет верхнее течение или источник, но и выявить характер этого источника.

Ясно, что в результате отпадения конечных звуков, т. е. той части слова, где большинство языков сосредоточивает словообразующие органы, или, что то же, элементы, выражающие грамматические отношения, форма языков значительно изменяется.

Впрочем, уже в более древние языковые периоды, в то время, когда звуки еще устойчивы, ощущается действие силы, которая враждебно воздействует на многообразие форм и ограничивает ее все более и более самым необходимым. Это — выравнивание хотя и обоснованных в своем своеобразии, но менее употребительных в языке форм применительно к более употребительным и потому находящим в языковом чувстве более сильную опору, иными словами, аналогия. Стремление к удобной унификации, к трактовке возможно большего количества слов единообразным способом и все более затухающее чувство значения и первичности свое-

образных явлений — все это привело к тому, что позднейшие языки обладают меньшим количеством форм, чем более ранние, и строение языков с течением времени все больше упрощается. Старое богатство форм отбрасывается, как ненужный балласт. Следовательно, в то время как в поздние периоды жизни языков многообразие звуков увеличивается, языки теряют древнее обилие грамматических форм.

Но почему ранее богатство форм не было балластом?.. В более ранние периоды жизни от распада языки удерживало чувство функций отдельных элементов слова; как только это чувство ослабевает, выветриваются и сглаживаются четко отграниченные формы слова и утверждается стремление освободиться от того, что уже не воспринимается как нечто значимое...

Чувство функций слова и его частей мы назовем языковым чувством. Языковое чувство, таким образом, — добрый дух языковых форм; в такой же степени, в какой он затухает с тем, чтобы затем исчезнуть, происходит звуковая порча слова. Языковое чувство и целостность звуковой формы стоят, следовательно, в прямых отношениях друг к другу, а языковое чувство и звуковые законы, аналогия, упрощение языковых форм — в обратных отношениях.

По отсутствию фонетических законов, действующих без исключения, вполне ясно заметно, что наш письменный язык не есть наречие, живущее в устах народа, или спокойное, беспрепятственное дальнейшее развитие более древней формы языка. Наши народные говоры обычно представляются научному наблюдению как выше стоящие по развитию языка, более закономерные организмы, чем письменный язык.

ТЕОРИЯ ДАРВИНА В ПРИМЕНЕНИИ К НАУКЕ О ЯЗЫКЕ
публичное послание доктору Эрнсту Геккелю, э. о. профессору зоологии и директору зоологического музея при иенском университете[1]

(ИЗВЛЕЧЕНИЯ)

...Законы, установленные Дарвином для видов животных и растений, применимы, по крайней мере в главных чертах своих, и к организмам языков. Изложение этого применения составляет прямую задачу этих строк, и мы приступим к нему теперь, показав вообще, что все наблюдательные науки настоящего времени, к которым принадлежит и наука о языке, имеют одну общую черту, обусловленную известным философским воззрением.

Обратимся к книге Дарвина и посмотрим, что в языкознании аналогично со взглядами, изложенными Дарвином.

[1] Спб., 1864. Переводчик не указан. Оригинал опубликован в 1863 г.

Прежде всего вспомним, что разделения и подразделения в области языков в сущности того же рода, как и вообще в царстве естественных организмов, но что выражения, употребляемые лингвистами для обозначения этой классификации, отличны от тех, которые встречаются у натуралистов. Прошу иметь это постоянно в виду, так как это принимается во всем следующем. То, что естествоиспытатели назвали бы родом, у глоттиков именуется... племенем; роды, более сродственные между собою, называются иногда семействами одного племени языков. Сознаюсь, впрочем, что при определении родов исследователи языка столь же не согласны между собою, как зоологи и ботаники; к этому характеристическому обстоятельству, повторяющемуся во всех степенях специфицирования, я еще возвращусь впоследствии. Виды одного рода у нас называются языками какого-либо племени; подвиды — у нас диалекты или наречия известного языка; разновидностям соответствуют местные говоры или второстепенные наречия; наконец, отдельным особям — образ выражения отдельных людей, говорящих на известных языках. Известно, что отдельные особи одного вида не бывают совершенно сходны между собою, и это относится в равной степени и к особям языка; даже образ выражения отдельных людей, говорящих на одном и том же языке, всегда имеет более или менее резкий индивидуальный оттенок.

Что же касается установленной Дарвином изменчивости видов, которая если только она не однородна неравномерна у всех особей содействует возникновению из одной формы многих новых (процесс, разумеется, беспрерывно повторяющийся), то в отношении к организмам языка эта способность уже давно признана. Те языки, которые, по выражению ботаников и зоологов, следовало бы обозначить видами одного рода, мы считаем за детей одного общего основного языка, из которого они произошли путем постепенного изменения. Из племен языков, нам хорошо известных, мы точно так же составляем родословные, как это старался сделать Дарвин для видов растений и животных. Уже никто более не сомневается в том, что все племя индоевропейских языков: индийский, иранский (персидский, армянский и др.), греческий, италийский (латинский, оскский, умбрийский, со всеми детьми первого), кельтский, славянский, литовский, германский, или немецкий, языки, т. е. племя, состоящее из множества видов, подвидов и разновидностей, получило свое начало из одной отдельной основной формы — индогерманского первобытного языка; то же самое прилагается к языкам семитического племени, к которому, как известно, принадлежат еврейский, сирийский и халдейский, арабский и др., как вообще ко всем племенам языков.

Относительно происхождения новых форм из прежних в области языка можно делать наблюдения легче и в большем размере, чем в области организмов растений и животных. Дело в том, что мы, лингвисты, на этот раз имеем преимущество перед прочими естествоиспытателями. Мы действительно в состоянии доказать, что

многие языки разветвились на различные языки, наречия и т. д. Некоторые языки и семейства языков можно проследить более чем в течение двух тысячелетий, так как до нас дошла через письмена в сущности верная картина их прежних форм. Это можно сказать, например, о латинском. Нам известны как древнелатинский, так и романские языки, происшедшие из него посредством разрознения и постороннего влияния, вы сказали бы — путем скрещивания; нам известен древнейший индийский, известны происшедшие прямо из него языки и, далее, происходящие от этих языки новоиндийские. Таким образом, мы имеем твердую и верную основу для наблюдения. То, что нам положительно известно о языках, сделавшихся доступными нашим наблюдениям в течение столь долгих периодов времени потому, что народы, ими говорившие, к счастью, оставили письменные памятники из сравнительно раннего времени, мы имеем право распространять и на другие племена языков, у которых недостает подобных памятников их прежних форм. Таким образом, мы знаем из прямых наблюдений, что языки изменяются, пока они живут, и данными для этих наблюдений мы обязаны только письменности.

Если бы письменность не была изобретена доныне, то языкоиспытателям, вероятно, никогда бы не пришло в голову, что языки, как, например, русский, немецкий и французский, происходят от одного и того же языка; они, может быть, не догадались бы предположить общее происхождение для каких-либо языков, хотя и находящихся в самом близком сродстве, и вообще допустить, что язык изменяется. Без письменности наше положение было бы еще более затруднительным, чем положение ботаников и зоологов, которые имеют по крайней мере образчики прежних образований и научные объекты которых вообще легче наблюдаемы, нежели языки. Но теперь у нас более материала для наблюдения, чем у других естествоиспытателей, и оттого мы раньше пришли к той мысли, что виды не первозданны. Кроме того, изменения в языках, может быть, совершились быстрее, чем в царствах животных и растительном, так что зоологи и ботаники находились бы с нами в равно благоприятных условиях разве только в том случае, если бы дошли до нас целые ряды так называемых допотопных форм, хотя бы лишь некоторых родов, в совершенно уцелевших экземплярах, т. е. с кожею и волосами или с листьями, цветком и плодом. Впрочем, различие относительно материала для наблюдений между царством языка и царством животных и растений, как уже сказано, только количественное, а не качественное, ибо, как известно, некоторая степень изменчивости животных и растений есть также дознанный факт.

Все более организованные языки, как, например, праотец индогерманского племени, нам совершенно известный, очевидно, показывают своим строением, что они произошли посредством постепенного развития из более простых форм. Строение всех языков ука-

зывает на то, что их древнейшая форма в сущности была та же, которая сохранилась в некоторых языках простейшего строения (например, в китайском). Одним словом, то, из чего все языки ведут свое начало, были осмысленные звуки, простые звуковые обозначения впечатлений, представлений, понятий, которые могли быть употребляемы различным образом, т. е. играть роль той или другой грамматической формы, без существования особых звуковых форм, так сказать, органов для этих различных отправлений. В этом наидревнейшем периоде жизни языков в звуковом отношении нет ни глаголов, ни имен, ни спряжений, ни склонений и т. д.

Употребляя форму уподобления, я могу назвать корни простыми клеточками языка, у которых для грамматических функций, каковы имя, глагол и т. д., нет еще особых органов и у которых самые эти функции (грамматические отношения) столь же мало различны, как, например, у одноклеточных организмов или в зародышевом пузырьке высших живых существ дыхание и пищеварение.

Мы принимаем, таким образом, для всех языков по форме одинаковое происхождение. Когда человек от звуковой мимики и звукоподражаний нашел дорогу к звукам, имеющим уже значение, то эти последние были еще простые звуковые формы, без всякого грамматического значения. Но по звуковому материалу, из которого они состояли, и по смыслу, который они выражали, эти простейшие начала языка были различны у различных людей, что доказывается различием языков, развившихся из этих начал. Оттого мы предполагаем бесчисленное множество первобытных языков, но для всех принимаем одну и ту же форму.

В некоторой степени соответствующим образом представляем мы себе происхождение растительных и животных организмов; их общая первоначальная форма есть, вероятно, простая клеточка, точно так же, как относительно языков это есть простой корень. Простейшие формы позднейшей жизни животных и растений, клеточки, следует, кажется, также предположить простейшими во множестве; точно так же в известный период жизни нашей планеты в области языков мы допустили одновременное появление многих простых звуков со значением. Эти первоначальные формы органической жизни, не имевшие еще притязания на названия ни животного, ни растения, впоследствии развивались и разных направлениях; таким же образом — и корни языков.

Так как в эпоху историческую мы видим, что у людей, живущих в одинаковых условиях, языки изменяются равномерно в устах всех особей, ими говорящих, то мы и принимаем, что язык образовывался однородно у людей совершенно однородных. Ибо вышеизложенный метод — от известного заключать о неизвестном — не дозволяет нам предположить для древних времен, не подлежащих нашему непосредственному наблюдению, иные за-

коны жизни, нежели те, которые мы замечаем в периоде, доступном нашему наблюдению.

При других условиях иначе образовывались и языки, и, по всей вероятности, различие языков находилось в прямом отношении к различию жизненных условий людей вообще. Таким образом, первоначальное распределение языков на земле происходило, вероятно, со строгой законностью; языки соседних народов были более сходными, чем языки людей, живших в разных частях света. По мере удаления языков от исходного языка они должны были все более и более уклоняться от него, так как вместе с удалением изменяются и климат, и жизненные условия вообще. Даже в настоящее время сохранились, по-видимому, следы этого правильного распределения языков...

...Это разительное согласование в строении языков географически соседних племен мы считаем явлением самой ранней жизни языка. Колыбели происхождения таких языков, коих образовательное начало в сущности аналогично, по нашему мнению, следует считать соседственными. Подобно языкам, и флоры и фауны отдельных частей света обнаруживают свойственный им тип.

В историческое время виды и роды языков постоянно исчезают и другие распространяются на их счет; для примера я упомяну только о распространении индогерманского племени и о вымирании американских языков. В древние времена, когда на языках говорило сравнительно малочисленное народонаселение, вымирание форм языков, может быть, происходило в несравненно высшей степени. Но так как более организованные языки, как, например, индогерманский, должны существовать уже давно, как это видно из их высокого развития, из их настоящей, очевидно, древней формы и из вообще медленного изменения языков, то следует, что доисторический период жизни языков был гораздо продолжительнее, чем период, принадлежащий историческому времени. Известен же нам язык только со времени употребления письменности. Итак, для периода исчезновения организмов языка и изменения первоначальных его условий нам следует вообще предположить весьма большое пространство времени, может быть, из нескольких десятков тысячелетий. В этот большой промежуток времени исчезло, вероятно, более родов языков, нежели сколько их существует в настоящее время. Так объясняется и возможность большого распространения некоторых племен, например индогерманского, финского, малайского, южноафриканского и т. д., которые сильно разошлись на просторной почве. Такой же процесс Дарвин принимает для царств растительного и животного, называя его «борьбой за существование»; множество органических форм должно было погибнуть в этой борьбе и дать место сравнительно немногим избранным. Приведем собственные слова Дарвина. Он говорит: «Преобладающие виды обширнейших преобладающих групп стремятся оставлять многих видоизмененных потомков, и таким обра-

зом возникают новые подгруппы. По мере их возникновения виды групп менее сильных, унаследовавшие от общего родича какое-либо несовершенство, склонны к одновременному вымиранию без видоизмененного потомства. Но окончательное вымирание целой группы видов часто может быть процессом весьма медленным вследствие сохранения немногих потомков, выживающих в защищенных объединенных местностях (с языками это встречается в горах; я упомяну, например, баскский язык в Пиренеях, остаток прежде далеко распространенного языка; то же самое видим на Кавказе и в других местностях). Когда группа исчезла вполне, она не появляется вновь, ибо потомственная связь порвана. Мы можем понять, каким образом преобладающие жизненные формы, всего чаще изменяющиеся, стремятся со временем населить весь мир близко сродными, хотя и видоизмененными, потомками; они по большей части успеют заменить те группы видов, которые слабее их в борьбе за существование».

Эти слова Дарвина могут быть применены к языкам без всякого изменения. Дарвин превосходно изображает в приведенных строках то, что совершается при борьбе языков за свое существование. В настоящем периоде жизни человечества победителями в борьбе за существование оказываются преимущественно языки индогерманского племени; распространение их беспрерывно продолжается, а многие другие языки ими вытеснены. О множестве их видов и подвидов свидетельствует вышеприведенная их родословная.

Вследствие огромного вымирания языков погасли некоторые посредствующие формы; вследствие переселений народов изменились первоначальные условия языков, так что ныне нередко языки весьма различной формы являются соседями по местности, не имея посредствующих между собой звеньев. Так, например, мы видим, что баскский язык, совершенно отличный от индогерманского, стоит уединенно среди этого племени.

В сущности то же говорит Дарвин о соотношениях царств животного и растительного.

Вот что, любезный друг и товарищ, приходило мне на ум, когда я изучал уважаемого тобою Дарвина, которого учение ты так ревностно стараешься защищать и распространять, чем, как я только что узнал, ты даже навлек на себя гнев клерикальных журналов.

Понятно, что только основные черты воззрений Дарвина имеют применение к языкам. Область языков слишком различна от царств растительного и животного, чтобы совокупность рассуждений Дарвина до малейших подробностей могла иметь для нее значение.

Но в области языков тем более неопровержимо происхождение видов путем постепенного разрознения и сохранения более развитых организмов в борьбе за существование. Оба главных начала Дарвинова учения разделяют со многими другими великими открытиями то свойство, что они оказываются справедливыми даже в таких сферах, которые первоначально не был и принимаемы в соображение.

БАСНЯ, СОСТАВЛЕННАЯ А. ШЛЕЙХЕРОМ НА ИНДОЕВРОПЕЙСКОМ ПРАЯЗЫКЕ[1]

AVIS AKVASAS KA

Avis, jasmin varna na ā ast, dadarka akvams, tam, vāgham garum vaghantam, tam, bhāram magham, tam, manum āku bharantam. Avis akvabhjams ā vavakat: kard aghnutai mai vidanti manum akvams agantam.

Akvāsas ā vavakant: krudhi avai, kara aghnutai vididvantsvas: manus patis varnām avisāms karnanti svabhjam gharmam vastram avibhjams ka varna na asti.

Tat kukruvants avis agram ā bhudat.

ПЕРЕВОД А. ШЛЕЙХЕРА

[Das] Schaf und [die] Rosse

[Ein] schaf, [auf] welchem wolle nicht war (ein geschorenes schaf), sah rosse, das [einen] schweren wagen fahrend, des [einel grofie last, das [einen] menschen schnell tragend. [Das] schaf sprach [zu den] rossen: [Das] herz wird beengt [in] mir (es thut mir herzlich leid) sehend [den] menschen [die] rosse treibend.

[Die] rosse sprachen: Höre schaf, [das] herz wird beengt [in den] gesehen — habenden (es thut uns herzlich leid, da wir wissen): [der] mensch, [der] herr, macht [die] wolle [der] schafe [zu einem] warmen kleide [für] sich und [den] schafen ist nicht wolle (die schafe aber haben keine wolle mehr, sie werden geschoren; es geht ihnen noch schlechter als den rossen).

Das gehört habend bog (entwich) [das] schaf [auf das] feld (es machte sich aus dem staube).

ПЕРЕВОД НА РУССКИЙ ЯЗЫК

ОВЦА И КОНИ

Овца, [на] которой не было шерсти (стриженая овца), увидела коней, везущих тяжелую повозку [с] большим грузом, быстро несущих человека. Овца сказала коням: сердце теснится [во] мне (сердце мое печалится), видя коней, везущих человека.

Кони сказали: послушай, овца, сердце теснится [от] увиденного (наше сердце печалится, потому что мы знаем): человек — господин, делает шерсть овцы теплой одеждой [для] себя и [у] овец нет шерсти (у овец больше нет шерсти, они острижены, им хуже, чем коням).

Услышав это, овца повернула [в] поле (она удрала, ретировалась).

[1] Eine Fabel in indogermanischer Ursprache. «Beitrage zur vergl. Sprach-forschung», Bd. 5, S. 206,1868.

IV. ПСИХОЛОГИЗМ В ЯЗЫКОЗНАНИИ

Психологическое направление в языкознании не представляет собой замкнутой и ограниченной определенными лингвистическими доктринами школы. Психологическое истолкование явлений языка свойственно не только Г. Штейнталю или А. А. Потебне, но и младограмматикам, и представителям казанской и московской лингвистических школ и др. Однако если, например, младограмматиков представляется возможным объединить в одну группу на основе общих для них методологических и методических принципов, в состав которых определенным компонентом входит и психологическое истолкование фактов языка, то в отношении ряда языковедов этого сделать нельзя. Они находятся вне школ и, хотя в своих лингвистических работах широко привлекают психический фактор (что является объединяющим началом), настолько различаются друг от друга, что их трудно заключить в тесные рамки определенной школы. К таким языковедам относятся Г. Штейнталь, А. А. Потебня, В. Вундт и др.

В книгу включены отрывки из трудов основателя психологического направления — Г. Штейнталя, несомненно, виднейшего представителя этого направления — А. А. Потебни, а также В. Вундта.

Психологическая концепция языка Г. Штейнталя (1823 — 1899) противопоставляется, с одной стороны, опытам построения логической грамматики, получившим наиболее яркое выражение в книге К. Беккера «Организм языка», 1841, а с другой стороны, биологическому натурализму А. Шлейхера. Г. Штейнталь при этом старался опереться на философию языка В. Гумбольдта, но фактически во многом отошел от нее.

Г. Штейнталь — автор многочисленных работ, в которых он выступает не как исследователь конкретных языков или лингвистических явлений и фактов, а как теоретик и систематизатор. Наиболее интересными работами, с точки зрения ознакомления с сущностью его концепции, можно назвать следующие: «Грамматика, логика и психология, их принципы и взаимоотношения», 1855 (выдержки из этой работы даются в книге) и «Введение в психологию и языкознание» (изд. 2, 1881). Его перу также принадлежат: «Происхождение языка» (изд. 4, 1888), «Классификация языков как развитие языковой идеи» (1850), «Характеристика важнейших типов строя языка» (1860), «Произведения В. Гумбольдта по философии языка» (1848), «История языкознания у греков и римлян» (изд. 2, 1890 — 1891) и др. В 1860 г. он совместно с М. Лацарусом основал журнал «Zeitschrift für Völkerpsychologie

und Sprachwissenschaft» («Журнал этнической психологии и языковедения»), специально посвященный разработке выдвинутых психологическим направлением проблем.

Концепция Г. Штейнталя базируется на ассоциативной психологии Гербарта, в соответствии с которой образование представлений совершенно механическим образом управляется психическими законами ассимиляции, апперцепции и ассоциации. На основе этих законов Г. Штейнталь старается объяснить как происхождение языка, так и процессы его развития. При этом он категорически отвергает участие мышления в становлении языка («Категории языка и логики несовместимы и так же мало могут соотноситься друг с другом, как понятия круга и красного»). Все внимание исследователя сосредоточивается, таким образом, на индивидуальном акте речи, рассматриваемом как явление психическое. '

Через посредство изучения явлений индивидуальной психологии Г. Штейнталь стремится постичь «законы духовной жизни» в разного рода коллективах — в нациях, в политических, социальных и религиозных общинах — и установить связи типов языка с типами мышления и духовной культуры народов (этнопсихология). Выполнение этой задачи стимулирует, по его мнению, то обстоятельство, что внутренняя форма языка (которая и обусловливает национальный тип языка) непосредственно доступна наблюдению только через его внешнюю форму, т. е. главным образом через звуковую сторону языка,--почему она в первую очередь и должна приниматься во внимание при изучении языка и его характерных особенностей («Мы не имеем права говорить о языковых формах там, где им не соответствует изменение звуковой формы»).

Некоторые положения лингвистической теории Г. Штейнталя были усвоены и развиты младограмматиками.

А. А. Потебня (1835 — 1891) — «крупнейший лингвист нашей страны и один из наиболее выдающихся филологов славянства» (Л. А. Булаховский). Вся жизнь А. А. Потебни связана с Харьковским университетом, где он учился и где позднее протекала вся его научная и преподавательская работа в качестве профессора кафедры русской словесности. А. А. Потебня был ученым очень широкого круга интересов. Как языковед, А. А. Потебня занимался вопросами общего языкознания, морфологии, фонетики, синтаксиса, семасиологии русского и славянских языков, диалектологией, сравнительно-исторической грамматикой и др. Одним из первых он стал изучать. проблему языка художественных произведений и взаимоотношения языка и искусства. Но помимо языкознания, он много внимания уделял, теория словесности и этнографии в широком понимании этой науки.

К числу наиболее существенных работ А. А. Потебни, в которых, в частности, находят свое отражение его общеязыковедческие взгляды, относятся «Мысль и язык» (впервые опубликована в 1862 г. в «Журнале министерства народного просвещения», последующие издания вышли отдельной книгой; последнее издание (пятое) — в 1926 г.) и «Из записок по русской грамматике» (части 1 и 2 впервые напечатаны в «Филологических записках» за 1874 г., а отдельной книгой со значительными дополнениями — в 1888 г. Остальные две части опубликованы посмертно: часть 3 — «Об изменении значения и заменах существительного» — в 1899 г. и часть IV — «Глагол, местоимение, числительное, предлог» — в 1941 г.).

Извлечения из обоих этих трудов даны в настоящей книге.

На первом этапе своей научной деятельности А. А. Потебня испытывает влияние идей В. Гумбольдта и Г. Штейнталя, но очень скоро вырастает в. крупного и оригинального языковеда-мыслителя (как его метко охарактеризовал один из последователей А. А. Потебни — академик Д. Н. Овсянико-Куликовский).

Касаясь общетеоретических вопросов («философии языка»), А. А. Потебня уделял много внимания положению о языке как деятельности, в процессе которой беспрерывно происходит обновление языка. С этим связывается я его интерес, с одной стороны, к проблеме речи и ее роли в жизни языка (в частности, смыслового его аспекта), а с другой стороны, к проблеме

художественного творчества в его отношении к языку. Для А. А. Потебни характерно индивидуалистическое решение этих проблем («Действительная жизнь слова... совершается в речи... Слово в речи каждый раз соответствует одному акту мысли, а не нескольким, т. е. каждый раз, как произносится или понимается, имеет не более одного значения». «В действительности... есть только речь. Значение слова возможно только в речи. Вырванное из связи слово мертво...» «Общее значение слов, как формальных, так и вещественных, есть только создание личной мысли и действительно существовать в языке не может...»).

В отличие от Г. Штейнталя, А. А. Потебня не отрывал язык от мышления, но вместе с тем подчеркивал специфичность логических и языковых категорий. («Язык есть тоже форма мысли, но такая, которая ни в чем, кромег языка, не встречается...»)

Одним из первых А. А. Потебня указал на необходимость изучать явления языка в их взаимосвязи, способствуя тем самым формированию понятия языковой системы. Большое методологическое значение имела также его критика теории «двух периодов» в жизни языка, которая была столь популярной среди лингвистов конца XVIII в. и первой половины XIX в. (см. в настоящей книге работы Ф. Боппа, Я. Гримма, А. Шлейхера).

Общетеоретические положения у А. А. Потебни связываются с тщательным анализом большого языкового материала. Этой стороной своей научной деятельности, ярче всего представленной в его знаменитых «Записках по русской грамматике», А. А. Потебня примечателен не в меньшей мере, чем своими теоретическими идеями. «Хотя со дня его смерти прошло более полувека, он отнюдь не является в науке о языке просто одной из славных фигур ее прошлого. Потебня не прошлое: его произведения и сейчас изучаются с большим к ним вниманием и интересом; в них видят научное наследство,. ценное и по некоторым важным, прочно вошедшим в науку фактам и выводам и едва ли не в большей мере по вопросам и идеям, способным стимулировать пытливость исследователей разрабатывавшихся им областей знания» (Л. А. Булаховский).

А. А. Потебня воспитал большую группу крупных языковедов. Его теории нашли видных последователей в лице Д. И. Овсянико-Куликовского,. А. В. Попова, В. И. Харциева и др. С именем Потебни связана также подготовка акад. Б. М. Ляпунова, акад. А, И. Соболевского, Иос. Миккола (Финляндия) и др.

Вильгельм Макс Вундт (1832 — 1920) известен как разносторонний ученый: физиолог, психолог, философ и языковед. Вместе с М. Лацарусом и Г. Штейнталем принадлежит к школе этнической психологии. Однако а отличие от них В. Вундт не считал язык непосредственным выражением «народного духа» (положение, восходящее к В. Гумбольдту), а отмечал его социальный характер и определял как «общезначимый продукт коллективной духовной деятельности в процессе развития человеческого общества». Вместе с тем В. Вундт считал, что основное внимание исследователей должно быть направлено на «анализ лежащих в основе этой деятельности психических актов». Таким образом, социальный момент в его концепции отступает на второй план, и она приобретает психологический характер. Язык как продукт коллективной жизни людей В. Вундт изучал в одном ряду с мифами, к которым «примыкают зачатки религии и искусства», и с обычаями, воплощающими в себе «зачатки и общие формы развития права и культуры». Он неоднократно указывал, что основополагающей для лингвистики дисциплиной является психология языка и в своих многочисленных трудах — «Психология народов. Язык» (изд. 4, 1922), «История языка и психология языка» (1901), «Элементы психологии народов» (1912) и др. — стремился подвергнуть чисто психологической трактовке все те частные и общие проблемы, которые-с позиций историзма рассматривали младограмматики: фонетические и семантические изменения, словообразование, формы слов, сочетание предложений, происхождение языка и пр. «В языке, — писал он, — отражается прежде всего мир представлений человека. В изменении значений слов обнаруживаются законы изменения представлений так, как они происходят

под влиянием изменяющихся условий ассоциации и апперцепции. В органической структуре языка, в образовании форм слов, в синтаксической связи частей речи проявляется закономерность, которой определяется связь представлений в естественных и созданных культурой условиях человеческого коллектива». В своей полемике с одним из виднейших представителей младограмматизма — Б. Дельбрюком, критиковавшим работы В. Вундта с позиций универсально-исторического подхода к изучению языка, В. Вундт с полной недвусмысленностью заявил, что факты языка его интересуют постольку, поскольку они могут быть полезны психологу. Внимание исследователей, писал он, должно быть направлено «на добывание психологического знания из фактов языка, и прежде всего из истории языка», язык нужен лишь для того, «чтобы заложить прочную основу психологии сложных психических процессов». Такого рода теоретическая установка приводит к тому, что огромный лингвистический материал, привлеченный В. Вундтом, получает одностороннее психологическое освещение и даже подвергается прямому искажению в угоду априорным психологическим схемам. При этом В. Вундт, отвергая ассоциативную психологию Гербарта (на которой основывались Г. Штейнталь и младограмматики), развивал систему так называемой волюнтаристической психологии, которая в качестве основной функции психической жизни человека рассматривает не интеллект, а волю.

В настоящию книгу включены извлечения из двух работ В. Вундта, которые с достаточной ясностью излагают основные теоретические принципы его концепции.

ЛИТЕРАТУРА

Л.А. Булаховский, Потебня-лингвист, «Ученые записки МГУ», вып. 107 («Роль русской науки в развитии мировой науки и культуры», т. III, кн. 2), изд. МГУ, 1946. Переработанное издание этой работы: «Александр Афанасьевич Потебня», изд. Киевского государственного университета, 1952.

Т. Райнов, А. А. Потебня, Пг., 1924.

Д.Н. Овсянико-Куликовский, А. А. Потебня как языковед-мыслитель, «Киевская старина», VII, 1893.

Р.О. Шор, Краткий очерк истории лингвистических учений с эпохи Возрождения до конца XIX в. (послесловие к книге В. Томсена «История языковедения до конца XIX в.», Учпедгиз, М., 1938).

Р.О. Шор, В. Вундт, «Большая Советская Энциклопедия», изд. 1, т. 13.

Ф.Ф.Зелинский, В. Вундт и психология языка, «Из жизни идей», т. II, Спб., 1911.

А.Л. Погодин. Язык как творчество, «Вопросы теории и психологии творчества», т. IV, Харьков, 1913.

Г. ШТЕЙНТАЛЬ

ГРАММАТИКА, ЛОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ (ИХ ПРИНЦИПЫ И ИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ)[1]

(ИЗВЛЕЧЕНИЯ)

О ЯЗЫКОЗНАНИИ ВООБЩЕ

Как и всякая другая наука, языкознание предполагает наличие своего предмета и сознание этого. Необходимо сразу же указать на его предмет, определить, представить его, чтобы с самого начала не было никакой неясности относительно того, о чем будет идти речь на протяжении всего исследования. Следовательно, нам надо начать с объяснения термина (Nominaldefinition); определение существа (Realdefinition) дается в изложении науки в целом.

Определение

Предметом языкознания является язык, или язык вообще, т. е. выражение осознанных внутренних, психических и духовных движений, состояний и отношений посредством артикулированных звуков. При этом мы различаем:

Речь, говорение, т. е. происходящее в настоящее время или мыслимое как происходящее в настоящее время проявление языка.

Способность говорить, т. е., с одной стороны, физиологическую способность издавать артикулированные звуки и, с другой стороны, совокупное содержание внутреннего мира, которое мыслится предшествующим языку и должно быть выражено посредством языка.

Языковой материал, т. е. созданные речевой способностью в процессе говорения элементы, которые постоянно употребляются каждый раз, как только снова должен быть выражен тот самый внутренний предмет, для выражения которого впервые они были созданы, или правильнее: действие, производимое при каждом первом выражении какого-либо отдельного внутреннего элемента и повторяемое каждый раз, когда снова должен быть выражен тот же внутренний элемент.

Какой-либо конкретный язык, или *отдельный язык,* есть совокупность языкового материала какого-либо народа.

[1] H. Steinthal, Grammatik, Logik und Psychologie. Ihre Prinzipien und ihr Verhältniss zu einander, Berlin, 1855.

Метод языкознания и его отношение к другим наукам

Нельзя удовлетвориться простым указанием на предмет, как было сделано выше; нужно еще указать, в какой связи о нем будет идти речь. Ведь о каждом предмете можно говорить в разнообразных связях и рассматривать его с различных сторон и по-разному. Например, мышление является предметом логики, метафизики и физиологии, но в каждой из этих наук оно рассматривается по-иному; растения являются предметом ботаники и фармакологии (materia medica), но рассматриваются той и другой наукой с разных сторон. Точно так же известно с самого начала, что языкознание изучает язык не со всех возможных сторон. Например, никто не потребует от языкознания разрешения таких вопросов, как: позволительно ли «высказывать» доверенные вам секреты; являются ли парламенты и приемные «места говорения» достойными уважения учреждениями. Но наука должна определить самое себя и доходчиво объяснить всем, чего от нее можно требовать и чего нельзя, почему от нее можно требовать того и нельзя требовать этого, хотя бы даже никто и не думал требовать от нее этого. Она, естественно, не может и не должна отрицательно относиться к другим наукам и сферам умственной деятельности и отмежевываться от них; она не должна заявлять, что она является тем-то и тем-то; наоборот, она должна положительно ограничиться самой собой и определить свои границы, указав, чем она является.

Проявления теоретической деятельности человека распадаются на два обширных класса и основываются на двух типах умственной деятельности — суждении и оценке. Суждение содержит в себе познание; в оценке выражается похвала или порицание. Человек познает, чем является нечто и как оно устроено; человек оценивает, является ли это нечто прекрасным или безобразным, хорошим или плохим, истинным или ложным и с менее важных точек зрения — верным или неверным, целесообразным или нецелесообразным. Следовательно, существуют науки, которые пытаются познать, исследовать факты и их соотношения, их существование и законы; и существуют также другие, которые стремятся найти критерии оценки, основания похвалы и порицания.

Итак, является ли языкознание познающей или оценивающей наукой? Наш ответ: оно является познающей наукой. Произнесенное не является ни истинным, ни ложным; истинно или ложно только то, что было вложено в речь, т. е. то, что мыслилось. Далее, если речь плоха или хороша с точки зрения нравственности, то она является поступком и относится поэтому, как всякий другой поступок, к компетенции судьи нравов; но предметом языкознания является речь как действие, а не как поступок. Далее, оценка произнесенного с эстетической точки зрения (красиво или безобразно) входит в компетенцию риторики и поэтики, а не языкознания. И, наконец, на вопрос о том, как было сказано — верно или невер-

но, отвечает языкознание, но отвечает косвенно. А именно: показывая, как говорят, оно запрещает говорить иначе или порицает это.

Следовательно, по существу или по происхождению языкознание является познающей наукой, а не оценивающей или не относящейся к эстетике (как еще называют оценивающие науки). Однако оно приближается к последним или даже полностью сходно с ними по своей сути в некоторых из своих отраслей. Это ясно видно на примере метрики, представляющей собой одну из наук об искусстве...

Однако языкознание принимает эстетический, оценивающий характер в дисциплине, которая является его очень существенной и неотъемлемой частью, а именно в систематизации или классификации языков. При этом оно не удовлетворяется объединением языков по найденным у них общим признакам в классы и семьи, но образует из этих классов шкалу, систему рангов. Следовательно, оно оценивает здесь значимость языков, достоинство их как продукт ума и в то же время как орудие умственного развития.

Наконец, еще одно различие. Речь — это духовная деятельность, и, следовательно, языкознание относится к числу психологических наук, подобно тому как к психологии относится учение о мышлении и воле, т. е. о возникновении мыслей и волевых импульсов, а не о том, какими они должны быть. То, что рассмотрение языка и речевой способности целиком и полностью психологично, признавали всегда; этому посвящали особый раздел в учебниках психологии. Языкознание, упирается в область психологии. Однако языковой материал, т. е. отдельные языки, — это особые продукты человеческого ума, принадлежащие уже не психологии, а истории, т. е. языкознанию, точно так же как отдельные определенные волевые импульсы и мысли уже не являются предметом психологии. Но речь, говорение, т. е., как было сказано выше, происходящее в настоящее время или мыслимое как происходящее в настоящее время проявление языка, может быть предметом как языкознания, так и собственно психологии, конечно, в различных взаимосвязях. Поскольку в каждом речевом процессе дан язык вообще и создается или применяется языковой материал, эти процессы являются предметом языкознания. Но языковой материал состоит из представлений, и даже простые звуки, артикуляции обусловливаются духовным началом; как таковые, они могут быть подвергнуты чисто психологическому наблюдению, которое отвлекается от содержания продуктов духовной деятельности...

ОРГАНИЗМ, ПРИНЦИП И ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ ЯЗЫКА

Нас спросят: уж не хотели ли мы назвать язык организмом? Но что нам, спрошу я, до слова, которое никогда не имело ясного смысла на своей родной почве и которому в течение дол-

гого времени угрожает постепенная потеря всякого значения? Но если мы отвлечемся от всего этого, то какой смысл может иметь все-таки для нас слово органический? Оно не может существовать без своей противоположности — неорганического; а где такая противоположность для языка?

Слово органический может иметь для нас только переносное значение, так как язык принадлежит по своей сути разуму и является духовным продуктом. Очевидно, это слово не может иметь своего чисто естествоведческого значения. Или оно должно указывать нам на то, что происхождение языка заложено в подчиняющемся необходимости ходе умственного развития? и еще более конкретно: в связи души и тела? Пусть мне будет позволено надеяться или, если угодно, вообразить себе, что я гораздо определеннее понял эти пункты и гораздо основательнее разобрал их, чем может выразить слово органический, и в то же время очистил их от всех неправильностей и преувеличений, к которым это слово послужило поводом. Это слово отжило свой век.

В другом отношении слово организм могло бы быть для нас важнее, чем для Беккера[1], который не мог постичь индивидуальности языков, потому что не понимал даже их различий. Итак, говоря здесь о различии языков, мы тут же должны заметить, что каждый язык должен рассматриваться *как образованное инстинктивным самосознанием представление о внешнем и внутреннем мире человека.* Но в основе этого инстинктивного представления о мире и о себе лежит индивидуальный принцип; оно является связной системой, все части которой однотипны; общий тип частей системы — это результат действия принципа, развитие которого они воплощают. Своим общим характером части системы указывают на то, что они произошли из одного источника и их деятельность направлена к одной цели; и эти источники и цель как раз и являются их принципом. Это единство, присущее каждому языку и проистекающее из того, что целое определяет части и каждая часть характеризуется как определенный, особый член целого, мы и могли бы обозначить словом *организм.* Но к чему? Уже употребленные нами слова имеют значение, более подходящее для описания умственной деятельности; поэтому мы предпочитаем называть язык системой, проистекающей из единого принципа, индивидуальным духовным продуктом. Но основа этого-единства и индивидуальности языков заложена в своеобразии народного духа. Уже в первой части этой книги мы показали, что здесь мы целиком стоим на позиции Гумбольдта.

Индивидуальное единство, особый принцип каждого языка следует характеризовать с трех сторон: со стороны звука, как такового, внутренней формы и их соотношения друг с другом. Так, например, индивидуальный характер семитских языков проявляется уже в их алфавитах и в сочетаниях звуков. Вероятно,

[1] Becker, Organismus der Sprache.

только в этих языках можно встретить сочетания звуков *tk, tp, kp* в начале слова. Далее, внутренняя форма этих языков чрезвычайно индивидуальна, и, в-третьих, так же индивидуален способ, с помощью которого внутренняя форма обозначается звуковой формой, причем особенно бросается в глаза различие в употреблении гласных и согласных. Исключительно важна для принципа языков та последовательность, с которой он проводится; и я боюсь, что в этом отношении семитские языки можно упрекнуть в непоследовательности. Изменение слов происходит в них частично с помощью внутреннего изменения коренного гласного, частично с помощью аффиксов.

Но описание единства языков распадается в другом отношении на две части: единство словарного состава, материального элемента языка, и единство формообразования. Каждая из этих частей рассматривается с трех вышеназванных точек зрения. Единство грамматики всегда оказывается более тесным, чем единство словарного состава, и также лучше понято, чем последнее, относительно которого царит полная неясность. Мы уже знаем неудачную попытку Беккера изложить единство лексики. Но сейчас мы яснее видим его ошибку. Он обращается к понятиям, а не к языковой форме и создает логическую конструкцию вместо лексической.

Если будет создана система слов какого-нибудь языка, то в качестве руководящего принципа следует взять внутреннюю форму языка в ее связи со звуком... Сначала следует свести слова к их корням, причем со всей осторожностью нужно установить самую первоначальную звуковую форму корня и содержащееся в нем представление. Затем корни будут объединены в группы или семьи по сходству их звукового состава и выражаемого ими представления одновременно. Следует стремиться к тому, чтобы получить возможно меньше таких групп, но каждая группа должна быть как можно более многочисленной. Однако нужно остерегаться крайности: невозможно свести все корни не только к одной, но даже к десяти или двенадцати группам. Найдутся и совершенно изолированные корни, не примыкающие ни к одной группе. Уже давно пытаются создать такую группировку корней для еврейского и греческого языков, объединяя корни с одним и тем же согласным элементом, так что они являются как бы вариациями одного корневого звука, и с родственным значением: например: евр. qārā (кричать), англ. to cry, евр. kāras, греч. κράζω, κρώζω, κηρύσσω или евр. zāhal, zāhar, sāhar, hālal, zālal; zāchā, zachar, zāhā, zāhab; sāhā, sāhab; tāhar, tāchar — этй слова выражают в различных степенях и оттенках понятие светлого, блестящего, чистого, желтого (золото), морально чистого, звонкого звука; или греч. κέλλω, κίλλω, κυλίνθω, ίλλω, είλω, ελίσσω и т. д.

Уже на этих примерах можно заметить, как многообразно преобразуется одно и то же основное значение с помощью различных оттенков и метафорического употребления. Но наиболее важной задачей остается найти своеобразные принципы, по которым

в языке посредством как словообразования, так и происходящего во времени развития духа развиваются основные значения. Это единство законов, господствующих во всех процессах образования, изменения и производства, и является истинным единством для словарного состава языка.

КЛАССИФИКАЦИЯ ЯЗЫКОВ

Классификация языков выражает всеобщую сущность языка, как она воплотилась в отдельных языках в индивидуальных формах, и представляет собой подлинную всеобщую грамматику. Она представляет каждый язык как индивидуальное осуществление понятия «язык» и указывает на единство языков, ставя их все в определенные отношения друг к другу и соединяя их в систему по их родству и совершенству их организации.

Я не буду останавливаться подробнее на этом вопросе, так как пришлось бы сказать больше, чем позволяет намеченный объем книги[1].

ЯЗЫКОЗНАНИЕ КАК ПСИХОЛОГИЯ НАРОДОВ

Уже в предварительных замечаниях мы сказали, что язык является предметом психологического наблюдения не только как любая другая деятельность души — доказательство его возникновения, его сущности вообще, его положения в развитии и деятельности духа образует своеобразный и существенный раздел психологии. При изложении вопросов, связанных с языком и грамматикой вообще и с действительностью различных языков, мы постоянно находились в границах психологии. Мы не выходим за ее пределы и при переходе к вопросам различия языков, мы покидаем лишь одну её область, которой психология ограничивается еще в настоящее время, и переходима другую, которая в такой же степени относится к психологии, хотя и исследовалась толь-

[1] Я замечу только, что со времени появления моей работы «Классификация языков как развитие идеи языка» по этому поводу высказывался и Бетлинг, хотя и в малоудовлетворительной форме (Бетлинг, О якутском языке). Мне остается только сожалеть о том, что человек с такими заслугами решился судить о совершенно чуждых ему вещах и высказываться о проблемах, сути которых он не понял. Я бы охотно не обратил на это внимания из уважения к его выдающимся работам в области истории языков, если бы Потт не высказал публично требования, чтобы я изложил свои мысли по поводу его воззрений и его борьбы против моей точки зрения. О последнем я умолчу, так как лучше не сказать ничего, чем сказать мало о том, о чем следовало бы сказать много, но что не может быть здесь высказано. В примыкающей к данной книге работе о методе грамматики у меня будет возможность подробно сказать о том, что только затронуто в этом разделе о различии языков. В отношении же так называемых собственных воззрений г-на Бетлинга, отнюдь не являющихся новыми и встречающихся уже в «Митридате» если не Аделунга, то во всяком случае Фатера, будет достаточно отослать читателя к введению в работу Гумбольдта «О языке кави».

ко от случая к случаю. Дело в том, что современная психология есть индивидуальная психология, т. е. ее предметом является психический индивидуум, как он вообще проявляется в каждом одушевленном существе, в человеке и до известной степени в животном. Но существенным определением человеческой души является то, что она не является обособленным индивидуумом, но принадлежит к определенному народу. Таким образом, индивидуальная психология требует существенного дополнения в виде психологии народов. По своему рождению человек принадлежит к какому-либо народу; тем самым его духовное развитие обусловлено определенным образом. Следовательно, нельзя полностью составить понятие об индивидууме, не принимая во внимание той духовной среды, в которой он возник и живет.

Индивидуум и народ

Мы совсем не можем мыслить себе человека иначе, кроме как говорящим и вследствие этого членом определенного национального коллектива, и, следовательно, не можем мыслить человечество иначе, кроме как разделенным на народы и племена. Всякое другое воззрение, которое рассматривает человека таким, каким он был до образования народов и языков, неизбежно представляет собой научную фикцию, как понятие математической точки и линии или как понятие падения в безвоздушном пространстве; но оно никоим образом не охватывает человека в его действительном бытии. Следовательно, психология народов переносит нас прямо в действительность человеческой жизни с разделением людей на народы и далее на более мелкие коллективы внутри них.

Каждый народ образует замкнутое единство, частное проявление человеческой сущности; и все индивиды одного народа носят отпечаток этой особой природы народа на своем теле и на душе. Со стороны физической организации это сходство объясняется кровным родством, т. е. единством происхождения, сходными влияниями извне — влияниями природы и образа жизни; сходство же духовной организации определяется совместной жизнью, т. е. совместным мышлением. Первоначально мыслили только сообща; каждый связывал свою мысль с мыслью своего соплеменника, и возникшая отсюда новая мысль принадлежала как тому, так и другому, подобно тому как дитя принадлежит отцу и матери. Сходная физическая организация и сходные впечатления, получаемые извне, производят сходные чувства, склонности, желания, а эти в свою очередь — сходные мысли и сходный язык. Мыслить человека только живущим в составе народа — это значит одновременно мыслить его подобным многим индивидам, это значит мыслить понятие «человек» только как различные национальные единства, каждое из которых охватывает многих одинаково мыслящих индивидов.

Продукты духа народа

Воздействие телесных влияний на душу вызывает известные склонности, тенденции, предрасположения, свойства духа, одинаковые у всех индивидов, вследствие чего все они обладают одним и тем же народным духом. Этот дух народа проявляется прежде всего в языке, затем в нравах и обычаях, установлениях и поступках, в традициях и песнопениях; все это — продукты духа народа.

Структура психологии народов

Психология народов членится на следующие части: во-первых, аналитическая, которая излагает всеобщие законы, определяющие развитие и взаимодействие действующих в жизни народа сил, затем синтетическая, которая показывает отдельные продукты этого взаимодействия сил и рассматривает их как составленный из многих органов и функций организм, прежде всего как организм, твердо основывающийся на самом себе и не меняющий своей конституции, и потом только как организм, исторически развивающийся; наконец, психическая этнология, которая представляет все народы мира как *царство духов народа* по индивидуальным особенностям их облика.

Таким образом, психология народов образует всестороннюю основу для философии истории.

Язык и дух народа

Во всех этих соображениях исследование языка играет самую значительную роль, а языкознание служит наилучшим введением к психологии народов; как развитие общей сущности языка является разделом индивидуальной психологии, так исследование отдельных языков как своеобразных форм осуществления языка вообще и как особых единых систем инстинктивного мировоззрения, каждая из которых обладает своим особым принципом, есть раздел психо-этнологии. Ведь если и следует прослеживать возникновение и развитие языка вообще из индивидуального духа — причем и здесь уже наталкиваются на человека как на общественное существо, — все же при рассмотрении действительного, созданного и, следовательно, в то же время особого языка возникает вопроса *кому он принадлежит? кто его создал?* Не индивидуум сам по себе; ведь индивидуум говорит в обществе. Его понимали, когда он в процессе речи создавал язык; следовательно, то, что говорил один и как он говорил, уже присутствовало до момента речи и в уме слушающего. Итак, говорящий создал язык одновременно из своей души и из души слушающего, и потому произнесенное слово принадлежит не только ему, но и другому.

Таким образом, язык по своей сути есть продукт сообщества, народа. Когда мы называем язык инстинктивным самосознанием,

инстинктивным мировоззрением и логикой, это означает, что язык является *самосознанием, мировоззрением и логикой духа народа.*

Итак, данные языка наиболее ярко иллюстрируют все принципы психологии народов. Единство индивидов в народе отражается в общем для них языке; определенная индивидуальность духа народа нигде не выражается так ярко, как в своеобразной форме языка; его принцип, придающий ему своеобразную форму, является самым подлинным ядром духа народа; совместные действия индивидуума и его народа главным образом основываются на языке, на котором и с помощью которого он думает и который все же принадлежит его народу. История языка и историческое развитие духа народа, образование новых народов и новых языков теснейшим образом проникают друг в друга. Упадок звукового строя языков и в противовес этому дальнейшее совершенствование их внутренней формы являются одним из важнейших пунктов для познания своеобразного духа народов.

А.А. ПОТЕБНЯ

МЫСЛЬ И ЯЗЫК[1]
(ИЗВЛЕЧЕНИЯ»

Сближение языкознания с психологией, при котором стала возможна мысль искать решения вопросов о языке в психологии и, наоборот, ожидать от исследований языка новых открытий в области психологии, возбуждая новые надежды, в то же время свидетельствует, что каждая из этих наук порознь уже достигла значительного развития. Прежде чем языкознание стало нуждаться в помощи психологии, оно должно было выработать мысль, что и язык имеет свою историю и что изучение его должно быть сравнением его настоящего с прошедшим, что такое сравнение, начатое внутри одного языка, вовлекает в свой круг все остальные языки, т. .е. что историческое языкознание нераздельно со сравнительным. Мысль о сравнении всех языков есть для языкознания такое же великое открытие, как идея человечества для истории. И то и другое основано на несомненной, хотя многими несознаваемой, истине, что начала, развиваемые жизнью отдельных языков и народов, различны и незаменимы одно другим, но указывают на другие и требуют со стороны их дополнения. В противном случае, т. е. если бы языки были повторением одного и того же в другой форме, сравнение их не имело бы смысла точно так, как история была бы одной огромной, утомительной тавтологией, если бы народности твердили зады, не внося новых начал в жизнь человечества. Говорят обыкновенно об исторической и сравнительной методе языкознания; это столько же методы, пути исследования, сколько и основные истины науки. Сравнительное и историческое исследование само по себе было протестом против общей логической грамматики. Когда оно подрыло ее основы и собрало значительный запас частных законов языка, тогда только стало невозможно примирить новые фактические данные со старой теорией: вино новое потребовало мехов новых. На рубеже двух направлений науки стоит Гумбольдт — гениальный предвозвестник новой теории языка, не вполне освободившийся от оков старой. Штейнталь первый, как кажется, показал в Гумбольдте эту борьбу теории и практики или, вернее сказать, двух противоположных теорий, а вместе и то, на которую сторону должна склониться победа по суду нашего времени.

[1] Изд. 3, Харьков, 1913.

С другой стороны, психология не могла бы внушить никаких ожиданий филологу, если бы до сих пор оставалась описательной наукой. Всякая наука коренится в наблюдениях и мыслях, свойственных обыденной жизни; дальнейшее ее развитие есть только ряд преобразований, вызываемых первоначальными данными, по мере того как замечаются в них несообразности. Так и первые психологические теории примыкают к житейскому взгляду на душу. Самонаблюдение дает нам массу психологических фактов, которые обобщаются уже людьми, по умственному развитию не превышающими уровня языка...

...Оставивши в стороне нечленораздельные звуки, подобные крикам боли, ярости, ужаса, вынуждаемые у человека сильными потрясениями, подавляющими деятельность мысли, мы можем в членораздельных звуках, рассматриваемых по отношению не к общему характеру человеческой чувственности, а к отдельным душевным явлениям, с которыми каждый из этих звуков находится в ближайшей связи, различить две группы: к первой из этих групп относятся междометия, непосредственные обнаружения относительно спокойных чувств в членораздельных звуках; ко второй — слова в собственном смысле. Чтобы показать, в чем состоит различие слов и междометий, которых мы не называем словами и тем самым не причисляем к языку, мы считаем нужным обратить внимание на следующее.

Известно, что в нашей речи тон играет очень важную роль и нередко изменяет ее смысл. Слово действительно существует только тогда, когда произносится, а произноситься оно должно непременно известным тоном, который уловить и назвать иногда нет возможности; однако хотя с этой точки без тона нет значения, но не только от него зависит понятность слова, а вместе и от членораздельности. Слово *вы* я могу произнести тоном вопроса, радостного удивления, гневного укора и проч., но во всяком случае оно останется местоимением второго лица множественного числа; мысль, связанная со звуками *вы,* сопровождается чувством, которое выражается в тоне, но не исчерпывается им и есть нечто от него отличное. Можно сказать даже, что в слове членораздельность перевешивает тон; глухонемыми она воспринимается посредством зрения и, следовательно, может совсем отделиться от звука.

Совсем наоборот в междометии: оно членораздельно, но это его свойство постоянно представляется нам чем-то второстепенным. Отнимем у междометий *о*! *а*! и проч. тон, указывающий на их отношение к чувству удивления, радости и др., и они лишатся всякого смысла, станут пустыми отвлечениями, известными точками в гамме гласных. Только тон дает нам возможность догадываться о чувстве, вызывающем восклицание у человека, чуждого нам по языку. По тону язык междометий, подобно мимике, без которой междометие, в отличие от слова, во многих случаях вовсе не может обойтись, есть единственный язык, понятный всем.

С этим связано другое, более внутреннее отличие междометия от слова... мысль, с которой когда-то было связано слово, снова вызывается в сознание звуками этого слова, так что, например, всякий раз, как я услышу имя известного мне лица, мне представляется снова более или менее ясно и полно образ того самого лица,. которое я прежде видал, или же известное видоизменений, сокращение этого образа. Эта мысль воспроизводится если не совсем в прежнем виде, то так, однако, что второе, третье воспроизведение могут быть для нас даже важнее первого. Обыкновенно человек вовсе не видит разницы между значением, какое он соединял с известным словом вчера и какое соединяет сегодня, и только воспоминание состояний, далеких от него по времени, может ему доказать, что смысл слова для него меняется. Хотя имя моего знакомого подействует на меня иначе теперь, когда уже давно его не вижу. чем действовало прежде, когда еще свежо было воспоминание о нем, но тем не менее в значении этого имени для меня всегда остается нечто одинаковое. Так и в разговоре: каждый понимает слово по-своему, но внешняя форма слова проникнута объективной мыслью, независимой от понимания отдельных лиц. Только это дает слову возможность передаваться из рода в род; оно получает новые значения только потому, что имело прежние. Наследственность слова есть только другая сторона его способности иметь объективное значение для одного и того же лица. Междометие не имеет этого свойства. Чувство, составляющее все его содержание, не воспроизводится так, как мысль. Мы убеждены, что события, о которых теперь напомнит нам слово *школа,* тождественны с теми, которые были и прежде предметом нашей мысли; но мы легко заметим, что воспоминание о наших детских печалях может нам быть приятно и, наоборот, мысль о беззаботном нашем детстве может возбуждать скорбное чувство; что вообще воспоминание о предметах, внушавших нам прежде такое-то чувство, вызывает не это самое чувство, а только бледную тень прежнего или, лучше сказать, совсем другое...

...Говоря о том, как звук получает значение, мы оставляли в тени важную особенность слова сравнительно с междометием, особенность, которая рождается вместе с пониманием, именно так называемую *внутреннюю форму.* Нетрудно вывести из разбора слов какого бы ни было языка, что слово, собственно, выражает не всю мысль, принимаемую за его содержание, а только один ее признак. Образ стола может иметь много признаков, но слово *стол* значит только простланное (корень *стл* тот же, что в глаголе *стлать),* и поэтому оно может одинаково обозначать всякие столы, независимо от их формы, величины, материала. Под словом *окно* мы разумеем обыкновенно раму со стеклами, тогда как, судя по сходству его со словом *око*, оно значит: то, куда смотрят или куда проходит свет, и не заключает в себе никакого намека не только на раму и проч., но даже на понятие отверстия. В слове есть, следо-

вательно, два содержания: одно, которое мы выше называли объективным, а теперь можем назвать ближайшим этимологическим значением слова, всегда заключает в себе только один признак; другое — субъективное содержание, в котором признаков может быть множество. Первое есть знак, символ, заменяющий для нас второе. Можно убедиться на опыте, что произнося в разговоре слово с ясным этимологическим значением, мы обыкновенно не имеем в мысли ничего, кроме этого значения: *облако,* положим, для нас только «покрывающее». Первое содержание слова есть та форма, в которой нашему сознанию представляется содержание мысли. Поэтому, если исключить второе, субъективное и, как увидим сейчас, единственное содержание, то в слове останется только звук, т.е. внешняя форма, и этимологическое значение, которое тоже есть форма, но только внутренняя. *Внутренняя форма* слова есть отношение содержания мысли к сознанию; она показывает, как представляется человеку его собственная мысль. Этим только можно объяснить, почему в одном и том же языке может быть много слов для обозначения одного и того же предмета и, наоборот, одно слово, совершенно согласно с требованиями языка, может обозначать предметы разнородные. Так, мысль о туче представлялась народу под формой одного из своих признаков, именно того, что она вбирает в себя воду или изливает ее из себя, откуда слово *туча* (корень *ту* — пить и лить). Поэтому польский язык имел возможность тем же словом tęcza (где тот же корень, только с усилением) назвать радугу, которая, по народному представлению, вбирает в себя воду из криницы. Приблизительно так обозначена радуга и в слове *радуга* (корень *дуг* — доить, т. е. пить и напоять, тот же, что в слове *дождь);* но в украинском слове *веселка* она названа светящейся (корень *вас* — светить, откуда *весна* и *веселый),* а еще несколько иначе в украинском *же красна пані.*

В ряду слов того же корня, последовательно вытекающих одно из другого, всякое предшествующее может быть названо внутренней формой последующего...

...Отношения понятия к слову сводятся к следующему: слово есть средство образования понятия, и притом не внешнее, не такое, каковы изобретенные человеком средства писать, рубить дрова и проч., а внушенное самой природой человека и незаменимое; характеризующая понятие «ясность» (раздельность признаков), отношение субстанции к атрибуту, необходимость в их соединении, стремление понятия занять место в системе — все это первоначально достигается в слове и преобразуется им так, как рука преобразует всевозможные машины. С этой стороны слово сходно с понятием, но здесь же видно и различие того и другого.

Понятие, рассматриваемое психологически, т. е. не с одной только стороны своего содержания, как в логике, но и со стороны формы своего появления в действительности — одним словом, как деятельность, есть известное количество суждений, следовательно,

не один акт мысли, а целый ряд их. Логическое понятие, т. е. одновременная совокупность признаков, отличенная от агрегата признаков в образе, есть фикция, впрочем, совершенно необходимая для науки. Несмотря на свою длительность, психологическое понятие имеет внутреннее единство. В некотором смысле оно заимствует это единство от чувственного образа, потому что, конечно, если бы, например, образ дерева не отделился от всего постороннего, которое воспринималось вместе с ним, то и разложение его на суждения с общим субъектом было бы невозможно; но как о единстве образа мы знаем только через представление и слово, так и ряд суждений о предмете связывается для нас тем же словом. Слово может, следовательно, одинаково выражать и чувственный образ и понятие. Впрочем, человек, некоторое время пользовавшийся словом, разве только в очень редких случаях будет разуметь под ним чувственный образ, обыкновенно же думает при нем ряд отношений; легко представить себе, что слово *солнце* может возбуждать одно только воспоминание о светлом солнечном круге; но не только астронома, а и ребенка или дикаря оно заставляет мыслить ряд сравнений солнца с другими приметами, т. е. понятие, более или менее совершенное, смотря по развитию мыслящего; например, Солнце меньше (или же многим больше) Земли; оно колесо (или имеет сферическую форму); оно благодетельное или опасное для человека божество (или безжизненная материя, вполне подчиненная механическим законам) и т. д. Мысль наша по содержанию есть или образ, или понятие; третьего, среднего между тем и другим, нет; но на пояснении слова понятием или образом мы останавливаемся только тогда, когда особенно им заинтересованы, обыкновенно же ограничиваемся одним только словом... Отсюда ясно отношение слова к понятию. Слово, будучи средством развития мысли, изменения образа в понятие, само не составляет ее содержания. Если помнится центральный признак образа, выражаемый словом, то он, как мы уже сказали, имеет значение не сам по себе, а как знак, символ известного содержания; если вместе с образованием понятия теряется внутренняя форма, как в большей части наших слов, принимаемых за коренные, то слово становится чистым указанием на мысль, между его звуком и содержанием не остается для сознания говорящего ничего среднего. Представлять — значит, следовательно, думать сложными рядами мыслей, не вводя почти ничего из этих рядов в сознание. С этой стороны, значение слова для душевной жизни может быть сравнено с важностью буквенного обозначения численных величин в математике или со значением различных средств, заменяющих непосредственно ценные предметы (например, денег, векселей для торговли). Если сравнить создание мысли с приготовлением ткани, то слово будет ткацкий челнок, разом проводящий уток в ряд нитей основы и заменяющий медленное плетение. Поэтому несправедливо было бы упрекать язык в том, что он замедляет течение нашей мысли. Нет сомнения, что те действия нашей

мысли, которые в мгновение своего совершения не нуждаются в непосредственном пособии языка, происходят очень быстро. В обстоятельствах, требующих немедленного соображения и действия, например при неожиданном вопросе, когда многое зависит от того, каков будет наш ответ, человек до ответа в одно почти неделимое мгновение может без слов передумать весьма многое. Но язык не отнимает у человека этой способности, а напротив, если не дает, то по крайней мере усиливает ее. То, что называют житейским, научным, литературным тактом, очевидно, предполагает мысль о жизни, науке, литературе, — мысль, которая не могла бы существовать без слова. Если бы человеку доступна была только бессловесная быстрота решения и если бы слово, как условие совершенствования, было нераздельно с медленностью мысли, то все же эту медленность следовало бы предпочесть быстроте. Но слово, раздробляя одновременные акты души на последовательные ряды актов, в то же время служит опорою врожденного человеку устремления обнять многое одним нераздельным порывом мысли. Дробность, дискурсивность мышления, приписываемая языку, создала тот стройный мир, за пределы коего мы, раз вступивши в них, уже не выходим; только забывая это, можно жаловаться, что именно язык мешает нам продолжать творение. Крайняя бедность и ограниченность сознания до слова не подлежит сомнению, и говорить о несовершенствах и вреде языка вообще было бы уместно только в таком случае, если бы мы могли принять за достояние человека недосягаемую цель его стремлений, божественное совершенство мысли, примиряющее полную наглядность и непосредственность чувственных восприятии с совершенной одновременностью и отличностью мысли...

...Показать на деле участие слова в образовании последовательного ряда систем, обнимающих отношения личности к природе, есть основная задача истории языка; в общих чертах мы верно поймем значение этого участия, если приняли основное положение, что язык есть средство не выражать уже готовую мысль, а создавать ее, что он не отражение сложившегося миросозерцания, а слагающая его деятельность. Чтобы уловить свои душевные движения, чтобы осмыслить свои внешние восприятия, человек должен каждое из них объективировать в слове и слово это привести в связь с другими словами. Для понимания своей и внешней природы вовсе не безразлично, как представляется нам эта природа, посредством каких именно сравнений стали ощутительны для ума отдельные ее стихи, насколько истинны для нас сами эти сравнения — одним словом, не безразличны для мысли первоначальное свойство и степень забвения внутренней формы слова. Наука в своем теперешнем виде не могла бы существовать, если бы, например, оставившие ясный след в языке сравнения душевных движений с огнем, водой, воздухом, всего человека с

растением и т. д. не получили для нас смысла только риторических украшений или не забылись совсем; но тем не менее она развилась из мифов, образованных посредством слова. Самый миф сходен с наукой в том, что и он произведен стремлением к объективному познанию мира.

Чувственный образ, исходная форма мысли, вместе и субъективен, потому что есть результат нам исключительно принадлежащей деятельности и в каждой душе слагается иначе, и объективен, потому что появляется при таких, а не других внешних возбуждениях и проецируется душою. Отделять эту последнюю сторону от той, которая не дается человеку внешними влияниями и, следовательно, принадлежит ему самому, можно только посредством слова. Речь нераздельна с пониманием, и говорящий, чувствуя, что слово принадлежит ему, в то же время предполагает, что слово и представление не составляют исключительной, личной его принадлежности, потому что понятное говорящему принадлежит; следовательно, и этому последнему.

ИЗ ЗАПИСОК ПО РУССКОЙ ГРАММАТИКЕ[1]

(ИЗВЛЕЧЕНИЯ)

ВВЕДЕНИЕ

Что такое слово? Определение отдельного слова как единства членораздельного звука и значения, по-видимому, противоречит обычному утверждению, что «одно и то же слово не только в различные времена или по различным наречиям одного и того же языка», но и в одном и том же наречии в определенный период «имеет различные значения».

Говоря так, представляем слово независимым от его значений, т. е. под словом разумеем лишь звук, причем единство звука и значения будет не более единства дупла и птиц, которые в нем гнездятся. Между тем членораздельный звук без значения не называем словом. Такой звук есть искусственный фонетический препарат, а не слово.

Для разъяснения этого и подобных недоумении полезно иметь перед глазами хоть небольшой отрывок истории слова.

...Слово *верста,* по-видимому, многознаменательно; но таково оно лишь в том виде, в каком является в словаре. Между тем действительная жизнь его и всякого другого слова совершается в речи. Говоря *пять верст,* я разумею под *верст* не ряд, не возраст и проч., а только меру расстояния. Слово в речи каждый раз соответствует одному акту мысли, а не нескольким, т. е. каждый раз, как произносится или понимается, имеет не более одного значения. Сравнивая отдельный акт речи *пять верст, от млады вьрсты*

[1] Изд. 2, Харьков, 1888.

и т. п. и отвлекая общее, необходимое в этих актах, мы должны считать это общее лишь сокращением, а не неизменной субстанцией, окруженной изменчивыми признаками. В действительности не только *верста* = 500 саженей есть слово отдельное и отличное от *верста* = возраст, *верста* = пара, но и *верста* в одном из этих значений есть иное слово, чем *версты, версте* и т. д. в том же лексическом значении, т. е. малейшее изменение в значении слова делает его другим словом. Таким образом, пользуясь выражением «многозначность слова», как множеством других неточных выражений, сделаем это выражение безвредным для точности мысли, если будем знать, что на деле есть только однозвучность различных слов, т.е. то свойство, что различные слова могут иметь одни и те же звуки. Однозвучность эта частью оправдывается единством происхождения слов, частью же происходит от уравнивающего действия звуковых стремлений языка, действия, в общем имеющего психологическое основание, но независимого от особенности значения слова. Например, *род, лоб* местами произносятся как *рот, лоп* не в силу своего значения, а потому что всякий звучный согласный звук на конце превращается в отзвучный; нем. Bratpfanne превратилось в рус. *противень* не потому, что сковорода чем-либо напоминает вещь, противную другой, т. е. соответствующую или равную ей, а потому, что немецкое слово своими звуками напомнило русское.

...Откуда бы ни происходила родственная связь однозвучных слов, слова эти относятся друг к другу, как предыдущие и последующие. Без первых не были бы возможны последние. Обыкновенно это называют развитием значений слова из одного основного значения, но, согласно со сказанным выше, собственно это можно назвать только появлением целого слов а, т. е. соединения членораздельного звука и одного значения, из слова предыдущего.

Представление и значение

Когда говорим, что А значит или означет Б, например, когда, видя издали дым, заключаем: значит, там горит огонь, — то мы познаем Б посредством А. А есть знак Б, Б есть означаемое этим знаком, или его значение. Знак важен для нас не сам по себе, а потому, что, будучи доступнее означаемого, служит средством приблизить к себе это последнее, которое и есть настоящая цель нашей мысли. Означаемое есть всегда нечто отдаленное, скрытое, трудно познаваемое сравнительно со знаком.

Понятно, что функции знака и значения не раз навсегда связаны с известными сочетаниями восприятии и что бывшее прежде значением в свою очередь становится знаком другого значения.

В слове также совершается акт познания. Оно значит нечто, т. е., кроме значения, должно иметь и знак. Хотя для слова звук так необходим, что без него смысл слова был бы для нас недоступен, но он указывает на значение не сам по себе, а потому, что

прежде имел другое значение. Звук *верста* означает меру долготы, потому что прежде означал борозду; он значит *борозда,* потому что прежде значил *поворот плуга* и так далее до тех пор, пока не остановимся на малодоступных исследованию зачатках слова. Поэтому звук в слове не есть знак, а лишь оболочка, или форма знака; это, так сказать, знак знака, так что в слове не два элемента, как можно заключить из вышеприведенного определения слова как единства звука и значения, а три.

Для знака в данном слове необходимо значение предыдущего слова, но знак не тождествен с этим значением; иначе данное слово сверх своего значения заключало бы и все предыдущие значения.

Я указываю начинающему говорить ребенку на круглый матовый колпак лампы и спрашиваю: «что это такое?» Ребенок много раз видал эту вещь, но не обращал на нее внимания. Он ее не знает, так как сами по себе следы впечатлений не составляют знания, Я хочу не столько того, чтобы он дополнил впечатления новыми, сколько того, чтобы он объединил прежние и привел их в связь со своим запасом сознанных и приведенных в порядок впечатлений. На мой вопрос он отвечает: «арбузик». Тут произошло познание посредством наименования, сравнение познаваемого с прежде познанным. Смысл ответа таков: то, что я вижу, сходно с арбузом.

Назвавши белый стеклянный шар арбузом, ребенок не думал приписывать этому шару зеленого цвета коры, красной середки с таким-то узором жилок, сладкого вкуса; между тем под арбузом в смысле плода он разумел и эти признаки. Из значения прежнего слова в новое вошел только один признак, именно шаровидность Этот признак и есть знак значения этого слова. Здесь мы можем назвать знак и иначе: он есть общее между двумя сравниваемыми сложными мысленными единицами, или основание сравнения, tertium comparationis в слове.

Так и в прежде приведенных примерах: кто говорит *верста* в значении ли определенной меры длины, или в значении ряда или пары, тот не думает в это время о борозде, проведенной по полю плугом или. сохой, парою волов или лошадью, а берет из этого значения каждый раз лишь по одному признаку: длину, прямизну, параллельность. Одно значение слова вследствие своей сложности может послужить источником нескольким знакам, т. е. нескольким другим словам.

Итак, знак по отношению к значению предыдущего слова есть лишь указание, отношение к этому значению, а не воспроизведение его. Согласно с этим не следует смешивать знака в слове с тем, что обыкновенно называют собственным значением слова, противопоставляемым значению переносному[1]. Собственное зна-

[1] «Между многими значениями одного и того же слова отличаем такое, которое по нашим понятиям кажется нам собственным, а остальные

чение слова есть все значение предыдущего слова по отношению к последующему, а где не требуется особенной точности — даже совокупность нескольких предыдущих значений по отношению к нескольким последующим. Например, можно сказать, что *белый,* albus, lucidus есть собственное по отношению к белый, *добрый, прекрасный, милый* (как отчасти в русском, а особенно в лит. balts). В том, что мы относительно называем собственным и что в свою очередь есть переносное по отношению к своему предшествующему, может быть несколько признаков, между тем как в знаке только один. *Белый,* albus, есть в равной мере собственное по отношению к *белый,* вольный и к *белый,* добрый, но знаки во втором и третьем слове (иначе: основания сравнений с первым) различны. Так как в данном слове, рассматриваемом как действительное явление, а не отвлечение, находим всегда только одно значение, то, не применяясь к принятой терминологии, а видоизменяя ее по-своему, мы не можем говорить ни о собственном, ни о переносном значении данного слова: предыдущее значение есть для нас значение не только слова, которое рассматриваем, а другого. Каждое значение слова есть собственное, и в то же время каждое, в пределах нашего наблюдения, — производное, хотя бы то, от которого произведено, и было нам не известно.

И с другой стороны, по отношению к значению последующего слова знак есть только указание. Он только намекает на это значение, дает возможность в случае надобности остановиться на нем и постепенно привести его в сознание, но позволяет и не останавливаться.

Знак в слове есть необходимая (для быстроты мысли и для расширения сознания) замена соответствующего образа или понятия; он есть представитель того или другого в текущих делах мысли, а потому называется представлением. Этого значения слова представление, значения, имеющего особенную важность для языкознания и обязанного своим происхождением наблюдению над языком, не следует смешивать с другим, более известным и менее определенным, по которому представление есть то же, что восприятие или чувственный образ, во всяком случае — совокупность признаков. В таком значении употребляет слово «представление» и Буслаев: «Отдельным словом означаются представления и понятия» (Грам., § 106). В том смысле, в каком мы принимаем это слово, согласно со Штейнталем (Vorstellung) и другими, представление не может быть означаемым: оно только означающее.

Представление, тождественное с основанием сравнения в слове, или знаком, составляет непременную стихию возникающего слова; но для дальнейшей жизни слова оно необходимо. Как известно, есть много слов, связь коих с предыдущими не

переносными; например, в *белый* значение цвета называем собственным (например, *белая бумага),* а значение света переносным (например, *белый день, белый свет)»* (Буслаев, Гр., § 143).

только не чувствуется говорящим, но неизвестна и науке. Почему, например, *рыба* названа рыбой или, иначе говоря: как представляется *рыба* в этом слове? Значение здесь непосредственно примыкает к звуку, так что кажется, будто связь между ними произвольна. Говорят, что представление здесь есть, но оно совершенно пусто (бессодержательно) и действует, как нуль в обозначении величин арабскими цифрами: разница между *3*, *30, 0,3* зависит от пустого места при 3, обозначаемого нулем. Кажется, однако, что таким образом лишь напрасно затемняется значение термина представление. В слове *рыба* содержание не представляется никак, а потому представления в нем вовсе нет, оно потеряно. Значение имеет здесь только внешний знак, т. е. звук. Этим, однако, не изгладилась разница между этим словом и соответственным словом другого языка, напр. piscis или литов. żuwis. Разница между ними с самого начала состояла, кроме звука, не в одном знаке или представлении, но и в количестве предикатов, вещественным средоточием коих служило представление. Эта последняя разница осталась и после того, как представление исчезло, если угодно, превратилось в математическую точку.

Что такое «значение слова?» Очевидно, языкознание, не уклоняясь от достижения своих целей, рассматривает значение слов только до известного предела. Так как говорится о всевозможных вещах, то без упомянутого ограничения языкознание заключало бы в себе, кроме своего неоспоримого содержания, о котором не судит никакая другая наука, еще содержание всех прочих наук. Например, говоря о значении слова *дерево,* мы должны бы перейти в область ботаники, а по поводу слова *причина* или причинного союза — трактовать о причинности в мире. Но дело в том, что под значением слова вообще разумеются две различные вещи, из коих одну, подлежащую ведению языкознания, назовем ближайшим, другую, составляющую предмет других наук, — дальнейшим значением слова. Только одно ближайшее значение составляет действительное содержание мысли во время произнесения слова. Когда я говорю *сижу за столом,* я не имею в мысли совокупности раздельных признаков сиденья, стола, пространственного отношения *за* и пр. Такая совокупность, или понятие, может быть передумана лишь в течение ряда мгновений, посредством ряда умственных усилий и для выражения своего . потребует много слов. Я не имею при этом в мысли и живого образа себя в сидячем положении и стола, образа, подобного тому, какой мы получаем, например, когда, закрывши глаза, стараемся мысленно изобразить себе черты знакомого лица. Несмотря на такое отсутствие во мне полноты содержания, свойственной понятию и образу, речь моя понятна, потому что в ней есть определение места и мысли, где искать этой полноты, определение, достаточно точное для того, чтобы не смешать искомого с другим. .Такое определение достигается первоначально посредством представления, а затем и без него, одним звуком. Пустота ближайшего

значения сравнительно с содержанием соответствующего образа и понятия служит основанием тому, что слово называется формою мысли.

Ближайшее значение слова, одно только составляющее предмет языкознания, формально вовсе не в том смысле, в каком известные языки, в отличие от других, называются формальными, различающими вещественное и грамматическое содержание. Формальность, о которой здесь речь, свойственна всем языкам, все равно, имеют ли они грамматические формы или нет. Ближайшее, или формальное, значение слов, вместе с представлением, делает возможным то, что говорящий и слушающий понимают друг друга. В говорящем и слушающем чувственные восприятия различны в силу различия органов чувств, ограничиваемого лишь родовым сходством между людьми. Еще более различны в них комбинации этих восприятии, так что когда один говорит, например, *это не́клен* (дерево), то для другого вещественное значение этих слов совсем иное. Оба они думают при этом о различных вещах, но так, что мысли их имеют общую точку соприкосновения: представление (если оно есть) и формальное значение слова. Для обоих в приведенном примере отрицательная частица имеет одинаковый смысл, именно такой, какой в отрицательных сравнениях: это — клен, но в то же время и не клен, т. е. не обыкновенный клен и не черноклен. Для обоих словом *не́клен* назначено для татарского клена одно и тоже место в мысли подле обыкновенного клена и черноклена, но в каждом это место заполнено различно. Общее между говорящим и слушающим условлено их принадлежностью к одному и тому же народу[1]. Другими словами, ближайшее значение слова народно, между тем дальнейшее, у каждого различное по качеству и количеству элементов, лично. Из личного понимания возникает высшая объективность мысли, научная, но не иначе, как при посредстве народного понимания, т. е. языка и средств, создание коих условлено существованием языка. Таким образом, область языкознания народно-субъективна. Она соприкасается, с одной стороны, с областью чисто личной, индивидуально-субъективной мысли, с другой — с мыслью научной, представляющей наибольшую в данное время степень объективности.

Различные понятия о корне слова

Мы видели, что появление данного слова предполагает существование предыдущего; это в свою очередь возникает из другого и т. д. Пока остановимся на этом наблюдении, хотя оно не может нас удовлетворить, так как невозможно допустить, не впадая в мистицизм, чтобы ряды слов продолжались до бесконечности и чтобы язык не имел начала. К этому наблюдению мы прибавим

[1] Слово *народ* употреблено здесь для краткости. Круг единства понимания известного слова может быть гораздо теснее отвлеченного понятия «такой-то (русский и проч.) народ».

другое. В словах индоевропейских языков замечается, кроме различия элементов, т. е. кроме того, что слово состоит из звукового единства, представления и значения, еще другого рода сложность, состоящая в том, что слово заключает в себе более одной части[1] и что части эти не могут быть выведены одна из другой: *-та* в *верс-та* не есть порождение части *верт* и не предполагает ее, и наоборот. Правда, в санскрите есть слова, частью употребляемые самостоятельно (например, *гир* — воззвание, речь; *двиш* — враг), частью стоящие на конце других, более сложных слов, как *лиh* в *мадhу-лиh,* собственно медолиз, пчела, ...слова, коих звуки не могут быть разбиваемы на части без уничтожения всякого их значения. Останавливаясь только на звуках этих слов, не можем заметить в них никакого различия частей; но, обращая внимание на то, что эти слова суть имена, а не другая какая-либо часть речи и что этот оттенок не может быть выведен из значений, как «звать», «ненавидеть», «лизать», взятых сами по себе, мы должны признать в этих словах сложность значения в том же самом смысле, в каком ее находим в слове *верста* и т. п. На вопрос: «откуда могла взяться эта сложность значения и почему слово, как *гир* — речь, есть существительное женского рода в именит, пад. единств. ч.?» — можем ответить только таким образом: так как в огромном большинстве случаев значение определенной грамматической категории (имя, глагол и т. д.) достигается в слове индоевропейских языков тем, что оно заключает в себе более одной части, то и сложность значения слов, как *двиш,* их грамматическая определенность может быть только отражением более наглядной сложности других слов[2]. Потому *двиш* понималось как имя, что рядом с ним было сложное *двêш-ми* (или другая, более древняя форма этого рода), имевшее функцию глагола.

Спрашивая себя после этого, какое значение можно придать термину «корень слова», прежде всего ответим, что корнем может быть то, из чего возникает данное слово. В этом, впрочем, неупотребительном значении всякое относительно первообразное слово будет корнем своего производного, с тем непременным условием, чтобы первое объясняло все части последнего, напр. *верста,* поворот плуга, по отношению к *верста,* борозда. Но этим значением термина удовольствоваться нельзя, ибо, например, *верста в* первом своем значении предполагает слово, которое не объяснит нам происхождения части *-та.* Эта последняя должна иметь свой корень. Так приходим к тому, что слово посредственно или непосредственно предполагает столько корней, сколько в нем частей[3]. Мы видели выше, что под частями данного слова следует

[1] Восклицание, как о! и т. п., не есть слово.

[2] Есть случаи, когда звуковая неделимость слова только мнимая, когда слово потеряло звуковой элемент, бывший некогда носителем формального значения; но отсюда не следует, что так бывает всегда.

* С этой точки зрения нельзя было бы сказать, что «der ausdruck stoffwurzel ist tautologisch; formwurzel — eine contradictio in adjecto. Den die

разуметь как такие значения или их оттенки, которые изображаются в слове особыми звуками, так и такие, которые в данном слове звукового выражения не имеют, а предполагают лишь сложность других слов. Если бы, разложив *двёш-ми* и все слова подобного строения *(ѥс-мь, я(д)-мь)* на составные части *(двиш,* ѥс=ос, *яд=ад* и *-ми),* мы нашли корень каждой из них, то мы увидели бы, что такой корень не мог бы иметь и той сложности значения, какая существует в имени *двиш* — враг. Этой сложности или грамматической определенности не от чего было бы зависеть. При таком состоянии языка и имя *двиш* не могло бы существовать как имя. В области исторически данных индоевропейских языков не находим уже такой простоты строения, такого отсутствия грамматических разрядов, но наверное предполагаем в них такое состояние, основываясь как на анализе самых этих языков, на существовании в наше время других языков подобного, хотя и не вполне такого же устройства, так и на наблюдениях над языком наших детей.

Под детским языком разумеем здесь не те так называемые детские слова, как *вава, цаца,* которые входят в состав наших словарей и суть не более как результаты старания взрослых примениться к детскому выговору и пониманию. Категории нашего языка так тесно связаны с нашею мыслью, что мы их мыслим и произнося и такие слова, как *вава* и проч. Слова эти в наших устах выходят сложными результатами мысли, и потому это не детские слова. Практически воротиться к первым ступеням развития мы уже не можем, но, наблюдая за первыми детскими попытками сознательного мышления, присутствуем тем самым и при зарождении языка, при самостоятельном создании слов, которые хотя в наше время почти никогда не переходят в язык взрослых, да и самими детьми весьма скоро забываются, но дают возможность заключать о явлениях первобытного языка народов. Вот одно из подобных наблюдений.

Ребенку показали в окне игрушечной лавки статуэтку безобразного старика в очках, читающего книгу, и сказали при этом, что он *бу-бу-ба,* т. е. он читает, произнося такие звуки. То, что здесь было произнесено взрослым так называемое детское слово, нам важно лишь для сравнения с тем, что произведено этим словом в самом ребенке. Звуки *бу-бу-ба* сочетались в нем с одновременным впечатлением от статуэтки, и из этой ассоциации вышло в течение немногих следующих дней несколько слов с теми же звуками, слов, возникновения которых никак нельзя было предвидеть вначале. Последовательность этих слов была приблизительно такова: нечто безобразное и страшное; нечто нехорошее, неприятное в настоящем смысле и в шутку (например, один знакомый в очках, которого ребенок знал еще прежде и жаловал); нечто чужое, но

wurzel ist nur stoff» (Steinth., Ueb. die Wurz. «Zeitschr. f. Völkerps», 11, 461), так как суффикс, имеющий уже лишь формальное значение, может быть корнем другого суффикса.

не страшное, а безразличное; нечто новое, странное, с переходом от чужого к странному, как в «странный» и étrange = extraneus. Конечно, тут легко было ошибиться в толкованиях, но несомненно, что ребенок различал несколько значений, т. е. слов, и что умысел лица, от которого заимствованы звуки *бу-бу-ба,* мысль, вложенная этим лицом в эти звуки, в развитии последующих значений были ни при чем. Тот же ребенок кухарку Прасковью называл *пухоня,* а пироги, которые она подавала на стол — *пухоня*[1]. В первом примере безусловное начало ряда слов есть сочетание звуков *бу-бу-ба* и известного чувственного образа. Такое сочетание не только не есть имя или глагол, но это даже вовсе не слово, потому что в нем недостает одного из существенных элементов вновь возникающего слова, именно представления: в нем новое восприятие не сравнивается ни с чем, ничем не объясняется, не доводится до сознания, а лишь без ведома лица связывается в нем со звуком, так что повторение того же восприятия приводит в память и воспроизводит звук, и наоборот. Отсюда заключаем, что и в языке первобытного человека начало ряда слов не было словом. В нашем примере звук был дан ребенку извне, независимо от самостоятельно полученного им впечатления. Вполне самостоятельно созданных членораздельных звуков мы в детском языке не замечаем, впрочем, не потому, что их теперь вовсе не бывает, а потому, что степень их членораздельности весьма низка и что эти несовершенные создания весьма скоро вытесняются более совершенными заимствованиями. В первобытном человеке, которому не у кого было заимствовать, подобные звуки могли быть лишь отражением впечатления и находились от него в зависимости, условленной психофизическим механизмом. Что и эти звуки стояли на низкой степени членораздельности сравнительно со строгой определенностью звуков многих позднейших языков, в том убеждают, между прочим, и наблюдения над фонетическими изменениями языков исторически известных. Первое слово в нашем примере возникло тогда, когда ребенок обозначил нечто страшное, например лицо, картинку, тень, но непременно нечто, не сливающееся с первым впечатлением, теми же звуками *бу-бу-ба,* с коими сочеталось это первое впечатление. Слово это было сознательным признанием сходства второго восприятия с первым в одном признаке. Оно не осталось одиноким, но немедленно стало средством новых актов сознания и дало начало новым словам, в ряду коих каждое предыдущее по отношению к своим производным может назваться корнем, притом с большим правом, чем первообразное слово флексивных языков по отношению к своим последующим. Сложное первообразное слово может вовсе ре заключать в себе некоторых частей производного, так что последнее может для своего появления нуждаться в нескольких словах, между тем как в нашем примере

[1] Оттого, что при более настойчивом требовании имя кухарки повторялось с обычным в таких случаях изменением ударения: *Праскóвья! Просковья!*

этого нет. Здесь предыдущее слово заключает в себе все данные для возникновения последующего при появлении нового восприятия, требующего сравнения и объяснения. Это потому, что пример наш относится к тому периоду развития, в котором еще не возникла потребность в сочетании слов для обозначения форм мысли, и самих этих форм нет. Все слова ряда, различаясь по значению, сходны, кроме звуков, в том, что не относят своего содержания ни к какому общему разряду. Значение их не есть ни действие, ни качество, ни предмет, а чувственный образ, предшествующий выделению этих отвлечении.

Для наших детей период отсутствия флексий проходит очень скоро благодаря влиянию языка взрослых. Дети, начавшие лепетать в конце первого года, на третьем при благоприятных условиях доходят до правильного употребления лиц, падежей, предлогов, даже некоторых союзов. Периоды же жизни народов обнимают тысячелетия. Индоевропейское племя с незапамятных времен говорит флексивным языком. Без сомнения, неисчислимые теперь тысячелетия протекли для него между началом членораздельной речи и началом флексий. На всем этом протяжении жизни языка мы на основании того, что доступно непосредственному наблюдению, не можем предположить ничего, кроме простых сочетаний звуков и восприятии в самом начале и затем длинных рядов слов дофлексивного и флексивного периода. Если под корнями по преимуществу, согласно с сказанным до сих пор, будем разуметь действительные величины, т. е. настоящие слова, но не представляющие никакой сложности частей и относящиеся к доформальному и дофлексивному периоду, то спрашивается, может ли отыскивание таких корней входить в число задач языкознания? По-видимому, языкознание, по крайней мере теперь, не может пойти далее определения самых общих свойств корня, понимаемого в таком смысле. Отдельные корни для него недоступны. Чтобы найти корень, необходимо, чтобы нам было дано слово, ибо корень есть только предыдущее слово и без последующего не есть корень, как отец, не имевший никогда детей, не есть отец. Положим, нам было бы дано флексивное слово, непосредственно примыкающее к дофлексивному периоду языка, хотя, собственно говоря, нет исторически известного слова, относительно которого мы имели бы право питать такую уверенность. Для большей простоты обратим внимание на одну лексическую сторону этого слова. Определить его корень значило бы показать тот круг признаков (значение предыдущего слова), из которого взято его представление. Здесь, .очевидно, не говоря уже о звуках, две искомые величины, между тем как известна только одна, именно значение данного слова. Как найти эти две неизвестные? Конечно, никак не легче в доисторическом языке, чем в языке наших детей. Если бы мы случайно не знали, какой образ связан был ребенком со звуками *бу-бу-ба,* то никакие соображения не навели бы нас на то, почему ребенок, например, медведя *называет бу-бу-ба.* Скор ее всего мы бы подумали,

что это слово звукоподражательное, между тем как на деле звуки этого слова для самого ребенка никогда не были звукоподражанием. Столь же очевидно, что и в другом примере по одному имени пирогов *(пухоня)* совершенно невозможно узнать отношение его к лицу *(пухоня — Прасковья).*

Итак, если о корне мы думаем, что он есть настоящее слово, величина действительная, а не идеальная, и если мы относим его к периоду языка, недоступному для наблюдения, то корень так и останется нам неизвестным. Согласно с этим мы должны предположить, что если языкознание не есть одно огромное заблуждение, то под корнями, которые оно отыскивает, следует разуметь нечто иное. И действительно, для практической этимологии корень не есть настоящее слово.

Корень в индоевропейских языках, говорит Курциус, есть знаменательное сочетание звуков, которое остается от слова по отделении всего формального ислучайного[1]. Под случайным здесь разумеется чисто фонетическое, не связанное с значением слова, не знаменательное, например опущение гласной ε в γί-γν-ο-μαι при γέλος. Оставаясь на точке зрения автора, можно дополнить это определение. Оно предполагает сознание функционального различия между такими частями слова, как *вьрт* в *верс-та,* такими, как *-та,* но затем оно берет во внимание только части первого рода, т. е. те, которые имеют вещественное значение. Это так несправедливо, что можно с таким же правом вместо вышеприведенного определения поставить другое, столь же одностороннее: в слове, разложимом на две части *(ад-ми, ямь),* корень есть то знаменательное сочетание, которое остается по отделении всего вещественного, т. е. в нашем примере *-ми, -мь.* Разделивши слово *верста* на *варт-* и *-та,* видим, .что по первой части оно сходно с *вертеть, ворот* и проч., а по второй — с *перс-т, рос-т, пя-та, корос-та, золо-то, ле-то* и проч., т. е. что слова соединяются в семейства не только лексическими, или вещественными, но и формальными своими частями. Поэтому вышеприведенному определению предпочтем другое: корень есть знаменательное сочетание звуков, которое остается по выделении из слова всех остальных знаменательных сочетаний и по устранении звуковых случайностей...

...Корень как отвлечение и корень как реальная объективная величина, т. е. как слово (ибо только слово имеет в языке объективное бытие), суть два совершенно различные понятия. Всякому продукту отвлечения необходимо свойственно заключаться в каждой из единиц, бывших исходными точками отвлечения, и быть общим всем этим единицам. Это свойство имеет корень как отвле-

[1] «Основы греческой этимологии». *(Примечание составителя.)*

чение, но не корень как слово. Процесс отвлечения корня не предполагает между словами, над которыми производится, никаких других отношений, кроме отношения сходства. Напротив, корень как действительное слово предполагает между словами этого корня генетическое отношение, о котором мы узнаем не посредством отвлечения, а посредством сложного ряда вероятных умозаключений. Отношение корня как действительного слова к производным сходно с отношением родоначальника к потомству. В роду, как и в ряду сходных слов, до некоторой степени сохраняются известные наследственные черты. Родовые черты могут быть отвлечены, но это отвлечение, хотя и входит в характеристику каждого из членов рода и хотя может служить посылкою к заключению о свойствах родоначальника, никаким чудом не станет понятием об этом родоначальнике. Подобным образом и корень как отвлечение заключает в себе некоторые указания на свойства корня как настоящего слова, но не может никогда равняться этому последнему. Странно было бы утверждать, что родоначальник живет в своем потомстве, хотя бы и не «сам по себе», а в соединении с чем-то посторонним. Он в нем не живет никак; он был лишь виновником того, что в потомстве сохраняются, хотя и не неизменно, некоторые черты. Точно так нельзя думать, что в производных живет как бы то ни было корень как слово. В дошедших до нас индоевропейских языках нет корней в смысле дофлексивных слов, но отношения этих корней к своим производным были в существенном такие же, как отношения известных нам первообразных слов к своим. И вот спрашивается, разве первообразное, слово *подъшьва* (подошва), *почва* заключено в своем производном *почва* — верхний слой земли?[1] Очевидно, что элементы первого слова, кроме звуков, суть: значение — «подошва обуви» и представление — «нечто подшитое», и что этих элементов, опять кроме звуков, нет во втором слове, в котором значение (верхний слой земли) представлено находящимся под ногою, подобно подошве. Великорус, *початок,* (укр. *починок)* есть веретено пряжи, представленное имеющим один *початок* (начало) нити, стало быть, одну нить; но в производном *початок,* колос кукурузы, представления первого слова нет и следа, а от значения (веретено пряжи) остался один след в том, что колос кукурузы представлен имеющим очертание веретена с пряжей. Таким образом, в последующем слове, как уже выше было сказано, заключено всегда не предшествующее слово, а лишь отношение к нему. Если же предыдущее слово исчезло из языка, то тем самым исчезло и отношение к нему последующего. То же следует сказать о звуковых отношениях слов. Во множестве случаев очевидно, что известное сочетание звуков не есть общее всему се-

[1] Ошибочно предположение Даля, что это слово относится к *почивать.* Ср. «подошва церковная» — фундамент, 1552 г., Ак. отн. до Юр. Б. II, 776; «...с *пошвы* (т. е. *подшвы)* до конька И около презренным взглядом Мое строение слегка С своим обозревая рядом. Ты... мнишь...» (Державин); «до подошвы они (мироеды) всех да разоряют» (Барс. Причит. I, 285).

мейству слов. Заключая от случаев, имеющих для нас силу аксиом, мы говорим, что *ча* (в *початок)* предполагает чѧ; но второе вовсе не заключено в первом, чѧ не заключено в своей соответственной русской форме. Согласно со всем этим и корень, как дофлексивное слово, не заключен в своих производных и не существует в них объективно ни сам по себе, ни в соединении с другими корнями. Подобно тому как дальнейшие члены рода получают жизнь не от того, кого людская память считает их родоначальником, а от своих родителей, и при создании слова пред мыслью создателя находится корень только тогда, когда слово прямо примыкает к дофлексивному периоду. В остальных случаях реальной основой производного слова служит не корень, как дофлексивное слово, и не тема, которая есть отвлечение, а флексивное же слово...

...Довольно давно уже считается нестоящим опровержения мнение, что все содержание языка идет от ограниченного числа, например по Беккеру от 82, кардинальных понятий. Напротив, мы слышим теперь, что содержание первобытного языка должно было быть более частно, что, заключая от различия звуковой формы к различиям значений, следует считать корни индоевропейского языка сотнями, а не десятками, а тем менее единицами. Тем не менее в нынешних взглядах можно заметить отблески прежних «кардинальных понятий» и т. п. Конечно, уже большое расстояние между попытками, например, вывести весь греческий язык из άω и т. п. и утверждением, что «индогерманец сначала обозначал частные понятия, подходящие под общее *ити,* а лишь потом это общее»; но и тот, кто в древнейшем достижимом для нас слове находит, положим, не общее понятие «видеть», а частные — schauen, spähen, blicken, achten и др., все-таки предполагает, что мысль человека того времени вращалась в кругу общих понятий. «Человек, — говорит Макс Мюллер, — не может дать имени никакому предмету, не открывши предварительно общего качества, которое во время наблюдения показалось ему наиболее поразительным признаком этого предмета»; например, в словах açва-c, equus, ἵππος конь назван по быстроте, от aç — быть быстрым, острым. «Исследуя любое слово, мы постоянно приходим к тем же результатам; каждый раз выражается (предварительно) общее качество, приписывается предмету как его свойство... Следя за словом по всем степеням его, развития до его исходной точки, в конце или, лучше сказать, в начале мы встречаем лишь корни совершенно общего значения, как *идти, двигаться, бежать, делать...* Взявши во внимание, что человек из этих неопределенных и бледных понятий сумел образовать слова, выражающие тончайшие оттенки нашей мысли и чувства, мы лишь тем более должны удивляться чудодейственным силам языка». Мы не станем удивляться тому, что если в языке есть названия отвлеченных качеств и действий, то от них могут образоваться слова со значениями бо-

лее конкретными. Примеры этому у нас постоянно перед глазами, так что за ними нечего ходить в древность или в чужие языки. Что удивительно и непостижимо, так это то, если только это правда, что язык некогда состоял из одних названий отвлеченностей, что человек должен был сначала создать эти названия и от них уже спуститься к конкретному. И правда ли это? В утверждении, что при исследовании начала слов всегда наталкиваемся на общее качество, под всегда следует разуметь «в конце», т. е. в такой дали, в которой от наблюдения ускользают уже определенные очертания явлений. В большей близи видно и не то. Когда в наших языках имена производятся от имен, когда, напр., *початок,* колос пшенички, производится от *початок,* веретено пряжи, то разве при этом предварительно выражается общее качество, приписываемое предмету в производном слове? Нет, одного слова для качества «подобный веретену пряжи» или для действия «быть подобным веретену пряжи» у нас вовсе и не было в языке. Когда ребенок назвал сферичный колпак лампы арбузом, то открыл ли он сначала общее качество шарообразности? Нет. Если бы такое мгновение было, как оно бывает впоследствии, то оно оставило бы по себе след в слове, подобном нашему *круглый, шаровидный, арбузовидный* и т. п., а не в названии стеклянного шара арбузом. Утверждать противное не заставит ли нас утверждать и то, что собака составляет сначала, хотя и бессловесно, общие понятия о качествах нищеты и богатства, а потом уже начинает с лаем бросаться на всякого нищего, входящего во двор?

Все заставляет думать, что и в языке, как и вообще, за исходную точку мысли следует признавать чувственные восприятия и их комплексы, стало быть, нечто весьма конкретное сравнительно с отвлеченностью общего качества. Как теперь правильный ход мысли состоит в восхождении от частного к общему, а потом на основании этого процесса и в обратном движении, так было и всегда. Мнение, что первобытное слово всегда означает общее качество, основано на смешении понятий значения слова и заключенного в нем представления и на замене первого вторым. Общий закон языка состоит в том, что всякое новое слово имеет представление, т. е. что значение общего слова всегда заключает в себе один признак, общий со значение, ему предшествующим. Представление есть средство доводить до сознания новое значение, но само оно сознается только тогда, когда направим внимание на свойства нашего слова. Его можно сравнить с глазом, который сам себя не видит. Оно никогда не бывает даже временной целью мысли. Оно не существует до возникновения нового слова. Напротив, общее значение слова есть именно то, что сознается в слове и посредством слова. Оно есть всегда цель мысли (хотя и временная, ибо непосредственную ценность для нас имеет только конкретное и отвлечения создаются лишь ради разработки этого конкретного и подчинения его мысли). Как скоро общее значение есть в слове, то существование его нисколько не зависит

от появления следующего слова. Большая разница между возникновением бессознательного представления такой-то формы тела при образовании слова *початок,* колос кукурузы, от *початок,* веретено пряжи, и между существованием в сознании качества, например *бел,* которое применяется к частному явлению *в белок.* Отыскивая корни наших слов при помощи списков санскритских глаголов, мы сводим все в языке на этот последний случай, забывая при этом, что если бы даже действительно общее значение этих глаголов не было выдумано, если бы оно точно предполагалось значением наших слов, то глаголы эти, будучи продуктом сильного отвлечения, в свою очередь имели корни, содержание коих в конце концов должно было состоять из чувственных восприятии» стало быть, например, не из общего качества быстроты, а из отражения определенного явления: быстро летящей птицы, быстро падающего камня и т. п., т. е. не из сознательного отвлечения, а из материала для отвлечения. Можно думать только, что в сравнительно поздний период образования грамматических форм из этого хаотического значения слов выделилось значение деятельности, так или иначе приписываемой своему производителю.

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ФОРМЫ

Определение слова как звукового единства с внешней стороны и единства представления и значения с внутренней без дополнений применимо только к языкам простейшего строения. Приводя в пример слово *верста,* мы оставили в стороне то обстоятельство, что оно не только значит, например, длину в 500 саженей, но одновременно с этим есть существительное женского рода в именительном падеже единственного числа. Подобное слово заключает в себе указание .на известное содержание, свойственное только ему одному, и вместе с тем указание на один или несколько общих разрядов, называемых грамматическими категориями, под которые содержание этого слова подводится наравне с содержанием многих других. Указание на такой разряд определяет постоянную роль слова в речи, его постоянное отношение к другим словам. *Верста,* в каком бы ни был о значении, и всякое другое слово с теми же суффиксами, будучи, существительным, само по себе не может быть сказуемым, будучи именительным, может быть только подлежащим, приложением или частью сложного сказуемого и т. д. Из ближайших значений двоякого рода, одновременно существующих в таком слове, первое мы назовем частным и лексическим, значение второго рода — общим и грамматическим. Ближайшее значение первого рода мы прежде назвали формальным по отношению к значению дальнейшему; но по отношению к грамматическим категориям само это формальное значение является вещественным. По такому значению слово, как *верста,* назовем вещественным и лексическим. Кроме таких слов, в арийских языках есть другие, которые не

имеют своего частного содержания и не бывают самостоятельными частями речи. Вся суть их в том, что они служат указателями функций других слов и предложений. Нередко слова эти лишены даже звуковой самостоятельности (по *воду, знаешь ли),* так что могут называться словами лишь в том смысле, в каком суффиксы и предлоги, считаемые слитными, суть слова. Такие слова называются чисто формальными и грамматическими. Их можно также назвать служебными, противополагая вещественным (знаменательным) как главным, на содержании которых сосредоточен весь интерес мысли, но при этом не следует смешивать принятого нами деления слов на лексические и формальные с делением на знаменательные и служебные в том виде, в каком оно у Буслаева. К служебным словам, означающим «отвлеченные понятия и отношения», Буслаев относит, кроме предлога и союза, еще числительные, местоимения, местоименные наречия и вспомогательные глаголы. Оснований деления здесь два: отвлеченность и значение отношения (формальность), но не всякая отвлеченность есть формальность, так что в сущности здесь смешаны два деления. Число есть одно из высших отвлечении, но числительное не есть слово формальное: в языках простейшего строения оно не имеет никаких грамматических определений, как детское *цаца, вава; в* языках арийских оно заключает в себе, а не предполагает только в прошедшем как лексические, так и формальные стихии, т. е. имеет и свое специальное содержание и отношение к грамматической категории существительного, прилагательного, наречия, рода, падежа, числа и проч. То же следует сказать о местоимении. Не требует доказательства то, что в *тот, этот* мы различаем указание, как частное содержание этих слов, и грамматическую форму: род, число и проч. Местоимения, кроме некоторых случаев, обозначают не отношения и связи, а явления и восприятия, но обозначают их не посредством признака, взятого из круга самых восприятии, а посредством отношений к говорящему, т. е. не качественно, а указательно. Что до личных местоимений, то они, смотря по присутствию или отсутствию грамматических форм в языке, могут быть или только вещественными словами, или то вещественно-формальными, как и указательные *тот, этот,* то чисто формальными. Об этом, а равно и о вспомогательных глаголах будет сказано ниже. Здесь ограничусь ссылкою на Штейнталя. Если наречия отместоименные служебны потому, что образованы от слов, принятых за служебные, то почему не отнесены к служебным наречия числительные? Если это не недомолвка, то что такое значит служебность? Во всяком случае не формальность в нашем смысле. В местоименных наречиях формально не то, что они указательно означают «качество» (как, так), «количество» (сколько, столько), «место» (где, там), «время» (когда, тогда), а то, что они суть наречия, т. е. что они в качестве особого члена предложения равносильны деепричастиям и наречиям от других качественных (неместоименных) слов. Эти слова столь же

вещественны, как *верста* и т. п. Потеря склоняемости не связана в них с уничтожением специального значения, как в предлогах и союзах, а есть только средство обозначения категории наречия.

Формальная часть слова по строению сходна со словами чисто вещественными. Грамматическая форма тоже имеет или предполагает три элемента: звук, представление и значение. Так, например, суффиксы великорус, *-енок,* укр. *-енко,* образующие отечественные и фамильные имена, предполагают действительно существующие, однозвучные с ними или близкие к ним суффиксы со значением уменьшительности. Отечественность (патронимичность) в них сравнена с уменьшительностью, фамильность — с отечественностью, и каждое из этих сравнений основано на признаке, общем его членам, признаке, который по отношению к значению есть представление. Как бы ни было трудно здесь и вообще отделить представление от предшествующего значения, мы, основываясь на случаях, где эти величины явственно различаются, можем быть уверены, что они и здесь различны. В каждом из приведенных суффиксов можно различить по три составные части, в свою очередь подлежащие- такому же разбору.

Несмотря на такую сложность внутреннего строения вещественно-формальных слов в арийских языках, в словах этих есть единство значения, по крайней мере в некотором смысле. Моменты вещественный и формальный различны для нас не тогда, когда говорим, а лишь тогда, когда делаем слово предметом наблюдения. На мышление грамматической формы, как бы она ни была многосложна, затрачиваем так мало новой силы, кроме той, какая нужна для мышления лексического содержания, что содержание это и грамматическая форма составляют как бы один акт мысли, а не два или более и живут в сознании говорящего как неделимая единица. Говорить на формальном языке, каковы арийские, значит систематизировать свою мысль, распределяя ее по известным отделам. Эта первоначальная классификация образов и понятий, служащая основанием позднейшей умышленной и критической, не обходится нам при пользовании формальным языком почти ни во что. По этому свойству сберегать силу арийские языки суть весьма совершенное орудие умственного развития: остаток силы, сбереженной словом, неизбежно находит себе другое применение, усиливая наше стремление возвыситься над ближайшим содержанием слова. Наш ребенок, дошедший до правильного употребления грамматических форм, при всей скудости вещественного содержания своей мысли в некотором отношении имеет преимущество перед философом, который пользуется одним из языков, менее удобных для мысли.

Есть языки, в коих подведение лексического содержания под общие схемы, каковы предмет и его пространственные отношения, действие, время, лицо и проч., требует каждый раз нового усилия мысли. То, что мы представляем формой, в них является лишь содержанием, так что грамматической формы они вовсе не имеют.

В них, например, категория множественного числа выражается словами *много, все,* категория времени — словами, как *когда-то, давно;* отношения, обозначаемые у нас предлогами, — словами, как *зад, спина,* например *а* спина *б = а* за *б*. То же в словообразовании. Есть, положим, тема для вещественного значения *спасти.* Чтобы образовать nom. agentis *спаситель,* нужно к этой теме присоединить *человек: спасти-человек* (retten-mensch). Так прибавка материального слова *вещь* образует имя действия *(спасти-вещь,* retten-sache = спасение), прибавка слов *место, орудие* — имена места, орудия. Хотя в тех же языках могут быть и более совершенные способы обозначения категорий, но тем не менее для них характеристично то, что в них слово, долженствующее обозначать отношение, слишком тяжеловесно по содержанию; что оно слишком часто заключает в себе указание на образ или понятие, чуждые главному содержанию, усложняющие это содержание прибавками, ненужными с нашей точки зрения, уклоняющие мысль от прямого пути и замедляющие ее течение.

Арийские языки представляют лишь случаи мнимого сходства с вещественным обозначением категорий. Конечно, мы говорим, например, *на лицевой стороне дома,* но в таком случае мы останавливаемся на значении *лицевая сторона, как* на содержании, коего форму, отношение к *дом* выражаем невещественными флексиями. В .болгарском вместо предлога *по* встречаем в одном значении *след (след смерть покояне-то небыва),* а в другом — *според,* куда входит слово *ряд (според поп-ат и приход-ат);* вместо за — *зад: зад врата-та==за* ворота, за воротами;в сербскомзбог, т. е. *с-бок(а),* со стороны, значит wegen, по причине, ради. Серб. *код* из *кон.* Но *след, зад,* употребленные в формальном значении предлогов, вовсе не тождественны с подобнозвучными вещественными словами, а только образованы из них. Образование и состояло в возведении вещественных слов к такому значению, которое не вводит мысль в лишние затраты и не отвлекает ее от. предмета. В болгарских предлогах *след, зад* так же не мыслится указание на предметы *след, зад, как* в предлоге *под* печной или другой какой-либо под. Впрочем, известно, что формальные языки образуют свои формы из вещественных слов не столько качественных, сколько указательных.

По чем узнается присутствие грамматической формы в данном слове?

Грамматическая форма есть элемент значения слова и однородна с его вещественным значением. Поэтому на вопрос, «должна ли известная грамматическая форма выражаться особым звуком», можно ответить другим вопросом: всегда ли создание нового вещественного значения слова при помощи прежнего влечет за собою изменение звуковой формы этого последнего? И наоборот: может ли одно изменение звука свидетельствовать о присутствии новой грамматической формы, нового вещественного значения? Конечно,

нет. Выше мы нашли многозначность слов понятием ложным: где два значения, там два слова. Последовательно могут образоваться одно из другого десятки вещественных значений при совершенной неизменности звуковой формы.

То же следует сказать о грамматических формах: звуки, служившие для обозначения первой формы, могут не изменяться и при образовании последующих. При этом может случиться, что эти последние собственно для себя в данном слове не будут иметь никакого звукового обозначения[1]. Так, например, в глаголе различаем совершенность и несовершенность. Господство этих категорий в современном русском языке столь всеобще, что нет ни одного глагола, который бы не относился к одной из них. Но появление этих категорий не обозначилось никаким изменением прежних звуков: *дати* и *даяти* имели ту же звуковую форму и до того времени, когда первое стало совершенным, а второе несовершенным. Есть значительное число случаев, когда глаголы совершенный и несовершенный по внешности ничем не различаются: *женить,* настоящее *женю* (несов.), и *женить,* будущее *женю* (соверш.), суть два глагола, различные по грамматической форме, которая в них самих, отдельно взятых, не выражена ничем, так как характер *и* сохраняет в них свою прежнюю функцию, не имеющую отношения к совершенности и несовершенности.

Вещественное и формальное значение данного слова составляют, как выше сказано, один акт мысли. Именно потому, что слово формальных языков представляется сознанию одним целым, язык столь мало дорожит его стихиями, первоначально самостоятельными, что позволяет им разрушаться и даже исчезать бесследно. Разрушение это обыкновенно в арийских языках начинается с конца слова, где преимущественно сосредоточены формальные элементы. Но литов. garsas осталось при том же значении сущ. им. ед. м. р. и после того, как, отбросивши окончание им. ед., стало русским *голос.* Вот еще пример в том же роде. Во время единства славянского и латышско-литовского языка в именах мужеских явственно отличался именительный падеж от винительного: в единствен, числе имен с темою на *-а* первый имел форму *а-с,* второй *а-м.* По отделении слав. языка, но еще до заметного разделения его на наречия, на месте обоих этих окончаний стало ъ, и тем самым в отдельном слове потерялось внешнее различие между именительным и винительным. Но это нисколько не значит, что в сознании исчезла разница между падежом субъекта и падежом прямого объекта. Многое убеждает в том, что мужеский род более благоприятен строгому разграничению этих категорий, чем женский, единственное число — более, чем множественное. Между тем в то вре-

[1] Высказываемый здесь взгляд отличен от обычного. Ср., например, слова проф. Ягича: «Я могу во всяком синтаксисе найти примеры, что одна и та же форма в разных отношениях получает различные значения, но еще никому не приходило в голову сказать, что это не одна форма, а две, три и т. д.».

мя, когда в звуковом отношении смешались между собою падежи имен. и винит, ед. муж., они явственно различались во множ. того же рода, а в женском ед. различаются и поныне. В некоторой части таких имен муж. рода, мешавших звуковую форму именительного и винительного ед. ч., язык впоследствии опять и внешним образом различил эти падежи, придавши винительному окончание родительного. Таким 'образом, вместо представления всякого объекта, стоящего в винительном, безусловно страдательным (как и в лат. Deus creavit mundum, pater amat filium) возникло две степени страдательности, смотря по неодушевленности или одушевленности объекта: бог создал свет, отец любит сына. Однозвучность именит, и винит, (свет создан и б. создал свет), винит, и род. (Отец любит сына, отец не любит сына), не повлекла за собою смешения этих форм в смысле значений[1]. В этом сказалось создание новой категории одушевленности и неодушевленности, но вместе с тем и то, что до самого этого времени разница между именит, и винит, ед. муж. р. не исчезала из народного сознания.

В литовском за немногими исключениями, а в латышском за исключением i°t (идет, идут) суффикс 3-го лица в настоящему прошедшем потерян. То же и в некоторых слав. наречиях; но в латышско-литовском 3-е лицо ед., кроме того, никаким звуком не отличается от 3-го лица множ. Оставляя в стороне вопрос, точно ли в этих языках потеряно сознание различия между числами в 3-м лице, можем утвердительно сказать, что сама категория 3-го лица в них не потеряна, ибо это лицо, при всем внешнем искажении, отличается от 1-го и 2-го как един., так и множ. чисел.

В формальных языках есть случаи, когда звуки, указывающие на вещественное значение слова, являются совершенно обнаженными с конца. Так, напр., в болг. «насилом можеше ми зе (букв.= въз-ѧ), по не можеше ми да». Странно было бы думать, что. *зе, да* суть корни, в смысле слов, не имеющих ни внешних, ни внутренних грамматических определений. Это не остатки незапамятной старины, а произведения относительно недавнего времени. Немыслимо, чтобы язык, оставаясь постоянно орудием усложнения мысли, мог при каких бы то ни было прочих условиях в какой-либо из своих частей возвратиться к первобытной простоте. *Зе* и *да* могут быть корнями по отношению к возможным производным словам, но независимо от этого это настоящие инфинитивы, несмотря на отсутствие суффикса *-ти.* Во всяком случае это слова с совершенно определенною грамматическою функциею в предложении.

[1] Во избежание неясности следует разделить вопросы о первообразности или производности значения суффикса и о качестве наличной формы. Говорят: «род. мн. в слав., как и в других арийских, резко отделен от прочих падежей, между тем как в двойств. ч. род. и местный совпадают по форме, и нельзя наверное решить, имеем ли дело с настоящим родительным, или с местным» (Mikl.. V. Gr., IV, 447). Этого нельзя решить, рассматривая падеж как отвлечение; но в конкретном случае ясно, что руку в «въздѣянѥ руку моею» есть родит., а в «на руку моѥю» есть местный.

К этому прибавим, что и звуки, носящие вещественное значение слов, могут исчезнуть без ущерба для самого этого значения. Так, в вр. *подь, поди* потерялось *и,* от которого именно и зависит первоначальное значение *ити.* В польск. weż (возьми) от *им* (основная форма — Jam) осталась только нёбность конечной согласной предлога; нёбность эта могла, впрочем, произойти и от окончания повелительного.

Если в данном слове каждому из элементов значения и соответствует известный звук или сочетание звуков, то между звуком и значением в действительности не бывает другой связи, кроме традиционной. Так, напр., когда в долготе окончания именит, ед. ж. р. *â* находят нечто женственное, то это есть лишь произвольное признание целесообразности в факте, который сам по себе непонятен. Если бы женский род в действительности обозначался кратким *а,* а мужеский и средний — долгим, то толкователь с таким же основанием мог бы в кратком *-а* видеть женственность. В известных случаях это самое женское *-а* может стать отличием сущ. м. р.: укр. *сей собака* и сущ. сложные, как *пали-вода, болт. нехрани-майка* (дурной сын, не кормящий матери). Эти последние суть сущ. м. р., хотя первая их половина не есть существительное, а вторая — существительное женское. Без сомнения, предание основано на первоначальном соответствии звука и душевного движения в звуке, предшествующем слову; но основание это остается неизвестным, а если бы и было известно, то само по себе не могло бы объяснить позднейшего значения звука. Таким образом, для нас в слове все зависит от употребления (Буслаев, Грам., § 7). Употребление включает в себя и создание слова, так как создание есть лишь первый случай употребления.

После этого спрашивается, как возможно, что значение, все равно вещественное или формальное, возникает и сохраняется в течение веков при столь слабой поддержке со стороны звука? В одном слове это и невозможно, но одного изолированного слова в действительности и не бывает. В ней есть только речь. Значение слова возможно только в речи. Вырванное из связи слово мертво, не функционирует, не обнаруживает ни своих лексических, ни тем более формальных свойств, потому что их не имеет (Hum b., Ueber Verschied., 207; Steinth., Charakteristik, 318 — 19; Буслаев, Грам., § 1). Слово *конь* вне связи не есть ни именительный, ни винительный ед., ни родительный множ.; строго говоря, это даже ворсе не слово, а пустой звук; но в «къдѣ есть конь мой?» это есть именительный; в «помяну конь свой», «повеле оседлати конь» — это винительный; в «отбегоша конь своих» — родительный множественного. Речь в вышеупомянутом смысле вовсе не тождественна с простым или сложным предложением. С другой стороны, она не есть непременно «ряд соединенных предложений» (Буслаев, Гр., § 1), потому что может быть и одним предложением. Она есть такое сочетание слов, из которого видно, и то, как увидим, лишь до некоторой степени, значение входящих

в него элементов. Таким образом, «хочю ити» в стар.-русском не есть еще речь, так как не показывает, есть ли «хочю» вещественное слово (volo) или чисто формальное обозначение будущего времени. Итак, что такое речь — это может быть определено только для каждого случая отдельно.

Исследователь обязан соображаться с упомянутым свойством языка. Для полного объяснения он должен брать не искусственный препарат, а настоящее живое слово. Нарушение этого правила видим в том, когда посылкою заключения о функции слова служит не действительное слово с одним значением в вышеопределенном смысле, а отвлечение, как, напр., в следующем: «Русская форма *знай* получает в речи смысл желательный, или повелительный, или, наконец, условный»... «Из истинного (!) понимания грамматического значения формы как формы мы легко могли объяснить и те частные значения, которые она может иметь в живой речи, мы поняли настоящий смысл и объем его употребления в языке. Теперь спрашивается: имеем ли мы право назвать его формою повелительного наклонения, или желательного, или условного? Ровно никакого. Это значило бы отказаться от понимания существенного грамматического ее значения и ограничить ее разнообразное употребление в речи одним каким-либо случайным значением. И в самом деле: на каком основании эту форму мы назвали бы наклонением повелительным, когда ею же выражается в языке и желание и условие? Почему не назвать бы ее желательным наклонением? Почему не назвать бы ее также наклонением условным? Мы не можем согласиться с мнением тех ученых, которые утверждают, что этою «общею личною формою глагола» (в этом ее сущность, по мнению автора приводимых строк) выражается повеление, а желание и условие — так себе, как оттенки повеления. Да почему же повеление и желание не могут быть оттенками условия?» (Н. Некрасов, О значении форм русского глагола, 106). Здесь истинным пониманием формы считается не понимание ее в речи, где она имеет каждый раз одно значение, т. е., говоря точнее, каждый раз есть другая форма, а понимание экстракта, сделанного из нескольких различных форм. Как такой препарат, «знай» оказывается не формою известного лица и наклонения, а «общею личною формою». Такое отвлечение, а равно и вышеупомянутое общее значение корней и вообще «общее значение слов», как формальное, так и вещественное, есть только создание личной мысли и действительно существовать в языке не может. Языкознание не нуждается в этих «общих» значениях. В одном ряду генетически связанных между собою значений, напр. в *знай* повелительном и условном, мы можем видеть только частности, находящиеся в известных отношениях одна к другой. Общее в языкознании важно и объективно только как результат сравнения не отдельных значений, а рядов значений, причем этим общим бывают не сами значения, а их отношения. В этих случаях языкознание доводит до сознания те аналогии, которым следует бессознатель-

но творчество языка. Напр., когда говорим, что *подобен* в значении «приличен», «красив» аналогично с *пригож,* то мы не утверждаем ни того, что *по=при* или *доба=год,* ни выводим общего из значений этих слов, а признавая эти слова различными величинами и не пытаясь добыть из них среднее число, поступаем по формуле и : *в=с* : *d,* т. е. уравниваем не значения, а способ их перехода в Другие.

Но вышеупомянутому автору в *знай* кажется существенным только то, что есть его личное мнение, именно что это «общая личная форма». Конечно, можно бы и не говорить об этом заблуждении, если бы для нас оно не представляло опасности .и в настоящее время. Мы не можем сказать, как Г. Курциус: «Никто не станет теперь, как пятьдесят лет тому назад, выводить употребление падежа или наклонения из основного понятия, получаемого отчасти философским путем, посредством применения категорий. Теперь вряд ли кто-либо упустит из виду то, что подобные основные понятия суть лишь формулы, добытые посредством отвлечения из совокупности оттенков употребления».

Некрасов думает, что вышеупомянутое отвлечение есть субстанция, из которой вытекают акциденциальные частные, т. е., по-нашему, единственные действительные значения, и что, отказываясь от такой выдумки, он потеряет связь между этими частными значениями и должен будет ограничиться одним из них, отбросивши все остальные. Действительно, невозможно представить себе, что так называемые частные значения сидят в звуке вместе и в одно время, что *конь* есть вместе и именит, и винит., что *знай* есть повелительное и в то же время условное. Но стараться понимать «форму как форму», т. е. саму по себе, значит создавать небывалые в действительности и непреодолимые затруднения. Слово в каждый момент своей жизни есть один акт мысли. Его единство в формальных языках не нарушается тем, что оно относится разом к нескольким категориям, напр. лица, времени, наклонения. Невозможно совмещение в одном приеме мысли лишь двух взаимно исключающих себя категорий. Слово не может стоять в повелительном наклонении и в то же время в условном, но оно может стать условным и тогда станет другим словом. Одно и то же слово не может быть в то же время наречием и союзом, и если говорят, что разница между этими словами состоит лишь в синтаксическом значении (Mikl., Vergl. Gr., IV, 151), то это лишь, только по-видимому мало, а в сущности заключает в себе все различие, какое может существовать между словами в формальном отношении.

Различные невыдуманные значения однозвучных слов того же семейства относятся друг к другу не как общее и существенное к частному и случайному, а как равно частные и равно существенные предыдущие и последующие. Жизнь слов, генетически связанных между собою, можно представить себе в виде родословного дерева, в коем отец не есть субстанция, а сын не акциденс, в коем

нет такого средоточия, от разъяснения которого зависело бы все» Без предыдущего слова не могло быть последующего, которое, однако, из одного предыдущего слова никаким средством выведена быть не может, потому что оно не есть преобразование готовой математической формулы, а нечто совершенно новое.

Если не захотим придать слову *речь* слишком широкого значения *языка,* то должны будем сказать, что и *речи,* в значении известной совокупности предложений, недостаточно для понимания входящего в нее слова. Речь в свою очередь существует лишь как часть большего целого, именно языка. Для понимания речи нужно присутствие в душе многочисленных отношений данных в этой; речи явлений к другим, которые в самый момент речи остаются, как говорят, «за порогом сознания», не освещаясь полным его светом. Употребляя именную или глагольную форму, я не перебираю всех форм, составляющих склонение или спряжение; но тем не менее данная форма имеет для меня смысл по месту, которое она занимает в склонении или спряжении (Humb., Ueb. Versch., 261). Это есть требование практического знания языка, которое, как известно, совместимое полным почти отсутствием знания научного. Говорящий может не давать себе отчета в том, что есть в его языке склонение, и, однако, склонение в нем действительно существует в виде более тесной ассоциации известных форм между собою,. чем с другими формами. Без своего ведома говорящий при употреблении данного слова принимает в соображение то большее, то меньшее число рядов явлений в языке. Напр., в русском литературном языке творит. п. ед. находится в равномерной связи с другими падежами того же склонения и, в частности, не стремится вызвать в сознание ни одного из них, так как явственно отличается от всех их и в звуковом отношении. Но в латышском этот падеж не имеет особого окончания и совпадает в единств, числе с винительным (gréku, грех, грехов), а в множ. с дательн. (grékim, грехам, грехами). Было бы ошибочно думать, что этот язык вовсе не имеет категории творительного или, точнее говоря, группы категорий, обозначаемых именем творительного. Вследствие звукового смешения творительного с винительным в единственном говорящий был бы наклонен смешивать в одну группу категории творительного и винительного; но бессознательно справляясь со множественным числом, под звуковою формою винительного множественного он не находит значений, которые мы обозначаем именем творительного, и отыскивает эти значения под звуковою формою дательного множ. ч. Таким образом, в говорящем по-латышски особенность категории творительного поддерживается посредством более тесной ассоциации между единственным и множественным числом чем в русском. — Когда говорю: «я кончил», то совершенность этого глагола сказывается мне не непосредственно звуковым его составом, а тем, что в моем языке есть другая подобная форма «кончал», имеющая значение несовершенное. То же и наоборот Случаи, в которых совершенность и несовершенность приурочены

к двум различным звуковым формам, поддерживают в говорящем наклонность различать эти значения и там, где они не разлучены звуками. Следовательно, говоря «женю» в значении ли совершенном или несовершенном, я нахожусь под влиянием рядов явлений, образцами коих могут служить *кончаю окончу.* Чем совершенней становятся средства наблюдения, тем более убеждаемся, что связь между отдельными явлениями языка гораздо теснее, чем кажется. В каждый момент речи наша самодеятельность направляется всею массою прежде созданного языка, причем, конечно, существует разница в степени влияния одних явлений на другие. Так, говоря «кончил» и «кончал», я заметным образом не подчиняюсь действию того отношения между *коньчити* и *коньчати* в стар. рус-ском, которое сказывается в том, что не только аорист *коньчах, коньчаша,* но и *коньчати, коньчав* и пр. мы принуждены переводить нашими совершенными формами: *окончил, окончить, окончивши.*

Грамматика и логика

Следующее рассуждение довольно характеристично для направления, и ныне имеющего многих последователей преимущественно между теми из представителей языкознания, которые не столько сами изучают язык, сколько учат ему в школах. На вопрос: «Есть ли именительный падеж единственная форма логико-грамматического подлежащего?» — отвечают: «В предложениях: *«Паллада* любит Улисса», «я не сплю по ночам», «у меня есть *книги»* — именительные падежи говорят о том же лице или предмете, о котором творительный в *«Палладою* любим Улисс», дательный в *«мне* не спится по ночам», родительный в «у меня нет *книг».* Именительные в первых трех предложениях суть подлежащие. Им приписываются те же сказуемые, что и так называемым косвенным падежам в трех остальных. Следовательно, эти косвенные падежи *Палладою, мне, книг* суть тоже подлежащие, ибо две величины, порознь равные третьей, равны между собой[1]. Это все равно, как если бы сказать: вот палец счетом один, а вот свечка тоже одна, следовательно, что палец, что свечка — все едино. Как здесь мы узнаем не то, что такое палец и что свечка, а то, что разные вещи можно считать за единицу, которая всегда равна себе, так и там в лучшем случае мы узнаем только то, что для логики словесное выражение примеров ее построений безразлично. Если же цель теоретического изучения языка именно и состоит в сознании функций различных падежей и т. п., то для такого изучения «логико-грамматическое» подлежащее и тому подобное в свою очередь безразлично, так как существование этих вещей возможно только вне языка.

[1] Рассуждение это нисколько не оправдывается тем, что в его пользу можно привести весьма сильные авторитеты, например Гримма, у которого тоже подлежащее есть или прямой падеж, или косвенный, причем в действительном обороте косвенный зависит от прямого, а в страдательном наоборот (D.Gr.,IV, 1).

Изумительно, что автор вышеприведенного рассуждения тут же говорит: «Различие между грамматикой и логикой, давно сознаваемое многими, окончательно доказано лет 15 тому назад, как всем известно, Штейнталем в его «Grammatik, Logik und Psychologie», Berl, 1855».

В этой книге Штейнталь именно и доказал, что понятия, каково «логико-грамматическое подлежащее», заключают в себе разрушительные для себя противоречия, логически немыслимы.

Ссылаясь на ту же книгу Штейнталя, я не буду останавливаться на рассматриваемом в ней вопросе об отношении логики к грамматике и ограничусь лишь следующими положениями.

Слово не одним присутствием звуковой формы, но всем своим содержанием отлично от понятия и не может быть его эквивалентом или выражением уже потому, что в ходе развития мысли предшествует понятию.

Грамматическое предложение вовсе не тождественно и не параллельно с логическим суждением. Названия двух членов последнего (подлежащее и сказуемое) одинаковы с названиями двух из членов предложения, но значения этих названий в грамматике и логике различны. Термины «подлежащее», «сказуемое» добыты из наблюдения над словесным предложением и в нем друг другом незаменимы. Между тем для логики в суждении существенна только сочетаемость или несочетаемость двух понятий, а которое из них будет названо субъектом, которое предикатом, — это для нее, вопреки существующему мнению, должно быть безразлично, ибо в формально-логическом отношении, независимо от способа возникновения и словесного выражения, все равно, скажем ли *лошадь — животное, лошадь не собака* или *животное включает лошадь* (в числе животных есть лошадь), *собака не лошадь.* Категории предмета и его признака не нужны для логики, для которой то и другое — только понятия, совокупности признаков. Тем менее возможно вывести из логического суждения прочие члены предложения: определение, обстоятельство, дополнение.

Совершенное, т. е. вполне согласное с требованиями языка, предложение может соответствовать не логическому суждению, а только одному понятию, содержание коего, конечно, разложимо в суждение. Например, на известной ступени развития языка, т. е. понимания, *гремит* означает действие без действователя: гром (в смысле действия) происходит, но экзистенциальность в обширном смысле, т. е. существование вне нас или только в нашей мысли, есть признак, входящий во всякое понятие; суждение «понятие *x* существует» тавтологично и в этом смысле вовсе не есть логическое суждение, так как не требует никакой логической поверки.

С другой стороны, простое предложение может соответствовать более чем одному логическому суждению. Не только каждая пара членов предложения (подлежащее и сказуемое; подлежащее и определение; сказуемое и обстоятельство; сказуемое и дополнение) может соответствовать суждению, но и один член предложе-

вия может соответствовать одному и более чем одному суждению, притом не только в составных словах (укр. *пічкур* — истопник, человек, «курящий» печи; *дрівітня* — место, где «тнут», рубят дрова), но и в простых: укр. и старорусск. (Ипатьевская летопись) — *голубити,* ласкать другого, как милуются голуби.

Грамматических категорий несравненно больше, чем логических. Поэтому недостаточное отвлечение логического содержания мысли от словесного выражения обнаруживается внесением в логику категорий, вовсе не нужных для ее целей, например связки, некоторых делений суждения. Наоборот, подчинение грамматики логике сказывается всегда в смешении и отождествлении таких явлений языка, которые окажутся различными, если приступить к наблюдению с одной предвзятой мыслью о том, что априорность в наблюдательных науках, каково языкознание, весьма опасна.

Логическая грамматика не может постигнуть мысли, составляющей основу современного языкознания и добытой наблюдением, именно что языки различны между собой не одной звуковой формой, но всем строем мысли, выразившимся в них, и всем своим влиянием на последующее развитие народов. Индивидуальные различия языков не могут быть понятны логической грамматике, потому что логические категории, навязываемые ею языку, народных различий не имеют.

Многие до сих пор держатся того мнения, что логика есть нечто вроде естественной истории мышления, что она рассматривает всякие явления мысли по крайней мере со стороны их формы, но в то же время не могут не признать, что можно мыслить весьма деятельно и нелогично, из чего следует, что логика рассматривает такое свойство мысли, которого в мысли может и не быть. Между тем в этом последнем наблюдении даны пределы логики, переходя которые она перестает быть сама собою. Совершенствование наук выражается в их разграничении относительно цели и средств, а не в их смешении, в их взаимодействии, а не в рабском служении другим. Логика может быть самостоятельна только в том случае, если ее задача будет поставлена лишь в изыскании условий логической истины, которая есть лишь одна из сторон полной истины, доступной в данное время. Логика должна спрашивать лишь о том, не заключает ли данная мысль противоречий независимо от новых наблюдений, которыми она может быть подтверждена или опровергнута. Иначе: мыслима ли мысль сама в себе? Например, суждения: «некоторые корни растут вверх (или горизонтально)», «корни имеют лиственные почки» — истинны с логической точки, если под корнем разумеется вообще подземная часть растения. Логика не может дать никакого руководства к другой поверке этих суждений. Но как скоро независимо от логики составлено иное понятие о корне как о нисходящей оси растения, то и логика найдет, что вышеприведенные суждения ложны, что корень не может расти вверх, не может иметь лиственных почек, иначе он не корень. Здесь видно, что логическая и грамматическая

правильность совершенно различны, так как последняя возможна и без первой, и наоборот, грамматически неправильное выражение,. насколько оно понятно, может быть правильно в логическом отношении. В этом заключены две существенные черты логики. Во-первых, она есть наука гипотетическая. Она говорит: если дана мысль, то отношения между ее элементами должны быть такие-то, а в противном случае мысль нелогична. Но логика не говорит, каким путем мы дошли до данной мысли, т. е. она не есть наука генетическая, какова психология. Например, в суждении логика не рассматривает процесса оказывания, а со *своей* односторонней точки зрения оценивает результаты совершившегося процесса. Напротив, языкознание принадлежит к числу наук исторических.

Во-вторых, логика есть наиболее формальная из наук. Она судит о всякой мысли, относящейся к какой бы то ни было области знания, так как всякая мысль допускает одностороннюю логическую поверку: согласие или несогласие с требованиями тождества мысли с самой собою. Язык есть тоже форма мысли, но такая, которая ни в чем, кроме языка, не встречается. Поэтому формальность языкознания вещественна сравнительно с формальностью логики. Языкознание, в частности грамматика, ничуть не ближе к логике, чем какая-либо из прочих наук.

Сказанное имеет целью указать на путь, по которому нельзя дойти до верного определения основных понятий языкознания, который не ведет к объяснению явлений языка.

В. ВУНДТ

ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИИ НАРОДОВ[1]
(ИЗВЛЕЧЕНИЯ)

ГЛАВНЫЕ ОБЛАСТИ ПСИХОЛОГИИ НАРОДОВ

...Пытаясь определить и отграничить те области, в которых психологическое исследование может идти рука об руку с историческим, мы снова приходим к языку, мифам и обычаям так как в этих областях искомый характер общей закономерности сочетается с выражающимся в жизни как индивидуума, так и народов характером исторического развития. Язык содержит в себе общую форму живущих в духе народа представлений и законы их связи. Мифы таят в себе первоначальное содержание этих представлений в их обусловленности чувствованиями и влечениями. Наконец, обычаи представляют собой возникшие из этих представлений и влечений общие направления воли. Мы понимаем поэтому здесь термины «миф» и «обычаи» в широком смысле, так что термин «мифология» охватывает все первобытное миросозерцание, как оно под влиянием общих задатков человеческой природы возникло при самом зарождении научного мышления; понятие же «обычаев» обнимает собой одновременно и все те зачатки правового порядка, которые предшествуют планомерному развитию системы права, как историческому процессу.

Таким образом, в языке, мифах и обычаях повторяются как бы на высшей ступени развития те же элементы, из которых состоят данные, наличные состояния индивидуального сознания. Однако духовное взаимодействие индивидуумов, из общих представлений и влечений которых складывается дух народа, привносит новые условия. Именно эти новые условия и заставляют народный дух проявиться в двух различных направлениях, относящихся друг к другу, приблизительно как форма и материя — в языке и в мифах. Язык дает духовному содержанию жизни ту внешнюю форму, которая впервые дает ему возможность стать общим достоянием. Наконец, в обычаях это общее содержание выливается в форму сходных мотивов воли. Но подобно тому как при анализе индиви-

[1] W. Wundt, Elemente der Völkerpsychologie, Leipzig, 1912, Перевод Н. Самсонова, изд. «Космос», М., 1912.

дуального сознания представления, чувствования и воля должны рассматриваться не как изолированные силы или способности, но как неотделимые друг от друга составные части одного и того же потока душевных переживаний, — точно так же и язык, мифы и обычаи представляют собой общие духовные явления, настолько тесно сросшиеся друг с другом, что одно из них немыслимо без другого. Язык не только служит вспомогательным средством для объединения духовных сил индивидуумов, но принимает сверх того живейшее участие в находящем себе в речи выражение содержании; язык сам сплошь проникнут тем мифологическим мышлением, которое первоначально бывает его содержанием. Равным образом и мифы и обычаи всюду тесно связаны друг с другом. Они относятся друг к другу так же, как мотив и поступок; обычаи выражают в поступках те же жизненные воззрения, которые таятся в мифах и делаются общим достоянием благодаря языку. И эти действия в свою очередь делают более прочными и развивают дальше представления, из которых они проистекают. Исследование такого взаимодействия является поэтому, наряду с исследованием отдельных функций души народа, важной задачей психологии народов.

Конечно, при этом не следует совершенно упускать из виду основное отличие истории языка, мифов и обычаев от других процессов исторического развития. По отношению к языку отличие это думали найти в том, что развитие его представляет собой будто бы не исторический, но естественноисторический процесс. Однако выражение это не совсем удачно; во всяком случае в основу его положено признание того, что язык, мифы и обычаи в главных моментах своего развития не зависят от сознательного влияния индивидуальных волевых актов и представляют собой непосредственный продукт творчества духа народа; индивидуальная же воля может внести в эти порождения общего духа всегда лишь несущественные изменения. Но эта особенность обусловлена, разумеется, не столько действительной независимостью от индивидуумов, сколько тем, что влияние их в этом случае бесконечно более раздроблено и поэтому проявляется не так заметно, как в истории политической жизни и более высоких форм развития духовной жизни. Но в силу этой незаметности индивидуальных влияний каждое из них может быть продолжительным лишь в том случае, если оно идет навстречу стремлениям, уже действующим в общем духе народа. Таким образом, эти восходящие к самым зачаткам человеческого существования процессы исторического развития действительно приобретают известное сродство с процессами в природе, поскольку они кажутся возникающими из широко распространенных влечений. Волевые импульсы слагаются из них в цельные силы, обнаруживающие известное сходство со слепыми силами природы также в том, что влиянию их невозможно противостоять. Вследствие того что эти первобытные продукты общей воли представляют собой производные широко рас-

пространенных духовных сил, становится понятным и общезначимый характер, свойственный явлениям в известных основных их формах; становится понятным и то, что характер этот не только делает их объектами исторического исследования, но в то же время придает им значение общих продуктов человеческого общего духа, требующих психологического исследования.

Если поэтому на первый взгляд и может показаться странным, что именно язык, мифы и обычаи признаются нами за основные проблемы психологии народов, то чувство это, по моему мнению, исчезнет, если читатель взвесит то обстоятельство, что характер общезначимости основных форм явлений наблюдается преимущественно в указанных областях, в остальных же — лишь поскольку они сводятся к указанным трем. Предметом психологического исследования, — которое имеет своим содержанием народное сознание в том же смысле, в каком индивидуальная психология имеет содержанием индивидуальное сознание, — может быть поэтому, естественным образом, лишь то, что для народного сознания обладает таким же общим значением, какое для индивидуального сознания имеют исследуемые в индивидуальной психологии факты. В действительности, следовательно, язык, мифы и обычаи представляют собой не какие-либо фрагменты творчества народного духа, но самый этот дух народа в его относительно еще не затронутом индивидуальными влияниями отдельных процессов исторического развития виде.

ИНДИВИДУАЛИЗМ В СОВРЕМЕННОМ ЯЗЫКОВЕДЕНИИ

Замечательно, что из всех областей филологии языковедение проводит индивидуализм в самой крайней форме. В истории культуры, мифов и обычаев довольствуются обыкновенно одним культурным центром, из которого исходит все развитие. Лишь лингвисты заходят порою столь далеко, что всякое новообразование или перемену в языке сводят к влиянию одного индивидуума. Так, Бертольд Дельбрюк по поводу одного объяснения происхождения смешения языков замечает: «Прежде чем смешаются языки двух племен, необходимо, чтобы каждое из них выработало иным путем свой собственный язык. Этот другой путь, по моему мнению, может быть только таким, что нововведение вводит отдельный индивидуум, а из него оно распространяется на все более и более широкие круги. Главнейшим основанием, по которому большинство подражает меньшинству, является личное влияние немногих выдающихся индивидуумов»[1].

Так далеко не идет Пауль. Наоборот, он тщательно подчеркивает, что значительные изменения в языке, вероятно, исходят от большого числа индивидуумов. Но принципиального значения это различие между Дельбрюком и Паулем не имеет; поэтому нет ничего удивительного в том, что языковеды, предпочитающие занять

[1] B. Delbrück, Grundfragen der Sprachforschung, 1901, S. 98.

определенную позицию, склоняются более в сторону крайнего индивидуализма Дельбрюка, чем умеренного индивидуализма Пауля[1]. И для Пауля общество — сумма индивидуумов, не более. То, что в нем происходит, имеет свой источник в одаренных одинаковыми душевными силами индивидуумах. Когда один индивидуум оказывает влияние на другого, то в общем происходит то же самое, что и при возникновении чувственного восприятия из воздействия какого-либо внешнего раздражения. Пауль совершенно не принимает в расчет того факта, что язык, мифы, обычаи создаются именно обществом и при развитии их во всех существенных отношениях общество определяет индивидуум; индивидуум же не определяет общество даже каким-либо косвенным образом.

Обоснование этого воззрения сводится у Пауля главным образом к доказательству с помощью примеров или, выражаясь в логических терминах, к наведению от немногих случаев ко всем, причем противоречащие инстанции оставляются без внимания. Так, изменения в языке, или новообразования, иногда распространяются из одного какого-нибудь места на более обширную территорию, особенности местного диалекта могут перейти в литературный язык, в редких случаях даже отдельный человек может произвольно изобрести слово. Никто не спорит против такого утверждения. Однако такие рассуждения отнюдь не доказывают, что приведенные случаи представляют собой обычный, закономерный ход развития. Всем этим случаям можно противопоставить другие, в которых процесс, по всей видимости, совершается обратным порядком. Общий язык распадается на отдельные диалекты, из местного диалекта в свою очередь выделяется индивидуальная манера говорить, которая бывает тем более характерной, чем выше культура. Наконец, тем редким случаям введения новообразований в языке индивидуумом можно противопоставить подавляющее число других случаев, в которых индивидуум сам почерпает из общего языка. Поставим же по отношению к этим двум противоположным друг другу течениям, и здесь, как везде, пробивающимся в духовной жизни, вопрос так, как по справедливости и следует его поставить: что в этом столкновении противоположных сил будет первичным? Тогда не останется никакого сомнения в том, что общее будет, взятое в целом, первичным явлением, а дифференциация и индивидуализация — последующим. Допуская противоположное, мы должны были бы совершенно превратно истолковать развитие культуры или же предположить, что язык является каким-то удивительным исключением среди продуктов человеческого духа. Когда, несмотря на то, делаются все же попытки применить к таким явлениям общеизвестной дифференциации индивидуалистическую гипотезу, то на сцену тотчас же выступают произвольные построения, во всех пунктах противоречащие дейст-

[1] Так, напр., Hugo Schuchardt, Sprachgeschichtliche Werke. Festschrift zur Philologenversammlung in Graz, 1910.

вительным фактам. Так, например, Пауль утверждает, что распадение языка на диалекты случается всюду тогда, когда «индивидуальные отличия выходят за известную грань». Следовательно, от одного индивидуума или от ограниченного числа индивидуумов должны постепенно распространяться своеобразные отклонения их индивидуальных языков[1]. Я не отрицаю, конечно, того, что можно конструировать процесс таким образом. Но если мы примем во внимание условия, в которых происходит первоначально такое распадение языков, то едва ли будет вероятным, что процесс этот происходит таким образом и в действительности. Дифференциация языка на диалекты, как показывает исследование языков современных первобытных народов, самым тесным образом связана с делением племен на меньшие группы и в дальнейшем — с переселениями племен. Орда вместе живущих людей имеет общий язык, в котором совершенно растворяются индивидуальные отклонения, равно как и различия в обычаях и в культе. Если орда увеличивается, она распадается, часть выделяется и перекочевывает, ищет более отдаленных мест для охоты и начинает далее самостоятельно развиваться в новых условиях. Следы таких выделений встречаются в ясной форме еще и в настоящее время у бесчисленных австралийских и американских племен, и мы, наверное, не ошибемся, если будем представлять себе, что языки и диалекты современных культурных народов выделились когда-то в общем аналогичным образом. Но процесс преобразования одного из таких языков выделившегося племени не может существенным образом разниться от процесса происхождения языка вообще. Подобно тому как язык вообще не изобретен индивидуумом или ограниченным числом индивидуумов, так и развитие языка выделившегося племени не обусловлено распространением индивидуальных языков, но само общество создало новый язык. Следовательно, и в этом случае гипотеза индивидуального языка обобщает явления позднейшей культуры, чтобы затем отнести их к любой прошлой эпохе. Вновь выплывает, таким образом, превратное понятие истории, подобное тому, с которым оперировало индивидуалистическое и рационалистическое Просвещение. Самостоятельная личность ставится не там, где мы должны бы были видеть ее на основании наших антропологических и социологических знаний, — в конце истории, но, наоборот, в самом начале ее.

ИСТОРИЯ ЯЗЫКА И ПСИХОЛОГИЯ ЯЗЫКА[2]

(ИЗВЛЕЧЕНИЯ)

Когда Г. Штейнталь более 50 лет назад опубликовал свою книгу «Грамматика, логика и психология», объединенные в ее названии три понятия точно характеризовали сущность принятой в то время

[1] H. Paul, Prinzipien der Sprachgeschichte, 4. Aufl., S. 38.

[2] W. Wundt, Sprachgeschichte und Sprachpsychologie, Leipzig, 1901, Перевод З. М; Мурыгиной.

точки зрения на проблемы языка. В этой книге место философии, бывшей до того времени наряду с грамматикой и логикой непременной частью языкового анализа, впервые заняла психология, что придало работе Штейнталя характер программы, в осуществлении которой, несомненно, громадные заслуги принадлежали как ему самому, так и его последователям — языковедам и психологам. Но грамматика, которую Штейнталь противопоставил психологии, уже миновала стадию старой нормативной грамматики и стала наукой исторической; и поэтому логическая интерпретация языковых явлений, с критикой которой в психологическом плане выступил в своей книге Штейнталь, нашла сильную соперницу в исторической грамматике.

Ныне, когда историческое описание языка и возникшая из этого описания историческая грамматика, бесспорно, заняли господствующее положение, едва ли имеет смысл заниматься рассмотрением отношений грамматики к логике и психологии, как это в свое время пытался делать Штейнталь. В настоящее время особую актуальность приобретает иное отношение, которого в то время не существовало вообще или по крайней мере в его теперешней форме: отношение истории языка к психологии языка. Уже Штейнталю было ясно, что историческое и психологическое исследования языка, которые преследуют различные задачи, нуждаются во взаимной поддержке; психология должна заниматься изучением языковых фактов, устанавливаемых историей языка, а последняя — их психологической интерпретацией; и причина его успеха кроется, пожалуй, скорее в существовании такой обоюдной потребности, чем в отдельных психологических воззрениях, к которым он обратился, успеха, который отчетливо сказался в том факте, что представителями нового направления стали не психологи, а лингвисты, такие, как, наряду со Штейнталем, Г. Пауль и Ф. Мистели, а также и в огромном влиянии, которое приобрела в языкознании именно работа Г. Пауля. И сколько бы Г. Пауль в противоположность Штейналю ни подчеркивал, что истории языка должно быть отведено особое, независимое от психологии место, основное значение и основная причина успеха его работы «Принципы истории языка», несомненно, заключается в том, что он максимально исключил из рассмотрения гипотетические элементы истории языки и поэтому повсюду лишь на основе достоверно известных явлений наших новых языков, и прежде всего немецкого языка, пытался психологически истолковать факты языкового развития. Несомненно, что работа Плуля завоевала успех и приобрела влияние как работа по психологии языка, но не истории языка, чем она не может и не претендует быть ни по расположению, ни по трактовке материала. Менее всего хотелось бы подвергать сомнению то отношение обоюдной взаимопомощи, обоснование которого в столь большой степени является заслугой Штейнталя и его последователей из школы Гербарта, хотя характер этого отношения определен менее чем ясно. И действительно, я полагаю, что в

этом существенном пункте современная психология должна превзойти школу Гербарта, если только она хочет соответствовать задачам, которые перед ней ставят история языка, с одной стороны, и психология языка, с другой, как этого требует современное состояние науки.

В ясном изложении важнейших применительно к языку направлений психологии, приводимом Дельбрюком в первой главе своей книги[1], отсутствует упоминание именно этого пункта, который, как я полагаю, является решающим при определении отношений обеих дисциплин; и да будет мне позволено еще один раз его настойчиво выделить, хотя это мною уже и сделано во введении к моей «Психологии народов» и явствует из рассмотрения отдельных проблем настоящей работы.

Штейнталь назвал программной работу «Грамматика, логика и психология». Этим он указал, что психология, так же как и логика сами по себе относятся к области, лежащей за пределами науки о языке. Действительно, в полном соответствии с системой Гербарта он при рассмотрении языковых проблем всюду исходил из того положения, что психологические законы, установленные независимо от языковых явлений, применимы для интерпретации последних. Если я выше охарактеризовал отношения науки о языке и психологии как отношения обоюдной взаимопомощи, то нельзя не признать, что в работах Штейнталя и его последователей едва ли не исключительно была принята во внимание, или по меньшей мере была официально признана непосредственным содержанием выставленной программы, лишь одна сторона этих взаимоотношений — применение психологии к языку, в то время как другая сторона — использование языковых фактов для психологического познания — проявлялась между прочим и случайно, как это с самого начала и должно было быть ввиду ограниченности привнесенной в язык психологической системы. Из этой установки гербартовской психологии по отношению к науке о языке Пауль и сделал лишь справедливое логическое заключение, когда он противопоставил психологию лингвистике как нормативную науку науке исторической.

И если я назвал настоящую работу не «История языка и психология», а именно «История языка и психология языка», то вторая часть этого наименования должна указывать на то, что, по моему мнению, при ныне существующих отношениях обеих дисциплин, когда, впрочем, очевидным является возможность также иного применения, а именно использование в языке воззрений и результатов, установленных при рассмотрении более простых проблем экспериментальной психологии, — центром тяжести этих отношений для нас в настоящее время все же должна стать их другая сторона — извлечение психологических знаний из фактов языка, и прежде всего из истории языка. Нам потребуется язык для того,

[1] B. Delbrück, Grundfragen der Sprachforschung, Strassburg, 1901.

чтобы создать устойчивую психологию сложнейших духовных процессов даже и в том случае, если обнаружится, что лингвистика может обойтись без помощи психологии, в чем я, впрочем, сомневаюсь. Дельбрюк, как мне кажется, не учел этого изменения постановки вопроса, пройдя мимо нее. О том, что я в своей работе стремился использовать факты языка прежде всего для психологии, а также и о том, что законы элементарных ассоциаций, ассимиляции, волеизъявлений и т. п., которые я пытался установить, сами по существу могут быть выведены лишь из языковых явлений, насколько могу судить, в его работе нигде не упоминается. Дельбрюк рассматривает психологию Гербарта и те психологические воззрения, к которым я частично пришел в результате переработки простейших экспериментальных проблем и которые частично (отнюдь не в малой степени) почерпнул из моих занятий языком, как две психологические отдельные системы, привнесенные в язык извне, и полагает, что согласно предпосылкам каждой из них можно различным образом толковать языковые факты. Очевидно, с этим обстоятельством связано и то, что выражения «психология языка» и «философия языка» он без всякой дифференциации использует применительно ко всем исследованиям, лежащим вне истории языка. Между применением к языку заведомо метафизически ориентированной психологической системы и старой философией языка не существует действительно очень глубокого различия, в то время как, с моей точки зрения, следует уделять особое внимание тому обстоятельству, что психология в отличие от языка является чисто эмпирической наукой, которая больше не имеет ничего общего с метафизическими спекуляциями о происхождении и сущности языка. Это рассмотрение психологии языка как разновидности философии языка и как системы понятий, привносимых в язык в известной мере извне, особенно характерно проявляется у Дельбрюка при ретроспективном обзоре, которым он заканчивает свое сравнительное изложение различных «психологии». Лингвисту — к этому сводятся рассуждения Дельбрюка — в общем совершенно безразлично, какую именно систему использовать в его практике языкового исследования. Он может одинаково хорошо воспользоваться как посылками гербартовской статики и механики представлений, так и ассимиляциями и прочими элементарными процессами современной психологии. Поэтому лингвисту совсем не обязательно иметь определенную точку зрения на содержание этих теорий. Не следует также полагать, что у лингвиста, который пожелает перейти от одной теории к другой, при этом «могут возникнуть серьезные трудности в каком-либо пункте его научной работы».

Я сильно сомневаюсь в том, что утверждение психолога, по которому для психологического толкования языковых фактов совершенно безразлично, как именно они возникли исторически (если уж они возникли любым допустимым образом), было бы благожелательно воспринято Дельбрюком. Он совершенно спра-

ведливо возразил бы, что в области истории не существует двух истин, более того, что историк, а соответственно и специалист по истории языка должен показать, как действительно возникали явления, но не как они любым надуманным образом могли бы возникнуть; поэтому психолог должен отдавать себе отчет в том, как психологически истолковать именно данную и действительную взаимосвязь, а не любую другую, гипотетически возможную. Правда, и в исторической науке взаимосвязь фактов известна недостаточно полно. Поэтому возможны различные толкования причин возникновения того или иного явления, и, как известно, именно в истории языка обычно обнаруживаются несогласия исторических воззрений. Однако есть очень большое различие между такими отдельными сомнительными случаями и общим ходом всеобщего исторического развития. Здесь, если отойти от проблем происхождения, находящихся вне компетенции исторической науки, бесспорно, существует лишь одна — единственная история языка, а не различные, совершенно отличающиеся друг от друга исторические системы, между которыми можно было бы свободно выбирать. Поскольку существует лишь одна историческая истина, постольку должна существовать и лишь одна психологическая истина. Двоякая, и притом видоизменяющаяся, психологическая интерпретация какого-либо исторического явления может оказаться неверной. Но чтобы они обе были одновременно достоверными или чтобы они, как это формулирует Дельбрюк, были одинаково пригодными — это представляется мне невозможным. Ибо всякая неверная интерпретация не пригодна уже сама по себе, если усматривать смысл интерпретации не в том, чтобы сводить положение вещей к любой, возможно, совершенно надуманной связи, а в том, чтобы ее правильно истолковать.

Я отнюдь не утверждаю, что только на моей стороне находится объективная истина. Я неоднократно мог ошибаться в частностях. И если я все же полагаю, что, несмотря на это обстоятельство, мое общее понимание языковых явлений тем не менее не является несправедливым, то это отнюдь не потому, что мое суждение меня не может обманывать, а потому, что психологические предпосылки, на основе которых я интерпретировал язык, почерпнуты мною прежде всего из самого языка, а не перенесены на него из каких-то заранее заданных произвольных систем. Конечно, порою возможно подвергнуть сомнению достоверность отдельных языковых фактов, положенных мною в основу обобщения; может быть, и весь метод обобщения также является уязвимым. Поэтому я едва ли мог бы что-либо возразить Дельбрюку, если бы он объявил, что гербартовское понимание души и духовных процессов со всеми теми последствиями, которые отсюда вытекают для психологической интерпретации языка, является, по его мнению, правильным и что поэтому он и предпочитает его придерживаться. Но как можно считать, что два мнения являются одновременно справедливыми

или, — что, пожалуй, в конечном счете одно и то же, — одинаково несправедливыми и поэтому одинаково применимыми к истолкованию различных фактов, — этого я не понимаю. Еще менее я способен понять, когда сам Дельбрюк порой, особенно при рассмотрении вопроса об изменении значений слов, не в состоянии воздержаться от признания, что способ умозрительного рассмотрения, свойственный гербартовской психологии, сам приводит здесь к тому, что логическая система с ее иерархией понятий, куда искусственно укладываются начальный и конечный момент изменения значения, становится на место психических мотивов, которые действуют при этих процессах. Если он в этом случае признает правильным вместо логической классификации результатов изменений вскрыть психологическую обусловленность процесса, то я считаю, что подобный возврат к непосредственному психологическому толкованию необходим не только в данном вопросе, где, впрочем, расхождение между задачей и ее решением особенно ярко бросается в глаза, но в равной мере необходим повсюду. И если Дельбрюк даже считает, что вместо того, чтобы прослеживать отдельные психологические отличия этих процессов, вполне возможно «(ограничиться признанием, что весь процесс изменения значений основан на ассоциациях», и приписывать классификации «лишь качества удобной обозримости», то я никак не могу с этим согласиться. Конечно, совершенно справедливо, что «история каждого отдельного слова имеет свою особенность» и что «своеобразие отдельного часто не охватывается общим». Но если задачей объяснения изменений значений слов признается выведение из фактов психологических процессов, которые доминируют в каждом отдельном случае, то я полагаю, что при анализе этих фактов никогда не следует довольствоваться общим поверхностным впечатлением ассоциации, так как главной задачей является именно возможно тщательное и подробное исследование самих конкретных процессов. Что сказал бы Дельбрюк, если бы после того, как был установлен закон Гримма о передвижении согласных, кто-нибудь попытался бы утверждать, что безоговорочное признание этого закона уже полностью объясняет все случаи его употребления и что совсем не требуется исследовать каждый отдельный случай проявления этого закона? Я полагаю, что к задачам исследования психологии языка следует подходить с той же самой меркой, что и к задачам исследования истории языка. Слово «ассоциация» остается лишенным содержания до тех пор, пока оно не будет воплощено в конкретных явлениях, лишь путем анализа которых это понятие, употребляемое часто столь шаблонным и потому малопригодным образом, может обрести реальное содержание. Поэтому я убежден, что и здесь выступит нечто противоположное тому упрощению схемы ассоциаций, которое предсказал Гербарт. Придется признать тот факт, что чем больше дифференцируешь психологические процессы, тем сильнее стремишься применить общие психологические точки зрения к истолкованию отдельных явлений.

Безусловно, Дельбрюк возразит мне, что его позиция в этом вопросе является позицией лингвиста, а не психолога. Действительно, задачей его книги «Основные вопросы исследования языка» отнюдь не является рассмотрение собственно психологических вопросов. Более того, в спорах различных психологических направлений Дельбрюк предпочитает играть роль незаинтересованного зрителя, отклоняя необоснованные притязания психологии там, где они вступают в конфликт с историей языка, а в остальном стараясь быть как можно более добросовестным и беспристрастным, ища случая воздать должное достижениям, которых смогли достичь психология и история языка. Совершенно очевидно, что при такой точке зрения поставленный вопрос легко мог принять и следующую форму: что именно из результатов психологических исследований является для лингвиста практически пригодным или непригодным? Вопрос, который не просто равнозначен другому: что является истинным или не истинным? Практически пригодными могут быть определения, классификации, а иногда и сами интерпретации, истинности которых не придается даже особого значения. Я совсем не хочу утверждать, что Дельбрюк по отношению к использованию психологии в лингвистике сознательно превозносит исключительность принципа практической полезности. Но это действительно у него проявляется, да это никак и не может быть иначе при таком соблюдении нейтралитета по отношению к различным психологическим воззрениям. Поэтому я и считаю, что при обсуждении отдельных проблем нельзя игнорировать его односторонности, а поскольку это касается психологической стороны процессов, и неизбежной поверхностности, к которым приводит такой чисто практический способ рассмотрения. Как он считает излишним углубляться в своеобразие ассоциативных процессов при изменениях значения слов, так и при «ассоциативных процессах по пространственной смежности» или при «образованиях по аналогии» он признает «непрактичным» особое выделение контрастной ассоциации, хотя в этих случаях явно налицо своеобразная по своему возникновению и влиянию психологическая форма, которая выделяется не только своей ограниченной применимостью к определенной понятийной области, но также и тем, что в ней массовое воздействие элементов многочисленных словесных представлений уступает место скорее влиянию единичных представлений, которые прежде совершенно неправомерно устанавливались при так называемых «вещественных образованиях по аналогии». В противоположность этому положение, выдвинутое Дельбрюком, по которому иногда бывает трудно установить, имеем ли мы дело с ассоциациями по сходству понятийных элементов или налицо контрастное влияние, не имеет значения для теоретической части работы, так как сложность причин никогда не может служить основанием для того, чтобы произвольно упрощать рассмотрение множества условий, принимая во внимание лишь одно из них.

Сходным образом эта точка зрения практического упрощения применяется в ущерб существенным различиям при рассмотрении падежных форм. В этом вопросе Дельбрюк принимает мою точку зрения на так называемый «местный падеж», т. е. признает, что в этом падеже находят выражение не только пространственные, но и наглядные отношения; он признает также, что для других падежей определяющими являются не такие отношения вещей, которые даны в наглядном представлении, а определенные логико-грамматические отношения. Правда, он возражает против различения «падежей внутренней и внешней детерминации», так же как и против дальнейшего раскрытия отношений этих падежных форм. Я должен, впрочем, признать, что именно в этом случае решающим явилось использование данных, привлеченных из Других языков, а не только из индоевропейских; но полагаю, что и факты развития индоевропейской системы падежей также легко объясняются на основе предлагаемой точки зрения. Насколько я могу судить, основным доводом Дельбрюка является невозможность разграничения внутренней и внешней детерминации в случаях колеблющегося употребления некоторых падежей, особенно родительного и дательного. Я попытался объяснить случаи подобного совпадения падежных форм близостью ассоциативных условий, но Дельбрюк не останавливается подробно на этом объяснении. Ибо и в этом случае его точка зрения остается верной принципу возможно большего практического упрощения; поэтому он и считает нужным придерживаться классификации падежей на «местные» и «неместные». Мне представляется, что как в теоретическом, так и в практическом плане такая классификация весьма сомнительна, ибо к одному из членов ее приходится прибавлять заверение в том, что использованное выражение является, собственно говоря, неверным, а к другому — что он выделяется лишь по наличию отрицательного признака, что не только ничего не говорит о содержании обозначаемых понятий, но и исключает возможность сравнения содержаний, относящихся к другим понятийным областям.

Я ограничусь рассмотрением этих двух примеров, заимствованных из весьма различных областей грамматической системы, для того, чтобы проиллюстрировать результаты, к которым приводит намеренно последовательная установка лингвиста — практика. Я не сомневаюсь в том, что и сам Дельбрюк должен будет признать неосновательность такой позиции, как только лингвистика захочет применить также и к психологической части своих интерпретаций оба основных принципа, безоговорочно используемых в ее собственной сфере, согласно которым, во-первых, существует лишь одна истина и не может быть многих, отличающихся друг от друга истин и, во-вторых, следует стремиться к предельной точности анализа каждого сложного факта, а не ограничиваться лишь его простейшим практически пригодным рассмотрением. Последним современное языкознание вообще не занимается, в

чем в большей части повинно само состояние психологии, а не наука о языке. Лингвист, правда, при рассмотрении целого ряда своих проблем испытывает необходимость обратиться к психологии. Весьма показательна в этом отношении новая работа Дельбрюка, которая свидетельствует о столь серьезном знакомстве с современной психологической литературой, что являет собой приятный контраст сравнительно с работами выдающихся лингвистов более раннего времени, которые сплошь и рядом довольствовались той разновидностью вульгарной психологии, творцами коей в случае надобности являлись они сами. В настоящее время положение вещей изменилось. Теперь признается необходимость научной психологии. Но эта научная психология еще не рассматривается с точки зрения самостоятельной эмпирической области знания, в основу которой, между прочим, положены и факты истории языка; в ней в лучшем случае усматривается некое внешнее вспомогательное средство, прибегнуть к которому лингвистика может в тех случаях, когда ей это покажется полезным. Как используют пишущую машинку системы Ремингтона или системы Хэммонда без того, чтобы это имело существенное значение для целей машинописи, так якобы следует применять и гербартовскую или какую-либо другую психологию, если в случае надобности появляется необходимость психологической интерпретации языковых фактов.

Когда я задаю себе вопрос: почему столь выдающийся специалист по истории языка, как Дельбрюк, занял в общем и целом по отношению к психологии именно эту позицию практической пригодности, — то, как я полагаю, более или менее удовлетворительно ответить на него можно, лишь признав, что современная наука о языке и возникшая из нее историческая грамматика применительно к историческому материалу в основном отказались от точки зрения старой формальной грамматики, но как только им приходится заниматься интерпретацией элементов, не относящихся непосредственно к исторической науке, традиции старой грамматики возрождаются.

Старая грамматика стремилась к предельной ясности и обозримости схем и систем, нередко смешивая задачи обучения и науки. Отсюда и проистекает, с одной стороны, сродство старой грамматики и логики и, с другой стороны, ее стремление к возможно более простому, практически применимому, системному упорядочиванию материала, достичь которого можно было, правда, только пренебрегая как историческим, так и психологическим развитием языка. В вопросе психологической интерпретации языковых процессов современная история языка, как мне кажется, продолжает оставаться все еще на позициях старой грамматики. Вопросы возникновения и взаимосвязи различных явлений гораздо меньше интересуют историю языка, чем вопросы о том, как их удобнее разгруппировать по возможно более простой схеме. Этим самым история языка приносит вред прежде всего

себе самой. Ибо причины, обусловливающие развитие языка, в их очень значительной части являются все же психическими причинами. В неверной психологической интерпретации с самого начала заложено и неверное историческое понимание. И если это сразу не бросается в глаза, то главным образом потому, что современная наука о языке еще в значительной степени довольствуется той внешней историей языка, которая устанавливает последовательность фактов, нимало не заботясь о том, почему они стали такими. Поэтому чем заметнее сейчас в лингвистических исследованиях будет тенденция к превращению внешней истории языка одновременно во внутреннюю, тем вероятнее станет надежда, что постепенно исчезнет и то утилитарное применение психологии, которое измеряет историю языка лишь внешней меркой практической пригодности. Такое изменение установок неизбежно должно наступить с того момента, когда лингвистика в большей степени, чем это, видимо, имеет место сейчас, осознает то богатство, которое сам язык предоставляет в распоряжение психологии. Опять-таки это утверждение не распространяется на любую из психологических школ метафизического происхождения. Оно действительно лишь для той психологии, которая так же, как история языка в своей области, при изучении фактического материала стремится к строго научному обобщению своих понятий и законов с тем, чтобы вновь положить их в основу конкретного анализа.

V. МЛАДОГРАММАТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

В последней четверти прошлого века в языкознании определилось направление, которому за молодой задор его представителей, с каким они нападали на старшее поколение языковедов, немецкий филолог Ф. Царнке присвоил шутливое название «младограмматиков» (Junggramrnatiker). Один из зачинателей этого направления, К. Бругман, превратил это название в знамя новой лингвистической школы, и оно со временем приобрело все права лингвистического термина.

К новому направлению примыкали по преимуществу ученые Лейпцигского университета (почему младограмматиков иногда именуют также лейпцигской школой языкознания) — А. Лескин (1840 — 1916), К. Бругман (J849 — 1919), Г. Остгоф (1842 — 1907), Г. Пауль (1846 — 1921), Б. Дельбрюк (1842 — 1922) и др.

К позициям младограмматизма в той или иной степени приближался также Ф. де Соссюр (1857 — 1913) на первом этапе своей деятельности, Ф. Ф. Фортунатов (1848 — 1914), В. Томсен (1842 — 1927) и др. Однако следует иметь в виду, что эти лингвисты слишком своеобразны и оригинальны в своем творчестве (Ф. де Соссюр и Ф. Ф. Фортунатов — создатели своих школ в языкознании), чтобы их можно было безоговорочно относить к младограмматикам. Правильнее было бы говорить о них (привлекая также широкий круг других лингвистов) как о представителях сравнительно-исторического языкознания, развитие принципов которого отнюдь нельзя считать монополией младограмматиков.

Основными работами, в которых с наибольшей полнотой сформулированы принципы младограмматизма, являются: 1) Предисловие Г.Остгофа и К.Бругмана к первому тому «Морфологических исследований» (выпускавшееся ими непериодическое издание). Это опубликованное в 1878 Г. предисловие нередко именуется манифестом младограмматиков. 2) Г. Пауль. Принципы истории языка. (Первое издание вышло в 1880 г., в дальнейшем многократно переиздавалось. Английский перевод второго издания (1886) появился в Лондоне в 1889 г. под названием «Principles of the History of Language»). Русский перевод книги осуществлен Издательством иностранной литературы в 1960 г. Настоящая работа излагает основные проблемы языкознания с позиций младограмматизма и является, таким образом, наиболее полным сводом принципов этой школы. 3) Б. Дельбрюк, Введение в изучение языка. Из истории и методологии сравнительного языкознания.

(Русский перевод третьего издания, сделанный студентами Петербургского университета под редакцией Б. С. Булича, вышел в 1904 г.) В 1919 году Дельбрюк выпустил шестое издание своей книги, настолько переработанное, что оно, по сути говоря, представляет собой совершенно новую книгу. Дельбрюк уделяет много места и полемике по поднятым младограмматиками проблемам.

Для более полного ознакомления с лингвистической концепцией младограмматизма полезны также полемические работы Г. Курдиуса «К критике новейшего языкознания (Критика младограмматизма)». К. Бругмана «К современному состоянию языкознания» и Б. Дельбрюка «Основные вопросы исследования языка».

Основным для концепции младограмматизма является представление о языке как об индивидуальной психофизической (или психофизиологической) деятельности. Все языковые изменения, по мнению младограмматиков, совершаются в «обычной речевой деятельности» индивида. Отсюда их требование обратиться к изучению в первую очередь живых языков, которые легче, чем мертвые древние языки, поддаются наблюдению и, следовательно, дают больше материала для вскрытия закономерностей развития языка. С этим связано и их скептическое отношение к реконструкциям индоевропейского праязыка. Впрочем, младограмматики в своей научной практике были непоследовательны и вопреки своим декларативным заявлениям много внимания уделяли изучению именно древних языков и занимались реконструкцией если не индоевропейского праязыка, то отдельных его форм.

Понимание языка как постоянно изменяющегося явления обусловило требование младограмматиками исторического подхода к изучению языка. Исторический подход у них универсализируется и делается обязательным при изучении всех явлений. В целях более глубокого и детального изучения они рекомендовали изолированное рассмотрение отдельных явлений языка (так называемый «атомизм» младограмматиков).

Двусторонность природы языка (это индивидуально-психологическое и физиологическое явление) нашла свое выражение в формулировании младограмматиками методов исторического изучения процессов развития языка. Внимание исследователя должно быть направлено на установление новообразований по аналогии (аналогия покоится на психических явлениях ассоциации) и вскрытие и описание фонетических законов (отражающих физиологическую сторону жизни языка). В понятии фонетического закона, несомненно, отразились прежние воззрения на язык как на естественный организм, подчиненный в своем развитии строгим и не знающим исключений (как и физические законы) закономерностям. Фонетические законы младограмматиков — это последующий этап в стремлении языковедов превратить лингвистику в науку законополагающую.

Явление аналогии и фонетические законы, выдвинутые младограмматиками на первый план в лингвистическом исследовании, в течение многих лет были предметом оживленной дискуссии, в процессе которой самим младограмматикам пришлось пересмотреть понятие фонетического закона. Если первоначально фонетические законы определялись как «законы, действующие совершенно слепо, со слепой необходимостью природы», то в дальнейшем сферу их действия пришлось ограничить рядом факторов (хронологическими и пространственными пределами, встречным действием аналогии, позднейшими иностранными заимствованиями, определенными фонетическими условиями). В поздних работах Б. Дельбрюка находит свое выражение кризис младограмматической концепции; он вообще отказывает в закономерности процессам звуковых изменений, поскольку «язык слагается из человеческих действий и поступков, которые, по-видимому, произвольны».

Введение младограмматиками новых методов исследования сопровождалось многими значительными открытиями в области индоевропейских языков, но вместе с тем знаменовалось сужением научной проблематики. Лингвистические исследования замыкались главным образом в области фонетики, в меньшей мере затрагивая морфологию и почти совсем не касаясь синтаксиса (редкое исключение составляет «Сравнительный синтаксис индоевропейских

языков» Б. Дельбрюка, занимающий последние три тома шеститомных «Основ сравнительной грамматики индоевропейских языков»; первые три тома, посвященные фонетике и морфологии, написаны К. Бругманом) и лексики (если не говорить, конечно, об этимологических исследованиях). В соответствии с этим многочисленные исторические грамматики отдельных индоевропейских языков, написанные младограмматиками, состоят по преимуществу из исторической фонетики и в меньшей мере исторической морфологии.

ЛИТЕРАТУРА

А. В. Десницкая, Вопросы изучения родства индоевропейских языков, изд. АН СССР, М. — Л., 1955.

В. Томсен. История языковедения до конца XIX века, Учпедгиз, М., 1938.

Ф. Шпехт, Индоевропейское языкознание от младограмматиков до первой мировой войны. Сб. «Общее и индоевропейское языкознание». Изд. иностр. лит., М., 1956.

А. С. Чикобава, Проблема языка как предмета языкознания, Учпедгиз, М., 1959.

С. Д. Кацнельсон. Вступительная статья к книге Г. Пауля «Принципы истории языка», Изд. иностр. лит., М., 1960.

Г. ОСТГОФ и К. БРУГМАН

ПРЕДИСЛОВИЕ К КНИГЕ «МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ИНДОЕВРОПЕЙСКИХ ЯЗЫКОВ»[1]

Со времени появления книги Шерера «К истории немецкого языка» (Берлин, 1868)[2] и во многом под влиянием этой книги облик сравнительного языкознания значительно изменился. С тех пор пробил себе дорогу и приобретает все большее число последователей метод исследования, существенно отличающийся от того метода, который использовался сравнительной грамматикой в первые полстолетия ее существования.

Никто не может отрицать, что прежнее языкознание подходило к объекту своего исследования — индоевропейским языкам, не составив себе предварительно ясного представления о том, как живет и развивается человеческий язык вообще, какие факторы действуют при речевой деятельности и как совместное действие этих факторов влияет на дальнейшее развитие и преобразование языкового материала. С исключительным рвением исследовали языки, но слишком мало — говорящего человека.

Механизм человеческой речи имеет две стороны: психическую и физическую. Главная цель ученого, занимающегося сравнительным изучением языков, — выяснить характер деятельности данного механизма. Ибо только на основе более точных знаний об устройстве и образе действия этого психофизического механизма ученый может составить себе представление о том, что вообще возможно в языке (но только не в языке на бумаге, так как на бумаге можно сделать почти все), о том, каким образом исходящие из индивидов языковые новшества укореняются в языковом коллективе, вообще извлечь те методологические принципы, которыми он должен будет руководствоваться во всех своих разысканиях в области истории языка. Чисто физической стороной речевого механизма занимается физиология звуков. Эта наука существует уже десятилетия, и ее достижениями пользовалось уже прежнее языкознание примерно с пятидесятых годов; в этом следует видеть большую его заслугу.

[1] H. Osthoff und K. Brugman, Morphologische Untersuchungen, Erster Theil, Leipzig, 1878.

[2] *В. Шерер* (1841 — 1886) — немецкий филолог, наиболее известный упоминающейся здесь книгой. *(Примечание составителя.)*

Но данных одной физиологии звуков отнюдь не достаточно, когда хотят составить себе ясное представление о речевой деятельности человека и о новшествах в форме, производимых человеком при говорении. Даже самые обычные изменения звуков, как, например, переход nb в mb, bn в mn или перестановка ar — ra, непонятны, если рассматривать их только с точки зрения физиологии звуков. Необходимо привлечь еще одну науку, которая располагает обширным материалом наблюдений над характером функционирования психических факторов, действующих при бесчисленных звуковых изменениях и при всех так называемых образованиях по аналогии, науку, основные черты которой впервые наметил Штейнталь в своей работе «Ассимиляция и аттракция с точки зрения психологии» (Zeitschrift für Völkerpsychologie, 1, 93 — 179) и на которую языкознание и физиология звуков до сих пор обращали мало внимания. В примечании 1 на странице 82 настоящей книги один из авторов, опираясь на эту работу Штейнталя, попытается подробно показать, как важно иметь ясное представление о том, в какой степени звуковые инновации, с одной стороны, представляют собой явления чисто физическо-механического порядка и в какой степени они, с другой стороны, являются физическими образами психических явлений. Далее будут подробно рассмотрены влияние ассоциаций идей при речевой деятельности и новообразование языковых форм в результате формальных ассоциаций и будет сделана попытка развить относящиеся к ним методологические принципы. Прежнее сравнительное языкознание при всем том, что оно охотно использовало данные *физиологии звуков,* совершенно не обращало внимания на эту психическую сторону речевого процесса и вследствие этого впадало в бесчисленные заблуждения. Только в самое последнее время все больше и больше начинают осознавать это упущение. Некоторые основные ошибки, общие всему прежнему языкознанию и вытекавшие из непризнания того факта, что даже преобразования и новообразования, возникающие лишь во *внешней* языковой форме и касающиеся только *звукового выражения* мысли, *в громадном большинстве случаев* основываются на происходящем перед произнесением звука *психическом процессе,* уже удачно преодолены «младограмматиками» — направлением, исходящим из высказанных в трудах Шерера положений. В этом отношении будущие ученые должны исследовать многое точнее и детальнее, и если историческое языкознание и психология будут связаны более тесно, чем это было до сих пор, то можно предположить, что благодаря этой связи будет открыто немало важных для метода исторического языкознания положений.

* * *

Если недостаточное исследование речевого механизма, особенно почти полное невнимание к его психической стороне, в прежнем сравнительном языкознании следует отнести к недостаткам, за-

труднявшим и замедлявшим достижение правильных исходных положений для исследования изменения и образования новых форм в наших индоевропейских языках, то ныне к ним присоединился еще один, влияние которого было куда худшим и который породил такое заблуждение, что, покуда его разделяли, сделало открытие этих методических положений прямо-таки невозможным.

Реконструкция индоевропейского языка-основы была до сих пор главной целью и средоточием усилий всего сравнительного языкознания. Следствием этого явился тот факт, что во всех исследованиях внимание было постоянно направлено в сторону праязыка. Внутри отдельных языков, развитие которых известно нам по письменным памятникам, — индийского, иранского, греческого и т.д. — интересовались почти исключительно древнейшими, наиболее близкими к праязыку периодами, следовательно, древнеиндийским, а в нем особенно ведическим, древнеиранским, древнегреческим, а в нем главным образом гомеровским диалектом, и т.д. Более поздние периоды развития языков рассматривались с известным пренебрежением, как эпохи *упадка, разрушения, старения,* а их данные по возможности не принимались во внимание.

Из форм древнейших исторически известных периодов развития языков конструировали индоевропейские *проформы.* И эти последние в такой степени стали общепризнанным масштабом для рассмотрения исторических формаций языка, что *сравнительное языкознание получало общие представления о жизни языков, их развитии и преобразовании главным образом с помощью индоевропейских проформ.* Но то, что на этом пути нельзя было прийти к правильным руководящим принципам исследования изменения и возникновения новых форм в наших индоевропейских языках, настолько ясно, что приходится удивляться тому, как много людей все еще не понимают этого. *Разве достоверность, научная вероятность тех индоевропейских праформ, являющихся, конечно, чисто гипотетическими образованиями, зависит прежде всего не от того, согласуются ли они вообще с правильным представлением о дальнейшее развитии форм языка и были ли соблюдены при их реконструкции верные методические принципы.* Следовательно, до сих пор ученые двигались, да и в настоящее время двигаются, не зная этого или не желая себе в этом признаться, по самому настоящему кругу,

Мы должны намечать общую картину характера развития языковых форм не на материале гипотетических праязыковых образований и не на материале древнейших дошедших до нас индийских, иранских, греческих и т.д. форм, предыстория которых всегда выясняется только с помощью гипотез и реконструкций. Согласно принципу, по которому следует исходить из известного и от ней уже переходить к неизвестному, эту задачу надо разрешать на материале таких фактов развития языков, история которых может быть прослежена с помощью памятников на большом отрезке времени и исходный пункт которых нам непосредственно

известен. Чем больше языкового материала предоставляет нашему наблюдению беспрерывная, насчитывающая столетия письменная традиция, тем в более благоприятном положении мы находимся, и чем дальше какой-либо период развития языка удален по направлению к современности от времени, которым датируется начало письменной традиции, тем неизбежно поучительнее для нас он становится. Следовательно, ученый, занимающийся сравнительным изучением языков, должен обратить свой взор не к праязыку, а к современности, если он хочет иметь правильное представление о характере развития языка; он должен, наконец, полностью отбросить мысль о том, что компаративисту, изучающему индоевропейские языки, следует обращать внимание на позднейшие фазы развития этих языков только тогда, когда они дают языковой материал, который может быть использован при реконструкции индоевропейского языка-основы.

Языки, подобные германским, романским, славянским, являются, без сомнения, такими, где сравнительное языкознание вернее всего может выработать свои методологические принципы. Во-первых, здесь соблюдено основное условие: мы можем проследить развитие и процесс преобразования языковых форм с помощью памятников на протяжении многих столетий. Затем, здесь в гораздо большей степени, чем в древнеиндийском, древнегреческом, латинском языках, мы имеем дело с неподдельной народной речью, с обычным разговорным языком. То, что нам известно о древних индоевропейских языках по дошедшим до нас памятникам, является языком, в такой степени подвергшимся литературному влиянию (слово «литературный» понимается здесь в самом широком смысле), что мы вряд ли можем говорить о знании устного, самобытного, непритязательного каждодневного языка древних индийцев, греков и римлян. Но как раз именно этот последний способ сообщения мыслей является таким, наблюдая который можно выработать правильную точку зрения для оценки происходящих в устах народа преобразований языка, особенно для оценки доисторического периода в развитии языков. Далее, упомянутые новые языки обладают по сравнению с древними языками еще и тем несомненным преимуществом, столь важным для достижения нашей цели, что результатом их развития в народе, прослеживаемого по памятникам на протяжении веков, являются живые языки, включающие множество диалектов. Эти живые языки, однако, еще не настолько отличаются от более древних, удаленных на столетия и доступных только в письменной форме, чтобы их нельзя было использовать в качестве прекрасного корректива для тех ошибок, которые неоднократно и неизбежно допускались из-за того, что ученые полагались только на данные этой письменной передачи речи прежних времен. Каждый знает, что мы можем проверить историю верхненемецких звуков в отдельных наречиях с древневерхненемецкого периода до наших дней с гораздо большей достоверностью, чем, например, историю греческих звуков в древне-

греческий период, потому что живые звуки современности дают возможность правильно понять значение тех письмен, с помощью которых немцы пытались в далеком прошлом фиксировать звуки. Ведь буквы всегда представляют собой лишь грубые и неумелые, а зачастую и вводящие в заблуждение отображения звуков живой речи; таким образом, вообще невозможно получить верное представление о ходе процесса преобразования какого-либо звука в том или ином древнегреческом или латинском наречии.

Именно новейшие периоды развития новых индоевропейских языков, живые народные говоры имеют большое значение для методологии сравнительного языкознания и в ряде других случаев. Здесь следует остановиться только на одном обстоятельстве, о котором до сих пор слишком мало говорили в языкознании именно потому, что всегда пренебрегали новыми и новейшими периодами в жизни языков. Во всех живых народных говорах свойственные диалекту звуковые формы проводятся через весь языковой материал и соблюдаются членами языкового коллектива в их речи *куда более последовательно,* чем это можно ожидать от изучения древних, доступных только через посредство письменности языков; эта последовательность часто распространяется на тончайшие оттенки звуков. Тому, кто не в состоянии сам проделать эти наблюдения над своим родным или иным наречием, следует обратиться, например, к превосходной работе И. Винтелера «Керенцское наречие кантона Гларус» (Лейпциг и Гейдельберг, 1876), которая убедит его в правильности сказанного[1]. Не следует ли тем, кто так охотно и так часто допускает немотивированные исключения из механических звуковых законов, обратить внимание на эти факты? Если лингвист может собственными ушами услышать, как протекает жизнь языка, почему он предпочитает составлять себе представление о последовательности и непоследовательности в звуковой системе единственно на основании неточной и ненадежной письменной традиции древних языков? Если кто-нибудь захочет исследовать анатомическое строение какого-либо органического тела и будет располагать прекраснейшими препаратами, разве он откажется от препаратов ради заведомо неточных рисунков?

* * *

Итак, только тот компаративист-языковед, который покинет душную, полную туманных гипотез атмосферу мастерской, где куются индоевропейские праформы, и выйдет на свежий воздух осязаемой действительности и современности, чтобы познать то, что непостигаемо с помощью сухой теории, только тот, кто раз и навсегда откажется от столь распространенного ранее и встречающегося и сейчас метода исследования, согласно которому язык

[1] Следует принять к сведению и общие замечания этого фонетиста о ненадежности обычной характеристики произнесенного слова и об опасностях, проистекающих отсюда для лингвиста.

изучают только на бумаге, растворяют все в терминологии, в формулах и в грамматическом схематизме, полагая, что сущность явлений уже познана, как только для вещи найдено имя, — только такой ученый сможет достичь правильного понимания характера жизни и преобразования языковых форм и выработать те методические принципы, без которых в исследованиях по истории языка вообще нельзя достичь достоверных результатов и без которых проникновение в периоды дописьменной истории языков подобно плаванию по морю без компаса.

Картина жизни языка, получаемая, с одной стороны, в результате изучения более поздних периодов развития языков и живых народных диалектов и, с другой — с помощью привлечения данных непосредственного наблюдения над психическим и физическим механизмом речи, отличается в своих существенных чертах от той картины, которую прежнее сравнительное языкознание, сосредоточившее свое внимание только на праязыке, видело в праиндоевропейском тумане и которая еще сегодня является для многих ученых руководящей нормой, И именно в силу существования этого различия, по нашему мнению, не остается ничего другого, как *преобразовать прежние методические принципы нашей науки и навсегда отказаться от той неясной картины, которая никак не может отречься от своего туманного источника.*

Из сказанного отнюдь не явствует, что все здание сравнительного языкознания в том виде, в каком оно существует в настоящее время, должно быть снесено и целиком выстроено заново. Несмотря на указанные выше недостатки метода исследования, благодаря острому уму и трудолюбию работавших в области языкознания исследователей было достигнуто такое обилие значительных и, как кажется, имеющих вечную ценность результатов, что мы имеем полное право с гордостью оглядываться на историю развития нашей науки. Но нельзя отрицать, что многим достоинствам сопутствует много недостатков и шатких положений, даже если эти не выдерживающие критики положения все еще признаются многими исследователями как сохраняющие свое значение для сегодняшнего дня достижения. Прежде чем строить дальше, нужно подвергнуть все здание в его теперешнем виде основательной проверке. Уже в фундаменте есть множество ненадежных мест. Покоящееся на таком основании сооружение необходимо обязательно перебрать. Остальная часть сооружения, поднявшегося ввысь, может быть оставлена, как она есть, если она покоится на хорошей основе, или подвергнуться некоторому улучшению.

* * *

Как уже было указано выше, заслугой Шерера является то, что он настойчиво поднимал вопрос о том, как происходят в языках процессы преобразования и новообразования. К ужасу многих кол-

лег и ко благу самой науки, Шерер в вышеназванной книге очень часто при объяснениях использовал принцип «переноса форм». Многие формы даже древнейших доступных нам периодов истории языков, которые до тех пор постоянно рассматривали как результат *чисто фонетического* развития индоевропейских праформ, вдруг оказались не чем иным, как «продуктами ложной аналогии»[1]. Это шло вразрез с традиционными взглядами, отсюда — недоверие и оппозиция с самого начала. Конечно, во многих пунктах Шерер, несомненно, был неправ, но он был столь же, несомненно, прав в неменьшем количестве случаев, и никто не может оспорить главной его заслуги, затмевающей все заблуждения и вряд ли оцененной достаточно высоко: он впервые поставил вопрос о правильности привычных методов, применявшихся до сих пор для рассмотрения изменения форм в древних периодах истории языка, например в древнеиндийском, древнегреческом языке и т. д., и о возможности и необходимости изучать эти языки на основе тех же принципов, что и новые языки, в которых наличие большого числа «образований по ложной аналогии» не вызывает сомнений.

Часть языковедов, а именно те немногие, кого это касалось больше всего, прошли мимо этого вопроса и, выразив в немногих словах свое отрицательное отношение, остались при своем старом мнении. Это не удивительно. Попытки критиковать метод, ставший привычным и по-домашнему уютным, всегда побуждают людей скорее избавиться от помехи, а не предпринять основательную ревизию и, может быть, изменение привычного метода.

У других, более молодых исследователей семя, брошенное Шерером, упало на плодородную почву. Раньше всех усвоил эту мысль Лескин[2], и, проанализировав понятие «звукового закона» и «исключения из закона» основательнее, чем это до сих пор делалось, он пришел к ряду методологических принципов, которые он сначала применил в своих академических лекциях в Лейпциге. Затем другие молодые исследователи, вдохновленные его примером, — и среди них авторы этих «Разысканий», — пытались и пытаются ныне приложить эти принципы к изучению все новых и новых фактов и добиться их признания все более широкими кругами. В основе этих принципов лежат две предельно ясные мысли: во-первых, язык не есть вещь, стоящая вне людей и над ними и существующая для себя; он по-настоящему существует только в индивидууме, тем самым все изменения в жизни языка могут исходить только

[1] Так, например, Шерер утверждал (а Остгоф неправильно оспаривал это в своих «Исследованиях», II, 137), что др.-инд. bhárâmi — «я несу» не является результатом звукового развития индоевропейской праформы bharâmi и что в праиндоевропейском употреблялась форма bharâ, а др.-инд. bhárâmi является новообразованием до аналогии с атематическими глаголами типа dadâmi.

[2] Л. *Лескин* (1840 — 1916) — немецкий языковед, работавший особенно много в области балтийского и славянского языкознания, один из основоположников младограмматиэма. *(Примечание составителя.)*

от говорящих индивидов[1], во-вторых, психическая и физическая деятельность человека при усвоении унаследованного от предков языка и при воспроизведении и преобразовании воспринятых сознанием звуковых образов остается в своем существе неизменной во все времена.

Важнейшими методическими принципами «младограмматического» направления[2] являются два нижеследующих положения.

Во-первых: каждое звуковое изменение, поскольку оно происходит механически, совершается *по законам, не знающим исключений,* т. е. направление, в котором происходит изменение звука, всегда одно и то же у всех членов языкового сообщества, кроме случая диалектного дробления, и все без исключения слова, в которых подверженный фонетическому изменению звук находится в одинаковых условиях, участвуют в этом процессе.

Во-вторых, так как ясно, что ассоциация форм, т. е. новообразование языковых форм по аналогии, играет очень важную роль в жизни новых языков, следует без колебаний признать значение этого способа обогащения языка для *древних* и *древнейших* периодов, и не только вообще признать, но и применить этот принцип объяснения так, как он применяется для объяснения языковых явлений позднейших периодов. И совсем не следует удивляться, если окажется, что образования по аналогии в древних и древнейших периодах истории языка будут обнаружены нами *в том же или в еще большем объеме,* что и в более поздних и позднейших периодах.

Здесь не место вдаваться в дальнейшие подробности. Однако позволим себе вкратце остановиться по меньшей мере на двух основных пунктах, чтобы показать несостоятельность некоторых упреков, сделанных недавно в адрес нашего метода.

Первое. Только тот, кто строго учитывает действие звуко-

[1] Это признавали in thesi и раньше. Но то обстоятельство, что язык привыкли всегда видеть только на бумаге, как и то, что постоянно говорили «язык», в то время как по-настоящему следовало говорить «говорящие люди» (ведь отрицательно относился к спирантам, утрачивал в абсолютном исходе т, превращая θιθημι в τιθημι, и т. д. не *греческий язык, а* те из *греков,* от которых исходили указанные звуковые изменения), имело последствием то, что неоднократно забывали истинное положение вещей и связывали с выражением «язык» совершенно ложное представление. Терминология и номенклатура часто являются очень опасными врагами науки.

[2] Общую характеристику этих принципов до сих пор давали: Лескин в некоторых местах работы «Склонение в славянско-литовском и германском языках», Лейпциг, 1876; Мерцдорф в «Исследованиях», издаваемых Курциусом, IX, стр. 231 и дальше, стр. 341; Остгоф в работе «Глагол в сложных именах», Вена, 1878; несколько подробнее писал о них Бругман в своих «Исследованиях», IX, стр. 317 и дальше, Kuhn's Zeitschrift, XXIV, стр. 3 и дальше, стр. 51 и дальше; и особенно Пауль в «Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur», стр. 320 и дальше; сюда относятся также последние работы Брюкнера «К учению о новообразованиях в литовском языке», «Archiv für slavische Philologie», III, стр. 233 и дальше, и рецензия Остгофана книгу Асколи «Studj critici», помещенная в № 33 «Jenaer Literatur-Zeitung» за 1878 г.

вых законов, на понятии которых зиждется вся наша наука, *находится на твердой почве* в своих исследованиях. Напротив, тот, кто без всякой нужды, только для удовлетворения известных прихотей, допускает исключения из господствующих в каком-либо диалекте звуковых законов[1]; кто или отрицает воздействие какого-либо фонетического изменения на отдельные слова или категории слов, тогда как оно заведомо захватило все другие однородные формы, или допускает спорадически, только в изолированных формах, такое звуковое изменение, которое нельзя найти во всех других однородных формах, или, наконец, кто заставляет тот же самый звук в тех же самых условиях изменяться в одних словах в одном, а в других — в другом направлении; кто, далее, видит во всех этих его излюбленных немотивированных исключениях норму, вытекающую из природы механического звукового изменения, как такового, и даже — как это *очень* часто случается — делает эти исключения основой для дальнейших выводов, уничтожая тем самым обычно наблюдаемую последовательность звукового закона, — тот с необходимостью впадает в субъективизм и руководствуется произвольными соображениями. В подобных случаях ученый может выдвинуть чрезвычайно остроумные соображения, которые, однако, не будут заслуживать доверия, почему он не имеет права жаловаться на встречаемое им холодное отрицание. То обстоятельство, что «младограмматическое» направление сегодня еще не в состоянии объяснить все «исключения» из звуковых законов, естественно, не может служить основанием для возражения против его принципов.

И второе — несколько слов об использовании принципа аналогии в исследовании *более древних* периодов истории языка.

По мнению некоторых, образования по аналогии встречаются предпочтительно в тех периодах истории языка, в которых «языковое чутье» уже «ослабло» или в которых, как еще говорят, «языковое сознание затемнено», следовательно, в более древних периодах истории языка их нельзя найти в таком же количестве, как в позднейших периодах[2]. Странное представление — представление, выросшее на той же почве, что и взгляды, согласно которым язык и формы языка ведут самостоятельную жизнь вне говорящих индивидов; разделяя эти взгляды, люди оказываются настолько порабощенными терминологией, что постоянно принимают образные выражения за саму действительность и навязывают языку понятия, являющиеся всего лишь выражением лингвистического мировоззрения. Если бы только кто-нибудь сумел навсегда покон-

[1] Естественно, мы говорим здесь всегда только о механическом изменении звуков, а не о некоторых явлениях диссимиляции и перестановки звуков (метатезы), которые объясняются особенностями слов, где они происходят, постоянно являются физическим отражением чисто психического явления и никоим образом не уничтожают понятия звукового закона.

[2] Часто в трудах по языкознанию встречаются замечания типа: та или иная форма сохранилась со слишком давних времен, чтобы ее можно было считать образованием по ложной аналогии.

чить с такими вредными выражениями, как «юношеский возраст» и «старческий возраст языков», которые, как и многие другие, *сами по себе* совершенно невинные, — лингвистические термины до сих пор только проклинали и очень редко благословляли! Разве, например, для ребенка в Греции гомеровских времен, который, слушая формы языка в своем языковом коллективе, сохранял их в сознании и затем снова воспроизводил, для того чтобы быть понятым своими ближними, эти формы языка были *древними,* такими, которые он ощущал и употреблял иначе, чем греки александрийской или еще более поздней эпохи ощущали и употребляли формы языка своего времени?[1] Разве грамматист, если бы ему вдруг сегодня стал известен, например, греческий диалект XX века до нашей эры или германский диалект VIII века до н. э., не изменил бы тотчас свое понятие о древности, связывающееся у него с языковыми формами гомеровского и готского языка, и не стал бы с этих пор считать *древнее новым,* и разве бы он не стал, по всей вероятности, после этого считать греков гомеровского времени и готов IV века нашей эры людьми с «ослабленным языковым чутьем», «с затемненным языковым сознанием»? Таким образом, разве подобные определения имеют какое-нибудь отношение к *самому предмету.* Или в. предчувствии будущего *древние* индоевропейцы потому не использовали принципа аналогии в образовании форм своего языка так широко, что хотели послужить грамматическим прихотям своих потомков и не затруднять им слишком сильно реконструкцию индоевропейского языка-основы? Наше мнение таково: как мы уверены в том, что нашим индоевропейским предкам, как и нам, для произношения звуков языка были нужны губы, язык, зубы и т. д., так мы можем быть уверены в том, что вся психическая сторона их языковой деятельности, в частности воплощение сохраняемых в памяти звуковых представлений в слова и предложения, так же и в такой же степени находилась под влиянием *ассоциаций идей,* как она находится сегодня и будет находиться впредь, пока люди останутся людьми. Следует только уяснить себе, что различия в общей структуре (Gesamthabitus) отдельных древних индоевропейских языков — потомков одного и того же индоевропейского праязыка — отнюдь не были бы столь значительными, если бы происходившее в доисторический период фонетическое изменение форм праязыка не сопровождалось интенсивным процессом аналогических преобразований старых форм и образования по аналогии новых форм. Следовательно, это не может служить признаком для отличия *старого* от *нового.*

Скорее на первый взгляд известный смысл имеет другой упрек, высказанный недавно с целью дискредитации наших усилий: говорят, что оперирующий понятием аналогии лишь иногда — может быть, в силу «счастливой случайности» — делает правильные вы-

[1] Мы, естественно, говорим здесь только об обычном разговорном языке и о народе без литературного и грамматического образования.

воды, в принципе же он обычно может апеллировать только к вере. Последнее утверждение само по себе совершенно правильно, и все, кто применяет принцип аналогии, ясно сознают это. Но нужно принять во внимание следующее.

Во-первых, если, например, окончание именительного падежа множественного числа греч. ιπποι, лат. equi не может быть фонетически связано с таким же окончанием в оскск. Nuvlanus, гот. wulfôs, др.-инд. açvâs и мы считаем, что одна из этих форм является образованием по аналогия, то можно ли считать слишком смелым предположение, что и equi образованы по аналогии с местоименным склонением (например, праяз. tai от ta, др.-инд. te, гр. τοί и т. д.)? Так же или почти так же бесхитростны *остальные бесчисленные случаи,* в которых мы применяем наш принцип объяснения, в то время как *другие* произвольно обращаются со звуковыми законами для того, чтобы только не сочли людей, говорящих на том или ином языке, плохими грамматистами, которые нетвердо знают свои формы и парадигмы.

Во-вторых, мы строжайшим образом соблюдаем принцип, согласно которому к аналогии следует прибегать только тогда, когда нас принуждают к этому звуковые законы. Ассоциация форм является и для нас последним прибежищем (ultimum refugium); различие состоит только в том, что, по нашему мнению, она встречается *гораздо раньше и гораздо чаще* именно потому, что мы строго придерживаемся звуковых законов, и потому, что уверены в том, что самое смелое предположение о влиянии аналогии, если оно не переходит границ возможного, все же дает гораздо больше оснований к тому, чтобы в него «верили», чем произвол в обращении с механическими звуковыми законами.

В-третьих, прошло совсем немного времени с тех пор, как начали применять принцип аналогии. Поэтому, с одной стороны, очень вероятно, даже несомненно, что отдельные предположения об ассоциации тех или иных форм являются неправильными, а с другой стороны, не подлежит сомнению, что постепенно с еще более детальным исследованием аналогических образований в современных языках будут найдены более общие точки зрения на самые различные направления процессов ассоциации; таким образом, впоследствии можно будет постепенно установить и критерий вероятности предположений об ассоциации форм. Для этого же необходимо предварительное наличие доброй воли к тому, чтобы усвоить факты изучения развития современных языков и затем добросовестно применять усвоенные принципы при изучении более древних периодов истории языка.

Таким образом, мы полагаем, что несправедливым оказывается и утверждение, согласно которому от работы с принципом аналогии следует отказаться, потому что она сводится к простому гаданию.

Заключая свои рассуждения, мы хотим добавить только одно: если «младограмматическое» направление в силу своих методологи-

ческих принципов отказывается от многих принятых в нашей науке с давних пор и ставших для некоторых родными индоевропейских праформ и не может совершить мысленно «полет» в эпоху праязыка и предшествующие ему эпохи вместе с теми, кто уже сейчас неоднократно осмеливается на это, и если оно, как кажется людям, для которых основное — праязык, из-за своей скептической позиции отстает от старого направления в отношении результатов, то оно может, с одной стороны, утешаться мыслью, что для такой молодой науки, какой является сравнительная грамматика, несмотря на свои шестьдесят лет, гораздо важнее двигаться по наиболее верному пути, чем по далеко ведущему. С другой стороны, оно может лелеять надежду на то, что, отказавшись от некоторого количества праязыковых форм, оно восполнит с успехом эту потерю тем, что добьется более глубокого понимания психической деятельности человека вообще и психической деятельности отдельных индоевропейских народов в частности.

Мы полагали необходимым предпослать это свое кредо данным «Исследованиям» потому, что их основное назначение — способствовать дальнейшему распространению принципов «младограмматической» школы. Однако и здесь мы просим наших будущих критиков каждый раз стараться неупускать из виду тех принципов, исходя из которых мы встаем на сторону того или иного предположения. К сожалению, о нашем направлении или об отдельных выдвинутых нами положениях в последние годы неоднократно высказывались отрицательные суждения чрезвычайно общего характера, которые доказывают только то, что авторы этих высказываний совершенно еще не подумали над тем, руководствуясь какими мотивами мы следуем именно этому методу и никакому другому. Взаимопонимание и согласие между различными направлениями, борющимися сейчас в нашей науке, не может быть достигнуто с помощью таких случайных, не касающихся основных вопросов стычек и с помощью критики *частностей (это отнюдь не значит, что мы со своей стороны не будем искренне благодарны за указание отдельных ошибок и заблуждений).* Взаимопонимание и согласие могут быть достигнуты только в том случае, если будут обсуждены *основные мотивы и принципы.*

Гейдельберг и Лейпциг, июнь 1878 г.

Г. ПАУЛЬ

ПРИНЦИПЫ ИСТОРИИ ЯЗЫКА[1]
(ИЗВЛЕЧЕНИЯ)

ВВЕДЕНИЕ

Ни в одной области культуры нельзя с такой точностью изучить условия развития, как в области языка. Поэтому не существует ни одной гуманитарной науки, метод которой мог бы быть доведен до такой степени совершенства, как метод языкознания. Никакая другая наука не смогла до сих пор так далеко проникнуть за пределы памятников, никакая другая из них не была в такой же степени конструктивна, как и спекулятивна. Именно благодаря этой своей особенности языкознание представлялось столь родственным естественноисторическим наукам, а это привело к нелепому стремлению исключить его из круга гуманитарных наук.

Несмотря на положение, которое языкознание занимает с самого его основания, необходимо еще многое сделать, чтобы довести его до той степени совершенства, на которую оно способно. Именно в этой связи в семидесятых годах XIX в. оформилось направление, настаивавшее на коренном изменении исследовательского метода. В спорах, возникших по этому поводу, обнаружилось, как велики были еще у некоторых языковедов неясности относительно начал их науки. Эти неясности и послужили непосредственным поводом для написания настоящей книги. Она ставит своей целью по возможности способствовать прояснению воззрений и установлению взаимопонимания среди тех, кто способен воспринимать истину. Для этой цели оказалось необходимым, насколько возможно, всесторонне описать условия жизни языка и тем самым наметить основные черты теории развития языка вообще.

Мы разделяем исторические науки в широком смысле этого слова на две большие группы: естественноисторические и культуроведческие. Характерным признаком культуры является участие психических факторов. Только таким образом мне представляется возможным точно отграничить эту область от объектов чистого естествознания. Это обязывает нас, правда, признать наличие культуры у животных и отнести историю развития их художественных проявлений и общественной организации к числу культуроведческих дисциплин. Очень вероятно, что это способ-

[1] H. Paul, Prinzipien der Sprachgeschichte, Halle, 1886 (2. Aufl.).

ствовало бы выработке правильных суждений об отношениях наук друг к другу.

Психический элемент является важнейшим фактором всякого: культурного развития, фактором, вокруг которого группируются все остальные, а психология — главной основой всякой подлинно культуроведческой дисциплины. Однако это еще не означает, что психический элемент является единственным фактором; нельзя построить культуры на одной психической основе. Поэтому по меньшей мере неточно определять культуроведческие науки как гуманитарные. В действительности существует лишь одна чисто гуманитарная наука, а именно психология — наука законополагающая. Как только мы вступаем в область исторического развития, мы имеем дело наряду с психическими факторами также и с физическими. Человеческий дух должен находиться в постоянном взаимодействии с телом человека и с окружающей его действительностью, чтобы создать какой-нибудь продукт культуры, а качество последнего и способ, благодаря которому он возникает, зависят как от физических, так и от психических условий; знать как те, так и другие необходимо для полного понимания исторического процесса. Поэтому наряду с психологией требуется знание законов, по которым осуществляют свое действие физические факторы культуры. Естественные науки и математика также являются необходимой основой культуроведческой дисциплины. Если мы обычно этого не осознаем, то это происходит оттого, что мы в основном удовлетворяемся ненаучным наблюдением повседневной жизни и довольствуемся тем, что не всегда точно разумеют под историей. Не иначе обстоит дело и с психическим аспектом, притом вплоть до новейшего времени. Однако нельзя себе представить, чтобы было возможно понять какое-либо историческое событие или заняться каким-нибудь видом исторической критики, не располагая некоторым опытом относительно физической возможности или невозможности какого-либо процесса. Отсюда вытекает *главная задача учения о принципах культуроведческой науки — установление общих условий, при которых психические и физические факторы, следуя свойственным им законам, получают возможность взаимодействовать для достижения одной общей цели.*

Несколько иной представляется задача учения о принципах со следующей точки зрения. *Культуроведение всегда является наукой об обществе.* Только общество делает возможной культуру, только общество делает человека историческим существом. Даже полностью изолированная человеческая душа имеет свою историю развития, взаимодействуя с собственным телом и его окружением, но даже самая одаренная душа при этих условиях смогла бы дойти лишь до самой примитивной ступени развития, которое остановилось бы со смертью человека. Только потому, что один человек передает приобретенное другим, только благодаря взаимодействию нескольких индивидов в достижении одной общей цели

возможно развитие, выходящее за эти узкие рамки. Не только экономика, но и все виды культуры базируются на принципе разделения и объединения труда. Самая характерная задача, выпадающая на долю культуроведческой науки и дающая ей возможность отстаивать свою независимость по отношению к точным наукам, заключается, по-видимому, в том, что она должна показать, в каких формах происходит воздействие людей друг на друга, в каких отношениях находятся индивид и общество, в то время как каждый из них воспринимает и отдает, определяет и сам определяется, и как молодое поколение становится преемником старого.

Попытаемся отметить важнейшие особенности, которыми языкознание отличается от других культуроведческих наук. Наметив факторы, которые оно должно учитывать, мы сможем обосновать наше утверждение, что языкознание может дать самые точные и надежные результаты по сравнению со всеми прочими историческими науками.

Каждая эмпирическая наука поднимается до тем более высокой степени точности, чем лучше ей удается в явлениях, с которыми она имеет дело, осуществить изолированное *рассмотрение функционирования отдельных факторов.* В этом, собственно, и заложено различие между научным и популярным методом рассмотрения. Изолирование удается, конечно, тем менее, чем сложнее переплетения, в которых даны сами по себе явления. В этом отношении мы находимся в особенно благоприятных условиях, когда дело идет о языке. Правда, если принять во внимание все материальное содержание, которое в нем запечатлено, все будет выглядеть иначе. В этом случае, конечно, обнаружится, что все явления, так или иначе затрагивающие душу человека, строение организма, окружающая природа, вся культура, весь опыт и переживания, — все это оказывает влияние на язык и что он поэтому, если рассматривать его под таким углом зрения, зависит от любых факторов, какие только можно себе представить. Но рассматривать это материальное содержание отнюдь не составляет истинную задачу языкознания. Оно только может содействовать этому в союзе со всеми прочими науками, изучающими различные области культуры. Его же непосредственной задачей является изучение тех отношений, в которые совокупность представлений вступает с определенными комплексами звуков. В качестве основы подобного изучения требуются лишь две науки — психология и физиология, причем из последней только определенные ее разделы. То, что обычно разумеют под физиологией звука, или фонетикой, охватывает, конечно, не все физиологические процессы, относящиеся к речевой деятельности, в частности не охватывает процессы возбуждения моторных центров, приводящих в действие речевые органы. Далее нас могла бы интересовать также и акустика — и как часть физики, и как часть физиологии. Однако акустические процессы подвергаются воздействию психических не прямо, а косвенно — через посредство процессов физиологии

звука. Они определяются последними таким образом, что после полученного однажды импульса протекают в основном без отклонений или по крайней мере без таких отклонений, которые важны для языка. При этих условиях для понимания процессов развития языка более глубокое проникновение в существо этих явлений требуется во всяком случае далеко не в той мере, как понимание движения речевых органов. Однако, из этого не следует, что из акустики нельзя извлечь полезных данных.

Относительная простота языковых процессов выступает с полной ясностью, если мы сравним их хотя бы с экономическими процессами. В последних имеет место взаимодействие всей совокупности физических и психических факторов, с которыми человек вступает в те или иные отношения. Никакие усилия не помогут выяснить полностью, какую роль играет каждый из этих факторов в отдельности.

Далее важен следующий момент. Всякий акт языкового творчества всегда является делом индивида. Правда, одно и то же может быть создано несколькими индивидами. Но это не меняет существа акта творчества или его продукта. Никогда не бывает, чтобы несколько индивидов создавали в области языка что-то совместно, соединенными усилиями, распределив между собой обязанности. Совершенно иначе обстоит дело в экономической или политической области. Но в пределах экономического и политического развития все труднее становится уяснить себе отношения по мере того, как осуществляются все более крупные объединения сил, а распределение обязанностей проводится более дифференцированно, так что даже простейшие отношения в этих областях менее прозрачны, чем языковые. Правда, поскольку результат языкового творчества передается другому индивиду и перерабатывается им и поскольку этот процесс повторяется все вновь и вновь, то и здесь мы имеем известное разделение и объединение труда, без чего, видимо, невозможно представить себе никакой культуры. Но когда в памятниках отсутствует несколько промежуточных звеньев, тогда и языковед оказывается вынужденным разлагать на части сложные образования, не рассматривая их, однако, как результат необъединенных и преемственных усилий различных индивидов.

В этой связи весьма важно отметить, что языковые образования создаются обычно не в результате сознательного намерения. Хотя цель коммуникации, за исключением самых ранних стадий, всегда присутствует, стремление создать нечто стабильное отсутствует, и индивидуум не осознает свою творческую деятельность. В этом отношении язык отличается от художественного творчества. Бессознательность, которую мы выдвигаем здесь как характерный признак, впрочем, принимается далеко не всеми и нуждается еще в детальном доказательстве. При этом необходимо видеть различие между естественным и искусственным развитием языка, так как последнее происходит, конечно, путем сознатель-

но регулирующего вмешательства. Подобные сознательные устремления направляются почти исключительно на создание общего языка для диалектально раздробленной области или на создание технического языка для людей определенных профессий. В дальнейшем изложении мы должны будем сначала их полностью игнорировать, чтобы со всей полнотой познакомиться с естественным развитием языка, и только после этого мы рассмотрим их в специальном разделе. Такой метод не только оправдан, но и строго обязателен. В противном случае мы стали бы действовать, как зоолог или ботаник, который, желая объяснить происхождение царства растений и животных в его современном виде, постоянно оперировал бы предпосылкой искусственного выведения и улучшения пород. Это сравнение и в самом деле весьма уместно. Подобно тому как животновод или садовник никогда не может произвольно создать что-то из ничего, но вынужден ограничиваться преобразованием естественно возникшего, так и искусственный язык может возникнуть только на основе естественного. Как при улучшении породы нельзя устранить действие факторов, определяющих естественное развитие, так и в области языка невозможно это сделать посредством намеренного нормирования. Несмотря на какое угодно вмешательство, эти факторы продолжают неизменно действовать, и все созданное искусственным путем, но включенное в язык оказывается во власти естественных сил.

Теперь следует показать, каким образом непреднамеренность языковых процессов облегчает проникновение в их сущность. Прежде всего отсюда опять-таки следует, что они должны быть относительно простыми. При любом изменении может быть сделав лишь короткий шаг вперед. Да и как это может быть иначе, если изменение происходит без какого-либо намерения и в большинстве случаев говорящий даже на замечает, что он произносит что-то такое, чего раньше совсем не было? Далее, конечно, важно проследить по возможности все памятники, в которых шаг за шагом отражены эти процессы. Что же касается до простоты языковых процессов, то она не допускает, чтобы индивидуальное своеобразие проявлялось при этом слишком сильно. Ведь простейшие физические процессы у всех индивидов одни и те же, и их особенности основаны всего лишь на различных комбинациях этих простых процессов. *Большое единообразие языковых процессов, протекающих в различных индивидах, является важнейшей основой . их точного научного исследования.*

Освоение языка падает на тот ранний период развития ребенка, в котором во всех психических процессах еще очень мало преднамеренности и осознанности, еще очень мало индивидуальности. Точно так же обстоит дело и с тем периодом развития человечества, в котором впервые был создан язык.

Если бы язык не был построен на основе того общего, что заложено в человеческой природе, он не мог бы служить удобным ору-

дием общения всех людей. Напротив того, тот факт, что он таковым является; имеет своим необходимым следствием, что он отталкивает от себя все индивидуальные явления, стремящиеся проникнуть в него, и что он сохраняет и воспринимает только те элементы, которые получили санкцию индивидов, общающихся друг с другом.

Наше положение, что отсутствие преднамеренности процессов благоприятствует их точному научному исследованию, легко подтвердить примерами из истории других отраслей культуры. Социальные отношения, право, религия, поэзия и другие виды искусства обнаруживают тем больше единообразия и составляют тем более сильное впечатление естественной необходимости, чем более первобытна ступень их развития. В то время как в этих областях в дальнейшем все более отчетливо проявляется сознательная целенаправленность и индивидуальность, язык в этом отношении находится на гораздо более ранней ступени развития. По этой причине он выступает в качестве основы всякого более высокого духовного развития как отдельного человека, так и всего общества.

Мне надлежит еще кратко обосновать выбор заглавия этой книги — «Принципы истории языка». Выдвигалось возражение, что, помимо исторического, существует еще и другой научный подход к языку. Я вынужден возразить против этого. То, что хотят представить как неисторическое, но тем не менее научное исследование языка, есть по существу лишь несовершенное историческое его изучение, частично по вине изучающего, частично же по вине изучаемого материала. Как только мы выходим за пределы простого констатирования отдельных фактов, как только мы пробуем установить связи и постигнуть явления, мы тотчас вступаем на историческую почву, возможно, даже не сознавая этого. Впрочем, научный подход к языку возможен не только там, где мы имеем дело с различными стадиями развития одного и того же языка, но и при сопоставлении наличного материала. В этом втором случае важно располагать данными нескольких родственных языков или диалектов. Тогда задачей науки будет являться не только установление взаимных соответствий в различных языках и диалектах, но и реконструкция на основе имеющегося материала несохранившихся первичных форм и значений. Но этим самым рассмотрение языка с полной очевидностью опять-таки превращается из сравнительного в историческое. Даже в том случае, когда налицо имеется только одна ступень развития какого-либо отдельного диалекта, научный подход все же до известной степени возможен. Но как? Если, например, сравнивают между собой различные значения одного и того же слова, то при этом стремятся установить, которое из них основное или на какое утраченное исходное значение они указывают. Но, определяя исходное .значение, из которого развились остальные, мы тем самым констатируем исторический факт. Или поступают иначе: сравни-

вают между собой родственные формы и возводят их к одной общей исходной форме. Этим опять-таки констатируют исторический факт. Невозможно утверждать, что родственные формы имеют единую основу, не становясь на историческую почву. Наконец, можно констатировать чередование звуков в родственных формах или словах. Если мы пожелаем объяснить его себе, то с неизбежностью придем к тому, что оно является следствием фонетических изменений, т. е. следствием определенного исторического процесса. Если попытаться охарактеризовать так называемую внутреннюю форму в понимании Гумбольдта и Штейнталя, то это можно сделать лишь в том случае, если удастся проследить данные формы выражения до их исходной точки. Одним словом, трудно себе представить, как можно судить о языке, совершенно не касаясь его исторического развития. Все, что осталось бы тогда от неисторического рассмотрения языка, свелось бы к общим рассуждениям об индивидуальном использовании языка, об отношении индивида к языковой норме (сюда следовало бы отнести и вопрос об изучении языка). Но из дальнейшего изложения станет ясным, что именно эти рассуждения следует теснейшим образом увязывать с изучением исторического развития языка.

ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ О ПРОЦЕССАХ РАЗВИТИЯ ЯЗЫКА

Определение границ и природы предмета, развитие которого подлежит исследованию, имеет существенное значение для историка. Это положение кажется само собой разумеющимся и очевидным. А между тем языкознание лишь совсем недавно стало восполнять упущения, сделанные именно в этом пункте в ходе целых десятилетий.

Историческая грамматика возникла из прежней описательной грамматики и сохранила многие черты последней. В частности, это касается порядка изложения. Она ограничилась лишь параллельным расположением ряда описательных грамматик. Вначале самым характерным для новой науки сочли не показ развития, а сравнение. Сравнительную грамматику, изучающую взаимоотношения родственных языков, общие истоки которых для нас утрачены, даже противопоставляли исторической, прослеживающей развитие, начиная с той точки, которая засвидетельствована памятниками. И многие языковеды и филологи все еще далеки от мысли, что и то и другое составляет одну науку, с одной и той же задачей и одним и тем же методом. Различие состоит лишь в том, что отношение между явлениями, засвидетельствованными памятниками и полученными на основании реконструкций, складывается различно. Однако и в области исторической грамматики в узком смысле этого слова применяли тот же вид сравнения, и здесь описательную грамматику различных периодов располагали параллельно друг другу. Частично

подобный метод изложения вызывался и будет вызываться в дальнейшем практической потребностью. Но нельзя отрицать, что этот способ изложения обусловливал и отчасти продолжает обусловливать концепцию развития языка.

Описательная грамматика констатирует, какие грамматические формы и отношения являются употребительными в пределах данной языковой общности в данное время. Она устанавливает нормы, придерживаясь которых члены общества понимают друг друга, не производя своей речью впечатления чего-то странного и чуждого. Содержанием ее являются не факты, а лишь абстракции, выведенные из наблюденных фактов. Если попытаться установить подобные абстракции в пределах одной и той же языковой общности, но в разное время ее существования, то они не будут тождественными. Путем сравнения их между собой можно убедиться, что произошли коренные изменения, и, возможно, даже обнаружится известная регулярность в этих соотношениях, но истинное существо происшедшего переворота этим способом выяснено не будет. Причинная связь останется неуловимой до тех пор, пока будут иметь дело только с этими абстракциями, которые могут создать впечатление, что они и в самом деле возникли одна из другой. Но *между абстракциями вообще не существует никакой причинной связи, она существует только между реальными объектами и фактами.* До тех пор, пока исследователь довольствуется в пределах описательной грамматики этими абстракциями, он остается очень далек от научного понимания жизни языка.

В противоположность этому истинным объектом для языковеда являются все проявления языковой деятельности у всех индивидов в их взаимодействии друг с другом. Все звуковые комплексы, которые кто-либо когда-либо произносил, слышал или представлял себе, со всеми ассоциированными с ними представлениями, для которых они служат символами, все разнообразные связи, в которые вступали элементы языка в душе индивида, — все это относится к области истории языка, все это должно быть изучено, чтобы достичь полного понимания его развития. И пусть не пытаются убедить меня, что бесполезно выдвигать задачу, невыполнимость которой совершенно очевидна. Полезно представить себе идеальный образ науки уже потому, что это дает осознание расстояния, отделяющего его от наших возможностей. Мы научаемся ограничиваться более скромными задачами. Наконец, благодаря этому бывают посрамлены умники, воображающие, что с помощью двух-трех остроумных идей они могут разделаться со сложнейшими историческими процессами. Мы обязаны составить себе общее представление об игре многообразных сил в этом неугомонном массовом движении. Мы должны постоянно иметь их перед глазами, если хотим немногие и жалкие фрагменты, которыми фактически располагаем, составить в правильную картину.

Только часть этих сил находит выражение. Историческими языковыми процессами являются не только речевая деятельность и слушание, не только возбуждаемые при этом представления, но и языковые образования, возникающие в сознании при беззвучном мышлении. Быть может, самым значительным успехом новейшей психологии является установление того факта, *что множество психических процессов протекает бессознательно и что все, что когда-либо возникало в сознании, остается деятельным фактором бессознательного.* Это обстоятельство имеет величайшее значение и для языкознания и было широко использовано Штейнталем. Все проявления языковой деятельности исходят из темной сферы подсознательного в душе человека. Здесь находятся языковые средства, которыми располагает человек, мы бы даже сказали — он черпает отсюда много больше, чем он мог бы располагать при других условиях. Эти языковые средства представляют собой крайне сложные психические образования, состоящие из разнообразно переплетающихся между собой групп представлений. В наши задачи не входит рассмотрение общих законов, по которым образуются подобные группы. По этому поводу я могу отослать к «Введению в психологию и языкознание» Штейнталя. Пока же нам важно ясно представить себе лишь содержание и механизм действия этих групп представлений[1].

Они являются продуктом всего того, что когда-то раньше вступило в сферу сознания при слушании других лиц, а также при собственной речевой деятельности и мышлении в языковых фор-

[1] Я считаю необходимым придерживаться этого взгляда, несмотря на возражения новейших психологов (к которым, в частности, принадлежит Вундт), считающих недопустимым оперировать со сферой подсознательного. По Вундту, вне сознания не существует ничего духовного; то, что перестает быть сознательным, обладает только физическим воздействием. Следовательно, бесспорно существующая связь между двумя последующими актами сознания осуществляется, по его мнению, физическим путем; именно этот последующий физический эффект должен якобы сделать возможным вторичное появление в сознании того, что однажды было в нем, без воздействия нового чувственного впечатления как его непосредственной причины. Если даже допустить, что дело обстоит именно так, то следует все же возразить на это, что все последующие физические эффекты, наличие которых я отнюдь не желаю оспаривать, нам еще почти неизвестны, несмотря на все успехи физиологии и экспериментальной психологии, и что даже если бы они и были нам гораздо лучше знакомы, то и в этом случае трудно себе представить, каким образом из них можно было! бы вывести процессы сознания, возникающие без участия чувственных впечатлений. Следовательно, нам опять-таки не остается ничего иного, как оставаться в области психического и мыслить себе эту связь по аналогии с процессами сознания, если мы вообще хотим как-то постичь связь между предшествующими и последующими процессами сознания. Я надеюсь, что мне будет позволено считать *точку* зрения, к которой я примыкаю, по меньшей мере столь же правомерной, как любая другая научная гипотеза, позволяющая устанавливать связь между отдельными фактами и определять, что должно произойти при известных предполагаемых условиях. Я полагаю, что моя книга содержит достаточное количество доказательств в пользу 'того, что эта точка зрения и в самом деле разрешает подобную задачу.

мах. Наличие этих групп делает возможным при благоприятных условиях возвращение в сферу сознания того, что присутствовало в нем ранее, а следовательно, и возможность понимания и высказывания того, что ранее было уже высказано или понято. Необходимо помнить о том, что ни одно представление[1], введенное в сознание посредством языковой деятельности, не исчезает из него абсолютно бесследно, хотя этот след часто бывает настолько слабым, что необходимы совершенно особые условия, — а они могут никогда и не наступить, — чтобы сделать его способным вновь стать осознанным. Представления последовательно произнесенных звуков ассоциируются с представлениями последовательно произведенных движений речевых органов. Звуковые и моторные ряды ассоциируются друг с другом. И с теми и с другими ассоциируются представления, для которых они служат символами, — не только представления значений слов, но и представления синтаксических отношений. И не только отдельные слова, но и более сложные звуковые ряды, целые предложения ассоциируются непосредственно с заложенным в них мыслительным содержанием. Эти группы, обусловленные внешним миром по меньшей мере в своих истоках, организуются затем в душе каждого индивида в еще более богатые и сложные образования, которые лишь в своей незначительной доле возникают сознательно и далее действуют уже бессознательно, но в своей подавляющей части никогда и не достигают сознательности, но тем не менее сохраняют свою действенную силу. Так ассоциируются между собой различные формы какого-либо слова или выражения, в которых они были усвоены. Так ассоциируются между собой в силу сходного звучания и родственных значений различные падежи одного и того же имени, различные времена, наклонения, лица одного и того же глагола, различные производные от одного корня слова; далее — все слова с единой функцией, например все существительные, все прилагательные, все глаголы; далее — производные от разных корней, но образованные при помощи одного и того же суффикса; далее — однородные по функциям формы различных слов, т. е. формы множественного числа, формы родительного падежа, формы страдательного залога, формы перфекта, формы конъюнктива, формы первого лица; далее — слова, имеющие однотипную флексию, например в немецком все слабые глаголы в противоположность сильным, все существительные мужского рода, образующие множественное число при помощи умляута, в противоположность существительным, не имеющим его; даже слова с частично однотипными флексиями могут связываться между собой в группы в противоположность тем, которые сильнее отклоняются от данного типа; далее, ассоциируются между собой виды предложе-

[1] Поскольку я здесь и далее говорю о представлениях, то необходимо заметить, что я под этим подразумеваю также и все сопутствующие им чувства и намерения.

ний, сходные по форме или функции. Существует множество видов ассоциаций, частично многократно опосредствованных и имеющих более или менее существенное значение для жизни языка. Все эти ассоциации могут проявляться и оказывать известное действие, не будучи полностью осознанными. Их отнюдь не следует смешивать с категориями, возникшими путем грамматического абстрагирования, хотя обычно они совпадают с последними.

Столь же очевидно, сколь и важно, то обстоятельство, что этот организм групп представлений у каждого индивида находится в процессе постоянного изменения. Во-первых, всякий момент, не подкрепляемый в сознании возобновлением впечатления или повторным введением в сознание, постепенно теряет свою силу. Во-вторых, благодаря речевой деятельности, слушанию и мышлению всегда прибавляется что-то новое. Даже при точном повторении уже известного укрепляются только отдельные моменты существующего организма. И даже если в прошлом имели место многократные повторения, всегда предоставляются возможности новых образований, не говоря уже о том, что в языке может появиться ранее неизвестное ему явление, хотя бы в форме варианта уже известного. В-третьих, ассоциативные отношения внутри организма постоянно смещаются в результате ослабления или укрепления наличных элементов, а также в результате появления новых. Поэтому если этот организм у взрослых обладает некоторой стабильностью по сравнению с самым ранним детством, то он тем не менее подвержен разнообразным колебаниям.

Другим столь же ясным и столь же важным пунктом, на который необходимо указать, является следующий: организм групп представлений, относящихся к языку, у каждого индивида развивается своеобразно и поэтому приобретает у каждого из них особую форму. Даже если бы у различных индивидов он и состоял из совершенно одинаковых элементов, то они, вероятно, все же вводились бы и душу с различно» последовательностью, в различных группировках, с различной интенсивностью и у одних чаще, а у других реже. Поэтому взаимоотношение сил между этими элементами, а тем самым и способы их группировки будут складываться всегда различно, даже если мы совершенно не будем учитывать общие и специальные способности каждого индивида.

Бесконечная изменчивость языка в целом и постоянное возникновение диалектических различий обусловливаются фактом бесконечной изменчивости и своеобразия каждого отдельного организма.

Описанные психические организмы являются действительными носителями исторического развития. Произнесенное же не имеет никакого развития. Если говорят, что такое-то слово возникло из другого, употреблявшегося в более раннюю эпоху, то этот способ выражения только вводит в заблуждение. В качестве физиологического и физического продукта слово бесследно исчезает после того, как приведенные при этом в движение тела опять вернулись

в состояние покоя. Точно так же исчезает и физическое впечатление, произведенное на слушающего. Если я повторяю те же самые движения речевых органов, которые я уже производил однажды, во второй, в третий и четвертый раз, то между этими четырьмя одинаковыми движениями не существует никакой причинной связи, а все они связаны между собой только психическим организмом. Только в этом последнем остается след происшедшего, благодаря чему возможна дальнейшая языковая деятельность, только в нем заложены условия дальнейшего исторического развития.

Физический элемент языка имеет лишь одну функцию — служить посредником взаимодействия отдельных психических организмов друг с другом. В этой функции он совершенно необходим, так как прямого взаимодействия одной души с другой не может быть. Этот элемент, хотя он по своему характеру лишь преходящее явление, успевает, однако, благодаря взаимодействию с психическими организмами обеспечить им возможность взаимодействия даже после их исчезновения. Так как деятельность прекращается со смертью индивида, то развитие языка ограничивалось бы сроком жизни одного поколения, если бы к нему не присоединялись постепенно все новые и новые индивиды, в которых под воздействием старых возникают новые языковые организмы. Тот факт, что носители исторического развития языка по истечении некоторого, относительно короткого, промежутка времени полностью погибают и заменяются новыми, представляет собой-также весьма простую, но тем не менее примечательную истину, которая, однако, очень редко принимается во внимание.

Посмотрим теперь, в чем будет заключаться задача историка, имеющего дело с объектом такого характера. Ему не удастся избежать описания отдельных состояний, поскольку он имеет дело с крупными комплексами одновременно сосуществующих элементов. Если же он хочет, чтобы это описание послужило действительной основой для исторического изучения, то он должен обратиться к реальным объектам, т. е. к вышеописанным психическим организмам. Их описание должно быть возможно более верным и не быть простым перечислением элементов, из которых они состоят, но должно показать отношение их друг к другу, их относительную силу, многообразные сочетания, в которые они вступают между собой, степень устойчивости этих сочетаний; иными словами, оно должно показать нам, как функционирует языковое чувство. Для полного описания состояния языка по существу надо было бы провести наблюдение над всей совокупностью представлений, связанных с языком у каждого отдельного индивида, принадлежащего к данной языковой общности, и сравнить затем между собой результаты отдельных наблюдений. Однако в действительности нам приходится довольствоваться гораздо менее совершенным описанием, которое значительно удаляется от идеала.

Наше наблюдение обычно ограничивается немногими или даже одним индивидом, но и их языковой организм мы можем изучить лишь частично. Из сравнения языковых организмов получается нечто среднее, чем и определяется норма в языке, языковой узус. Это среднее устанавливается, естественно, тем точнее, чем больше индивидов охвачено наблюдением и чем полнее проведено наблюдение каждого из них. Но чем менее совершенно наблюдение, тем больше возникает сомнений по поводу того, что является индивидуальной особенностью, а что свойственно большинству. Узус, на описание которого почти исключительно бывают направлены усилия грамматистов, определяет язык индивида лишь до известной степени; многое не только не определяется узусом, но и прямо ему противоположно.

Даже в самом благоприятном случае при наблюдении языкового организма возникают величайшие трудности. Непосредственное его наблюдение вообще невозможно. Ведь он представляет собою явление, которое таится в душе, в сфере подсознательного. Его можно обнаружить лишь по его проявлениям, по отдельным актам речевой деятельности. И только посредством длинной цепи умозаключений можно получить представление о совокупности идей, скрытых в сфере подсознательного.

Из физических проявлений языковой деятельности наиболее доступна для наблюдения ее акустическая сторона. Но, конечно, результаты наших слуховых восприятии по большей части с трудом поддаются точному измерению и определению, и еще труднее дать о них представление кому-то другому, помимо непосредственного воздействия на его слух. Движения речевых органов менее доступны для непосредственного наблюдения, но делают возможным более точное определение и описание. Нет надобности доказывать, что не существует никакого другого способа характеристики звуков языка, кроме описания артикуляции речевых органов. Подобное описание только в том случае будет до некоторой степени приближаться к идеалу, если наблюдение производится над живыми людьми. Где это невозможно, мы должны стремиться хоть сколько-нибудь приблизиться к действительности, воссоздавая жизнь звуковых явлений из их суррогатов, т. е. буквенных записей. Эти стремления увенчаются успехом лишь у того, кто имеет определенную выучку в науке физиологии звуков, кто уже имел возможность наблюдать живые языки, а следовательно, сможет перенести эти наблюдения на мертвые языки и кто, помимо этого, имеет правильное представление о соотношении языка и письменности. Таким образом, уже здесь открывается широкое поле для всякого рода комбинирования, уже в этом случае необходимо знакомство с условиями существования объекта.

Психическую сторону речевой деятельности, как и все психические явления вообще, можно изучать лишь путем самонаблюдения. Всякое наблюдение над другими дает нам в первую очередь

только физические факты. Свести их к психическим можно только при помощи умозаключений по аналогии, основанных на том, что мы наблюдали в своей собственной душе. Поэтому постоянное точное самонаблюдение, тщательный анализ собственного языкового чувства необходимы для подготовки языковеда. Заключения по аналогии, разумеется, наименее затруднительны, когда приходится иметь дело с объектами, близкими нам. Поэтому сущность речевой деятельности может быть лучше всего понята посредством наблюдения над родным языком. Наиболее успешные результаты при этом получают тогда, когда возможно наблюдение над живыми людьми, когда оно не ограничивается случайными памятниками минувшего. Только при этих условиях мы можем быть гарантированы от возможных фальсификаций, только в этом случае можно по желанию пополнять свои наблюдения методическими экспериментами.

Дать такое описание состояния языка, которое составило бы надежную основу для исторического исследования[1], представляет собой далеко не легкую, а подчас и весьма трудную задачу, для разрешения которой необходимо обладать ясным представлением относительно сущности языковых процессов тем в большей степени, чем менее полон и надежен материал, которым располагает исследователь, и чем более отличается его родной язык от описываемого им языка. Поэтому не удивительно, что имеющиеся грамматики далеко не отвечают нашим требованиям. Наши традиционные грамматические категории совершенно недостаточно представляют нам способы группировки элементов языка. Наша грамматическая система расчленена недостаточно тонко, чтобы быть адекватной членению психических групп. Мы неоднократно будем иметь повод демонстрировать ее несовершенство. Кроме того, она дает повод к необоснованному переносу категорий, абстрагированных в одном языке, на другой. Даже если оставаться в пределах индоевропейских языков, то и в этом случае применение одного и того же грамматического шаблона приводит к нелепостям. Картина какого-нибудь определенного состояния языка может быть затемнена, если исследователь исходит из какого-либо родственного языка или же из более ранних или поздних стадий развития того же самого языка. В этом случае необходимо тщательно следить, чтобы не допустить проникновения посторонних элементов. Много прегрешений совершило в этом направлении, именно историческое языкознание, так как категории, выведенные при изучении более раннего состояния языка, оно механически переносило на более позднее его состояние. Так, например, значение какого-либо слова определяется его этимологией, в то

[1] Впрочем, те требования, которые мы предъявляем здесь к научной грамматике, относятся также и к практической грамматике, но с ограничениями, вызванными особенностями понимания учащихся. Практическая грамматика ведь ставит своей целью понимание чужого языкового чувства.

время как всякое осознание этой этимологии давно исчезло и слово осуществило дальнейшее самостоятельное развитие своего значения. Точно так же и в морфологии категории древнейшего периода сохраняются для всех последующих эпох, в результате чего, правда, ясно проявляется, последующее действие первоначальных отношений, но зато стушевывается новая психическая организация групп.

Если описание различных периодов развития языка строится в соответствии с нашими требованиями, то тем самым выполняется условие, необходимое для того, чтобы на основе сравнения различных описаний выводилось заключение о происходивших в это время процессах. Это удается сделать тем успешнее, чем ближе друг к другу стоят сравниваемые между собой состояния. Но даже малейшее изменение узуса является обычно следствием взаимодействия целого ряда единичных процессов, которые по большей части совершенно не поддаются наблюдению.

Попытаемся прежде всего установить в самых общих чертах, какова истинная причина изменения языкового узуса. Изменения, вызываемые сознательным намерением отдельных индивидов, нельзя полностью исключать. Грамматисты осуществляют фиксацию литературного языка. Терминология наук, искусств и ремесел регулируется и обогащается педагогами, исследователями и изобретателями. В деспотическом государстве каприз монарха хотя порой и оказывается решающим, но в подавляющем большинстве случаев он не создает чего-либо совершенно нового, а только закрепляет правило, в котором употребление обнаруживает еще колебания. Но значение такого произвольного вмешательства бесконечно мало по сравнению с медленными, бессознательными и непреднамеренными изменениями, которым языковой узус постоянно подвержен. *Истинной причиной изменения узуса является обычная речевая деятельность.* В этой области исключено всякое намеренное воздействие на узус. Здесь действует только одно обусловленное потребностями момента намерение передать свои желания и мысли. Впрочем, цель играет в развитии языкового узуса не большую роль, чем та, которую Дарвин отводит ей в развитии органической природы: большая или меньшая степень целесообразности органического образования решает вопрос о его дальнейшем существовании или гибели.

Если в результате речевой деятельности без чьего-либо желания происходит изменение языкового узуса, то объясняется это тем, что он не полностью подчиняет себе речевую деятельность и допускает известную степень индивидуальной свободы. Проявление этой индивидуальной свободы имеет обратное действие на психический организм говорящего, но действует и на организм слушающего. Изменение узуса является общим итогом ряда частных отклонений в отдельных организмах при условии, что эти отклонения имеют одинаковое направление. То, что первоначально было лишь индивидуальным, превращается в новый узус, который

может вытеснить старый. Вместе с этим происходит множество изменений в отдельных организмах, которые, однако, не приводят к подобным результатам, поскольку между ними не устанавливается связи.

Отсюда следует, что все учение о принципах истории языка связано с вопросом о том, в каких отношениях находится языковой узус с индивидуальной речевой деятельностью, как эта деятельность обусловливается ими и какое влияние оказывает в свою очередь на языковой узус[1].

Различные изменения узуса, возникающие при развитии языка, необходимо объединить в общие категории, а затем эти категории исследовать с точки зрения их становления и в различных стадиях их развития. С этой целью следует придерживаться тех случаев, в которых отдельные стадии развития представлены наиболее полно и ясно. Современные эпохи дают нам в этом отношении наиболее подходящий материал. Но даже незначительные изменения узуса являются сложными процессами, которые мы не можем понять без учета индивидуальных отклонений. Там, где обычная грамматика стремится расчленять и проводить границы, мы должны постараться установить возможные промежуточные ступени и опосредствования.

Во всех областях языка возможно развитие путем постепенных переходов. Эти постепенные переходы проявляются, с одной стороны, в видоизменениях, которые претерпевают индивидуальные языки, а с другой — во взаимоотношениях их друг с другом. Рассмотреть последовательно эти процессы — задача настоящей книги. В этой связи следует указать, что индивид стоит частью в активном, а частью в пассивном отношении к языковому материалу своего сообщества; иными словами, не все, что он слышит и понимает, используется им самим. Кроме того, в языковом материале, который находится на употреблении у данного коллектива, все же один предпочитает одно, а другой — другое. На этом прежде всего основано расхождение между индивидуальными языками, даже близкими друг к другу, а также возможность изменения узуса.

Языковые изменения совершаются в индивиде частично благодаря его самопроизвольной деятельности, т. е. в процессе его

[1] Отсюда следует, что нельзя разделять сферы филологии и языкознания таким образом, чтобы каждая из них всегда пользовалась лишь готовыми результатами другой. Различие между языкознанием и филологическим изучением языка можно было бы свести к тому, что первое занимается общими отношениями, определившимися как узуальные, а второе — их индивидуальными применениями. Но произведения писателей невозможно правильно оценить, не обладая правильными представлениями об отношениях, которые складываются между их произведениями и системой их языковых представлений, с одной стороны, и между этой системой языковых представлений и общим узусом — с другой. А видоизменения узуса в свою очередь не могут быть поняты без изучения индивидуальной речевой деятельности. В остальном я отсылаю к Бругману.

речи и мышления в формах языка, а частично благодаря влиянию, которому он подвергается со стороны других индивидов. Изменение узуса не может произойти без взаимодействия этих двух моментов. Что касается до воздействия со стороны других индивидов, то каждый подвергается ему постепенно и тогда, когда все общеупотребительное в языке полностью им усвоено. Но в основном воздействие проявляется в период первичного восприятия, в период изучения языка. Однако этот период принципиально нельзя отделить от воздействий в другое время, так как они осуществляются в общем одинаковым образом. Кроме того, едва ли в жизни индивида можно указать какой-то определенный момент, когда изучение языка можно считать завершенным. Но, несмотря на это, различие, в степени воздействия будет в обоих случаях огромно. Совершенно очевидно, что *процессы, имеющие место при изучении языка, обладают величайшим значением для объяснения изменения языкового узуса,* что они являются важнейшей причиной этих изменений. Если мы, сравнивая между собой два периода, отделенные друг от друга значительным интервалом, говорим, что язык изменился в таком-то отношении, то мы отнюдь не правильно характеризуем истинное положение вещей. Дело обстоит скорее следующим образом: язык воспроизвел себя совершенно заново, и это новое создание не во всем совпадает с прежним, теперь уже исчезнувшим.

Производя *классификацию изменения языкового узуса,* мы можем руководствоваться различными принципами. Прежде всего я хотел бы выделить различия самого общего характера. Процессы могут быть или положительными, или отрицательными, т. е. приводить к созданию чего-то нового или же к гибели старого, и, наконец, в-третьих, осуществить замену; в последнем случае гибель старого и появление нового объединены в одном акте. Этот процесс имеет место исключительно при звуковых изменениях. В других областях языка замена бывает мнимой. Видимость замены вызывается игнорированием промежуточных ступеней, которые показывают, что в действительности здесь наличествует определенная последовательность положительных и отрицательных процессов. Отрицательные процессы в данном случае состоят в том, что в языке нового поколения не воспроизводятся явления, которые были в языке старого поколения; следовательно, мы по существу имеем здесь дело не с собственно отрицательными процессами, а с отсутствием процессов. Это подготавливается тем, что уже в языке старого поколения явления, обреченные на гибель, становятся редкими. Следовательно, между двумя поколениями, одно из которых использовало активно данные явления, а другое вообще не употребляло их, находится поколение, стоящее и пассивном отношении к ним.

С другой стороны, изменения узуса можно классифицировать в зависимости от того, касаются ли они звуковой стороны или значения. В соответствии с этим принципом мы имеем

дело, во-первых, с процессами, Затрагивающими только звуки, без всякого их отношения к значениям, и, во-вторых, с процессами, затрагивающими значения вне зависимости от звуков. Иначе говоря, мы получаем категорию фонетических изменений и категорию семантических изменений. Всякое семантическое изменение предполагает, что группа представлений, связанная с данным звуковым образом, остается неизменной, а при любом фонетическом изменении, в свою очередь, — что неизменным остается значение. Это, конечно, не исключает возможности изменения со временем как звука, так и значения. Но оба эти процесса не находятся тогда уже ни в какой причинной связи между собой; иначе говоря, не следует думать, что один процесс вызван другим или оба они — одной общей причиной. Сюда относятся также различные процессы, имеющие тот общий признак, что наличные звуковые элементы вступают в новые комбинации на основе свойственного им общего значения. Наиболее важным фактором при этом является аналогия, которая, правда, играет некоторую роль и в области фонетики, но главная сфера ее действия там, где одновременно присутствует и значение.

Если последовательно провести наш способ рассмотрения, то его общие результаты должны оказаться применимыми ко всем языкам и ко всем периодам их развития, в том числе и к периоду зарождения языка. Вопрос о происхождении языка может быть разрешен лишь на основе учения о принципах. Других средств ответить на этот вопрос не существует. Мы лишены возможности составить историческое описание языка начиная от его зарождения на основе памятников. Вообще можно ответить лишь на один вопрос: как оказалось возможным возникновение языка? Этот вопрос можно удовлетворительно разрешить только в том случае, если возникновение языка мы будем связывать с теми факторами, действие которых и ныне наблюдается в процессах развития языка. Нельзя устанавливать резкое разграничение между первичным созданием языка и периодами его дальнейшего развития. Как только возникают его первые зачатки, то тем самым дан уже и язык и его дальнейшее развитие. Между первыми истоками языка и более поздними периодами его развития существует лишь различие в степени.

Я должен упомянуть здесь кратко еще об одном моменте. Выступая против прежнего подхода к языку, при котором все грамматические отношения попросту выводились из логических, заходят так далеко, что требуют, чтобы логические отношения, не выраженные грамматической формой, совершенно не учитывались при изучении языка. Такое требование нельзя одобрить. Как ни обязательно различие между логическими и грамматическими категориями, не менее обязательным является и уяснение отношений той и другой наук друг к другу. Грамматика и логика расходятся между собой прежде всего потому, что становление и употребление языка происходит не на основе строго логиче-

ского мышления, а в результате естественного и неупорядоченного движения представлений, которое в зависимости от одаренности и образования следует или не следует логическим законам. Языковая форма выражения не всегда равнозначна с подлинным движением представлений с их то большей, то меньшей логической последовательностью. Психологические и грамматические категории также не идентичны. Отсюда следует, что языковед не должен отождествлять различные явления, однако отнюдь не вытекает, что, анализируя человеческую речь, он не должен учитывать психические процессы, происходящие при слушании и говорении, не получая при этом языкового выражения. Только со всесторонним учетом всего того, что еще не отражено в элементах человеческой речи, но что стоит перед умственным взором говорящего и понимается слушающим, языковед приходит к пониманию происхождения и процессов изменения форм языкового выражения. Тот, кто рассматривает грамматические формы изолированно, вне их отношения к индивидуальной речевой деятельности, никогда не достигнет познания языкового развития.

Б. ДЕЛЬБРЮК

ВВЕДЕНИЕ В ИЗУЧЕНИЕ ИНДОЕВРОПЕЙСКИХ ЯЗЫКОВ[1]
(ИЗВЛЕЧЕНИЯ)

ПРАЯЗЫК

Я исхожу из тех данных сравнительного языкознания, правильность которых не подвергается сомнению и не может быть подвергнута сомнению. Бопп и другие ученые доказали, что так называемые индоевропейские языки родственны между собой. В этом предложении слово «родственны» должно быть понято подобно тому, как мы его понимаем, когда оно употребляется по отношению к семьям людей. Подобно тому как люди родственны друг другу, если они произошли от одной и той же супружеской четы, так и языки родственны, если они возникли из одного и того же праязыка. Согласно этому утверждается (мы приведем только те основные языки, от которых сохранились достойные упоминания памятники), что индийский, иранский, армянский, греческий, албанский, италийский, кельтский, германский, балтийский, славянский языки некогда представляли один язык. Это было доказано сопоставлением слов и форм с одинаковым значением. Если учесть, что в названных языках флективные формы глагола, имени и местоимения в основном совпадают, а также совпадают корневые части очень большого числа изменяемых и неизменяемых слов, то предположение о случайном совпадении должно показаться абсурдным. Мнение о том, что существовал праязык, который, «возможно», уже не существует, высказал уже Джонс[2]. С тех пор ученые постоянно придерживались этого мнения, хотя оно иногда и не формулировалось достаточно отчетливо. С особой определенностью и ясностью высказался по этому поводу А. Шлегель, который первый попытался реконструировать праязык...

...Ясно, что праформы с их меняющимся обликом представляют (как я говорил еще в 1880 г.) не что иное, как «выражение

[1] B. Delbruck, Einleitung in das Studium der indogermanischen Sprachen. 6 Aufl., Leipzig, 1919. Перевод Вяч. Вс. Иванова.

[2] *Уильям Джонс* (1746 — 1794) — первый из европейцев основательно изучил санскрит в Индии и высказал предположение о близости этого языка С рядом индоевропейских языков (греческим, латинским, кельтским, готским, персидским) и о происхождении их всех из единого источника. *(Примечание составителя.)*

в формулах меняющихся воззрений ученых на объем и характер языкового материала, который отдельные языки унаследовали от общего языка». Таким образом, как это само собой разумеется, праформы не дают нам никакого нового материала, они свидетельствуют только о результатах производимого нами анализа того, что имеется в отдельных языках.

Повторяя сейчас это мнение, высказанное уже много лет назад, я в то же время хочу заметить, что я никогда не считал праязык порождением фантазии. То, что когда-то существовал пранарод, а, следовательно, также и праязык, является несомненным; спрашивается только, что мы можем знать о последнем. Об этом в настоящее время можно сказать следующее.

Во времена Шлейхера праязык, насколько это было возможно, представляли «первоначальным», поэтому его считали единым, не расчлененным на диалекты. Постепенно, однако, утвердилось мнение, согласно которому это представление не соответствует тому, что известно о реально существующих языках. Правда, существуют большие области распространения языка без заметных диалектальных различий, например якутского, но дело обстоит иначе с известными нам индоевропейскими народными языками, с которыми мы должны сравнивать праязык. Поэтому было решено предположить диалектальные различия и для праязыка, тем более что на них прямо указывают некоторые фонетические явления. Так, например, слова со значением «я» (др.-инд. aham, гр. εγω) не могут быть возведены к одной единой праформе; напротив, следует предположить, что в одной части области распространения языка произносился придыхательный или развившийся из него звук, а в другой части произносился звонкий согласный. В последнее время мы придаем значение этой точке зрения особенно в области морфологии и синтаксиса, например, когда мы решаем вопрос о том, существовало ли сигматическое будущее время на всей территории распространения языка. Далее, в большей степени, чем Шлейхер, мы сознаем то, что законченный индоевропейский флективный язык имел за собой долгий путь развития, и поэтому мы не можем знать, не является, ли одно из многих восстанавливаемых нами слов более древним или более поздним по своему происхождению, чем другое. Еще в 1872 г. И. Шмидт[1] отчетливо выразил эту мысль, сказав, что составляемое нами индоевропейское предложение подвергается опасности выглядеть подобно стиху из библии, в котором спокойно стояли бы рядом слова языка Вульфилы, языка Татиана и языка Лютера. Но совершенно очевидно, что анахронизмы могут иметь место и внутри отдельного слова, потому что, поскольку различные звуки, встречающиеся в слове, могут развиваться с различной скоростью,

[1] *Иоган Шмидт* (1843 — 1901) — немецкий языковед, известный так называемой «теорией волн», в которой объясняются взаимоотношения отдельных групп индоевропейских языков. Его теория направлена против теории «родословного древа» А. Шлейхера. *(Примечание составителя.)*

не исключена возможность, что мы в наших реконструкциях ставим рядом такие этапы развития звуков, которые не все были одновременны друг с другом. Нельзя также забывать и того, что один звук мы можем восстановить с большей точностью, другой — с меньшей. Например, в числительном * de-kṃ — десять *d* и *e* можно считать достоверными, тогда как о точном определении свойств звука типа *k* и носового слогообразующего можно спорить. Поэтому человеку осторожному хорошо было бы не касаться реконструкции предложений и слов и ограничиться восстановлением звуков. Но и здесь ему грозит возможность ошибки, потому что (как особенно убедительно показал Герман[1]) часто у нас бывает недостаточно материала для того, чтобы дойти до единой звуковой формы, и мы должны ограничиться установлением того, что одна часть индоевропейских языков ведет к такой форме, другая часть — к форме, более или менее от нее отличающейся. Наконец, следует указать еще и на обстоятельство, которое требует осторожности при восстановлении каждой праформы. Я имею в виду то, что при глубоком внутреннем тождестве индоевропейских языков часто нельзя сказать, восходит ли то или иное общее явление к праязыковому времени или же оно основано на совпадении данных образований в отдельных языках, которое объясняется тождеством законов образования форм в этих языках. Хороший пример представляют так называемые продуктивные суффиксы. То, что др.-инд. sárvas — целый, весь и гр. ὅλος — целый, весь (из ὅληος) , представляют одно и то же праслово, не вызывает сомнений потому, что в отдельных языках *uo* больше не является продуктивным суффиксом; но нельзя утверждать, что оба члена равенства sarvatāt — ολότης не были образованы независимо друг от друга в отдельных языках. В настоящее время для того, чтобы проводить резкое различие в указанном направлении, употребляются искусственные выражения «праиндоевропейский», с одной стороны, «общеиндоевропейский» — с другой стороны. Последнее выражение употребляется для того, чтобы показать, что не делается категорических утверждений о наличии данной формы в праязыке. Точно так же говорят о «прагерманском», «общегерманском» и т. п.

Несмотря на все это, стремление полностью воздерживаться от восстановления праформ было бы ошибочным, так как эти формы приносят значительную пользу в двух отношениях. Прежде всего они являются удобным и наглядным выражением в формулах таких утверждений, которые посредством слов можно изложить только в пространной форме. Кроме того, как я говорил еще в 1880 г., необходимость устанавливать первоначальные формы вынуждает исследователя постоянно спрашивать себя, нужно ли рассматривать форму, о которой в данное время идет речь, в ка-

[1] *Эрнст Герман* — немецкий языковед, много занимавшийся вопросами общего языкознания. *(Примечание составителя.)*

честве новообразования или в качестве формы, образованной в праязыковое время, и вообще эта необходимость не дает исследователю успокоиться до тех пор, пока не преодолены фонетические и иные трудности. В таких обстоятельствах нужно приветствовать каждое предложение об улучшении метода реконструкции. Такое предложение сделано Германом, который советует постоянно исходить из данных отдельного языка и затем выяснять, насколько праформы, выведенные на основании отдельных исследуемых языков, могут быть согласованы друг с другом. В соответствии с этим наличие праиндоевропейской формы устанавливалось бы лишь в случае совпадения формы, предшествовавшей праиндийской, формы, предшествовавшей праиранской, формы, предшествовавшей прагреческой, и т.п. По этому поводу я хотел бы заметить, что полная изоляция отдельного языка при беспристрастном исследовании не может быть проведена, так как всегда где-нибудь обнаруживается необходимость сравнения. Исследователь вынужден использовать все методы, применение которых возможно в данном конкретном случае. Герман внес практическое предложение, согласно которому там, где речь идет о формулах, не притязающих на изображение форм праязыка, по-прежнему следует употреблять звездочку (так, например, прагерманское *hauzjan — слышать); когда, напротив, предполагается, что осуществляются настоящие реконструкции, следует употреблять крест (например, +ésti — он есть). Против этого ничего нельзя возразить, но нужно обратить внимание на то, что решение об употреблении звездочки или креста часто будет зависеть от темперамента исследователя, поэтому трудно было бы достигнуть единообразия в употреблении этих знаков.

ЗВУКОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

То, что звуковой облик слов изменяется с течением времени, естественно, было замечено еще древними, но они, насколько я знаю, не выдвигали теорий относительно разновидностей и причин таких изменений. Как кажется, они без сомнений предполагали изменения всех видов, если только их требовали этимологические комбинации, которым подвергались слова и формы слов. Позднее (я не знаю точно, начиная с какого времени) причину изменений искали в стремлении к благозвучию (эвфонические изменения). Взгляды Гумбольдта, Боппа и их современников изложены выше, и нет необходимости в их повторении. Целесообразнее всего было бы начать с высказываний одного из зачинателей исследования языка — Георга Курциуса[1]. Курциус стремился

[1] *Георг Курциус* (1820 — 1885) — немецкий филолог-классик, один из первых выступивший за применение сравнительно-исторического метода в области классической филологии. Основной его работой, на которую и ссылается Дельбрюк, являются «Основы греческой этимологии» (1858 — 1862). *(Примечание составителя.)*

главным образом к тому, чтобы установить в мире звуков более строгий порядок, чем это удавалось его предшественникам, и обосновать таким образом прочный метод для этимологии. «Если в истории звуков, — говорит он, — действительно происходят такие значительные спорадические изменения и совершенно патологическое, не поддающееся учету искажение звуков, как это с уверенностью принимается многими учеными, то мы на самом деле должны отказаться от какого бы то ни было этимологического исследования. Потому что только то, что является закономерным и внутренне взаимосвязанным, может быть подвергнуто научному исследованию; о том же, что произвольно, можно делать лишь догадки, но не научные выводы. Я полагаю, однако, что дело совсем не обстоит так плохо; напротив, именно в жизни звуков можно с наибольшей достоверностью установить прочные законы, которые действуют почти с такой же последовательностью, как силы природы». Поэтому, когда Курциус отличает от регулярного замещения звуков нерегулярное, или спорадическое, он ни в коем случае не хочет сказать этим, что часть фонетических изменений свободна от всех законов и поэтому предоставлена случаю и произволу. «Само собой разумеется, — замечает он в другом месте, — что мы не считаем случайным ни тот, ни другой вид переходов звуков; наоборот, мы исходим из того взгляда, что законам подчинен как весь язык, так и его звуковая сторона». Закономерность проявляется прежде всего в том, что фонетические изменения следуют определенной тенденции или направлению, а именно: основное направление звукового развития — это направление нисходящее, убывающее, или, как всего охотнее говорит Курциус, направление выветривания. «Потому что, в самом деле, напрашивается сравнение с камнями, которые постепенно разрушаются и исчезают под воздействием атмосферных явлений, но все же так упорно сохраняют свое ядро». Разумеется, причина убывания звуков заключается не в воздействии внешних сил; оно основано на человеческой лености, которая стремится к тому, чтобы сделать произношение все более и более легким. «Удобство является и остается при всех обстоятельствах основной причиной фонетических изменений». Но стремление к удобству проявляется преимущественно двояким образом. Во-первых, неудобное место артикуляции охотно заменяется удобным, во-вторых, поскольку отодвинутое далеко назад место является неудобным, в качестве общего направления развития звуков можно установить направление от задних мест артикуляции к передним. Так, *p* может происходить из *к,* но *к* не может происходить из *p.* Далее, звуки, труднопроизносимые вследствие характера их артикуляции, заменяются более легкими, поэтому, например, так называемые взрывные звуки переходят в так называемые щелевые, тогда как движение в обратном направлении не имеет места. Так, *t* может превратиться в *s*, но *s* не может превратиться в *t*. Этим основным закономерностям, действенность которых Курциус в

особенности стремился доказать, подчинены все звуковые переходы, в том числе и спорадические. Для спорадического замещения звуков также остается в силе общее правило, по которому можно ожидать перехода более трудного звука в более легкий, но не обратно; Если звуковой переход связан, таким образом, с определенным направлением, то в пределах этого направления допустима известная свобода. Сюда относится то, что в европейских языках древнее *a* представлено то посредством *a*, то посредством *e,* а древнее *k* в греческом обнаруживается в виде к, т, π. По отношению к таким неправильностям также можно обнаружить в более узких пределах определенные закономерности, но встречаются и отдельные исключения, отклонения от правил, неясные случаи, нарушения норм. К такого рода случаям относится, например, то, что в греч. πατράσι — отцам сохранилось α*,* хотя оно во всех других падежах превратилось в ε. По крайней мере часть этих исключений находит объяснение, если вспомнить о двух силах, господствующих в жизни языка: о стремлении к сохранению звуков или слогов, имеющих значение, и об аналогии. Относительно первой проблемы Курциус высказывается прежде всего в своих «Замечаниях о значении фонетических законов, в особенности в греческом и латинском языках». В этой статье он утверждает, что звуки и слоги, которые воспринимаются как носители значения, дольше оказывают сопротивление выветриванию, чем другие звуки, и что поэтому при оценке фонетических изменений нельзя упускать из виду значимость звука...

...В этой связи особенно интересно следующее утверждение, содержащееся в названной выше статье. «Для исследования языка наибольшее значение имеют два основных понятия: понятие аналогии и понятие фонетического закона. Я думаю, что не ошибусь, если скажу, что большая часть различий во мнениях относительно частных вопросов зависит от того, как оценивают различные исследователи значение двух этих понятий для жизни языка». Из этого видно, что спор о фонетическом законе и об аналогии намечался уже тогда. Далее, можно заметить, как подготавливалась почва для утверждения о том, что *фонетические законы не имеют исключений.* Вопрос о том, кто первый высказал это мнение, остается спорным. Утверждали, что Шлейхер был основателем этой теории. В соответствии со сказанным выше я не считаю это несомненным, потому что высказывание Шлейхера, которое имеется в виду в данном случае, может быть понято и иначе. Напротив, недвусмысленным является следующее утверждение В. Шерера, сделанное в 1875 г.: «Изменения звуков, которые мы можем наблюдать в засвидетельствованной памятниками истории языка, осуществляются согласно строгим законам, нарушения которых в свою очередь могут быть только закономерными». К несколько более позднему времени относится печатное высказывание Лескина, который в своих лекциях сделал очень много для пропа-

ганды этой идеи. Он говорит: «При исследовании я исходил из принципа, согласно которому дошедшая до нас форма падежа никогда не может быть основана на исключении из фонетических законов, действующих в других случаях. Для того чтобы меня правильно поняли, я хотел бы добавить к этому следующее: если понимать под исключениями такие случаи, в которых ожидаемое фонетическое изменение не имеет места благодаря определенным поддающимся определению причинам (например, отсутствие передвижения согласных в немецком языке в группах типа *st* и т. п.), где, таким образом, одно правило в известной мере перекрещивается с другим, то при таком понимании исключений, разумеется, ничего нельзя возразить против положения о том, что фонетические законы имеют исключения. При этом закон не отменяется и действует согласно ожиданию в тех случаях, где отсутствуют те или иные помехи, являющиеся результатом действия других законов. Если же допустить существование любых случайных отклонений, которые никак не могут быть связаны друг с другом, то это по существу означало бы признание того, что предмет исследования, язык, недоступен научному познанию». К этому примыкает высказывание Остгофа и Бругмана: «Всякое фонетическое изменение, поскольку оно осуществляется механически, происходит согласно законам, не знающим исключений, т. е. направление развития звуков постоянно является одинаковым для всех членов языковой общности (за исключением случая, где имеются диалектальные различия), и изменению подвергаются без исключения все слова, в которых затрагиваемый данным процессом звук находится в одинаковых условиях»[1]. При этом часто встречается категорическое утверждение: все фонетические законы действуют слепо, со слепой природной необходимостью и т. п.

В то время фонетические законы, о которых здесь идет речь, сравнивались с *законами природы,* которые изучаются физикой. Против этого ошибочного представления в 1880 г. выступили независимо друг от друга Пауль и я. Пауль в своих «Prinzipien» говорил следующее: «Понятие «фонетический закон» нельзя понимать в том смысле, в каком мы говорим в физике или химии о законах. Фонетический закон не говорит о том, что должно происходить снова и снова при наличии определенных условий общего характера; он только констатирует однородность определенной группы известных исторических явлений». Сходным образом я говорил в первом издании этого сочинения: «Я не могу согласиться с определением фонетических законов как законов природы. Очевидно, что эти исторические явления однородного характера не имеют ничего общего с химическими или физическими законами. Язык слагается из действий людей, и, следовательно, фонетические законы относятся не к учению о закономерности явлений природы, а к учению о закономерности человеческих действий,

[1] См. стр. 194 настоящей книги.

кажущихся произвольными». Из той же основной мысли исходит в высшей степени полезная работа Г. Шухардта «О фонетических законах», автор которой настойчиво предостерегал против априорных теоретических построений. Эта точка зрения находила подтверждение и во взглядах специалистов по фонетике, среди которых в первую очередь следует назвать Зиверса и Бремера[1]. Они высказали трезвый взгляд, основанный на наблюдении реальных фактов, согласно которому каждое изменение исходит от небольшой группы людей, постепенно распространяется и, наконец, добивается господства. Следуя всем этим идеям, мы в настоящее время представляем себе положение вещей следующим образом. Только небольшое число людей при изменении произношения действует самопроизвольно, большинство же относится к этому подражательно. Однородность в произношении наличествует постольку, поскольку внутри данной общности сообщающихся друг с другом людей достигнуто единообразие. Закономерное в этом смысле фонетическое изменение может иметь только такие исключения, которые вызываются действием аналогии. Фонетический закон и аналогия являются двумя факторами, совместное действие которых определяет внешний облик языка.

Если сравнить этот итоговый вывод со взглядами Курциуса, то станет ясным значительный прогресс, основанный на успехах исследований, посвященных отдельным вопросам. От принятия спорадического развития звуков отказались потому, что вместо труднообъяснимого расщепления звука *a* и гуттурального смычного установлено первоначальное многообразие вокализма и рядов гуттуральных и многие отдельные отклонения от нормы нашли свое объяснение; например, α в πατράσι объясняется из плавного слогообразующего. Вместе с тем обнаруживается, что мы продвинулись вперед и в принципиальных вопросах, так как мы научились понимать то, что язык — это не организм, а общественное установление, которое основано на бесчисленных действиях людей, объединенных в один народ. Но в другом отношении итог на первый взгляд кажется менее благоприятным. Отрицательный ответ должен быть дан на особенно привлекательный для дилетанта вопрос о том, доказано ли отсутствие исключений из фонетических законов на фактическом материале по отношению к какому-нибудь одному языку. Ничего другого нельзя ожидать по отношению к историческим законам. Их применимость ко всем случаям не может быть доказана опытом; следует ограничиться собиранием доказательств, оставляя не поддающийся объяснению материал для будущего исследования. Но на основании единичных необъясненных случаев нельзя делать вывод о недействительности всего закона в целом. Конечно, дело обстояло бы иначе, если бы существовали целые группы явлений, которые

[1] *Зиверс* и *Бремер* — немецкие языковеды, известные своими работами в области фонетики (см., например, Э. Зиверс, Основы фонетики, 1881). *(Примечание составителя.)*

можно было бы объяснить только как исключения. Турнейзен приводит в качестве таких групп явлений следующие две группы. В различных языках существуют слова, подверженные особым изменениям звуков (так называемому ослаблению), например союзы и вспомогательные глаголы, а также группы слов, например приветственные формулы, которые произносятся небрежно. О другой группе слов, а именно о группе непривычных для нас названий, он говорит: «Если изучить во всех диалектах языка названия животных, менее тесно связанных с людьми, чем домашние животные, то обнаружится такой почти бесконечный ряд разнообразных вариаций, что можно прийти в отчаяние, пытаясь подвести их все под какой-либо разряд обычных фонетических изменений. Обозначения этих животных, которые редко привлекают к себе внимание людей, за исключением любителей природы и представителей определенных профессий (и, прибавлю от себя, не имеют этимологических связей), очевидно, не запечатлеваются отчетливо в памяти и поэтому должны претерпевать всевозможные индивидуальные изменения». Эти наблюдения, несомненно, правильны, но нет необходимости безоговорочно называть эти группы слов исключениями. Можно ограничиться выделением их из данной области исследования, которая охватывает привычный для говорящего языковой материал, воспроизводимый с обычной тщательностью и отчетливостью. Это та область, где в определенных границах во времени и в пространстве мы должны ожидать единообразия в произношении, особенно в изменении произношения. При этом, естественно, предполагается, что объединяемые нами случаи действительно однотипны, не отличаются, например, друг от друга в отношении места ударения, или соседних звуков.

То, что в указанной выше области произношение с течением времени изменяется, представляет собой удивительное явление. Немецким числительным zwei — два и drei — три соответствуют готские twai и threis. Почему эти числительные в немецком языке не остались такими же? Дает ли изменение *t в z* какое-либо преимущество для общения или же *z* красивее, чем *t?* И почему *z* сохранилось, тогда как *th* перешло в *d?* Наука дает на эти вопросы не очень удовлетворительный ответ. Курциус, как уже говорилось, видел главную причину всех изменений в удобстве. Эта мысль кажется настолько очевидной, что она приходит в голову каждому дилетанту. Тем не менее при внимательном изучении этого вопроса возникают затруднения. Если (как нужно допустить согласно указанному предположению) в последовательном ряду поколений обнаруживается продвижение ко все большему удобству, то, восходя в обратном направлении к более древнему времени, мы должны были бы встречаться со все более неудобным произношением и были бы вынуждены прийти к заключению, что наши самые отдаленные предки сделали свой язык удивительно неудобным для себя. Конечно, можно избежать этого вывода, если принять, что понятие удобства имеет силу только для одного

поколения, вследствие чего, например, одному поколению, может быть, удобно изменить *ei* и *au* в *ī* и *ū*, тогда как другому поколению удобно допустить переход *ī* и *ū* обратно в *ei* и *au* (как это действительно произошло в немецком языке). Но в этом случае понятие удобства лишается своего положительного содержания и превращается просто в констатацию того факта, что слова произносятся то так, то иначе. Если стремиться вложить в слово «удобство» положительное содержание, то его можно понимать только в смысле экономии труда, как это делал Георг Курциус, видевший облегчение произношения в передвижении места артикуляции от более заднего к более переднему. Этому передвижению места артикуляции в полости рта особое значение придавал Бодуэн де Куртене, усматривавший в данном явлении очеловечивание языка. Однако сколь бы привлекательным ни казался принцип экономии труда, все же нужно отметить, что облегчению труда противостоит его увеличение, которое имеет место, когда, например, слабый согласный (lenis) превращается в сильный (fortis) или смычный звук превращается в удвоенный спирант...

...Помимо стремления к удобству, приводились еще и другие причины общего характера. Так, предполагалось, что, поселившись в стране с другим строением почвы, народ должен изменить работу мускулов, производимую при говорении, и при этом должен изменить произношение звуков речи. Изменение звуков объяснялось также тем, что якобы произошло ускорение потока слов. Я не буду здесь рассматривать эти вопросы, изучавшиеся в предыдущем издании. Ограничусь сейчас упоминанием двух точек зрения, значение которых, как я полагаю, неоспоримо. Первая исходит из того, что всегда существуют люди, которые должны учиться языку окружающей их среды. Каждое звуковое изменение, как учит Зиверс, основано на ошибочном воспроизведении традиционного произношения. Ошибки, совершенные отдельными людьми, распространяются благодаря подражанию и, наконец, становятся общими для определенного слоя говорящих. Согласно Зиверсу, новаторы не обязательно принадлежат к младшему поколению; другие, например Пауль, придают особое значение противоположной точке зрения. Уилер следующим образом пробовал объяснить то, как образуется новое произношение у отдельного человека. Говорящий, перенимая новый звук, обучается ему прежде всего в отдельных словах. В течение некоторого времени он держит в памяти как старый звуковой образ, так и новый. Когда же в других словах он произносит старый звук, с которым он ранее заучил их, ему тотчас приходит на ум победоносный новый звуковой образ, и таким образом он укореняется во всех словах. Турнейзен воспринял и развил эти мысли. В какой мере. изложенные взгляды подтверждаются фактами, покажут дальнейшие наблюдения. Во всяком случае эта теория имеет то преимущество, что она может быть проверена наблюдением. Уже многократно ученые пытались установить отличия языка младшего

поколения от языка старшего поколения и обнаружить промежуточные звенья. Но я не рискну ничего добавить к уже сказанному, потому что не считаю свое мнение бесспорным. Согласно моему впечатлению, здесь мы напали на золотоносную жилу.

Вторая точка зрения — это теория языкового смешения. Известно, что многие народы либо совсем не могут воспроизводить отдельные звуки другого языка, либо произносят их лишь весьма неудовлетворительно. Так, например, эстонцы не произносят немецкого *f* и заменяют его посредством *w*[1] В отношении других звуков различие на слух неощутимо, но не подлежит сомнению, что способ произношения звуков у каждого народа имеет свои особенности. Причина этого заключается не столько в устройстве органов, сколько в их привычном положении. Благодаря этому привычному положению органов речи каждый народ, принужденный вследствие своего политического положения говорить наряду со своим собственным языком на чужом языке, как правило, плохо говорит на этом последнем, например эстонцы по-немецки. Если бы эстонцы, как это было возможно, подверглись германизации, то вместо двух языков возник бы один, а именно немецкий диалект с эстонским, следовательно, изменившимся произношением. То, что в данном случае представлено в виде возможности, очень часто происходит на самом деле, и, как сейчас предполагается, то же происходило в давние времена, о которых мы не имеем никаких сведений. Согласно общепринятому в настоящее время мнению смешение языков является одной из важнейших причин фонетических изменений.

ВВЕДЕНИЕ В ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКА[2]
(ИЗВЛЕЧЕНИЯ)

АНАЛОГИЯ

...Итак, из предыдущего рассуждения оказывается прежде всего, что надо исключить заимствованные слова, затем, что должно изъять известные пограничные и переходные области, в которых отношения слишком сложны, чтобы их можно было привести к какой-нибудь простой формуле. По отношению к прочему языковому материалу — и только по отношению к нему — должно иметь силу утверждение, что звуковой состав языка объясняется деятельностью звуковых законов, действующих без исключения,

[1] В изложение Дельбрюка здесь вкралась неточность: немецкое в эстонском передается посредством сочетания глухого *h* и звонкого *v,* например, эстонское ahv — обезьяна из немецкого Affe. *(Примечание переводчика.)*

[2] Спб., 1904. Настоящая работа представляет перевод той же книги Б. Дельбрюка, но с более раннего (третьего) издания 1893 г. Перевод выполнен студентами Петербургского университета под редакцией и при участии, С. Булича.

с одной стороны, и деятельностью аналогии — с другой. Перехода теперь к истолкованию этого утверждения, я буду говорить сначала об аналоги и.

Неизбежность действия аналогии в языке становится очевидной, если уяснить себе, что слова в душе говорящего являются в значительно большей части своей не обособленно, но в тесной связи (ассоциированные) с другими. «Ассоциируются между собой ... различные падежи одного и того же имени, различные времена, наклонения, лица одного и того же глагола, различные производные формы от одного и того же корня — в силу родства звукового и по значению; затем все слова одной и той же функции, например все существительные, все прилагательные, все глаголы; затем все производные формы, образованные от разных корней при помощи одинаковых суффиксов; далее, одинаковые по своей функции формы различных слов, следовательно, например, все формы множественного числа, все родительные падежи, все страдательные залоги, все прошедшие совершенные, все сослагательные, все первые лица; затем слова с одинаковым родом флексии, например в новонемецком все «слабые» глаголы в противоположность «сильным», все имена существительные мужского рода, образующие множественное число с переменой гласного звука (Umlaut) в противоположность не изменяющим гласных; могут смыкаться в группы слова, представляющие лишь частичное тождество способа флексии, в противоположность словам с более резкими уклонениями» (Paul, Principien der Sprachgeschichte, изд. 2, Halle, 1886, стр. 24). Многие из соединенных в такие группы форм обнаруживают или существенное сходство внешнего вида, или основное различие, или, наконец, незначительные различия при большом сходстве. Против этих различий работает постоянно стремление придать возможно большее внешнее сходство тому, что связано между собой внутренней связью, и нередко удается устранить более незначительные различия путем подравнения (Ausgleichung). Так, например, несомненно, что такое слово, как лат. homo, первоначально звучало с образованием падежей разной силы (с градацией основ — stammabstufende Bildung): homo — hominis — homini — homōnem — homōnes — hominum и т. д., откуда затем путем подравнения получилось: hominis — homini — hominem — homines. Точно так же не подлежит сомнению, что в аркадийском диалекте, как и в прочих диалектах, женский род χώρα звучал в родительном χώρας, но мужской род εργάτας — εργάταυ (из εργάταο), тогда как позже χώρας превратилось в угоду мужскому роду в χώραυ. Почему и при каких условиях такие преобразования возникли в известную эпоху и почему только в известных диалектах, в других же нет, — мы можем установить с некоторой верностью только в редчайших случаях. Напротив, мы должны большей частью удовольствоваться наблюдением, что из обоих друг с другом борющихся стремлений — сохранить отдельный случай в его традиционной форме и, с другой стороны, уподобить

его родственным формам — победило последнее стремление. Если, таким образом, мы должны быть скромными в этом отношении, с другой стороны, мы все-таки можем сказать с некоторой уверенностью, что, собственно, произошло при таком подравнении и чем отличается этот процесс от того, который мы называем звуковым изменением. Чтобы пояснить это, я возьму примером закон Вернера. Вернер[1] показал, что глагол, вроде готского leiþ, должен был образовать в прагерманском' формы leiþan — laiþ — lidum — lidans, откуда в готском возникли путем подравнения формы leiþan — laiþ — liþum — liþans, тогда как, например, в древневерхненемецком первоначальное различие сохранилось в формах с передвижением согласных lidan — leid — litum — litan. Можно было бы склониться к формулировке того, что произошло в готском, в таком выражении: в формах — liþum — liþans первичное d перешло в þ. Но неверность такой формулировки обнаруживается сейчас же, как только привлекаются к сравнению соответствующие явления в других языках. В греческом перфект от πείθω, наверное, звучал некогда πέποιθα, πέποιθε, πέποίπθμεν (еще древнее πεπιθμέν), Из последней формы сделалось πεποίδαμεν. Произошло ли это таким образом, что ι было изменено путем «подъема» в οι и вставлено α? Конечно, нет, Я оставлю здесь совсем в стороне вопрос о том, возможно ли вообще предполагать на старый лад существование подъема; относительно этого пункта, во всяком случае теперь, все ученые согласны, что подобного явления не происходило ни в одном отдельном индоевропейском языке. Все так называемые дифтонги подъема в отдельных языках, следовательно и в греческом, ведут свое начало из первобытной эпохи. О вставке а также нельзя думать. Правда, мы можем говорить о вставке гласного или лучше о развитии гласного из голосового тона соседнего согласного в случаях, как poculum из poclum, nominis из nomnis, но подобного случая в πέποίθαμεν мы не имеем. Таким образом, вышеприведенная формулировка не подходит к форме πέποίθαμεν. Здесь произошло не звуковое изменение, но замена одной формы другой. Так как πέπίθμεν в том ряду, к которому оно принадлежало, являлось членом, нарушавшим гармонию, то оно было заменено посредством πέποίθαμεν. Таким образом, и в готском нельзя говорить о звуковом процессе, но должно принять замену формы. Выражаясь точно, следовало бы сказать так: в германском звуки þ, стоявшие перед ударенным слогом между гласными, превратились в *d.* Это изменение наступило везде, где имелось подобное сочетание звуков, следовательно, *faþar так же превратилось в *fadar, как *lipum в lidum. В готском fadar осталось неизменным, так как оно не входило в состав

[1] *К. Вернер* (1846 — 1896) — датский лингвист, объяснял характером древней акцентуации передвижение согласных в германских языках. *(Примечание составителя.)*

[2] Здесь не имеет значения, звучали ли индогерманские формы в конце слова так или иначе.

группы, достаточно сильной для того, чтобы переделать его. Напротив, lidum с родичами, которые везде были связаны с формами единственного числа,. содержавшими в себе þ, и которые еще более приблизились к последним формам благодаря совершившемуся передвижению ударения назад, были заменены новообразованными формами liþum и т. д. Таким образом, отношение между звуковым изменением и аналогией может быть выражено вкратце так: звуковое изменение основано на перемене в произведении звука и проявляется везде при одинаковом стечении звуков; аналогия же, напротив, влечет за собой замену старой формы новообразованной. Поскольку же новая форма может представлять такой звуковой состав, которого не было в вытесненной форме, постольку влиянием аналогии может быть нанесен ущерб области равномерных одинаковых изменений...

...В таком положении находится вопрос об изменениях в звуковом составе языков. Как видно, о точном знании в этой области не может быть серьезной речи. Тем не менее можно сказать: мы питаем основательное предположение, что изменения в значительно большей своей части зависят от известных производящих общее действие причин, над которыми отдельный человек не имеет никакой власти. Правда, нельзя отрицать также и возможности влияния со стороны отдельного индивидуума, влияния, простирающегося с его стороны на нескольких людей, а от этих на многих, но так как при этом противное давление со стороны общества все-таки всегда велико, то едва ли можно предполагать, что отдельному индивидууму удастся провести такие изменения, которые противоречат направлению развития, замечаемому у остальных звуковых изменений. Наверное, можно считать несомненным то, что все (или почти все) эти акты совершаются бессознательно. В какой мере оправдывается это утверждение на нашем теперешнем языке, в этом можно легко убедиться путем опыта. Большая часть людей не знает, как они говорят, и часто только с величайшим трудом удается доказать им, что они действительно обладают некоторыми тонкостями произношения, которые замечает у них опытный наблюдатель.

Согласно сказанному на занимающий нас вопрос о закономерности звукового изменения можно теперь дать общий сжатый ответ.

Следует признать, что полная закономерность звукового изменения не наблюдается нигде в мире данных фактов, но имеются налицо достаточные основания, ведущие к допущению, что звуковое изменение, протекающее закономерно, есть один из факторов, из совместного действия которых вытекает эмпирический облик языка. В отдельных случаях, правда, всегда будет иметься лишь приблизительная возможность представить этот фактор в его чистоте.

Вместе с тем из вышеприведенного изложения следует, можно ли вообще и насколько можно говорить о законах или даже о законах природы в области фонетики, или учения о звуках.

Звуковые законы, устанавливаемые нами, суть, как это оказалось, не что иное, как единообразия, возникающие в известном языке и в известное время и имеющие силу только для этого языка и времени. Применимо ли вообще к ним выражение «закон», остается сомнительным. Между тем я избегаю входить в рассмотрение понятия о законе, применяемого в естественных науках и статистике, так как я нахожу, что в языковом употреблении понятие «звуковой закон» настолько утвердилось, что уже не может быть искоренено, и, кроме того, я не могу предложить вместо него лучшего термина. Термин этот, кроме того, безвреден, если помнить твердо, что он не может иметь никакого другого смысла, кроме здесь означенного.

Но я не могу помириться с определением звуковых законов как законов природы. С химическими или физическими законами эти исторические единообразия, очевидно, не имеют никакого сходства. Язык слагается из человеческих поступков и действий (Handlungen), и поэтому звуковые законы относятся не к учению о закономерности в явлениях природы, а к учению о закономерности человеческих поступков, по-видимому произвольных.

VI. МОСКОВСКАЯ И КАЗАНСКАЯ ШКОЛЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

В конце XIX в. в России складываются две лингвистические школы, научные традиции которых живут и в современном языкознании.

Первая из них, так называемая московская школа языкознания, возглавляется одним из замечательных ученых-лингвистов — Филиппом Федоровичем Фортунатовым (1848 — 1914).

Вся преподавательская и почти вся научная деятельность Ф. Ф. Фортунатова связана с Московским университетом. Здесь он по возвращении из заграничной командировки защитил в 1875 г. магистерскую диссертацию, в 1876 г. занял кафедру сравнительной грамматики индоевропейских языков и начал преподавание, которое продолжалось до 1902 г., когда он после выборов его ординарным академиком переехал в Петербург.

Ф. Ф. Фортунатов принадлежал к тому типу ученых, которые мало печатаются и свои идеи развивают главным образом в лекционных курсах. При жизни Ф. Ф. Фортунатова была опубликована его диссертация (Samaveda Aranjaka Samhita), несколько работ о славяно-балтийской акцентологии и об индоевропейских согласных (здесь ему принадлежит открытие закона, названного его именем) и др. В университете он читал большое количество разнообразных курсов: общее языковедение, курсы по сравнительной фонетике и морфологии индоевропейских языков, старославянского языка, литовского языка, готского языка, древнеиндийского языка. В литографических изданиях лекций по этим курсам (и особенно в лекциях по курсу общего языкознания), которые издавались ограниченным тиражом для пользования студенток, а также в работах многочисленных учеников Ф. Ф. Фортунатова, воспитавшего блестящую плеяду русских языковедов, и следует искать преимущественное изложение идей Ф. Ф. Фортунатова.

В области метода научного исследования Ф. Ф. Фортунатов параллельно с младограмматиками занимался проблемой звуковой эволюции. В тождественных фонетических процессах он стремился вскрыть общие закономерности, но вместе с тем указывал на необходимость учитывать структурные особенности языков и те конкретные исторические условия, в которых происходят языковые изменения (в частности, аналогические изменения).

В противоположность младограмматикам, стоявшим на индивидуально-психологических позициях, Ф. Ф. Фортунатов подчеркивал общественный характер языка и связь его истории с историей общества («Каждый язык принадлежит известному общественному союзу, т. е. каждый язык принадлежит людям как членам того или другого общества. Те изменения, которые происходят в составе общества, сопровождаются и в языке соответствующими изменениями...»).

Много внимания Ф. Ф. Фортунатов уделял отношениям языка и мышления и с учетом этих отношений решал конкретные вопросы изучения языка. Большой интерес представляют разработка им проблемы структуры слова и трактовка ряда общих вопросов грамматической теории. Ему принадлежит оригинальное учение о форме в языке, которое оказало огромное влияние на последующие языковедческие работы.

В соответствии со своим пониманием формы Ф. Ф. Фортунатов строит и свое учение о грамматических разрядах слов и свою синтаксическую теорию (о всех этих вопросах см. включенные в настоящую книгу извлечения из лекций по общему языкознанию).

«В трудах Фортунатова нас поражает глубокий проникновенный анализ: изучаемым им явлениям давалось столь яркое освещение, что оно своей силой озаряло и все смежные области, вызывая стройные научные представления о целых группах соседних явлений. В этом удивительном умении отвлечься и сосредоточить все внимание на исследуемом явлении выступала та сила научного мышления Фортунатова, которая позволяла лицам, следившим за его трудами, за его научными исследованиями, определять его высокое значение как ученого ... Не только русская лингвистическая семья, но и иностранцы признали Фортунатова гениальным ученым» (А. А. Шахматов).

С сожалением следует отметить, что многие работы Ф. Ф. Фортунатова остаются несобранными, а его научное наследство совершенно недостаточно изученным.

Ф. Ф. Фортунатов создал лингвистическую школу, в которую входило много замечательных русских языковедов. К числу учеников и последователей Ф. Ф. Фортунатова относятся А. А. Шахматов, Г. К. Ульянов, В. Н. Щепкин, М. М. Покровский, Б. М. Ляпунов, В. К. Поржезинский, А. И. Томсон, Д. Н. Ушаков, Е. Ф. Будде, М. Н. Петерсон и др.

Московская лингвистическая школа была широко известна за рубежом, и работать с Ф. Ф. Фортунатовым приезжали представители разных стран. По свидетельству Д. Н. Ушакова, иностранными учениками Ф. Ф. Фортунатова были О. Брок (Норвегия), Торбьернсон (Швеция), Педерсен (Дания), Краузе ван дер Коп (Голландия), П. Буайэ (Франция), Сольмсен и Бернекер (Германия), Белич (Югославия), Богдан (Румыния) и др.

Казанская лингвистическая школа, основателем которой был И. А. Бодуэн де Куртене, в целом характеризуется пристальным интересом к психической стороне деятельности языка и к фонетическому его аспекту. Ее представители, в частности, были в числе пионеров экспериментальной фонетики и фонологии. Так же как и московская школа, она имела большое количество последователей. В казанский период деятельности Бодуэна де Куртене к нему примкнули Н. В. Крушевский, В. А. Богородицкий, С. К. Булич, А. И. Александров и др. Когда его деятельность перенесена была в Петербург, вокруг него собралась новая группа учеников и последователей, принадлежавших к самым различным языковым специальностям: Л. В. Щерба, Б. Я. Владимирцев, П. В. Ериштедт, Б. А.Ларин, А. П. Баранников, В. В. Радлов и многие другие.

Иван Александрович Бодуэн де Куртене (1845 — 1929) был ученым чрезвычайно широкого кругозора и острой, оригинальной мысли. Он преподавал в Казани (1874 — 1883), Юрьеве (1883 — 1893), Кракове (1894 — 1899), Петербурге (1900 — 1918) и Варшаве (1918 — 1929). Свои многочисленные работы он писал на русском, польском, чешском, немецком, французском, итальянском и литовском языках. Бывая часто за границей, он слушал лекции крупнейших языковедов своего времени (Шлейхера, Лескина, Асколи

и др.), но вместе с тем «он не был ничьим учеником, не принадлежал ни к какой школе, сам себя называл автодидактом» и «всю свою жизнь по всем решительно вопросам занимал — хотя вовсе не старался занимать — собственную, нетрафаретную позицию» (Л. В. Щерба).

Труды И. А. Бодуэна де Куртене рассеяны по бесчисленным и часто малодоступным изданиям (преимущественно периодическим), вследствие чего чрезвычайно трудно дать характеристику его научной деятельности, учитывая к тому же почти полную неизученность его научного наследства и нередкую противоречивость суждений.

Говоря в общем плане, следует отметить, что в своих работах он часто предвосхищал положения и теории, которые в дальнейшем оказывались основополагающими для целых лингвистических направлений.

Еще до младограмматиков он стал последовательно применять к изучению звуковых процессов принципы аналогии (его называют даже иногда одним из основоположников младограмматизма), но он же подверг резкой критике механистическое понимание младограмматиками звуковых законов, указав на то, что они являются результатом действия разнообразных и часто противоречивых факторов, почему их вообще нельзя называть законами. Он выступал также против проповедуемого младограмматиками универсально-исторического подхода к изучению фактов языка и защищал права «описательного» исследования языка. В связи с этим находится и его положение о законности двух точек зрения на язык — статической и динамической, которые позже появляются у Ф. де Соссюра под именем синхронической и диахронической лингвистик.

И. А. Бодуэн де Куртене критиковал компаративистов за схематическую прямолинейность их реконструкций и призывал отдавать предпочтение изучению живых языков и диалектов, на материале которых можно отчетливей вскрыть связь явлений, причины их изменений и всю совокупность факторов, управляющих развитием языка. Он много способствовал укреплению в языкознании психологической точки зрения («Объяснение языковых явлений может быть только психологическим или в известных пределах физиологическим»), но в то же время стремился внедрить социальный подход к языку («Язык как в целом, так и во всех своих частях имеет только тогда цену, когда служит целям взаимного общения между людьми»). В развитие этого общего положения он задолго до возникновения социологической школы указывал на социальную дифференциацию языка.

И. А. Бодуэн де Куртене был также одним из первых языковедов, основательно занявшихся фонетикой. В этой области он также достиг выдающихся успехов, в первую очередь своей оригинальной теорией фонемы, развившейся в дальнейшем в фонологию, которая ныне имеет огромную литературу.

Перечисленные научные заслуги И. А. Бодуэна де Куртене не исчерпываются даже применительно к общеязыковедческим проблемам, но дают представление о размахе его исследовательской деятельности. Как уже указывалось, в целом он примыкал к психологическому направлению в языкознании, но все же «...заслуги Бодуэна не в психологизме, а в гениальном анализе языковых явлений и не менее гениальной прозорливости, С которой он усматривал причины их изменений» (Л. В. Щерба). — Ученик И. А. Бодуэна де Куртене, рано умерший языковед Николай Вячеславович Крушевский (1851 — 1887) за свою недолгую жизнь успел опубликовать немного работ. Основными являются «Очерк науки о языке» (1883) и изданные посмертно «Очерки по языковедению. Антропофоника» (1893). Но и в этом немногом он проявил себя как талантливый и глубокий ученый.

Следуя в принципиальных положениях за своим учителем, Н. В. Крушевский посвятил себя главным образом вопросам общего языкознания, так как «видел всю свою задачу и вообще задачу лингвистов в высшем стиле в одних только обобщениях» (И. А. Бодуэн де Куртене). Главной задачей лингвистики он Считал определение законов развития языка и основной закон усматривал в «соответствии мира слов миру мыслей». Изучение законов

развития как конкретных языков, так и языка вообще Н. В. Крушевский считал возможным проводить в первую очередь на материале живых языков («Только изучение новых языков может способствовать открытию разнообразных законов языка, теперь неизвестных потому, что в языках мертвых их или совсем нельзя открыть, или гораздо труднее открыть, нежели в языках новых. Наконец, только изучение новых языков может установить взаимную связь между отдельными законами»).

В плане изучения законов развития языка Н. В. Крушевский уделяет много внимания (как и другой представитель казанской школы — В. А. Богородицкий) вопросам морфологической структуры слова и словообразования. Он подвергает тщательному анализу намеченные еще И. А. Бодуэном де Куртене процессы переинтеграции составных элементов слова (переразложение и опрощение основы), а словообразование стремится представить в виде стройной системы одинаково организованных типов слов, обладающих своими закономерностями. Образование же этих структурных типов слов он ставит в связь с обозначаемыми ими понятиями.

Василий Алексеевич Богородицкий (1857 — 1941) был в течение всей своей научной и преподавательской деятельности профессором Казанского университета. Придерживаясь в общетеоретическом плане тех положений, которые характеризуют казанскую школу в целом (его, пожалуй, можно назвать наиболее «типичным», наиболее последовательным ее представителем), он, развивая и уточняя их, с большой ясностью мысли фиксировал основные принципы научного изучения языка. Ему принадлежит определение языка как «средства обмена мыслями», причем средства, «наиболее совершенного». Но сверх этого язык, по определению В. А. Богородицкого, «в значительной мере является и орудием мысли», «приспосабливаясь к развивающейся мысли, он служит вместе с тем показателем успехов классифицирующей деятельности ума». В. А. Богородицкий не упускал из виду и общественной значимости языка. «Одинаковость языка, — подчеркивал он, — объединяя людей к общей деятельности, становится таким образом социологическим фактором первейшей важности».

Подобно своему учителю И. А. Бодуэну де Куртене В. А. Богородицкий отличался очень широким кругом научных интересов. Хотя в основном он сосредоточивал свое внимание на русском языкознании (см. «Гласные без ударения в русском языке», Казань, 1884; «Общий курс русской грамматики», изд. 5, 1935; «Очерки по языковедению и русскому языку», изд. 4, 1939; «Фонетика русского языка в свете экспериментальных данных», Казань, 1930, и др.), ему также принадлежат солидные работы в области общего и индоевропейского языкознания («Лекции по общему языковедению», изд. 2, Казань, 1915; «Сравнительная грамматика ариоевропейских языков», Казань, 1914), романо-германского языкознания («Введение в изучение современных романских и германских языков», Москва, 1953) и особенно тюркского языкознания («Этюды по татарскому и тюркскому языковедению», Казань, 1933; «Введение в татарское языковедение в связи с другими тюркскими языками», Казань, 1934; «О научных задачах татарского языкознания», Казань, 1934, и др.).

В. А. Богородицкий является одним из основоположников экспериментальной фонетики. Он создал при Казанском университете первую в России экспериментально-фонетическую лабораторию, и его работы по экспериментальному изучению звуков человеческой речи предшествуют работам в этой области аббата Русло. Его следует признать также пионером исследований по определению относительной хронологии фонетических явлений, которой он занимался еще в, конце XIX века. С именем В. А. Богородицкого связывается и разработка теории процессов переразложения, опрощения и др. Не ограничиваясь широким кругом проблем теоретического языкознания, он уделял много внимания и прикладному языкознанию.

ЛИТЕРАТУРА

М.Н. Петерсон, Фортунатов и московская лингвистическая школа, «Ученые записки МГУ», вып. 107 (Роль русской науки в развитии мировой науки и культуры, т. III, кн. 2), изд. МГУ, 1946.

М.Н. Петерсон, Академик Ф. Ф. Фортунатов, «Русский язык в школе», 1939, № 3.

В.А. Богородицкий, Казанская лингвистическая школа, «Труды МИФЛИ», т. V, 1939.

Е.А. Земская, Казанская лингвистическая школа проф. И. А. Бодуэна де Куртене, «Русский язык в школе», 1951, № 6.

Л.В. Щерба, И. А. Бодуэн де Куртене и его значение в науке о языке, «Русский язык в школе», 1940, № 4.

А.А. Шахматов, Фортунатов, «Изв. Имп. АН», серия IV, 1914, № 14.

А.А. Леонтьев, Общелингвистические взгляды И. А. Бодуэна де Куртене, «Вопросы языкознания», 1959, № 6.

Ф. Ф. ФОРТУНАТОВ

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ЯЗЫКОВЕДЕНИЕ
(ИЗВЛЕЧЕНИЯ)

ЗАДАЧИ ЯЗЫКОВЕДЕНИЯ И СВЯЗЬ ЕГО С ДРУГИМИ НАУКАМИ

Предметом, изучаемым в языковедении, является не один какой-либо язык и не одна какая-либо группа языков, а вообще человеческий язык в его истории. Следовательно, все отдельные человеческие языки, будут ли то языки народов цивилизованных или дикарей, — все они с одинаковым правом входят в область языковедения, и все они изучаются здесь по отношению к истории языка. Язык состоит из слов, а словами являются звуки речи, как знаки для нашего мышления и для выражения наших мыслей и чувствований. Отдельные слова языка в нашей речи вступают в различные сочетания между собою, а с другой стороны — в словах языка могут выделяться для сознания говорящего те или другие части слов; поэтому фактами языка являются не только отдельные слова сами по себе, но также и слова в их сочетаниях между собой и в их делимости на те или другие части. Я сказал, что предметом языковедения является человеческий язык в его истории. Дело в том, что существование каждого языка во времени состоит в постоянном, хотя и постепенном, видоизменении данного языка с течением времени, т. е. каждый живой язык в данную эпоху его существования представляет собой видоизменение языка предшествующей эпохи. Это постоянное изменение языка состоит, во-первых, в постоянном изменении составных элементов языка, т. е. как звуков слов, так и их значений, причем то и другое изменение происходит независимо одно от другого; во-вторых, изменение языка с течением времени состоит в приобретении языком новых фактов, не существовавших в нем прежде, и, в-третьих, изменение языка обнаруживается в утрате языком тех или других фактов, существовавших в нем прежде. Изучение каких-либо фактов в преемственности их изменения во времени мы называем историческим изучением этих фактов, или историей этих фактов, причем то же название — «история» — мы переносим и на самое изменение этих фактов во времени. Языковедение, имеющее предметом изучения человеческий язык в его истории, может быть, следовательно, определяемо иначе как история человеческого языка или как историческое изучение человеческого языка, т. е. историче-

ское изучение всех доступных для исследования отдельных человеческих языков является вместе с тем необходимо сравнительным изучением отдельных языков. Каждый язык принадлежит известному обществу, известному общественному союзу, т. е. каждый язык принадлежит людям как членам того или другого общества. Те изменения, которые происходят в составе общества, сопровождаются и в языке соответствующими изменениями: дроблению общества на те или другие части соответствует дробление языка на отдельные наречия, а объединению частей общественного союза соответствует и в языке объединение его наречий. Понятно поэтому, что чем более разъединяются части общественного союза, тем большую самостоятельность приобретают отдельные наречия, а как скоро исчезает всякая связь между разъединившимися частями общества, бывшие наречия одного и того же языка, продолжая существовать, обращаются в самостоятельные языки. Таким образом, изучая историю известного языка, лингвист путем правильного сравнения этого языка с языками, родственными по происхождению, открывает то прошлое в жизни изучаемого языка, когда он составлял еще одно целое с другими родственными с ним языками. Изучая, например, французский язык в его истории, лингвист сравнивает его с другими так называемыми романскими языками, как-то: итальянским, испанским и некоторыми другими, — и приходит таким, путем к родоначальнику этих языков — языку латинскому, из которого образовались эти языки. Подобным же образом изучение русского языка в связи с другими славянскими языками, как-то: старославянским, или древним церковнославянским, сербским, болгарским, польским, чешским и некоторыми другими, — это сравнительное изучение открывает перед нами то прошлое в жизни нашего языка, когда он вместе с другими славянскими языками составлял один общий язык, именно праславянский, или общеславянский, язык. Этот праславянский язык, открываемый таким путем, находится в свою очередь, как показывает наука, в родстве с языками: литовским, немецким, греческим, латинским, а также и с языками: индийскими, иранскими и некоторыми другими. Все эти языки вместе образуют так называемую индоевропейскую семью языков, или семью индоевропейских языков. Путем сравнительно-исторического изучения всех языков этой семьи лингвист восстановляет тот язык, который был родоначальником этой семьи языков, — язык общий индоевропейский. Таким образом, например, история русского языка может привести исследователя к той отдаленной эпохе, когда предки славян, немцев, греков и т. д. составляли еще один общий народ. Итак, задача языковедения — исследовать человеческий язык в его истории — требует, как вы видите, определения родственных отношений между отдельными языками и сравнительного изучения тех языков, которые имеют в прошлом общую историю, т. е. родственны по про-

исхождению. При этом от общей истории данных языков, т. е. от родства данных языков по происхождению, нужно отличать такое родство между собою тех или других фактов в различных языках, которое происходит вследствие приобретения, заимствования этих фактов одним языком из другого языка. Возможность такого влияния одного языка на другой является, понятно, тогда, когда члены различных общественных союзов, имеющих различные языки, вступают в сношения между собою.

Не одно только сравнение языков или их отдельных фактов в генеалогическом отношении, т. е. по отношению к их родству по происхождению, требуется в лингвистике: факты различных языков должны быть сравниваемы и по отношению к тем сходствам и различиям, которые зависят от действия сходных и различных условий. Этого рода сравнение лингвистических фактов нельзя, конечно, смешивать с тем сравнением, о котором я говорил до сих пор и которое основано на генеалогическом отношении отдельных языков или отдельных фактов в языках. Когда говорят, что предметом изучения в лингвистике служит человеческий язык в его истории, то единственным числом — «язык» — вовсе не указывается на то, будто все отдельные языки, существовавшие и существующие в человечестве, сводятся по учению лингвистики к одному общему праязыку. Такого общего праязыка лингвистика не знает, да и не может знать в настоящее время при тех средствах, какими она владеет. Тем не менее, как бы ни было велико число тех праязыков, которые не могут быть сведены в генеалогическом отношении, мы имеем право говорить об одном человеческом языке, имея в виду единство человеческой природы, т. е. общие физические и духовные явления. Поэтому мы можем и должны сравнивать языки не только в генеалогическом отношении, но и по отношению к тем сходствам и различиям, которые зависят от сходных и различных физических и духовных условий.

То обширное применение, какое имеет в современной лингвистике сравнительный метод, достаточно объясняет, почему эта наука называется, между прочим, «сравнительным языковедением», но только в названии «сравнительное языковедение» не следует видеть указания на отличие этой науки от какого-либо другого научного исследования языка в его истории: есть только одна наука о языке — та наука, которая имеет предметом изучения человеческий язык. Исследование того или другого отдельного языка или той или другой отдельной семьи языков входит в состав языковедения как известная часть этой науки, а успешное занятие одной частью науки возможно лишь тогда, когда не теряется связь с другими частями ее и с ее общими основаниями. Понятно поэтому значение языковедения, или лингвистики, для филологии в тесном смысле этого термина: филолог, останавливаясь на известном народе, изучает его в различных проявлениях его духовной стороны, а потому, между прочим,

изучает и язык этого народа. В этой области по отношению к языку изучаемого народа филолог должен быть лингвистом, и языковедение для него не побочная наука, но та, которая одной своей частью входит в его специальность. Точно так же филолог должен быть историком при изучении других отделов филологии.

Итак, научное исследование какого бы то ни было языка входит в область языковедения, но не всякое изучение языка является научным: языковедение как науку, задача которой познать язык в его истории, нельзя смешивать, понятно, с изучением какого-либо языка для практической цели, т. е. с целью владеть этим языком как средством для достижения других целей, например для обмена мыслей.

Укажу теперь на связь языковедения с другими науками, помимо филологии в тесном смысле этого термина. Звуки слов, как звуки речи, представляют собою известные физические явления. Эти физические явления представляют предмет исследования в том отделе физиологии, который называется физиологией звуков речи, т. е. в котором изучаются звуки речи в условиях их образования. Итак, по отношению к звукам слов, как к звукам речи, языковедение связывается с известным отделом физиологии, именно с физиологией звуков речи. Что же касается значений звуков в словах, то исследование природы значений слов принадлежит той науке, которая изучает духовные явления и называется психологией, т. е. по отношению к значениям слов языковедение связывается с психологией. В психологию входит также и исследование природы той связи, какая существует между звуками речи и их значениями. Нетрудно, конечно, убедиться в том, что связь в языке известного звука или известного комплекса звуков с известным значением не есть необходимая, т. е. нетрудно убедиться, что всякие звуки речи сами по себе одинаково способны иметь всякие значения. Для лингвиста, конечно, не может оставаться чуждым вопрос о природе связи между звуками и значениями слов, т. е. вопрос о том, как образуется связь каких бы то ни было звуков речи с какими бы то ни было значениями, и лингвист находит ответ на этот вопрос в том отделе психологии, который рассматривает образование связи между нашими духовными явлениями и нашими движениями, в данном случае движениями органов речи. Но объяснение, какое дает психология, не решает еще вопроса, представляющегося по отношению к каждому отдельному факту в каждом отдельном языке: как образовалась в данном языке связь данных звуков речи с данным значением, а ставя этот вопрос, мы ставим вопрос об истории данных фактов в известном языке, следовательно, вопрос об истории языка, и таким образом вступаем в область языковедения как особой науки, так как предметом языковедения, как я говорил, является исследование отдельных человеческих языков, насколько они доступны для изучения в их истории, следовательно, исследование истории человеческих языков.

Но не только с психологией и физиологией звуков речи языковедение находится, как мы видели, в непосредственной связи по самому свойству предмета, изучаемого в языковедении. Язык принадлежит людям, как членам того или другого общества; язык в числе других элементов сам образует и поддерживает связи между членами общества, но связи в языке членов общества зависят в свою очередь и от связей членов общества в других элементах. Язык с течением времени видоизменяется, язык имеет историю; но эту историю язык имеет в обществе, т. е. как язык членов общественного союза, а общественный союз с течением времени изменяется сам, имеет свою историю. Таким образом, исследование человеческого языка в его истории входит по известным сторонам как составная часть в науку о природе и жизни общественных союзов. Понятно вместе с тем то отношение, какое существует между изучением истории тех или других отдельных языков и их отношений между собою и изучением истории тех общественных союзов, в которых существовали данные языки: из фактов истории извлекаются указания относительно прошлого в истории самих общественных союзов, в которых существовали данные языки. Например, воссоздавая слова праславянского языка, языковедение знакомит нас с культурным состоянием славян в ту эпоху, когда существовал этот язык, или, открывая в праславянском языке некоторые слова, заимствованные из языка немецкого, языковедение указывает на сношения, существовавшие в ту эпоху между славянами и немцами. С другой стороны, факты истории общественных союзов дают ценные указания для истории языков, существовавших в данных обществах, например, разъясняют историю взаимных отношений между отдельными диалектами одного общего языка или, например, знакомят нас с теми условиями, при которых является возможным влияние одного языка на другой, то влияние, которое обнаруживается в заимствованиях, получаемых одним языком от другого...

ЗНАЧЕНИЯ ЗВУКОВОЙ СТОРОНЫ В ЯЗЫКЕ

Язык, как мы знаем, существует главным образом в процессе мышления и в нашей речи как в выражении мысли, а кроме того, наша речь заключает в себе также и выражение чувствований. Язык представляет поэтому совокупность знаков главным образом для мысли и для выражения мысли в речи, а кроме того, в языке существуют также и знаки для выражения чувствований. Рассматривая природу значений в языке, я остановлюсь сперва на знаках языка в процессе мышления, а ведь ясно, что слова для нашего мышления являются известными знаками, так как, представляя себе в процессе мысли те или другие слова, следовательно, те или другие отдельные звуки речи или звуковые комплексы, являющиеся в данном языке словами, мы думаем при этом не о

данных звуках речи, но о другом при помощи представлений звуков речи как представлений знаков для мысли.

Наше мышление состоит из духовных явлений, называемых представлениями, в их различных сочетаниях и из чувств соотношения этих представлений. Представлением, как известным духовным явлением, называют тот след ощущения, который сохраняется некоторое время после того, как не действует уже причина, вызвавшая ощущение, и который впоследствии может воспроизводиться по действию закона психической ассоциации. Все наши духовные явления (как первичные, называемые ощущениями, так и различные сложные чувствования, а равно и самые представления) способны воспроизводиться по действию этого закона, а именно: духовные явления смежные, т. е. получаемые в опыте вместе или в непосредственной преемственности, способны впоследствии воспроизводить одно другое, и точно так же духовные явления, сходные между собою, способны воспроизводить впоследствии одно другое, т. е. как скоро, например, получены были в опыте два духовных явления А и Б в непосредственной преемственности, то впоследствии, когда, например, опять получится духовное явление А, оригинальное или воспроизведенное, оно способно будет воспроизвести при себе и духовное явление Б. Точно так же, как скоро были получены в опыте духовные явления А и Б, хотя не в непосредственной преемственности, но сходные, то впоследствии, например, духовное явление А, оригинальное или воспроизведенное, способно будет вызвать при себе и духовное явление Б. Я вижу, например, снег и слышу звуковой комплекс *снег,* который для меня, положим, еще не является словом. Впоследствии, когда я увижу опять снег или когда у меня явится представление снега, то вместе с тем способно будет воспроизвести и ощущение звукового комплекса *снег,* полученное прежде вместе со зрительным ощущением снега. Точно так же, когда я услышу впоследствии такой звуковой комплекс или получу представление этого звукового комплекса, то способно будет явиться и представление снега. Или, например, когда я вижу или представляю себе снег, я могу получить при этом, по действию психической ассоциации, также и представление другого предмета (т. е. воспроизведение ощущений другого предмета), сходного со снегом, равно как и наоборот, ощущение или представление другого предмета, сходного со снегом, способно вызвать за собою представление снега.

Итак, духовные явления связываются между собою, ассоциируются по смежности или по сходству, т. е. два духовных явления, полученные в опыте или как смежные, или как сходные, способны впоследствии воспроизводить одно другое. Что же значит: «способны воспроизводить»? Это выражение имеет тот смысл, что духовные явления, связанные между собой смежностью или сходством, воспроизводят в действительности одно другое, как скоро в данный момент не препятствуют какие-нибудь другие условия.

Какие же условия могут здесь препятствовать? Это, во-первых, могут быть условия психические, духовные, заключающиеся в действии того же закона психической ассоциации, т. е. одно действие этого закона может уничтожаться другим действием того же закона. Например, несмотря на то, что в предшествующем опыте духовные явления А и Б связаны были между собою, положим, непосредственной преемственностью, т. е. смежностью, тем не менее впоследствии, когда возникает духовное явление А (как оригинальное или как воспроизводное), оно может воспроизвести при себе не духовное явление Б, а какое-нибудь третье духовное явление — Д, которое в прежнем опыте также было дано в сочетании с духовным явлением А, хотя и не с Б. Таким образом, одно действие психической ассоциации уничтожает собою другое действие психической ассоциации: духовное явление Д в нашем примере получит большую силу или потому, что в прежнем опыте духовное явление Д чаще, чем Б, давалось в сочетании с духовным явлением А, или потому, что оно было сильнее. Таким образом, по отношению к психическим условиям действия закона ассоциации духовных явлений мы можем дополнить теперь этот закон так: чем чаще сочетаются в опыте известные духовные явления или чем сильнее они в этом сочетании, тем больше они способны воспроизводить впоследствии одно другое, и, наоборот, чем реже они сочетаются в опыте или чем слабее духовные явления в этом сочетании, тем менее способны они воспроизводить впоследствии одно другое.

Я говорил до сих пор об условиях психических, духовных, препятствующих действительному воспроизведению в данный момент известного духовного явления по закону психической ассоциации, но условия, препятствующие проявлению действия этого закона, могут быть также и физические. Явления духовные не должны быть смешиваемы с явлениями физическими, но вместе с тем нельзя упускать из виду того, что для существования духовных явлений требуются известные физические условия. Всякое ощущение предполагает физическое изменение в нервной системе, в свою очередь связанное с другими физическими условиями жизни; следовательно, и при воспроизведении духовных явлений по закону психической ассоциации требуются известные физические условия существования духовных явлений, хотя бы физические условия для воспроизведения духовных явлений не совпадали с физическими условиями оригинальных духовных явлений. Закон психической ассоциации, следовательно, получает тот смысл, что духовные явления, смежные или сходные, действительно воспроизводят одно другое, насколько это допускают в данный момент физические условия воспроизведения духовных явлений.

Как бы то ни было, не все наши ощущения одинаково легко воспроизводятся, быть может, по физическим условиям, а к ощущениям, легко воспроизводимым, принадлежат именно ощущения зрительные, слуховые и различные мускуль-

ные ощущения. Представления, существующие в нашем мышлении, заключают в себе поэтому главным образом различные сочетания воспроизводимых зрительных, слуховых и мускульных ощущений. Звуки речи, являющиеся в словах, по их образованию представляют собою известные движения наших органов, именно органов речи, управляемые нашей волей, и образование их вызывает в нас известные мускульные ощущения, именно ощущения движений этих органов. Когда я произношу, например, *и*, я получаю известное мускульное ощущение. Точно так же, когда я произношу, например, звуковое сочетание *па, я* получаю известные мускульные ощущения. Как скоро звуки речи образуются мною с достаточной силой, результат производимых мною движений органов речи, т. е. то, что мы называем собственно звуками речи, вызывает, во мне слуховые ощущения звуков речи, точно так же, как я получаю слуховые ощущения звуков речи, произносимых не мною, но другим лицом. И мускульные, и слуховые ощущения принадлежат, как я говорил, к числу ощущений, легко воспроизводимых, т. е. слуховые ощущения звуков речи и ощущения движений органов речи легко воспроизводятся, а воспроизведение этих ощущений составляет то, что мы называем представлениями звуковой стороны слов, а так как по психическим условиям воспроизведения всяких ощущений являются тем легче, чем чаще такие ощущения воспроизводятся, то потому по отношению к нам, уже владеющим языком, понятно то, что представления слов в их звуковой стороне должны занимать выдающееся место среди наших представлений, хотя отсюда еще не видно, почему такие представления являются у нас представлениями знаков для мысли. Вместе с представлениями звуковой стороны слов способны возникать и самые движения органов речи, образующие данные звуки. Действительно, каждый знает по собственному опыту, что, когда мы представляем себе звуковую сторону слов, мы при этом нередко невольно образуем и самые движения органов речи, хотя бы и очень слабые, которые, однако, могут становиться и настолько сильными, что мы невольно произносим слова вслух. Самая связь известного представления звуковой стороны слов с известными движениями органов речи не зависит от нашей воли, а участие нашей воли по отношению к этим движениям проявляется в том, что мы можем задерживать эти движения или давать им ту силу, какая требуется для образования звуков речи, произносимых вслух, хотя, как я заметил уже, звуки слов, произносимые вслух, могут образоваться и помимо нашей воли. Почему же с представлениями звуковой стороны слов соединяются у нас и соответственные движения органов речи? Мы видели, что в состав представлений звуковой стороны слов входят воспроизведения ощущений движений органов речи, а ощущения движений органов речи (и поэтому и воспроизведения этих ощущений) по самой природе связаны, понятно, с движениями органов речи. Кроме того, по закону психической ассоциации образуется связь между

слуховыми ощущениями звуков речи и теми движениями, которые производят эти звуки, так как закон психической ассоциации распространяется и на сочетание наших духовных явлений и наших движений, т. е. как скоро в опыте соединяются по смежности известное духовное явление и известное наше движение, впоследствии одно из них способно воспроизвести при себе другое по действию психической ассоциации. А так как в то время, когда мы произносим слова вслух, с движениями органов речи соединяются для нас в опыте и слуховые ощущения данных звуков, то потому и при воспроизведении этих слуховых ощущений способны воспроизводиться и те движения органов речи, которые образуют данные звуки. Итак, представления звуковой стороны слов состоят в воспроизведении мускульных и слуховых ощущений звуков речи, причем способны воспроизводиться и те движения органов речи, которые образуют эти звуки.

Что же делает эти представления представлениями слов, т. е. представлениями звуков речи как знаков для мысли? Процесс мышления состоит в образовании чувства соотношения между представлениями как частями одной цельной мысли. Как ощущение есть ощущение того или другого предмета ощущения, как представление есть представление того или другого предмета мысли, так чувство соотношения между частями мысли есть чувство соотношения предметов данной мысли. Вместе с известными представлениями как частями данной мысли могут являться другие представления как такие спутники их, которые связаны с ними действием психической ассоциации. Когда я думаю, например, о белизне снега, вместе с представлениями снега и белого цвета в различных предметах как частями этой мысли, я могу получить, например, представления звуковых комплексов *белый, снег, связавшиеся в* прежнем опыте (по закону психической ассоциации) с представлениями снега и белого цвета в предметах. Здесь представления звуковых комплексов *белый, снег* могут быть еще не представлениями слов, т. е. не представлениями знаков для мысли, а простыми спутниками непосредственных представлений предметов данной мысли. Как скоро, однако, в процессе данной мысли представления самих предметов этой мысли не воспроизводятся, а являются воспроизводимыми лишь представления, сопутствующие им, эти сопутствующие представления как части данной мысли являются заместителями, представителями остающихся невоспроизведенными представлений самих предметов этой мысли. Например, в моей мысли могут связываться представления звуковых комплексов *белый* и *снег* так, что при этом частями данной мысли являются лишь эти представления, между тем как связь их между собою в этой мысли принадлежит им не самим по себе, но как спутникам остающихся невоспроизведенными представлений предметов этой мысли. Итак, представления звуков являются в мышлении заместителями других представлений, т. е. представлениями знаков для мышления, как скоро связь их между собой

как частей данной мысли принадлежит им не самим по себе, но как спутникам остающихся невоспроизведенными других представлений. Значения звуковой стороны слов для мышления состоят, следовательно, в способности представлений звуковой стороны слов сочетаться между собой в процессе мышления в качестве заместителей, представителей других представлений в мысли, а поскольку представления звуков слов являются заместителями других представлений в мысли, постольку представляемые звуки слов являются знаками для мысли, именно знаками как того, что дается для мышления (т. е. знаками предметов мысли), так и того, что вносится мышлением (т. е. знаками тех отношений, которые открываются в мышлении между частями мысли или между целыми мыслями).

Из того, что сказано мною о происхождении представлений знаков для мысли, т. е. как заместителей других представлений в мысли, вы видите, что для такого существования представлений вовсе не требуется непосредственная по происхождению связь между представляемыми знаками и тем, что ими обозначается. Действительно, значения слов в любом языке по большей части таковы, что между данными звуками слова и тем, что ими обозначается, не существует непосредственной связи; всякий звук речи или всякий комплекс их сам по себе одинаково способен иметь в языке всякие значения. Например, нет, понятно, ничего общего между ощущениями сладкого и горького вкуса и звуками слов *сладкий, горький.* Правда, что связь представлений слов с ощущениями и с представлениями обозначаемых словами предметов мысли столь тесная (вследствие указанных мною причин), что в том или другом случае может казаться, будто между данными звуками слова и тем, что ими обозначается, существует непосредственная по происхождению связь; например, иному может представляться, будто между звуками слова *сладкий* и ощущением сладкого вкуса существует какое-то сходство. Понятно, что в особенности тот, кто знает только свой родной язык, способен получить такие обманчивые впечатления; для такого лица, например, и звуки слова *снег* являются как бы естественным обозначением снега. В действительности же лишь очень немногие слова в языке, и притом не играющие в нем значительной роли, имеют непосредственную по происхождению связь их звуков с обозначаемыми предметами мысли, или, иначе говоря, с ощущениями или представлениями предметов мысли; таковы именно те слова, которые называются звукоподражательными и которые в произносимых звуках речи обозначают звуки, сходные с ними. Подобно тому как по отношению к существующим языкам мы видим, что слова звукоподражательные (и притом именно действительно звукоподражательные по происхождению, а не те, которые могут казаться нам такими) составляют лишь незначительное меньшинство в языке и не играют в нем видной роли, точно так же и по отношению к эпохе первого образования человеческого языка мы

не имеем никакого основания думать, будто первые слова в языке были именно слова звукоподражательные. Для первого появления языка требовалась известная степень развития способности произносить различавшиеся между собою, членораздельные, звуки речи (как бы число этих звуков ни было незначительно) в соединении с известным развитием духовных способностей.

Нетрудно, конечно, сознавать важность языка для нашего мышления, но, для того чтобы вполне сознать это, надо понять, что звуки речи в словах являются для нашего мышления знаками того, что непосредственно вовсе не может быть представляемо в мышлении. Предметы мысли, обозначаемые словами, частью даются в наших ощущениях, частью образуются в мысли путем отвлечения и комбинирования между собою принадлежностей, данных в известных уже нам предметах мысли, и т. д. Понятно, что об отвлеченных предметах мысли мы не можем думать иначе, как при посредстве тех или других знаков, вследствие невозможности иметь непосредственные представления таких предметов, но если мы остановимся и на таких словах, которые обозначают ощущения и их предметы, то увидим, что и эти слова обозначают или то, что при этом не представляется непосредственно в нашем мышлении, или то, что не может быть представляемо в мышлении таким, каким обозначается в слове.

Я говорил, что все наши представления по происхождению являются воспроизведениями ощущений, хотя не все ощущения одинаково легко воспроизводятся в представлениях; поэтому даже и в числе слов, обозначающих наши ощущения и их предметы, существуют слова, обозначающие то, что мы обыкновенно при быстроте мысли не представляем непосредственно рядом с представлением такого слова, или то, что даже и не могли бы при данных условиях непосредственно представить в мышлении. Например, слово *холод* обозначает такой предмет мысли, который, по крайней мере при известных физических условиях, не может быть, я думаю, непосредственно представляем в нашем мышлении, а между тем думать о холоде мы можем всегда именно потому, что самое это слово *холод* является в представлении знаком этого предмета мысли, или, иначе сказать, представление этого слова (известного комплекса звуков) есть для нас заместитель непосредственного представления данного предмета мысли. Вместе с тем и по отношению к словам, обозначающим предметы мысли такого рода, что они могут быть легко представляемы непосредственно в нашем мышлении, например по отношению к словам, обозначающим предметы зрительных ощущений, мы не можем не заметить, что эти предметы не могли бы быть представляемы непосредственно в нашем мышлении, какими по большей части они обозначаются словами (отсюда исключаются те слова, которые принадлежат к собственным именам). Все наши ощущения, а потому и представления индивидуальны; я могу иметь, например, зрительные ощущения той или другой индивидуальной

березы (в соединении с известными мускульными ощущениями движения органов зрения), могу иметь и непосредственные представления той или другой индивидуальной березы, но подобно тому как я не вижу какой-то общей березы (в одних лишь общих свойствах различных берез), точно так же я не могу иметь и представления такой общей березы, а между тем представление комплекса звуков *береза* является в моем мышлении представлением знака, общего для всех индивидуальных берез, или, иначе сказать, предмет мысли, обозначаемый данным словом *береза,* есть какая бы то ни было индивидуальная береза в тех ее свойствах, какие являются у нее общими с другими березами. Или, например, я не могу получить зрительных ощущений каких-либо видимых признаков, свойств, существующих в предметах, вещах, не получая в то же время зрительных ощущений этих вещей, имеющих данное свойство, и точно так же поэтому я не могу иметь и зрительных представлений видимых признаков, свойств вещей отдельно от зрительных представлений тех вещей, которым принадлежат эти признаки, свойства. Например, я не могу ни видеть, ни представить в уме (следовательно, не имею ни зрительных ощущений, ни зрительных представлений) белый цвет, не видя в то же время или не представляя себе тех или других предметов, которые имеют белый цвет, а между тем представление звукового комплекса *белый* (или представления звуковых комплексов *белая, белое)* является в моем мышлении представлением знака, отдельного от знаков тех или других предметов, которые имеют белый цвет, иначе сказать, предмет мысли, обозначаемый этим словом *белый,* есть отдельное свойство белого цвета, существующее у каких бы то ни было предметов, имеющих белый цвет.

Из данных мною примеров, я думаю, нетрудно уяснить себе, что не только язык зависит от мышления, но что и мышление в свою очередь зависит от языка; при посредстве слов мы думаем и о том, что без тех или других знаков не могло бы быть представлено в нашем мышлении, и точно так же при посредстве слов мы получаем возможность думать так, как не могли бы думать при отсутствии знаков для мышления по отношению именно к обобщению и отвлечению предметов мысли. Знаки языка для мысли становятся в процессе речи знаками для выражения мысли или ее части, именно непосредственно знаками для выражения той мысли или ее части, в состав которой входят представления произносимых слов. Мы знаем, что с представлениями звуковой стороны слов в нашем мышлении соединяются независимо от нашей воли (см. выше) движения органов речи, образующие представляемые нами звуки слов и являющиеся, как скоро они образуются с достаточной силой, выражениями, обнаружениями наших мыслей. В процессе речи, как намеренного выражения мыслей, говорящие сознают, чувствуют связь мыслей, в состав которых входят представления слов, с движениями органов речи, образующими звуки представляемых слов, и дают этим движениям по воле над-

лежащую силу под влиянием побуждения обнаружить, обозначить мысль для другого лица, причем, следовательно, представления произносимых звуков речи (существующих в данных словах) являются для говорящего представлениями выразителей его мысли или части мысли для другого лица, т. е. представлениями звуков, способных вызвать в другом лице духовные явления, желаемые лицом, говорящим свою мысль.

Так как знаки языка для мысли являются вместе с тем знаками для выражения мысли в речи, то потому и в мышлении эти знаки могут быть, между прочим, знаками для мысли, выражаемой в речи, причем заключают в себе, следовательно, и обозначение тех различий, какие существуют в речи как в выражении мысли, а эти различия речи образуются различиями в чувствованиях, соединяющихся с процессом речи (например, речь может быть вопросительной). В таких случаях, значит, предметами мысли, обозначаемыми знаками языка, являются предметы речи как выражения мысли.

Знаки языка в процессе речи являются главным образом знаками для выражения мысли или ее части, но вместе с такими знаками существуют в речи также и знаки языка для выражения чувствований; к этим знакам принадлежат слова-междометия (например, *ах!, эй!,* вопросительное *а?*, а также, например, *боже!* и др.). Существование в языке известных звуков речи или звуковых комплексов как знаков для выражения чувствований предполагает употребление Тех же звуков речи или звуковых комплексов как невольных выражений тех же чувствований. Мы знаем, что наши чувствования соединяются с движениями, образуемыми нами, и что связь наших чувствований и движений частью основывается на условиях организма, частью создается действием психической ассоциации; как скоро, например, в опыте наше ощущение А соединяется с таким нашим движением, которое по его происхождению не зависит от данного ощущения, то впоследствии, когда явится опять ощущение А или воспроизведение этого ощущения, при нем способно будет возникнуть (если не будут препятствовать другие условия) то же движение, хотя бы в слабой степени. Наши движения, как спутники чувствований, представляют собою по отношению к чувствованиям выражения, обнаружения этих чувствований. К таким выражениям чувствований в движениях принадлежат, между прочим, и движения органов речи, но, пока эти движения являются невольными, те звуки речи или звуковые комплексы, какие образуются ими, не служат, понятно, какими-либо знаками языка, не принадлежат языку, но они становятся знаками языка, именно знаками для выражения чувствований, как скоро мы сознаем в таких случаях связь известного чувствования с известными движениями органов речи и как скоро мы даем этим движениям по нашей воле достаточную силу под влиянием стремления выразить, обозначить чувствования для другого лица, причем, следовательно, представления произносимых нами зву-

ков речи являются для нас представлениями выразителей наших чувствований для другого лица, т. е. представлениями звуков, способных вызвать в другом лице желаемые нами духовные явления.

Знаки языка в речи как в выражении мысли и чувствований могут заключать в себе такие видоизменения в произнесении их, например видоизменения так называемого тона речи (см. ниже), которые сами служат знаками для выражения различий в чувствованиях, соединяющихся с знаками языка в речи; например, известные видоизменения в тоне речи при произношении одного и того же слова могут быть знаками для выражения различия между речью вопросительной и невопросительной, или, например, известное видоизменение в тоне речи может служить знаком для выражения чувства гнева и т. д. Эти знаки, образующие видоизменения знаков языка в речи, представляют собой, следовательно, сами знаки речи как произнесения знаков языка. Существование знаков речи в знаках языка предполагает собой существование тех же видоизменений речи как невольных выражений различных чувствований, соединяющихся с знаками языка в речи, но эти невольные выражения чувствований не образуют, понятно, каких-либо знаков для говорящих и становятся знаками тогда, когда говорящие сознают связь известного чувствования, соединяющегося с знаками языка в речи, с известным видоизменением речи как с выражением этого чувствования, и когда они по воле образуют это видоизменение речи под влиянием стремления выразить, обозначить для другого лица известное чувствование, причем, следовательно, получают представление известного видоизменения речи как выразителя известного чувствования, соединяющегося со знаками языка в речи.

Так как выражения наших чувствований в знаках языка и в знаках речи сами могут входить в состав предметов мысли, т. е. так как предметами мысли могут быть предметы речи, то потому такие знаки могут являться в нашей речи, между прочим, и для выражения чувствований, представляемых говорящим, не испытываемых им в данное время, т. е., например, известное видоизменение речи, выражающее чувство гнева, может служить, между прочим, знаком и для выражения представляемого говорящим чувства гнева.

Итак, значения звуковой стороны языка в речи состоят для говорящего в способности представлений произносимых звуков речи (с их видоизменениями в процессе речи) являться представлениями выразителей наших духовных явлений для другого лица, следовательно, представлениями знаков наших духовных явлений для другого лица, а мы видели, какие именно условия требуются для существования таких представлений.

Представления знаков языка могут вступать в такие отношения между собою, при которых известная принадлежность звуковой стороны, общая различным знакам, однородным по значению в

известном отношении, может сознаваться как изменяющая известным образом значения тех знаков, с которыми соединяется, т. е. как образующая данные знаки из других знаков (не имеющих этой принадлежности звуковой стороны) с известным видоизменением их значения. Например, в представлениях русских слов *несчастье, неправда* и т. п. звуковой комплекс *не* может сознаваться нами как изменяющий известным образом значения слов *счастье, правда* и т. п. (именно как обращающий данное значение в противоположное) и, следовательно, как образующий данные слова из слов *счастье, правда* и т. п. с известным видоизменением их значений. Или, например, в представлениях русских слов *руку, ногу, воду* и т. п. звук *у* в конце может сознаваться как изменяющий известным образом значения, данные в словах *рука, нога, вода* и т. п., а также, например, в словах *руке, ноге, воде* и т. п. и, следовательно, как образующий слова *руку, ногу, воду* из слов *рука, нога, вода, а* также, например, *руке, воде,* ноге с известным видоизменением значения и вместе с тем в этих случаях и с известным видоизменением самих слов (см. далее). Такие принадлежности звуковой стороны знаков языка, которые сознаются (в представлениях знаков языка) как изменяющие значения тех знаков, с которыми соединяются, и потому как образующие данные знаки из других знаков, являются, следовательно, сами известного рода знаками в языке, именно знаками с так называемыми формальными значениями; неформальные значения знаков языка в их отношениях к формальным значениям языка называют значениями материальными (т. е. дающими материал для изменений, образуемых знаками языка с формальными значениями) или также реальными. Итак, формальные значения в языке состоят в способности представлений части звуковой стороны знаков языка быть выделяемыми в качестве представлений таких принадлежностей знаков языка, которые образуют данные знаки из других знаков, изменяя значения последних. Из тех примеров, какие я дал для формальных значений в языке; вы можете видеть, что делимость знаков языка по составу, по образованию на принадлежности с формальным и с неформальным значением может быть двоякого рода. Во-первых, та принадлежность, та часть такого знака, которая имеет неформальное (материальное) значение, может существовать в языке сама по себе как отдельный знак; например, отдельное слово *правда* по отношению к *правда* в *неправда.* Во-вторых, принадлежность знака, имеющая неформальное (материальное) значение, может быть такой, которая дана в языке в другом знаке или в других знаках, т. е. не как отдельный знак, но в качестве лишь принадлежности знака или знаков, имеющей неформальное значение, т. е. в соединении с другой принадлежностью, представляющей формальное значение, или в соединении с другими принадлежностями, представляющими формальные значения, например *рук, ног,* в *руку, ногу* по отношению слов *руку, ногу* к словам *рука, нога* или, например, *руке, ноге.* В слу-

чаях последнего рода знаки языка заключают в себе так называемые *формы,* т. е., например, слова *руку, ногу* заключают в себе известную форму по делимости на части *рук, ног с* неформальном (материальным) значением и на общую им часть *-у* с формальным значением.

Язык как совокупность знаков для мышления и для выражения мысли и чувствований может быть не только языком слов, т. е. языком, материалом для которого служат звуки речи, но он может быть также и языком жестов и мимики, и такой язык существует в человечестве рядом с языком слов. Предметом изучения в языковедении служит именно язык слов, который по самой природе звуков речи способен достигать гораздо большего совершенства сравнительно с языком жестов и мимики, но, чтобы понять физические и духовные условия, делающие возможным появление языка, необходимо принимать во внимание и другие выражения мыслей и чувствований в наших движениях.

ЯЗЫК В ПРОЦЕССЕ МЫШЛЕНИЯ И В ПРОЦЕССЕ РЕЧИ

Процесс мышления состоит, как я говорил, в образовании чувства соотношения между представлениями (простыми и сложными) как составными частями одной мысли. Отдельная мысль, образуемая объединением (в чувстве соотношения) одного представления с другим, называется суждением, именно положительным суждением (а также утвердительным суждением) по отношению, как к процессу образования этой мысли, так и по отношению к результату этого процесса. Точно так же отдельная мысль, образуемая отделением (в чувстве соотношения) одного представления от другого, называется суждением, именно отрицательным суждением, по отношению к процессу ее образования и к результату процесса. Всякому суждению, как положительному, так и отрицательному, предшествует, как я сказал, ассоциация представлений, а в явлениях психической ассоциации различаются, как мы знаем, ассоциация по смежности и по сходству, поэтому всякое суждение основывается на ассоциации представлений или по смежности, или по сходству. В составных частях, или так называемых членах суждения, различаются подлежащее и сказуемое суждения. Подлежащим в суждении становится то представление, от которого отправляется процесс суждения, т. е. подлежащее суждения образует в процессе суждения первую часть данной мысли; сказуемым суждения является то представление, которое в процессе суждения сознается или как объединяющееся с представлением, данным в подлежащем, или как отделяющееся от него. Таким образом, в сказуемом суждения заключается представление того, что мыслится о предмете мысли, данном в подлежащем суждения.

Те суждения, которые интересуют нас по отношению к языку, т. е. суждения, в состав которых входят представления слов, могут, во-первых, быть такими, обоими членами которых являются

представления слов, и, во-вторых, такими, в которых представления слов образуют только один член суждения, между тем как другой член суждения дается не в представлении слова, а в другом представлении предмета мысли. Например, такое суждение, которое высказывается в словах *птица летит,* заключает в обеих частях, в обоих членах суждения, представления слов, но, например, в суждении, которое высказывается словом *птица* или *летит,* один из членов суждения (если при этом не подразумевается другое слово) заключается не в представлении слова, а, например, в непосредственном представлении предмета мысли. Значит, в законченной речи как в выражении мысли могут различаться: 1) речь как выражение мысли законченной и 2) речь как выражение части мысли. Понятно, что суждения, выражающиеся в той и другой речи как суждения, т. е. по отношению к процессу мышления, совершенно одинаковы. Поэтому они, будучи рассматриваемы как суждения в речи, могут получить одно общее название, как скоро мы пожелаем отличить эти суждения — суждения, выражаемые в речи, — от других. Именно они могут быть называемы предложениями, без отношения к тому, являются ли они в речи законченными или нет. Но по отношению к языку речь как выражение законченной мысли и речь как выражение части мысли представляют, понятно, существенное различие между собой, и потому, как скоро мы берем термин «предложение» для обозначения «суждения в речи», то в языковедении, т. е. с точки зрения языка, мы не можем одинаково называть предложением суждение, законченное в речи, и суждение, не законченное в речи; поэтому, если мы оставляем этот термин «предложение» за всяким суждением в речи, не давая ему более специального значения, то с точки зрения языка мы все же должны различать предложения полные, т. е. суждения, законченные в речи, и предложения неполные, т. е. суждения, не законченные в речи, выражающей лишь часть данной мысли. Значит, когда я говорю, например, *правда,* то это слово является предложением неполным, таким, где дан один член суждения, тогда как, например, сочетание отдельных слов *это правда* представляет предложение полное, такое, где даны оба члена суждения.

Мы видели, что в суждениях различаются суждения положительные (утвердительные) и отрицательные; следовательно, и предложения по отношению к процессу мышления, в котором они возникают, также являются или положительными (утвердительными), или отрицательными. Вместе с тем и по отношению к процессу речи предложения представляют также известные различия. Речь как выражение мысли в произносимых нами словах или как обнаружение в произносимых звуках речи представлений слов, вступающих в мышлении, в суждении в известные сочетания, обращается к другому лицу, и по различию тех побуждений, которые заставляют нас обнаруживать, выражать для другого лица нашу мысль, в такой речи, а потому и в предложениях существуют

известные различия. Побуждением к тому, чтобы выразить свою мысль другому лицу, может быть: 1) намерение передать свою мысль другому лицу, вызвать в нем соответственную мысль, 2) намерение повлиять на волю другого лица, т. е. намерение выразить известное чувствование, именно желание побудить другое лицо к известному действию, и 3) намерение выразить, обнаружить другие чувствования (помимо желания повлиять на волю другого лица), соединяющиеся с мыслью говорящего. В первом случае речь носит название речи повествовательной, а предложения, составляющие ее, называются повествовательными. Во втором случае речь может быть называема побудительной в широком смысле этого термина и в свою очередь бывает двух родов: 1) речью так называемой повелительной, или, точнее, побудительной в тесном смысле этого термина (собственно повелительной и просительной), и 2) речью вопросительной. Повелительная речь имеет мотивом, побуждением стремление склонить другое лицо к исполнению того, что в мысли говорящего является желаемым или требуемым от другого лица, а вопросительная речь своим побуждением имеет стремление вызвать другое лицо обнаружить в своей речи мысль о том, что говорящий в своей речи выражает как являющееся в его мысли неизвестным или вызывающим сомнение. Соответственно с этим как предложения в речи повествовательной называются повествовательными, так и в последних двух видах речи различаются предложения повелительные (собственно повелительные и просительные), например *берите!, молчать!,* и вопросительные, например *правда это?.*

Речь, имеющая мотивом, побуждением намерение обнаружить другие чувствования говорящего, соединяющиеся с его мыслью, называется речью восклицательной в тесном смысле этого термина (а иначе восклицательной речью называют также и повелительную речь). Предложения в такой речи являются, следовательно, восклицательными, например *молодец!.*

Итак, речь как выражение наших мыслей вместе с тем может заключать в себе и выражение чувствований, испытываемых говорящим; чувствования говорящего выражаются не только в речи восклицательной и побудительной (как повелительной, так и вопросительной), но, кроме того, могут быть выражаемы говорящим также и в речи повествовательной, именно, как мы видели, при посредстве знаков речи (см. выше). Речь как выражение чувствований может заключать в себе и такие слова, которые не входят в состав предложений, т. е. вовсе не принадлежат речи как выражению мыслей. Такими словами являются междометия (например, *ах!, эй!)* и слова-воззвания (например, *Ваня!).* Относительно первых я говорил уже, что это — знаки языка для выражения наших чувствований. Что же касается слов-воззваний, то они представляют собой такое видоизменение в речи (при посредстве знака речи) известных слов, являющихся в языке знаками

для мысли, при котором эти слова выражают желание говорящего возбудить к себе, к своей речи внимание того лица, которое обозначается данным словом .как знаком для мысли. Междометия и слова-воззвания могут быть называемы вместе словами-восклицаниями; слова-восклицания составляют, следовательно, такой отдел речи (не повествовательной), который не образует предложения, т. е. не выражает суждения.

Речь, обращенная к другому лицу, есть речь намеренная, но произнесение слов может быть также и «невольным», не для другого лица; такая речь является, как мы знаем, тогда, когда движения органов речи, связывающиеся с представлениями слов, получают независимо от нашей воли силу, вполне достаточную для образования звуков речи. Невольное выражение мысли в произносимых словах может быть названо «мышлением вслух», так же как, с другой стороны, мышление в представлениях слов мы можем называть «умственной» или «внутренней речью».

СЛОВА ЯЗЫКА

Я обращаюсь теперь к общему обзору фактов, явлений языка. Язык состоит из слов, которые, за исключением лишь некоторых, вступают между собой в сочетания в суждениях, в предложениях; поэтому в словах языка мы должны различать слова отдельные и слова в их сочетаниях в мышлении, а потому и в речи, в предложениях. Сочетание одного слова с другим в предложении образует то, что я называю, в отличие от отдельных слов, словосочетанием. Последнее может быть законченным, представляющим целое, законченное предложение, и незаконченным, представляющим часть другого словосочетания, законченного. Например, слова *хорошая погода* являются не отдельными словами, а известным словосочетанием, как скоро они даются в речи вследствие сочетания в мышлении одного из этих слов с другим словом, как с частью предложения. Взятое нами для примера словосочетание *хорошая погода* само по себе, как законченное словосочетание, есть предложение, но оно же явится словосочетанием незаконченным, т. е. образующим часть другого словосочетания, например в словосочетании *настала хорошая погода.*

ОТДЕЛЬНЫЕ СЛОВА ЯЗЫКА

Мы остановимся сперва на отдельных словах языка, а по отношению к ним мы должны прежде всего определить, что такое слово как известная единица в языке, т. е. что представляет отдельное целое слово в отличие от ряда слов, соединенных одно с другим, а также и в отличие от каких-либо частей в слове.

Всякий звук речи, имеющий в языке значение отдельно от других звуков, являющихся словами, есть слово; например, в русском языке звук речи *а* представляет собой отдельное слово,

так как этот звук *а* имеет у нас известное значение (союз *а*) отдельно от других звуков, являющихся словами. Обыкновенно, как я сказал, слово состоит из нескольких звуков речи, т. е. представляет известный комплекс звуков речи, и в этом случае отдельным словом является такой комплекс звуков речи, который имеет в языке значение отдельно от других звуков и звуковых комплексов, являющихся словами, и который при этом не разлагается на два или несколько отдельных слов без изменения или без утраты значения хотя бы той или другой части этого звукового комплекса. Например, в русском языке комплекс звуков речи *книга* есть одно слово, так как не разлагается на какие-либо другие слова. Точно так .же, например, звуковой комплекс *неправда* (ложь) представляет одно слово, хотя это слово по составу не простое, так как, будучи разложено на отдельные слова *не* и *правда,* теряет данное значение.

Так как словами являются звуки речи в их значениях, то поэтому различия в звуковой стороне образуют различия самих слов, хотя бы значения таких слов и совпадали (как совпадают, например, значения слов *неправда* и *ложь,* которые тем не менее представляют собой два различных слова), если только при этом различие в звуковой стороне не есть такое частичное (т. е. касающееся части звуковой стороны), которое сознается говорящими как видоизменение в части звуков одного и того же слова, не изменяющее значения этого слова; таково, например, в русском языке частичное различие в звуковой стороне слова *зимою* и *зимой* или слова *под* и *подо.* Видоизменение в части звуков одного и того же слова может существовать потому, что отдельные слова, вступая в сочетания между собой, подвергаются при этом по отношению к звуковой стороне влиянию одного слова на другое слово; кроме того, могут влиять и различия в темпе речи. С другой стороны, так как словами являются звуки речи не сами по себе, но в их значениях, то поэтому тождество звуковой стороны при различии в значении не образует еще, понятно, тождества самих слов (например, в таких случаях в русском языке *мой* — местоимение = meus и *мой* — повелительное наклонение от глагола *мыть* или *бес* и *без),* если. только при этом различие в значении не есть такое, которое сознается говорящими как видоизменение значения одного и того же слова. Одно и то же слово с видоизменением его значения является в языке тогда, когда различные значения, соединяющиеся с одной и той же звуковой стороной слова, связываются между собой в сознании говорящих так, что при этом одно значение сознается или как ограничение, специализирование другого, более общего значения, или как распространение, обобщение другого значения, или как перенесение слова как знака о одного предмета мысли на другой предмет мысли, как связанный о первым в известном отношении. Например, слово *город* со значением города вообще, а для нас, жителей Москвы, также и со значением «Москва» Представляет собой одно и то же слово с видоиз-

менением значения, поскольку мы сознаем в слове *город* значение «Москва» как ограничение, специализирование другого значения. С другой стороны, например, слово *язык* со значением «совокупность слов» и *язык* со значением «совокупность каких бы то ни было знаков для выражения мысли» является одним и тем же словом с видоизменением значения, как скоро последнее значение сознается как распространение, обобщение первого значения. Распространение, обобщение значения слова предполагает предшествующее перенесение слова как знака с одного предмета мысли на другой, как однородный с первым в известном отношении, и в нашем примере обобщению значения слова *язык* предшествовало перенесение этого слова как знака. Но не всякое перенесение слова как знака (т. е. перенесение значения слова) с одного предмета на другой ведет за собой распространение и обобщение значения слова. Например, в слове *подошва* в выражении *подошва горы* мы сознаем перенесение собственного значения слова *подошва,* но это перенесение слова как знака с одного предмета мысли на другой, однородный с ним в известном отношении, не ведет за собой в данном случае обобщения значения слова *подошва.* Одно и то же слово, представляющее известное видоизменение значения, с течением времени в истории языка может обратиться в различные слова, имеющие тождественную звуковую сторону, как скоро различные значения слова в их изменениях настолько удалятся в истории языка одно от другого, что уже не связываются между собой в сознании говорящих как видоизменения значения одного слова (например, *город с* значением города вообще, а также того или другого города, в частности и *город* с значением известной части Москвы). В языковедении, которое имеет задачей, как мы знаем, исследование языка в его истории, слово с различными значениями в его отличие от различных слов, имеющих тождественную звуковую сторону, может быть определяемо и по отношению к истории языка, а именно: мы можем определить одно слово с различными значениями и такой комплекс звуков речи (или такой звук речи), в котором в данном периоде жизни языка уже соединяются значения, не связывающиеся между собой в сознании говорящих, если только эти различные значения в истории языка оказываются видоизменениями значения одного и того же слова.

В отдельных словах языка различаются слова полные, слова частичные и междометия. Мы остановимся сперва на полных словах.

ПОЛНЫЕ СЛОВА

Полные слова обозначают предметы мысли и по отношению к предложениям образуют или части предложений, или целые предложения. Например, в русском языке слово *дом* является полным словом, обозначающим известный предмет мысли, и образует часть

предложения, хотя бы получалось в речи неполное предложение (последнее является, когда, например, при виде известного предмета я образую суждение и высказываю его в слове *дом,* причем, следовательно, один член этого суждения дан не в представлении слова). А, например, такие полные слова в русском языке, как *иди, морозит,* образуют целые предложения, так как каждое из них обозначает известные предметы мысли в их сочетании в суждении. Полные слова последнего рода, в их отличие от других, я называю словами-предложениями и буду говорить об них впоследствии, после того как скажу о формах слов, так как для существования таких полных слов требуется присутствие в них известных форм, между тем как полные слова, являющиеся знаками отдельных предметов мысли и образующие части предложений, не предполагают сами по себе присутствия в них каких бы то ни было форм.

Отдельными предметами мысли, обозначаемыми полными словами, являются или признаки, различаемые в других предметах мысли, или вещи, предметы как вместилища известных признаков. Признаки предметов мысли, обозначаемые в словах, могут быть как признаками, существующими независимо от данной речи, данной мысли, так и признаками, являющимися именно при существовании данной речи, данной мысли, т. е. могут быть отношениями предметов мысли к данной речи, мысли (к лицу говорящему, думающему, к предмету его речи, мысли). Соответственно с этим в полных словах различаются знаки двоякого рода: слова-названия и слова-местоимения; последние обозначают или вещи, предметы по их отношениям к данной речи, к данной мысли (например, в русском языке *ты, он, этот),* или самые отношения данных предметов мысли к данной речи, мысли (например, *этот* или *тот* в соединении с названием известного предмета). В тех признаках предметов мысли, которые обозначаются в словах-названиях, различаются признаки, представляющиеся без отношения к их изменениям во времени, и признаки в их изменениях во времени; к первым принадлежат: качество, количество, различные отношения предметов мысли, ко вторым — действия и со-. стояния. Те слова-названия, которыми обозначаются или самые признаки второго рода (действия и состояния), или вещи, предметы как вместилище таких признаков, могут быть называемы по их значениям для отличия от других слов-названий глагольными словами, без отношения к тому , являются ли они по форме глаголами или именами (т. е. в русском языке к глагольным словам по значению, без отношения к форме, принадлежат, например, не только *ношу, носить,* но также, например, и *ноша).*

Те слова-названия, которыми обозначаются вещи, предметы, т. е. вместилища признаков, могут быть знаками двоякого рода: или 1) названиями общими, нарицательными именами (неглагольными и глагольными), или 2) названиями собственными, собственными именами. Общие названия обозначают те или другие

предметы мысли как вместилища признаков и вместе с тем соозначают и самые эти признаки, а собственные названия, собственные имена, обозначают индивидуальные вещи, предметы без отношения к их признакам, в самой их индивидуальности, поскольку такое обозначение предметов представляет интерес для говорящих. Собственные названия, или собственные имена, не должно смешивать с общим названием такой вещи, такого предмета, который известен нам в опыте как единичный; например, слово *солнце,* хотя в непереносном значении и представляет предмет единичный, является, однако, не собственным именем, а общим названием, обозначающим данный предмет в его признаках, и потому то же значение это слово сохраняет и тогда, когда мы представляем себе существование многих солнц.

Полные слова-Названия, обозначающие предметы одушевленные или представляемые одушевленными, могут изменяться в речи, как я говорил, в слова-воззвания и в этом видоизменении не принадлежат уже к предложениям, существуют вне их, хотя бы предмет, обозначенный в воззвании, являлся вместе с тем и предметом данной мысли (например, *Коля, иди!).*

ФОРМЫ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛНЫХ СЛОВ

Отдельные полные слова могут иметь формы, а так как учение о всяких формах языка образует тот отдел языковедения, который называется грамматикой, то потому формы языка представляют собою так называемые грамматические факты языка и различия слов в формах являются поэтому так называемыми грамматическими различиями слов.

Формой отдельных слов в собственном значении этого термина называется, как мы видели уже, способность отдельных слов выделять из себя для сознания говорящих формальную и основную принадлежность слова. Формальной принадлежностью слова является при этом та принадлежность звуковой стороны слова, которая видоизменяет значение другой, основной принадлежности этого слова как существующей в другом слове или в других словах с другой формальной принадлежностью, т. е. формальная принадлежность слова образует данное слово как видоизменение другого слова, имеющего ту же основную принадлежность, с другой формальной принадлежностью. Формами полных слов являются, следовательно, различия полных слов, образуемые различиями в их формальных принадлежностях, т. е. в тех принадлежностях, которые видоизменяют значения других, основных принадлежностей тех же слов.

Основная принадлежность слова в форме слова называется основой слова. Понятно, что для того, чтобы выделялась в слове для сознания говорящих известная принадлежность звуковой стороны слова в значении формальной принадлежности этого слова, требуется, чтобы та же принадлежность звуковой стороны и с

тем же значением была сознаваема говорящими и в других словах, т. е. в соединении с другой основой или с другими основами слов, причем, следовательно, различные основы сознаются как однородные в их значениях в известном отношении, именно по отношению к тому, что видоизменяется в этих значениях данной формальной принадлежностью слов.

Таким образом, всякая форма в слове является общей для слов с различными основами, и вместе с тем всякая форма в слове соотносительна с другой, т. е. предполагает существование другой формы, с другой формальной принадлежностью, но с теми же основами слов, т. е. с теми же их основными принадлежностями. Так, например, слово *несу* в русском языке заключает в себе известную форму, общую ему, например, со словами *веду, беру,* поскольку в этом слове выделяется для сознания формальная принадлежность *-у,* общая ему, например, с словами *веду, беру, а* также поскольку выделяется основа *нес-,* как данная в другом слове или в других словах с другой или с другими формальными принадлежностями, например, в словах *нес-ешь, нес-ет* (где являются другие формальные принадлежности слов), причем, следовательно, основа *нес-* сознается как однородная по значению с основами *вед-, бер-* и другими. Формальные принадлежности слов в их формах могут быть не только положительными, состоящими из известной принадлежности звуковой стороны в качестве формальной принадлежности слов, но и отрицательными, причем самое отсутствие в слове какой бы то ни было положительной формальной принадлежности может само сознаваться говорящим как формальная принадлежность этого слова в известной форме (общей ему с другими словами) по отношению к другой форме или другим формам, где являются положительные формальные принадлежности в соединении с теми основами слов, которые в данной форме не имеют при себе никакой положительной формальной принадлежности слов. Например, в русском языке слова *дом, человек* заключают в себе известную форму, называемую именительным падежом, причем формальной их принадлежностью в данной форме является самое отсутствие в них какой-либо положительной формальной принадлежности по отношению этих слов *дом, человек,* например, к словам *дома, человека,* заключающим в себе другую форму, называемую родительным падежом; в последних словах — *дом-а, человек-а* — является положительная формальная принадлежность слов *-а* в соединении с теми основами *дом-, человек-,* которые в форме именительного падежа в *дом, человек* оказываются не имеющими при себе никакой положительной формальной принадлежности слова.

Слово может заключать в себе более одной формы, так как в основе слова, имеющего форму, могут в свою очередь выделяться для сознания говорящих формальная принадлежность и основа. Например, в русском языке слова *беленький, красненький,* имеющие известную форму целого слова, общую им со словами *белый, крас-*

ный, заключают и в основах *беленьк-, красненьк-* также известную форму, так как в этих основах выделяется для сознания говорящих формальная принадлежность *-еньк-* и основы *бел-, краен-* (с л и « мягкими), а эти основы известны без данной формальной принадлежности в словах *белый, красный*.

Формальные принадлежности полных слов, видоизменяя известным образом значения различных основ, как однородных в известном отношении, вносят, следовательно, в слова известные общие изменения в значениях, т. е. при посредстве различий в формах полных слов обозначаются в данных предметах мысли различия, общие этим предметам мысли, как принадлежащим к одному классу в известном отношении. Вместе с тем и самые слова, имеющие формы, обозначаются при посредстве этих форм по отношению к различиям в известных классах слов как знаков предметов мысли. Надо заметить, что термин «форма» в применении к словам употребляется также и в переносном значении и формами отдельных полных слов называют также отдельные полные слова в их формах; например, самые слова *несу, беру* и другие, заключающие в себе форму первого лица единственного числа настоящего времени, могут быть названы просто формами первого лица единственного числа и т. д.

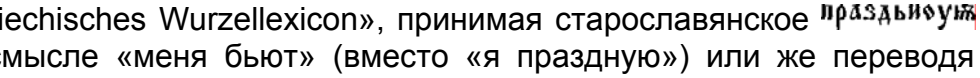
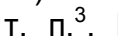
Формы отдельных полных слов не составляют необходимой принадлежности языка, хотя что касается известных нам языков, существовавших и теперь существующих, то в громадном большинстве их мы находим в отдельных полных словах формы. Есть, однако, и в настоящее время такие языки, в которых отдельные слова не имеют никаких форм; к таким языкам принадлежит, например, китайский язык. Что же касается тех языков, которые имеют в отдельных полных словах формы, то понятно, конечно, что между этими языками существуют различия по отношению к этим формам отдельных полных слов.

Приступая к изучению какого-либо языка, имеющего формы отдельных полных слов, лингвист должен остерегаться того, чтобы не предполагать без проверки существования в этом языке именно таких форм слов, какие известны ему из других языков. Различие между языками в формах отдельных слов может касаться не одних только значений форм, но и самого способа образования форм в словах; например, индоевропейские языки в этом отношении резко отличаются, например, от языков семитских или так называемых урало-алтайских языков, точно так же как семитские и урало-алтайские языки в свою очередь резко различаются между собой в этом отношении, т. е. по отношению к способу образования форм отдельных слов.

И. А. БОДУЭН ДЕ КУРТЕНЕ

НЕКОТОРЫЕ ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ О ЯЗЫКОВЕДЕНИИ И ЯЗЫКЕ[1]

...Главные условия осуществления науки в своем уме следующие: достаточное количество материала и надлежащий научный метод.

Достаточным количеством материала можно запастись, только изучая явления, образуя из них научные факты и таким образом определяя предмет исследования, стало быть, в применении к языку, изучая практически языки, о категориях которых мы желаем составить себе научное понятие и исследовать и рассуждать теоретически[2]. Только обладая практическим знанием языков, о которых рассуждаешь, можно наверное избегнуть таких ошибок, какие сделал Бенфей (Th. Benfey) в своем «Griechisches Wurzellexicon», принимая старославянское  (ferior) в смысле «меня бьют» (вместо «я праздную») или же переводя  (furor) словом toben (неистовствовать, делать шум) вместо stehlen (красть) и т. п.[3]. Но для наших целей достаточно знание языков, их понимание; свободное же владение ими в разговорной речи и в письме, хотя весьма желательно[4], но не необходимо[5]

[1] Журнал Министерства народного просвещения, Спб., 1871.

[2] «Я, как «эмпирический глоттик», — говорит Шлейхер, — твердо убежден в том, что одно только дельное знание языков может быть основанием занятий языковедением и что прежде всего надобно стремиться к тому, чтобы, сколько возможно, ознакомиться с языками, которые избраны предметом исследования. Только на основании солидного, положительного знания можно сделать нечто дельное в нашей науке. Didicisse juvat. Итак, кто хочет посвятить себя индогерманскому языковедению, тот должен прежде всего основательно изучать все старшие индогерманские языки, читать тексты и т. д. Кто некоторые из них оставляет в стороне, думая, что они менее важны, тот, несомненно, будет после сожалеть об этом» (Die Wurzel AK im Indogermanischen. Von Dr. Johannes Schmidt. Mit einem Vorworte von August Schleicher, Weimar, 1865 стр. IV).

[3] Aug. Schleicher, Die Formenlehre der Kirchenslavischen Sprache, etc., Bonn, 1852, стр. XI.

[4] В особенности желательно развить в себе чутье для изучаемых языков, даже в такой степени, в какой общее образование прежних времен (XVI и XVII века в Западной Европе) давало тонкое чутье для так называемых классических языков, латинского и греческого, преимущественно же для латинского языка.

[5] Знание и понимание языков отличается от владения ими более или менее настолько, насколько знание физиологических процессов отличается от их совершения (разумеется, что большое различие родов предметов обусловливает неточность этого сравнения).

Рядом с собиранием материала идут научные приемы, научный метод: 1) в исследовании, в выводах из фактов, 2) в представлении результатов науки и в сообщении их другим, в преподавании. Сюда следует отнести упражнения всякого рода, пособия, вспомогательные средства, как, например, перевод с одного языка на другой или же перевод форм одного в формы другого (перевод морфологический и фонетический) и т .п.

Предмет наших, занятий не искусство, не практика, не техника, а преимущественно наука, теория, научное знание, понимая отдельную науку в том смысле, что она есть упражнение человеческого ума над суммой (комплексом) однородных в известной степени фактов и понятий.

Но и теоретическое исследование языка может быть разнородно, смотря по тому, как понимаются задачи науки и какой метод применяется для их решения. Не говоря о чисто практическом направлении, имеющем целью свободное владение чужими языками с возможно большей беглостью при возможно меньшей рефлексии (что составляет прямую противоположность науке, требуя страдательного отношения к чужим языкам и способности подражать, между тем как цель науки — сознавать и обладать фактами на основании самостоятельной рефлексии), и о чем мы говорили при разборе лингвистических искусств[1], в исторически развившемся, сознательном, научном исследовании языков и речи человеческой вообще можно отличить три направления.

1. Описательное, крайне эмпирическое направление, ставящее себе задачей собирать и обобщать факты чисто внешним образом, не вдаваясь в объяснение их причин и не связывая их между собой на основании их сродства и генетической зависимости. Приверженцы этого направления видят всю мудрость науки в составлении описательных грамматик и словарей и в издании памятников, в приготовлении материала без всяких выводов, кажущихся им почему-то слишком смелыми или же преждевременными. Это проистекает частью вследствие чересчур строго критического и скептического склада ума, отвергающего без всяких дальнейших околичностей настоящую науку, из опасения сделать ошибку в выводе или же высказать гипотезу, которая со временем может показаться несостоятельною, частью же это следует приписать умственной лени и желанию избавиться от необходимости давать себе добросовестный отчет в пользе и цели накопления материала, желанию, низводящему, таким образом, науку на степень эмпирических занятий и какой-то бесцельной игрушки. Эти ученые отсылают объяснение фактов ad acta, ad meliora tempora[2] и тем

[1] И для человека, занимающегося теоретической стороной языковедения, весьма полезно усвоить себе возможно обширное знание разных языков, как я уже заметил выше.

[2] Ad acta, ad meliora tempora (лат.) — до лучших времен.

временем упускают из виду то важное обстоятельство, что, ставя себе конечной целью представление подробностей и их примитивное, рабское, чисто внешнее объяснение, можно быть очень полезным, но не для самого себя (т. е. не для собственного знания) и не для науки непосредственно, а только для других исследователей, насколько добросовестно собирается и приготовляется для них достоверный материал. Разумеется, что, желая избежать положения науки, о котором можно бы справедливо заметить, что из-за деревьев леса не видно, нельзя никак ограничиваться задачами и вопросами, рекомендуемыми этим направлением[1]. Тем не менее как первый шаг в науке, как подготовка, описательные операции необходимы; причем первым условием является точное и добросовестное наблюдение, которое на степени совершенства встречается только у немногих, так как все смотрят, но не каждый видит. Хорошие описательные грамматики, издания памятников и словари останутся навсегда насущной потребностью нашей науки, и без них даже самым гениальным теоретическим выводам будет недоставать фактического основания.

2. Совершенную противоположность этому скромному и сдержанному направлению составляет направление резонирующее, умствующее, априористическое, ребяческое. Люди этого направления чувствуют потребность в объяснении явлений, но берутся за это дело не так, как следует. Они придумывают известные начала, известные априористические принципы, как в общем, так и в частностях, и под эти принципы подгоняют факты, поступая с ними крайне бесцеремонно. Здесь источник разнороднейших предвзятых грамматических теорий как по отношению к развитию самого же языка, так и в применении лингвистических выводов к другим областям знания, к истории, к древности, к мифологии, к этнографии и т. п. Здесь источник всевозможных бесчисленных произвольных объяснений и выводов, не основанных на индукции и свидетельствующих иногда об отсутствии здравого смысла у их виновников. Кому не известны курьезные этимологии, за которые так и хотелось бы поместить самих господ этимологов в дом умалишенных? Как алхимики старались отыскать первобытное тело, из которого развились все остальные, или же таинственную универсальную всемогущую силу, так же точно и некоторые из представителей априористического направления в языковедении пытались из одного или же нескольких созвучий вывести все богатство человеческой речи. Но настоящей алхимией теперь никто не занимается, лингвистические же алхимики до сих пор не исчезли, и вообще мало надежды на скорое изгнание из области языковедения господства воображения и произвола.

В новейшее время априористическое направление в языковедении создало так называемую философскую школу,

[1] Естественным следствием этого направления является узкий партикуляризм, отрицающий уместность сравнения сходных явлений разных языков и ограничивающийся пределами одного языка.

которая, основываясь на умозрении и ограниченном знании фактов, стала строить грамматические системы, вкладывая явления языка в логические рамки, в логические схемы. Конечно, такого рода системы могут представлять более или менее удачные измышления ученых умов, произведения логического искусства, отличающиеся гармонией и стройностью; но, насилуя и искажая факты на основании узкой теории, они не более и не менее как воздушные замки, которые не в состоянии удовлетворять требованиям людей, думающих положительно.

Если описательное, крайне эмпирическое направление только старается задерживать развитие науки, то вышеупомянутое априористическое, произвольное, ребяческое направление сталкивает его на ложные пути, и поэтому оно положительно вредно.

3. Истинно научное, историческое, генетическое направление считает язык суммой действительных явлений, суммой действительных фактов и, следовательно, науку, занимающуюся разбором этих фактов, оно должно причислить к наукам индуктивным. Задача же индуктивных наук состоит: 1) в объяснении явлений соответственным их сопоставлением и 2) в отыскивании сил и законов, т. е. тех основных категорий или понятий, которые связывают явления и представляют их как беспрерывную цепь причин и следствий. Первое имеет целью сообщить человеческому уму систематическое знание известной суммы однородных фактов или явлений, второе же вводит в индуктивные науки все более и более дедуктивный элемент. Так точно и языковедение, как наука индуктивная, обобщает явления языка и отыскивает силы, действующие в языке, и законы, по которым совершается его развитие, его жизнь. Разумеется, что при этом все факты равноправны и их можно признавать только более или менее важными, но уж никак нельзя умышленно не обращать внимания на некоторые из них, а ругаться над фактами просто смешно...

Многими признается «сравнение» как особенный, отличительный признак новейшей науки языка, и поэтому они весьма охотно и почти исключительно употребляют названия «сравнительная грамматика», «сравнительное исследование языков» (vergleichende Sprachforschung), «сравнительное языковедение» (vergleichende Sprachwissenschaft), «сравнительная филология» (philologie comparée) и т. п. Мне кажется, что в основании этого взгляда лежит известная узкость и исключительность и что, принимая во внимание мотивы «сравнительных» грамматиков и «сравнительных» исследователей языка, нужно было бы последовательно названия всех наук украсить эпитетом «сравнительный» и говорить о сравнительной математике, сравнительной астрономии, сравнительной географии, сравнительной истории, сравнительной политической экономии и т. д. Ведь сравнение есть одна из необходимых операций всех наук, на нем основывается процесс мышления вообще; ведь математик сравнивает величины и только этим добывает данные для своих синтетических и дедуктивных соображений; ведь

историк вообще, только сравнивая различные фазисы развития известного рода проявлений человечества, может делать кое-какие выводы, и т. д. Роль же, которую играет сравнение в языковедении, оно играет и во всех индуктивных науках; только при помощи сравнения можно обобщать факты и пролагать дорогу применению дедуктивного метода. С другой, однако же, стороны, название «сравнительная грамматика» имеет историческое значение: оно обязано своим происхождением новой школе, новому направлению, сделавшему громадные открытия. Сравнение означало здесь сравнение родственных языков (и вообще сравнение языков по их сходствам и различиям)[1], но никак не сравнение фактов языка вообще, так как это последнее составляет необходимое условие всякого научного разбора языка. Подобное историческое значение имеют названия «сравнительная анатомия», «сравнительная мифология» и т. п. Но все-таки это только один момент в истории науки, момент, в который сравнение в неизвестном до сих пор с научной точки зрения направлении привело к громадным и совершенно новым результатам. Если же называть науку не по преходящим ее направлениям, а также и не по известным совершаемым в ней ученым операциям, а по предмету исследования, в таком случае, наподобие «естествоведения», самое уместное название для науки, предметом которой служит язык, будет не сравнительная грамматика, не сравнительное языковедение, не объяснительная грамматика (erklärende Grammatik)[2], не объяснительное языковедение (erklärende Sprachwissenschaft), не (сравнительная) филология[3] а просто или исследование языков и речи человеческой вообще, или языковедение (языкознание), или же, наконец, лингвистика (глоттика). Это название ничего не предрешает, а только указывает на предмет, из области которого берутся научные вопросы. Впрочем, можно называть науку как кому угодно и в особенности можно титуловать ее «сравнительной», лишь бы только знать, что сравнение здесь не цель, а только

[1] В последнее время начинает обнаруживаться в науке стремление сравнивать научным образом язык людей с языком животных, и от этого сравнения можно ожидать совершенно новых результатов.

[2] Как известно, объяснение явлений составляет сущность стремлений всех наук, и поэтому оно не может считаться исключительным свойством одной или некоторых из них.

[3] Отождествлять филологию с языковедением — значит, с одной стороны, суживать круг ее вопросов (так как филология занимается всеми проявлениями душевной жизни известного народа, а не только языком), с другой же стороны — слишком расширять этот круг (так как филология ограничивается до сих пор известным народом или же группою народов, а языковедение в общей сложности исследует языки всех народов). Впрочем, филология, как она развилась исторически, представляет не однородную, цельную науку, а собрание частей разных наук (языковедения, мифологии, истории литературы, истории культуры и т. п.), соединенных в одно целое тождеством носителей разнородных явлений, в разборе которых состоят научные вопросы и задачи филологии. Отсюда филология классическая (греко-латинская), санскритская, германская, славянская, романская и др.

одно из средств[1], что оно есть не исключительная привилегия языковедения, а общее достояние всех без исключения наук.

Я заметил выше, что языковедение исследует жизнь языка во всех ее проявлениях, связывает явления языка, обобщает их факты, определяет законы развития и существования языка и отыскивает действующие при этом силы.

Закон является здесь формулированием или обобщением того, что при таких-то и таких-то условиях, после того-то и того-то является то-то и то-то, или же что тому-то и тому-то в одной области явлений, например в одном языке, соответствует то-то и то-то в другой области[2]. Так, например, один из общих законов развития языка состоит в том, что звук или созвучие более трудное заменяется с течением времени звуком или созвучием более легким или что из представлений более конкретных развиваются представления более абстрактные и проч. Из этих законов встречаются мнимые исключения, но при точном исследовании эти исключения оказываются обусловленными известными причинами, известными силами, которые воспрепятствовали причинам или силам, вызвавшим данный закон, расширить его и на кажущиеся исключения. Убедившись в этом, мы должны сознаться, что наше обобщение в законе было неточно и неполно и что к известному уже genus proximum закона следует прибавить еще ограничивающую differentia specifica[3]. Тогда станет ясно, что мнимое исключение составляет, собственно говоря, только подтверждение общего закона[4].

Общие причины, общие факторы, вызывающие развитие языка и обусловливающие его строй и состав, очень справедливо называть силами. Таковы, между прочим: 1) привычка, т. е. бессознательная память; 2) стремление к удобству, выражающееся: а) в переходе звуков и созвучий более трудных в более легкие для сбережения действия мускулов и нервов, б) в стремлении к упрощению форм (действием аналогии более сильных на более слабые), в) в переходе от конкретного к абстрактному для облегчения отвлеченного движения мысли; 3) бессознательное забвение и непонимание (забвение того, о чем сознательно и не знали, и непонимание того, чего созна-

[1] Есть ученые, которые в самом деле в сравнении для сравнения (искусство для искусства) видят всю мудрость языковедения, забывая о других гораздо более интересных сторонах ученой практики, вопросах, выводах и т. д.

[2] Здесь основание для различения законов развития во времени и законов, обусловливающих одновременное состояние известного предмета на всем его пространстве (или в каждый данный момент его существования, или же только в известное время), т. е. для различения того, что производит перемену от того, что составляет сущность и основание. Законы одного рода переходят в законы другого рода, взаимно обусловливаясь.

[3] Genus proximum (лат.) — ближайшее родовое понятие, differentia specifica (лат.) — специфическое отличие.

[4] Необходимые условия каждого научного закона следующие: а) относительно субъекта — определенность, ясность и точность; б) относительно объекта — общеприменимость.

тельно и не могли понимать), но забвение и непонимание не бесплодное, не отрицательное (как в области сознательных умственных операций), а забвение и непонимание производительное, положительное, вызывающее нечто новое поощрением бессознательного обобщения в новых направлениях; 4) бессознательное обобщение, апперцепция, т. е. сила, действием которой народ подводит все явления душевной жизни под известные общие категории. Эту силу можно сравнить с силой тяготения в планетных системах; как существуют известные системы небесных тел, обусловленные силой тяготения, так же точно и в языке существуют известные системы, известные семьи слов и других категорий языка, связанные силой бессознательного обобщения; как небесное тело, выйдя из области влияния одной планетной системы, движется в пространстве особняком, пока, наконец, не подвергнется влиянию новой системы, так же точно и известное слово или форма, связь которого или которой с другими тождественными или родственными забыта в чутье народа (или, как при словах заимствованных, когда самое слово или форма его не находились прежде ни в какой связи с данным языком), стоит особняком в языке, пока, наконец, оно или она не подвергнется влиянию новой семьи слов или же категории форм действием народного словопроизводства, аналогии и т. п.; 5) бессознательная абстракция, бессознательное отвлечение, бессознательное стремление к разделению, к дифференцировке. Как предшествующая сила представляет в языке силу центростремительную, так эту силу (бессознательной абстракции) можно сравнить со второй из двух сил, на которые разлагается сила тяготения вообще, как их равнодействующая, т. е. с силой центробежной[1].

[1] Кроме выше исчисленных и им подобных сил, действующих во всю жизнь языка, нужно на известной степени развития человечества допустить тоже как силу (хотя сравнительно не очень могущественную) влияние на язык человеческого сознания. Это влияние однообразит формы языка и по-своему совершенствует его, являясь, таким образом, следствием стремления к идеальному, о котором говорено было выше (при разборе лингвистических искусств). Хотя влияние сознания на язык проявляется вполне сознательно только у некоторых индивидуумов, но все-таки его последствия сообщаются всему народу, и, таким образом, оно задерживает развитие языка, противодействуя влиянию бессознательных сил, обусловливающих в общем более скорое его развитие, и противодействуя именно с целью сделать язык общим орудием объединения и взаимного понимания всех современных членов народа, равно как и предков и потомков. Отсюда застой в известной степени в языках, подверженных влиянию человеческого сознания, в противоположность скорому и безыскусственному течению языков, свободных от этого влияния. В связи с влиянием сознания находится (сознательное и бессознательное) влияние книг и литературы вообще на язык литературно-образованного народа (ср., между прочим, обусловленное привычкою влияние книг церковнославянских на произношение лиц духовного знания в православных славянских землях и т. п.), влияние грамотности на народный язык; например, влияние церковнославянского не только на состав, но и на строй народного русского языка; переход из книг и журналов в разговорный язык известных изречений в виде стереотипных фраз, становящихся обыкновенно

Почва, на которой происходит действие всех этих сил в языке, представляет две стороны:

1) чисто физическую сторону языка, его построение из звуков и созвучий, обусловленное органическим устройством на-

впоследствии избитыми, пошлыми (ср., между прочим, Zeitschrift für Völkerpsychologie und Sprachwissenschaft etc. von Lazarus und Steinthal, v. 106 — 109).

Иногда, несмотря на все усилия исследователей, нельзя открыть, действию каких сил, влиянию каких причин обязано своим существованием известное явление. В таком случае вопрос о причине этого явления следует оставить нерешенным, ожидая более, благоприятных обстоятельств, которые, может быть, сделают возможным объяснение этого явления в связи причин и следствий. Принимать возможность беспричинных явлений и в одно и то же время заниматься серьезно наукой нельзя последовательному уму. Несмотря на то, многие из ученых, занимающихся разбором разных проявлений так называемой внутренней жизни человечества, не только в тех случаях, где нельзя пока доискаться определенных причин, но даже там, где данное явление объясняется очень просто известными науке силами и законами, предпочитают этому естественному объяснению объяснение мистическое, вводя в науку вовсе не научные категории целесообразности, случайности, опеки всевозможных демонистических сил и т. п. Видеть в явлениях какую-то объективную цель как основание для их объяснения совершенно не научно. Говорить, например, что «каждый исторический народ живет для того, чтоб дать возможно полное проявление и развитие тем способностям и свойствам, которыми наделила его природа (!), чтобы создать особую культуру, принести и свою лепту в сокровищницу общечеловеческой образованности» — значит переносить в науку свои задушевные и, может быть, весьма благородные желания и этими задушевными и благородными желаниями и созданиями фантазии объяснять явления, — значит забывать, что развитие науки (другое дело — проповеди и мечты идеалистических деятелей) состоит из вопросов «почему?» (а не «для чего?») и из ответов «потому что» (а не «для того, чтобы»). Ученые этого ненаучного направления общий характер всех проявлений известного народа, обусловленных его природой и внешними влияниями, что называется обыкновенно культурой и цивилизацией, объясняют каким-то с облаков слетевшим «призванием». Эти апостолы всевозможных демонических сил весьма охотно говорят о «духе народа», «духе языка», «духе времени» (объясняя, например, духом времени отдельные явления) и т. п., не помня того, вполне справедливого, замечания Гете:

Was ihr den Geist der Zeiten heisst,
Das ist im Grund der Herren eigner Geist.
(«То, что духом времени зовут,
Есть дух профессоров и их понятий».
Перевод *Б. Пастернака.)*

Человек, думающий положительно, ставит себе прежде всего вопрос: aut... aut, то есть или допустить целесообразность, призвание, свободную волю, случай, догмат и т. п. прекрасные вещи как основание для объяснения явлений, или же не допустить их. Если мы хоть один раз только станем объяснять самое ничтожное явление целесообразностью, призванием, свободною волею, случаем, догматом и т. п., то последовательно мы должны будем допускать и всегда такое же объяснение и, таким образом, видя в действительности только кучу несвязных и ничем не соединенных явлений, уничтожать всякую причинность, уничтожать всякую науку. Еще раз повторяю, что принимать возможность беспричинных явлений и в одно и то же время не отвергать науки невозможно последовательному уму. Наука не делает ни малейших уступок; она требует холодного, свободного от предрассудков, отвлеченного мышления.

рода и подверженное беспрестанному влиянию силы косности (vis inertiae); 2) чутье языка народом. Чутье языка народом не выдумка, не субъективный обман, а категория (функция) действительная, положительная, которую можно определить по ее свойствам и действиям, подтвердить объективно, доказать фактами.

Борьба всех выше исчисленных сил обусловливает развитие языка. Разумеется, что этой борьбы и вообще действия сил в языке не следует понимать олицетворительно, так как наука оперирует не мифами, а чистыми представлениями и чистыми понятиями. Как законы, так и силы — не существа, даже не факты, а продукты умственной деятельности человека, имеющие целью обобщить и связать факты и найти для них общее выражение, общую формулу. Это не демонические идеи, рекомендуемые философами известного направления, а видовые понятия (Artbegriffe), которые тем совершеннее, чем более явлений можно подогнать под них, объяснить ими. С другой стороны, эти законы и силы, как и все вообще понятия и умственные категории, не единичны в своем составе, а являются равнодействующими бесчисленного множества соприкасающихся представлений и понятий.

Я воздерживаюсь от более подробного разбора сил и законов, так как 1) нет для этого времени и так как 2) это собственно предмет логики, как науки, рассматривающей условия познания и отвлеченной умственной деятельности вообще, и ограничусь только вопросом: можно ли общие категории языковедения[1] считать законами и силами в сравнении с законами и силами, разбором которых занимается физика и другие естественные науки? Разумеется, можно, ибо и силы и законы естественных наук не что иное, как объединяющие продукты умственной деятельности, как более или менее удачные обобщения.

Все превосходство их в том, что простота подходящих под них явлений и фактов и более продолжительное существование самих наук дозволили применить к ним математические вычисления и этим придать им высокую ясность и точность, между тем как очень сложные процессы, совершающиеся в языке, и недавнее существование самой науки языковедения задерживают ее обобщения на степени большей или меньшей шаткости и непостоянства. Это, однако же, не должно нас смущать, потому что и общие категории новейшего направления биологических, естественных наук (зоологии и ботаники) ничуть не точнее и не яснее в своих применениях; они являются только более или менее удачными обобщени-

[1] Нужно различать категории языковедения от категорий языка: первые представляют чистые отвлечения; вторые же — то, что живет в языке, как звук, слог, корень, основа (тема), окончание, слово, предложение, разные категории слов и т. п. Категории языка суть также категории языковедения, но категории, основанные на чутье языка народом и вообще на объективных условиях бессознательной жизни человеческого организма, между тем как категории языковедения в строгом смысле суть по преимуществу абстракции.

ями, а вовсе не силами и законами, если обсуждать их с той требовательностью, к какой мы привыкли при разборе законов и сил, составляющих принадлежность астрономии, физики, химии и проч.

Из вышеизложенного видно, что в языке сочетаются в неразрывной связи два элемента: физический и психический (разумеется, этих выражений нельзя принимать в смысле метафизического различия, а должно разуметь их просто как видовые понятия). Силы и законы и вообще жизнь языка основываются на процессах, отвлеченным разбором которых занимаются физиология (с анатомией — с одной и с акустикой — с другой стороны) и психология. Но эти физиологические и психологические категории проявляются здесь в строго определенном объекте, исследованием которого занимается исторически развившееся языковедение; большей части вопросов, которыми задается исследователь языка, никогда не касается ни физиолог, ни психолог, стало быть, и языковедение следует признать наукой самостоятельной, не смешивая его ни с физиологией, ни с психологией. Так же точно физиология исследует в применении к цельным организмам те же процессы, законы и силы, отвлеченным разбором которых занимаются физика и химия, однако ж все-таки никто не уничтожает ее в пользу этих последних наук[1].

Определив, хотя только самым приблизительным и неточным образом, род занятий нашей науки и научное направление, наиболее соответствующее современному ее пониманию, я постараюсь начертать план ее внутренней организации, т. е. представить ее общее разделение, как оно развилось исторически[2].

Прежде всего нужно отличить чистое языковедение, языковедение само по себе, предметом которого служит сам язык как сумма в известной степени однородных фактов, подходящих в своей общности под категорию так называемых проявлений жизни человечества, и языковедение прикладное,

[1] Ср., между прочим: Theodor Benfey, Geschichte der Sprachwissenschaft и т. д., стр. 8 — 9. Впрочем, все науки составляют в общем только одну науку, предметом которой служит действительность. Отдельные науки являются следствием стремления к разделению труда, основывающемуся, однако ж, на объективных данных, т. е. на большем или меньшем сходстве и родстве явлений, фактов и научных вопросов.

[2] Кроме настоящего языковедения, как исследования языка, в круг занятий лингвистов входят два рода оставленных здесь в стороне упражнений человеческого ума: 1) история языковедения (исследование развития лингвистических понятий и их осуществления в литературе и преподавательской деятельности), составляющая часть общей истории всех наук, но принадлежащая специально и всецело исследователям языка, так как а) только они могут питать для нее особенный интерес и так как б) только у них может найтись достаточная подготовка для того, чтобы представить историю их же науки надлежащим образом; и 2) лингвистическая пропедевтика, методика, теория научного искусства, теория технической стороны языковедения, задача которой состоит в представлении лучшего способа заниматься наукою и совершенствовать ее во всех отношениях (в представлении правил изучения, исследования и изложения).

предмет которого составляет применение данных чистого языковедения к вопросам из области других наук.

Чистое языковедение распадается на два обширных отдела:

А. Всесторонний разбор положительно данных, уже сложившихся языков.

Б. Исследование о начале слова человеческого, о первобытном образовании языков и рассмотрение общих психическо-физиологических условий их беспрерывного существования[1].

[1] Здесь кстати упомянуть об одном вопросе из области методики языковедения, так как это может способствовать более точному определению свойств задач и вопросов, рассматриваемых и исследуемых в отдельных частях чистой науки языковедения. Это вопрос о собирании материала и подготовительных ученых операциях, совершаемых в том и в другом отделе этой науки.

Материал для первого, положительного отдела чистого языковедения представляет три категории:

1. Непосредственно данный материал — живые языки народов во всем их разнообразии. Такой материал представляют языки, живущие и в настоящее время и доступные исследователю. Сюда следует отнести народный язык во всей его полноте, разговорный язык (речь) всех слоев общества данного народа, не только, тех, которые ходят в сермягах и зипунах, но и тех, что носят сюртуки, не только язык так называемого простонародья, то и разговорный язык так называемого образованного класса. (В новейшее время заметно стремление считать живым и достойным внимания науки языком только язык крестьян и т. п., а на язык презираемой «гнилой интеллигенции» не обращать никакого внимания. Это находится в связи с модным в настоящее время заочным платоническим поклонением господина во фраке мужику. Причиною же тому вечная конкретность и неспособность ученой толпы различать надлежащим образом теорию и практику Явления жизни народной объясняются в науке очень удачно бессознательными силами, следовательно, на практике необходимо идолопоклонство перед бессознательными силами: народ «в массе» никогда не ошибается (vox populi — vox dei), индивидуальность вредна, и ее необходимо уничтожать в объективном разуме толпы. Впрочем, не только так называемое простонародье, но и другие классы народа живут гораздо более как толпа, как стадо, нежели индивидуально. Особенно теперешнее время не очень-то богато истинными своеобразно и вполне сознательно и самостоятельно действующими, оригинальными, выдающимися личностями. Напротив того, XVIII век объяснял все преимущественно сознанием и свободною волею; следовательно, тогда ученая толпа поклонялась индивидуальному уму и разуму.) В состав этого рода материала входит язык всех без исключения сословий: мазуриков, уличных мальчишек, торговцев (например, офеней), охотников, мастеровых, рыбаков и т. д., язык разных возрастов (детей, взрослых, стариков и т. п.) и известных состояний человека (сообразно обстоятельствам жизни, например язык беременных женщин и т. и.); язык личностей, язык индивидуальный, язык семей и т. д. Кроме того, сюда принадлежат названия местностей, личные имена и т. п.; следы влияния данного языка на иностранные и наоборот (нечто вроде языковых окаменелостей) и т. д.

2. Памятники языка (в хронологическом порядке), письменность, литература, не в смысле эстетическом или культурном, а просто все следы языка в каких бы то ни было начертаниях. И теперешняя литература языков настоящего времени представляет только памятники, а не самый язык. При памятниках давно минувших времен палеография является необходимой помощницей языковедения. По памятникам нельзя никогда заключать вполне о языке соответствующего времени, и данные, почерпнутые из их исследования, нужно дополнять рассмотрением строя и состава данного языка в нынешнем его состоянии, если он существует, а если нет,

А. Положительное языковедение разделяется на две части: в первой язык рассматривается как составленный из частей, т. е. как сумма разнородных категорий, находящихся

то посредством дедуктивных соображений и сравнения с другими языками. Обыкновенно вернее передают состояние языка памятники народа не столько цивилизованного, нежели памятники народа литературно-объединенного и создавшего себе искусственный литературный язык и искусственное правописание. С этой точки зрения и в настоящее время важным материалом для языковедения служат, например, письма лиц, не знающих правил правописания и вообще неграмотных и необразованных, непосредственных. Памятники состоят не только из цельных произведений на известном языке, но также из отдельных слов и выражений, попавших в иностранную среду (ср. «О древнепольском языке до XIV столетия». Сочинение И. Бодуэна де Куртене. Лейпциг, 1870, § 1 — 3). Если исследование живого языка можно справедливо сравнить с зоологией и ботаникой, то зато сравнение разбора памятников с палеонтологией будет совершенно неточно; так как язык не организм и слова не части организма, следовательно, они не могут оставлять видимых отпечатков, реальных знаков (следов) своего существования (окаменелостей), как организмы или части организмов животных и растений. Памятники представляют только условные, номинальные видимые знаки (начертания) слышимых звуков языка, и потому по ним о языке можно заключать только аналогически. Лингвист не имеет перед глазами строя даже живых языков (хотя слышит их звуки) и должен только через сопоставление и разные научные соображения составить себе о нем понятие, между тем как натуралист даже строй мертвых отдельных организмов может иногда воссоздать по их рельефным следам (окаменелостям).

Совершаемые на материале, данном живыми языками и памятниками, приготовительные ученые операции состоят в наглядном представлении всего положительно данного богатства языков помощью издания их образцов и памятников, помощью составления описательных грамматик и словарей.

3. Посредственный материал для аналогических умозаключений и выводов о данном языке представляют: а) язык детей, говорящих этим языком (рассмотрение языка детей бросает свет на образование звуков, их чередование и т. п.; чутье корня и т. п., стремление к дифференцировке и т. п.); б) наблюдение индивидуальных природных недостатков в произношении; в) наблюдение над произношением глухонемых; г) изучение, как произносят иностранцы слова известного языка и вообще как они относятся к этому языку (это проливает свет на природу одного языка в отличие от другого, как на природу разбираемого языка, так и на природу языков иностранных).

Что касается второго отдела чистого языковедения: исследования о начале слова человеческого, о первобытном образовании языков и т. п., — то здесь мы не встречаем непосредственного материала и должны довольствоваться материалом посредственным, который позволяет нам делать аналогические умозаключения и выводы: 1) Индивидуальное развитие проливает свет на начало и первобытное образование языка, так как из естественных наук известно, что индивидуум повторяет в сокращении все видоизменения породы, вида и рода. Это будет преимущественно наблюдение над младенцем, переходящим в возраст ребенка, начинающим лепетать (с самых ранних пор, с самых первых попыток, как задатков будущего языка). Сделанные при этом замечания можно mutatis mutandis перенести в эпоху первобытного образования слова человеческого. Однако же аналогические заключения в этом направлении должны быть делаемы с большою осторожностью, так как наш ребенок отличается от первобытного человека, начинавшего и начавшего говорить 1) зоологически: а) в собирательном отношении — другая степень в развитии generis homo, другое устройство мозга и нервной системы вообще; б) индивидуально — другая степень в развитии индивидуальном, другой возраст; 2) ребенок находит вокруг себя людей говорящих и готовый язык, между тем как

между собою в тесной органической (внутренней) связи, во второй же языки как целые исследуются по своему родству и формальному сходству. Первая часть — грамматика как рассмотрение строя и состава языка (анализ языков), вторая — систематика, классификация. Первую можно сравнить с анатомией и физиологией, вторую — с морфологией растений и животных в ботанико-зоологическом смысле[1]. Разумеется, что как везде в природе и в науке, так и здесь нет резких пределов и исследования в одной части обусловливаются и основываются на данных из области другой части. Для разбора строя и состава известного языка, с одной стороны, очень полезно, даже необходимо знать, к какой категории языков в формальном отношении принадлежит этот язык; с другой же стороны, для объяснения его явлений соответственными явлениями языков родственных нужно определить, часть которой семьи и отрасли составляет этот данный язык. Подобным образом только рассмотрение строя и состава языков дает прочное основание для их классификации.

Сообразно постепенному анализу языка можно разделить грамматику на три большие части: 1) фонологию (фонетику),

совершаемый в течение многих поколений процесс нарождения языка основывался именно на все большем и большем развитии каждым поколением скудных задатков языка, унаследованных от предков; наш ребенок сразу встречает уже готовые известные культурные отношения, между тем как первобытный человек жил в строгой неразрывной связи с природой и подчинялся ее влиянию вполне страдательно.

2) Сравнение различных степеней культуры и умственного развития разных пород людей и народов в настоящее время приводит нас к убеждению, что теперешнее состояние человечества представляет налицо в одно и то же время различные фазисы его постепенного развития (ср. одновременное существование в одном и том же обществе детей, юношей, взрослых, стариков и т. д.). Здесь мы можем от полунемых дикарей подыматься вверх по лестнице постоянного совершенствования к той степени, на которой стоит кавказское племя (раса). Для того чтобы составить себе хоть приблизительное представление о первобытном состоянии языка вообще, очень поучительно исследовать языковое состояние дикарей. Если исследователю невозможно совершить это посредством собственного наблюдения, он должен черпать свои сведения из лингвистических трудов других ученых и из достоверных описаний путешественников.

3) Изучая ход развития данных языков и подмечая общие направления в этом развитии, мы вправе продолжить назад линию постепенных изменений и, таким образом, делать более или менее определенные заключения о времени первобытного образования языков, даже находящихся на самой позднейшей степени развития. И вообще необходимо допустить, что многое, составлявшее сущность первобытного состояния языков, повторяется и в исторических данных языках, хотя бы только в рудиментарном виде.

Все эти посредственные наблюдения, имеющие целью воссоздать в науке первобытное образование языков, должны быть подкрепляемы анатомическо-физиологическим разбором нервной системы человека и даже основываться на результатах этого разбора (рефлексивные движения и т. п.).

[1] Этого сравнения нельзя, конечно, принимать в строго буквальном смысле уже потому, что, как мы ниже увидим, язык не организм, а анатомия и физиология, равно как и морфология организмов, занимаются действительными организмами. Верность сравнения обусловлена здесь тождественностью и сходством умственных операций, совершаемых в той и другой области.

или звукоучение, 2) словообразование в самом обширном смысле этого слова и 3) синтаксис.

1. Первым условием успешного исследования звуков следует считать строгое и сознательное различение звуков от соответствующих начертаний, а так как ни за одной орфографией нельзя признать полной последовательности и точности в обозначении звуков и их сочетаний и так как, с другой стороны, ложный способ воспитания и постоянная практика развивают или, справедливее говоря, не устраняют сбивчивости в понятиях, основывающейся на первоначальной конкретности человеческого миросозерцания, — то для исполнения вышеприведенного условия необходимо при разборе звуков думать постоянно параллелями: один член такой параллели — звук или созвучие, другой — соответствующее ему в данном случае начертание, буква или же сочетание букв. Предмет фонетики составляет: а) рассмотрение звуков с чисто физиологической точки зрения, естественные условия их образования, их развития и их классификация, их разделение (уже здесь нельзя рассматривать язык в отвлечении от человека, а, напротив того, следует считать звуки акустическими продуктами человеческого организма)[1]; б) роль звуков в механизме языка, их значение для чутья народа, не всегда совпадающее с соответственными категориями звуков по их физическому свойству и обусловленное, с одной стороны, физиологической природой, а с другой — происхождением, историей звуков; это разбор звуков с морфологической, словообразовательной, точки зрения.

Наконец, предмет фонетики составляет: в) генетическое развитие звуков, их история, их этимологическое и строго морфологическое сродство и соответствие — это разбор звуков с точки зрения исторической.

Первая (физиологическая) и вторая (морфологическая) части фонетики исследуют и разбирают законы и условия жизни звуков в состоянии языка в один данный момент (статика звуков), третья же часть (историческая) — законы и условия развития звуков во времени (динамика звуков).

2. Разделение словообразования, или морфологии, соответствует постепенному развитию языка; оно воспроизводит три периода этого развития (односложность, агглютинацию, или свободное сопоставление, и флексию). Части морфологии суть следующие:

[1] Научное исследование звуков языка с физической точки зрения необходимо основывать на результатах физиологии и акустики. Некоторые исследователи языка не хотят ничего знать об акустике и физиологии, доверяясь при рассмотрении звуков собственным грамматическим силам. Я думаю, что, занимаясь научным изучением известного предмета, следует знакомиться *со* всевозможными исследованиями того же предмета и не отказываться от результатов других, для нас вспомогательных наук. Иначе придется постоянно совершать труд Сизифа, или, говоря проще, воду толочь.

а) наука о корнях — этимология;

б) наука о темообразовании, о словообразовательных суффиксах — с одной, и о темах или основах — с другой стороны;

в) наука о флексии, или об окончаниях и о полных словах, как они представляются в языках на высшей степени развития, в языках флексивных.

Как везде в природе и в науке, так и здесь трудно установить строгие пределы и подчас трудно решить, в какой части следует рассматривать известный вопрос. Но ведь и постепенный переход от низших степеней развития к высшим (т. е. от предшествующих к последующим) совершался не скачками, а медленно, постепенно, незаметно.

3. Синтаксис, или словосочинение (словосочетание), рассматривает слова как части предложений и определяет их именно по отношению к связной речи или предложениям (основание для разделения частей речи); он занимается значением слов и форм в их взаимной связи. С другой стороны, он подвергает своему разбору и целые предложения как части больших целых и исследует условия их сочетания и взаимной связи и зависимости.

Как не все части анатомии применимы ко всем организмам, как, например, остеология возможна только при исследовании позвоночных, так же точно и при рассмотрении многих языков нужно совершенно исключить некоторые из выше исчисленных частей грамматики. Так, например, исследование односложных языков, главный представитель которых язык китайский, сводится только к фонетике и своеобразному синтаксису; из словообразования остается только своеобразная этимология, т. е. разбор своеобразных корней.

При грамматическом рассмотрении языка необходимо соблюдать хронологический принцип, т. е. принцип объективности по отношению к совершающемуся во времени генетическому развитию языка. Этот принцип генетической объективности можно выразить тремя следующими положениями.

Положение 1. Данный язык не родился внезапно, а происходил постепенно в течение многих веков; он представляет результат своеобразного развития в разные периоды. Периоды развития языка не сменялись поочередно, как один караульный другим, но каждый период создал что-нибудь новое, что при незаметном переходе[1] в следующий составляет подкладку для дальнейшего

[1] Незаметный переход одного состояния в другое, незаметное развитие, незаметное влияние медленно, но основательно действующих сил как в языке, так и во всех остальных проявлениях жизни можно выразить алгебраической формулой $O \times \infty = m$, т. е. что бесконечно малое изменение, произведенное в один момент, повторившись бесконечное число раз, дает, наконец, известную заметную определенную перемену. Так объясняется течение времени, увеличение пространства, действие на камень капель воды, беспрерывно падающих на одно и то же место, влияние ядов, переход от сна к

развития. Такие результаты работы различных периодов, заметные в данном состоянии известного объекта, в естественных науках называются слоями; применяя это название к языку, можно говорить о слоях языка, выделение которых составляет одну из главных задач языковедения[1].

Положение 2. Механизм языка и вообще его строй и состав в данное время представляют результат всей предшествовавшей ему истории, всего предшествовавшего ему развития, и, наоборот, этим механизмом в известное время обусловливается дальнейшее развитие языка.

Положение 3. Крайне неуместно измерять строй языка в известное время категориями какого-нибудь предшествующего или последующего времени. Задача исследователя состоит в том, чтобы подробным рассмотрением языка в отдельные периоды определить его состояние, сообразное с этими периодами, и только впоследствии показать, каким образом из такого-то и такого-то строя и состава предшествующего времени мог развиться такой-то и такой-то строй и состав времени последующего. То же требование генетической объективности вполне применимо и к исследованию разных языков вообще: видеть в известном языке без всяких дальнейших околичностей категории другого языка ненаучно; наука не должна навязывать объекту чуждые ему категории и должна отыскивать в нем только то, что в нем живет, обусловливая его строй и состав [2].

бодрствованию и наоборот, переход эмбриона живого человека, медленный переход от жизни известного организма к его смерти, падение государств и других определенных политических и общественных проявлений и т. д. Везде есть какой-то неуловимый критический момент, решающий так или иначе; все прошедшее или пропадает как будто бесследно, или же оставляет заметные следы своего влияния.

[1] Первую попытку сформулировать по-своему и собрать в одно целое разбросанные исследования по этой части в применении к языкам индоевропейским и выделить в общих чертах отдельные слои образования этих языков представляет рассуждение: Zur Chronologic der indogermanischen Sprachforschung. Von Georg Curtius, etc. Des V Bandes der Abhandlungen der philologisch-historischen Classe der Königl. Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften № III. Leipzig, 1867.

Курциус различает семь главных периодов образования (Organisation) индоевропейских языков: 1) период корней (Wurzelperiode), 2) период коренных определителей (Determinativperiode), 3) период первичных глаголов. (primare Verbalperiode), 4) период образования тем (основ) (Periode der Themenbildung), 5) период сложных глагольных форм (Periode der zusammengesetzten Verbalformen), 6) период образования падежей (Periode der Casusbildung), 7) период наречий (Adverbialperiode). Одним из главных результатов; его исследования является положение, что язык применял те же средства в. разные времена совершенно другим образом (dass die Sprache dieselben Mittel zu verschiedenen Zeiten in ganz verschiedener Weise verwendete (стр. 193). и разные перемены одних и тех же звуков при одних и тех же условиях можно объяснить только разными эпохами этих перемен.

[2] В связи с этим находится то заблуждение многих ученых, что они при генетической классификации беспечно сравнивают между собой языки,

Представление грамматических вопросов может быть двояким: или преимущественно в порядке категорий науки, в порядке однородных научных вопросов, или же преимущественно в порядке генетического развития самого объекта[1]. Первое подбирает сходные явления в разных областях речи человеческой, или вообще во всех доступных исследователю языках, или же в строго определенной группе языков (или даже в одном языке) и имеет конечной целью сформулировать и определить общие категории, законы и силы, тем же самым объясняя многие явления жизни. Другой способ представления придерживается естественного течения в области языка и, отвлекая и систематизируя лишь настолько, насколько необходимо вообще для науки, в остальном рисует научную картину развития объекта (или с незапамятных времен по последнее, или же только в известный определенный период). Это внутренняя история языка или языков, которую необходимо отличать от внешней их истории[2], рассматривающей язык в отношении

стоящие не на соответствующих друг другу степенях развития, например санскрит и славянский или даже санскрит и английский — один самый древний, другой самый новый из всех индоевропейских.

[1] Сообразно с двумя главными сторонами задачи индуктивных наук (ср. выше): при втором способе преимущественно обобщаются явления и объясняются во взаимной связи и генетической зависимости, при первом же способе преимущественно отыскиваются законы и силы и общие категории вообще.

[2] Внешняя история языка тесно связана с судьбами его носителей, т. е. с судьбами говорящих им индивидуумов, с судьбами народа. В круг ее исследований входит распространение языка, как географическое, так и этнографическое, общее влияние иностранных языков на данный язык и, наоборот, решение вопросов, употребляется ли данный язык и как литературный, или же он живет только в народе, каким сословиям принадлежат люди, говорящие известным языком, в большом ли ходу язык (если он, разумеется, литературный) за своими собственными пределами, как по отношению к пространству (французский, немецкий, английский и вообще так называемые универсальные языки), так и по отношению ко времени (латинский, греческий, церковнославянский), и если он в употреблении у других народов, то для каких именно целей, и т. д. — вот вопросы, принадлежащие внешней истории языка. Внутренняя же история языка занимается развитием языка самого по себе, жизнью языка, разумеется, не отвлекая его неестественным образом от его носителей, от людей, а, напротив того, понимая его всегда в связи с физическою и психическою организацией говорящего им народа. Но она не заботится о судьбах языка, а только обращает внимание на перемены, происходящие внутри его же самого. Внутренняя история языка исследует, как народ говорит в известное время или же и течение многих веков и почему так говорит, внешняя — сколько людей говорит и когда (границы языка). Первое соответствует более или менее категории качества, второе — количества. Точно так же необходимо различать качество и количество, высшую или низшую степень познаний известного народа (или другого человеческого общества) в общем его составе — с одной, и распространение этих познаний между людьми, между отдельными членами народа или другого человеческого общества — с другой стороны. Внешняя и внутренняя история языка (объект науки, а не наука) влияют взаимно друг на друга. Влияние внешней на внутреннюю кажется сильнее, чем наоборот. От влияния иностранных языков, от литературной обработки языка, от рода занятий людей, говорящих данным языком, от географических условий страны, ими обитаемой, и т. п.

этнологическом, стало быть, исследующей только судьбы его носителей и, таким образом, составляющей одну часть прикладного языковедения, а именно приложение систематики к этнографии и этнологии (следовательно, состоящей в применении данных языковедения к вопросам из области другой науки). Обыкновенные грамматики разных языков берут только известный момент истории языка и стараются представить его состояние в этот момент. Но истинно научными они могут быть, только рассматривая этот известный момент в связи с полным развитием языка.

Современное языковедение стоит уже на той степени научного совершенства, что, исследовав с надлежащей точностью по положительным данным все прошедшее развитие известного языка, тщательно подмечая вновь появляющиеся в нем стремления и опираясь на аналогию других языков, оно может предсказать в общем внутреннюю будущность этого данного языка или же воссоздать прошлое, от которого не осталось никаких памятников[1]. За неимением времени, я не стану приводить примеров, тем более, что в самом же курсе не раз представится случай обратить на это ваше внимание. Разумеется, относительно будущности эти научные (но не пророческие) предсказания языковедения далеко не так точны, как, например, предсказания астрономии; они только в общем указывают на будущее явление, на будущий факт, не будучи в состоянии определить с точностью отдельные моменты его появления. Но и то, что теперь уже возможно, очень утешительно, доказывая состоятельность употребляемого ныне метода исследования и приближая языковедение к цели всех индуктивных наук, именно к возможно более обширному применению дедуктивного метода...

...В предшествующем изложении я старался определить языковедение, указать на его основные вопросы и представить его

зависит ускорение или замедление и своеобразность внутреннего развития языка. Влияние внутренней истории языка на внешнюю сводится более или менее к ускорению или замедлению развития литературы вследствие большей или меньшей податливости языка (влияние, впрочем, небольшое) и к вопросу о переменяемости языка, к вопросу, когда именно язык изменился уже настолько, что его следует по отношению к известной, более древней эпохе, считать уже не тем же языком, но его потомком (говоря олицетворительно), и к вопросу, можно ли считать известные наречия частями одного языка или же самостоятельными целыми. Материал для внешней истории языка совпадает в значительной степени с материалом для истории и истории литературы. Говоря о распространенности народа, о его образованности, о расцвете его литературы, историк тем самым затрагивает во многих пунктах внешнюю историю языка этого народа. О материале для внутренней истории языка говорено было выше.

[1] Особенно важно и необходимо для науки воссоздать так называемые первобытные (Ursprachen) и основные языки (Grundsprachen), т. е. языки, различные видоизменения которых представляет известная группа положительно данных языков. При этом нужно помнить, что все-таки эти первобытные и основные языки в том виде, как они воссоздаются наукой, представляют не комплексы действительных явлений, а только комплексы научных фактов,. добытых дедуктивным путем.

внутреннюю организацию, как она развилась исторически. Но до сих пор я не ставил вопроса, что такое язык, а между тем ясное, хотя бы только отрицательное определение его кажется весьма полезным[1].

Прежде чем ответить на этот вопрос, я считаю необходимым отвергнуть самым положительным образом тот предрассудок некоторых ученых, .что язык есть организм. Это мнение создано вследствие страсти к сравнениям, которой страдают многие, не обращая внимания на то очень простое и убедительное предостережение, что сравнение не есть еще доказательство. В этом проявляется желание помощью сравнений избежать настоящего, серьезного анализа. Отсюда ученое пустословие, ученое фразерство, которое вводит в заблуждение людей не только поверхностных, но даже и очень основательно думающих. Не вдаваясь в более подробный разбор и критику того положения, что язык есть организм, и не стараясь определить сущность организма, я замечу только, что организм, подобно и неорганическим веществам есть нечто осязаемое, наполняющее собой известное пространство, а с другой стороны — питающееся, размножающееся и т. д.[2]. Между тем, когда, человек говорит (а ведь от этого и зависит существование языка), мы замечаем прежде всего движение его органов; это движение органов вызывает движение воздуха, а различия этого движения обусловливают различия впечатлений, производимых на чувства слушателя и говорящего, и связаны с известными представлениями в уме как говорящего, так и слушателя[3]. Кто счи-

[1] При этом необходимо помнить очень справедливое изречение, что omnis definitio periculosa, и поэтому стремиться не к реальной дефиниции (определению), которая в сжатом выражении заключала бы implicita все свойства языка, так как эти свойства можно узнать, только исследуя подробности, а нужно стараться дать дефиницию номинальную и указывающую только на предмет, но не предрешающую apriori всех его свойств и особенностей.

[2] Организм мы можем наблюдать глазами, язык же — слухом; перед глазами он только в книгах, но ведь это не язык, а только его изображение помощью начертаний (букв или т. п.). Организм всегда весь налицо; он существует беспрерывно со времени своего рождения по начало его разложения, называемое смертью. Язык как целое существует только in potentia. Слова не тела и не члены тела: они появляются как комплексы знаменательных звуков, как знаменательные созвучия только тогда, когда человек говорит, а как представления знаменательных созвучий они существуют в мозге, в уме человека только тогда, когда он ими думает.

[3] «Слово представляет наблюдению прежде всего две стороны, звуковую форму и функцию, которые, как тело и дух в природе, не являются никогда отдельно, и даже в действительности невозможно разделить их без их обоюдного уничтожения» (Die Wurzel AK im Indogermanischen. Von Dr. Johannes Schmidt etc. Weimar, 1865, стр. 2). «Форма и содержание, звук и мысль так неразрывно связаны друг с другом, что ни одна из этих двух частей не может подвергнуться перемене, не вызвав соответственной перемены и в другой» (там же, стр. 1). В этом взгляде на природу языка, очевидно, недостает чего-то связывающего созвучие и значение, а именно недостает представления созвучия как внутреннего отражения внешней стороны слова. Этот недостаток есть следствие рассматривания языка в отвлечении от человеческого

тает язык организмом, тот олицетворяет его, рассматривая его в совершенном отвлечении от его носителя, от человека, и должен признать вероятным рассказ одного француза, что в 1812 г. слова не долетали до уха слушателя и мерзли на половине дороги. Ведь если язык есть организм, то, должно быть, это организм очень нежный и словам, как частям этого организма, не выдержать сильного русского мороза.

Я не стану разбирать всех ошибок и заблуждений, прямо или косвенно вытекающих из этого предубеждения, что язык есть организм[1], и прежде чем выскажу окончательное определение языка, . обращу предварительно внимание, с одной стороны, на различие речи человеческой вообще как собрания всех языков, которые только где-нибудь и когда-нибудь существовали, от отдельных языков, наречий и говоров и, наконец, от индивидуального языка

организма. Интересно узнать, где именно является таким необходимым образом звуковая форма при мышлении, писании, которые все-таки не могут обойтись без так называемой функции слов: эти процессы совершаются посредством соединения представления предмета (значения) с представлением созвучия (при писании еще с представлением видимых начертаний, сопровождаемых соответственными движениями руки), но без слышимого созвучия. Мало того: ведь когда говорит глухонемой, т. е. когда он производит слышимые определенные движения волн воздуха, он производит вместе с тем впечатление звуковой формы только в ухе слушателя; для него же самого так называемая функция тесно связана не с созвучиями и представлениями этих созвучий, но с известными движениями органов и с представлениями этих движений; какое же действие производят эти движения органов на воздух и затем на ухо, для глухонемого совсем непонятно. Кроме того, можно встретить людей, которые без помощи учителя изучают, например, английский язык (звуки которого передаются очень сложной и трудно изучаемой орфографией) просто глазом; у них так называемая функция английских слов соединяется не с звуковой формой этих слов, а с обозначающими ее начертаниями (ср. замену видимых музыкальных нот на осязаемые при обучении слепых искусственной музыке). А разве, с другой стороны, для человека, который одарен хорошим слухом, но не понимает известного иностранного языка, значение (функция) связано неотъемлемо со звуком? Может быть, впрочем, что во всех этих случаях звуковая форма и функция соединяются мистически, без участия заинтересованных (или говорящих, но не слышащих, или читающих глазами, или, наконец, слушающих, но не понимающих) индивидуумов. Изречения, приведенные мною в начале этого примечания, имеют своим источником узкий, фальшиво понятый монизм, последовательное применение которого уничтожило бы понятия и о нарождении, и о жизни, и о смерти организмов, и даже о самих организмах. Ведь при мертвых организмах внешняя форма (внешний вид и состав тела) остается почти неизмененной, а исчезает только их основная функция, уступая место другим функциям, как производительным факторам новых организмов.

[1] Может быть, мне в скором времени представится возможность разобрать подробнее и критически как самый предрассудок, что язык есть организм, так и другие, находящиеся с ним в связи, предубеждения ученых, например, что языковедение есть наука естественная (в смысле ботаники и зоологии), что оно совершенно различно от филологии, что язык и история находятся друг к другу в отношении противоречия и противоположности и т. д. Тогда я постараюсь тоже указать и на некоторые Другие заблуждения, на некоторые другие ложные понятия о языке и языковедении, частью бессознательно родившиеся в массах, частью же сознательно выработанные.

отдельного человека[1], с другой же стороны — на различие языка как определенного комплекса известных составных частей и категорий, существующего только in potentia и в собрании всех индивидуальных оттенков[2], от языка как беспрерывно повторяющегося процесса, основывающегося на общительном характере человека и его потребности воплощать свои мысли в ощущаемые продукты собственного организма и сообщать их существам, ему подобным, т. е. другим людям (язык — речь — слово человеческое).

Взвесив все сказанное мною, равно как и все недосказанное и даже вовсе не высказанное, я делаю следующее определение языка:

Язык есть слышимый результат правильного действия мускулов и нервов[3].

Или же:

Язык есть комплекс членораздельных и знаменательных звуков и созвучий, соединенных в одно целое чутьем известного народа [как комплекса (собрания) чувствующих и бессознательно обобщающих единиц] и подходящих под ту же категорию, под то же видовое понятие на основании общего им всем языка.

[1] Индивидуальный язык отдельного человека можно рассматривать по отношению к качеству (способ произношения, известные слова, формы и обороты, свойственные данному индивидууму, и т. п.) и по отношению к количеству (запас выражений и слов, употребляемых этим данным индивидуумом). Относительно последнего ср. Vorlesungen über die Wissenschaft der Sprache. Von Max Müller, etc. Für das deutsche Publicum bearbeitet von Dr. Carl Böttger etc. Zweite Auflage, Leipzig, 1866, стр. 227 — 228. Нужно тоже обратить внимание на различие языка торжественного и обыденного, семейного и общественного — вообще на различие языка в разных обстоятельствах жизни, на различие языка общего и языка специалистов, на изменение языка сообразно с разным настроением человека: язык чувства, язык воображения, язык ума и т. д.

[2] С этой точки зрения язык (наречие, говор, даже язык индивидуальный) существует не как единичное целое, а просто как видовое понятие, как категория, под которую можно подогнать известную сумму действительных явлений. Ср. различие науки как идеала, как суммы всех научных данных, исследований и выводов, от науки как беспрерывно повторяющегося научного процесса.

3 Язык есть одна из функций человеческого организма в самом обширном смысле этого слова.

Н. В. КРУШЕВСКИЙ

ПРЕДМЕТ, ДЕЛЕНИЕ И МЕТОД НАУКИ О ЯЗЫКЕ[1]

Предмет лингвистики — язык, т. е. слова и предложения. Задача ее — исследовать естественный процесс развития языка, т. е. раскрыть законы, по которым он развивается с формальной и функциональной стороны.

Кроме названия лингвистика, науке этой дают еще другие названия. Так как с названием обыкновенно связывается известное — правильное или неправильное — представление о науке, то разбор названий может послужить к выяснению сущности самой науки.

Лингвистика. Против этого термина справедливо замечают, что он слово варварское: из латинского слова lingua сделано существительное посредством греческого суффикса -ιχυς. Пожалуй, могут смеяться над языковедами, что собственной науке они дали название, изобличающее их бесцеремонное обращение с классическими языками. Однако факт, что лингвистика (в особенности во Франции) — наиболее популярный термин. А потому лингвист должен отнестись к этому термину так, как он относится ко всем явлениям языка: без рассуждений принять существующее и употребляющееся слово за факт. Дело в том, что, для того чтобы данное слово служило названием данной вещи, вовсе не требуется, ни чтобы его корень означал эту вещь, ни чтобы морфологическое строение слова было правильно. Требуется только, чтобы оно употреблялось с данным значением. Ультрамонтане прекрасно выражает людей с известными убеждениями, хотя корень или, вернее, корни слова не имеют ничего общего с этими убеждениями. С другой стороны, шахматист имеет морфологическое строение тоже неправильное, а слово это так же хорошо означает игрока в шахматы, как если бы его морфологическое строение было совсем правильно. Хорошо же слово «лингвистика» тем, что оно, будучи в состоянии означать науку о языке, ничего не соозначает.

[1] Прибавление к книге «Очерки по языковедению. Антропофоника», Варшава, 1893.

С точки зрения правильности в выборе корня и морфологического строения безукоризненны термины глоттика, или глоттология. Но термины эти почему-то не вошли в употребление.

Сравнительная грамматика. Неуклюжее название не наносит науке никакого вреда; гораздо хуже, если название выражает определенно нечто такое, что не согласно или мало согласно с сущностью самой науки. Неправильное название будет навязывать ложный взгляд на науку, от которого весьма трудно отрешиться. Сказанное относится к официально принятому в наших университетах термину сравнительная грамматика. Название это своим происхождением обязано тому обстоятельству, что первые научные истины, касающиеся языка, были добыты путем сравнения. Тем не менее против такого названия можно привести следующие соображения.

1) Науку не называют по ее методу, а по ее объекту.

2) Сравнение не есть метод, принадлежащий единственно науке о языке; он свойствен ей постольку же, поскольку свойствен и другим наукам.

3) Так как мы должны исследовать не только название само по себе, но и связываемое с ним представление, то необходимо заметить, что под сравнением в этом случае обыкновенно понимают сравнение слов и форм одного языка с соответствующими словами и формами других языков. А такое сравнение не только не единственный, но даже не главный метод науки о языке; весьма важные результаты дает исследование слов и форм, не выходящее из границ одного какого-нибудь языка.

Объект нашей науки, как уже замечено выше, составляют слова и предложения. Рассмотрим ближе этот объект, т. е. собственно слово, потому что предложение еще почти не вошло в науку о языке.

Слово есть агрегат человеческих звуков, с которым связана известная, более или менее определенная идея. Первое, что подлежит исследованию языковеда, — это звуки, или фонетические единицы слова. Необходимо исследовать, как они производятся человеческими органами речи; чем обусловливается их изменение и влияние друг на друга; каковы характер изменения и история звуков данного языка; каковы их рефлексы в родственных данному языках.

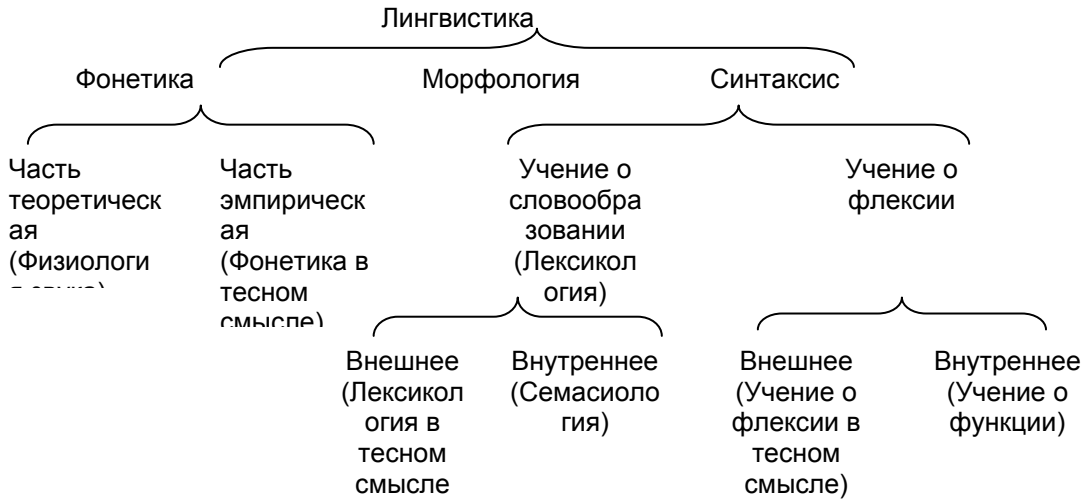
Такое исследование приведет к раскрытию звукофизиологических (антропофонических) и фонетических законов, действующих в языке.

Почти всякое слово разлагается непосредственно не только на звуки, но и на такие знаменательные (связанные с известным значением) комплексы звуков, которые встречаются и в других словах. Например, в слове *подсвечниками* такие комплексы будут: *под-, -свеч-, -ник-, -ами.* Это морфологические единицы слова. Каждая из них встречается и в других словах. Описание и систематика этих единиц, исследование их истории и рефлексов

в родственных языках раскроет морфологические законы языка. Но слово, а равно каждая из морфологических единиц, его составляющих, имеет свою внутреннюю сторону; главная морфологическая единица, называемая корнем, имеет своей функцией выражение известного значения; второстепенные единицы, называемые префиксами, суффиксами и окончаниями, имеют своей функцией выражение известного отношения. Целое слово имеет известное значение. Каждая из этих функций имеет тоже свою историю и может быть исследована не только в данном языке, но и в других, родственных.

Таким образом, развитием языка управляют разные законы — фонетические, морфологические и другие, которые могут скрещиваться и парализовать действие друг друга.

Трудно представить удовлетворительное деление науки, многие отделы которой почти нетронуты. Но так как какое-нибудь деление необходимо, то я скажу, как приблизительно можно разделить лингвистику.



Я старался сообщить в сжатом виде те более или менее общепризнанные истины, которые необходимы всякому, приступающему к изучению языка. Несколько больше времени необходимо посвятить замечаниям о характере и методе лингвистики, так как господствующий в науке взгляд на эти вещи неправилен.

Наука о языке возникла в среде наук историко-филологических и разрабатывалась людьми, воспитавшими свой ум на этих науках. Поэтому не удивительно, что она позаимствовала и свой метод и свои, так сказать, научные идеалы у наук историко-филологических. Задача историка и археолога — восстановление фактов, имевших место в более или менее отдаленном прошлом, восстановление по дошедшим до нас следам и осколкам этих фактов.

По примеру истории и лингвистика начертала себе идеалом восстановление ариоевропейского праязык[1], его ближайших по-

[1] Под ариоевропейским Н. В. Крушевский разумеет индоевропейский язык. *(Примечание составителя.)*

томков, родоначальников разных европейских языков и степени их взаимного родства. Воссоздать языки, давно погибшие, языки, о которых мы заключаем только по их известным нам живым и мертвым родичам, — вот идеал, который рисует лингвисту один из знаменитейших современных ученых, миланский профессор Асколи[1].

Какой же метод применялся и применяется при этой грандиозной работе? Метод весьма простой, но вместе с тем метод весьма мало научный. Он может быть формулирован так: если в языке B и в языке C замечаем явление x, то оно произошло еще в языке A, из которого развились языки B и C. От греческого глагола κλύω (слышу) 2 sg. Imperat. будет κλυ = θι. Соответствующая ему форма санскритская будет çru-dhi. Из этого заключают, что в языке, из которого развился и греческий и санскритский, было уже это повелительное в форме *krudhi *(k,* потому что взрывной *k* физиологически первичнее спиранта ç). Вещь возможная, но чем мы докажем, что этот именно корень соединялся с этим именно суффиксом? Греческий и санскритский знают и другие суффиксы для 2 sg. Imperat., и -dhi могло присоединиться к kru- самостоятельно на греческой и индийской почве. Следовательно, это индогреческое совпадение не дает нам никакого строгого научного доказательства существования формы *krudhi в ариоевропейском праязыке. Еще меньше значения при вопросе о степени родства языков имеют разные лексические данные. В зенде находим слово bagha, вполне соответствующее древнеперсидскому baga и общеславянскому *бог.* На основании этого факта и других, ему подобных, J. Schmidt заключает о ближайшем родстве славянской семьи с иранской. Но какое может иметь значение факт, что из нескольких корней, употребленных ариоевропейскими языками для понятия «бог», иранские и славянские языки употребили корень bhag? И можно ли основывать классификацию на признаках, совершенно случайных, на признаках, без которых язык не перестает быть сам собой? Не удивительно, что о классификации и родстве языков существует почти столько мнений, сколько выдающихся лингвистов, и каждое из них имеет диаметрально себе противоположное: по случайному признаку *a* санскрит будет ближе к греческому, по такому же случайному признаку *b* ближе к славянскому и т. д.

Это более грубое, так сказать, внешнее направление в последнее время уступило место более тонкому, внутреннему. Последнее стремится воссоздать прежде всего звуковую систему данного праязыка и раскрыть генетические отношения звуков разных языков. Но так как это направление отличается от только что упомянутого не принципами, а объектом исследования, то только кажется более научным. Первоначальное *k* во многих случаях, но при неиз-

[1] *Г. Асколи* (1829 — 1907) — итальянский филолог, руководитель целого поколения романистов, впервые высказал идею субстрата. *(Примечание составителя.)*

вестных условиях изменилось в санскрите и зенде в ç; из этого заключают, что изменение *k* в ç совершилось в родоначальнике этих языков, в праарийском. Тот же звук *k* при других, почти таких же неизвестных условиях, изменился в спирант, и это явление замечаем, с одной стороны, в арийской семье, с другой — в литвославянской: санскр. daça, зенд. daça, лит. desimtis, ст.-сл. дѣсѧть, греч. δέκα, лат. decem. Из этого следовало бы заключить что *k* изменилось в спирант в праязыке до выделения литвославянского языка, но после выделения греко-италийского. Заключают, однако, нечто другое, а именно: первоначальное *k*, на месте которого в арийской и литвославянской области встречаем спирант, перешло из праязыка во все языки несколько смягченным *(k'),* но в арийской и литвославянской области смягчение развилось дальше, тогда как в греко-италийской исчезло. Возьмем еще пример. Арийские языки знают только три гласных: *a, i, u.* На месте арийского *a* во всех европейских языках и в армянском встречаются *a, e, o.* Гласные эти появляются приблизительно в одних и тех же словах, но каковы условия их появления — неизвестно. Из этого одни заключают, что ариоевропейский праязык имел только *a,* которое в родоначальнике языков европейских и армянского разветвилось на *a, e, o;* другие же, — что *a, e, o* были уже в праязыке, но в арийской области слились в один звук *a.*

Для классификации языков такого рода исследования не дают ничего: по изменению *k* в s (š) литвославянская ветвь будет ближе к арийской, по так называемому разветвлению *a* — ближе к европейской. Если обратить внимание на такие случаи, как naktis, нощь, nox, то придется заключить, что славянский ближе к латинскому, нежели к литовскому, и т. п.

Во всех этих рассуждениях скрывается бессознательное убеждение, что звук может зарождаться только раз, убеждение в моногенезисе звука, тогда как все факты говорят в пользу полигенезиса. Мы видим, что одни и те же изменения появляются в разное время в разных языках совершенно независимо друг от друга...

...Ближайшая задача фонетики не восстановление звуковых систем праязыков, а прежде всего изучение характера звуков данного языка, условий и законов их изменения и исчезновения и условии появления новых звуков. То же самое, mutatis mutandis, относится вообще к науке о языке: ближайшая ее задача — исследовать всевозможные явления языка, а равно и законы и условия их изменений.

В связи с направлением лингвистики, которое можно назвать археологическим, находится то пренебрежение, какое оказывалось и оказывается новым языкам. Весьма немногочисленны те лингвисты, которые, будучи свободны от неосновательного предубеждения против новых языков, обратились к изучению этих

языков. Однако что бы сказали о зоологе, который бы начал изучение своего предмета с животных ископаемых, с палеонтологии? Только изучение новых языков может способствовать открытию разнообразных законов языка, теперь неизвестных потому, что в языках мертвых их или совсем нельзя открыть, или гораздо труднее открыть, нежели в языках новых. Наконец, только изучение новых языков может установить взаимную связь между отдельными законами. Тогда и реконструкция языков-родоначальников и история обособления ариоевропейских языков приобретают более прочные основания. Если зоолог по данной части тела может восстановить животное, которому эта часть тела принадлежит, то только потому, что он знает, что известного устройства зубы связаны причинной связью с известного устройства желудком и т. п. Тогда как лингвист пока не может показать взаимной связи между разнообразными фонетическими и морфологическими чертами языка.

Если, таким образом, естественнее начинать изучение лингвистики с языков новых, то, надеюсь, лишне доказывать, что предпочтение пред всяким другим новым языком должно быть отдано языку родному.

Метод лингвистики, как и всякой другой науки, удобнее изучать на практике. Здесь можно сделать только следующее замечание. Мы не располагаем никакими общими истинами или аксиомами, которые можно бы было применять путем дедукции к науке о языке. И в этом смысле наука наша чисто индуктивная. Но и индуктивные науки обыкновенно пользуются общими истинами, добытыми путем индукции, для дедуктивных заключений. Такие общие истины возможны и в лингвистике, особенно в части ее, называемой физиологией звука. Эта часть науки рассматривает звуки и их изменения с самой общей точки зрения, и добытые ею системы могут служить для дедукции при изучении фонетики. Идеал физиологии звука — такое состояние, в котором она могла бы указать теоретическое основание всех эмпирических данных фонетики.

ОЧЕРК НАУКИ О ЯЗЫКЕ[1]
(ИЗВЛЕЧЕНИЯ)

Звуки языка с течением времени подвергаются изменениям. Спонтанеические изменения звука зависят от постепенного изменения его артикуляции. Произнести звук мы можем только тогда, когда память наша сохраняет нам отпечаток его артикуляции. Если бы в этом отпечатке отражались все совершенные нами артикуляции данного звука в равной мере, если бы он представлял среднюю всех этих артикуляций, то, руководствуясь им, мы всегда совершали бы данную артикуляцию приблизительно одинаково. Но последние (по времени) артикуляции вместе с их случайными уклонениями удерживаются памятью несравненно сильнее, чем

[1] Казань, 1883.

более ранние. Потому ничтожные уклонения приобретают способность прогрессировать и звук мало-помалу вырождается. Такое изменение звука было бы вполне постепенно и чрезвычайно медленно, если бы оно совершалось в произношении одного субъекта, а не в произношении сменяющих друг друга поколений. Когда данный звук, изменяясь, станет уже весьма похож на тот звук, в который он должен измениться, или же приблизится к нулю, то для поколения воспринимающего открывается возможность постоянных ослышек: вместо данного звука оно может воспринять весьма близко похожий на него, а слабый звук может вовсе не воспринять. Следовательно, звуковые изменения могут ускоряться неточностью восприятия. От указанного изменения звуков, зависящего от постепенного изменения их артикуляции, следует отличать изменения, зависящие от неточности воспроизводства: вместо менее удобопроизносимой звуковой группы мы часто подставляем более удобопроизносимую. В таких случаях не бывает никакого изменения одного звука в другой, а простая подстановка одного вместо другого.

Законы изменения звуков могут быть признаны только вторичными законами, только отдаленными последствиями законов изменения артикуляций, которые и будут первичными законами. Потому изменения звуков будут правильны только в общем. В каждом языке мы найдем отложения звуковых законов, отложения, которые будут представлять разного рода однообразия. Эти однообразия постоянно разрушаются фонетическими и морфологическими процессами, а также заимствованием. Это объясняется тем, что нет непосредственной связи между первоначальным звуком и тем, который развился из него иногда только по прошествии целых столетий. Непосредственной причины связи не будет даже между двумя соседними ступенями данного звука, а только между двумя соседними ступенями его артикуляции. Соседние или близкие ступени одного и того же звука обыкновенно не встречаются в языке.

Мы должны признать существование всеобщих звуковых законов, потому что история разных, даже неродственных, языков представляет нам массу поразительных аналогий: звуки изменяются одинаково в разных языках и в разные эпохи одного и того же языка. Если мы видим разное изменение одного и того же звука в разных языках или в разных эпохах одного какого-нибудь языка, то вернее всего, что в таких случаях мы имеем дело не с одним звуком, а с двумя весьма близкими друг к другу, но все-таки различающимися, если не своими акустическими качествами, то своей артикуляцией.

Есть некоторое соотношение между изменениями отдельных звуков данного языка; другими словами, в звуковой системе данного языка заметим известную гармонию, будем ли мы рассматривать эту систему в порядке сосуществования или в порядке последовательности. Существование всеобщих звуковых законов дает

возможность ответить на вопрос о генезисе разных звуковых категорий. Одна звуковая категория развивается из другой, и, таким образом, одна звуковая система получается путем переинтеграции другой...

...Если вследствие закона ассоциации по сходству слова должны укладываться в нашем уме в системы или гнезда, то благодаря закону ассоциации по смежности те же слова должны строиться в ряды.

Итак, каждое слово связано двоякого рода узами: бесчисленными связями сходства со своими родичами по звукам, структуре и значению и столь же бесчисленными связями смежности с разными своими спутниками во всевозможных фразах; оно всегда член известных гнезд или систем слов и в то же время член известных рядов слов...

...Указав связи, которыми соединены друг с другом слова, связи двух порядков — порядка сосуществования (сходство) и порядка последовательности (смежность), мы не исчерпали еще всех тех средств, которыми располагает наш ум для того, чтобы сплотить всю массу разнородных слов в одно стройное целое.

Указанные нами связи суть только непосредственные связи слов: слова связаны с другими или потому, что они на них похожи, как слова, или потому, что мы имеем привычку употреблять их рядом с этими словами.

Но мы не должны никогда терять из виду основной характер языка: слово есть знак вещи. Представление о вещи и представление о слове, обозначающем эту вещь, связываются законом ассоциации в неразлучную пару. Это будет, конечно, ассоциация по смежности. Только немногочисленный в каждом языке класс слов звукоподражательных связан с соответствующими вещами еще ассоциацией по сходству, например «шушукать» и т. п. Если представление о вещи неразлучно с представлением о соответствующем слове, то что же из этого следует? Слова должны классифицироваться в нашем уме в те же группы, что и обозначаемые ими вещи.

Представления наши будут представлениями о предметах и их действиях или состояниях, о качествах этих предметов, их количествах и отношениях, о качествах их действий или состояний. В языке мы имеем те же группы: имена существительные с местоимениями и числительными, глаголы, имена прилагательные, наречия.

Это будут посредственные связи слов.

...Мы только что видели, что каждому из больших отделов того, что мы называем, соответствует в языке известный общий тип: слова, обозначающие предметы, их качества, их действия или состояния и прочее, отличаются друг от друга не только своим со-

держанием, но и своей внешностью, своей структурой и в известной степени своими звуками. Здесь мы можем сделать первое указание на основной закон развития языка. Это будет закон соответствия мира слов миру мы еле и. В самом деле, если язык есть не что иное, как система знаков, то идеальное состояние языка будет то, при котором между системой знаков и тем, что она обозначает, будет полное соответствие. Мы увидим, что все развитие языка есть вечное стремление к этому идеалу.

Рассуждая вообще о словах, мы не в состоянии дать более точную формулу закона, чем та, которую мы привели выше. Она будет представляться читателю все более ясной и определенной по мере того, как наш анализ слова будет идти все глубже...

...В целых сотнях слов повторяются одни и те же или похожие друг на друга морфологические элементы, вследствие чего в языке образуются более или менее многочисленные семейства слов, родственных по корню, суффиксу или префиксу. Само собой понятно, что слова данного языка, представляя известные однообразия в том материале, из которого они построены, должны представлять известные однообразия и в самом своем строении.

В языке всегда можно открыть известные типы слов и связь между отдельными типами, другими словами, можно открыть известные структурные семейства, системы типов. С другой стороны, область называемого, мир понятий представляет известное число общих категорий, как предмет, его признак, его действие и проч. Каждая из этих категорий имеет свою более или менее обширную семью; представления о предметах действующих, о предметах, испытывающих действие других предметов, о служащих орудием при действии и проч. составят одну семью; представления о действиях, принадлежащих настоящему времени, прошлому или будущему, о действиях мгновенных и продолжительных и проч. составят другую семью, или систему.

Язык не был бы пригоден для той цели, для которой он существует, если бы упомянутым системам понятий не соответствовали с большей или меньшей точностью системы словесных типов. Системы, наиболее выдающиеся, системы, отдельные члены которых находятся в наиболее тесном отношении друг к другу, открыты и описываются с древнейших времен под именем систем склонения и спряжений. К этим двум системам грамматики часто прибавляют третью — изменение прилагательных по степеням (motio). Но упомянутые системы не единственные системы языка: все то, что известно в грамматиках под общим именем словообразования, представляет массу систем, не настолько выделяющихся в необозримой массе слов, составляющих язык, чтобы быть замеченными при поверхностном наблюдении...

...Само собой разумеется, что каждая словесная категория находится в таком более или менее определенном отношении сродства и зависимости не с одной какой-нибудь категорией, а со многими, потому что, несмотря на все уклонения, язык представляет одно гармоническое целое.

Наиболее выдающиеся системы, склонение и спряжение, подмечены давно. Эти системы путем производства стремятся стать однородными по основе. В «борьбе за существование» между несколькими разновидностями основы одолевает та, которая лучше помнится благодаря частому употреблению, а может быть, и другим каким-нибудь своим качествам природы фонетической. Для производства необходима память слов, сходных материально и структурно. Формы, которые твердо помнятся как отдельные формы, а не в связи с другими родственными формами, обыкновенно воспроизводятся. Таковы будут наиболее употребительные слова, а также слова, входящие в состав рядов. Отсюда вечный антагонизм между консервативной силой, основанной на ассоциациях смежности, и прогрессивной, основанной на ассоциациях сходства.

Больше разнообразия и меньше абсолютного порядка представляют слова, рассматриваемые со стороны их строения. Это находится в связи преимущественно с природой ариоевропейского суффикса. В языке устанавливается несколько, например, склонений или спряжений; поэтому данная форма будет гармонировать с прочими, составляющими одну структурную систему, будучи отличной от форм, родственных ей по функции, но принадлежащих другим системам. Однако и здесь замечается стремление к абсолютному однообразию, к уменьшению числа систем. Это происходит путем вытеснения одних суффиксов другими, причем победоносными суффиксами оказываются те, которые лучше помнятся благодаря частому употреблению, своей полнозвучности и выразительности, а также большему соответствию данным основам.

Кроме склонения и спряжения, язык имеет и другие, менее выдающиеся системы. Они тоже стремятся к однообразию, но преимущественно к однообразию внутри своей категории, к однообразию структурному, которое может задерживать полное упорядочение слов, происходящих от одного корня. Здесь мы видим, что производство, являясь тормозом абсолютному упорядочению слов, родственных по корню, не перестает, однако, вносить в язык порядок, но порядок относительный.

Вся масса не гармонирующих с данной языковой системой продуктов воспроизводства мало-помалу сглаживается, или уступая систематизирующей и обновляющей силе производства, или вполне отчуждаясь от прежних своих родичей и получая самостоятельность...

...Желая составить себе хоть приблизительное понятие о том, как возникают слова известных грамматических категорий, мы

должны бы прежде всего поставить вопрос, насколько правильна общепринятая в грамматиках классификация слов, существующая уже с лишком две тысячи лет. Но этот трудный и сложный вопрос не может найти места в настоящем кратком очерке. Что общепринятая классификация слов не выдерживает строгой критики, читатель может найти доказательства в XI главе книги Пауля[1]. Не имея возможности теперь заняться этим вопросом, мы можем сказать только, что более правильной классификацией была бы такая, по которой все слова делились бы на знаменательные, имя и глагол, и незнаменательные, служебные, или частицы разных степеней: первой степени, например наречия, в которых элемент знаменательности еще очень силен, второй, например предлоги, которые гораздо менее знаменательны, и так далее до частиц, вроде русской *то* и греческой γέ. частиц, вполне служебных, лишенных всякой знаменательности и самостоятельности. И вот в истории языка мы видим, что одна знаменательная категория обыкновенно получается из другой, частицы же получаются из осколков систем знаменательных слов; при этом частицы более низких степеней развиваются из частиц более высоких степеней.

[1] Речь идет о «Принципах истории языка» Г. Пауля (см. стр. 199 настоящей книги). *(Примечание составителя.)*

В. А. БОГОРОДИЦКИЙ

НАУКА О ЯЗЫКЕ И ЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В КРУГУ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫХ НАУК. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДЫ ЯЗЫКА. ВОПРОСЫ ЧИСТОГО И ПРИКЛАДНОГО ЯЗЫКОВЕДЕНИЯ[1]

Наука о языке, или лингвистика, имея значение сама по себе в области человеческого знания, так как без изучения явления речи не может быть полноты миропонимания, представляет особенную важность в ряду филологических наук как самостоятельная наука, так и по своим обширным приложениям: она знакомит с родством языков и народов, с сравнительно-генетическим методом, получающим все более широкое применение в гуманитарных науках, наиболее же строго применяемым именно в языковедении, представляет важность и некоторыми своими прикладными отделами. Ввиду такой сложности науки о языке возникла пропедевтическая дисциплина под названием «Общего языковедения» или «Введения в языковедение», выясняющая основные вопросы науки о языке. К ознакомлению с этой дисциплиной мы и приступим, предварительно сделав некоторые общие замечания с целью облегчить дальнейшее изложение ее.

Прежде всего нужно уяснить природу самого языка, а для этого должно оставить взгляд на язык как на сочетание букв, из которых слагается письменность, и иметь в виду живую речь. В этом смысле язык есть средство обмена мыслей (т. е. средство передавать свою мысль другим и воспринимать чужую), наиболее совершенное по сравнению с гораздо менее совершенным — жестами. При этом обмене слова нашей речи являются символами, или знаками, для выражения понятий и мыслей. Нетрудно понять, что это — наиболее удобные символы. В самом деле, что всего легче может служить в качестве таковых для передачи того изобилия понятий и представлений, которые проходят в нашем уме? Очевидно, нечто такое, что было бы весьма разнообразно, а вместе с тем, с одной стороны, легко производимо, .а с другой — легко улавливаемо или воспринимаемо другими. Невольно изумляешься перед тем, как удачно пришло человечество к тому, чтобы воспользоваться такими легкими для производства и восприятия

[1] В. А, Богородицкий, Лекции по общему языковедению, Казань, 1911. Лекция 1.

символами, какие представляет собою звуковая речь; вместе с тем эти символы, состоящие из звукосочетаний произносимых и слышимых, по разнообразию звуковых элементов вполне достаточных для обозначения разнообразных предметов мира, легко переходят в бессознательную деятельность, что также чрезвычайно важно, потому что они в таком случае уже не затрудняют хода мысли. Что же касается жестов, то, пока еще человеческий язык был слишком недостаточно развит, они могли играть довольно значительную роль, но с развитием языка значение их ослабело, так как они не могли дать такого разнообразия и не были столь удобными символами при передаче мысли, как звуковая речь; поэтому теперь жесты как символы имеют лишь побочное значение, сопровождая и дополняя живую речь.

Уяснивши себе значение слов как наиболее удобных символов или знаков мысли, мы остановимся теперь несколько подробнее на самом процессе живой речи, предполагающем говорящего и слушающего; Словесный язык, или разговор, соединяющий говорящего и слушающего, возможен прежде всего при наличности объективного момента, каковой представляют колебательные состояния воздушной среды, вызываемые действием органов произношения говорящих и воспринимаемые слухом участников разговора; но при этом необходимо и другое условие, именно: словесный язык может служить посредником между говорящими лишь тогда, когда в их уме с одними и теми же словами ассоциируются или связываются сходные представления. Нужно прибавить, что языковой процесс не один и тот же у говорящего и слушающего: у говорящего речь есть функция мысли, так как у него мысль ищет соответствующего словесного выражения из запаса слов и оборотов, хранимых его памятью; у слушающего же, наоборот, мысль есть функция речи или, точнее, слуховых представлений, возбужденных у него слышимою речью; короче: в процессе речи у говорящего мысль как бы ведет за собою слова, у слушающего же, наоборот, под влиянием слов складываются мысли. Но, как мы уже сказали, все это возможно лишь тогда, когда одинаковые слова ассоциированы в уме говорящего и слушающего с одинаковыми понятиями, и, следовательно, лишь тогда возможна объединяющая или общественная роль языка; это становится прямо осязательным, когда мы попадаем в среду, говорящую на неизвестном нам языке. Одинаковость языка, объединяя людей к общей деятельности, становится таким образом социологическим фактором первейшей важности.

Однако только что представленное разъяснение процесса разговора было бы далеко не полным, если бы мы ограничились взглядом на язык как на простой размен слов для выражения мыслей; в действительности сущность этого процесса глубже, так как всякий, и даже самый обыкновенный, разговор представляет собою творчество- говорящий выбирает наиболее соответствующие выражения, а слушающий старается не только уловить вернее

смысл воспринимаемой речи, но и создать по возможности творческой силой фантазии образ, соответствующий слышимым словам. Творчество это как у говорящего, так и у слушающего идет не всегда одинаково успешно: при сильном подъеме душевной энергии оно совершается наиболее успешно, — тогда у говорящего удачнее подбираются слова и даже создаются новые, речь становится выразительнее, а у слушающего глубже затрагивается соответствующий мир понятий и представлений и рельефнее вырисовываются образы. Даже у детей, когда они приобретают речь, процесс является не простым усвоением материала, но вместе и творчеством: усваивая слова, дети сами пробуют образовывать по ним другие, хотя бы и с ошибками. Так как, далее, словесное творчество говорящего, воплощая в слове новые комбинации идей, все-таки оставляет многое невысказанным, то творчество слушающего должно дополнять эти пробелы, а это легко ведет к частичному непониманию, тем более что представления и понятия каждого складываются своим путем и потому не могут быть у разных лиц вполне тождественными[1].

В последнем обстоятельстве можно видеть едва ли не основной фактор прогресса языка, так как говорящий, естественно, стремится высказываться таким образом, чтобы его полнее и лучше поняли; в то же время нетождество понимания, вызывая столкновение мнений, является лучшим средством для контроля за самою правильностью мысли. Прогресс языка в истории человечества будет нам особенно нагляден, если сравним язык каких-нибудь дикарей, иногда не имеющих даже особых названий для чисел дальше четырех или пяти, с литературным языком народов, достигших высокой ступени развития, причем, повторим, главный фактор этого мощного развития языка заключается в стремлении говорящего к тому, чтобы в уме слушающего как можно полнее отразилась та же мысль; а эта тенденция в свою очередь основывается на природном стремлении к общественности. Можно думать, что и самые начатки языка не вызваны лишь одною нуждою во взаимной помощи, но лежат в том же природном стремлении людей к общественности.

Далее, прогресс языка тесно связан с прогрессом цивилизации, так как появление у человека новых идей и понятий неизменно сопровождается появлением новых слов и выражений; таким образом, язык является как бы летописью пережитой культурной и социаль-

[1] На речь с указанной здесь точки зрения, т. е. как на процесс и творчество, смотрел уже основатель общего языковедения — немецкий ученый первой половины прошлого столетия В. Гумбольдт, говоривший, что язык есть не ἔιργον, а ενέργεια (Не факт, а деятельность); а та черта словесного языка, что мысль в уме говорящего и слушающего не может быть вполне тождественной, дала повод тому же ученому высказать, что речь представляет сочетание понимания с непониманием (см. «О различии организмов человеческого языка и о влиянии этого различия на умственное развитие человеческого рода». Посмертное сочинение Вильгельма фон Гумбольдта, Спб., 1859, стр. 40, 62).

ной истории данного народа. Отсюда становится нам понятною и любовь каждого народа к своему языку, которым говорили отцы и деды; каждый человек легче и лучше мыслит и излагает свои мысли при помощи слов того языка, к которому привык с детства. Поэтому-то угнетение языка народности было бы не только тем несправедливым и жестоким запретом на свободу слова, который столь художественно представлен гр. А. Толстым в его поэме «Иоанн Дамаскин», но сопровождалось бы ущербом и вообще для человеческой культуры. Для лучшего уяснения себе этого пункта обратим внимание хотя бы на то обстоятельство, что сходные слова-понятия в разных языках представляют нередко различие не только по своему образованию, но вместе с тем и по оттенку, или нюансу, мысли (так, например, русское слово «причина» и нем. Ursache не покрываются вполне одно другим, представляя некоторое различие по своему, так сказать, смысловому тембру), причем это различие способно возбуждать своеобразие в направлении мысли. Таким образом, различие языков заставляет человечество идти к истине как бы разными путями, освещая ее с разных точек зрения, а это служит залогом наиболее полного достижения истины, а не одностороннего[1].

Наш язык не только служит для выражения мыслей, он в значительной мере является и орудием мысли. Уже самое существование слов как некоторых объективных символов содействует переходу наших представлений из низших стадий в высшие, расплывчатых и легко теряющихся представлений — в более устойчивые и фиксированные в слове понятия, а чрез то и самое мышление приобретает определенность и ясность[2]. Но роль языка не ограничивается этим; приспособляясь к развивающейся мысли, он служит вместе с тем показателем успехов классифицирующей деятельности ума. Для примера остановимся на роли суффиксов по отношению к нашему языковому мышлению. В нашем уме явления и предметы мира классифицируются в группы, которые закрепляются в языке при помощи суффиксов; так, например, суф. *-тель* обозначает разного рода деятелей, *-ние* или *-тие* — действия, даже такая частная группа, как ягоды, отмечена особым суффиксом *-ика* или *-ника* (в разных языках такого рода группировка может представлять большие или меньшие отличия). Таким образом, элементы языка воплощают успехи познающей мысли и в свою очередь служат исходною точкою для последующего развития ее[3]; без такого

[1] Ср. В. Гумбольдт, указ. соч., стр. 31.

[2] Ср. там же, стр. 51.

[3] Дети, учась родному языку, бессознательно усваивают и все эти результаты классифицирующей мысли своего народа, так что изучение языка является для них как бы школой естественной логики ума. Ничего нет удивительного в том, что в настоящее время и наука логики старается сблизиться с наукой о языке. В другом месте я разъясняю влияние, которое должно было оказывать слово на развитие философской мысли (см. мои «Очерки по языковедению и русскому языку», 1910, стр. 327)

фиксирующего свойства языка в человечестве не могла бы развиться ни одна наука.

В заключение общих замечаний о природе и роли языка мы должны заметить, что не все движения нашей психики могут воплощаться в простом слове; некоторые из них требуют для своего воплощения участия искусств, например музыки, живописи, поэзии. Язык с своей стороны дает возможность удовлетворять этим художественным стремлениям человека, так как содержит в себе, кроме звуков речи, также элементы ритма, музыкальности, созвучий, которые, придавая слову красоту, позволяют ему принимать художественное развитие. Таким образом, уже в самой природе языка содержатся элементы для возникновения и развития поэзии или языка художественного, приспособляющегося к развитию художественной мысли, подобно тому как язык научный или прозы приспособляется к успехам научной мысли[1].

Рассматривая природу языка и основные свойства его, мы не коснулись еще его весьма важной черты — изменчивости во времени и пространстве, благодаря которой и получилось в течение веков все языковое многообразие, какое видим теперь на земном шаре. Главнейшими факторами этой изменчивости языка и связанного с нею диалектического роста языков являются смена генераций и расселение племен, вступающих при этом в новые условия[2]. В настоящее время наука о языке распределяет все языки земного шара на ряд отдельных семейств (например, арио-евроиейское, угро-финское, турецко-татарское и целый ряд других в разных частях света), настолько различных, что оказывается невозможным обнаружить родство между ними и, следовательно, одно общее их происхождение, хотя со временем, быть может, и удастся открыть родство по крайней мере между некоторыми из них. Каждое из этих семейств в свою очередь распадается на языки, наречия и говоры. Так, к ариоевропейскому семейству принадлежат сохранившиеся в письменности древние языки — санскритский, древнегреческий, латинский и пр.; из современных языков этого семейства назовем, например, романские, германские, славянские и др. Родство между языками, образующими то или другое семейство, языковедение доказывает путем сопоставления их слов и грамматических форм, что и составляет предмет сравнительной грамматики этих языков.

Ознакомившись с природою языка как объекта лингвистических изучении, мы обратимся к самой науке о языке и укажем на главные ее подразделения. Языковедение распадается прежде всего на чистое и прикладное. В область чистого языковедения входит сравнительно-историческое изучение языков того или дру-

[1] См. там же — очерк 20 под заглавием «Психология поэтического творчества в соотношении с научным».

[2] Подробнее о влиянии этих факторов см. в нашем «Кратком очерке диалектологии и истории русского языка» (1910) — начальные страницы.

того семейства как со стороны грамматического строя, так и лексического запаса (т. е. запаса слов). Сложность подобных исследований станет для нас понятной, если предварительно представим себе лингвистическое изучение одного отдельного языка. Сюда входит, помимо лексического состава, изучение его фонетическое (т. е. со стороны звукового состава и звуковых законов) в связи с физиологиею звуков, морфологическое (со стороны знаменательного состава слов) и синтаксическое (со стороны способов сочетания слов в предложения); в последнее время более и более упрочивается еще изучение языка со стороны семасиологической (т. е. в отношении развития смысловых оттенков слов)[1]; при Этом изучение знаменательной стороны слов опирается на психологию. Затем все явления языка, к какой бы из этих категорий они ни относились, должны быть изучаемы не только в современном их состоянии, но также и в историческом развитии, причем исследование не ограничивается литературным языком (если таковой существует), но считается и с народными говорами во всем их разнообразии (диалектология). На основании такого частного изучения отдельных языков формируется более общее сравнительное изучение языков отдельных ветвей (например, в области ариоевропейского языкового семейства — сравнительное изучение славянских языков, языков романской ветви и т. д.) и, наконец, ветвей целого семейства (такова, например, сравнительная грамматика ариоевропейских языков), хотя прибавим, что и изучение отдельного языка не может обойтись без сравнения с его родичами. В каждом языковом семействе, при сравнительно-историческом его изучении, лингвист старается воссоздать в качестве исходного пункта его праязыковое состояние, т. е. определить грамматический строй и лексический состав в ту эпоху, когда оно еще не разделилось на ветви, а затем уже следит и за дальнейшим диалектическим развитием до настоящего времени, причем он должен воссоздавать и праязыковое состояние отдельных ветвей, которые затем постепенно делятся на более мелкие, перешедшие, наконец, в современные языки. Что касается прикладного языковедения, то сюда относится главным образом воссоздание первобытной культуры отдельных семейств и ее последующего развития по данным языка, причем лингвистика близко соприкасается с другими культурно-историческими науками; кроме того, педагогические вопросы о приемах изучения языков, как родного, так и иностранных, получают надлежащее освещение также в науке о языке, в прикладном ее отделе.

[1] Ср., например, M. Breal, Essai de sémantique, 1904

VII. КРИТИКА МЛАДОГРАММАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ

Вначале XX в., когда вслед за крупными открытиями, сделанными в области языкознания с помощью младограмматических методов исследования, наступил период относительного затишья, поднимается ожесточенная критика младограмматизма. К этому периоду, который иногда определяется как период кризиса в языкознании, относится создание новых лингвистических школ, находящихся в резкой оппозиции к младограмматизму. Сюда относится школа «слов и вещей», с которой был связан Гуго Шухардт, возглавляемая Карлом Фосслером школа эстетического идеализма и оформившаяся несколько позднее так называемая неолингвистика. Все эти школы имеют общие точки соприкосновения, особенно в критике младограмматических доктрин, но вместе с тем обладают и рядом своеобразных черт.

Оформление школы «слов и пещей» относится к 1909 г., когда начал выходить издаваемый Р. Мерингером журнал «Worter und Sachen» («Слова и вещи»), откуда и название этой школы. Эта школа ставила своей целью изучение истории слов не только на основе лингвистического анализа, а и в связи с историей вещи («Слово существует лишь в зависимости от вещи»). По характеру своей концепции она замыкалась в кругу проблем этимологии, лексикологии и семасиологии. Но главный представитель этой школы, австрийский лингвист Гуго Шухардт (1842 — 1928), в своем научном творчестве фактически был шире выдвинутых ею теоретических положений.

Г. Шухардт, которого иногда называли одним из виднейших языковедов всех времен, интересовался широким кругом проблем, смело шел навстречу самым сложным вопросам, выдвигал новые проблемы и неутомимо работал над изучением разнообразных языков, хотя основной областью его исследований были романские языки. Его перу принадлежит огромное количество работ, публиковавшихся главным образом в периодических изданиях. Извлечения из его основных работ по вопросам общего языкознания были изданы сборником в 1922 г. (Hugo Schuchardt-Brevier. Второе, расширенное издание — в 1928 г. В 1950 г. Издательство иностранной литературы выпустило его «Избранные статьи по языкознанию»).

Г. Шухардт был сильнее в критике, чем в творческом создании; относительное он часто превращал в абсолютное, делал вывод о бессилии науки о языке, если оказывалось невозможным немедленно получить исчерпывающее решение проблемы.

Язык Г. Шухардт считал продуктом говорящего индивида; положение, условия жизни индивида, его характер, культура, возраст и т. д. оказывают, по его мнению, прямое влияние на язык, создают определенный индивидуальный «стиль», который затем путем имитации генерализуется.

Основную причину языкового изменения Г. Шухардт видел в беспрерывных языковых скрещениях («Не существует ни одного языка, свободного от скрещений и чужих элементов»). Позднее акад. Н. Я. Марр широко использовал этот тезис в своих теориях.

Г. Шухардт, выступая против младограмматиков, отрицал закономерность в звуковых изменениях (см. его статью «О фонетических законах»), возможность деления истории языка на четко разграниченные хронологические периоды, наличие границ между отдельными говорами, диалектами и языками («Локальные говоры, поддиалекты, диалекты и языки — абсолютно условные понятия»). Это последнее утверждение одной стороной направлено против фонетических законов (нет. пространственных границ их действия), а другой — против генеалогической классификации языков по принципу их родства. Вместо генеалогической классификации языков он выдвигал теорию «географического выравнивания» — непрерывность переходов одного языка в другой в соответствии с их географическим положением — и учение об «элементарном» родстве языков, построенном на общности психической природы людей.

Значительное внимание Г. Шухардт уделял этимологическим, семасиологическим и многочисленным частным вопросам языкознания. Противоречивость его суждений, неудовлетворенность достигнутым и постоянные поиски все новых решений не способствовали созданию им особой школы. Г. Шухардт остался фактически одиноким в истории языкознания, хотя отдельными его выводами широко пользовались и пользуются языковеды, нередко принадлежащие к самым различным направлениям.

Глава школы эстетического идеализма К. Фосслер (1872 — 1947) был не только лингвистом, но и литературоведом (специалистом в области романской филологии). В 1904 г. он опубликовал свою программную работу «Позитивизм и идеализм в языкознании». Изложенной в этой книге концепции он остался верен до конца своей жизни. Последующие его работы «Язык как творчество и развитие» (1905), «Избранные статьи по философии языка» (1923), «Дух и культура в языке» (1925), а также многочисленные статьи либо детализируют высказанные в первой книге положения, либо включают их в более широкие культурно-исторические рамки, исследуя отношения языка и речи, религии, науки, поэзии и т. д. Особняком стоит его книга «Культура Франции в зеркале ее языкового развития» (1913; со второго издания — в 1929 г. — она называется «Культура и язык Франции»). Эта книга представляет собой применение выдвинутых К. Фосслером теоретических принципов к изучению истории французского языка.

Лингвистическая концепция К. Фосслера в методологическом отношении строится на трех основах: в более общем плане — на философии идеализма, а в собственно лингвистическом плане — на философии языка В. Гумбольдта и на взглядах итальянского философа и эстетика Бенедетто Кроче. Сам К. Фосслер всячески подчеркивает идеалистическую сущность своей концепции и с сугубо идеалистических позиций ведет острую полемику с младограмматиками, которых он определяет как позитивистов.

Язык К. Фосслер рассматривал как явление индивидуального творческого акта. Именно в силу творческого характера языка первоначальным стимулом всякого языкового изменения и, следовательно, всего процесса развития языка К. Фосслер считал эстетический фактор, что в конечном счете ставит язык в один ряд с другими явлениями, подлежащими ведению эстетики. Ввиду указанных предпосылок созданную им школу определяют как школу эстетического идеализма.

Взгляды К. Фосслера с большой четкостью сформулированы им самим в его указанной выше программной работе, которая в наиболее существенных извлечениях представлена в настоящей книге.

К. Фосслер выдвинул перед языкознанием ряд новых задач: лингвистиче-

ское изучение стилистики, определение взаимоотношений языка писателей и общенародного языка, связь истории культуры с развитием языка и др. Разрешение этих задач самим К. Фосслером носит глубоко субъективный характер, обусловленный идеалистическими основами его метода.

Возглавляемая К. Фосслером школа немногочисленна и в основном тоже состоит из специалистов в области романской филологии (Е. Лерх, Л. Шпитцер, много заимствовавший также от Г. Шухардта, и Дж. Бертони).

В двадцатые годы сформировалось новое направление в науке о языке, также находящееся в оппозиции к младограмматикам. Это новое направление получило название неолингвистики. Его представителями являются М. Бартоли, Дж. Бертони, В. Пизани. Принципы и методы новой школы были впервые изложены в «Кратком очерке неолингвистики» (1925), в котором первая часть («Общие принципы») написана Дж. Бертони, а вторая («Технические критерии») — М. Бартоли. Последнему принадлежит также «Введение в неолингвистику» (1925). Суммарное и вместе с тем четкое изложение общетеоретических положений неолингвистики содержится в работе Дж. Бонфанте «Позиция неолингвистики» (1947), которая включена в настоящий раздел.

Объясняя название новой школы, М. Бартоли противопоставляет ее младограмматизму; как показывает само их название, младограмматики занимались только грамматикой, а неолингвисты хотят быть лингвистами т. е. изучать весь сложный комплекс вопросов науки о языке.

Неолингвистика — тоже идеалистическое направление в языкознании, что подчеркивают сами ее представители. Вместе с тем это наиболее эклектическое направление. Его принципы основываются на идеях В. Гумбольдта, Б. Кроче, Г. Шухардта, К. Фосслера, которые соединяются с наблюдениями и выводами лингвистической географии (Ж. Жильерон). Знакомясь с теоретическими работами неолингвистов, мы узнаем знакомые по предыдущим работам идеи о языке как духовной деятельности и художественном творчестве, об индивидуальном происхождении языковых изменений, о значении процессов языкового смешения, об отсутствии четких границ между языками и многое Другое. Их критическая аргументация, направленная против младограмматиков, также во многом заимствована у Г. Шухардта и К. Фосслера.

Стремясь показать сложность языкового развития и учесть при изучении языка конкретные условия его развития, неолингвисты, однако, в действительности ограничиваются только географическим фактором (географическое местоположение и соприкосновение языков и диалектов), нередко преувеличивая его значение. Это обстоятельство обусловило и их методы лингвистического исследования, в которых на первый план выдвигаются «ареальные» (пространственные) отношения диалектов и установление изоглосс, указывающих границы и этапы развития отдельных «инноваций» (новообразований). Отсюда и определение языка как механической совокупности изоглосс. «Называя изоглоссами элементы, находящиеся в обладании членов данной лингвистической общности в данный момент времени, мы можем определить язык как систему изоглосс, соединяющих индивидуальные лингвистические акты» (В. Пизани).

Ввиду того значения, какое неолингвисты придают географическим факторам, их школа нередко именуется пространственной, или ареальной, лингвистикой.

ЛИТЕРАТУРА

А.В. Десницкая, Вопросы изучения родства индоевропейских языков, изд. АН СССР, М., 1955.

Р.А. Будагов, Г. Шухардт как лингвист, «Русский язык в школе», 1940, № 3.

В.А. Звегинцев, Эстетический идеализм в языкознании (К. Фосслер и его школа), изд. МГУ, 1956.

В.А. Звегинцев, Предисловие к сборнику «Общее и индоевропейское языкознание». Изд. иностр. лит., М., 1956.

А.С. Чикобава, Проблема языка как предмета языкознания, Учпедгиз, М., 1959.

Г. ШУХАРДТ

ИЗБРАННЫЕ СТАТЬИ ПО ЯЗЫКОЗНАНИЮ[1]
(ИЗВЛЕЧЕНИЯ)

О ФОНЕТИЧЕСКИХ ЗАКОНАХ (ПРОТИВ МЛАДОГРАММАТИКОВ)

Единственный тезис, который может быть признан безусловным и бесспорным достоянием так называемой младограмматической школы, — это тезис о непреложности фонетических законов. Мы встречаем его также в работах, предназначенных скорее для учащихся и широкой публики, чем для специалистов, и притом иногда без всякого упоминания о тех энергичных возражениях, которые против него выдвигаются. И все же, несмотря на это, я готов был бы уступить пожеланиям известных кругов и отложить на время оружие, если бы обе школы противостояли друг другу с четкими формулировками своих взглядов, так что достаточно было бы всего нескольких слов для изложения собственной точки зрения. Однако в данном случае этого нет: одно и то же положение обосновывается совершенно различно, а дискуссия не удерживается по большей части в определенных, строго очерченных рамках и часто растворяется в рассуждениях по специальным вопросам истории индоевропейских языков; многие, очевидно, считают, что можно достигнуть примирения там, где в действительности возможны только «да» или «нет», другие колеблются, иные предпочитают молчать. Мои неоднократные, но случайные высказывания не ограждают, по-видимому, от опасности их неправильного истолкования, и поэтому я хочу, наконец, определенно высказать свое давнее резко отрицательное отношение к упомянутому выше принципу младограмматиков. Большая часть того, о чем я здесь говорю, сказана уже до меня и в некоторых отношениях лучше; однако я надеюсь, что, даже кратко изложив свои взгляды и останавливаясь лишь на оставшихся более или менее не затронутыми вопросах, я смогу способствовать дальнейшему изучению этой исключительно важной проблемы.

Характер отмеченного тезиса младограмматиков, что признано и ими самими, исключает возможность применения индуктивной системы доказательства. Попытки же доказать его правильность с помощью дедуктивной аргументации я считаю неудачными, так как они базируются на явно

[1] Изд. иностр. лит., М., 1950. Перевод А. С. Бобовича.

искусственных положениях: в них не учитываются едва уловимые, но тем не менее существующие различия; переходные формы считаются взаимно исключающими друг друга; то, что найдено эмпирически, объясняется априорным, сложное — простым. Что касается дедуктивного характера моего дальнейшего изложения, то те немногочисленные примеры, которыми я иногда пользуюсь, служат лишь целям наглядности, и в силу этого возражения со стороны моих оппонентов должны быть направлены не на отдельные факты, а на совокупность моих взглядов в целом.

В предложении: «фонетические законы не знают исключений» — и субъект и предикат вызывают значительные сомнения. Если Вундт видит в нем логический постулат, то объясняется это тем, что термин «фонетические законы» воспринимается им уже в младограмматическом смысле, тогда как в действительности смысл этого предложения примерно таков: «все, что до настоящего времени обозначалось термином «фонетические законы», это действительно подлинные, не знающие исключений законы, такие же, как законы природы», или, точнее: «фонетические изменения происходят в соответствии с законами, не знающими исключений». Однако впоследствии, особенно после появления превосходной, но, к сожалению, не всеми оцененной по достоинству работы Тоблера[1], вожди младограмматиков отказались от этого широко применявшегося вначале отождествления фонетических законов с законами природы. Если некоторые, например Кертинг, и теперь еще продолжают придерживаться указанной точки зрения, то это по крайней мере последовательно. В силу тех же причин, из-за которых необходимо признать несостоятельность тезиса о сходстве фонетических законов с законами природы, несостоятельным оказывается и тезис о том, что законы эти не знают исключений. Термин «фонетические законы» нецелесообразен и еще в одном отношении. Хотя в соответствии с обычным употреблением я и понимаю под ним в настоящей статье законы фонетических изменений, однако с одинаковым и даже с еще большим правом его можно применить и к законам фонетического состава. Так поступил, например, Крушевский, приписывающий этим статическим законам такой же абсолютный характер; что касается его взглядов на динамические законы, то они кажутся мне не вполне последовательными.

Словом «исключение» выражаются чисто внешние отношения; в нем не содержится никакого указания на действующие факторы. В силу этого вообще, а в нашем случае в особенности, различают — и притом совершенно неосновательно — исключения действительные и мнимые. Если за фонетическими законами признать абсолютный характер, то понятие «исключение» утрачивает свой смысл; то, что именуется обычно исключением, является в действительности результатом взаимодействия одних фонетических законов с дру-

[1] Шухардт имеет в виду работу L. Tobler, Über die Anwendung des Begriffes von Gesetzen auf die Sprache, Vierteljahrschr. für wiss. Philosophie, III, Leipzig, 1879. *(Примечание к изданию 1950 г.)*

гими, результатом смешения диалектов и развития смысловых ассоциаций. Первый из этих трех факторов не нуждается применительно к нашим целям в каких-либо дополнительных исследованиях, второй будет рассмотрен в своем месте, третий — теперь же. Ему принадлежит центральное место во всех построениях младограмматиков; в нем видят антагониста фонетических закономерностей и в качестве носителя психологического начала его противопоставляют физиологическому фактору.

Вопрос о внешних взаимоотношениях обоих факторов и о сравнительной важности того и другого был выдвинут уже Тоблером, который вместе с тем с исключительной тонкостью показал всю трудность разрешения этой проблемы. Здесь возможно прежде всего подчиненное положение одного из названных факторов: один — созидательный, или нормальный, другой — разрушительный, или аномальный. Под последним разумели психологический фактор. Однако если при этом ссылаются на внешние признаки какой-либо формы, то возникает вопрос, не следует ли обратиться к тем случаям (Тоблер такого вопроса перед собой не ставит), где в больших группах однородных явлений обнаруживаются отклонения, возникшие в результате спорадического воздействия фонетических законов. В испанском и португальском языках все причастия, первоначально оканчивавшиеся на *-udo,* имеют теперь окончание *-ido,* но разве исключена возможность, что то или иное из них осталось неизменным в силу чисто фонетических причин, например sabudo (известный) благодаря своему *u,* родственному соседнему *b*? И разве подобные «механические» причины не могли тормозить этот процесс на всем его протяжении? К частным рассуждениям этого рода присоединяется также и соображение общего характера: возможно ли вторжение произвола в столь строго обусловленный порядок? Все это приводит нас к заключению, что закономерность в равной мере присуща и психологическому и физиологическому началу речи; иными словами, оба начала должны быть соотносимы друг с другом. Границы сфер их воздействия во многих местах пересекаются; преобладание того или иного начала всякий раз определяется конкретными обстоятельствами. Поэтому для окончательного решения проблемы нужны дополнительные данные. В связи с этим Тоблер указывает, что «гетерогенные силы никогда не уравновешиваются; больше того, они вообще нигде не соприкасаются».

Гетерогенность сил едва ли можно предвидеть заранее; она становится очевидной только в том случае, если действие каждой из этих сил совершенно независимо. Наша воля не в состоянии воспрепятствовать сколько-нибудь существенным изменениям, происходящим в нашем теле; в лучшем случае она способна воспрепятствовать лишь рефлекторным движениям, и это находит свое объяснение в том, что последние являются не чем иным, как волевыми актами, превратившимися в конце концов в механические.

Наш случай заключает в себе нечто подобное. Там, где изменение того или иного звука, будь то индивидуальное отклонение, или естественный, или благоприобретенный дефект речи, объясняется физиологической причиной, — там, разумеется, обращаться к аналогии незачем; напротив, если мы сталкиваемся с исключениями по аналогии, то необходимо отказаться от мысли о действии чисто физиологических причин. Психологическая природа одного из скрещивающихся факторов указывает на такую же природу второго. Нечто подобное имел в виду, по-видимому, уже Курциус, у которого мы находим следующее: «Сила, создающая аналогию, должна обладать чертами сходства с той силой, на которую она оказывает воздействие».

Таким образом, на наших глазах ликвидируется противоречие между физиологическими и психическими факторами, и поскольку мы правильно понимаем их внутренние взаимоотношения, постольку нами уясняются также и внешние. В этом направлении сделано уже много. Хотя Остгоф, рассматривая формальное строение языка, весьма резко противопоставляет физиологические моменты психологическим, все же в своих «Морфологических исследованиях» он отмечает уже соучастие «психических факторов» в процессе фонетических изменений. Противоречия, в которых запутались при этом Остгоф и Бругман, были вскрыты Мистели[1], но и с его пониманием соотношения физиологических и психологических факторов в процессе фонетических изменений я также не могу согласиться; оно возникло из стремления сгладить все острые углы, что в особенности проявляется в заключительной части его работы. Колебания младограмматиков переходят и в изложение Вундта, который, по-видимому, многое от них воспринял. Если вначале наряду с физиологическими условиями фонетических изменений он склонен был признавать также «лежащие еще глубже психологические мотивы, которые, возможно, даже более древнего происхождения», то в дальнейшем он говорит исключительно о влиянии физиологических факторов. В результате непосредственно за утверждением, что «язык в основном зависит от природных условий в такой же степени, как всякое явление исторического порядка», он упоминает о некоем «определяемом законами природы характере, присущем различным областям жизни языка отнюдь не в одинаковой степени». Различие в характеристике, которую дает Вундт предмету и методу языкознания, остается для меня неясным. С удивлением я читаю у Бругмана, что многими из тех, «кто примыкал в Лескину, до появления книги Курциуса», психическая природа звуковых законов признавалась якобы за аксиому. Он забывает при этом то обстоятельство, что выдвинутое его соавтором Остгофом предположение о якобы полной неспособности органов речи к произнесению некоторых звуков

[1] F. Misfeli, Laufgesetz und Analogle, Zeitschrift für Völkerpsychologie und Sprachwissenschaft, XI — XII, Berlin, 1880.

подтверждается фактами, хотя и в меньшей степени, чем это представлял себе Остгоф...

...Формальные пороки младограмматической догмы не дают мне еще достаточных оснований для формулировки моего взгляда в виде антитезы, и я не скажу: «фонетические законы знают исключения». Но если из этой догмы делают тот вывод, что «спорадических фонетических изменений не существует», то я, наоборот, утверждаю: «спорадические фонетические изменения существуют». Окажись я вынужденным признать понятие «непреложность», я применил бы его скорее к факту существования спорадических фонетических изменений, чем к фонетическим законам, поскольку всякое фонетическое изменение на известном этапе является спорадическим. И если во что бы то ни стало необходимо охарактеризовать эти точки зрения в противопоставлении их друг другу, то уместно говорить об абсолютной и относительной закономерностях.

Остается доказать еще, — правда, мне это кажется излишним, — что, вкладывая более широкий смысл в получившее, к сожалению, права гражданства выражение «фонетические законы», мы на практике, т. е. в специальном истолковании слов и форм, не испытываем в связи с этим никаких затруднений. Считают, что учение о фонетической непогрешимости вносит в научное исследование большую строгость. Однако сторонники этого взгляда исходят здесь из ошибочного положения: строгость научного исследования должна проявляться не в объекте, а в субъекте его, не в установлении более строгого закона, а в более строгом следовании тому закону, без которого невозможна никакая наука и который обязателен для всякой науки, т. е. закону причинности. Это строгое следование данному закону вырабатывается само собой в неуклонном прогрессе науки, и оно же приводит к постепенному изменению ее характера: наука перестает быть описательной и переходит к истолкованию фактов. В языкознании вначале, прежде чем взяться в широком объеме за исследование причин возникновения тех или иных явлений, также много занимались собиранием фактов. Однако считать это временное самоограничение отрицанием принципа, что различные следствия имеют различные причины, кажется мне грубым искажением истины. Кроме того, отмечая то или иное отклонение от общепризнанного закона, лучше молчать о причинах этого отклонения, чем высказывать плохо обоснованное предположение. Ошибки, против которых так ополчились младограмматики, или давно уже преодолены, или представляют собой рецидивы былого, от которых не свободна никакая наука и которые, если принять во внимание многочисленные прегрешения младограмматиков в отношении их собственной теории, заслуживают снисхождения, особенно с их стороны, или, наконец, это вообще не ошибки.

Что касается меня, то мне, напротив, учение о непреложности фонетических законов представляется тормозом для дальнейшего

развития науки в соответствии с законом причинности. По своему существу эти законы представляют собой эмпирические законы, которые, как подчеркивает Вундт, должны быть преобразованы в законы, базирующиеся на причинно-следственных отношениях. Но разве не поразительна непоследовательность младограмматиков, которые, не понимая сущности фонетических законов, все же хотят до конца постигнуть природу исключений? И разве не поразительно также, что они ищут причину последних главным образом а воздействии ассоциаций по смыслу и оставляют при этом вне рассмотрения прочие факторы, например смешение языков? Особенно опасны, как мне кажется, подобные взгляды в приложении к романским диалектам, какими их сохранили для нас средневековые рукописи. Короче говоря, возникновение основного принципа младограмматиков не знаменует для меня никакого подъема в истории языкознания, и я не думаю, чтобы с его появлением оно стало развиваться уверенней и быстрей; я не думаю также, что грядущие поколения смогут обнаружить какой-либо благодетельный перелом, сравнивая между собой «Saggi ladini» Асколи и «Tiefstufe im indogermanischen Vokalismus» Остгофа.

История этого блистательного софизма младограмматиков, сбившего с толку многих, достойна внимания. Корни его уходят к былым воззрениям, отрывавшим язык от человека, отводившим языку свою особую жизнь, воззрениям, которым первоначально была свойственна мистическо-романтическая, а затем строго естественнонаучная окраска. Учение о непреложности фонетических законов, хотя фактически и не восходящее к А. Шлейхеру, но возвещенное в его духе, маячит перед нами, словно древность, перенесенная в нашу эпоху, признающую за языкознанием право именоваться наукой о духе, видящую в языке не созданный природой организм, но продукт социальной жизни. Особенно удивляет меня, что мы сталкиваемся с этим учением в «Prinzipien» Пауля, который с такой глубиной охарактеризовал в названной работе сущность языковых явлений; впрочем, оно фигурирует здесь в очень смягченном виде. Вообще говоря, сторонники этого учения в поисках доказательств принуждены были отказаться от первоначальной догматичности изложения, и в многочисленных поправках и дополнениях к основному тезису младограмматиков без труда вскрываются его внутренние противоречия. Лучшей критикой этого тезиса могло бы явиться, возможно, простое сопоставление многочисленных редакций, в которых мы встречаем его начиная с Остгофа и до Дельбрюка. Широкое распространение тезиса младограмматиков — отнюдь не аргумент в его пользу. Лишь немногие разделяют упомянутый тезис в силу того, что пришли в своих исследованиях к аналогичным выводам или подвергли его всесторонней проверке; большинство же усвоило его из-за отмеченного выше методического удобства. Этот тезис вполне пригоден для того направления, которое ведет ныне науку по пути к ремеслу. Столь метко названная В. Шерером «механизация мето-

дов» сводит до минимума требования к самостоятельной мысли и дает возможность привлечения к «научной» работе огромной массы фактически непригодных для этой цели людей.

Я был бы в высшей степени огорчен, если бы во всех тех случаях, когда хотел быть возможно более резким и определенным — и в интересах дела должен был быть таковым, — нанес кому-либо оскорбление; я был бы огорчен этим тем более, что связан многочисленными узами дружбы со школой младограмматиков; к тому же я чрезвычайно ценю достижения отдельных ее представителей, за исключением того, разумеется, что отмечено печатью специфически младограмматических взглядов. Грубые нападки, которые запятнали новейшие анналы нашей науки, побуждают, по-видимому, многих из нас к излишней сдержанности. Однако терпимость, чрезвычайно приятная спутница научного исследования, может иметь место лишь в личных отношениях и не должна распространяться на существо дела. Всякий, кто из терпимости пожелал бы примирить две взаимно исключающие друг друга этимологии или оставить этот вопрос нерешенным, подвергся бы разумеется, порицанию; точно так же и здесь, где дело идет о важнейших принципах, не могут иметь места посторонние соображения, относящиеся не к области науки, но порождаемые личным произволом. Правда, имеются многие, не воздающие должного лингвистическим принципам; эти люди считают их неоднократное и тщательное обсуждение излишним и утомительным. Против последних, по крайней мере в этом отношении, я иду в ногу с теми, от которых меня отделяет обсуждаемый здесь дискуссионный вопрос. Я не намерен возвращаться к расхождениям в практических выводах, существующих между младограмматиками и нами, разделяющими противоположные взгляды; эти расхождения, быть может, и не так велики. Но младограмматики не только предписывают правила, они настаивают также на определенном факте, который весьма существен для языкознания в целом. Разве само по себе не безразлично, происходит ли романское andare (ходить) от adnare, addare или ambulare или от какого-нибудь кельтского глагольного корня? Переходит ли в данном диалекте *l* в *r,* а в другом *r* в *l?* Какой смысл во всех этих бесконечных этимологических или морфологических соответствиях, в бесконечном ряде фонетических законов, пока они остаются изолированными, пока они не подверглись осмыслению в высшем плане? Они служат, правда, частично, и притом лишь в качестве вспомогательного средства, для освещения родственных и культурных связей между народами; но прежде всего они должны быть использованы в пределах языкознания как такового. Мы должны научиться находить общее в частном, и в силу этого правильное понимание какого-нибудь важнейшего факта, играющего решающую роль в языковедной науке, имеет гораздо большее значение, чем понимание любой частной формы явления.

Этот вопрос относительно значения основных принципов тесно

связан с вопросом о положении языкознания среди прочих наук, и по этой причине Бругман рассматривает их в одной и той же статье. Моя точка зрения совершенно противоположна его взглядам и по второму вопросу, и я полагаю, что столь желанное для него разрешение разногласий едва ли возможно до тех пор, пока мы не откажемся от термина «филология». Разделение наук должно исходить из сути вещей, а не из разграничения по названиям, и меньше всего по таким названиям, которые с самого начала имели столь неопределенный смысл и к тому же неизменно неустойчивое значение, названиям, ведущим свое начало от тех времен, когда еще не было подлинной науки. Почему мы не решаемся говорить о языкознании, литературоведении или истории культуры как об отдельных науках? Что касается существа дела, то я полагаю, что языки, как бы далеко они ни отстояли один от другого, в научном смысле связаны между собой гораздо теснее, чем язык и литература, даже тогда, когда они принадлежат одному и тому же народу. Тождество исследовательского метода гораздо важнее, чем объединение разнородных объектов исследования. Пусть взаимообмен между языкознанием и литературоведением будет настолько живым, насколько это желательно и необходимо; одно по отношению к другому — лишь вспомогательная наука, и только. Тщетно разыскиваю я в других областях знания аналогию тому, что следует понимать под термином «филология». Разве объединяют когда-нибудь, например, флору и фауну того или иного района в одну общую дисциплину? Если кто-нибудь пожелал бы рассматривать любую из многочисленных филологии в качестве практического предмета, в качестве своего рода «отечествоведения», то я ничего не имел бы против этого. Но я не могу согласиться с Бругманом, например, в том, что индоевропейское языкознание не представляет собой раздела общего языкознания, но входит в состав индоевропейской филологии. Ставить границы языковых групп выше границ между отдельными науками я считаю тем более невозможным, что родство или неродство во многих случаях все еще не установлено и эти вопросы в свою очередь являются объектами исследования. Бругман и многие другие ученые не придают значения сравнительному изучению неродственных языков; в таком же положении, рассуждая последовательно, должны были бы находиться и сравнения между исторически не связанными явлениями в родственных языках, о которых говорит Бругман.

Что касается меня, то я, напротив, считаю такие исследования, как работу А. Шлейхера о зетацизме (Zetazismus), написанную за несколько десятилетий до нас, в высшей степени плодотворными; лингвисты, следуя примеру естествоиспытателей, должны были бы чаще отправляться в путешествие по белу свету ради исследования того или иного явления или группы явлений. Это помогло бы пролить свет не только на частное, но прежде всего и на общее. И если даже, согласно Бругману, результаты, получаемые от сопоставления неродственных языков, идут на пользу лишь философии языко-

знания, то и это для меня доказательство ценности подобных сопоставлений, так как обособление в философии языкознания общего языкознания от языкознания частного, предмет которого отдельный язык или группы языков, представляется мне менее всего обоснованным. Всякое частное языкознание переходит в общее, должно быть составной частью его, и чем выше будет подниматься в научном отношении общее языкознание, тем решительнее оно будет отбрасывать все случайное и эмпирическое. При самом тщательном исследовании частных вопросов мы обязаны не терять из виду общее, так сказать, самое общее; мы должны погрузиться в науку, чтобы затем подняться над нею, служить ей, чтобы овладеть ею.

ВЕЩИ И СЛОВА

I

Наличие тесной связи между вещью и словом никогда не вызывало никаких возражений; более того, недостаточно образованный человек, владеющий только родным языком, часто даже приравнивает их друг другу, так что имя какого-либо лица нередко служит представлением о нем самом во плоти и крови. Однако эта связь часто преувеличивалась и искажалась. Впрочем, я намерен говорить здесь не об обычном понимании этой связи, но о вещи и слове в аспекте теоретическом и исследовательском.

В однородном языковом сообществе происходит простое приравнивание слова и вещи. Там же, где мы имеем дело с неродным языком, приходится прибегать к переводу, и в этом случае вначале возникают ошибки, объясняемые более или менее многочисленными, однако не слишком большими реальными расхождениями. Словарь, составленный по принципу объединения однородных вещей, гораздо более поучителен, чем составленный в алфавитном порядке; в последнем эта поучительность отсутствует. Вакернагель не без основания говорит: «Наиболее плодотворный путь, впервые открытый в средние века, для одновременного познания вещей и слов, обозначающих эти вещи, — это составление энциклопедических словарей». Этой фразой он начинает введение к своему изданию «Vocabularius optimus» («Наилучший словарь XIV в.»), выпущенному им в 1847 г. Я хочу привести здесь следующие его слова из краткого предисловия к этому словарю: «Noscitur autem universale per intellectum duobus modis vel quo ad quid nominis vel quo ad quid rei. Quid rei cognoscitur, per eius principia essencialia prius nota. Quid nominis autem noscitur cum apprehenditur quid significatur per nomen dum scilicet significatum diccionis innotescit intellectui» [1].

[1] «Все познается умом двумя способами: либо через сущность названия, либо через сущность вещи. Сущность вещи познается через ее основные признаки, известные уже. прежде. Сущность названия познается через понимание того, что именно обозначает название, то есть в то мгновение, когда значение слова становится ясным уму».

Во многих средневековых словарях потребность в наглядности находила свое выражение лишь в отдельных более или менее грубых изображениях различных предметов, но начиная с «Orbis sensualium pictus (...pictura et nomenclatura)»[1] Амоса Коменского (1658) изображение стало уже систематически служить целям усвоения языка. Мы непрерывно продолжали двигаться по этому пути, почему нашу эпоху можно назвать также эпохой иконоборчества, придавая, однако, этому слову смысл, противоположный тому, каким оно обладало тысячу лет назад. Буквари, в которых ребенок приучается ассоциировать букву *a* с изображениями и наименованиями обезьяны или яблока (оба слова по-немецки начинают буквой *a* — Affe и Apfel), — не что иное, как остатки прошлого. Наглядное обучение распространяется теперь и на изучение иностранных языков, причем родной язык воспринимается здесь уже как помеха и устраняется по возможности с помощью конкретных вещей или их изображений (большое значение здесь имели труды Феликса Франке). Вместе с тем поразительным образом расширилось и усовершенствовалось и иллюстрирование одноязычных энциклопедических словарей (вместо «энциклопедический» иногда пишут «слова и вещи»). Первое место в этом отношении занимает «Nouveau Larousse»; он гораздо полезнее для языковеда, чем немецкие «Konversationslexikon», поскольку он много нагляднее показывает вещи, как таковые; то же относится и к малым, рассчитанным на повседневное пользование словарям того же издания, а также ко всем их разновидностям.

Хотя здесь в первую очередь преследуются практические цели, все же науке в этих изданиях неизменно отводится достойное место; наблюдение становится тем более точным и исчерпывающим, описание тем более четким и доходчивым, чем больше они проникнуты духом науки. Она подымается здесь над фактами, чтобы постигнуть их во взаимосвязи; перед нами подлинная наука, пропитанная духом исследования. Изучение вещей и слов далеко не всегда шло рука об руку; вещи и слова, впрочем, никогда не были оторваны друг от друга, они всегда пребывали в тесном сообществе, будучи объединяемы филологией. До рождения нового языкознания они еще теснее примыкали друг к другу, и это, несомненно, принесло значительную пользу исследованию вещей, особенно в определенной области, а именно в «лингвистической палеонтологии», как она представлена в трудах О. Шрадера[2] и др. Исследование слов не в состоянии противостоять воздействию, исходящему со стороны науки о вещах, благодаря анестезирующему действию «фонетических законов». Прогресс как в той, так и в другой области может быть достигнут лишь при том условии, что исследование вещей и

[1] «Зримый мир в изображениях (...рисунок и название)».

[2] Имеется в виду книга О. Шрадера «Сравнительное языкознание и первобытная история. Лингвистико-исторические материалы для исследования индогерманской древности», русск. пер., Спб., 1886. *(Примечание к изданию 1950* г.)

исследование слов будут идти совместно (а не только пребывать в соседстве друг с другом, как это имело место до сих пор), готовые при случае оказать взаимную помощь; они должны проникать друг в друга, переплетаться и приводить к результатам, одинаково необходимым и ценным как для той, так и для другой области. Короче говоря, союз «и» в выражении «вещи и слова» должен превратиться из символа сложения в символ умножения; необходимо создать историю веще-слов. Как следует понимать это и каким образом осуществить, я постараюсь разъяснить ниже. И то и другое отнюдь не просто. Первое потому, что, затронув какой-нибудь, даже самый незначительный, вопрос, мы неизбежно должны будем углубиться в психологию и философию языка, к тому же нам нужны не отдельные камни фундамента, но фундамент законченный, по которому можно было бы представить себе план всего здания. Даже всякая предварительная работа, если не считать простого собирания фактов, должна обладать некоторыми чертами завершенной работы, и, наоборот, всякая завершенная работа является в сущности лишь предварительной. Что касается второго вопроса, т. е. способа осуществления работы, то здесь на помощь нам приходит методика Гребнера[1] в области этнологии. Но как бы ни поражала нас предусмотрительность сторонников этой методики, ее все же нельзя считать непогрешимой руководительницей. Таковой не существует вообще. Вехи и буйки могут избавить пловца от опасности заблудиться, но достижение цели зависит исключительно от его сил и ловкости. Это отлично понимает и сам Гребнер, о чем он и говорит как в конце введения, так и в конце всего своего труда.

Итак, самое благоразумное — это держаться среднего пути и, избегая, с одной стороны, чрезмерного увлечения умозрением, не впадать вместе с тем в догматичность.

II

Подобно тому как состояние или действие выражается предложением, так слово служит для обозначения вещи; впрочем, отмеченное отношение необратимо. Я могу спросить: как называется эта вещь? Я должен спросить: что обозначает данное слово? Вещь существует целиком и полностью для себя; слово существует лишь в зависимости от вещи, в противном случае это пустой звук. Если этикетка, прикрепленная к какому-нибудь растению или винной бутылке, окажется сорванной со своего места, то она мне больше ничего не объяснит, в то время как растение и вино и без этикетки доступны нашему внутреннему познанию; изречение «Nomina si nescis, perit et cognitio rerum»[2], с полным основанием цитируемое

[1] *Гребнер* — австрийский этнолог, создавший в двадцатых годах XX в. идеалистическую теорию «культурных кругов», основанную на отрицании закономерностей исторического развития отдельных языков. *(Примечание составителя.)*

[2] «Если не знаешь названий, познание вещей невозможно».

Линнеем, справедливо лишь с известными ограничениями. Таким образом, вещь по отношению к слову — это нечто первичное и устойчивое, тогда как слово тяготеет к вещи и движется вокруг нее.

Мы можем на равных правах употреблять немецкие слова Ding или Sache (вещь); эти слова равноценны, хотя их употребление в речевом обиходе не вполне адекватно. Между тем в романских языках с этим значением существует лишь одно слово — это cosa или chose.. Слово *вещь* в такой же мере относится к действиям и состояниям, как и к предметам; в такой же мере к неодушевленному, как и к одушевленному; к нереальному, как и к реальному. По отношению к слову *кентавр* вещью является наше представление о кентавре, причем слово *вещь* употребляется в этом случае в относительном смысле. Но вместе с тем представления и слова всегда являются вещами и в абсолютном смысле, вследствие чего слово *кентавр* также является вещью, подобно тому как изображение предмета само по себе является предметом. Здесь нет места для спора о приоритете, так как само собой разумеется, что лишь существующее может быть обозначено, именовано, изображено, символизировано, хотя средства, с помощью которых это осуществляется, возможно, служили прежде другим целям.

Представления в отношении между вещью и словом играют не случайную, но закономерную и необходимую роль. Подобно тому как между фактом и предложением стоит мысль, так между вещью и словом неизменно находится представление (поскольку оно не заменяет собою слова), или, как говорили средневековые схоласты: «Voces significant res mediantibus conceptibus»[1]. При этом большое значение для изучения вопроса имеет переход от рассмотрения вещей и слов в состоянии покоя к рассмотрению их в развитии.

На основании сказанного разъясняется возникновение синонимов и омонимов. Оно не вытекает из сущности языка в себе; идеал всемирного языка заключается в том, чтобы каждое слово имело лишь одно значение, а каждая вещь — одно-единственное обозначение. Оба названных слова я употребляю в широком смысле и при рассмотрении омонимов сознательно пренебрегаю их различным происхождением, которое нередко остается неясным в том или ином отношении.

Достижению ясности больше всего могло бы способствовать сопоставление многозначных слов с вещами, имеющими много наименований.

III

Слово *история* относится в одинаковой степени как к устойчивому, так и к неустойчивому и в обоих значениях как к одушевленным, так и к неодушевленным предметам. Говоря об истории какого-либо дома, лошади, виноградника, иглы, горшка и т. д., притом

[1] «Слова обозначают вещи посредством представлений».

серьезно, а не так, как, например, в сказках Андерсена, мы вкладываем в слово *история* первое значение, потому что хотя в этом случае мы и имеем дело с бесчисленным количеством многократно повторявшихся и аналогичных друг другу явлений, но с известного расстояния они производят впечатление чего-то неизменного и непрерывного. Правильнее было бы, конечно, говорить здесь об истории строительного искусства, приручения лошади, культуры виноградарства, кузнечного и гончарного производства и еще правильнее — об истории того, кто строит, приручает животных, сажает лозу, кует и изготовляет гончарные изделия.

Когда же мы говорим об истории слова, то мы имеем в виду лишь второе из отмеченных выше значений. Слово, произнесенное один раз, не может иметь истории, так как, будучи произнесено, оно уже больше не существует; историю может иметь лишь слово, воспроизводившееся бесчисленное количество раз, и эта история в основном является историей говорящего.

Таким образом, благодаря ενέργεια (деятельности), которая творит и оформляет ἔργα (вещи), возникает полный параллелизм между историей вещей и историей слов. Если цыганская семья гнездится среди развалин старинного дворца, если негритянский вождь водружает на голову в качестве короны цилиндр, если негритянская красавица в широко растянутых мочках ушей носит банку из-под консервов, то ни дворец, ни цилиндр, ни консервная банка не являются культурным достоянием этих народов; это чужие вещи, аналогичные чужим словам. Если же подобные вещи приспособляются в соответствии с действительными потребностями в них, то они становятся заимствованными вещами, составляющими аналогию заимствованным словам. Подобно тому как два слова, объединяясь друг с другом, образуют новое слово, так и две вещи, объединившись, порождают новую вещь; и так как такое объединение приводит к самым разнообразным последствиям, то при исследовании преемственности вещных форм мы часто сталкиваемся с такими же затруднениями, как и при исследовании связи словесных рядов.

Если в этих случаях определенная пара, состоящая из вещи и слова, и имеет общую внешнюю судьбу (например, вещь заимствована одновременно с обозначающим ее словом), то все же внутреннее развитие их не дает нам права говорить о подлинном параллелизме между ними. Теоретически, однако, допустимо предположить, что слово идет, так сказать, в ногу с вещью, изменяет свой облик сообразно с вещью, и, таким образом, между языком в статическом состоянии и совокупностью самых разнообразных вещей не существует разрыва. Так прежде и думали и к этому продолжают стремиться, имея в виду всемирный язык. В действительности же мы наблюдаем иное. Мы должны различать четыре вида истории: наряду с историей вещи и слова, которые до сих пор были предметом моего рассмотрения, историю обозначения и значения; два первых

вида по своей природе имеют абсолютный характер, два последних — относительный. Мы не воспринимаем сразу все четыре названных плана, но в каждый отдельный статический момент обозначение совпадает со словом, тогда как значение — с вещью, при этом связь между ними от одного статического момента до другого может и изменяться. Поскольку же вещи и слова, несмотря на самостоятельное развитие, вступают в известное отношение, то и изображаться они должны не как параллельные, но как взаимно перекрещивающиеся линии: вещи, например, как продольные, а слова — как поперечные нити, как уток ткани. Чтобы распустить столь сложную ткань, необходимо начать с основы, т. е. с вещей, не забывая при этом, что они вступают в связь со словами только с помощью представлений, а последние возникают у нас лишь в меру присущей словам прозрачности.

С течением времени какая-нибудь вещь может или претерпеть изменения, или остаться, по крайней мере в существенном, неизменной, если она по самой природе своей не является уже таковой. Исходя из этого, можно было бы ожидать, что и обозначение в общем и целом тоже будет вести себя соответственно; однако в действительности оно так же часто сохраняется неизменным в первом из предположенных нами случаев, как и изменяется во втором. Последнее находит свое объяснение в том, что одна и та же вещь рассматривается и оценивается разными людьми совершенно различно, и это наблюдается даже среди современников. Отчасти здесь действуют объективные причины, среда, обстоятельства, при которых наблюдали данную вещь, но решающая причина — это чрезвычайно различные индивидуальные интересы каждого. Пусть читатель вспомнит об исключительном обилии синонимов среди названий растений, и он без труда убедится, что в одном случае решающая роль принадлежит сравнению с другими растениями, в другом — восприятию красоты, в третьем — оценке полезности, в четвертом — суеверию и т. д. Короче говоря, одному бросается в глаза один признак, другому — другой, в соответствии с чем он и дает название тому или иному предмету. Сюда присоединяется то обстоятельство, что эти признаки могут восприниматься с различной степенью отчетливости и что даже при полной расплывчатости их все равно возникают названия, которые в дальнейшем прочно укрепляются. И для этого также растительный мир может доставить нам весьма многочисленные и разительные примеры. С другой стороны, даже полный переворот в нашем познании какой-нибудь вещи не ведет к изменению ее обозначения; так, например, на наш язык, как и на наше непосредственное повседневное восприятие, нисколько не повлиял тот факт, что мы не смотрим больше на солнце как на диск, но рассматриваем его как шар.

Перейдем теперь ко второму случаю: вещь изменяется, слово, напротив, остается неизменным. Это повторяется всякий раз, когда то общее, что ощущается как ее сущность, сохраняется во всех

модификациях вещи. При этом вещь нередко изменяется до неузнаваемости, так что здесь было бы уместнее говорить о совсем новой вещи, чем о ее модификации; но так как назначение этой вещи остается прежним, то этого достаточно, чтобы она удержала свое старое наименование. При этом самое определение вещи сталкивается здесь с известными трудностями. Хотя старое название и продолжает существовать и широко используется, но в основном оно делается уже родовым, от которого мы и образуем слова для обозначения вида, подвида, различных разновидностей и т. д., вплоть до индивидуального имени вещи. Эти названия в свою очередь также образуют целую иерархию форм; мы располагаем корневыми словами, словами с имеющим свое самостоятельное значение аффиксом, составными словами, сочетаниями существительного с прилагательным и т. д., представляющими собой исчерпывающий перечень отдельных, даже незначительных, признаков.

Каким образом и когда новое обозначение, возникшее первоначально наряду со старым, заменило его, можно установить лишь в отдельных случаях; однако при всех обстоятельствах основная причина данной замены — это ощущаемая тем или иным индивидуумом потребность в ней.

Я высказываю, возможно, здесь то, что само по себе понятно, однако эта мысль до сих пор все еще не получила широкого распространения. Слово *потребность* следует понимать в самом широком смысле; она может быть различного рода, возникать из требований соответствия, ясности, удобства, краткости, действенности и т. д., короче говоря, она вызывается известным преимуществом нового обозначения по сравнению со старым. Что касается средств, которые при этом используются, то принципиального различия между новым названием старого и обозначением нового не существует, так как все новое в известном смысле является старым, или, иными словами, оно продолжает старое и показывает нам это старое всегда в новом облачении.

Вместо того чтобы говорить об изменении обозначения, обычно говорят об изменении значения. Это имеет известное основание, потому что и то и другое по существу имеет в виду одно и то же, но только оно рассматривается с различных сторон; в первом случае в аспекте вещи, во втором — в аспекте слова. В первом случае направление нашего взгляда совпадает с направлением процесса, во втором — никакого процесса от слова к вещи не происходит, здесь перед нами лишь отношение. Следовательно, потребность в обновлении исходит не от слова. Я вижу перед собой бутылку; я подыскиваю короткое и меткое название для ее верхней, суживающейся части. Так как бутылка в целом напоминает мне человеческую фигуру (в рисунках доисторического человека человеческая фигура изображалась наподобие бутылки), а ее верхняя часть — горло, то я и называю поэтому верхнюю часть бутылки горлышком. Такое распространение обозначения, производимое говорящим, воспринимается слушающим как расширение значения.

Подобно тому как вещь первична по отношению к слову, а выражение мысли с помощью слов первично по отношению к пониманию, так и обозначение во всех своих проявлениях первично по отношению к значению. Как здесь, так и везде мы имеем дело с двуглавостью языка, и это необходимо всегда учитывать. Изучение обозначения должно начинаться с изучения его тени; многочисленные, пространные и глубокие исследования, посвященные вопросу об изменении значения слова, не утрачивают своей ценности, хотя тут и потребуется пересмотреть кое-какие из установленных связей.

Я уже указывал выше, что история вещи и история слова по своей сущности абсолютны; впрочем, в отношении последней это действительно лишь с одним существенным ограничением. Фонетический облик слова часто испытывает влияние со стороны фонетического облика другого слова, причем посредником в этом служит значение («народная этимология» в самом широком смысле); подробно останавливаться на этом мы здесь не будем. Что же касается вещи, то, если мы будем рассматривать ее как первичное явление, подобное влияние полностью исключается; однако, поскольку вещь, как и слово, возникает в результате человеческой деятельности, напрашивается предположение, что в отдельных случаях известное влияние возможно и здесь. В этом случае в роли посредника выступает обозначение, к которому и приспосабливается самая вещь. Так, в слове Pfeifenkopf (трубка без мундштука; буквально: головка трубки) слово Kopf (голова) ощущается как равнозначное другому немецкому слову с тем же значением — Haupt, в связи с чем, по-видимому, эту главную часть трубки часто и охотно вырезывают в виде человеческой головы. Наблюдаются и такие случаи, когда существующее отношение акцентируется с большей силой. Одна из принадлежностей домашней утвари называется Feuerbock (таган; буквально: очаговый козел) — что-то напоминающее козла, и это уподобление получает затем дальнейшее развитие. По своему происхождению сюда же принадлежат и так называемые самоговорящие гербы, которые, однако, являются не самостоятельными вещами, а лишь символами.

IV

Объяснение основных отношений между «вещами и словами» является существеннейшей частью методики этой области исследования; она учит нас познавать условия, в которых нам предстоит работать. Какими путями нам придется идти при этом, зависит от причин общего характера, которые, как я уже указывал, коренятся по большей части в индивидуальных склонностях. Наряду с этим и самые процессы, подлежащие нашему исследованию, также в той или иной степени несут на себе печать индивидуального, и хотя все они и обладают чертами общности, однако каждый из них имеет нечто свойственное только ему, так что он не

может быть окончательно разъяснен с помощью установленных законов. Мы можем встретиться с абсолютными положениями (например, с допустимостью аналогии или с оценкой ассоциативной способности) или с относительными (например, с ценностью противоречащих друг другу доводов), но о каком-либо единообразном измерении их не может быть и речи. Едва ли можно дать здесь и какие-либо общие формулировки математического характера, например, что ряд гипотетических ступеней или переходов тем больше теряет в своей вероятности, чем более удлиняется; и действительно, многие считают, что если каждый член такого ряда одинаково вероятен, то и сумма их должна обладать той же степенью вероятности (тогда как при возведении в куб, т. е. при двукратном умножении на самое себя, дробь ¾, становится меньше ½).

Отсюда следует, что наша основная задача состоит не в нанизывании возможно большего числа остроумных выводов, но в установлении максимального количества относящихся сюда фактов. Если бы мы не были осведомлены о способах приготовления древними гусиной печенки или какого-нибудь столь же изысканного блюда, то мы не могли бы понять романских слов со значением «печенка». Кроме того, такие слова освещают и культурное значение вещи. Мы знаем, что некогда был чрезвычайно распространен зубчатый серп (die gezähnte Sichel); соответствующее выражение со значением «жать, косить» подтверждает, что такой же серп применялся на территории романских языков, а отсюда особенно наглядно выясняется связь географии вещей и слов. Нередко наблюдается, что то или иное старое слово сохраняется как название какой-нибудь вещи, а изменение этой вещи обозначается уже путем добавления к нему другого слова, как правило, противоречащего основному, например Silbergulden (серебряный гульден; буквально: серебряный золотой) или Wachszündhözchen (восковая спичка; буквально: восковая трутовая щепочка). Последний пример позволил бы нам, если бы спички, например, вышли из употребления и мы о них ничего не знали, сделать вывод о том, что они все же некогда существовали. Гораздо труднее вызвать из полного забвения представление о предшественнике спичек, усовершенствованном огниве, как среднем звене между так называемым Nußband (огниво, французское briquet) и спичкой (пьемонтское brichet).

Методика, стремящаяся постигнуть частности, потребовала бы очень много доказательств, выделить которые из всей совокупности явлений по большей части трудно. Поэтому мы должны отказаться от той традиционной грамматики, которая обычно излагается в наших хрестоматиях.

ЗАМЕТКИ О ЯЗЫКЕ, МЫШЛЕНИИ И ОБЩЕМ ЯЗЫКОЗНАНИИ

...Слияние логики и грамматики или отождествление их, практиковавшееся в прежнее время, вызвало в дальнейшем сильную реакцию. Исследователи какого-либо языка или, точнее, историки

языка идут в этом направлении по большей части даже дальше, чем представители философии языка (например, Штейнталь или Вундт); по их мнению, языкознанию нет никакого дела до логики, и они подчеркивают это с такой радостью, как будто у них вместе с логикой свалился с сердца тяжелый камень. Относясь совсем иначе к психологии, они тем не менее не признают внутренних связей между этой последней и логикой, имея в виду лишь нормативную логику, которая ни в какой мере не совпадает с нормативной грамматикой.

Между протестом Есперсена[1] (в его «Sprogets Logik») против «изгнания логических исследований из грамматики» и его попыткой «побудить грамматику и логику служить целям взаимного освещения» мы перебрасываем небольшой мост в виде ответа на вопрос: как лучше извлечь золото логики из руды языка? Ведь добытое золото часто оказывается недостаточно чистым и блестящим. Но при этом естественно напрашивается следующий вопрос: как мы должны понимать термины, стоящие в заглавии книги Есперсена? Что, собственно, он имеет в виду: логику или грамматику языка? В качестве основы для своего исследования Есперсен, не оговорив этого предварительно, использует свой родной язык, т. е. датский. Правда, то, что свойственно всем языкам, доказуемо и в каждом из них; однако, не осмотревшись внимательно вокруг, мы не можем осуществить свою задачу. Насколько далеко должен проникать при этом наш взор, сказать заранее невозможно: общая масса языков неисчерпаема; она образует независимо от того, происходят ли языки из одного источника или из многих, непрерывный ряд, причем между реально существующими, т. е. доступными нам, языками находится бесконечно много гипотетических языков, из которых одни рассматриваются как уже угасшие, другие — как языки будущего. Таким образом, мы должны брать по крайней мере отдельные пробы из различных языков. Однако Есперсен не разделяет этого взгляда; правда, он выходит в своем труде за пределы датского языка, но делает это еще реже, чем ранее в отношении английского языка[2].

Гораздо важнее, впрочем, в этом случае не объем привлекаемого материала, а способ его рассмотрения; здесь мы должны возвратиться к первому из поставленных нами вопросов. Представим себе элементы логики и грамматики в состоянии покоя и в прочной связи друг с другом, например как отражение берегов горного озера на его гладкой поверхности. Рассматривая языковые слои, мы видим, что каждый слой содержит в себе логические явления, относящиеся к различным ступеням развития, что вызывает в нас желание выяснить эти явления в их взаимной связи и проследить их вплоть до

[1] *Отто Есперсен* — крупный датский лингвист, известный рядом работ в области общего языкознания (например, «Прогресс в языке», 1894; «Язык», 1922, и др.). *{Примечание составителя.)*

[2] «Progress in Language with Special Reference to English», 1894.

возникновения. Однако Есперсен не проявляет к этому почти никакого интереса, и если в первой из упомянутых выше книг он не уклонялся еще от обсуждения вопроса о языке первобытного человека, то здесь он избегает его. Однако мы не сможем продвинуться вперед, если наш исходный пункт не будет достаточно прочным; мы вправе углубляться в отношения доисторического времени, однако не с помощью пламенного воображения, но путем холодного и трезвого рассуждения.

Первые языковые образования, вызванные жизненными потребностями и необходимостью, могли быть только аффективными, волевыми проявлениями чувственных впечатлений; сюда относятся: предложения-требования (Heischesätze) — Geh! Komm! (Иди! Приди!) и предложения-восклицания (Ausrufungssätze) — Blitz! Regen! (Молния! Дождь!), которые, сохраняя прежнюю форму, продолжают жить и сейчас в виде повелительного наклонения и безличных выражений. К одночленным предложениям второго рода примкнули впоследствии двучленные предложения-высказывания (Aussagesätze); это наиболее древние суждения, первые проявления логики в языке. В дальнейшем аффективное и логическое пронизывают всю жизнь языка, причем первое усложняет, второе упрощает. Когда ребенок вместо bog, lag (согнул, лежал; правильные имперфекты от biegen и liegen) говорит biegte, liegte (неправильно, по аналогии образованные имперфекты от тех же глаголов), исходя из хорошо ему известной формы kriegte (имперфект от kriegen — воевать), то он действует хотя и бессознательно, но логично; бессознательно, но также логично и изначальное грамматическое творчество, на почве которого в настоящее время возникли такие языки, как креольские. Что касается международных вспомогательных языков, то они строятся на сознательно логической основе.

* * *

Историческое рассмотрение синтаксиса без философского осмысления не способно привести к широким и достоверным результатам; последнее вводит в свою колею первое и сопровождает его на этом пути. Но наряду с этим существует еще более исконная, также взаимно дополняющая друг друга или взаимно проникающая двойственность в рассмотрении языка. Я направляю свой взор или снаружи вовнутрь, или изнутри на находящееся снаружи; учение о языке является либо учением о значении, либо учением об обозначении и имеет своей целью либо понимание его сущности, либо описание наличных в нем форм. Габеленц[1], пользуясь терминами «аналитический» и «синтетический», четко объяснил это различие и ввел его в практический обиход. Конечно, к историческому синтаксису приложим в первую очередь аналитический метод; но яв-

[1] «Die Sprachwissenschaft, ihre Aufgabe, Methoden und bisherigen Ergebnisse», Leipzig, 1891.

ляется ли он единственно возможным и всегда ли ему следует отдавать предпочтение? Мы представляем себе изменение значения примерно так же, как фонетическое изменение, т. е. как своего рода дугу, соединяющую это изменение с представлением и представление со звуковой формой в качестве опорной точки. Однако, когда звуковая форма связывается с уже наличным представлением, то последнее освобождается от своей прежней звуковой формы. Таким образом, все заключается здесь в относительной силе связей между представлением и обеими звуковыми формами, причем представление вместе с тем является и опорной точкой...

К. ФОССЛЕР

ПОЗИТИВИЗМ И ИДЕАЛИЗМ В ЯЗЫКОЗНАНИИ[1]
(ИЗВЛЕЧЕНИЯ)

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ И МЕТАФИЗИЧЕСКИЙ ПОЗИТИВИЗМ

Под позитивизмом и идеализмом я понимаю не две различные философские системы или группы систем, а первоначально только два основных направления в наших методах познания. Я говорю: направления, склонности, тенденции, но отнюдь не функции метода познания. Наше деление на позитивизм и идеализм не имеет ничего общего с различением в методах познания чувственного и интеллектуального, созерцания и абстракции, эмпирического и метафизического. Оно относится не к свойствам природы, а к целям и путям нашего познания.

Поскольку я, так же как и Кроче, причисляю языкознание к группе исторических дисциплин, основывающихся на созерцании (интуитивное познание), то в настоящем труде в конечном счете речь может идти не о чем другом, как о проблеме правильного применения нашего интуитивного познания к целям объективного исторического исследования.

Но различие в методах означает также различие целей. Почему оказалось возможным, что в отношении цели исторических наук господствует различие мнений? Может ли задача истории быть иной, нежели установление причинной связи в ряду событий? Конечно, нет.

Однако прежде чем устанавливать причинную связь в историческом процессе, необходимо тщательно изучить факты, т. е. совокупность факторов, которые могут играть ту или иную роль. Поэтому осмотрительные люди определяют в качестве предварительной и ближайшей цели исследования точное описание наличных фактов, знание «материала». Этими предусмотрительными людьми и являются позитивисты. Других, которые озабочены преимущественно установлением причинной связи, мы называем «идеалистами».

Хороший историк стремится примирить требования позитивистов и идеалистов. Он оказывает должное уважение фактам и материалу, но он не останавливается только на собирании и описании их, а дает также и их каузальное объяснение, стремится к познанию

[1] K. Vossler, Positivismus und Idealismus in der Sprachwissenschaft, Heidelberg, 1904.

причинности. Знание фактов есть средство их познания. Предварительная цель не есть самостоятельная цель и поэтому не может составлять основания для особого научного метода. В последнем счете любой исторический метод должен быть идеалистическим.

Допустили бы мы, следовательно, логическую неточность, если бы стали рассматривать позитивизм как величину равнозначную (хотя и противопоставленную) идеализму, как это обозначено в названии настоящей книги? Находится ли в действительности понятие позитивизма в отношении субординации к идеализму, а не координации? И да, и нет.

Наряду с методологическим, предварительным и подчиненным позитивизмом существует также метафизический, абсолютный и враждебный идеализму позитивизм. Наиболее острым образом различие обоих направлений проявляется опять-таки в вопросе о причинной связи.

Идеалист ищет каузальный принцип в человеческом разуме, а позитивист — в самих вещах и явлениях. В обоих направлениях существует ряд модификаций: идеализм может быть иллюзионистским или реалистическим в зависимости от того, отделяет ли он каузальное мышление от каузального бытия, или же отождествляет первое с последним. Точно так же позитивизм может быть пантеистическим, атеистическим или же дуалистическим в зависимости от того, отождествляет ли он каузальный принцип с вещами или же отделяет от них. В сущности говоря, речь идет в этом случае о личных убеждениях, излагать которые в подробностях я не намереваюсь.

Я хочу прежде всего показать, как соотносится метафизический позитивизм с методологическим и, противопоставляясь идеализму, достигает самостоятельного значения, которым он сам по себе не может обладать.

Собирание фактов, точное знание всего наличного материала, что методологический позитивист скромным образом рассматривает только как предварительную цель, превращается у метафизического или, лучше сказать, радикального позитивиста в конечную цель. Знание и познание, описание и объяснение, условие и причина, явление и причинность в сущности оказываются одними и теми же вещами. Не спрашивают «почему?» или «для чего?», но только «что есть?» и «что происходит?» Это якобы и есть строго объективная наука.

Однако в действительности это вовсе не наука. Это смерть человеческого мышления, конец философии. Остается только хаос сырого материала — без формы, без порядка, без связи. Если лишить наш разум понятия причинности (каузальности), он будет мертв. Поэтому и случается, что рядом с позитивизмом в науке пышным цветом расцветает самая глупая вера в чудеса в жизни...

Все те, кому дорога наука, должны поставить своей задачей борьбу во всех областях с лженаукой радикального позитивизма.

Для этого необходимо, чтобы позитивизм был обнаружен в самых скрытых, самых, казалось бы, невинных и незначительных формах; его необходимо побивать и в тех областях, где борьба за мировоззрение имеет менее ожесточенный, менее резкий характер.

Такой областью и является языкознание. Именно здесь беспечно орудуют ошибочными формулами и понятиями, порожденными радикальным позитивизмом, и так поступают люди, которые в своих метафизических убеждениях отнюдь не исповедуют последовательного позитивизма. Для таких людей их наука отделена от их мировоззрения. Их специальность в такой же мере случайна для них, как и их вера...

ПОЗИТИВИСТСКОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ НАУКИ О ЯЗЫКЕ

В современном языкознании — служит ли оно практическим или теоретическим целям — господствуют почти безраздельно позитивистские методы. В качестве примера я изберу самый обширный и самый значительный труд в области моей специальности — «Грамматику романских языков» Вильгельма Мейер-Любке[1]. Причины, в соответствии с которыми автор членит свой монументальный труд, кратко и недвусмысленно излагаются во «Введении» следующим образом: «Научное рассмотрение языка имеет двоякий характер: оно, во-первых, должно касаться чистой формы отдельного слова и, во-вторых, его содержания; иными словами, оно должно истолковываться не как физиологический результат шума, вызываемого выдыхаемым изо рта воздухом, а как посредник психологических процессов между людьми. Полное разделение обоих способов рассмотрения, однако, невозможно; в разных разделах языкознания преобладает то один из них, то другой. Элементами, составляющими слово, являются прежде всего звуки; именно поэтому фонетика обычно ставится во главу грамматических исследований. При развитии и изменении звуков того или иного языка значение слова почти совершенно безразлично: речь в данном случае идет скорее о физиологическом процессе. И все же было бы неправильно при исследовании формы полностью игнорировать смысл слова, так как его содержание, значение часто препятствует регулярному внешнему развитию...»

«...К фонетике примыкает морфология...», она занимается «в основном помехами, которые испытывает фонетическое развитие во флексиях, под влиянием функционального значения последних».

[1] *Вильгельм Мейер-Любке* (1861 — 1936) — немецкий языковед, специалист в области романских языков, придерживавшийся в своих исследованиях младограмматических принципов. Ему принадлежит четырехтомная «Грамматика романских языков», «Введение в романское языкознание», «Историческая грамматика французского языка» (в двух томах) и др. *(Примечание составителя.)*

Далее следует словообразование. Здесь «центр тяжести падает на функции, значение суффиксов».

«Таким образом, словообразование входит в синтаксис, т. е. в учение об отношении слов друг к другу».

В качестве последней части грамматики Мейер-Любке называет семасиологию. Стилистику, которую он определяет как «учение о языке как искусстве», если я только правильно его понимаю,. он относит скорее к литературоведению, чем к грамматике.

Легко уловить мысль, которая лежит в основе этой системы, Изучение исходя из чисто акустических феноменов должно ступенчатообразно подниматься к психическим элементам — к учению о значениях. И вместе с тем всячески подчеркивается, что оба способа рассмотрения конкурируют друг с другом на всех ступенях и что разделение психических и акустических феноменов в языке фактически неправомерно. Таким образом, все это подразделение на фонетику, морфологию и т. д. есть только практическая необходимость и далеко от того, чтобы иметь основание в сущности самого языка. Все это Мейер-Любке прекрасно сознает, но это и не мешает ему открыто и беспечно перепрыгивать с одной ступени на другую, если только ему это представляется необходимым или полезным для лучшего понимания причинной связи в языковом развитии. Он остается господином материала и господином созданных им самим понятий. Никто не поставит ему в упрек вредность его подразделения, так как автор умеет с ним обращаться. Не все способны так свободно двигаться в своем «вооружении».

Как произошло подразделение на фонетику, морфологию и синтаксис, ни для кого не является секретом. Посредством дробления и механического членения. Язык изучают не в процессе его становления, а в его состоянии. Его рассматривают как нечто данное и завершенное, т. е. позитивистски. Над ним производят анатомическую операцию. Живая речь разлагается на предложения, члены предложения, слова, слоги и звуки.

Этот метод вполне оправдан и может привести к ценным наблюдениям, но и одновременно может стать источником ошибок. Ошибки начинаются тогда, когда убеждают себя, что указанное членение находит основание в самом организме человеческой речи, что оно представляет нечто большее, чем абсолютно произвольное, механическое и насильственное рассечение. Чрезвычайно распространенным и почти неискоренимым предрассудком является убеждение, что предложение представляет естественную единицу речи, член предложения — естественную часть предложения, а слово или слог — дальнейшее естественное подразделение.

В действительности дело обстоит приблизительно так же, как в анатомии: если я отделю от туловища нижние конечности и при этом проведу разрез по естественным членениям или же перепилю берцовую кость посередине, — это всегда остается механическим разрушением организма, а не естественным расчленением. Един-

ство организма заключается не в членах и суставах, а в его душе, в его назначении, его энтелехии или как это там ни назови. Организм можно разрушить, но не разложить на его естественные части[1].

Анатом проводит свои разрезы, конечно, не произвольно, но избирает такие места, которые представляются ему наиболее удобными. Точно так же и подразделение грамматиков на звуки, слова, основы, суффиксы и т. д. мы должны признать не наиболее естественным, а наиболее удобным и поучительным. Слоги, основы, суффиксы, слова и члены предложения являются, так сказать, суставами, по которым живая речь сгибается и движется.

Но если утверждают, что звуки конструируют слоги, а эти последние — слова, а слова — предложения и предложения — речь, то тем самым неизбежно переходят от методологического позитивизма к метафизическому и допускают нонсенс, который равносилен утверждению, что члены тела конструируют человека. Иными словами, устанавливают ложную причинную связь, перемещая каузальный принцип из соподчиненного идеального единства в частные явления. В действительности имеет место причинность обратного порядка: дух, живущий в речи, конструирует предложение, члены предложения, слова и звуки — все вместе. Но он не только их конструирует, он производит их. Часто именно такие двусмысленные слова, как «конструировать», «образовывать», «составлять» и т. п., дают первый повод к ошибкам, чреватым тяжелыми последствиями.

Если, следовательно, хотят сохранить методолого-позитивистское подразделение языкознания и при этом развитие языка, исходя из идеалистического каузального принципа, рассматривать как развитие духа, то отдельные разделы науки следует располагать в обратном порядке. Вместо того чтобы от мелких единств подниматься к более крупным, необходимо совершенно обратным образом, исходя из стилистики, через синтаксис, нисходить к морфологии и фонетике. Я отлично сознаю, что и эта перевернутая система грамматики отнюдь не является строго научной. Позитивистские положения не становятся идеалистическими от того, что их ставят на голову.

Но если идеалистический, каузальный принцип получает действительное отражение в развитии языка, тогда все явления, относящиеся к дисциплинам низшего разряда — фонетике, морфологии, словообразованию и синтаксису, — будучи зафиксированы и описаны, должны находить свое конечное, единственное и истинное истолкование в высшей дисциплине — стилистике. Так называемая грамматика должна полностью раствориться в эстетическом рассмотрении языка.

[1] Сравнение языка с организмом уже многократно и справедливо осуждалось. Поскольку мы осознаем чисто метафорический характер нашего примера, мы считаем допустимым это сравнение.

Если идеалистическое определение — язык есть духовное выражение — правильно, то тогда история языкового развития есть не что иное, как история духовных форм выражения, следовательно, истории искусства в самом широком смысле этого слова. Грамматика — это часть истории стилей или литературы, которая в свою очередь включается во всеобщую духовную историю, или историю культуры.

ЛИКВИДАЦИЯ ПОЗИТИВИСТСКОЙ СИСТЕМЫ

...Что такое стиль?

Стиль — это индивидуальное языковое употребление в отличие от общего. Общее же в сущности не может быть не чем иным, как приблизительной суммой по возможности всех, или по меньшей мере важнейших, индивидуальных языковых употреблений. Языковое употребление, ставшее правилом, описывает синтаксис. Языковое употребление, поскольку оно является индивидуальным творчеством, рассматривает стилистика. Но индуктивный путь ведет от индивидуального к общему, от частных случаев к общепринятому. Но не обратно. Следовательно, сначала стилистика, а потом синтаксис. Каждое средство выражения, прежде чем стать общепринятым и синтаксическим, первоначально и многократно было индивидуальным и стилистическим, а в устах оригинального художника даже после того, как оно стало общим, не перестает быть индивидуальным. Самые тривиальные обороты в соответствующих контекстах могут звучать в высшей степени впечатляюще и своеобразно.

Следовательно, другими словами, все элементы языка суть стилистические средства выражения. Все они — рассматриваемые в разные периоды — одновременно и архаизмы и неологизмы; все они — рассматриваемые с точки зрения того или иного произвольно установленного правила — поэтические или риторические выражения, так как любая речь есть индивидуальная духовная деятельность. Термины: архаизм, риторическое выражение, поэтический оборот — лишены всякого строго научного значения и представляют лишь ряд неточных, более или менее произвольных тавтологий для положения: стиль есть индивидуальное духовное выражение.

Многократно и многими индивидуумами повторенное средство выражения выступает в позитивистском синтаксисе в качестве так называемого правила. Но идеалист не может довольствоваться статистическим доказательством частоты или регулярности языкового выражения. Он стремится выяснить, почему одно выражение стало более частым и почему другое употребляется реже. Может быть, только потому, что первое лучше, чем второе, соответствует духовным потребностям и тенденциям большинства говорящих индивидуумов. Синтаксическое правило основывается

на доминирующем духовном своеобразии того или иного народа. Оно может быть понято исходя из духа языка. Позитивистски настроенные филологи нападают на понятие духа языка несправедливо, так как это яблоко с той же самой яблони — относительное, обобщенное и статистическим путем полученное понятие, хотя и поставленное на службу идеалистического исследования...

...Единственно возможный путь ведет... от стилистики к синтаксису. По своей сущности любое языковое выражение, является индивидуальным духовным творчеством. Для выражения внутренней интуиции всегда существует только одна-единственная форма. Сколько индивидуумов, столько стилей. Переводы, подражания, перифразы — новое индивидуальное творчество, которое может быть более или менее близким оригиналу, но никогда не идентично с ним. Синтаксические языковые установления и правила — неотработанные, неточные, на основе внешнего позитивистского рассмотрения возникающие понятия, которые не могут устоять перед строго идеалистическим и критическим языкознанием. Если люди в состоянии посредством языка общаться друг с другом, то происходит это не в результате общности языковых установлении, или языкового материала, или строя языка, а благодаря общности языковой одаренности. Языковой общности диалектов и т. п. в действительности вообще не существует. Эти понятия тоже возникли в результате более или менее произвольной классификации и являются дальнейшими ошибками позитивизма. Поставьте в условия контакта двух или нескольких индивидуумов, которые ранее принадлежали к самым различным «языковым общностям» и между которыми нет никаких общих языковых установлении, и они вскоре, в силу свойственной им языковой одаренности, станут понимать друг друга. Таким путем возник английский и многие другие языки, таким путем протекает любое языковое развитие, вся жизнь языка. Каждый вносит свой маленький вклад, каждый творчески принимает участие в этом процессе, так как речь есть духовное творчество. Язык не может быть в буквальном смысле слова изучен, он может быть, как говорил Вильгельм фон Гумбольдт, только «разбужен». Воспроизводить чью-то речь — дело попугаев. Именно поэтому у них нет стиля, нет языкового центра. Они представляют собой, так сказать, персонифицированное языковое установление, чистую пассивность; они воспроизводят речь, но не способны пользоваться ею творчески. Нечто от попугая, правда, скрывается в каждом человеке: это дефицит, или пассив, в нашей языковой одаренности, а следовательно, отнюдь не нечто положительное, существенное, не самостоятельный принцип, на основе которого можно было бы строить науку. Где начинается дефицит, там кончается языковая одаренность и одновременно там граница языкознания.

Рассматривать язык с точки зрения установлении и правил — значит рассматривать его ненаучно. Следовательно, синтаксис вовсе не наука — в такой же степени, как и морфология и фонетика. Вся эта совокупность грамматических дисциплин — безграничное кладбище, устроенное неутомимыми позитивистами, где совместно или поодиночке в гробницах роскошно покоятся всякого рода мертвые куски языка, а гробницы снабжены надписями и перенумерованы. Кто не задыхался в могильной атмосфере этой позитивистской филологии!

Проложить мост от синтаксиса к стилистике — значит вновь воскресить мертвых. Но, с другой стороны, можно и убить и уложить в гроб живых...

...Для нас автономным является не язык с его звуками, а дух, который создает его, формирует, двигает и обусловливает в мельчайших частностях. Поэтому языкознание не может иметь никакой иной задачи, кроме постулирования духа, как единственно действующей причины всех языковых форм. Ни малейший акустический нюанс, ни самую незначительную языковую метатезу, ни безобиднейший мгновенный гласный, ни ничтожнейший паразитический звук не следует отдавать в полную и исключительную власть фонетики или акустики!

Фонетика, акустика, физиология органов речи, антропология, этнология, экспериментальная психология и как они еще там называются — только описательные вспомогательные дисциплины; они могут нам показать условия, в которых развивается язык, но никак не причины этого развития.

Причиной же является человеческий дух с его неистощимой индивидуальной интуицией, с его αίδθησις, а единовластной королевой филологии может быть только эстетика. Если бы дело обстояло по-другому, то филологию уже давно бы сдали в архив...

...Единство духовной причины в фонетике должно быть сохранено любой ценой. С точки зрения педагогики или методологии иногда, может быть, и удобно нарушать это единство; с научной точки зрения это недопустимо. Между фонетическим законом и явлением аналогии идеалист не может признать качественного различия.

Когда frīgidum с долгим *ī* отражается в древнефранцузском как freit, а в итальянском как freddo, в то время как ударное долгое *ī* в этих языках остается *i*, то это исключение обычно объясняют аналогией с близким по значению rigidum с кратким *i*. Но полученный таким способом «вульгарно-латинский субстрат» frigidum полностью соответствует требованиям «фонетического закона» и стоит в одном ряду с переходом fĭdem:>др.-франц. feit и итал. fede. В то время как при frīgidum>freit предполагается влияние семантических моментов, в случае fĭdem>feit этого не обнаруживается.

Но это только кажется так. Переход fĭdem>feit также можно объяснить. Что является его причиной? Акцент. А что же спросим мы, представляет собой акцент? Пожалуй, лучший ответ дал Гастон Парис[1], когда он сказал: акцент есть душа слова. Чтобы понять, что такое акцент, отнимите его от языка. Что останется? От устной речи ничего не останется. От графически фиксированной — останется от двадцати до двадцати пяти сваленных в кучу пустых оболочек, которые называют буквами — A, B, C и т. д. Читать книгу — значит наполнять эти оболочки акцентом. При этом совсем нет необходимости произносить хотя бы единый звук; можно использовать акцент, не прибегая к помощи речевых органов — настолько духовен и внутренне присущ языку акцент!

Акцент и значение — разные слова для одного и того же явления: оба обозначают психическое содержание, внутреннюю интуицию, душу языка. Оба находятся в одинаковых внутренних отношениях к звуковому феномену. Поверхностным представлением является вера в то, что значение и звуковой облик могут быть разъединены и только акцент якобы связан со звуком...

...Звуковые волны звукового облика, физическое последствие произнесенного слова — сотрясение воздуха — от них можно отмыслиться; они не являются существенной составной частью языка. В результате остается как бы призрачный язык, который лучше всего можно сравнить с человеческими тенями ада или чистилища Данте. Они не имеют плоти, но только образ, настолько пластичный, настолько индивидуальный и выразительный, каким он не мог бы быть, если бы он был отягощен костями и плотью. Наделенное акцентом слово как звуковой образ есть чистейшее отражение духа; если к нему прибавить звуковые волны, то он только потускнеет, а не прояснится. Задача артикуляции заключается в том, чтобы свести к минимуму это материально-акустическое потускнение. Хорошее произношение в конечном счете всегда ясное произношение; его не следует смешивать с хорошим акцентом, который в конечном счете всегда означает соответствующую интерпретацию духовного содержания.

Итак, «акцент» есть дух и только дух, точно так же как и «значение»...

...Об одном знаменитом итальянском артисте рассказывают, что он умел до слез растрогать публику, произнося по порядку числа от одного до ста, но с таким акцентом, что слышалась речь убийцы, каявшегося в своем злодеянии. Никто больше не думал о числах, но только с трепетом сочувствовал несчастному преступнику. Акцент придал итальянским числам необыкновенное значение. А что может сделать глубокое по смыслу стихотворение, если его соответственно продекламировать!

[1] *Гастон Парис* (1839 — 1903) — выдающийся французский филолог, известный своими трудами по истории и лексикологии французского языка. (*Примечание составителя.)*

Уловить акцент языка — значит понять его дух. Акцент — это связующее звено между стилистикой или эстетикой и фонетикой; исходя из него, следует объяснять все фонетические изменения...

...После того как мы между акцентом и фонетическими изменениями установили обязательное причинное отношение, с неизбежностью следует, что всякое фонетическое изменение первоначально возникает как явление индивидуальное не только в отношении говорящего, но также и в отношении сказанного. Нет надобности в том, чтобы фонетическому изменению подчинялись люди или звуки. Ни с какой стороны изменение не является ни обязательным, ни закономерным; оно должно им еще стать...

ИДЕАЛИСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ЯЗЫКОЗНАНИЯ

...Языковое выражение возникает в результате индивидуальной деятельности, но оно утверждается, если приходится по вкусу другим, если они его принимают и повторяют либо бессознательно, т. е. пассивно, либо точно так же творчески, т. е. модифицируя. исправляя, ослабляя или усиливая, короче говоря, принимая коллективное участие. В момент возникновения или абсолютного прогресса язык есть нечто индивидуальное и активное, в момент покоя или утверждения — нечто пассивное (как в единичном, так и в общем), и в момент относительного прогресса, т. е. рассматриваемый не как творчество, а как развитие, язык есть коллективная духовная деятельность.

Но общая звуковая деятельность возможна постольку, поскольку духовная предрасположенность является также общей, и точно так же индивидуальная деятельность возможна постольку, поскольку предрасположенность является особой и самобытной. Именно на этом взаимодействии покоится язык: он объединяет нас, и он разъединяет нас. Поскольку мы чувствуем себя одинаковыми и близкими своему народу, мы пользуемся его языком и стараемся, сколько можем, говорить ясно, правильно, общепонятно и просто; поскольку же мы ощущаем себя как личность, мы стремимся к собственному языку, к своему индивидуальному стилю, и чем глубже это ощущение, тем смелее, самобытнее, новее и сложнее наши выражения. Благожелательные натуры пишут легким и простым стилем, а мрачные и высокомерные отдают предпочтение темному стилю.

Подобные наблюдения относятся не только к стилю, но также и к звуковой форме и морфологическому строю языка. Тесная причинная связь между стилистическими и звуковыми изменениями и есть важнейшая цель наших доказательств. Нам ясно, как образуются так называемые тенденции, которые часто в течение столетий формируют звуковой облик языка в одном и том же направлении, покуда в конце концов не выработается единый и характерный образ языка — не только в отношении его основы, т. е. строя предложения, но также и в отношении его акустической оболочки, т. е.

звуковой системы. Эти тенденции являются результатом, или, точнее, коррелятом, того духовного подобия, родства и близости, которые связывают отдельных индивидуумов в народы и нации.

В большинстве случаев духовное родство обусловливается физическим, так что единство расы в общем и целом перекрывается единством языка. Но вместе с тем не следует забывать, что антропологически далеко отстоящее может включать духовное своеобразие чуждого ему народа, испытывать к нему склонность, принимать в нем участие и говорить на его языке, как будто он принадлежит ему.

Но духовное и расовое тождество постоянно ограничивается, т. е. частично снимается индивидуальными различиями отдельных лиц. Поэтому ни в коем случае не следует себе представлять фонетическое изменение как процесс «спонтанный» и происходящий посредством инстинктивного Consensus aller непосредственно и свободно. Как все на свете, так и фонетическое изменение должно выдержать борьбу, прежде чем оно утвердится, распространится и сможет господствовать. Сколько существует неудавшихся фонетических изменений! Сколько индивидуальных вариантов умерло в день их рождения! Сколько осталось в тесном кругу и сколько подверглось модификациям, прежде чем выжить! Сколько языковых неологизмов ежедневно возникает в детских! И что остается от них? Как жалко, незначительно количество фонетических изменений, отмеченных грамматиками, по сравнению с количеством фактически существующих или существовавших!..

Таким образом, мы нашли два различных момента, в соответствии с которыми следует наблюдать язык и, следовательно, определять его:

1. Момент абсолютного прогресса или свободного индивидуального творчества.

2. Момент относительного прогресса или так называемого закономерного развития и взаимообусловленного коллективного творчества.

Именно эти два момента имеет в виду Вильгельм фон Гумбольдт, когда он говорит: «Это не пустая игра слов, когда определяют язык как самопроизвольную деятельность, возникающую из самой себя и божественно свободную, а языки — как связанные и зависимые от народов, которым они принадлежат»[1].

Рассмотрение первого момента исходит из исторически данного состояния языка и является чисто эстетическим. Рассмотрение второго сравнивает более раннее состояние с более поздним и в силу этого является историческим, но как только оно обращается к объяснению процессов изменения, развития или природы живых элементов в языке, оно снова должно возвратиться к эстетическому или, как теперь говорят, психологическому взгляду.

[1] § 1 сочинения «Über die Verschiedenheit des menschlishen Sprachbaues»

Так мы приходим к новой и в своей сущности последовательно идеалистической системе языкознания:

1) чисто эстетическое,

2) эстетико-историческое рассмотрение языка.

Первое может быть только монографическим; оно исследует отдельные формы выражения сами по себе и независимо друг от друга с точки зрения их особой индивидуальности и своеобразного содержания. Второе должно суммировать и группировать. В его задачу входит исследование языковых форм различных народов и времен, во-первых, хронологически — по периодам и эпохам, во-вторых, географически — по народам и расам и, наконец, по «индивидуальностям народов» и духовному родству. Здесь, при сопоставительном изложении материала, место, где позитивистские методы могут быть применены со всей силой, определенностью и скрупулезностью. Подразделяется ли при этом языковой материал на фонетику, морфологию и синтаксис или нет — это вопрос договоренности; он может быть решен исходя только из практических соображений, а не теоретических.

Наше деление на эстетическое и историческое рассмотрение языка не внесет нового дуализма в филологию. Эстетическое и историческое в нашем понимании не противопоставляются друг другу; они соотносятся друг с другом приблизительно так же, как в позитивистской системе описательная и повествовательная грамматики, с которыми, однако, не следует Смешивать (или тем более отождествлять)наши категории. Терминами «эстетический» и «исторический» мы обозначаем разные аспекты одного и того же метода, который в своей основе всегда может быть только сравнительным. Если сравнению подвергаются языковые формы выражения и соответствующая психическая интуиция, то тогда мы имеем эстетическое рассмотрение, т. е. интерпретацию «смысла» формы выражения. Всякий, кто слышит или читает сказанное или написанное, осуществляет эту деятельность, разумеется, сначала бессознательно и ненаучно. Но как только он начинает делать это намеренно и квалифицированно, раздумывая над своими интерпретациями, он уже вступает в область эстетического языкознания. Если же сравнивают друг с другом различные или тождественные формы выражения, исследуют их этимологические связи, то тогда мы имеем исторический способ рассмотрения, который, однако, продолжает оставаться эстетическим; эстетически интерпретированный факт в этом случае истолковывается исторически и включается в процесс развития языка.

ДЖ. БОНФАНТЕ

ПОЗИЦИЯ НЕОЛИНГВИСТИКИ [1]

...Основные теоретические различия между неолингвистами и младограмматиками сводятся к следующему.

1. Фонетические законы. Первые и, пожалуй, основные расхождения касаются вопроса о фонетических законах, которые, как утверждают младограмматики, *не терпят исключений.* Этот принцип был провозглашен еще до младограмматиков Августом Шлейхером в его книге «Теория Дарвина и языкознание» (Веймар, 1873, стр. 7): «Языки суть естественные организмы, которые не зависят от человеческой воли, но рождаются, растут и развиваются по свойственным им законам, а затем стареют и умирают». Понятие фонетического закона, таким образом, отнюдь не изобретение младограмматиков, которые в отношении теоретическом были бесплодны. Это положение вызывает резкие возражения со стороны неолингвистов, которые считают, что оно совершенно не соответствует действительности, что оно не оправдано с философской точки зрения и что оно вредно для лингвистических исследований.

Это первое положение — абсолютный характер фонетических законов, — так же как и его логическое применение и вытекающие из него выводы, резко разделяют младограмматиков и неолингвистов. Представляется необходимым последовательно перечислить все эти выводы, поскольку, видимо, не все ученые ясно их себе представляют, так как, относясь отрицательно к младограмматическим доктринам в теории, нередко применяют их в практике.

2. Физиологическое происхождение фонетических изменений. Младограмматики полагают, что основа всех их лингвистических исследований — фонетическое изменение — есть явление чисто физиологическое. Так, они утверждают, что латинский интервокальный глухой взрывной озвончается во французском или в испанском (prātum > prado), потому что *он является интервокальным* и потому что интервокальная позиция *вызывает озвончение.* Неолингвист отвечает, что это только обычная тавтология, которая ничего не объясняет. Существует ряд областей в Румынии и в других местностях, где интервокальный глухой *не озвончается* (например, итал. prato), и есть даже области, где звонкий интервокальный взрывной оглушается (гр. άγω,

[1] Giuliano Bonfante, The Neolinguistic Position. «Language», vol. 23, 1947, № 4.

лат. ago, др.-ск. aka). Поэтому неолингвисты утверждают, что всякое языковое изменение (не только фонетическое) — свойственный только человеку духовный, а не физиологический процесс. Физиология ничего не может объяснить в языкознании; она может фиксировать только условия данного явления, но не причины.

Так называемая «теория удобств» также отвергается неолингвистикой и по тем же причинам.

3. Слепая необходимость. Фонетические законы, догматически прокламируют младограмматики, действуют со слепой необходимостью. Неолингвист отрицает это. Поскольку фонетическое изменение, как и всякое другое языковое изменение, есть духовное явление, оно свободно и не связано никакой физической или физиологической необходимостью. Творцом языка является человек — в каждый данный момент, в соответствии с его волей и силой его воображения. Язык отнюдь не навязан человеку, как внешний и законченный продукт таинственного происхождения.[1]

4. Язык — коллективное явление. Младограмматики рассматривают язык и лингвистическое изменение как коллективное явление, управляемое коллективными законами; они поступают так, точно «говорящий по-английски» или «говорящий по-итальянски» существует в реальности, вместо того чтобы иметь в виду конкретного человека, чья речь никогда не в состоянии отражать полностью абстрактные нормы, о которых мечтают младограмматики. Неолингвисты считают, что только данный наш собеседник является конкретным и реальным — в конкретном и индивидуальном акте его речи. Английский язык, итальянский язык — это абстракции; не существует никаких «типичных» потребителей английской или итальянской речи, точно так же как не существует «среднего человека».

5. Индивидуальное происхождение языкового изменения. Неолингвисты считают поэтому, что всякое языковое изменение — индивидуального происхождения; в своем начале — это свободное творчество человека, которое имитируется и ассимилируется (но не копируется!) другим человеком, затем еще третьим, пока оно не распространится по более или менее значительной области. Это творчество может быть более или менее сильным, обладать большими или меньшими способностями к сохранению и распространению в соответствии с творческой силой индивидуума, его социальным влиянием, литературной репутацией

[1] Правда, младограмматики на словах делают различие между фонетическим явлением, которое они рассматривают в чисто физиологическом и механическом плане, и морфологическими явлениями. В последних они допускают действие аналогии, которую они рассматривают как психологическое явление. Впрочем, младограмматическая аналогия действует совершенно механически — одинаковым образом в любом месте, в любой стране и в любом языке; ничего психологического в ней нет. Поэтому независимо от того, что говорят ее последователи, младограмматическая концепция языка в целом остается материалистической и детерминистической.

и т. д. Новообразование короля обладает лучшими шансами, чем новообразование крестьянина. Кстати говоря, современное немецкое увулярное *l* обязано, видимо, своим возникновением офранцуженным дворам немецких королей и князьков, в частности двору Августа Сильного. Значение таких личностей, как Магомет, Данте и Лютер, оказывало решающее влияние на формирование арабского, итальянского и немецкого; Данте по праву называют отцом итальянского языка. Одна из основных ошибок младограмматиков заключается в том, что они забывают об индивидуальном происхождении лингвистических явлений. Для младограмматиков язык есть не что иное, как результат звуковых изменений, совокупность фонетических законов.

6. Язык — эстетическое творчество. Для неолингвиста, следующего философии Вико и Кроче, язык в основном выражение эстетического творчества. Возникновение и распространение языковых новообразований подобно созданию и распространению женских мод, искусства, литературы: они основываются на эстетическом отборе. Семантические изменения в лексике, очевидно, только поэтические метафоры. Для младограмматиков же, которые слепы и глухи к эстетической природе языка, лингвистическое явление — мертвая вещь, пригодная только для наблюдения и классификации, подобно камням в музее.

7. «Историческая» концепция языка. Хотя младограмматическая школа претендует на «историчность», в действительности она совершенно игнорирует историю. Например, французский для младограмматиков — только неорганизованный комплекс фонетических законов, показывающих, как видоизменялись латинские слова (testa>tête), и больше ничего. Они не видят никакой связи между развитием французского языка и историей французского народа, его борьбой, религией, литературой, его обычаями и жизнью. Одни и те же фонетические законы способны действовать как в Сибири или Патагонии, так и во Франции. Ничего не связывает их с французским народом, французской историей, французским мировоззрением. Младограмматическая лингвистика — это лингвистика в абстракции, в пустоте. Неолингвист, подчеркивающий эстетическую природу языка, знает, что язык, как и все прочие человеческие феномены, возникает в определенных исторических условиях и поэтому история французского языка не может быть написана без учета всей истории Франции — христианства, германских нашествий, феодализма, итальянского влияния, двора, академии, французской революции, романтизма и т. д., без учета того, что французский язык есть выражение, существенная часть французской культуры и французского духа.

8. Что такое язык? Для младограмматиков такие слова, как *французский, итальянский, английский,* обозначают вещи, которые обладают реальным существованием, реальным единством. В действительности, однако, любой лингвистический атлас и даже простое наблюдение показывают, что нет никакого единства, но

только огромное количество диалектов, изоглосс, переходов и разного рода волнообразных движений — безграничное и бурное море борющихся друг с другом сил и течений.

Эта же абсолютная концепция языка послужила причиной в действительности никогда не существовавших хронологических разрывов между латинским и итальянским, древнегреческим и новогреческим.

9. «Итало-кельтский», «балто-славянский» и т. д. Еще в меньшей степени неолингвист может примириться с такими выражениями, как *итало-кельтский, балто-славянски и индоиранский, западногерманский, протогерманский* и тому подобное, которые, конечно, не имеют ни малейших исторических прав на существование и которые представляют серьезное препятствие в лингвистических исследованиях.

10. Обратный процесс (Ritorni). Одним из наиболее частых заблуждений младограмматического метода является теория обратимости. Это логическое следствие концепции о единообразном, монолитном характере языка, которая была изложена выше. Поскольку латинский был гомогенным языком, то таковой была и так называемая «вульгарная латынь» (еще один младограмматический миф); следовательно, сардинский и испанский, румынский и пикардийский, каталонский и сицилианский должны были произойти от одного и того же типа латинского — «вульгарной латыни» или протороманского, реконструированного, конечно, индоевропейским методом, без всякого учета какой-либо исторической реальности, как, например, самих индоевропейцев. Таким образом, когда ныне сардинский показывает *i, u,* где в латинском *ĭ, ŭ,* и *ke, ki,* где в латинском *ce, ci* (произносится *ke, ki),* то младограмматики отрицают, что эти сардинские звуки являются прямым продолжением латинских, как предположил бы каждый человек, обладающий здравым смыслом. Поскольку в итальянском и большинстве других романских языков латинские *ĭ, ŭ* превратились в *ẹ, ọ* и латинские *ce, ci* — в *če, či (tse, tsi* и т. д.), младограмматики, одержимые манией реконструкции единообразной «вульгарной латыни», отрицают очевидное сохранение латинских звуков в сардинском и утверждают (как каждый может увидеть в их учебниках, например, у Мейер-Любке), что латинские *i, u, ce, ci* первоначально превратились в *ẹ, ọ, če, či* (или в какие-нибудь подобные звуки) не только в других романских странах, но также и в Сардинии, а затем в Сардинии снова «обратились» в *i, u, ke, ki.* Тот факт, что Сардиния — очень изолированная и поэтому весьма консервативная область, сохраняющая многие архаизмы (например, magnus, scire, domus, aper, haedus сравнительно с grandis, sapere, casa и т. д., так же как и конечные *-t* и *-s*, начальные *cl-* и *pl-*), ни в коей мере не беспокоит младограмматиков, поскольку они всегда игнорировали и все еще гордо игнорируют всякий географический фактор. Видимо, даже бесполезно упоминать о том, что нет никаких документальных свидетельств о наличии в Сардинии фазы *ẹ, ọ, če, či*

(или даже *į, ų, k'e, k'i* или чего-нибудь подобного). Все это плод воображения младограмматиков.

11. Лингвистические границы. Для младограмматиков каждый язык имеет четкие и определенные границы; у одного рубежа кончается французский и начинается провансальский, у другого кончается провансальский и начинается каталанский. И, действительно, никакая другая концепция и невозможна для них: поскольку язык представляет комплекс фонетических законов, эти фонетические законы по необходимости должны покрывать определенную область с определенными границами. Как ныне известно из бесчисленного количества примеров, подобного рода лингвистических границ не существует. Если, например, мы вместе с младограмматиками определяем французский как язык, где testa>tête, mūrum>mur (ū>ü), caballum>cheval (ca>cha), amāta>aimée, lūnam>lune (-a>-e), то легко показать, что ни один из этих переходов географически не совпадает с другими, в большинстве случаев варьирование очень велико. Больше того, ни одна пара слов, как бы ни была близка их структура (например, caballum и catēnam с начальным ca-), не трактуется одинаковым образом в одних и тех же местностях. И даже более того, одно и то же слово (например, testa) будет произноситься двумя различными образами в том же месте, тем же лицом и в пределах того же часа.

12. Языковые союзы. Так же как нет реальных границ или барьеров между языками одной группы (например, французским, провансальским, итальянским и т. д.), так нет их и между языками одного семейства (например, французским и немецким или между немецким и чешским) или даже между языками различных семейств (например, русским и финским). В этом случае неолингвисты в их борьбе против младограмматической концепции монолитности языка предвосхитили один из наиболее важных принципов пражской школы — принцип языковых союзов (фактически не существует никаких теоретических расхождений между неолингвистами и пражской школой, только различная степень подчеркивания разных моментов или различие методов исследования).

Совершенно очевидно, что если чешский единственный среди других славянских языков имеет ударение на корне, то это в силу германского влияния, а немецкие ein Hund, der Hund, ich habe gesehen, man sagt нельзя отделить от французских un chien, le chi-en, j'ai vu, on dit вне зависимости от того, где подобные образования (отсутствующие в латинском и в «прагерманском») впервые возникли.

13. Теория родословного дерева. Отсюда следует, что теория родословного дерева (Stammbautheorie) Шлейхера рушится. И действительно, она логически связана с концепцией фонетических законов, и оба положения как стояли рядом, так и погибнуть должны вместе. В соответствии с концепцией Шлейхера, языки (например, индоевропейские языки) «вырастают» из общей

праосновы, т. е. из индоевропейского праязыка, наподобие ветвей из ствола дерева. Как только они отрастают от общего ствола, они полностью изолируются друг от друга и навсегда теряют взаимный контакт. Каждый из них живет и умирает в одиночку, в абсолютной пустоте, без всякой связи с земной реальностью. Говорили ли на славянских языках в России, Индии или Испании, находятся ли они к западу, востоку или к северу от балтийских, германских или иранских языков, — все подобные обстоятельства совершенно не интересуют Шлейхера и его рабских последователей — младограмматиков. Для них имеет значение только тот факт, что славянские языки «произошли» из индоевропейского посредством установленных, священных, абсолютных фонетических законов. Как хорошо известно, новая теория, которая, напротив того, кладет географическое местоположение языков в основу их классификации, была выдвинута Иоганном Шмидтом и позднее развита, видоизменена и улучшена Жильероном и неолингвистами.

14. Родство языков. Вопрос о родстве языков, который казался младограмматикам таким детски простым, превратился ныне, говоря словами Бартоли, в «сплошное мучение». Для младограмматиков английский — это германский, итальянский — это романский, болгарский — это славянский, а германский, романский (т. е. латинский) и славянский суть индоевропейские языки, т. е. они произошли от индоевропейского праязыка совершенно таким же образом, как и английский, немецкий и голландский из германского (или еще того хуже — из западногерманского). Все это прекрасно, ясно, четко и просто, только не соответствует фактам. Английский, хотя и германский язык, полон французских, латинских и итальянских элементов; румынский, хотя и романский язык, помимо всего прочего, обнаруживает колоссальное влияние славянских языков. Неолингвисты считают, что классифицировать румынский как романский, английский как германский, «болгарский как славянский — значит грубо и ненаучно упрощать всю проблему, что не оправдано ни природой, ни процессами развития этих языков.

15. Смешанные языки. Критика была настолько сильна, что младограмматики сочли необходимым ответить. Они отвечали двояким образом, но оба их ответа были абсурдными. Первый из них состоял в том, что такие языки, как английский и румынский, албанский, армянский, где теория родословного дерева обнаруживала всю свою нелепость, признавались особым классом языков, так называемыми смешанными языками, которые следует рассматривать отдельно от других — предположительно чистых. Этот ответ, свидетельствующий о философской неосведомленности, делает уступку в основном вопросе, так как он допускает, что теория родословного дерева по меньшей мере в ряде случаев не выдерживает испытания. Этот ответ означает теоретическую капитуляцию — уклончивую, неискреннюю, неполную и недостойную дальнейшего обсуждения.

16. Основные элементы языка. Другой ответ заключается в том, что родство языков должно определяться — конечно, в соответствии с теорией родословного дерева — с учетом «основных» элементов языка, а другие, «неосновные», должны игнорироваться. Но что такое основные и неосновные элементы языка, никогда ясно не было определено. Одни говорят о числительных, другие — о терминах родства, местоимениях, союзах и, наконец, — и таких большинство — о морфологии вообще. Ни одно из этих утверждений не верно, как в этом убеждает даже поверхностный взгляд на английский, немецкий или любой другой язык: морфемы, фонемы и синтагмемы, так же как и пословицы, песни и всякого рода обороты, особенно переходят из языка в язык. Ср., например, английские фонемы *v* и *j*, которые французского происхождения, или местоимение they и глагольное окончание s в says, которые скандинавского происхождения.

17. Изменение зависимости. Неолингвисты поэтому полагают, что языки могут, так сказать, менять свою вассальную зависимость и переходить из одной группы в другую, если только новое влияние будет достаточно сильным. Румынский, очевидно, есть не что иное, как романизированный албанский, поэтому, если бы романское влияние на албанский было несколько более сильным, последний ныне считался бы романским языком. Румынский затем подвергался риску превратиться в славянский язык, а английский — в романский. Французский можно определить как латинизированный галльский; галльский настолько глубоко пропитался латинским, что сам почти превратился в латинский. Позднее, попав под германское влияние, он чуть было не покинул свою группу и вступил в германскую группу. Такова история языков на земле, и только в мечтах младограмматиков она рисуется иной.

18. Фонетика, морфология, лексика, синтаксис. Отсюда следует, что деление, которое младограмматики делают между фонетикой, где господствуют слепые механические законы, и морфологией, куда они допускают психический процесс аналогии, отрицается неолингвистами. Это относится и к делению на морфологию, синтаксис и лексику. Одного взгляда на лингвистический атлас достаточно, чтобы убедиться, что морфологические, лексические и фонологические новообразования рождаются в одном и том же центре, в один и тот же период и распространяются в тех же самых областях и одним и тем же образом. Нет никакой разницы между распространением перехода *ĕ>ie* и cantāre habeō или testa. В этом отношении, так же как и в отношении многого другого, лингвистическая география пришла к абсолютно тем же выводам, что и идеалистические рассуждения Кроче. Язык в целом есть духовное творчество. Люди говорят словами или, точнее, предложениями, а не фонемами, морфемами или синтагмемами, которые являются нашими абстракциями и не имеют самостоятельного существования.

19. Этнические смешения — причина языковых изменений. Младограмматики рассматривают каждый язык отдельно, полагая, что он управляется или даже рабски подчиняется абсолютной власти неумолимых и неизбежных законов. Неолингвисты, подобно Леонардо, Гумбольдту и Асколи, думают, что языковые изменения в большинстве случаев вызываются этническими смешениями[1], под которыми они, конечно, понимают не расовые, а культурные, т. е. духовные, смешения. В этом духовном смысле, и только в нем, допустимы такие термины, как «субстрат», «адстрат» и «суперстрат».

20. «Исконные» и «заимствованные» слова. Младограмматики, последовательно придерживаясь доктрины о фонетических законах, проводят тщательное различие между «старыми», «унаследованными» и «заимствованными», или «иностранными», словами; заимствования форм и фонем, как уже указывалось выше, они не признают. Эта доктрина критикуется неолингвистами как совершенно антиисторическая. Каждое слово, утверждают они, является в известном смысле заимствованием, поскольку оно приходит к нам из какого-то места или от какого-то индивидуума. Со дня нашего рождения мы имитируем слова, мы научаемся новым словам, т. е. мы заимствуем их (если употреблять это неуклюжее слово) из источника, находящегося вне нас. Все слова заимствуются одним поколением от другого. Всякое слово — пришло ли оно в Манхэттен из Бруклина, Бостона или Китая — есть иностранное слово, заимствование. Английский Манхэттена отличается от английского Бруклина, и речь каждого американца отличается от речи всех других американцев. Каждый известный нам язык, если рассматривать его исторически, есть не что иное, как бесконечный ряд заимствований — старых и новых. Для древних галлов во Франции, чьи потомки ныне говорят по-французски, все латинские слова были заимствованиями; то же самое можно сказать относительно кельтских слов для докельтского населения Франции. Поэтому неолингвисты избегают термина «заимствование», поскольку они отрицают обоснованность такой концепции.

21. История слов. Неолингвисты указывают на необходимость установления истории каждого слова: откуда оно происходит, когда, почему и при каких обстоятельствах оно возникло, какими путями оно пришло, кем было впервые употреблено — каким социальным классом или какой профессиональной группой. Было ли оно поэтическим, техническим, юридическим или каким-либо иным словом? Какое слово оно вытеснило (если это имело

[1] Так, можно утверждать (упрощая, конечно, действительное положение вещей), что французский — это латинский + германский (франкский); испанский — это латинский + арабский; итальянский — это латинский + греческий и оскоумбрский; румынский — это латинский + славянский; чешский — славянский + немецкий; болгарский — это славанский + греческий, русский — это славянский + финно-угорский и т. д. Грёбер был поэтому до некоторой степени прав, когда помещал албанский среди романских языков. См. его «Grundriss der romanischen Philologies».

место) и с какими словами оно вступило в конфликт? Каким образом другие слова повлияли на его значение или форму? В каких поговорках, оборотах или стихах оно употреблялось? Все это младограмматики совершенно игнорируют. При определении этимологии французского tete они считают необходимым фиксировать только факт, что во французском конечное латинское *-а* переходит в *-е* и что в позиции перед согласным -s- исчезает, вызывая сиркумфлекс, так что tête есть регулярная форма от латинского testa — вот и все. То обстоятельство, что латинское testa имеет значение не «голова», а «котел», нисколько их не беспокоит: ведь латинское caput не имеет ничего общего с этимологией tête, так как фонетически не связано с этим словом. В младограмматических словарях мы найдем упоминание и о французском chef, которое восходит к латинскому caput, но зато не обнаружим никакой ссылки на testa или tête! Младограмматики изучают слова изолированно, точнее, они вообще не изучают слова, но только историю звуков, из которых они состоят (и то довольно неточно; см. ниже). Для неолингвистов история слов caput и testa тесно связана, просто неразделима; оба слова вели ожесточенную борьбу во Франции и Италии на протяжении почти 1500 лет, и даже ныне, как показывают лингвистические атласы Франции и Италии, различные районы этих стран для обозначения понятия «голова» употребляют или одно, или другое из них. Мы должны изучать центр образования, хронологию, причину, распространение новообразования testa, выяснить, почему caput в одних районах сохранилось, а в других отступало, но затем отвоевывало обратно потерянную территорию. Мы должны изучать жизнь и смерть слов. Словари Мейер-Любке (особенно первое и второе издания), Гамильшега, Вальде-Покорного могут быть приведены как образцы работ младограмматиков; словари Эрну-Мейе и Оскара Блоха, авторы которых знакомы несколько с лингвистической географией, до известной степени дают представление о том, к чему стремятся неолингвисты.

22. «Регулярные» и «нерегулярные» формы. Младограмматики тщательно различают «регулярные» и «нерегулярные» слова или формы; регулярными являются те, которые подчиняются фонетическим законам, и нерегулярными те, которые не делают этого. Регулярные слова (например, французское champ из латинского campum) не нуждаются в дальнейшем исследовании просто потому, что они «регулярные»; другое дело «нерегулярные». Почему во французском camp начальное ca- вместо регулярного cha-? В таких случаях они допускают необходимость исследования, хотя обычно его не осуществляют, просто подводя нерегулярные слова под категорию «исключений». Но для campum>champ никакого исследования якобы не надо. Неолингвисты отрицают (по причинам, изложенным выше) всякое различие между «регулярными» и «нерегулярными» явлениями: все в языке регулярно, как и в жизни, потому что существует. И в то же время все нерегулярно, потому что условия существования явления различны. Не сущест-

вует двух слов с абсолютно идентичной историей, так же как не может быть двух абсолютно одинаковых людей. Особенно опасно то, что младограмматическая концепция «регулярных» и «нерегулярных» форм закрывает дверь к дальнейшему исследованию природы, происхождения и развития так называемых регулярных изменений. так как в соответствии с младограмматической доктриной, поскольку они регулярны, их не следует изучать дальше. Неолингвисты считают своим долгом изучать историю, ареал, центр иррадиации, древность и причину всех изменений и слов. Они хотят знать, почему ca- превратилось в cha- (campum>champ), почему *ū* перешло в *ǔ* (mūrum>mur), почему *a* перешло в *e* (mare>mer), хотя все эти изменения являются нормальными во Франции или, точнее, в Иль де Франсе. Изменения могли произойти под влиянием кельтского, германского или какого-либо другого языка или по другой причине, но их исследование необходимо провести, проблема существует.

23. Ярлыки заменяют объяснение. Точно так же, смешивая констатацию факта с его объяснением, младограмматики говорят, что латинское ericium переходит в итальянское riccio из-за аферезиса, так же как они говорят, что латинское campum становится во французском champ, так как во французском ca-переходит в cha-. Это все равно, что сказать, что луна подвергается затмению потому, что затемняется, — отличный образец позитивистского образа мышления.

24. Собирание материала. В общем младограмматики, являющиеся позитивистами, видят обязанность ученого только в собирании материала и в подготовке справочных книг, где легко можно найти нужный материал, — грамматик, учебников, словарей, лингвистических атласов и т. д. Неолингвисты, будучи идеалистами, утверждают, что накопление материала, как бы тщательно и обширно оно ни было, никогда не сможет разрешить проблемы без живой искры человеческой идеи, которая выходит за пределы рассматриваемого вопроса, с тем чтобы погрузиться в пульсирующую реальность говорящего, без того чтобы пережить внутреннюю драму грека, латинянина или англичанина, который впервые употребил соответствующее слово, или выражение, или поговорку. Ошибки на этом пути, конечно, неизбежны, но наше столетие настоятельно требует, чтобы была сделана попытка не только описать, но и понять как язык, так и жизнь. Ясно одно: отказ поставить проблему никогда не приведет к ее разрешению.

25. Язык и человек. Для младограмматиков язык есть явление, отдельное от человека. Он должен изучаться сам по себе, без всякой связи с какой-либо человеческой деятельностью. Язык — «лингвистическое» явление и должен изучаться «лингвистическими» средствами. Цель лингвистики — определить себя и свои цели. Если бы говорящими были собаки или камни, а не люди, ничего бы не изменилось. Для неолингвиста язык с полным правом занимает место рядом с литературой, искусством и религией, среди

благороднейших созданий человеческого духа, и только как духовное выражение он может быть понят. Без глубокого проникновения в английское мировоззрение, политику, религию и фольклор, которые находят выражение в английском языке, возможно создание не действительной истории английского языка, но только тени ее или же карикатуры.

26. Язык — сознательное или бессознательное явление? Для младограмматиков язык — частично бессознательное или непреднамеренное (фонетика) и частично сознательное или преднамеренное (нефонетические факты, в частности из области лексикологии) явление. Это разделение категорически отрицается неолингвистами, которые считают, что язык — всегда духовное и поэтому всегда в большей или меньшей степени сознательное и преднамеренное явление.

27. «Народные» и «литературные» слова. Младограмматики делают также резкое различие между «народным» и «образованным», или «литературным», языком; они часто утверждают или молчаливо признают, что единственно «реальное» или «естественное» развитие осуществляется в так называемом народном языке, которое иногда нарушается «искусственными» элементами, языком школ и книг. Они категорически разделяют язык и литературу. Напротив того, неолингвисты утверждают, что каждый язык, каждое высказывание, каждое слово естественны, поскольку они существуют и поскольку они имеют один и тот же источник — человеческое творчество и тот же путь развития, что и другие явления, а потому должны изучаться теми же самыми методами. Надо изучать время, место и условие их создания, независимо от того, являются ли они народными, литературными, полулитературными или еще какими-нибудь. Каждое слово, утверждают неолингвисты, имеет свою собственную историю, и всякого рода деления на явления народные и ненародные, исконные и иностранные и т. д., хотя в определенных случаях и для практических целей имеют ограниченную ценность, в плане теоретическом и философском не обладают никакой значимостью. Язык есть единство и не может быть разорван на части.

28. Языковые изменения происходят в словах. Для младограмматиков фонетические законы находятся над языком и вне его; они управляют им и властвуют над ним, представляя таинственную и неминуемую силу, которая толкает язык на предопределенный для него путь. Никто не смеет восстать и изменить эти «действующие со слепой необходимостью законы». Попадает ли под действие закона одно слово из двадцати тысяч, часты ли такие слова или нет, употребляются они в одном или другом контексте, — все это оказывается несущественным; все они должны подчиняться закону, чье существование предвосхищает все. Для неолингвиста, однако, фонетические изменения (как и все языковые изменения) происходят в словах, а не за их пределами; важно знать, что собой представляют слова, кем они употреб-

ляются, когда и откуда они произошли и т. д. Каждое слово должно тщательно изучаться само по себе — в свойственной ему ситуации, отличающейся от слова к слову. Такие формулы, как лат. Cl > итал, gli, сами по себе не имеют реального существования. Существует группа слов вроде coniglio, artiglio, speglio, periglio, которые обнаруживают звук gli (=l'l') и которые известным образом связаны с такими латинскими словами, как cunic(u)lum, artic(u)lum, spec(u)lum, peric(u)lum. Тщательное изучение каждого из этих слов приводит к заключению, что преобладающее большинство их галло-романского и галло-италийского происхождения или так или иначе испытывали их влияние; иное фонетическое изменение (cl> kky, как в specchio, ginocchio, macchio, occhio) обнаруживается в словах, в которых это влияние было менее очевидным. Отсюда неолингвист заключает, что слова с переходом [c]chi(=[k]ky) являются более старыми, а слова с переходом gli(=l'l') — более недавнего северного (галло-романского или галло-италийского) происхождения. Это младограмматики отрицают или отрицали; они стремятся найти странные формулировки фонетического закона, с помощью которых обе трактовки (ky и l'l') объявляются «исконными» и «регулярными», т. е. итальянскими: одна в претонической позиции, а другая в посттонической позиции. Тот факт, что материал не подтверждает их предположения, не беспокоит их: несколько ловких манипуляций с помощью аналогии и форм под звездочкой всегда улаживают дело.

29. «Иностранные» слова. Младограмматики очень неохотно признают «иностранные» слова и стремятся избегать их, не говоря уже об иностранных звуках и морфологических и синтаксических явлениях, которые они отрицают абсолютно и априори. Они соглашаются только на строгий минимум иностранных слов в очевидных случаях введения иностранных продуктов, вроде слов lobac, tornate, potate, cafè во французском, поскольку эти продукты стали известны во Франции сравнительно поздно. Это находится в полном соответствии с их детско-материалистическим складом ума. Насколько это оказывается возможным, они отрицают, что такое слово, как итальянское giorno — *день,* иностранного происхождения (галло-романское), указывая, что в Италии всегда были дни, что итальянцы всегда говорили о них и что поэтому не было никакой надобности заимствовать французское слово для такого понятия. Нсолингвисты считают, что каждое слово или форма могут быть заимствованы из любой области, если исторические и культурные условия способствуют этому, что каждый язык открыт для бесчисленных влияний любого рода и что в принципе нет никакой реальной разницы между заимствованием одного слова или формы и заимствованием тысячи слов и форм — вплоть до полного вытеснения одного языка другим, как это было в случае с корнским, полабским или галльским, которые были соответственно вытеснены английским, немецким и латинским. Младограмматическая доктрина — ограниченный материалистический

догматизм; неолингвистическая доктрина — открытая, непредубежденная констатация фактов, как они в действительности существуют.

Младограмматики, разумеется, испытывают еще большую антипатию к так называемым калькам, которые неолингвисты свободно допускают. Для младограмматиков слова вроде немецких Gewissen, Barmherzigkeit — совершенно немецкие образования, так как все их фонетические и морфологические элементы немецкие, хотя дух латинский.

30. Имитация. Неолингвисты утверждают, что все языковые образования — фонетические, морфологические, синтаксические или лексические — распространяются посредством имитации. Имитация не рабское копирование, а создание заново импульса или духовного стимула, полученного извне, воссоздание, которое придает языковому факту новую форму и новый дух, отражая личность говорящего. Это, конечно, не может быть признано младограмматиками, для которых (если только они последовательны, что бывает не всегда) языковой факт чисто физиологического, механического характера и не зависит от человеческой воли, особенно от деятельности отдельного человека.

31. Престиж. Основным фактором, обеспечивающим победу языка или языкового новообразования (что одно и то же), является престиж. Он может быть не только военным, политическим или экономическим, но в большей мере литературным, артистическим, религиозным, философским. Это духовное явление, с которым младограмматики не считаются и не могут считаться, поскольку это чревато большими последствиями для всей их концепции языка.

32. Смерть языков. Расхождения между младограмматиками и неолингвистами, пожалуй, отчетливее всего проступают в трактовке проблемы так называемой смерти языков. Согласно Шлейхеру и младограмматикам, языки живут и умирают подобно животным и растениям. Младограмматики часто говорят о том, что последний человек, говоривший на том или ином языке (корнском, полабском, древнепрусском или далматинском), умер тогда-то, в таком-то возрасте и в такой-то деревне. Все это, утверждают неолингвисты, неверно: natura non facit saltum[1] и особенно lingua non facit saltum[2]. На каком перемешанном, искаженном и засоренном жаргоне говорил последний человек, владевший прусским, корнским или далматинским? Стоит посмотреть, как сегодня говорят бретонцы и ирландцы. А с другой стороны, даже после смерти этого «последнего, говорившего на языке», каждый из этих языков, хотя и мертв, как кролик, продолжает жить сотней окольных, скрытых и неуловимых способов в ныне живущих языках. Венетские и славянские диалекты Далматии, немецкий на Эльбе, английский в Корнвалле и Ирландии сохраняют многие элементы языков, на

[1] Природа не терпит скачков.
[2] Язык не терпит скачков.

которых ранее говорили в этих областях и которые известным образом продолжают жить в этих новых образованиях. Такие языки, следовательно, в действительности не мертвы. Некоторые их живые элементы живут в сегодняшних языках и могут оказывать воздействие на трансформацию, на новую жизнь других языков, продолжающих свою духовную деятельность и обязанных им своими наиболее существенными чертами. Различие между живым и мертвым языком в такой же степени схоластично и мнимо, как и различие между одним языком или диалектом и другими.

33. Фонетика и семантика. Младограмматики (как старые, так и новые) всячески выделяют фонетику, а неолингвисты — семантику, на которой базируется вся лингвистическая география и которую они рассматривают как истинно духовную, т. е. действительно лингвистическую часть языка. Фонетика, как наука экспериментальная и физиологическая, не входит в лингвистику.

34. Один метод или несколько? В то время как младограмматики и их последователи используют только один метод, именно метод фонетических законов, неолингвисты используют несколько. Бартоли в начале своего «Введения»[1] упоминает о двух: хронологические отношения памятников и географические отношения ареалов. В журнале Word, I, 132 — 61 (1945), я тщательно рассматриваю эту проблему и добавляю еще восемь методов исследования лингвистических явлений — получается всего десять. Я только развил основную идею Бартоли о том, что каждое явление следует рассматривать с возможно большего количества точек зрения и исследовать возможно большим количеством методов; никогда .не надо быть абсолютно уверенным в результате и прекращать исследование. Если два или больше различных методов приводят к одним и тем же результатам, они более точны; если же они дают различные результаты, необходимо дальнейшее исследование. Вообще, как я указывал уже в Word, младограмматики, проявляя обычно мало интереса к теоретическим и методологическим проблемам, никогда внимательно не анализировали, что в Действительности представляет собой сравнительно-исторический метод; они просто догматически утверждали, что сравнительно-исторический метод хорош, и применяли его без дальнейших рассуждений. Современные младограмматики все еще в 1947 г. пользуются тем же самым методом, что и их коллеги в 1880 г., игнорируя тот методологический прогресс, который был достигнут за семьдесят лет исследовательской работы, включая, между прочим, и такие детали, как лингвистические атласы, которые еще не существовали во времена деятельности первого поколения младограмматиков.

35. Сложность языкового явления. Младограмматическая доктрина дает абстрактную, линейную и упрощенную идею языка и каждого языкового явления; фонетический

[1] «Введение в неолингвистику» (Matteo Bartoli, Introduzione alla neolinguistica, 1925).

закон, аналогия, заимствованные слова и еще два или три элементарных инструмента составляют все интеллектуальное вооружение младограмматика.

Неолингвисты всячески подчеркивают бесконечную сложность и тонкость всех языковых явлений, даже самых простых, их запутанные взаимовлияния, бесчисленные оттенки и нюансы, множество сил, принимающих участие в развитии самых простых слов, неисчислимые ряды отношений, связывающие язык с литературой, искусством, политикой, спортом, религией, философией и т. д. Заслуги неолингвистов открыто были признаны даже Мейе, который писал: «Никто лучше Бартоли не показал необыкновенную сложность языкового развития»[1] Младограмматики, привыкшие к своим схематическим, аккуратным и абстрактным концепциям, испытывают смятение и часто обвиняют неолингвистов в том, что они вносят беспорядок.

36. «Простота» и удобство младограмматического исследования. Метод младограмматиков, оперирующий только четкими и неизбежными фонетическими законами, легко применять; он дает возможность удобного решения всех трудностей и поэтому приучает ум к лени и механическому манипулированию. Все слова и формы суть фонетические или нефонетические, регулярные или нерегулярные, исконные или иностранные, итальянские или французские, латинские или германские. Любая проблема решается быстро и легко. Метод неолингвистов с его утонченностью и сложностью, с его разнообразной техникой исследования требует постоянного напряжения ума и неизменно стимулирует к дальнейшему исследованию, привлекая внимание читателя к множеству исторических, географических, культурных и эстетических проблем, возбуждаемых историей каждого слова или каждой формы.

37. Реконструированные «компромиссные» формы. Другое общеметодологическое заблуждение младограмматиков тоже обусловливается их механическим складом ума и полным игнорированием географических факторов. Если они имеют дело с двумя эквивалентными явлениями *A и B* (например, латинским *c* в centum и иранским s в satəm), их обычное решение строится на постулировании реконструированной формы *C,* которая является компромиссной, промежуточной и из которой выводятся как *A,* так и *B. Так,* для того чтобы разделаться с латинским *c* и иранским *s*, они реконструируют нечто вроде **k'* или **k^{j},* или **k,* или *χ, или еще какой-нибудь странный символ, который они могут употребить (а употребляют они их много). Но в этом случае, как и в бесчисленном множестве других, решение в действительности совершенно иное: латинский и кельтский (изолированные области) просто сохранили более древнюю фазу, каковой было *k,* как в centum. Нет ни малейших доказательств в пользу того, что это *k*

[1] L'année sociologique, 12, 853.

когда-либо было палатальным, или палатализованным, полупалатальным, или аффрикатой, сибилянтным, полусибилянтным или еще каким-либо иным. Простое объяснение (в этом случае, как и во многих других) заключается в том, что восточные индоевропейские языки или их большинство ввели новообразование, в то время как некоторые западные (и, в частности, латинский) сохраняли первоначальные звуки или формы. Этот факт младограмматики психологически неспособны признать, как будто такое предпочтение в отношении латинского и кельтского нанесет оскорбление другим респектабельным языкам или как будто все языки, если они вводят новообразования, делают это равномерно, что в действительности никогда не случается.

Младограмматики допускают подобную же теоретическую ошибку и в отношении романских языков, не учитывая изолированной позиции сардинского и игнорируя древность логударианского *ke* в kentu.

38. Формы под звездочкой. Одним из наиболее типичных проявлений этой удобной, быстрой и ленивой процедуры являются младограмматические формы под звездочками. Если, например, романские языки в соответствии со священными фонетическими законами приводят нас к определенным формам, которые не существовали в латинском, то тогда младограмматики просто изобретают «латинские» (или «вульгарно-латинские», или «протороманские») формы и часто, хотя и не всегда, снабжают их звездочкой: *capsia, *coxea, *agnjone, *aculja, *damniare, *autumnium, *laxiare, *pulsiare и т. д. Неолингвисты утверждают, что это ничего не разрешает и требует дальнейшего тщательного исследования.

39. Лингвистическая география. Младограмматики совершенно игнорируют лингвистическую географию и ареальную лингвистику; это лингвисты in abstracto, вне времени и пространства. Неолингвисты утверждают, что каждое слово имеет не только свою историю, но (как и каждая форма, звук, предложение, поговорка) также и свою географию. Поэтому они тщательно изучают географическое распределение лингвистических явлений.

40. Что древнее? Всякий раз, когда неолингвист сталкивается с двумя эквивалентными словами (например, magis и plus), звуками (например, *k* и s в centum и satəm), формами (например, sequor и ἕπομαι) или синтаксическими конструкциями (например, on dit и si dice), он систематически задается вопросом: что древнее? — и старается найти ответ на него. Младограмматик вообще ни о чем не спрашивает и поэтому, естественно, не находит и ответов. Он ничего не находит, так как ничего не ищет. В этом случае, как и во многих других, неолингвист думает, что необходимо дальнейшее интенсивное исследование, в то время как младограмматик предпочитает уйти на покой.

41. Язык как объект исследования. Для младограмматиков язык и языковые явления — ἔργα, мертвые продукты,

вещи, объекты, которые можно наблюдать, классифицировать, взвешивать, измерять, изучать статистически, «объективно», как они говорят. Неолингвисты считают, что язык — находящаяся в вечном движении реальность, художественное творчество, часть (и притом какая!) духовной жизни человека, ενέργεια и что он может быть изучен и понят, как и все другие художественные создания, только посредством воссоздания в нашей душе моментов его творчества. Неолингвисты полагают, что ученый, анализирующий язык так, как это делают младограмматики, знает о языке столько же, сколько врач, видевший только трупы, знает о жизни человека.

42. Изучение живых языков. Младограмматики, хотя в своих заявлениях они и настаивают на необходимости делать совершенно обратное, фактически основывают весь свой метод на изучении мертвых письменных языков, часто плохо и недостаточно сохранившихся (латинский, древнегреческий, древнеирландский, готский, авестийский и т. д.). Именно сравнительная грамматика индоевропейских языков послужила основой для младограмматических доктрин, созданных в лаборатории индоевропеистов в Лейпциге. Знаменательно, однако, то, что по возможности выбирались древнейшие стадии развития языков: *древне*ирландский, *древне*верхненемецкий, *древне*церковно(!)славянский, *древне*индийский, но не *ново*ирландский, *ново*верхненемецкий и т. д. Младограмматики подобны ученым, предпочитающим изучать только палеолитические кости. Даже когда они обращают свое внимание на романские языки (Диц[1], Кертинг, Гребер, Мейер-Любке), они просто применяют индоевропейский «компаративный метод» к современным языкам и изучают их так, как будто они имеют дело с *древне*французским, *древне*итальянским, *древне*испанским, *древне*меланезийским. Неолингвисты всегда следуют обратной процедуре — и с отличными результатами. Они исходят из современных, разговорных, живых диалектов и применяют полученные методологические результаты к древним языкам вроде санскрита или авестийского так же, как и к индоевропейским реконструкциям. В качестве примера может быть приведена почти любая страница из трудов Бартоли или Бертони.

43. Моногенезис или полигенезис? Из изоляционистской концепции языка младограмматиков логически следует, что, когда они сталкиваются с двумя тождественными новообразованиями в двух различных языках, они склоняются к теории полигенезиса даже в том случае, если языки являются смежными и находящимися в исторических отношениях, как, например, немецкий и французский, греческий и латинский. Напротив того, неолингвисты, не делая из этого догмы, сильно уклоняются в сто-

[1] *Диц* (1794 — 1876) — немецкий филолог-романист, основоположник сравнительной грамматики романских языков; основные труды: «Грамматика романских языков» (1836 — 1838), «Этимологический словарь романских языков» (1853). *(Примечание составителя.)*

рону моногенезиса. Так, разбирая совершенно очевидный случай с греческим ἔχω εἶπειν, латинским habeodicere и романским habeo dicere или dicere habeo, Бурсье думает, что такая конструкция «была, несомненно, скорее результатом естественного (?) развития, нежели подражанием греческому». Это уже известный прогресс, так как Бурсье по крайней мере хоть допускает существование подобной проблемы. В большинстве же случаев младограмматики — как старые, так и новые — нисколько не заботятся о ней, они просто игнорируют ее; такие факты, подобно всем прочим, просто каталогизируются независимо друг от друга в исторических грамматиках греческого, итальянского, французского, испанского. Точно так же факт перехода латинского *ū* в *o̧* в итальянском, французском и испанском рассматривается изолированно в младограмматических учебниках итальянского, французского и испанского, без какого-либо внимания на центр иррадиации, на время и причину этого изменения, которое, несомненно, имеет единый источник. Другие младограмматики утверждают, что даже такое явление, как ассибилация индоевропейского веларного (*k*>*s*), которая имела место по крайней мере в семи соприкасающихся индоевропейских языках, или изменение *s* в *h,* затронувшее шесть языков, проходило независимо в каждом языке. Как говорит Пизани, необходима вера в чудо, чтобы поверить этому.

44. Природа лингвистической имитации. Другое частое заблуждение младограмматиков, обнаруживающее их естественное пристрастие к тому, что можно назвать лингвистическим изоляционизмом, своим происхождением тоже обязано их косной концепции фонетических законов. Они часто рассуждают приблизительно следующим образом: в трех соприкасающихся языках — греческом, армянском и иранском — начальное и интервокальное *s* обычно переходит в *h.* Но поскольку иранское iša и uša становятся isa и usa, «изменение происходит независимо в каждом языке». В этом случае, как и во всех других, различие во взглядах между младограмматиками и неолингвистами обусловливается различиями концепций языка и языкового изменения. Для младограмматиков языковое изменение — механический процесс, и поэтому они требуют, чтобы изменения в различных языках были абсолютно идентичными, иначе связь между ними не может быть принята. Для неолингвистов язык — беспрерывное индивидуальное творчество и творческое воспроизведение. Стимул или импульс, который мы получаем от собеседника, никогда рабски не копируется, но всегда репродуцируется и воссоздается заново в горне нашего духа в соответствии с нашими собственными и индивидуальными концепциями, вкусами и идеями. Иногда, правда, новое создание может сильно отличаться от своей модели или даже находиться в противоречии с ней. Латинские и романские типы habeō dicere и habeō dictum фактически не тождественны с греческими типами ἔχω εἰπεῖν и ἔχω γεγραμμένον, от которых они происходят, но это отнюдь не доказательство против

их греческого происхождения. Точно так же в романских языках явление метафонии (например, uēnī>uīnī) и дифтонгизация (*ĕ* и *ŏ* > *ie* и *uo)* имеют различное распространение и условия в каждом языке, даже в каждом диалекте и в каждой деревне, но ни один современный лингвист, я думаю, не станет сегодня отрицать, что каждое из этих изменений — единое явление, имеющее единый центр и единую причину.

45. Игнорирование фонетических условий. В своих поисках абсолютных фонетических законов младограмматики часто забывают, что эти законы по меньшей мере должны быть фонетическими, т. е. иметь известную основу в человеческой артикуляции. При формулировании фонетического закона младограмматики собирают весь соответствующий материал (например, все «итальянские» слова, предположительно развившиеся из латинских и содержащие *x*) и затем наблюдают, какую трактовку получает это *x* в «итальянском». Они находят, что в одних случаях «итальянский» показывает *šš* (sci), а в других ss. Две различные трактовки одного и того же звука недопустимы, и поэтому они стараются определить, не являются ли условия в словах, содержащих *šš* и *ss*, различными. И действительно, они обнаруживают, что *šš* часто (но не всегда) стоит в предударном положении (как в lasciàre, mascèlla, ascèlla, uscire, sciàme из laxāre, maxilla, axílla, exīre, exāmen), а *ss* в заударном положении (как в sasso, asse, ressa из sáxum, áxem, ríxam). Отдельные случаи, противоречащие правилу (lassare, sala, coscia), легко исключаются или посредством аналогии (lassare), или с помощью изобретенной формы под звездочкой (*coxea). Но младограмматики никогда не утруждают себя задачей выяснить, каким чудом человеческой артикуляции *x* может превратиться в предударной позиции в *šš* и в заударной позиции в ss. Подобные примеры бумажной лингвистики (Augenphilologie) слишком часты.

46. Система фонем, структуральная лингвистика. Вся младограмматическая концепция языка, звуков и звуковых изменений (фонетических законов) совершенно несовместима со структуральной теорией. Это обусловливается двумя причинами:

1. Младограмматики изучают каждое звуковое изменение независимо от других. Они механически собирают материал (например, все слова, содержащие определенный латинский звук или комбинацию звуков в итальянском или в итальянских диалектах) и затем только наблюдают трактовку латинского звука в большинстве примеров. Противоречивые случаи исключаются посредством аналогии, или как заимствованные слова, или же в крайнем случае с помощью изобретения специального правила ad hoc (для данного случая).

2. Для младограмматиков звуки и звуковые изменения — механические бессознательные акты, в то время как вся фонематичная теория строится — и неизбежно должна строиться — на идее фо-

немы как сознательного акта, сознательно противопоставленного другим. Младограмматики — как старые, так и новые (Блумфильд[1]) — не в состоянии принять структуральную лингвистику без того, чтобы при этом не впасть в самые грубые логические противоречия...

Таким образом, даже «та область, которая рассматривалась как наиболее неживая и бессознательная», была оживлена, одухотворена и очеловечена. «Только теперь мы можем сказать, что вся фонетика, ранее отделенная от языка как его бессознательная часть, ныне вступает в область семантики, т. е. собственно лингвистики» (Бонфанте, Энциклопедия психологии, стр. 864).

47. Фонетический символизм. Последовательно придерживаясь своей догмы так называемого «исторического» происхождения языка и языковых изменений, а также произвольного характера лингвистического знака, младограмматики всегда резко противодействовали (и продолжают противодействовать) новому направлению фонетического символизма. Он приписывает символическую или экспрессивную значимость определенным звукам: *i* вызывает представление о маленьких предметах или существах, *o* и *a* — о больших, *č* — *o* скользких предметах или действиях, а также презрении и т. д. Каждый день дает в изобилии доказательства подобных экспрессивных образований, и их существование не может отрицать ни один разумный человек. Они отлично согласуются с неолингвистической концепцией языка как поэтического создания. Секрет поэтической гармонии, самой поэзии, лежит, по-видимому, в таинственной связи звука со значением, как это доказывается тем фактом, что большая часть красоты Гомера, Шекспира или Данте теряется в переводах, если только переводчик сам не является поэтом, создающим новую поэтическую гармонию на месте старой. Я сам, как неолингвист, от всего сердца подписываюсь под теорией фонетического символизма.

48. «Законы без исключений». Младограмматики хвалятся, что их законы не терпят исключений, и даже делают из этого принципа основу всего их изучения языка, неумолимо отрицая научный характер любого исследования, если оно не базируется на том же самом положении. Напротив того, неолингвисты утверждают, что каждое слово, каждая форма, каждый звук, как и каждый человек, являются исключениями, что исключение есть правило самой жизни, что каждая проблема отличается от любой другой проблемы и поэтому должна изучаться с тщанием и уважением, без огульных обобщений и без использования смирительной рубашки фонетических законов. Они не догматичны, как младограмматики, но стараются быть осмотрительными и осторожными в своих выводах. Даже используя свои нормы, которые очень гибки

[1] *Леонард Блумфильд* (1887 — 1949) — американский языковед, автор широко известной книги «Язык» (1933) и один из основателей «дескриптивной лингвистики». Отнесение его к школе младограмматиков очень субъективно. *(Примечание составителя.)*

и могут охватить разнообразные случаи, Бартоли всегда приводит список анормальных случаев после списка нормальных случаев.

49. Множество управляет. Сравнивая два языка или более, младограмматики часто сталкиваются с различающимися формами. Возникающая из этой ситуации проблема никогда не была разрешена ими, но вместо них — ареальной лингвистикой. Не вдаваясь во все детали, я хочу привести только один случай, когда младограмматики действуют безапелляционным образом, но их выводы часто бывают неверны, так как не имеют здравого основания, да и вообще никакого основания. Это утверждение о том, что арифметическое большинство случаев представляет более древние формы. Так, если различные формы или звуки распределяются в пяти языках в порядке AAAAB, или AAABB, или даже AAABC, или BAAB, младограмматики полагают, что форма A является более древней. Если применим это правило к романским языкам, у которых мы знаем (с хорошей степенью приближенности) их «праязык», т. е. латынь, мы сможем легко увидеть, что оно достаточно часто неверно. Типы casa, caprittus (caprellus), sapere (porcus), singularis, troia, grandis, čentum (с *č* или *ts*, или Þ), eo, uetulus, утеря конечного *-t; ę* вместо ĭ (pęsce вместо pĭscis), *ǫ* вместо *ŭ* (bǫcca вместо bŭcca), *uo,* или *ue,* или *ŏ* (fuoco вместо fŏcus), *ie* вместо *ĕ* (dieci вместо dĕcem) занимают значительно большую область, охватывающую в общем итальянский, рето-романский, провансальский, французский, каталанский, испанский, португальский и иногда также румынский языки, чем типы domus, haedus, scire, aper, sus, magnus, centum (kentu), ego (с сохранившимся *g*), senex, сохранившееся конечное *-t*; *ī, ŭ, ŏ, ĕ,* сохранившиеся как i, *u, o, e,* которые обнаруживаются в сардинском, а иногда также в румынском, далматинском, рето-романском и сицилианском. В данном случае, как и во множестве других, младограмматики пренебрегли правилом изолированной области и поэтому пришли к предельно абсурдным выводам. Эти выводы они самодовольно устанавливают при реконструкции индоевропейского языка, где контроль не столь прост, как в случае с романским и латинским, хотя наличие здесь изолированной области, как мне кажется, не менее очевидно.

Совершенно ясно, что типы casa, caprittus, sapere и т. д., имеющие широкое распространение, не следует отбрасывать с презрением. Они в известном смысле также латинские типы и именно новолатинские (различие, конечно, схоластическое), но они относительно более поздние, чем другие, а этот факт имеет огромное значение для неолингвистов. Другими словами, применительно к каждому слову и к каждой форме неолингвист с величайшим тщанием учитывает пространственные и временные факторы, которыми младограмматики пренебрегают.

50. Грамматика и язык. Для младограмматиков язык есть не что иное, как грамматика, каталог категорий вроде склонений, спряжений, звуков и т. п. Для неолингвистов язык есть язык,

т. е. совокупность эстетических выражений. Он обнаруживается во всей своей полноте в каждой строчке поэмы, в каждой речи, в каждой пословице. Никакая английская грамматика, как бы она ни была хороша, не в состоянии заменить чтение Шекспира или Шелли или даже самого скромного выражения кокни[1]. Другими словами, как показывает само их наименование, младограмматики были фактически только грамматиками, а не лингвистами, которыми стараются быть неолингвисты.

51. Лингвистический метод. Вся младограмматическая концепция языка совершенно отличается от концепции неолингвистов, а отсюда и различия в их методах лингвистического исследования. В то время как младограмматики рассматривают язык как вещь, которую можно взвесить, измерить и снабдить номером, над которой властвуют универсальные и неизменяемые законы физической природы, для неолингвистов язык — духовная деятельность, беспрерывное художественное творчество. Язык поэтому относится к гуманитарным или «моральным» наукам и должен изучаться историческим методом, .установленным Вико[2]. Каждая проблема единственная в своем роде, и возникает она в неповторимых условиях; она может быть понята только так, как мы понимаем творчество Данте или Шекспира: художественно, воссоздавая в своей душе моменты зарождения божественной искры.

[1] Уроженец части Лондона, заселенной беднотой и имеющей свой жаргон.

[2] *Джамбаттист Вико* (1666 — 1744) — итальянский философ, основоположник философии истории, наметивший в своей книге «Новая наука» (1725) три весьма условные в своей основе стадии в развитии всех языков. *(Примечания составителя.)*

VIII. ФЕРДИНАНД ДЕ СОССЮР

Фердинанд де Соссюр (1857 — 1913) считается основателем социологической школы языкознания (ее называют также французской школой). Однако многие положения его учения послужили основанием и для другого направления, которое затем оформилось в так называемый структурализм (см. часть 2). Именно поэтому, а также в силу того, что ряд выдвинутых им положений находится за пределами доктрин какой-либо определенной школы и связывается непосредственно с самим Ф. де Соссюром («соссюрианство в языкознании»), его правильнее рассматривать отдельно, не только как представителя социологической школы. Ф. де Соссюр — чрезвычайно своеобразное и выдающееся явление в языкознании, оказавшее глубокое и сильное влияние на последующее развитие науки о языке.

В возрасте 21 года, будучи еще студентом Лейпцигского университета (его учителями были известные младограмматики — А. Лескин, Г. Остгоф и К. Бругман), он опубликовал «Исследование о первоначальной системе гласных в индоевропейских языках». Эта работа, сохранившая свою научную ценность и по настоящее время, сыграла большую роль в исследовании индоевропейского вокализма и тем самым в развитии сранительно-исторического метода в языкознании. В последующие годы, читая лекции сначала в Париже, а с 1891 г. в своем родном городе — Женеве (в 1896 г. он стал профессором санскрита и индоевропейского языкознания, а в 1907 г. получил кафедру общей лингвистики), он опубликовал сравнительно мало работ (все они уместились в один том объемом около 600 страниц, выпущенный посмертно в 1922 г. в Женеве), и то, что опубликовал, несопоставимо с его первым юношеским исследованием.

С 1906 по 1912 г. Ф. де Соссюр трижды прочел в Женевском университете курс общей теории языка. Сам он не успел подготовить курс к печати, и только после его смерти два его ученика — А. Сеше и Ш. Балли — впервые в 1916 г. издали по своим записям «Курс общей лингвистики» Ф. де Соссюра (в дальнейшем многократно переиздавался; в 1931 г. вышел немецкий перевод «Grundfragen der allgemeinen Sprachwissenschaft», а в 1933 г. русский перевод — «Курс общей лингвистики» под редакцией Р. Шор). Эта книга и содержит изложение оригинального учения Ф. де Соссюра, вызвавшего оживленную, не затухающую и в наши дни дискуссию.

В значительных извлечениях данная его работа включена в настоящую книгу, однако следует иметь в виду, что в целом книга Ф. де Соссюра содержит изложение весьма последовательной системы и никакие извлечения, как бы они велики ни были, не могут дать о ней полного представления.

Философской основой лингвистической теории Ф. де Соссюра является социологическое учение Дюркгейма, восходящее в конечном счете к О. Конту. Между отдельными положениями социологии Дюркгейма и лингвистической концепцией Ф. де Соссюра можно обнаружить прямые параллели.

В отношении тех проблем, которые составляют предмет настоящей книги, высказывания Ф. де Соссюра сводятся к следующему.

Ф. де Соссюр различает язык (langue), речь (parole) и речевую деятельность (langage). Речевая деятельность многоформенна и соприкасается с рядом областей: физикой, физиологией, психикой. Речь — индивидуальное явление, а язык — «социальный продукт речевой способности», «совокупность необходимых условий, усвоенных общественным коллективом для осуществления этой способности у отдельных лиц». Язык выступает как «система чисто лингвистических отношений», и только он должен изучаться языковедами: «единственным и истинным объектом лингвистики является язык, рассмотренный в самом себе и для себя». В развитие этого положения Ф. де Соссюр проводит разграничение между внешней лингвистикой и внутренней лингвистикой. Внешней лингвистике принадлежат отношения языка к общественным установлениям и историческим условиям его существования. Но все эти моменты находятся за пределами языка как системы чистых отношений («нет никакой необходимости знать условия, в которых развивается тот или иной язык», так как «язык есть система, подчиняющаяся своему собственному порядку»). И именно в этом последнем понимании язык составляет предмет внутренней лингвистики («внутренним является все то, что в какой-либо степени видоизменяет систему»).

Следующее разграничение Ф. де Соссюр проводит по двум плоскостям: диахронии (исторический или динамический аспект) и синхронии (статический аспект, язык в его системе). Оба эти аспекта Ф. де Соссюр не только отрывает друг от друга, но и противопоставляет («противопоставление двух точек зрения на язык — синхронной и диахронной — совершенно абсолютно и не терпит компромисса»). Отвлеченный от исторического рассмотрения, синхронический аспект позволяет исследователю сосредоточиться на изучении замкнутой в себе системы языка, «в самой себе и для себя». Историческая же точка зрения на язык (диахрония) разрушает систему, превращает ее в собрание разрозненных фактов.

Язык Ф. де Соссюр рассматривает, далее, как систему произвольных знаков (знаковая природа языка) и уподобляет его тем самым любой другой системе знаков. («Язык есть система знаков, выражающих идеи, а следовательно, его можно сравнить с письмом, с азбукой для глухонемых, с символическими обрядами, с формами учтивости, с военными сигналами и т. п.»). Он мыслит себе создание науки, «изучающей жизнь знаков внутри жизни общества» (семиология), куда составной частью вошла бы и лингвистика.

Языковой знак, по Ф. де Соссюру, с одной стороны, абсолютно произволен, но, с другой стороны, обязателен для данного языкового коллектива. («Если по отношению к изображаемой им идее означающее (т. е. знак) представляется свободно выбранным, то, наоборот, по отношению к языковому коллективу, который им пользуется, оно не свободно, оно навязано».) Ф. де Соссюр следующим картинным образом рисует социальную обусловленность языкового знака: «Языку как бы говорят: «Выбирай!», но прибавляют: «Ты выберешь вот этот знак, а не другой». Изложенные общие положения конкретизируются, развиваются в частных положениях лингвистической теории Ф. де Соссюра.

Ф. де Соссюр поднял много новых проблем в языкознании, выявил ряд важных аспектов в изучении языка, способствовал более глубокому пониманию специфики языка. Но вместе с тем в его учении немало внутренних противоречий. В нем также заложена отчетливая тенденция к антиисторическому подходу к изучению языка, к метафизическому представлению о языке как системе чистых отношений, не обремененных никакими матертальными формами. Именно эти моменты его лингвистической теории и получали в дальнейшем преимущественное развитие в некоторых направлениях структуральной лингвистики.

Ф. де Соссюр был замечательным педагогом, воспитавшим плеяду выдающихся языковедов (А. Мейе, М. Граммон, Ш. Балли). Непосредственные ученики Ф. де Соссюра и те языковеды, на творчество которых он оказал глубокое влияние, образуют как бы три потока. Первый включает лингвистов, оставшихся в основном верными лингвистической концепции своего учителя. Таковы А. Сеше и Ш. Балли (основная работа Ш. Балли переведена на русский язык: «Общая лингвистика и вопросы французского языка», Издательство иностранной литературы, 1955). Ко второму относятся языковеды, воспринявшие социологические элементы учения Ф. де Соссюра, но сочетавшие их с принципами сравнительно-исторического языкознания. Сюда входят А. Мейе, Ж. Вандриес, Э. Бенвенист, М. Коэн и др. И, наконец, третий поток включает многочисленных языковедов (наиболее известными среди них являются В. Брёндаль и Л. Ельмслев), которые воспользовались отдельными его положениями для построения лингвистики «чистых отношений» или же функционального языкознания, т. е. различных разветвлений структурализма (см. ниже).

ЛИТЕРАТУРА

Р. А. Будагов. Из истории языкознания. Соссюр и соссюрианство «зд. МГУ, 1954.
В. А. Звегинцев, Проблема знаковости языка, изд. МГУ, 1956.
А. С. Чикобава, Проблема языка как предмета языкознания, *Учпедгиз,* М., 1959.

ФЕРДИНАНД ДЕ СОССЮР

КУРС ОБЩЕЙ ЛИНГВИСТИКИ[1]
(ИЗВЛЕЧЕНИЯ)

ЯЗЫК, ЕГО ОПРЕДЕЛЕНИЕ

В чем же состоит и целостный и конкретный объект лингвистики? Вопрос этот исключительно труден; ниже мы увидим почему. Ограничимся в данном месте показом этой трудности.

Другие науки оперируют над заранее данными объектами, которые можно рассматривать под различными углами зрения; ничего подобного нет в нашей науке. Кто-то произносит французское слово nu; поверхностному наблюдателю покажется, что здесь имеется конкретный лингвистический объект, но более пристальный анализ обнаружит наличие в данном случае трех или четырех совершенно различных вещей в зависимости от того, как рассматривать это слово: как звук, как выражение мысли, как соответствие латинскому nūdum и т.. д. Объект вовсе не предопределяет точки зрения; напротив, можно сказать, что точка зрения создает самый объект; вместе с тем ничто не предупреждает нас о том, какой из этих способов рассмотрения более исконный или более совершенный по сравнению с другими.

Кроме того, всякий лингвистический феномен всегда представляет два аспекта, из которых каждый соответствует другому и без него не имеет значимости. Например:

1. Артикулируемые слоги суть акустические впечатления, воспринимаемые ухом, но сами звуки не существовали бы, если бы не было органов речи; так, *n* существует лишь в результате соответствия этих двух аспектов. Нельзя, таким образом, ни сводить язык к звучанию, ни отрывать звучание от артикуляции органов речи; с другой стороны, нельзя определить движения органов речи, отвлекшись от акустического впечатления.

2. Но допустим, что звук есть некое единство; им ли характеризуется человеческая речь? Нисколько, ибо он есть лишь орудие для мысли и самостоятельного существования не имеет. Таким образом, возникает новое и еще более затрудняющее соответствие: звук, сложное акустико-вокальное единство, образует в свою очередь с понятием новое сложное единство, физиолого-мыслительное. Но это еще не все.

[1] Соцэкгиз, М., 1933. Перевод А. М. Сухотина.

3. У речевой деятельности есть и индивидуальная и социальная сторона, причем нельзя понять одну без другой.

4. В каждый данный момент речевая деятельность предполагает и установившуюся систему и эволюцию; в любую минуту язык есть и живая деятельность и продукт прошлого. На первый взгляд весьма простым представляется различение между системой и ее историей, между тем, что есть,, и тем, что было, но в действительности отношение между тем и другим столь тесное, что разъединить их весьма затруднительно. Может возникнуть вопрос, не упрощается ли проблема, если рассматривать лингвистический феномен с самого его возникновения, если, например, начинать с изучения детской речи. Нисколько, ибо величайшим заблуждением является мысль, будто в отношении речевой деятельности проблема возникновения отлична от проблемы постоянной обусловленности. Таким образом, мы продолжаем оставаться в том же порочном кругу.

Итак, с какой бы стороны ни подходить к вопросу, нигде ясно перед нами не обнаруживается целостный объект лингвистики; всюду мы натыкаемся на ту же дилемму: либо мы сосредоточиваемся на одной лишь стороне каждой проблемы, рискуя тем самым не уловить указанных выше присущих ей двойственностей, либо, если изучать явления речи одновременно с нескольких сторон, объект лингвистики выступает перед нами как беспорядочное нагромождение разнородных, ничем между собою не связанных явлений. Так поступать — значит распахивать двери перед целым рядом наук: психологией, антропологией, нормативной грамматикой, филологией и др., которые мы строго отграничиваем от лингвистики, но которые в результате методологической ошибки могли бы включить речевую деятельность в сферу своей компетенции.

По нашему мнению, есть только один выход изо всех этих затруднений: *надо с самого начала встать на почву* «языка» *и его считать нормой для всех прочих проявлений речевой деятельности.* В самом деле, среди прочих двойственных понятий только одно понятие языка, по-видимому, допускает самодовлеющее определение и дает надежную опору для развития исследовательской мысли.

Но что же такое язык? По нашему мнению, понятие языка (langue) не совпадает с понятием речевой деятельности вообще (langage); язык — только определенная часть, правда, важнейшая, речевой деятельности. Он, с одной стороны, социальный продукт речевой способности, с другой стороны — совокупность необходимых условий, усвоенных общественным коллективом для осуществления этой способности у отдельных лиц. Взятая в целом, речевая деятельность многоформенна и разносистемна; вторгаясь в несколько областей, в области физики, физиологии и психики, она, кроме того, относится и к индивидуальной и к социальной сфере; ее нельзя отнести ни к одной из категорий явлений человеческой жизни, так как она сама по себе не представляет ничего единого.

Язык, наоборот, есть замкнутое целое и дает базу для классификации. Отводя ему первое место среди всех и всяких явлений речевой деятельности, мы тем самым вносим естественный порядок в такую область, которая иначе разграничена быть не может.

На этот классификационный принцип, казалось бы, можно возразить так: осуществление речевой деятельности покоится на способности, присущей нам от природы, тогда как язык есть нечто усвоенное и условное; следовательно, язык зависит от природного инстинкта, а не предопределяет его.

Вот что можно ответить на это.

Прежде всего вовсе не доказано; что речевая функция в той форме, как она проявляется у нас, когда мы говорим, есть нечто вполне естественное, иначе говоря, что наш голосовой аппарат предназначен для говорения в той же мере, как наши ноги для ходьбы. Мнения лингвистов по этому вопросу существенно расходятся. Так, например, Уитней[1], уподобляющий язык социальным учреждениям со всеми их особенностями, полагает, что лишь случайно, просто из соображений удобства, мы используем голосовой аппарат в качестве орудия языка; люди, по его мнению, могли бы с тем же успехом пользоваться жестами, употребляя зрительные образы вместо слуховых. Без сомнения, такой тезис чересчур абсолютен: язык не есть социальный институт, во всех отношениях подобный прочим; кроме того, Уитней заходит слишком далеко, утверждая, будто наш выбор лишь случайно остановился на так называемых органах речи: ведь он до некоторой степени был нам навязан природой. Но по основному пункту американский лингвист, кажется, безусловно прав: язык — условность и природа условного знака безразлична. Вопрос о голосовом аппарате, следовательно, — вопрос второстепенный в проблеме языка.

Положение это может быть подкреплено путем определения того, что разуметь под *артикулируемой* (членораздельной) *речью.* По-латыни articulus означает «член, часть, подразделение в ряде вещей»; в отношении речи членораздельность может обозначать либо подразделение речевой цепи (chaîne parlée) на слоги, либо подразделение цепи значений на значимые единицы; в этом именно смысле говорят по-немецки: gegliederte Sprache. Придерживаясь этого второго определения, можно было бы сказать так: естественной для человека является не произносимая речь, а именно способность образовывать язык, т. е. систему раздельных знаков, соответствующих раздельным понятиям.

Брока[2] открыл, что способность говорить локализована в третьей лобной левой извилине большого мозга, и на это открытие пытались опереться, чтобы приписать речевой деятельности естест-

[1] *Уитней* (1827 — 1894) — известный американский лингвист, занимавшийся общим языкознанием и санскритом. Основным его трудом является «Жизнь языка», 1875. *(Примечание составителя.)*

[2] *П. Брака* (1824 — 1880) — французский антрополог и анатом. *(Примечание составителя.)*

венный характер. Но, как известно, эта локализация была установлена в отношении *всего,* имеющего отношение к языку, включая письмо; исходя из этого, а также из наблюдений, сделанных относительно различных видов афазии в результате повреждения этих центров локализации, можно, по-видимому, допустить, во-первых, что различные расстройства устной речи разнообразными путями неразрывно связаны с расстройствами письменной речи и, во-вторых, что во всех случаях афазии или аграфии нарушается не столько способность произносить те или иные звуки или чертить те или иные знаки, сколько способность каким бы то ни было орудием вызывать в сознании знаки данной языковой системы. Все это приводит нас к предположению, что над деятельностью различных органов существует способность более общего порядка, которая управляет этими знаками и которая и есть языковая способность по преимуществу. Таким путем мы приходим к тому же заключению, к какому пришли раньше.

Наконец, в доказательство разумности изучения речевой деятельности, начиная именно с категории языка, можно привести и тот аргумент, что способность — безразлично, природная она или нет — артикулировать слова осуществляется лишь с помощью орудия, созданного и предоставляемого коллективом; поэтому-то и можно утверждать, что единство явлений речи дано в языке...

...Резюмируем характеристику языка:

1. Язык есть нечто вполне определенное в разносистемной совокупности фактов речевой деятельности. Его можно локализовать в определенном отрезке рассмотренного нами кругового движения, а именно там, где слуховой образ ассоциируется с понятием. Он есть социальный элемент речевой деятельности вообще, внешний по отношению к индивиду, который сам по себе не может ни создавать язык, ни его изменять. Язык существует только в силу своего рода договора, заключенного членами коллектива. Вместе с тем, чтобы пользоваться языком, индивид должен ему научиться; дитя овладевает им лишь мало-помалу. Язык до такой степени есть нечто обособленное, что человек, лишившийся дара речи, сохраняет язык, поскольку он понимает слышимые им языковые знаки.

2. Язык, обособленный от речи, составляет предмет, доступный обособленному же изучению. Мы не говорим на мертвых языках, но мы отлично можем овладеть их языковым организмом. Не только наука об языке может обойтись без прочих элементов речевой деятельности, но она вообще возможна лишь, если эти прочие элементы к ней не примешаны.

3. В то время как речевая деятельность в целом имеет характер разнородный, язык, как он нами определен, есть явление по своей природе однородное: это система знаков, в которой единственно существенным является соединение смысла и акустического образа, причем оба эти элемента знака в равной мере психичны.

4. Язык не в меньшей мере, чем речь, есть предмет конкретный по своей природе, и это весьма способствует его исследованию. Языковые знаки хотя и психичны по своей сущности, но вместе с тем они не абстракции; ассоциации, скрепленные коллективным согласием, совокупность которых и составляет язык, суть реальности, имеющие местонахождение в мозгу. Более того, знаки языка, так сказать, осязаемы; на письме они могут фиксироваться посредством условных начертаний, тогда как представляется невозможным во всех подробностях фотографировать акты речи; произнесение самого короткого слова представляет собой бесчисленное множество мускульных движений, которые чрезвычайно трудно познать и изобразить. В языке же, напротив, не существует ничего, кроме акустического образа, который может быть передан посредством определенного зрительного образа. В самом деле, если отвлечься от множества отдельных движений, необходимых для реализации речи, всякий акустический образ оказывается, как мы далее увидим, суммой ограниченного числа элементов или фонем, могущих в свою очередь быть изображенными на письме при помощи соответственного числа знаков. Вот эта самая возможность фиксировать относящиеся к языку явления и приводит к тому, что верным его изображением могут служить словарь и грамматика, ибо язык есть склад акустических образов, а письмо — осязаемая их форма.

МЕСТО ЯЗЫКА В РЯДУ ЯВЛЕНИЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ. СЕМИОЛОГИЯ

Эта характеристика языка ведет нас к установлению еще более важного положения. Язык, выделенный таким образом, из совокупности явлений речевой деятельности, в отличие от этой деятельности в целом, находит себе место в системе наших знаний о человеке.

Как мы только что видели, язык есть явление социальное, многими чертами отличающееся от прочих социальных явлений: политических, юридических и др. Чтобы понять его специфическую природу, надо привлечь новый ряд фактов.

Язык есть система знаков, выражающих идеи, а следовательно, его можно сравнивать с письмом, с азбукой для глухонемых, с символическими обрядами, с формами учтивости, с военными сигналами и т. д. Он только наиважнейшая из этих систем.

Можно, таким образом, мыслить себе *науку, изучающую жизнь знаков внутри жизни общества;* такая наука явилась бы частью социальной психологии, а следовательно, и общей психологии; мы назвали бы ее «семиология» (от греч. semeton — знак). Она должна открыть нам, в чем заключаются знаки, какими законами они управляются. Поскольку она еще не существует, нельзя сказать, чем она будет, но она имеет право на существование; место ее определено заранее. Лингвистика — только часть этой общей науки; законы, которые откроет семиология, будут применимы и к линг-

вистике, и эта последняя, таким образом, окажется отнесенной к вполне определенной области в совокупности явлений человеческой жизни.

Точно определить место семиологии — задача психолога; задача лингвиста сводится к выяснению того, что выделяет язык как особую систему в совокупности семиологических явлений. Вопрос этот будет разобран ниже; пока запомним лишь одно: если нам впервые удается найти лингвистике место среди наук, это только потому, что мы связали ее с семиологией.

Почему же семиология еще не признана в качестве самостоятельной науки, имеющей, как и всякая иная, свой особый объект изучения? Дело в том, что до сих пор вращаются в порочном круге: с одной стороны, нет ничего более подходящего, чем язык, для уразумения характера семиологической проблемы; с другой стороны, .для того чтобы как следует поставить эту проблему, надо изучать язык, как таковой, а между тем доныне почти всегда приступали к изучению языка как функции чего-то другого, с чуждых ему точек зрения.

Прежде всего имеется поверхностная точка зрения широкой публики, видящей в языке лишь номенклатуру; эта точка зрения уничтожает самую возможность исследования истинной природы языка.

Затем имеется точка зрения психолога, изучающего механизм знака у индивида; это метод самый легкий, но он не ведет далее индивидуального выполнения и не затрагивает знака, по природе своей социального.

Или еще, заметив, что знак надо изучать социально, обращают внимание лишь на те черты языка, которые связывают его с другими социальными установлениями, более или менее зависящими от нашей воли, и таким образом проходят мимо цели, пропуская те черты, которые присущи как раз или семиологическим системам вообще, или языку в частности. Ибо знак до некоторой степени всегда ускользает от воли как индивидуальной, так и социальной, в чем проявляется его существеннейшая, но на первый взгляд наименее заметная черта.

Именно в языке эта черта наиболее проявляется, но обнаруживается она в такой области, которая наименее подвергается изучению; в результате остается неясной необходимость или особая полезность семиологической науки. Для нас же лингвистическая проблема есть прежде всего проблема семиологическая, и весь ход наших рассуждений получает свой смысл, от этого основного положения. Кто хочет обнаружить истинную природу языка, должен раньше всего обратить внимание на то, что в нем общего с иными системами того же порядка, а лингвистические факторы, на первый взгляд кажущиеся весьма существенными (например, функционирование голосового аппарата), следует рассматривать лишь во вторую очередь, поскольку они служат только для отличения языка от прочих семиологических систем. Благодаря этому

не только прольется свет на лингвистическую проблему, но, как мы полагаем, через рассмотрение обрядов, обычаев и т. д. в качестве знаков все эти явления выступят также в новом свете, так что явится потребность сгруппировать их в семиологии и разъяснить их законами этой науки.

ЛИНГВИСТИКА ЯЗЫКА И ЛИНГВИСТИКА РЕЧИ

Предоставив науке о языке принадлежащее ей по праву место в совокупности изучения речевой деятельности, мы тем самым набросали схему всей лингвистики. Все остальные элементы речевой деятельности, образующие, по нашей терминологии, «речь», естественно, подчиняются этой науке, и именно благодаря этому подчинению все части лингвистики располагаются по своим надлежащим местам.

Рассмотрим для примера производство необходимых для речи звуков; органы речи столь же посторонни в отношении языка, сколь посторонни в отношении алфавита Морзе служащие для его записи электрические аппараты; говорение, т. е. выполнение акустических образов, ни в чем не затрагивает самой системы. В этом отношении язык можно сравнить с симфонией, реальность которой не зависит от способа ее исполнения; ошибки, которые могут сделать разыгрывающие ее музыканты, ничем не нарушают этой реальности.

Против такого разделения говорения и языка будет, может быть, выдвинут в качестве возражения факт фонетических трансформаций, т. е. тех изменений звуков, которые происходят в речи и оказывают столь глубокое влияние на судьбы самого языка. Вправе ли мы, в самом деле, утверждать, будто язык существует независимо от этих явлений? Да, вправе, ибо эти явления касаются лишь материальной субстанции слов. Если даже они и затрагивают язык как систему знаков, то лишь косвенно, через изменения происходящей в результате этого интерпретации, каковое явление ничего фонетического в себе не заключает. Может представить интерес изыскание причин этих изменений, чему и помогает изучение звуков, но не в этом суть: для науки о языке вполне достаточно констатировать звуковые изменения и выяснить их последствия.

То, что мы утверждаем относительно говорения, верно в отношении всех прочих элементов речи. Деятельность говорящего субъекта должна изучаться в целой совокупности дисциплин, имеющих право на место в лингвистике лишь постольку, поскольку они связаны с языком.

Итак, изучение языковой деятельности распадается на две части; одна из них, основная, имеет своим предметом язык, т. е. нечто социальное по существу и независимое от индивида; это наука чисто психическая; другая, второстепенная, имеет предметом индивидуальную сторону речевой деятельности, т. е. речь, включая говорение; она психофизична.

Без сомнения, оба эти предмета тесно между собою связаны и друг друга взаимно предполагают; язык необходим, чтобы речь. была понятна и производила все свое действие; речь в свою очередь необходима для того, чтобы установился язык; исторически факт речи всегда предшествует языку. Каким путем возможна была бы ассоциация понятия со словесным образом, если бы подобная ассоциация предварительно не имела места в акте речи? С другой стороны, только слушая других, научаемся мы своему родному языку; последний лишь в результате бесчисленных опытов отлагается в нашем мозгу. Наконец, явлениями речи обусловлена эволюция языка; наши языковые навыки видоизменяются от впечатлений, получаемых при слушании других. Таким образом устанавливается взаимозависимость между языком и речью: язык — одновременно и орудие и продукт речи. Но все это не мешает тому, что это две вещи совершенно различные...

...Таково первое разветвление путей, на которое наталкиваешься, как только приступаешь к теоретизированию по поводу речевой деятельности человека. Надо избрать одну из двух дорог, следовать по которым одновременно не представляется возможным; надо отдельно идти по каждой из них.

Можно в крайнем случае сохранить название лингвистики за обеими этими дисциплинами и говорить о лингвистике речи. Но ее нельзя будет смешивать с лингвистикой в собственном смысле, с той лингвистикой, единственным объектом которой является язык.

Мы займемся исключительно этой последней, и, хотя при развитии нашей мысли нам и придется иной раз черпать разъяснения из области изучения речи, мы всегда будем стараться, ни в коем случае не стирать грани, разделяющей эти две области.

ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЯЗЫКА

Наше определение языка предполагает, что из понятия языка мы устраняем все, что чуждо его организму, его системе, одним словом, все, что известно под названием «внешней лингвистики», хотя эта лингвистика занимается очень важными предметами и о ней главным образом думают, когда приступают к изучению речевой деятельности.

Прежде всего сюда относятся все те пункты, которыми лингвистика соприкасается с этнологией, все связи, которые могут существовать между историей языка и историей нации, расы или цивилизации. Эти две истории переплетаются и взаимно влияют друг на друга. Это несколько напоминает те соответствия, которые были констатированы внутри собственно лингвистических явлений. Обычаи нации отражаются на ее языке, а с другой стороны, в значительной мере именно язык формирует нацию.

Далее следует упомянуть об отношениях между языком и политической историей. Великие исторические события, вроде римского завоевания, имели неисчислимые последствия для целого ряда лингвистических фактов. Колонизация, являющаяся одной формой завоевания, переносит язык в иную среду, что влечет за собой изменения в этом наречии. В подтверждение этого можно было бы привести множество фактов. Так, Норвегия, политически объединившись с Данией, приняла датский язык; правда, в настоящее время норвежцы пытаются освободиться от этого языкового влияния. Внутренняя государственная политика играет не менее важную роль в жизни языков; некоторые государства, как, например, Швейцария, допускают сосуществование нескольких языков; другие, как, например, Франция, стремятся к языковому единству. Высокий уровень культуры благоприятствует развитию некоторых специальных языков (юридический язык, научная терминология и проч.).

Это приводит нас к третьему пункту — к отношению между языком и такими установлениями, как церковь, школа и проч., которые в свою очередь тесно связаны с литературным развитием языка, — явление тем более общее, что оно само неотделимо от политической истории. Литературный язык во всех направлениях переступает границы, казалось бы, поставленные ему литературой; достаточно вспомнить о влиянии на литературный французский язык салонов, двора, академий. С другой стороны, он остро ставит вопрос о коллизии между ним и местными диалектами. Лингвист должен также рассматривать взаимоотношения книжного языка и обиходного языка, ибо развитие всякого литературного языка, продукта культуры, приводит к размежеванию его сферы со сферой разговорного языка.

Наконец, к внешней лингвистике относится и все то, что имеет касательство к географическому распространению языков и к их диалектальному дроблению. Именно в этом пункте особенно парадоксальным кажется различение между внешней лингвистикой и внутренней, поскольку географический феномен тесно примыкает к существованию всякого языка; и все же в действительности он не касается внутреннего организма самого наречия.

Утверждали, что нет абсолютно никакой возможности отделить все эти вопросы от изучения языка в собственном смысле. Такая точка зрения возобладала в особенности после того, как с такой настойчивостью стали выдвигать эти «realia». Подобно тому как в организме растения происходят изменения от действия внешних факторов — почвы, климата и т. д., подобно этому разве не зависит сплошь и рядом грамматический организм от внешних факторов языкового изменения? Кажется очевидным, что едва ли возможно разъяснить технические термины и заимствования, кишащие в языке, не ставя вопроса об их происхождении. Возможно ли отличать естественное, органическое развитие наречия от его искусственных форм, как литературный язык, обусловленных факто-

рами внешними, следовательно, неорганическими? Не видим ли мы постоянно, как наряду с местными диалектами развивается «общий» язык (langue commune, койне)?

Мы считаем весьма плодотворным изучение внешних лингвистических явлений, но ошибочно утверждать, будто, минуя их, нельзя познать внутренний организм языка. Возьмем для примера заимствование иностранных слов. Прежде всего можно установить, что оно не является постоянным элементом в жизни языка. В некоторых уединенных долинах есть такие говоры, которые, так сказать, никогда не приняли извне ни одного искусственного термина. Разве можно утверждать, что эти наречия находятся вне нормальных условий языка, представления о котором они дать не могут, что именно они требуют «тератологического»[1] подхода в исследовании, как не испытавшие никакого смешения? Но главное в том, что заимствованное слово уже не рассматривается, как таковое, как только становится объектом изучения внутри системы, где оно существует лишь в меру своего соотношения и противопоставления с ассоциируемыми с ним словами, подобно всем другим словам наречия. Вообще говоря, нет никакой необходимости знать условия, в которых развивался тот или иной язык. В отношении некоторых наречий, каковы, например, авестийский язык (зенд) и старославянский, в точности даже неизвестно, какие народы на них говорили, но неведение это нисколько нам не мешает в изучении их изнутри и в исследовании пережитых ими превращений. Во всяком случае разделение обеих точек зрения неизбежно, и чем строже оно соблюдается, тем лучше.

Наилучшее этому доказательство в том, что каждая из них создает свой особый метод. Внешняя лингвистика может нагромождать одну деталь на другую, не чувствуя себя сжатой тисками системы. Например, каждый автор будет группировать по своему усмотрению факты, относящиеся к распространению языка за пределами его территории; при выяснении факторов, создавших наряду с диалектами литературный язык, всегда можно применять простое перечисление; если же факты автором располагаются в более или менее систематическом порядке, то это исключительно в интересах ясности изложения.

В отношении внутренней лингвистики дело обстоит совершенно иначе; язык есть система, подчиняющаяся своему собственному порядку. Уяснению этого поможет сравнение с игрой в шахматы, в отношении которой сравнительно легко отличить, что внешнее и что внутреннее; тот факт, что эта игра пришла в Европу из Персии, — внешнего порядка; напротив, внутренним является все то, что касается системы и правил игры. Если я деревянные фигуры заменю фигурами из слоновой кости, такая замена безразлична для системы, но если я уменьшу или увеличу количество фигур, такая перемена глубоко затронет «грамматику» игры. Такого рода раз-

[1] Тератология — наука об уродствах. *(Примечание переводчика.)*

личение требует известной степени внимательности, поэтому в каждом случае нужно ставить вопрос о природе явления и при решении его придерживаться следующего правила: внутренним является все то, что в какой-либо степени видоизменяет систему.

ПРИРОДА ЯЗЫКОВОГО ЗНАКА

§ 1. Знак, означаемое, означающее

Для многих людей язык по своей основной сути представляется номенклатурой, т. е. перечнем терминов, соответствующих такому же количеству вещей.

Такое представление может быть подвергнуто критике во многих отношениях. Оно предполагает наличие уже готовых идей, предшествующих словам; оно ничего не говорит о том, какова природа названия — звуковая или психическая, ибо слово *дерево* может рассматриваться и под тем и под другим углом зрения; наконец, оно позволяет предположить, что связь, соединяющая имя с вещью, есть нечто совершенно простое, что весьма далеко от истины. Такая упрощенная точка зрения может все же приблизить нас к истине, обнаруживая перед нами, что единица языка есть нечто двойственное, образованное из сближения двух моментов.

Языковой знак связывает не вещь и имя, но понятие и акустический образ. Этот последний не есть материальный звук, вещь чисто физическая, но психический отпечаток звука, представление, получаемое нами о нем посредством наших органов чувств; он — чувственный образ, и если нам случается называть его «материальным», то только в этом смысле и из противопоставления второму моменту ассоциации — понятию, в общем более абстрактному.

Психический характер наших акустических образов хорошо обрисовывается из наблюдения над нашей собственной речевой практикой. Не двигая ни губами, ни языком, мы можем говорить сами с собою или мысленно повторять стихотворный отрывок...

Языковой знак есть, таким образом, двусторонняя психическая сущность...

Оба эти элемента теснейшим образом между собою связаны и друг друга притягивают. Ищем ли мы смысл слова *дерево* или слово, которым обозначается понятие «дерево», ясно, что только те сближения, которые освящены языком, нам кажутся согласными с действительностью, и мы откидываем всякое иное, могущее представиться воображению.

Это определение ставит важный терминологический вопрос. Мы называем *знаком* комбинацию понятия и акустического образа, но в ходячем употреблении этот термин обычно обозначает только акустический образ, например слово *(дерево* и т. д.). Забывают, что если *дерево* называется знаком, то лишь постольку, поскольку в него включено понятие «дерево», так что идея чувственной стороны подразумевает идею целого.

Двусмысленность исчезнет, если называть все три наличных понятия именами, связанными друг с другом, но вместе с тем взаимно. противопоставленными. Мы предлагаем сохранить слово знак для обозначения целого и заменить термины *понятие* и *акустический образ* соответственно терминами *означаемое* и *означающее;* эти последние два термина имеют то преимущество, что отмечают противопоставление, существующее как между ними, так и между целым и ими как частями этого целого. Что же касается термина *знак,* то мы довольствуемся им, не зная, чем его заменить, так как обиходный язык не выдвигает никакого иного возможного термина.

Языковой *знак,* как мы его определили, обладает двумя первостепенного значения свойствами. Указывая на них, мы тем самым формулируем основные принципы изучаемой нами отрасли знания.

§ 2. Первый принцип: произвольность знака

Связь, соединяющая означающее с означаемым, произвольна, или, иначе говоря, поскольку под знаком мы разумеем целое, вытекающее из ассоциации означающего и означаемого, мы можем сказать проще: *языковой знак произволен.*

Так, идея «сестра» никаким внутренним отношением не связана со сменой звуков s-ö-r (soeur), служащей во французском языке ее «означающим»; она могла бы быть выражена любым другим сочетанием звуков; это может быть доказано различиями между языками и самым фактом существования различных языков; означаемое «бык» выражается означающим b-ö-f (фр. boeuf) по одну сторону лингвистической границы и o-k-s (нем. Ochs) по другую сторону.

Принцип произвольности знака никем не оспаривается, но часто гораздо легче открыть истину, нежели отвести ей подобающее место. Этот принцип подчиняет себе всю лингвистику языка; последствия его неисчислимы. Правда, они не обнаруживаются все с первого же взгляда с одинаковой очевидностью; только после многих блужданий можно их открыть и установить первостепенную важность названного принципа.

Для обозначения языкового знака, или, точнее, того, что мы называем означающим, иногда пользуются словом *символ.* Применять его не вполне удобно именно в силу нашего первого принципа. Символ характеризуется тем, что он не до конца произволен; он не вполне пуст, в нем есть рудимент естественной связи между означающим и означаемым. Символ справедливости, весы, нельзя заменить чем попало — колесницей, например.

Слово *произвольный* также вызывает замечание. Оно не должно пониматься в том смысле, что означающее зависит от свободного выбора говорящего субъекта (как мы ниже увидим, индивид не властен внести и малейшее изменение в знак, уже установившийся в языковом коллективе); мы хотим сказать, что оно *не мотивиро-*

вано, т. е. произвольно по отношению к означаемому, с которым у него нет в действительности никакой естественной связи.

Отметим в заключение два выражения, которые могут быть выдвинуты против этого первого принципа.

1. Можно сослаться на *ономатопейю* (явление звукописи) в доказательство того, что выбор означающего не всегда произволен. Но ведь явления звукописи никогда не являются органическими элементами в системе языка. Число их к тому же гораздо ограниченнее, чем обычно думают. Такие французские слова, как fouet — «хлыст» и glas — «колокольный звон», могут поразить ухо эмоциональностью своего звучания, недостаточно обратиться к их латинским праформам (fouet от fagus — «бук», glas от classicurn), чтобы убедиться в том, что они первоначально не имели такого характера; качество их теперешних звуков, или, вернее, приписываемое им, есть случайный .результат фонетической эволюции.

Что касается подлинных звукоподражаний (типа *буль-буль, тик-так),* то они не только малочисленны, но и выбор их до некоторой степени произволен, поскольку они лишь приблизительные и наполовину условные имитации шумов (ср. фр. ouaoua, нем. wau-wau, рус. *гам-гам, тяв-тяв* как имитация лая). Кроме того, войдя в язык, они в большей или меньшей степени подпадают фонетической, морфологической и всякой иной эволюции, которой подвергаются остальные слова (ср. фр. pigeon — «голубь», происходящее от вульгарно-латинского pipiō, восходящего к звукоподражанию), — очевидное доказательство того, что они утратили нечто из своей первоначальной характеристики и приняли свойство вообще языкового знака, который, как мы указывали, не мотивирован.

2. *Восклицания,* весьма близкие к звукоподражаниям, вызывают аналогичные замечания и тоже ничуть не опровергают нашего тезиса. Казалось бы, возможно рассматривать их как непосредственные выражения реальности, так сказать, продиктованные самой природой. Но в отношении большинства из них можно отвести предпосылку, будто существует необходимая связь между их означаемым и означающим. Достаточно сравнить соответствующие примеры из разных языков, чтобы убедиться, насколько в них разнятся эти выражения (например, фр. aie! соответствует нем. au!, рус. *ой!).* Известно к тому же, что многие восклицания восходят к словам определенного смысла (ср. рус. *черт!,* фр. diable, mordieu! — mort Dieu и др.).

Итак, можно прийти к выводу, что и звукоподражания и восклицания по своему значению второстепенны и их символическое происхождение во многих случаях спорно.

§ 3. Второй принцип: линейный характер означающего

Означающее, будучи свойства слухового (аудитивного), развертывается только во времени и характеризуется заимствованными у времени признаками: а) *оно представляет протяженность,*

и б) *эта протяженность лежит в одном измерении* — это линия.

Об этом совершенно очевидном принципе сплошь и рядом не упоминают вовсе, по-видимому именно потому, что считают его чересчур простым; между тем это принцип основной, и последствия его неисчислимы. От него зависит весь механизм языка. В противность зрительным (визуальным) означающим (морские сигналы и т. п.), которые могут одновременно состоять из комбинаций в нескольких измерениях, акустические означающие располагают лишь линией времени; их элементы следуют один за другим, образуя цепь. Это их свойство обнаруживается воочию, как только мы переходим к изображению их на письме, заменяя последовательность во времени пространственной линией графических знаков.

В некоторых случаях это не обнаруживается с очевидностью. Если, например, я делаю ударение на слоге, может показаться, что я нагромождаю в одной точке различные значимые элементы. Но это иллюзия: слог и его ударность составляют лишь один акт говорения: внутри этого акта нет двойственности, но есть только различные противопоставления со смежными элементами.

НЕИЗМЕНЧИВОСТЬ И ИЗМЕНЧИВОСТЬ ЗНАКА

§ 1. Неизменчивость знака

Если по отношению к изображаемой им идее означающее представляется свободно выбранным, то, наоборот, по отношению к языковому коллективу, который им пользуется, оно не свободно, оно навязано. У общественной массы мнения не спрашивают, и выбранное языком означающее не может быть заменено другим. Этот факт, кажущийся противоречивым, мог бы шуточно быть назван «вынужденным карточным ходом». Языку как бы говорят: «Выбирай!», но прибавляют: «Ты выберешь вот этот знак, а не другой». Не только индивид не мог бы, если бы захотел, ни в чем изменить сделанный уже выбор, но и сама масса не в состоянии обнаружить свою власть ни над одним словом; она связана с языком таким, как он есть.

Таким образом, язык не может быть уподоблен договору в его чистом и простом виде; с этой именно стороны языковой знак представляет особенный интерес для изучения, ибо если хотят показать, что действующий в коллективе закон есть нечто, чему подчиняются, а не свободно принимают, то нет этому более блестящего подтверждения, чем язык.

Посмотрим, каким же образом языковой знак ускользает от нашей воли, и затем покажем важные последствия, которые из этого вытекают.

Во всякую эпоху, как бы мы ни углублялись далеко в прошлое, язык всегда выступает как наследие предшествующей эпохи. Акт, в силу которого в определенный момент имена были присвоены

вещам, в силу которого был заключен договор между понятиями и акустическими образами, — такой акт, хотя и вообразимый, никогда констатирован не был. Мысль, что так могло произойти, подписывается нам лишь нашим очень острым чувством произвольности знака.

Фактически всякое общество знает и всегда знало язык только как продукт, который унаследован от предшествовавших поколений и должен быть принят таким, как он есть. Вот почему вопрос о происхождении языка не так важен, как это думают. Такой вопрос не к чему даже ставить; единственный реальный объект лингвистики — это нормальная и регулярная жизнь уже установившегося наречия. Данное состояние языка всегда есть продукт исторических факторов, которые и, объясняют, почему знак неизменчив, т. е. почему он не поддается никакой произвольной перемене.

Но утверждение, что язык есть наследие прошлого, решительно ничего не объясняет, если этим только и ограничиться. Разве нельзя изменить в любую минуту существующие и унаследованные законы?

Высказав такое сомнение, мы вынуждены, подчеркнув социальную природу языка, поставить вопрос так, как мы бы его ставили в отношении прочих социальных общественных установлении. Эти последние как передаются? Вот где более общий вопрос, покрывающий и вопрос неизменчивости. Прежде всего надо выяснить, какой степенью свободы пользуются прочие установления; мы увидим, что в отношении каждого из них различно складывается баланс между навязанной традицией и свободной деятельностью общества. Надо, далее, установить, почему в данной категории факторы одного рода более действенны (или менее), чем факторы второго рода. И, наконец, возвратившись к языку, мы спросим себя, почему исторический фактор господствует в нем полностью и исключает возможность какой-либо общей и внезапной языковой перемены.

В ответ на этот вопрос можно было бы выдвинуть множество аргументов и указать, например, на то, что модификации языка не связаны со сменой поколений, которые вовсе не ложатся пластами одно на другое и не представляют подобия ящиков комода, но перемешаны и проникают одно в другое, причем каждое из них включает индивидов различных возрастов. Можно было бы указать и на сумму усилий, требующуюся при обучении родному языку, из чего нетрудно заключить о невозможности общей перемены. Можно было бы добавить, что рефлексия не участвует в использовании того или другого наречия, что сами говорящие в значительной мере не осознают законов языка, а если и осознают, то не в силах их видоизменять. Но даже относись они сознательно к лингвистическим актам, разве не общеизвестно, что эти факты почти вовсе не подергаются критике в том смысле, что каждый народ в общем доволен выпавшим ему на долю языком.

Все эти соображения не лишены основательности, но суть не в них; мы предпочитаем нижеследующие, более существенные, более прямые соображения, такие, от которых зависят все прочие.

1. Произвольность знака, по поводу которой мы выше допускали теоретическую возможность перемены. Углубляясь в вопрос, мы усматриваем, что в действительности самая произвольность знака защищает язык от всякой попытки, направленной к его изменению. Говорящая масса, будь она даже сознательнее, не могла бы обсуждать вопросы языка. Ведь для того чтобы подвергать обсуждению какую-либо вещь, надо, чтобы она отвечала какой-то разумной норме. Можно, например, спорить, какая форма брака рациональнее — моногамия или полигамия, — и приводить доводы в пользу той или другой. Можно также обсуждать, систему символов, потому что символ находится в отношениях рациональной связи с означаемой вещью, но в отношении языка, системы символов произвольных, не на что опереться. Вот почему исчезает всякая почва для обсуждения; нет ведь никаких мотивов предпочитать одно из следующего ряда слов: soeur — Schwester — *сестра* или boeuf — Ochs — *бык* и т. п.

2. Множественность знаков, необходимых для образования любого языка. Значение этого обстоятельства немаловажно. Система письма, состоящая из 20 — 40 букв, может быть, куда ни шло, заменена другой. Но нельзя этого сделать с языком, который включает не ограниченное количество элементов, а бесчисленное количество знаков.

3. Слишком сложный характер системы. Язык образует систему. Хотя, как мы увидим ниже, с этой именно стороны он не целиком произволен и в нем господствует относительная разумность, но вместе с тем именно здесь и обнаруживается неспособность массы его преобразовать. Ибо эта система представляет собой сложный механизм; владеть ею можно лишь путем размышления; даже те, кто изо дня в день ею пользуется, в самой системе ничего не смыслят. Можно было бы представить себе возможность преобразования языка лишь путем вмешательства специалистов, грамматиков, логиков и т. д. Но опыт показывает, что до сего времени такого рода поползновения успеха не имели.

4. Сопротивление коллективной косности всякому лингвистическому новшеству. Все вышеуказанные соображения уступают в своем значении нижеследующему: в каждый данный момент язык есть дело всех и каждого; будучи распространен в массе и служа ей, язык есть нечто такое, чем индивиды пользуются постоянно и ежечасно. В этом отношении его никак нельзя сравнивать с другими общественными установлениями. Предписания закона, обряды религии, морские сигналы и проч. привлекают единовременно лишь ограниченное количество лиц и на ограниченный срок; напротив, в языке каждый принимает участие ежеминутно, почему язык и испытывает постоянное влияние всех. Этого одного основного факта достаточно,

чтобы показать невозможность в нем революции. Изо всех общественных установлении язык представляет наименьшее поле для инициативы. Его не оторвать от жизни общественной массы, которая, будучи по природе инертной, выступает прежде всего как консервативный фактор.

Все-таки еще недостаточно сказать, что язык есть продукт социальных сил, чтобы стала очевидной его несвобода; помня, что язык всегда унаследован от предшествующей эпохи, мы должны добавить, что эти социальные силы действуют в функции времени. Если язык устойчив, то это не только потому, что он привязан к косной массе коллектива, но и вследствие того, что он расположен во времени. Эти два факта неразъединимы. Солидарность с прошлым ежеминутно давит на свободу выбора. Мы говорим *человек,* и *собака,* потому что до нас говорили *человек,* и *собака.* Это не препятствует тому, что во всем феномене в целом всегда налицо связь между двумя антиномическими факторами: произвольной договоренностью, в силу которой выбор свободен, и временем, благодаря которому выбор оказывается фиксированным. Именно потому, что знак произволен, он не знает другого закона, кроме закона традиции, и только потому он может быть произвольным, что опирается на традицию.

§ 2. Изменчивость знака

Время, обеспечивающее непрерывность языка, оказывает на него и другое действие, кажущееся противоречивым по отношению к первому, а именно: оно с большей или меньшей быстротой подвергает изменению языковые знаки, так что возможно говорить в некотором смысле и о неизменчивости и об изменчивости языкового знака[1].

В конце концов оба эти факта взаимно обусловлены: знак подвержен изменению, потому что он не прерывается. При всяком изменении преобладающим моментом является устойчивость прежнего материала; неверность прошлому лишь относительная. Вот почему принцип изменяемости опирается на принцип непрерывности.

Изменяемость во времени принимает различные формы, каждая из которых могла бы послужить материалом для большой главы в теории лингвистики. Не вдаваясь в подробности, вот что необходимо выяснить.

Прежде всего разберемся в том смысле, который приписан здесь слову «изменяемость». Оно могло бы породить мысль, что здесь

[1] Было бы несправедливо упрекать Ф. де Соссюра в нелогичности или парадоксальности за то, что он приписывает языку два противоречивых качества. Противопоставлением двух крайних терминов он только хотел резко подчеркнуть ту истину, что язык преобразуется, а говорящие на нем преобразовать его не могут. Можно иначе сказать, что он неприкосновенен (intangible), но не неизменяем (inalterable). *(Примечание к изданию 1933 г.)*

специально идет дело о фонетических изменениях, претерпеваемых означающим, или же о смысловых изменениях, затрагивающих означаемое понятие. Такой взгляд был бы недостаточен. Каковы бы ни были факторы изменяемости, действуют ли они изолированно или комбинированно, они всегда приводят к *сдвигу отношения между означающим и означаемым.*

Вот несколько примеров. Лат. necāre, означающее «убивать», превратилось во фр. noyer со значением «топить (в воде)». Изменились и акустический образ и понятие, но бесполезно различать эти обе стороны феномена; достаточно констатировать в совокупности, что связь между идеей и знаком ослабела и что произошел сдвиг в их взаимоотношении. Если сравнивать классически латинское necāre не с французским noyer, но с вульгарнолатинским necāre IV и V вв., означающим «топить», то получается случай несколько иной, но и здесь, хотя и нет заметного изменения в означающем, имеется сдвиг в отношении между идеей и знаком.

Старонемецкое dritteil — «треть» — в современном немецком языке превратилось в Drittel. В данном случае, хотя понятие осталось тем же, отношение изменилось двояким образом: означающее видоизменилось не только в своем материальном аспекте, но и в своей грамматической форме; оно более не включает идеи Teil (часть); оно стало простым словом. Так или иначе, здесь опять же сдвиг в отношениях идеи и знака.

В англосаксонском языке дописьменная форма fōt — «нога» — сохранилась в виде fōt (совр. англ. foot), а множественное число * fōti — «ноги» — превратилось в fēt (совр. англ. feet). Какие бы изменения здесь ни подразумевались, ясно одно: произошел сдвиг в отношении, возникли новые соответствия между звуковым материалом и идеей.

Язык по природе своей бессилен обороняться против факторов, постоянно передвигающих взаимоотношения означаемого и означающего. В этом одно из следствий произвольности знака.

Прочие человеческие установления — обычаи, законы и т. п. — все основаны в различной степени на естественных отношениях вещей; в них есть необходимое соответствие между использованными средствами и поставленными целями. Даже мода, устанавливающая наш костюм, не вполне произвольна: нельзя отклониться далее определенной меры от условий, диктуемых человеческим телом. Язык же, напротив, ничем не ограничен в выборе своих средств, ибо нельзя себе представить, что могло бы воспрепятствовать ассоциации какой угодно идеи с любым рядом звуков.

Желая ясно показать, что язык есть социальный институт в чистом виде, Уитней справедливо подчеркивал произвольный характер знаков; тем самым он поставил лингвистику на ее настоящий путь. Но он не дошел до конца и не разглядел, что своим произвольным характером язык резко отделяется от всех прочих социальных установлении. Это обнаруживается в том, как он развивается; нет ничего более сложного: он находится одновременно и в

социальной массе и во времени; никто ничего не может в нем изменить, а между тем произвольность его знаков теоретически обосновывает свободу устанавливать любое отношение между звуковым материалом и идеями. Из этого следует, что оба элемента, объединенные в знаке, живут совершенно в небывалой степени обособленно и что язык изменяется, или, вернее, эволюционирует, под воздействием всех сил, могущих повлиять либо на звуки, либо на смысл. Эта эволюция происходит всегда и неуклонно; нет примера языка, который был бы свободен от нее. По истечении некоторого промежутка времени в каждом языке можно всегда констатировать ощутительные сдвиги.

Это настолько верно, что принцип этот можно проверить и на материале искусственных языков. Любой искусственный язык, покуда он еще не вступил в общее пользование, находится в руках своего автора, но как только он начинает выполнять свое назначение и становится общей собственностью, контроль над ним улетучивается. К числу попыток этого рода принадлежи? эсперанто; если этот язык получит распространение, ускользнет ли он от действия закона эволюции? По истечении первого периода своего существования этот язык вступит, по всей вероятности, в условия семиологического развития: он станет передаваться в силу законов, ничего общего не имеющих с законами обдуманного создания, и вернуться вспять уже будет нельзя. Человек, который пожелал бы составить неизменчивый язык для пользования будущих поколений, походил бы на курицу, высидевшую утиное яйцо: созданный им язык волей-неволей был бы захвачен течением, увлекающим все языки.

Непрерывность знака во времени, связанная с его изменяемостью во времени, есть принцип общей семиологии; этому можно было бы найти подтверждения в системах письма, в языке глухонемых и т. д.

Но на чем основывается необходимость изменения? Нас, быть может, упрекнут, что мы меньше разъяснили этот пункт, чем принцип неизменчивости; это потому, что мы не выделили различных факторов изменяемости; надо было бы их рассмотреть в их разнообразии, чтобы установить, до какой степени они неизбежны.

Причины непрерывности a priori доступны наблюдению; иначе обстоит с причинами изменяемости в разрезе времени. Лучше пока отказаться от их точного выяснения и ограничиться общим рассуждением о сдвиге отношений; во времени изменяется все; нет оснований, чтобы язык избег этого общего закона.

Восстановим этапы нашего построения, увязывая их с установленными во введении принципами.

1. Избегая бесплодных определений слов, мы прежде всего различили внутри общего феномена, каким является *речевая деятельность* (langage), два фактора: *язык* (langue) и *речь* (parole). Язык для нас — это речевая деятельность минус сама речь. Он есть

совокупность лингвистических навыков, позволяющих отдельному человеку понимать других и быть ими понятым.

2. Но такое определение все еще оставляет язык вне социальной реальности, оно представляет его чем-то нереальным, так как включает лишь один аспект реальности, аспект индивидуальный; чтобы был язык, нужна *говорящая масса.* Язык никогда, наперекор видимости, не существует вне социального факта, ибо он есть семиологический феномен. Его социальная природа — одно из его внутренних свойств; полное его определение ставит нас перед лицом двух неразрывно связанных явлений.

Но в этих условиях язык только жизнеспособен, но еще не живет; мы приняли во внимание лишь социальную реальность, но не исторический факт.

3. Может показаться, что язык, поскольку он определяется произвольностью языкового знака, представляет собой свободную систему, организуемую по усмотрению, зависящую исключительно от принципа рациональности. Такой точке зрения, собственно, не противоречит и взятый сам по себе социальный характер языка. Конечно, коллективная психология не оперирует на чисто логическом материале; не лишне вспомнить и о том, как разум сдает свои позиции в практических отношениях между человеком и человеком. И все же рассматривать язык как простую условность, доступную видоизменению по воле участников, препятствует нам не это, но действие времени, сочетающееся с действием социальной силы; вне категории времени лингвистическая реальность неполна, и никакой вывод не возможен.

Если бы мы взяли язык во времени, но без говорящей массы (предположим, что живет человек в течение нескольких веков совершенно один), в нем не оказалось бы, может быть, никакого изменения; время не проявило бы своего действия. И обратно, если рассматривать говорящую массу вне времени, не увидишь действия на язык социальных сил. Чтобы приблизиться к реальности, нужно, следовательно, прибавить к нашей первой схеме знак, указывающий на движение времени. Теперь уже язык теряет свою свободу, так как время позволяет воздействующим на него социальным силам развивать свое действие; мы приходим, таким образом, к принципу непрерывности, аннулирующей свободу. Но непрерывность по необходимости подразумевает изменяемость, т. е. более или менее значительные сдвиги в отношениях.

СТАТИЧЕСКАЯ ЛИНГВИСТИКА И ЛИНГВИСТИКА ЭВОЛЮЦИОННАЯ

Внутренняя двойственность всех наук, оперирующих понятием ценности

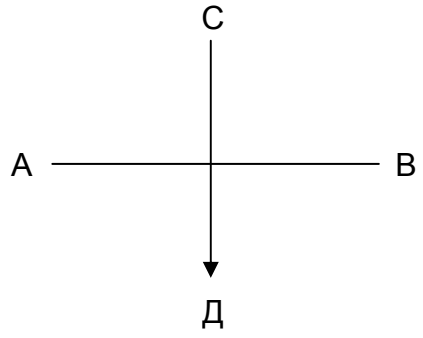
Едва ли многие лингвисты догадываются, что появление фактора «время» способно создать лингвистике особые затруднения и ставит их науку перед двумя расходящимися в противоположные стороны путями.

Большинство прочих наук не ведает этой коренной двойственности; время не производит в них особого эффекта. Астрономия установила, что светила претерпевают заметные изменения, но ей не пришлось ради этого расчлениться на две дисциплины. Геология почти постоянно имеет дело с последовательностью во времени, но когда она переходит к уже сложившимся состояниям Земли, она не рассматривает их как коренным образом отличающийся объект исследования. Есть описательная наука права и история права; никто не противопоставляет их одну другой. Политическая история государств целиком движется во времени, однако же, если история рисует картину какой-либо эпохи, у нас нет впечатления, что мы вышли из рамок истории. И обратно: наука о политических учреждениях — по существу своему наука описательная, но она отлично может, когда встретится надобность, рассматривать исторические вопросы, не нарушая тем самым единства своего построения.

Наоборот, двойственность, о которой мы говорим, властно тяготеет, например, над экономическими науками. В противность указанным выше отраслям знания политическая экономия и экономическая история составляют две резко разграниченные дисциплины внутри одной науки; в недавно появившихся работах на эти темы подчеркивается это различие. Поступая таким образом и хорошенько не отдавая себе в этом отчета, экономисты подчиняются внутренней необходимости; вполне аналогичная необходимость заставляет и нас раздробить лингвистику на две части, у каждой из которых свой особый принцип. Дело в том, что в лингвистике, как и в политической экономии, мы находимся перед лицом категории *ценности* (valeur); в обеих науках дело идет о *системе эквивалентностей (равноценностей) между вещами различных порядков:* в одной между трудом и заработной платой, в другой между означаемым и означающим.

Совершенно очевидно, что в интересах всех вообще наук было бы более тщательно вычерчивать те оси, по которым расположено то, что составляет предмет их изучения; всюду следовало бы различать, как указано на прилагаемом чертеже: 1) *ось одновременности* (AB), касающуюся отношений между существующими вещами, откуда исключено всякое вмешательство времени, и 2) *ось последовательности* (CD), на которой никогда нельзя увидеть больше одной вещи зараз и по которой располагаются все явления первой оси со всеми их изменениями.

Для наук, оперирующих понятием ценности, такое различение становится практической необходи-



мостью. В этой области надо остеречь исследователей, указав им на невозможность строго научно организовать свои исследования, не принимая в расчет наличия двух осей, не различая системы ценностей самих в себе от этих же самых ценностей, рассматриваемых в функции времени.

С наибольшей категоричностью различение это обязательно для лингвиста, ибо язык есть система чистых ценностей (значимостей), ничем не определяемая, кроме как наличным состоянием входящих в ее состав элементов. Поскольку одной из своих сторон ценность коренится в самих вещах и в их естественных взаимоотношениях (как это имеет место в экономической науке, например, ценность земельного участка пропорциональна его доходности), постольку можно до некоторой степени прослеживать эту ценность во времени, не упуская, однако, при этом из вида, что в каждый данный момент она зависит от системы сосуществующих с ней других ценностей. Ее связь с вещами как-никак дает ей естественную базу, а потому вытекающие из этого оценки никогда вполне не произвольны, их изменчивость ограничена. Но, как мы видели, в лингвистике естественные данные вовсе не имеют места.

Прибавим, что чем система ценностей сложнее и тщательнее организована, тем необходимее, именно вследствие ее сложности, последовательно изучать ее по обеим осям. Никакая система не может сравниться в этом отношении с языком; нигде мы не имеем налицо такой точности обращающихся ценностей такого большого количества и такого разнообразия элементов, и притом в такой строгой взаимозависимости. Многочисленность знаков, на что мы уже ссылались для объяснения непрерывности языка, абсолютно препятствует единовременному изучению отношений во времени и отношений в системе.

Вот почему мы различаем две лингвистики. Какими названиями их обозначить? Имеющиеся под рукою термины не все в полной мере способны отметить делаемое нами различение. Так, термины «история» и «историческая лингвистика» непригодны, ибо они связаны со слишком расплывчатыми представлениями; поскольку политическая история включает и описание эпох и повествование о событиях, постольку можно было бы вообразить, что, описывая последовательные состояния языка, мы тем самым изучаем язык по временной оси, но тогда такое изучение на самом деле потребовало бы рассмотрения по отдельности феноменов перехода языка из одного состояния в другое. Термины *эволюция* и *эволюционная лингвистика* более точны, и мы часто будем ими пользоваться; в противовес можно говорить о науке о *состояниях* (статусах) языка, или *статической лингвистике.*

Но, чтобы резче отметить это противопоставление и это скрещение двух порядков явлений, относящихся к одному объекту, мы предпочитаем говорить о *синхронической* лингвистике и линг-

вистике *диахронической.* Синхронично все, что относится к статическому аспекту нашей науки; диахронично все, что касается эволюции. Существительные же *синхрония* и *диахрония* будут соответственно обозначать состояние языка и фазу эволюции.

Внутренняя двойственность и история лингвистики

Первое, что поражает, когда изучаешь факты языка, — это то, что для говорящего субъекта их последовательность во времени не существует: он пред лицом «состояния». Поэтому и лингвист, желающий понять это состояние, должен закрыть глаза на то, как оно получилось, и пренебречь диахронией. Только отбросив прошлое, он может проникнуть в сознание говорящих. Вторжение истории может только сбить его с толку. Было бы нелепостью рисовать панораму Альп, беря ее одновременно с нескольких вершин Юрских гор; панорама должна быть взята из одной точки. Так и в отношении языка: нельзя ни описывать его, ни устанавливать нормы его применения, не отправляясь от одного определенного его состояния. Следуя за эволюцией языка, лингвист уподобляется наблюдателю, передвигающемуся с одного конца Юрских гор до другого и отмечающему перемещения перспективы.

Можно сказать, что с тех пор, как существует современная лингвистика, она с головой ушла в диахронию. Сравнительная грамматика индоевропейских языков использует добытые ею данные для гипотетической реконструкции предшествовавшего языкового типа; для нее сравнение не более как средство воссоздания прошлого. Тот же метод применяется и при частном изучении подгрупп (романских языков, германских и т. д.); «состояния» привходят в это изучение лишь отрывочно и весьма несовершенным образом. Такова наука, основанная Боппом; поэтому-то понимание ею языка половинчато и шатко.

С другой стороны, как поступали те, кто изучал язык до основания лингвистический науки, т. е. «грамматики», вдохновлявшиеся традиционными методами? Любопытно отметить, что их точка зрения по занимающему нас вопросу абсолютно безупречна. Их работы ясно нам показывают, что в их намерении было описывать состояния; их программа строго синхронична. Например, так называемая грамматика Пор-Рояля пытается описать состояние французского языка при Людовике XIV и определить составляющие его элементы. Ей для этого не требуется средневековый язык; она строго следует горизонтальной оси (см. выше) и никогда от нее не отклоняется. Такой метод верен, что не значит, впрочем, что он применен безукоризненно. Традиционная грамматика игнорирует целые отделы лингвистики, как, например, отдел о словообразовании; она нормативна и считает нужным не констатировать факты, а издавать правила; она неспособна к широким обобщениям; часто она не умеет даже отличить написанного слова от произносимого и т. п.

Классическую грамматику упрекали в том, что она не научна. между тем ее база менее подвержена критике и ее предмет лучше определен, чем у той лингвистики, которую основал Бопп. Эта последняя, покоясь на зыбком основании, не знает даже в точности, к какой цели она стремится. Не умея распознавать разницу между наличным состоянием и последовательностью во времени, она пытается работать одновременно в обеих этих областях.

Лингвистика слишком большое место уделяла истории; теперь ей предстоит вернуться к статической точке зрения традиционной грамматики, но уже с новым духом и с новыми приемами, т. е. обновленной историческим методом, который с своей стороны поможет лучше осознать состояния языка. Прежняя грамматика видела лишь синхронический факт; лингвистика открыла нам новый порядок феноменов, но этого недостаточно: надо дать почувствовать противоположность обоих рядов явлений, чтобы извлечь из этого все вытекающие последствия.

...Противопоставление двух точек зрения — синхронической и диахронической — совершенно абсолютно и не терпит компромисса.

Противопоставление обеих лингвистик в отношении их методов и принципов

Противопоставление между диахроническим и синхроническим проявляется всюду.

Прежде всего (мы начинаем с явления наиболее очевидного) они не одинаковы по своему значению. Вполне ясно, что синхронический аспект важнее диахронического, так как для говорящей массы только он — подлинная и единственная реальность. Это же верно и для лингвиста; если он примет диахроническую перспективу, то увидит отнюдь не язык, а только ряд видоизменяющих его явлений. Часто утверждают, что нет ничего более важного, чем познать генезис данного состояния; это в некотором смысле верно: условия, создавшие данное состояние, проясняют нам его истинную природу и оберегают нас от некоторых иллюзий, но этим доказывается только, что диахрония не является самоцелью. О ней можно сказать, что было сказано о журнализме: она может привести ко всему, но только под условием выхода из нее.

Методы обоих аспектов тоже различны в двояком отношении.

а) Синхрония знает только одну перспективу, перспективу говорящих субъектов, и весь ее метод сводится к собиранию от них фактов; чтобы убедиться, в какой мере то или другое языковое явление реально, необходимо выяснить, в какой мере оно существует в сознании говорящих. Напротив, диахроническая лингвистика должна различать две перспективы: одну *проспективную,* следующую за течением времени, и другую *ретроспективную,* направленную вспять; таким образом, метод ее раздваивается, о чем будет идти речь в пятой части этого труда.

б) Второе различие вытекает из разницы в объеме той области, на которую распространяются та и другая дисциплины. Синхроническое изучение не ставит своим объектом всего совпадающего по времени, но только совокупность фактов, относящихся к каждому языку; в меру необходимости подразделение дойдет и до диалектов и до поддиалектов. В сущности термин *синхроническое* не вполне точен; его следовало бы заменить, правда, несколько длинным термином *идиосинхроническое.* Наоборот, диахроническая лингвистика не только не требует, но и отвергает подобную специализацию, рассматриваемые ею элементы не принадлежат обязательно к одному языку (ср. индоевр. *esti, греч. esti, нем. ist, фр. est, рус. *есть).* Различие отдельных наречий создается именно сменой диахронических фактов и их пространственным умножением. Для оправдания сближения двух форм достаточно, если между ними есть историческая связь, какой бы косвенной она ни была.

Эти противопоставления не самые яркие и не самые глубокие: из коренной антиномии между фактом эволютивным и фактом статическим следует, что решительно все понятия, относящиеся к тому или другому в одинаковой мере, не сводимы друг к другу. Любое из этих понятий может служить доказательством этого. Так, синхронический «феномен» ничего общего не имеет с диахроническим; первый есть отношение между существующими одновременно элементами, второй — смена во времени одного элемента другим, т. е. событие...

Синхронический закон и закон диахронический

Мы привыкли слышать о законах в лингвистике, но действительно ли факты языка управляются законами и какого рода могут быть эти законы? Поскольку язык есть социальный Институт, можно a priori сказать, что он регулируется нормами, аналогичными тем, которые действуют в коллективах. Как известно, всякий социальный закон обладает двумя основными признаками: он *императивен,* и он *общ;* он навязывается, и он простирается на все случаи, разумеется, в определенных границах времени и места.

Отвечают ли такому определению законы языка? Чтобы выяснить это, надо прежде всего согласно с только что высказанным еще лишний раз разделить сферы синхронического и диахронического. Перед нами две раздельные проблемы, которые смешивать нельзя; говорить о лингвистическом законе вообще равносильно желанию схватить призрак.

Синхронический закон — общий закон, но не императивный; попросту отображая существующий порядок вещей, он только констатирует некое состояние; он закон постольку же, поскольку законом может быть названо утверждение, например, что в данном

фруктовом саду деревья посажены косыми рядами. И отображаемый им порядок вещей не гарантирован от перемены именно потому, что не императивен. Казалось бы, можно возразить, что в функционировании речи синхронический закон обязателен в том смысле, что он навязан индивидам принуждением коллективного обычая; это верно, но мы ведь не разумеем слово «императивный» в смысле обязательности по отношению к говорящим; отсутствие императивности значит, что в языке нет никакой силы, гарантирующей сохранение регулярности, установившейся в каком-либо пункте. Так, нет ничего более регулярного, чем синхронический закон, управляющий латинским ударением (в точности сравнимый с законом греческого ударения); между тем эти правила ударения не устояли перед факторами изменения и уступили место новому закону, действующему во французском языке. Таким образом, если и можно говорить о законе в синхронии, то только в смысле распорядка, принципа регулярности.

Диахрония предполагает, напротив того, динамический фактор, производящий определенный результат, выполняющий определенное дело. Но этого императивного характера недостаточно для применения понятия закона к фактам эволюции языка; можно говорить о законе лишь тогда, когда целая совокупность явлений подчиняется единому правилу, а диахронические события, хотя и обнаруживают некоторые видимости общности, всегда в действительности носят характер случайный и частный.

Резюмируем: синхронические факты, каковы бы они ни были, представляют определенную регулярность, но не носят никакого императивного характера; напротив, диахронические факты обладают императивностью по отношению к языку, но не имеют характера общности.

Короче говоря (к чему мы и хотели прийти), ни те ни другие не управляются законами в вышеопределенном смысле, а если уже, невзирая ни на что, угодно говорить о лингвистических законах, то термин этот будет покрывать совершенно различные значения, смотря по тому, относится ли он к явлениям синхронического или диахронического порядка.

Существует ли панхроническая («всевременная») точка зрения?

До сих пор мы принимали термин «закон» в юридическом смысле. Но, быть может, в языке имеются законы в том смысле, как это разумеют науки физические и естественные, т. е. отношения, обнаруживаемые всюду и всегда? Иначе сказать, нельзя ли изучать язык с точки зрения панхронической?

Разумеется, можно. Поскольку, например, всегда происходили и будут происходить фонетические изменения, постольку можно рассматривать этот феномен вообще, как один из постоянных

аспектов языка; это, таким образом, один из его законов. В лингвистике, как и в шахматной игре, есть правила, переживающие все события. Но это лишь общие принципы, независимые от конкретных фактов; в отношении же частых и осязаемых фактов нет никакой панхронической точки зрения. Так, всякое фонетическое изменение, каково бы ни было его распространение, всегда ограничено определенным временем и определенной территорией; оно отнюдь не простирается на все времена и все местности; оно существует лишь диахронически. В этом мы и можем найти критерий для распознания того, что относится к языку и что к нему не относится. Конкретный факт, допускающий панхроническое объяснение, не может быть отнесен к языку. Возьмем французское слово chose («вещь»); с диахронической точки зрения оно противопоставлено лат. causa, от которого оно происходит; с синхронической точки зрения — всем терминам, которые могут быть с ним ассоциированы в современном французском языке. Одни лишь звуки слова, взятые сами в себе (šǫz), допускают панхроническое наблюдение; но у них нет лингвистической значимости; и даже с панхронической точки зрения šǫz, взятое в речевой цепи, как, например, ün šǫz admirablə «une chose admirable» («восхитительная вещь»), не является единицей, это бесформенная масса, не отграниченная ничем: на самом деле, почему šǫz, а не ǫza или nšo? Это не есть значимая величина (valeur), потому что это не имеет смысла. Панхроническая точка зрения никогда не затрагивает частных фактов языка.

Выводы

Так лингвистика подходит ко второму разветвлению своих путей. Сперва нам пришлось выбирать между языком и речью, теперь же мы у второго перекрестка, откуда ведут две дороги: одна в диахронию, другая в синхронию.

Используя этот двойной принцип классификации, мы можем прибавить, что *все диахроническое в языке является таковым через речь.* В речи источник всех изменении; каждое из них первоначально, прежде чем войти в общее употребление, начинает применяться некоторым количеством индивидов. Теперь по-немецки говорят: ich war, wir waren (я был, мы были), тогда как в старом немецком языке до XVI в. спрягалось: ich was, wir waren (по-английски до сих пор говорят: I was, we were). Каким же образом произошла эта перемена: war вместо was? Отдельные лица под влиянием waren по аналогии создали war; это был факт речи; такая форма, часто повторявшаяся, была принята коллективом и стала фактом языка. Но не все новшества речи увенчиваются таким успехом, и, поскольку они остаются индивидуальными, нам нечего принимать их во внимание, так как мы изучаем язык; они входят в поле нашего наблюдения лишь с момента принятия их коллективом.

Факту эволюции всегда предшествует факт или, вернее, множество сходных фактов в сфере речи; это ничуть не порочит установленного выше различения, которое этим только подтверждается, так как в истории всякого новшества мы встречаем всегда два раздельных момента: 1) момент появления его у индивидов и 2) момент его превращения в факт языка, когда оно, по внешности оставаясь тем же, принимается коллективом.

Нижеприводимая таблица показывает ту рациональную форму, которую должна принять лингвистическая наука:

Речевая деятельность (Langage)		Язык	Синхрония
			Диахрония
		Речь	

Следует признать, что теоретическая и идеальная форма науки не всегда совпадает с той, которую навязывают ей требования практики. В лингвистике эти требования практики еще повелительнее, чем в других науках; они до некоторой степени оправдывают ту путаницу, которая в настоящее время царит в лингвистических исследованиях. Даже если бы устанавливаемые нами различения и были приняты раз и навсегда, нельзя было бы, быть может, во имя этого идеала связывать научные изыскания чересчур точными установками.

Так, например, производя синхроническое обследование старофранцузского языка, лингвист оперирует такими фактами и принципами, которые ничего не имеют общего с теми, которые ему открыла бы история этого же языка с XIII до XX в.; зато они сравнимы с теми фактами и принципами, которые обнаружились бы при описании одного из нынешних языков банту, греческого аттического языка за 400 лет до н. э. или, наконец, современного французского. Дело в том, что все такие описания покоятся на схожих отношениях; хотя каждый отдельный язык образует замкнутую систему, все они предполагают наличие некоторых постоянных принципов, на которые мы неизменно наталкиваемся, переходя от одного языка к другому, так как всюду продолжаем оставаться в одном и том же порядке явлений. Совершенно так же обстоит и с историческим исследованием: обозреваем ли мы определенный период в истории французского языка (например, от XIII до XX в.), или яванского языка, или любого другого, всюду мы имеем дело со схожими фактами, которые достаточно сопоставить, чтобы установить общие истины диахронического порядка. Идеалом было бы, чтобы каждый ученый посвящал себя тому или другому разрезу лингвистических исследований и охватывал возможно большее количество фактов соответствующего порядка, но представляется весьма затруднительным научно владеть столь разнообразными языками. С другой стороны, каждый язык представляет практически одну единицу изучения, так что силой вещей приходится рассматривать его попеременно и статически и исторически. Все-таки никогда не нужно забывать, что теорети-

чески это единство отдельного языка как объекта изучения есть нечто поверхностное, тогда как различия языков таят в себе глубокое единство. Пусть при изучении отдельного языка наблюдение захватывает и одну сферу и другую, всегда надо знать, к которой из них относится разбираемый факт, и никогда не надо смешивать методы.

Разграниченные нами таким образом обе части лингвистики послужат одна за другой объектом нашего исследования.

Синхроническая лингвистика займется логическими и психологическими отношениями, связывающими сосуществующие элементы и образующими систему, изучая их так, как они воспринимаются одним и тем же коллективным сознанием.

Диахроническая лингвистика, напротив, будет изучать отношения, связывающие элементы в порядке последовательности, не воспринимаемой одним и тем же коллективным сознанием, — элементы, заменяющиеся одни другими, но не образующие системы.

Синхроническая лингвистика

Общие положения

В задачу общей синхронической лингвистики входит установление основных принципов всякой идиосинхронической системы, конститутивных факторов всякого состояния (статуса) языка. Многое из того, что нами уже было изложено, относится скорее к синхронии; так, общие свойства знака могут рассматриваться как составная часть этой последней, хотя они нам и послужили для доказательства необходимости различать обе лингвистики.

К синхронии относится все, что называется «общей грамматикой», ибо только через отдельные состояния языка устанавливаются те различные отношения, которые входят в компетенцию грамматики. В дальнейшем изложении мы ограничимся лишь основными принципами, без которых не представляется возможным ни приступить к более широким проблемам статики, ни объяснить детали данного состояния языка.

Говоря вообще, гораздо труднее заниматься статической лингвистикой, чем историей. Факты эволюции более конкретны, они больше говорят воображению; наблюдаемые в них отношения завязываются между последовательно сменяющимися моментами, уловить которые нетрудно; легко, а иногда и занятно следить за рядом превращений. Та же лингвистика, которая оперирует сосуществующими значимостями и отношениями, представляет гораздо больше затруднений.

В действительности «состояние» языка не есть математическая точка, но более или менее длинный промежуток времени, в течение которого сумма происходящих видоизменений остается ничтожно малой. Это может равняться десяти годам, смене одного поколения, одному столетию, даже. больше. Случается, что в течение

сравнительно долгого промежутка язык еле меняется, а затем в какие-нибудь несколько лет испытывает значительные превращения. Из двух сосуществующих в одном периоде языков один может сильно эволюционировать, а другой почти вовсе не изменяться; для второго необходимо будет синхроническое изучение, для первого потребуется диахронический подход. Абсолютное «состояние» определяется отсутствием изменений, но поскольку язык всегда, как бы ни мало, все же преобразуется, постольку изучать язык статически на практике — значит пренебрегать маловажными изменениями, подобно тому как математики при некоторых операциях, например при вычислении логарифмов, пренебрегают бесконечно малыми величинами.

В политической истории различаются: эпоха — точка во времени, и период, охватывающий некоторый промежуток времени. Однако историки сплошь и рядом говорят об эпохе Антонинов, об эпохе крестовых походов, разумея в данном случае единство признаков, сохранявшихся в течение соответствующего срока. Можно было бы говорить и про статическую лингвистику, что она занимается эпохами; но термин «состояние» («статус») лучше. Начала и концы эпох обычно отмечаются какими-либо переворотами, более или менее резкими, направленными к изменению установившегося порядка вещей. Употребляя термин «состояние», мы тем самым отводим предположение, будто в языке происходит нечто подобное. Сверх того, термин «эпоха» именно потому, что он заимствован у истории, заставляет думать не столько о самом языке, сколько об окружающей и обусловливающей его обстановке; одним словом, он вызывает скорее всего представление о том, что мы назвали внешней лингвистикой.

Впрочем, разграничение во времени не есть единственное затруднение, встречаемое нами при определении понятия «состояние языка»; такой же вопрос встает и относительно пространственного отграничения. Короче говоря, понятие «состояние языка» не может не быть приблизительным. В статической лингвистике, как и в большинстве наук, невозможно никакое рассуждение без условного упрощения данных.

КОНКРЕТНЫЕ СУЩНОСТИ ЯЗЫКА

Сущность (entite) и единица (unite)

Определения

Входящие в состав языка знаки суть не абстракции, но реальные объекты; их именно и их взаимоотношения изучает лингвистика; их можно назвать *конкретными сущностями* этой науки.

Напомним прежде всего два основных принципа всей проблемы: ,

1. Языковая сущность (языковой факт) существует лишь в силу ассоциации между означающими и означаемым; если упустить

один из этих элементов, она исчезнет, и вместо конкретного объекта перед нами будет только чистая абстракция. Ежеминутно мы рискуем овладеть лишь частью этой сущности, воображая, что мы охватываем ее целиком; это, например, неизбежно случится, если мы станем делить речевую цепь на слоги; у слога есть значимость только в фонологии. Ряд звуков лишь в том случае является языковой величиной, если он является носителем какой-либо идеи; взятый в самом себе, он только материал для физиологического исследования.

То же верно и относительно означаемого, как только его отделить от его означающего. Такие понятия, как «дом», «белый», «видеть» и т. п., рассматриваемые сами в себе, относятся к психологии; они становятся языковыми сущностями лишь при ассоциации с акустическими образами; в языке понятие есть качество звуковой субстанции, а определенное звучание есть качество понятия.

Часто сравнивали это двуликое единство с единством человеческой личности, состоящей из тела и души. Сближение мало удовлетворительное. Лучше его сравнивать с химическим соединением, например с водою, состоящей из водорода и кислорода; взятый в отдельности, каждый из этих элементов не имеет никаких свойств воды.

2. Языковая сущность (языковой факт) определяется полностью лишь тогда, когда она *отграничена,* отделена от всего, что ее окружает в звуковой цепи. Эти-то отграниченные сущности, или *единицы,* и противополагаются друг другу в механизме языка.

На первый взгляд кажется естественным уподобить языковые знаки зрительным (визуальным) знакам, которые могут сосуществовать в пространстве, не смешиваясь; при этом создается ложное представление, будто разделение значимых элементов может производиться таким же способом, не требуя никакой умственной деятельности. Термин «форма», часто используемый для их обозначения (ср. выражения «глагольная форма», «именная форма»), способствует сохранению этого заблуждения. Но, как мы знаем, основным свойством звуковой цепи является ее линейность. Звуковая цепь, рассматриваемая сама в себе, есть линия, непрерывная лента, где ухо не различает никаких ясных и точных делений; чтобы найти эти деления, надо прибегнуть к значениям. Когда мы слышим неизвестный язык, мы не в состоянии решить, как должна быть анализирована эта последовательность звуков; дело в том, что такой анализ невозможен, если принимать во внимание лишь звуковой аспект языкового феномена. Но когда мы знаем, какой смысл и какую роль нужно приурочить к каждой части звуковой цепи, тогда для нас эти части обособляются друг от друга и бесформенная лента распадается на куски; в этом анализе нет ничего материального.

Итак, язык не представляется совокупностью заранее разграниченных знаков, значения и распорядок которых только и

требуется изучать; в действительности он представляет нераздельную массу, где только внимательность и привычка могут различить составные элементы. Языковая единица не обладает никаким специальным звуковым характером, и единственным ее определением может быть следующее: *отрезок звучания, являющийся, с исключением того, что ему предшествует, и того, что за ним следует, в речевой цепи «означающим» некое понятие.*

Выводы

В большинстве областей, подлежащих ведению науки, вопрос о единицах даже не ставится: они сразу же даны. Так, в зоологии мы прежде всего имеем дело с животными. Астрономия оперирует единицами, разделенными в пространстве, — небесными телами. В химии можно изучать природу и состав двухромовокислого калия, ни минуты не усомнившись в том, что он нечто вполне определенное.

Если в какой-либо науке непосредственно не обнаруживаются присущие ей конкретные единицы, это значит, что в ней они сколько-нибудь существенного значения не имеют. В истории, например, это личность, эпоха или нация? Неизвестно. Но не все ли равно? Можно заниматься историческими изысканиями, не выяснив этого вопроса.

Но подобно тому как шахматная игра целиком сводится к комбинированию положений различных фигур, так и язык является системой, исключительно основанной на противопоставлении его конкретных единиц. Нельзя ни отказаться от их обнаружения, ни сделать ни одного шага, не прибегая к ним, а вместе с тем их выделение сопряжено с такими трудностями, что возникает вопрос, существуют ли они реально.

Странным и поразительным свойством языка является, таким образом, то, что в нем не даны различимые на первый взгляд сущности (факты), в наличии которых между тем усомниться нельзя, так как именно их взаимодействие и образует язык. В этом и лежит та черта, которая отличает язык от всех прочих семиологических систем.

ТОЖЕСТВА, РЕАЛЬНОСТИ, ЗНАЧИМОСТИ

Изложенное в предыдущей главе приводит нас к проблеме тем более важной, что в статической лингвистике любая основная категория непосредственно зависит от того понятия, какое мы имеем о конкретной единице, и даже сливается с ним. Вот это мы и постараемся показать, разобрав одну за другой категории тожества, реальности и значимости в синхронии.

А. Что такое синхроническое *тожество?* Здесь речь идет не о тожестве, объединяющем французское отрицание pas с латинским словом passum («шаг»); такое тожество — порядка диахрониче-

кого; нет, мы имеем в виду такого рода не менее любопытное тожество, основываясь на котором мы утверждаем, что две фразы je ne sais pas («я *не* знаю») и ne dites pas cela *(we* говорите этого») включают один и тот же элемент. Нам скажут, что это вопрос праздный, что тожество имеется уже потому, что в обеих фразах одинаковый отрезок звучания (pas) облечен одинаковым значением. Но такое объяснение недостаточно; ведь если соответствие звуковых отрезков и понятий и доказывает тожество (см. выше пример «la force du vent: à bout de force»), то обратное неверно: ведь и без такого соответствия может быть тожество. Когда мы слышим на публичном докладе постоянно повторяемое слово *«господа!»,* то мы ощущаем, что каждый раз это то же самое выражение; а между тем вариации в произнесении и интонации его в разных оборотах речи представляют весьма существенные звуковые различия, столь же существенные, как и те, которые в других случаях служат для различения отдельных слов (ср. pomme «яблоко» и paume «ладонь», goutte «капля» и je goûte «пробую», fuir «убежать» и fouir «рыть», русские примеры: *угол* н *уголь, копать* и *купать, страна* и *странна* и т. д.); кроме того, сознание тожества сохраняется, несмотря на то, что и с семантической точки зрения нет полного тожества между одним употреблением слова *«господа!»* и другим; вспомним еще, что слово может выражать идеи довольно далекие, и вместе с тем его тожество не оказывается серьезно нарушенным (ср. *«принимать* гостя» и *«принимать* участие», *«цвет* яблони» и *«цвет* аристократии» и т. д.).

Весь лингвистический механизм вращается исключительно вокруг тожеств и различий, причем эти последние только оборотная сторона первых. Поэтому проблема тожеств возникает повсюду; но, с другой стороны, она отчасти совпадает с проблемой сущностей и единиц, являясь ее осложненным и обогащенным развитием. Это хорошо обнаруживается при сопоставлении с фактами, взятыми за пределами языка. Мы говорим, например, о тожестве по поводу двух скорых поездов «Женева — Париж, 8 ч. 45 м. веч.», отходящих один за другим через 24 часа. На наш взгляд, это тот же самый скорый поезд, а между тем и паровоз и вагоны и поездная бригада — все в них, по-видимому, разное. Или если уничтожили улицу, сломав все ее дома, а потом застроили ее заново, то мы говорим, что это та же улица, хотя материально от старой, быть может, ничего не осталось. Почему можно перестроить улицу до самого последнего камешка без того, чтобы она перестала быть самой собой? Потому что сущность, в ней заключающаяся, не чисто материальна; сущность ее основана на некоторых условиях, чуждых ее случайному материалу, как, например, ее положение относительно других улиц. Равным образом представление о скором поезде образовано часом его отбытия, его маршрутом и вообще всеми обстоятельствами, отличающими его от прочих поездов. Всякий раз как осуществляются те же условия, получается та же сущность. И вместе с тем эта сущность не

абстрактна, ибо улицу или скорый поезд нельзя себе представить вне материального осуществления.

Противопоставим этим двум примерам совсем иной случай, а именно покражу у меня костюма, который я в дальнейшем нахожу у торговца случайными вещами. Здесь дело идет о материальной сущности, заключающейся исключительно в инертной субстанции, сукне, подкладке, прикладе и т. д. Другой костюм, как бы он ни был схож с первым, не будет моим. И вот оказывается, что лингвистическое тожество подобно тожеству не костюма, но поезда и улицы. Каждый раз, употребляя слово *господа,* я возобновляю его материю; это новый звуковой акт и новый акт психологический. Связь между двумя употреблениями одного и того же слова основана не на точном подобии смыслов, не на материальном тожестве, но на каких-то иных элементах, которые надо найти и которые помогут нам вплотную подойти к истинной природе языковых единиц.

Б. Что такое синхроническая *реальность?* Какие конкретные или абстрактные элементы языка можно так назвать?

Возьмем для примера различение частей речи: на что опирается классификация слов на существительные, прилагательные и т. д.? Производится ли она во имя чисто логического, внелингвистического принципа, извне накладываемого на грамматику, подобно тому как градусы широты и долготы накладываются на земной шар? Или же она соответствует чему-то, имеющемуся в системе языка и ею обусловленному? Одним словом, синхроническая ли это реальность? Это второе предположение кажется правдоподобным, но можно было бы защищать и первое. Во фразах «ces gants sont bon marché», «купили ковшик из бересты» являются ли bon marché, *из бересты* прилагательными? Логически у них смысл прилагательного, но грамматически это менее очевидно: bon marche не «ведет себя», как прилагательное (оно не изменяется, никогда не ставится перед существительным и т. д.); к тому же bon marché составлено из двух слов; между тем именно различение частей речи должно служить для классификации слов языка; и каким же образом сочетание слов может быть отнесено к одной из этих «частей»? Но нельзя истолковать это выражение и наоборот, сказав, что bon прилагательное, а marché существительное. Таким образом мы здесь имеем дело с неточной и неполной классификацией; распределение слов на существительные, глаголы, прилагательные и т. д. не есть неопровержимая лингвистическая реальность.

Итак, лингвистика то и дело работает на почве изобретенных грамматиками понятий, о которых мы не знаем, соответствуют ли они реально конститутивным факторам системы языка. Но как это узнать? А если это фикции, то какие же реальности им противопоставить?

Чтобы избежать иллюзий, раньше всего надо проникнуться убеждением, что конкретные сущности языка не выявляются сами

собою для удобства нашего наблюдения. Надо постараться ухватить их, и лишь тогда мы соприкоснемся с реальностью; исходя из нее, можно уже будет разработать все классификации, необходимые лингвистике для приведения в порядок входящих в ее область фактов. С другой стороны, базироваться при этих классификациях не на конкретных сущностях, а на чем-либо ином, говорить, например, что части речи суть факторы языка только в силу того, что они соответствуют логическим категориям, значит забывать, что не бывает языковых фактов вне звукового материала, расчлененного на значимые элементы.

В. В конце концов все затронутые в этой главе понятия по существу не отличаются от того, что мы раньше называли *значимостями* (ценностями, valeurs). Новое сравнение с игрою в шахматы поможет это понять. Возьмем коня: является ли он сам по себе элементом игры? Конечно нет, потому что в своей чистой материальности, вне своего места и прочих условий игры, он ничего для игрока не представляет, а становится он в игре элементом реальным и конкретным лишь постольку, поскольку он облечен своей значимостью и с нею неразрывно связан. Предположим, что в течение партии эта фигура уничтожится или потеряется: можно ли будет заменить ее другой? Конечно можно: и не только другая фигура, изображающая коня, но любой предмет, ничего общего с ним не имеющий, может быть отожествлен с конем, поскольку ему будет придана та же значимость. Мы видим, таким образом, что в семиологических системах, как, например, в языке, где составные элементы находятся в обоюдном равновесии согласно определенным правилам, понятие тожества сливается с понятием значимости и обратно.

Вот почему понятие значимости в конечном счете покрывает понятия и конкретной единицы, и сущности, и реальности. Но если нет никакой коренной разницы между этими различными аспектами, то из этого следует, что проблема может последовательно — ставиться в нескольких видах. Желаем ли мы определить единицу, реальность, конкретную сущность или значимость — все это будет сводиться к постановке того же центрального вопроса, господствующего во всей статической лингвистике.

С практической точки зрения .любопытно было бы начать с единиц языка, определить их и классифицировать в меру их разнообразия. Надо было бы выяснить, на чем основывается разделение на слова, ибо слово, несмотря "на трудность определить это понятие, есть единица, неотступно представляющаяся нашему уму, нечто центральное во всем механизме языка, — но одной этой темы достаточно для заполнения целого тома. Далее следовало бы перейти к классификации единиц низшего порядка, затем более широких единиц и т. д. Определив таким образом элементы, которыми оперирует наша наука, она выполнила бы свою задачу целиком, ибо тем самым свела бы все входящие в ее область явления к их основному принципу. Нельзя сказать, что когда-либо уже

ставили перед собою эту проблему и осознали все ее значение и трудность; до сих пор в области языка всегда довольствовались операциями над единицами, как следует не определенными.

Но все же, несмотря на первостепенную важность конкретных единиц, предпочтительнее подойти к проблеме со стороны категории значимости, так как, по нашему мнению, в ней выражается наиболее существенный ее аспект.

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ (ЦЕННОСТЬ)

§ 1. Язык как мысль, организованная в звучащей материи

Для того чтобы убедиться, что язык не может не быть системой чистых значимостей (ценностей), достаточно рассмотреть оба элемента, в нем взаимодействующие: идеи и звуки.

В психологическом отношении наше мышление, если отвлечься от его выражения словами, представляет собою бесформенную и смутную массу. Философы и лингвисты всегда сходились в том, что без помощи знаков мы не умели бы с достаточной ясностью и постоянством отличать одно понятие от другого. Взятое само по себе мышление похоже на туманность, где ничто не разграничено. Нет предустановленных идей, и нет никаких различении до появления языка.

По сравнению с этим миром расплывчатого не представляют ли, может быть, звуки со своей стороны каких-либо заранее предначертанных сущностей? Ничуть не бывало. Звуковая субстанция не является чем-либо более устойчивым и застывшим, чем мышление; она — не готовая форма, в которую послушно отливается мысль, но мягкое вещество, пластическая материя, которая в свою очередь делится на отдельные частицы, могущие служить необходимыми для мысли «означающими». Итак, мы можем изобразить языковой факт в целом, т. е. язык, в виде ряда смежных подразделений, начерченных как в бесконечном плане смутных идей, так и в столь же неопределенном плане звуков...

Характерная роль языка в отношении мысли не заключается в создании материального звукового средства для выражения идей, но в том, что он служит посредником между мышлением и звуком, и притом таким образом, что их объединение неизбежно приводит к обоюдному разграничению единиц. Мышление, хаотичное по природе, принуждено уточняться, разлагаясь. Нет, таким образом, ни материализации мыслей, ни спиритуализации звуков, а все сводится к тому в некотором роде таинственному явлению, что «мысль — звук» требует наличия делений и что язык вырабатывает свои единицы, оформляясь между двумя бесформенными массами. Представим себе воздух, соприкасающийся с поверхностью воды: при перемене атмосферного давления поверхность воды разлагается на целый ряд делений, т. е. волн;

вот эти-то волны и могут дать представление о связи, иначе — о совокуплении мысли со звучащей материей.

Можно называть язык областью артикуляций, понимая это слово в том смысле, как определено выше; каждый языковой элемент есть маленький член, внутри которого идея закрепляется звуком, а звук становится знаком для идеи.

Язык можно также сравнить с листом бумаги: мысль — его лицевая сторона, а звук — оборотная; нельзя разрезать лицевую сторону, не разрезав и оборотную; так и в языке нельзя отделить ни мысль от звука, ни звук от мысли; этого можно достигнуть лишь путем абстракции, что неизбежно приведет либо к чистой психологии, либо к чистой фонологии.

Лингвист, следовательно, работает в пограничной области, где сочетаются элементы обоих порядков; *это сочетание создает форму, а не субстанцию.*

Эти соображения помогут лучше уяснить то, что было сказано выше о произвольности знака. Не только обе области, связанные в языковом факте, смутны и бесформенны, но и выбор одного акустического отрезка для той или другой идеи вполне произволен. Если бы это было иначе, понятие значимости (ценности) утратило бы некую черту из своей характеристики, так как в ней появился бы извне привнесенный элемент. Но в действительности значимости остаются целиком относительными, вследствие чего связь между идеей и звуком произвольна по самому своему существу.

Произвольность знака в свою очередь лучше нам уясняет, почему языковую систему может создать только социальное явление. Необходим коллектив для установления значимостей, единственное обоснование которых сводится к обычаю и общему согласию; индивид в одиночку не способен создать ни одной.

Сверх того, определенное таким образом понятие значимости показывает нам, что великим заблуждением является взгляд на языковой элемент просто как на соединение некоего звука с неким понятием. Определить его так — значило бы изолировать его от системы, в состав которой он входит; это повело бы к ложной мысли, будто возможно начинать с языковых элементов и из их суммы строить систему, тогда как на самом деле надо, отправляясь от совокупного целого, путем анализа доходить до заключенных в нем элементов.

Для развития этого положения мы последовательно встанем на точку зрения «означаемого», или понятия (§ 2), «означающего» (§ 3) и знака в целом (§4).

Не будучи в состоянии непосредственно ухватить конкретные сущности или единицы языка, в качестве материала мы будем привлекать слова. Хотя слово и не в точности подходит к определению языковой единицы, все-таки оно дает о нем хотя бы приблизительное понятие, имеющее то преимущество, что оно конкретно. Мы будем брать слова только как образцы, равнозначные реальным

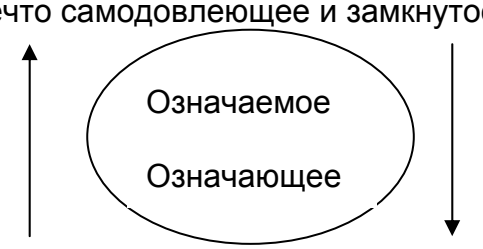
элементам синхронической системы, и принципы, установленные нами в отношении слов, будут действительны и вообще для языковых сущностей.

§ 2. Языковая значимость со стороны ее концептуального аспекта

Когда говорят о значимости слова, думают обыкновенно и раньше всего о его свойстве репрезентировать идею; в этом действительно и заключается один из аспектов языковой значимости. Но если это так, то чем же значимость (ценность) отличается от того, что мы называем *«значение»?* Являются ли эти два слова синонимами? Мы этого не думаем, хотя смешение их дело легкое, тем более что оно вызывается не столько аналогией терминов, сколько тонкостью обозначаемых ими различий.

Значимость, взятая в своем концептуальном аспекте, есть, конечно, элемент значения, и весьма трудно выяснить, чем это последнее от нее отличается, находясь вместе с тем в зависимости от нее. Между тем этот вопрос разъяснить необходимо, иначе мы рискуем низвести язык до уровня простой номенклатуры.

Возьмем прежде всего значение, как его обычно понимают и как мы его представили. Оно является лишь соответствием слухового образа. Все происходит между слуховым образом и понятием в пределах слова, рассматриваемого как нечто самодовлеющее и замкнутое в себе.



Но вот в чем парадоксальность вопроса: с одной стороны, понятие представляется нам как противопоставленное слуховому образу внутри знака, а с другой, "сам этот знак, т. е. связывающее оба его элемента отношение, так же и в той же степени является противопоставленным прочим знакам языка.

Раз язык есть система, все элементы которой образуют целое, а значимость одного проистекает только от одновременного наличия прочих, согласно схеме:

спрашивается, как может значимость, определяемая таким образом, сливаться со значением, т. е. противопоставленностью слу-

хового образа? Представляется невозможным приравнять отношения, изображенные здесь горизонтальными стрелками, к тем, которые выше изображены стрелками вертикальными. Иначе говоря — и возобновляя сравнение с разрезаемым листом бумаги (см. выше) — непонятно, почему отношение, устанавливаемое между отдельными кусками А, В, С, Д и т. д., не отличается от отношения, существующего между лицевой и оборотной сторонами одного и того же куска, а именно А/А', В/В' и т. д.

Для ответа на этот вопрос прежде всего констатируем, что и за пределами языка всякая ценность (значимость) всегда регулируется таким же парадоксальным принципом. В самом деле, для того чтобы возможно было говорить о ценности, необходимо:

1) наличие какой-то *непохожей* вещи, которую можно *обменивать* на то, ценность чего подлежит определению;

2) наличие каких-то *схожих* вещей, которые можно *сравнивать* с тем, о ценности чего идет речь.

Оба эти фактора необходимы для существования ценности. Так, для того чтобы определить, какова ценность монеты в 5 франков, нужно знать: 1) что ее можно обменять на определенное количество чего-то другого, например хлеба; 2) что ее можно сравнить с подобной ей ценностью той же системы, например с монетой в 1 франк или же с монетой другой системы (долларом и т. п.). Подобным образом и слово может быть обменено на нечто иного порядка, на идею, а кроме того, может быть сравнено с чем-то ему однородным, с другим словом. Таким образом, для определения его ценности (значимости) недостаточно одного констатирования факта, что оно может быть «обменено» на то или иное понятие, т. е. что оно имеет то или иное значение; его еще надо сравнить с подобными ему значимостями, со словами, которые можно ему противопоставить. Его содержание определяется, как следует, лишь через привлечение существующего вне его. Входя в состав системы, слово облечено не только значением, но еще главным образом значимостью, а это уже совсем другое.

Для подтверждения этого достаточно немногих примеров. Французское слово mouton может совпадать по значению с русским словом *баран,* но оно не имеет одинаковой с ним значимости, и это по многим основаниям, между прочим, потому, что, говоря о приготовленном и поданном на стол куске мяса, русский скажет *баранина,* а не *баран.* Различие в значимости между *баран* и mouton связано с тем, что у русского слова есть наряду с ним другой термин, соответствующего которому нет во французском языке.

Внутри одного языка слова, выражающие смежные понятия, взаимно друг друга отграничивают: синонимы, как, например, *страшиться, бояться, опасаться, остерегаться,* обладают значимостью лишь в меру обоюдного противопоставления; если бы слово *страшиться* не существовало, все бы его содержание перешло к его конкурентам. Обратно, бывают слова, обогащаю-

щиеся от взаимного соприкосновения; например, новый элемент, привходящий в значимость décrépit («un vieillard décrépit»), проистекает от сосуществования dècrèpi («un mur décrépi»). Итак, значимость любого термина определяется его окружением; даже в отношении такого слова, которое означает «солнце», нельзя непосредственно установить его значимость, если не обозреть того, что его окружает; есть такие языки, в которых немыслимо выражение «сидеть на *солнце».*

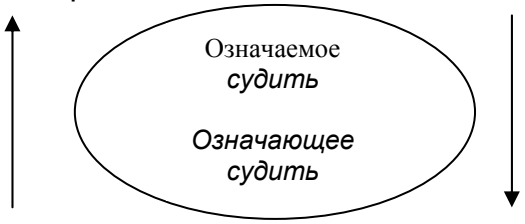
То, что сказано о словах, относится к любым явлениям языка, например к грамматическим категориям. Так, например, значимость французского (или русского) множественного числа не покрывает значимости множественного числа в санскрите (или старославянском), хотя их значение чаще всего совпадает: дело в том, что санскрит обладает не двумя, а тремя числами *(мои глаза, мои уши, мои руки, мои ноги* по-санскритски или по-старославянски стояли бы в двойственном числе); было бы неточно приписывать одинаковую значимость множественному числу в языках санскритском и французском, старославянском и русском, так как санскрит (старославянский язык) не может употреблять множественное число во всех тех случаях, где оно употребляется по-французски (по-русски); следовательно, значимость множественного числа зависит от того, что находится вне и вокруг него.

Если бы слова служили для выражения заранее данных понятий, то каждое из них встречало бы точные смысловые соответствия в любом языке. По-французски говорят безразлично louer (une maison) в смысле «снять внаем» и «сдать внаем», тогда как по-немецки употребляются два термина: mieten u vermieten, так что точного соответствия значимостей не получается. Немецкие глаголы schätzen («ценить») и urteilen («судить») представляют совокупность значений, в целом соответствующих значениям французских слов estimer («ценить, уважать, полагать») и juger («судить, решать»); однако во многих пунктах точность такого соответствия нарушается.

Словоизменение представляет в этом отношении особо поразительные примеры. Столь привычное нам различение времен чуждо некоторым языкам; в древнееврейском языке нет даже самого основного различения прошедшего, настоящего и будущего. В прагерманском языке не было особой формы для будущего времени; когда говорят, что в нем будущее передается через настоящее время, то выражаются неправильно, так как значимость настоящего в прагерманском языке не та, что в тех языках, где наряду •с настоящим имеется и будущее время. Славянские языки последовательно различают в глаголе два вида: совершенный вид выражает действие в его завершенности, как некую точку, вне всякого становления; несовершенный вид — действие в процессе совершения и на линии времени. Эти категории затрудняют француза, потому что в его языке их нет; если бы они были предустановлены логически, затруднения бы быть не могло. Во всех этих

случаях мы, следовательно, наблюдаем, вместо заранее данных *идей,* значимости, вытекающие из самой системы. Говоря, что они соответствуют понятиям, следует подразумевать, что эти последние чисто дифференциальны, т. е. определены не положительно своим содержанием, но отрицательно своими отношениями с прочими элементами системы. Характеризуются они в основном именно тем, что они не то, что другие.

Отсюда становится ясным реальное истолкование схемы знака.



Итак, схема, данная выше (см. стр. 398), означала, что по-русски понятие «судить» связано с акустическим образом *судить;* одним словом, понятие символизует значение; но само собой разумеется, что в этом понятии нет ничего первоначального, что оно является лишь значимостью, определяемой своими взаимоотношениями с другими значимостями того же порядка, и что без них значение не существовало бы. Когда я попросту утверждаю, что данное слово означает что-либо, когда я исхожу из ассоциации акустического образа с понятием, то я высказываю нечто до некоторой степени точное и дающее представление о действительности; но ни в коем случае я не выражаю лингвистического факта в его сути и в его широте.

§ 3. Языковая значимость со стороны ее материального аспекта

Подобно концептуальной стороне, и материальная сторона значимости образуется исключительно из отношений и различий с прочими элементами языка. Важен в слове не звук сам по себе, но те звуковые различия, которые позволяют отличать это слово ото всех прочих, так как они-то и являются носителем значения.

Подобное утверждение способно породить недоумение, но это так в действительности, и иного и быть не может. Поскольку нет звукового образа, отвечающего лучше других тому, что он должен выразить, постольку очевидно a priori, что никогда никакой фрагмент языка не может в конечном счете основываться ни на чем другом, кроме как на своем несовпадении со всем прочим. *Произвольность идифференциальность* суть два соотносительных качества.

Изменяемость языковых знаков хорошо обнаруживает эту соотносительность: именно потому, что термины а и б по самой своей сути неспособны проникнуть, как таковые, в сферу сознания, которое всегда замечает лишь различие *а/в,* — именно поэтому

каждый из этих терминов сохраняет свободу изменяться согласно законам, независимым от его значимой функции. Русский родительный падеж множ. ч. *рук* не охарактеризован никаким положительным признаком; а между тем сопоставление форм *рука:рук* функционирует столь же исправно, как и предшествовавшее ему *рука: рукъ;* и это потому, что важно лишь отличие одного знака от другого: форма *рука* имеет значимость только потому, что она отличается от другой.

Вот другой пример, еще лучше показывающий, сколь велика систематичность в этом взаимодействии звуковых различий: по-гречески éphēn есть имперфект, а éstēn аорист, хотя обе эти формы образованы тожественным образом; объясняется это тем, что первая из них принадлежит к системе настоящего времени изъявит. накл. phē mi «говорю», тогда как настоящего времени *stêmi не существует; между тем именно отношение phēmi — éphēn и отвечает отношению между настоящим вр. и имперфектом (ср. déiknumi — edéiknūn). Эти знаки действуют, следовательно, не в силу своей внутренней значимости, а в силу своего соотносительного положения.

Ведь ясно, что звук, элемент материальный, не может сам по себе принадлежать к языку. Он для языка нечто вторичное, лишь используемый им материал. Все вообще условные ценности (значимости) характеризуются именно этим свойством не смешиваться с осязаемым элементом, служащим им в качестве субстрата. Так не металл монеты определяет ее ценность; монета, номинально стоящая 5 франков, содержит лишь половину этой суммы в серебре; она будет стоить несколько больше или меньше не в зависимости от содержащегося в ней серебра, но в зависимости от вычеканенного на ней изображения, в зависимости от тех политических границ, внутри которых она имеет хождение. В еще большей степени это можно сказать о лингвистическом «означающем», которое по своей сущности отнюдь не есть нечто звучащее, но нечто бестелесное, образуемое не своей материальной субстанцией, а исключительно теми различиями, которые отделяют его акустический образ от прочих.

Этот принцип носит столь существенный характер, что он действует в отношении всех материальных элементов языка, включая фонемы. Каждый язык образует слова на базе своей системы звучащих элементов, из коих каждый является четко отграниченной единицей и число коих точно определено. И каждый из них характеризуется не свойственным ему положительным качеством, как можно было бы предположить, но исключительно тем, что он не смешивается с другими. Фонемы прежде всего характеризуются тем, что они взаимно противопоставлены, взаимно относительны и взаимно отрицательны.

Доказывается это той свободой, которой пользуется говорящий при произнесении тех или других звуков при условии, что соблюдены границы, внутри которых звуки остаются различимыми

друг от друга. Так, например, по-французски почти всеобщее обыкновение произносить картавое *r* не препятствует отдельным лицам произносить его раскатисто; язык от этого ничуть не страдает; он требует только различения, а отнюдь не того — как можно было бы вообразить, — чтобы у каждого звука всегда было одинаковое качество. Я даже могу произносить французское *r* как немецкое *ch* (рус. *х)* в словах Bach, doch и т. п. (русск. *пах, мох),* но по-немецки (по-русски) я не могу заменять *r* через *ch (р* через *х),* так как в этом языке имеются оба элемента, которые и должны различаться. Так и по-русски не может быть свободы в произношении *t* наподобие *t'* (смягченного *t*), потому что в результате получилось бы смешение двух различаемых в языке звуков (ср. *говорить* и *говорит),* но может быть допущено отклонение в сторону *th* (придыхательного *t),* так как этот звук не значится в системе фонем русского языка.

§ 4. Рассмотрение знака в его целом

Все предшествующее приводит нас к выводу, что *в языке нет ничего, кроме различий.* Более того, различие, вообще говоря, предполагает положительные моменты, между которыми оно и устанавливается, но в языке имеются только различия *без положительных моментов.* Взять ли означаемое или означающее, всюду та же картина: в языке нет ни идей, ни звуков, предсуществующих системе, а есть только концептуальные различия и звуковые различия, проистекающие из языковой системы. И идея и звуковой материал, заключенные в знаке, имеют меньше значения, чем то, что есть кругом него в других знаках. Доказывается это тем, что значимость термина может видоизмениться без изменения как его смысла, так и его звуков исключительно вследствие того обстоятельства, что какой-либо смежный термин претерпел изменение.

Однако утверждать, что все в языке отрицательно (négatif), верно лишь в отношении означаемого и означающего, взятых в отдельности; как только мы начинаем рассматривать знак в целом, мы оказываемся перед чем-то в своем роде положительным (positif). Языковая система есть ряд различий в звуках, комбинированный с рядом различий в идеях, но такое сопоставление некоего количества акустических знаков с равным количеством отрезков, выделяемых из массы мыслимого, порождает систему значимостей; и вот эта система и является действенной связью между звуковыми и психическими элементами внутри каждого знака. Хотя означаемое и означающее, взятое каждое в отдельности, — величины чисто дифференциальные и отрицательные, их сочетание есть факт положительный; это даже есть единственный вид имеющихся в языке фактов, потому что основным свойством языковой организации является именно сохранение параллелизма между этими двумя рядами различий.

Некоторые диахронические факты весьма характерны в этом отношении; это в» те бесчисленные случаи, когда изменение

означающего приводит к изменению идеи и когда обнаруживается, что в основном сумма различаемых идей соответствует сумме различимых знаков. Когда в результате фонетических изменений два термина смешиваются (например, décrépit =dēcrepitus и décrépi=crispus), то и идеи обнаруживают тенденцию смешиваться, если только к этому есть благоприятствующие данные. А если термин дифференцируется (например, французское chaise — «стул» и chaire — «кафедра»)? В таком случае возникшее различие неминуемо проявляет тенденцию стать значимым, что, впрочем, удается не всегда и не сразу. Обратно, всякое различие в идее, усмотренное мыслью, стремится выразиться различными означающими, а две идеи, мыслью более не различаемые, стремятся слиться в едином означающем.

Если сравнивать между собою знаки — термины положительные, нельзя более говорить только о различии; это выражение здесь не вполне подходит, так как оно может применяться лишь в случае сравнения двух акустических образов, например *отец* и *мать,* или сравнения двух идей, например идеи «отец» и идеи «мать»; два знака, включающие каждый и означаемое и означающее, не различны (différents) — они только различимы (distincts). Между ними есть лишь *противопоставление.* Весь механизм языка покоится на этого рода противопоставлениях и на вытекающих из них звуковых и концептуальных различиях.

То, что верно относительно значимости, верно и относительно языковой единицы. Последняя есть отрезок речевой цепи, соответствующий определенному понятию, причем оба они (отрезок и понятие) по природе своей чисто дифференциальны.

В применении к единице принцип дифференциации может быть сформулирован так: *отличительные свойства единицы сливаются с самой единицей.* В языке, как и во всякой семиологической системе, то, чем знак отличается, и есть все то, что его составляет. Различие создает отличительное свойство, оно же создает значимость и единицу.

Из того же принципа вытекает еще одно, несколько парадоксальное следствие: то, что обычно называется «фактом грамматики», соответствует в конечном счете определению единицы, так как он всегда выражает противопоставление известных терминов; в данном случае противопоставление оказывается только особо значимым. Возьмем, например, образование немецкого множественного числа типа Nacht: Nächte. Каждый из терминов, сопоставляемых в этом грамматическом факте (единственное число без умляута и без конечного *е,* противопоставленное множественному числу сумляутом и е), сам образован целым рядом взаимодействующих противопоставлений внутри системы; взятые в отдельности, ни Nacht, ни Nächte ничего не значат; следовательно, все дело в противопоставлении. Иначе говоря, можно выразить. отношение Nacht/Nächte алгебраической формулой *а/в,* где *а я в* не простые термины, но каждый представляет собой результат

совокупности отношений. Язык — это, так сказать, такая алгебра, где имеются лишь сложные выражения (термины). Среди заключающихся в нем противопоставлений одни более значимы, чем другие, но «единица» и «грамматический факт» — *лишь* различные названия для обозначения разных аспектов одного и того же общего явления — взаимодействия языковых противопоставлений. Это до такой степени верно, что можно было бы подходить к проблеме единиц со стороны фактов грамматики. При этом нужно было бы, выдвинув противопоставление Nacht/Nächte, спросить себя, какие же единицы взаимодействуют в этом противопоставлении. Только ли эти данные два слова, или же весь ряд подобных слов? или, быть может, a и ä? или же все вообще формы единственного числа и множественного? и т. д.

Единица и грамматический факт не слились бы, если бы языковые знаки состояли из чего-либо другого, кроме различий. Но, поскольку язык есть то, что он есть, с какой бы стороны к нему ни подходить, — в нем не найдешь ничего простого; всюду и всегда он являет то же сложное равновесие взаимно обусловливающих себя элементов. Иначе говоря, *язык есть форма, а не субстанция.* Необходимо как можно глубже проникнуться этой истиной, ибо все ошибки нашей терминологии, все неточные наши характеристики явлений языка коренятся в том невольном предположении, что в лингвистическом феномене есть какая-то субстанциальность.

ДИАХРОНИЧЕСКАЯ ЛИНГВИСТИКА

Общие положения

Диахроническая лингвистика изучает отношения не между сосуществующими элементами данного состояния языка, но между сменяющимися последовательными во времени элементами.

В самом деле, абсолютной неподвижности не существует вовсе; все части языка подвержены изменениям; каждому периоду соответствует более или менее заметная эволюция. Она может быть различной в отношении быстроты и интенсивности, но самый принцип от этого не страдает; поток языка течет непрерывно; течет ли он спокойно или стремительно, это уже вопрос второстепенный.

Правда, эта непрерывная эволюция весьма часто скрыта от нас вследствие того, что внимание наше сосредоточивается на литературном языке; как мы увидим ниже, литературный язык наслаивается на язык народный, т. е. на язык естественный, и подчиняется иным условиям существования. Поскольку он уже сложился, литературный язык в общем проявляет устойчивость и тенденцию оставаться себе подобным; его зависимость от письма обеспечивает за ним еще большую сохранность. Литературный язык не может, следовательно, служить для нас мерилом того, до какой степени изменчивы естественные языки, не подчиненные никакой литературной регламентации.

Объектом диахронической лингвистики является в первую очередь фонетика, вся фонетика в целом; в самом деле, эволюция звуков несовместима с понятием «состояния»; сравнение фонем или сочетаний фонем с тем, чем они были раньше, сводится к установлению диахронического факта. Предшествовавшая эпоха может быть в большей или меньшей степени близкой, но если она сливается со следующей, то фонетическому явлению уже более места нет; остается лишь описание звуков данного состояния языка, а это уже дело фонологии.

Диахронический характер фонетики вполне согласуется с тем принципом, что ничто фонетическое не является значимым или Грамматическим в широком смысле слова. При изучении истории звуков какого-либо слова можно игнорировать его смысл, рассматривать лишь его материальную оболочку, выделять из него звуковые отрезки, не задаваясь вопросом, имеют ли они значение или нет. Можно, например, ставить вопрос, во что превращается в аттическом диалекте греческого языка ничего не значащее сочетание -ewo-. Если бы эволюция языка сводилась к эволюции звуков, еще резче противопоставились бы по своему содержанию обе части лингвистики; выяснилось бы, что диахроническое равно неграмматическому, а синхроническое — грамматическому.

Но только ли звуки видоизменяются во времени? Слова меняют свое значение; грамматические категории эволюционируют; есть и такие, которые исчезают вместе с формами, служившими для их выражения (например, двойственное число в латинском языке). А раз у всех фактов ассоциативной и синтагматической синхронии есть своя история, то как же сохранить абсолютное различение между диахронией и синхронией? Оно становится весьма затруднительным, как только мы выходим из сферы чистой фонетики.

Заметим, однако, что многие изменения, считаемые грамматическими, сводятся к фонетическим изменениям. В немецком языке создание грамматического типа Hand: Hände взамен hant : hanti всецело объясняется фонетическим фактом. Равным образом фонетический факт лежит в основе такого типа сложных слов, как Springbrunnen — «фонтан», Reitschule — «школа верховой езды» и т. д.; в древневерхненемецком языке первый элемент был не глагольный, а именной: beta-hus означало «дом молитвы»; но после того как конечная гласная фонетически отпала (beta —> bet и т. д.), установился семантический контакт с глаголом (beten — молиться и т. п.), и Bethaus стало означать «дом, где молятся».

Нечто подобное произошло и в тех сложных словах, которые в древнегерманском языке образовывались со словом lîch — «внешний вид» (ср. mannolîch — «имеющий мужской вид», redolîch — «имеющий разумный вид»). Ныне во множестве прилагательных (ср. verzeihiich — «простительный», glaublich — «вероятный» и т. д.) lich превратилось в суффикс, сравнимый с французским суффиксом в словах pardonn-able, croy-able и т. д., и одновременно изменилась интерпретация первого элемента: в нем теперь усматрива-

ется не существительное, но глагольный корень; это объясняется тем, что в некоторых случаях вследствие падения конечной гласной первого элемента (например, redo —> red-) этот последний уподобился глагольному корню (red- от reden).

Таким образом, в glaublich glaub- более сближается с glauben («верить»), чем с Glaube («вера»), а sichtlich («видимый») ассоциируется, несмотря на различие в основе, с sehen («видеть»), а уже не с Sicht («вид»).

Во всех этих случаях и во многих других, сходных с ними, различение диахронического и синхронического остается очевидным; следует это помнить, чтобы легкомысленно не утверждать, будто мы занимаемся исторической грамматикой, тогда как в действительности мы только переходим от изучения фонетических изменений в диахроническом разрезе к изучению вытекающих из них последствий в разрезе синхроническом.

Но эта оговорка не снимает всех затруднений. Эволюция любого грамматического факта, ассоциативной группы или синтагматического типа несравнима с эволюцией звука. Она не представляет собой простого явления; она разлагается на множество частных фактов, только часть которых относится к фонетике. В генезисе такого синтагматического типа, как французское будущее prendre ai (буквально — «взять имею»), превратившееся в prendrai («возьму»), различаются по меньшей мере два факта: один психологический — синтез двух элементов понятия, другой фонетический и зависящий от первого — сведение двух ударений словосочетания к одному (prendre ai —> prendrai).

Спряжение германского сильного глагола (тип совр. нем. geben — «давать», gab, gegeben и т. п., ср. греч. leipō — «оставляю», élipon, léloipa и т. п.) в значительной мере основано на так называемом абляуте (перегласовке) коренных гласных. Эти чередования, система которых вначале была довольно простой, несомненно, явились в результате чисто фонетического явления, но для того чтобы эти противопоставления получили функциональное значение, потребовалось, чтобы первоначальная система спряжения упростилась в результате целого ряда всяческих изменений: исчезновение многочисленных разновидностей форм настоящего времени и связанных с ними смысловых оттенков, исчезновение имперфекта, будущего и аориста, исчезновение удвоения в перфекте и т. д. Все эти перемены, в которых нет ничего по существу фонетического, сократили глагольное спряжение до ограниченного количества форм, где чередования основ приобрели первостепенную смысловую значимость. Можно, например, утверждать, что противопоставление *е : а* более значимо в geben : gab, чем противопоставление *е : о в* греч. leipō: léloipa, вследствие отсутствия удвоения в немецком перфекте.

Итак, хотя фонетика тем или другим образом и вторгается то и дело в эволюцию, все же она не может ее объяснить целиком; по устранении же фонетического фактора получается остаток,

казалось бы, оправдывающий представление об «истории грамматики»; вот тут-то и лежит настоящая трудность; различение между диахроническим и синхроническим, сохранить которое обязательно нужно, потребовало бы сложных объяснений, несовместимых с рамками этого курса.

ЯЗЫКОВЫЕ СЕМЬИ И ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ТИПЫ[1]

...Язык непосредственно не подчиняется мышлению (ésprit) говорящих; обратим в заключение сугубое внимание на одно из последствий этого принципа: ни одна языковая семья не принадлежит по праву и раз навсегда к определенному лингвистическому типу.

Спрашивать, к какому типу относится данная группа языков, — это значит забывать, что языки эволюционируют, подразумевать, что в их эволюции есть какой-то элемент постоянства. Во имя чего имеем мы право предполагать границы у этого развития, не знающего никаких границ? Правда, многие, говоря о характерных признаках какой-либо языковой семьи, думают преимущественно о характере ее праязыка, и в таком случае проблема представляется вполне разрешимой, поскольку дело идет об определенном языке и определенной эпохе. Но если кто-нибудь станет предполагать наличие в языке каких-то постоянных признаков, не подвергающихся изменению ни во времени, ни в пространстве, он наткнется на преграду, связанную с основными принципами эволюционной лингвистики. Неменяющихся признаков вообще не существует; они могут сохраняться только благодаря случайности.

Возьмем для примера индоевропейскую семью; нам известны характерные признаки того языка, от которого произошла эта семья: очень простая система звуков, никаких сложных сочетаний согласных, никаких удвоенных согласных, монотонный вокализм, порождающий вместе с тем в высшей степени регулярную систему чередований глубоко грамматического свойства, музыкальное ударение, падающее на любой слог слова и тем самым способствующее взаимодействию грамматических противопоставлений, количественный ритм, покоящийся исключительно на противопоставлении долгих и кратких слогов, большой простор образования сложных и производных слов, значительное богатство склонения и спряжения, автономность во фразе отдельного слова, изменяющегося по многим формам и в себе самом заключающего все свои определения, — в результате чего большая свобода в конструкции и редкость грамматических слов детерминативного или связывающего значения (глагольных приставок, предлогов и т. д.).

Нетрудно убедиться, что ни один из этих признаков полностью

[1] Хотя эта глава и не касается вопросов ретроспективной лингвистики, мы все же помещаем ее здесь, так как она может служить заключением для всей работы в целом. *(Прим. изд.)*

не сохранился в отдельных индоевропейских языках, что даже кое-какие из этих признаков (например, роль количественного ритма и музыкального ударения) не встречаются ни в одном; некоторые из индоевропейских языков даже до такой степени изменили первоначальный индоевропейский характер, что кажутся представителями совершенно иного лингвистического типа (например, языки английский, армянский, ирландский и др.).

С несколько большим основанием мы вправе говорить о более или менее общих трансформационных процессах, свойственных различным языкам какой-либо семьи. Так, указанное нами выше прогрессивное ослабление механизма словоизменения встречается во всех индоевропейских языках, хотя и в этом отношении они представляют значительные расхождения; наиболее сохранилось словоизменение в славянских языках, а английский язык свел его почти на нет. В связь с этим упрощением словоизменения следует поставить другое явление, тоже довольно общего характера, а именно более или менее постоянный порядок в конструкции фраз, а также вытеснение синтетических приемов выражения приемами аналитическими: передача предлогами падежных значений, составление глагольных форм при помощи вспомогательных глаголов и т. п.

Как мы видели, та или другая черта прототипа может не находиться в том или другом из производных языков, но верно и обратное: нередки случаи, когда общие черты, свойственные всем" представителям семьи, не встречаются в первоначальном наречии; примером может служить гармония гласных, т. е. ассимиляция качества всех гласных в суффиксах с последним гласным корня. Это явление свойственно обширной урало-алтайской группе языков, на которых говорят в Европе и Азии от Финляндии до Маньчжурии, но, по всей видимости, это замечательное явление связано с позднейшим развитием отдельных языков этой группы; таким образом, это черта общая, но не исконная, а это значит, что в доказательство общности (весьма спорной) происхождения этих языков на гармонию гласных ссылаться нельзя, как нельзя ссылаться и на их агглютинативный характер. Установлено также, что китайский язык не всегда был односложным.

При сравнении семитских языков с реконструированным прасемитским мы сразу же поражаемся устойчивостью некоторых их черт; более всех прочих семей эта семья языков производит впечатление единства неизменного, постоянного и присущего всей семье типа. Он проявляется в нижеследующих признаках (некоторые из них резко противопоставляются характерным чертам индоевропейской семьи): почти полное отсутствие сложных слов, ограниченная роль словопроизводства, малоразвитое словоизменение (впрочем, более развитое в праязыке, чем в происшедших от него языках), с чем связано подчинение порядка слов определенным строгим правилам. Самая замечательная черта касается состава корней: они регулярно заключают в себе по три согласные

(например, q-ṭ-l — «убивать»); эти коренные согласные сохраняются во всех формах внутри данного наречия (ср. древнееврейск. qāṭal, qāṭlāh, qṭōl, qiṭlī и т. д.), из одного наречия в другое (ср. арабск. qatala, qutila и т. д.); иначе говоря, согласные выражают «конкретный смысл» слов, их лексикологическую значимость, тогда как гласные, правда, с помощью некоторых префиксов и суффиксов, обозначают исключительно грамматические категории (например, древнееврейск. qāṭal — вон убил», qṭōl — «убить», с суффиксом qāṭl-ū — «они убили», с префиксом: ji-qṭōl — «он убьет», с тем и другим: ji-qṭl-ū — «они убьют» и т. д.).

Перед лицом этих фактов и вопреки тому, как их иногда истолковывают, мы настаиваем на провозглашенном нами принципе: неизменных признаков не бывает; их постоянство есть дело случая; если какой-нибудь признак в течение долгого времени сохраняется, он стечением времени всегда может и исчезнуть. Что касается признаков семитического круга языков, то ведь «закон» трех согласных не так уж характерен для этой семьи, ибо и в других семьях встречаются аналогичные явления. Так, и в индоевропейском языке консонантизм корней подчиняется строгим правилам; в них, например, никогда не встречается после звука *e* сочетание двух звуков из ряда *i*, *u, r, l, m, n.* Корень типа *serl невозможен. То же можно сказать с еще большим основанием о роли гласных в семитических языках; нечто аналогичное, хотя и в менее развитом виде, встречается ведь и в индоевропейских языках; такие противопоставления, как древнееврейск. dāßār — «слово», dāßr-im — «слова», dißrē-hem — «их слова», напоминают нем. Gast : Gäste, fliessen : floss и т. д. В обоих случаях генезис грамматического приема один и тот же. Он объясняется чисто фонетическими превращениями, вызванными «слепой» эволюцией; порожденные этой эволюцией чередования были удержаны сознанием, связавшим с ними определенные грамматические значимости и распространившим их применение по аналогии с образцами, созданными случайным действием фонетического развития. Что же касается неизменности семитической «трехсогласности», она является приблизительной и ничего абсолютного не заключает. В этом можно a priori быть уверенным, но это подтверждается и фактами; так, например, по-еврейски корень слова 'anāš-īm — «люди», как и следует ожидать, состоит из трех согласных, но в единственном числе 'īš их только две; получилось это в результате фонетического сокращения более древней формы, заключавшей три согласные. Впрочем, если даже и принять эту мнимую неизменность, следует ли видеть в ней нечто присущее самим корням? Нисколько! Дело только в том, что семитические языки меньше многих других подвергались фонетическим изменениям, вследствие чего в этой группе языков лучше, чем в других языках, сохранились согласные. Так что это исключительно результат эволюции, исключительно фонетический феномен, а ничуть не грамматический и не постоянный. Утверждать, что корни неиз-

менны, это равносильно утверждению, что они никогда не подвергались фонетическим изменениям, — вот и все, а ведь нельзя поручиться, что эти изменения никогда не произойдут. Вообще говоря, все то, что сделано временем, может быть временем переделано или уничтожено.

Давно признано, что Шлейхер насиловал действительность, рассматривая язык как нечто органическое, в самом себе заключающее свои законы развития, а между тем продолжают, даже не подозревая этого, видеть в языке нечто органическое в другом смысле, полагая, что «гений» расы или этнической группы непрерывно влияет на язык, направляя его на какие-то определенные пути развития.

Из сделанных нами экскурсов в смежные нашей науке области вытекает нижеследующий принцип чисто отрицательного свойства, но тем более интересный, что он совпадает с основной мыслью этого курса: *единственным и истинным объектом лингвистики является язык, рассматриваемый в самом себе и для себя.*

IX. СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Социологическая школа в языкознании, основание которой связано с именем Ф. де Соссюра, базируется на социологической концепции языка. Она исходит из положения, что человеческий язык есть социальный факт, мыслимый только как общественный продукт, в соответствии с чем язык должен изучаться в связи с другими социальными фактами и явлениями.

Наиболее видными представителями социологического направления являются А. Мейе, Ж. Вандриес и Э. Бенвенист.

Антуан Мейе (1866 — 1936) был специалистом в области сравнительной грамматики индоевропейских языков, и, пожалуй, не найдется ни одного индоевропейского языка, которому в отдельности он не посвятил бы специальной книги или статьи. Количество его работ огромно. Библиография его трудов включает 24 книги и 540 статей. Несколько книг он посвятил изучению классических языков. У него есть книги об армянском языке, славянских языках (на русский язык переведен «Общеславянский язык». Изд. иностр. лит., 1951), германских языках (на русский язык переведены «Основные особенности германской группы языков». Изд. иностр. лит., 1952) и др. Ряд его работ касается общих вопросов — исследование диалектов индоевропейского языка, описание новых языков Европы и т. д. Наконец, много внимания он уделял также проблеме метода и принципов лингвистического исследования. К этой группе его работ относятся: двухтомное собрание статей об историческом и общем языкознании, небольшая книга «Сравнительный метод в историческом языкознании» (издана на русском языке, Изд. иностр. лит., 1954) и многократно издававшееся капитальное «Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков» (на русском языке выходило трижды, последний раз в 1938 г., Огиз), которое представляет наибольшую важность для понимания лингвистической концепции А. Мейе. (Теоретическое введение к этой последней работе почти полностью включено в настоящую книгу.)

А. Мейе считает, что сравнительно-исторический метод в том виде, в каком он широко использовался языковедами XIX в., обладает многими существенными недостатками и требует совершенствования. Прежде всего сравнительно-историческое изучение есть только средство, а не цель. С этой установкой связано и его отношение к праязыку. Он полагает, что языковеду не следует заниматься реконструкциями праязыка, так как это — невыполнимая задача. Единственная реальность, с какой имеет дело компара-

тивист, — это только соответствия между засвидетельствованными языками; именно «совокупность этих соответствий составляет то, что называется индоевропейским языком». Таким образом, и сравнительный метод не следует отбрасывать, он остается «основным орудием, которым располагает лингвист для построения истории языков», но его надо ориентировать не на восстановление праязыка, а на установление соответствий. Поскольку же само наличие таких соответствий, дающих основание для определения родственных отношений между языками, исходит все же из предпосылки, что они являются «различными эволюциями одного и того же языка, бывшего в употреблении раньше» (т. е. праязыка), то праязык у А. Мейе, теряя свою реальность, превращается в методическое понятие, служащее основой для изучения родственных языков и их истории.

В порядке совершенствования сравнительного метода А. Мейе полагал необходимым отдавать предпочтение наблюдениям над современными условиями речевой деятельности, так как изучение явлений современных языков освещает процессы далекого прошлого, а также потому, что изучение системы языка (в соссюровском смысле) возможно только в том случае, если исследователь располагает всей совокупностью необходимых фактов, а не случайными фрагментами. Он стремился также реализовать новые методы лингвистических исследований, и в частности метод лингвистической географии.

А. Мейе в соответствии со своими теоретическими позициями старался найти социологическое истолкование многим явлениям языка. Указывая на то, что каждая социальная категория обладает специфическими интеллектуальными особенностями и, следовательно, своим языком, он выдвигал тезис о социальной дробности языка. Социальными причинами он объясняет изменение значений слов: если слово переходит из более широкой социальной группы в менее широкую, его значение суживается; при обратном процессе — наоборот. С этим тесно связан и вопрос о заимствованиях. Признавая заимствование одним из существеннейших факторов языкового развития, А. Мейе указывает, что заимствование может происходить не только из одного языка в другой, но и из одного диалекта (также и социального) в другой.

Социальная природа языка обнаруживается и в звуковых изменениях. По Мейе, они осуществляются только в том случае, если соответствуют системе языка и общей тенденции его развития, обусловливаемой потребностями данного общества.

Стремясь во что бы то ни стало привести все явления языка к социальному знаменателю, А. Мейе нередко допускает схематизм, упрощенчество и неоправданные преувеличения. Так же как и Ф. де Соссюр (влияние которого А. Мейе, по его словам, обнаруживал на каждой странице своих работ), А. Мейе в своих социологических теориях исходит из построений Дюркгейма.

Жозеф Вандриес (1875 — 1960) был профессором индоевропейского языкознания, специалистом в области классических и кельтских языков. Его работы относятся главным образом к этим областям, но вместе с тем он охотно выступал также и по общим вопросам языкознания. К числу таких работ общего порядка относится его книга «Язык. Лингвистическое введение в историю» (русское издание — Соцэкгиз, 1937). Эта книга последовательно, наглядно и в доходчивой форме излагает всю систему взглядов французской школы на важнейшие проблемы языкознания.

В понимании Ж. Вандриеса они сводятся к следующему.

Язык — социальный факт; его происхождение обусловлено потребностью общения. Он принимает устойчивые формы уже с первыми группами говорящих индивидов в соответствии с законами, которые управляют формированием всех социальных институтов. Лингвистический знак произволен. Фонетическое новообразование может быть индивидуального происхождения, но оно генерализуется только тогда, когда соответствует тенденциям, обусловленным потребностями всего языкового коллектива. Между культурным развитием данного народа и грамматическими категориями его языка нет никакой связи, и, следовательно, нельзя устанавливать связь между

языком и расой. Грамматические категории — социального происхождения и определяются общественными условиями жизни человека. Аналогия уничтожает неправильные грамматические формы и тем самым способствует упрощению морфологии. С тем чтобы понять язык (в соссюровском смысле — la langue), мы должны изучать его в настоящем его состоянии. Не следует слишком переоценивать фонетический фактор, особенно в семантических изменениях, так как судьба слова в основном определяется социальными моментами. В развитии языков наблюдается борьба двух сил: одна стремится к дифференциации, а другая — к унификации. При соперничестве двух языков большую роль играет «престиж» языка. Смешение — важный фактор в жизни языков, но как бы много иностранных элементов ни содержал данный язык, он остается самим собой.

Ж. Вандриес не только систематизирует взгляды Ф. де Соссюра и А. Мейе, но и трактует ряд новых вопросов в духе социологической школы. К числу таких вопросов относится эмоциональная, или аффективная, речь, ономатопейя, отношения языка и мышления, а также вопросы, связанные с внешней (по Соссюру) лингвистикой (диалекты, письменные и литературные формы языка, сленг, лингвистическая география, письмо, классификация языков и т. д.).

Некоторые наиболее существенные проблемы языкознания в понимании Ж. Вандриеса отражены в извлечениях, включенных в данную книгу.

Эмиль Бенвенист (род. в 1902 г.) принадлежит к младшему поколению социологической школы. Будучи учеником А. Мейе, он очень рано (в возрасте 26 лет) унаследовал кафедру своего учителя и последующей своей -научной деятельностью показал, что А. Мейе не ошибся в выборе своего преемника.

В своих монографических работах он в основном остается верен тому кругу проблем, который был определен трудами А. Мейе. Его можно определить как преимущественно компаративиста-индоевропеиста. Основанием для этого служит ряд работ от грамматики согдийского языка (первая ее часть была составлена другим учеником А. Мейе — Р. Готьо) и «Индоевропейского именного словообразования» (русский перевод этой книги вышел в Изд. иностр. лит., 1955) до «Хеттского и индоевропейского» (Париж, 1962). Однако Э. Бенвенист отнюдь не игнорирует и новые проблемы и новые методы исследования. По его многочисленным статьям, в которых с наибольшей отчетливостью находят выражение общетеоретические взгляды, можно наглядно проследить сдвиги, происшедшие в последние десятилетия в лингвистике и затронувшие также доктрины социологического направления. Применительно к научному творчеству Э. Бенвениста эти сдвиги можно в самой общей форме определить как стремление сблизиться с проблематикой, выдвинутой «Курсом общей лингвистики» Ф. де Соссюра, но не получившей дальнейшего развития ни в работах А. Мейе, ни в трудах Ж. Вандриеса. У Э. Бенвениста мы находим статьи, посвященные «Природе лингвистического знака» (эта работа приводится полностью в настоящей книге), «Понятию структуры в лингвистике» (сб. «Смысл и употребление термина «структура» в гуманитарных и социальных науках», под ред. Р. Бастида, 1962), «Уровням лингвистического анализа» (доклад на IX Международном лингвистическом конгрессе в 1962 г.), «Современным тенденциям в общем языкознании» (1954) и пр.

Работы Э. Бенвениста, относящиеся, в частности, к общим проблемам, характеризуются ясностью, оригинальностью и реалистичностью взглядов. Учитывая последние достижения науки о языке, он никогда не забывает и о старых истинах, не дает себя увлечь крайними взглядами. Так, например, бесспорно адресуя свои замечания дескриптивной лингвистике и глоссематике, он пишет: «Соотношение формы и значения многие лингвисты хотели бы свести только к понятию формы, но им не удалось избавиться от ее коррелята — значения. Что только ни делалось, чтобы не принимать во внимание значение, избежать его и отделаться от него. Напрасные попытки: оно, как голова Медузы, всегда в центре языка, околдовывая тех, кто его созерцает». И, отмечая, что отношение формы и значения составляет основную проблему

современной лингвистики, заключает: «Форма и значение определяются друг через друга, поскольку в языке они членятся совместно». Подобную же взаимозависимость Э. Бенвенист обнаруживает и в категориях более общего порядка — между методом и предметом исследования. «Коренное изменение — пишет он, — происшедшее в лингвистической науке, заключается в следующем признано, что язык следует описывать как формальную структуру, но такое описание требует предварительно соответствующих процедур и критериев и в целом действительность исследуемого объекта неотделима от метода, посредством которого ее определяют. Следовательно, ввиду исключительной сложности языка мы должны стремиться к упорядочению как изучаемых явлений, стараясь классифицировать их в соответствии с определенным логическим принципом, так и методов анализа, чтобы создать совершенно последовательное описание, построенное на основе одних и тех же понятий и критериев».

Деятельность Э. Бенвениста в области общего языкознания во многом посвящена определению основных категорий, критериев и методов лингвистического исследования с позиций социологического направления, стремящегося реализовать все наиболее здравое в лингвистических работах последних десятилетий.

ЛИТЕРАТУРА

М.В. Сергиевский, Антуан Мейе и его «Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков». Предисловие к книге А. Мейе с указанным названием, Огиз, М., 1938. (Следует учесть некоторые уступки марровскому «новому учению» о языке, свойственные времени написания предисловия.)

А. И. Смирницкий, Сравнительно-исторический метод и определение языкового родства, изд. МГУ, 1955

А. МЕЙЕ

ВВЕДЕНИЕ В СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ИНДОЕВРОПЕЙСКИХ ЯЗЫКОВ[1]

(ИЗВЛЕЧЕНИЯ)

МЕТОД

Что такое индоевропейские языки

Языки хеттский, «тохарский», санскритский, древнеперсидский, греческий, латинский, ирландский, готский, литовский, древнеславянский, армянский представляют в своей грамматике и лексике явные сходства. Совпадения наблюдаются и в древнееврейском, арамейском, аккадском, арабском и эфиопском языках между собой, но не между ними и языками, ранее упомянутыми. В наречиях кафров, обитателей бассейна Замбези и большей части бассейна Конго равным образом имеется много общих черт, не наблюдаемых ни в первой, ни во второй из упомянутых групп. Эти сходства и различия приводят к установлению трех языковых семей: индоевропейской, семитской и банту. Аналогичные факты позволяют выделить и некоторые другие семьи. Задача сравнительной грамматики какой-либо группы языков заключается в изучении соответствий, представляемых этими языками.

В отношении всех трех указанных случаев, а также многих других такое изучение вполне возможно. Наблюдение сходных черт языков санскритского, греческого и т. д. приводит к точным выводам. Иначе обстоит дело со всеми теми совпадениями, которые в других отношениях наблюдаются между разными народами. Так, например, несмотря на сходства, устанавливаемые между религиями индусов, иранцев, греков, германцев и т. д., не удалось построить цельное сравнительное учение о религии этих народов. Общие условия жизни языков дают лингвисту такие возможности, каких нет у историков нравов и религий. Впрочем, не все группы языков представляют в отношении сравнительной грамматики одинаковые возможности. Группы языков индоевропейских, семитских и банту — это три благоприятных случая, однако довольно различных между собой и не вполне одинаково пригодных для построения сравнительной грамматики.

[1] ОГИЗ, М. — Л., 1938. Перевод Д. Кудрявского.

Следует с самого же начала договориться о некоторых общих принципах, распространяющихся, правда, не только на индоевропейские языки. Это поможет нам в дальнейшем определить, что надо понимать под языками индоевропейскими.

Эти принципы являются общими. Все же прежде всего они относятся к индоевропейским языкам; они были установлены именно благодаря изучению этих языков и полностью проверены как с лингвистической, так и с исторической точки зрения лишь в отношении языков этой группы. Условия, в которых находится даже семитская (в общем сравнимая с индоевропейской) языковая группа, все же настолько отличны, что оказалось невозможным построить сравнительную грамматику семитских языков, столь же строгую и полную, как сравнительная грамматика языков индоевропейских.

I. ПРИНЦИПЫ

1. Единичность языковых явлений

Между понятиями и словами, взятыми в какой-либо момент развития того или другого языка, нет никакой необходимой связи; тому, кто не знает приводимых ниже слов, ничто не может показать, что фр. cheval, нем. Pferd, англ. horse, русск. *лошадь,* новогреч. άλογο, новоперс. asp обозначают одно и то же животное. В противопоставлении *лошадь* и *лошади* ничто само по себе не обозначает единства и множества; в противопоставлении фр. cheval — «конь» и jument — «кобыла» ничто не отмечает различия самца и самки. Даже для слов экспрессивных невозможно a priori предусмотреть форму; например, фр. siffler сильно отличается от нем. pfeifen или рус. *свистеть.* Отсюда следует, что текст, написанный на неизвестном языке, невозможно понять без перевода. Надписи Дария оказалось возможным прочесть только благодаря тому, что древнеперсидский язык, на котором они написаны, представляет лишь древнюю форму новоперсидского языка, что он очень мало отличается от языка Авесты, переводы которой дают ключ к пониманию текста, и, наконец, что он близко родствен санскриту. Наоборот, в остатках этрусского языка, за отсутствием поясняющих двуязычных надписей, находят лишь кое-какие внешние особенности, и, несмотря на многочисленность надписей и обширность текста, открытого на Аграмских свитках, этрусский язык остается в значительной мере непонятым.

Поэтому звуковая система, способы словоизменения, особые типы синтаксических сочетаний и лексика, характеризующие данный язык, не могут быть воссозданы, если они видоизменились или исчезли. Средства выражения связаны с понятиями фактически, а не от природы или по необходимости, поэтому ничто не может воссоздать их, если их больше нет. Они существуют лишь однажды; они единичны; слово, грамматическая форма, оборот речи, сколько бы их ни повторяли, в сущности всегда одни и те же.

Из этого следует, что два языка, представляющие в своих грамматических формах, в своем синтаксисе и лексике целый ряд определенных соответствий, являются в действительности одним языком. Сходство языков итальянского и испанского происходит оттого, что они — две современные формы латинского языка; французский язык, хотя и менее на них похожий, все-таки не что иное, как латинский язык, только еще более изменившийся. Таким образом, расхождения могут быть более и менее значительны, но совокупность точных совпадений в грамматическом строе двух языков всегда предполагает, что эти языки представляют формы, принятые одним и тем же языком, на котором говорили в прежнее время.

Случается, что два языка, независимо один от другого, одно и то же понятие выражают одинаковым словом; так, по-английски и по-новоперсидски то же сочетание артикуляций bad означает «дурной», и тем не менее персидское слово ничего не имеет общего с английским: это чистая «игра природы». Совокупное рассмотрение английской лексики и новоперсидской лексики показывает, что из этого факта никакие выводы сделать нельзя. Сходства, ограничивающиеся общей языковой структурой, как это, например, наблюдается в отношении турецкого и финского языков — языков, несомненно, родственных — или в отношении китайского и дагомейского языков, у которых нет шансов быть в родстве, — ничего не доказывают. Но ничего не доказывают и изолированные мелкие факты.

Отсюда вытекает определение родства двух языков: два языка называются родственными, когда они оба являются результатом двух различных эволюции одного итого же язык а, бывшего в употреблении раньше. Совокупность родственных языков составляет так называемую языковую семью. Так, языки французский и новоперсидский родственны, потому что оба являются формами индоевропейского языка; они входят в состав так называемой индоевропейской семьи языков. В этом смысле понятие родства языков абсолютно и не допускает различных степеней.

Но внутри одной и той же семьи язык, принявший форму, отличную от древней формы, может в свою очередь разделиться на несколько языков; так, в результате распадения Римской империи, латинский язык Рима, представляющий одну из форм индоевропейского, разделился на итальянский, испанский, провансальский, французский, румынский и т. д. Таким образом создалась романская семья языков, которая составляет часть индоевропейской семьи языков и члены которой теснее родственны между собою, чем с прочими индоевропейскими языками. Это значит, что языки романской семьи, представляющие все измененный латинский язык, начали расходиться в то время, когда иные индоевропейские группы уже обособились друг от друга. Это второе определение родства есть только следствие первого.

Наконец, когда язык развивается на сплошной территории, можно заметить, что те же самые новшества и те же самые черты старины наблюдаются независимо друг от друга в более или менее обширных областях. Так возникают диалекты.

Говоры областей, соседних друг к другу, развившиеся в одинаковых условиях, представляют и общие особенности. Мы будем иметь случай еще возвратиться к этим фактам, из которых вытекают важные следствия. Эти факты представляют явления совершенно иного порядка сравнительно с фактами, характеризующими родство языков. Например, особенные черты сходства, наблюдаемые между французским и провансальским языками, объясняются не тем, будто в Галлии эпохи Римской империи в какой-либо момент говорили на языке, существенно отличном от народной латыни, представляемой другими романскими языками, но тем, что как на французской территории, так и на провансальской и новшества, и черты старины были начиная с римских времен отчасти сходны, если не тождественны. На практике не всегда возможно отличить эти диалектальные черты сходства от тех, которые объясняются собственно родством языков, т. е. единством отправной точки.

До сих пор удавалось построить сравнительную грамматику лишь в тех случаях, когда в отправной точке имеется некий общий язык, как, например, латинский в отношении романских языков. Иначе говоря, за неимением возможности предположить существование «общего галло-романского» или «общего французского» языка, мы не в состоянии построить сравнительную теорию галло-романских говоров или французских говоров; у этих говоров определенные связи лишь с латинским языком.

Сравнительная грамматика есть система связей между исходным языком и развившимися из него языками.

Построить сравнительную грамматику — это значит сопоставить, описав их со всей возможной точностью, последовательные этапы развития какого-либо языка, дифференциация которого привела с течением времени к образованию различных форм речи.

Сравнительная грамматика возможна лишь постольку, поскольку последовательные и различающиеся состояния языка, рассматриваемые нами, могут быть сведены к определенным соотношениям. До настоящего времени это вполне удалось только в отношении индоевропейских языков.

2. Лингвистическая непрерывность

Рассматриваемый под углом зрения индивида, язык есть сложная система бессознательных ассоциаций между движениями органов речи и ощущениями, дающая ему возможность говорить и понимать слова других. Эта система составляет принадлежность каждого человека и не встречается в совершенно тождественном виде у прочих людей, но она имеет свою ценность лишь в той мере,

в какой другие члены той социальной группы, к которой принадлежит данное лицо, располагают примерно схожими системами; в противном, случае это лицо не было бы понято и не могло бы понять другого. Язык существует, следовательно, только в нервных (двигательных и чувственных) центрах каждого отдельного лица, но те же ассоциации навязаны всем членам группы с такой силой, какой не знает никакой иной социальный «институт». Каждый человек избегает всякого уклонения от нормального типа и относится очень чувствительно к малейшему уклонению, замечаемому им у других. Язык, будучи, с одной стороны, принадлежностью отдельных лиц, с другой стороны — навязывается им; благодаря этому он является реальностью не только физиологической и психической, но и прежде всего социальной.

Язык существует лишь постольку, поскольку есть общество, и человеческие общества не могли бы существовать без языка.

Система ассоциаций, каковой является язык, не передается непосредственно от одного лица к другому; язык, как когда-то было высказано, не вещь, ἔργον, а деятельность, ενέργεια. Каждый ребенок, научаясь говорить, должен сам создать себе систему ассоциаций между движениями и ощущениями, подобную той системе, которой обладают окружающие. Он не получает от них готовых приемов артикуляции; он научается артикулировать, как они, ощупью и после многолетних усилий. Он не получает готовыми грамматических парадигм; он создает каждую форму по образцу тех, которые употребляют другие вокруг него; постоянно слыша, как говорят *мы едим — вы едите, мы стоим — вы стоите,* ребенок научается, когда нужно, говорить *вы сидите,* если он уже слышал выражение *мы сидим.* И так для всех форм. Но, несмотря на напряженные и постоянные усилия, которые ребенок употребляет, чтобы приспособиться к воспроизведению того, что он слышит, ему при восстановлении всей системы ассоциаций не удается вполне точно воспроизвести язык членов той группы, к которой он принадлежит; некоторые детали произношения не улавливаются его слухом, некоторые особенности словоизменения ускользают от его внимания, и вообще системы, которые он установит себе, не совпадают полностью с системами взрослых; каждый раз, как ребенок научается говорить, в язык вводятся новшества.

Если эти новшества являются индивидуальными случайностями, они исчезают вместе со смертью того лица, у которого они возникли; особенности говора, являющиеся результатом таких новшеств, вызывают насмешки, а не подражание. Но есть новшества, опирающиеся на общие причины и имеющие тенденцию проявляться у всех детей, которые учатся говорить в одной и той же местности в течение определенного промежутка времени.

Начиная с определенного момента, у всех детей, привыкающих говорить в какой-то части территории, может обнаружиться некая артикуляция, отличная от артикуляции взрослых и всецело

ее вытесняющая. Так, например, в северной Франции, начиная с некоторого момента, различного для каждой местности, дети оказались неспособными произносить смягченное *l* и стали его заменять звуком *y,* который его ныне заменяет во французских говорах. Такого рода новшество является абсолютно регулярным: смягченное *l* исчезло на всем севере Франции и заменилось через *y.*

Подобным же образом, начиная с определенного времени, дети могут обнаружить некое новшество в области словоизменения. Так, двойственное число сохранялось в Аттике до конца V в., но примерно с 410 г. до и. э. в надписях замечается небрежное его употребление; и действительно, авторы, родившиеся между 440 и 425 гг. и писавшие, как Платон и Ксенофонт, на аттическом диалекте, употребляют еще двойственное число, но не постоянно; затем оно перестает употребляться в именительном-винительном падеже, между тем как под влиянием δυοιν— «двух» сохраняется в родительном падеже. Демосфен (383 — 322) говорит δύ οβολοί — «два обола», но δυοιν οβολοίν — «двух оболов». Наконец, оно исчезает окончательно даже и в родительном падеже и начиная с 329 г. по встречается более в аттических надписях. Здесь опять же регулярность полная: категория двойственного числа исчезла в греческом язык, и противопоставление в числе осталось только между единственным и множественным.

Изменения подобного рода, с определенного момента будучи общими всем детям, переходят к младшим поколениям; они, следовательно, накопляются и, смотря по быстроте их распространения, изменяют язык через более или менее продолжительное время. В некоторых языках новшества в определенные моменты происходят быстро, тогда как в других случаях язык долгое время может сохраняться, вовсе почти не изменяясь.

Но во всех случаях налицо непрерывность: изменения, совершающиеся сами собой и не являющиеся результатом подражания чужеземному говору, происходят не от желания новизны; наоборот, они происходят, несмотря на усилия ребенка точно воспроизводить язык взрослых, и притом никогда не бывают ни настолько велики, ни настолько многочисленны, чтобы поколения, живущие одновременно, теряли ощущение того, что они говорят на одном языке.

С другой стороны, употребление языка необходимо приводит к его изменению. С каждым разом, как употребляется какое-либо выражение, оно становится менее странным для слушателя, а для произносящего — еще более легким для нового воспроизведения. Таков нормальный результат привычки. Выразительное значение слов вследствие употребления ослабляется, их сила уменьшается, и они стремятся образовывать группы. Чтобы поддержать выразительную силу, в которой чувствуется надобность, приходится подновлять выражения; именно поэтому имеют тенденцию выходить из употребления слова, выражающие превосходную степень, как *очень, весьма, чрезвычайно* и т. п., по мере

того как их первоначальная сила уменьшается. Слова, первоначально самостоятельные, путем употребления низводятся на степень грамматических элементов; в латинском выражении habeo aliquid factum — «я имею что-либо сделанным» — habeo имело еще полное свое значение, но j'ai во французском выражении j'ai fait — «я сделал», неоднократно повторяясь, постепенно утратило, свою самостоятельность; в настоящее время три первоначально самостоятельных слова (ego, habeo и factum), которые дали в результате фр. j'ai fait, составляют лишь одну грамматическую форму, равносильную латинскому feci и не имеющую больше выразительной силы. Слова, которые таким путем становятся простыми грамматическими элементами, привесками предложения, произносятся особенным образом, часто укорачиваются и в своем фонетическом развитии отличаются от главных слов; так, латинское указательное местоимение illam в сочетании со следующим именем дает французский артикль la, тогда как развитие — совершенно иное — самостоятельной формы того же слова привело к французскому личному местоимению elle — она, которое в свою очередь сделалось грамматическим элементом.

Таков тип спонтанного развития языка. Оно результат естественной преемственности поколений, использования языка и тождества стремлений и склонностей, наблюдаемого у лиц данного ряда поколений в данный период времени. Хотя изменения этого типа происходят независимо в каждом из говоров данной области, следует ожидать, что они произойдут в различные, но близкие моменты времени с незначительными уклонениями во всех местах, занятых в общем однородным населением, говорящим на том же языке и живущим в одинаковых условиях. Так, смягченное *l* превратилось в *y* во всей северной Франции; двойственное число исчезло еще в доисторический период в эолийском диалекте, в ионийском диалекте Малой Азии и в дорийском диалекте Крита, а в IV в. до н. э. в аттическом, т. е. в говорах континентальной Греции. Условия таких изменений (часто неизвестные, почти всегда не поддающиеся точному определению), если только они не свойственны какой-либо одной местности, действуют на обширных территориях.

Наряду с этими изменениями, проявляющимися особым образом в каждом говоре, даже когда они и выходят за его пределы, существуют другие изменения, весьма различные по внешнему виду, но сводящиеся в основе к одному и тому же явлению — к заимствованию из других языков. Действительно, лишь только члены одной социальной группы вступают в торговые, политические, религиозные или интеллектуальные сношения с членами других групп и лишь только некоторые лица приобретают знание чужого языка, тотчас является возможность введения в свой язык новых элементов.

Если данный язык существенно отличается от местного говора, то из него возможно заимствовать только отдельные слова; так,

греческий язык заимствовал от финикийцев несколько торговых терминов, как название грубой оберточной материи — σάκκος,, золота — χρυσος?, одного вида одежды — χιτών и т. д.; точно так же французский Язык заимствовал английские слова. Как бы велико ни было число таких заимствований, они нисколько не изменяют структуру языка.

Иной результат получается, если дело идет о языке, настолько близком к местному говору, что основное единство того и другого легко сознается. Так как только парижский говор употребляется в сношениях между различными группами населения, говорящего на французском языке, то все другие французские говоры заимствуют все более и более парижских элементов не только в области лексики, но даже и в области произношения и словоизменения. Так, например, крестьянин, узнав, что слова loi, moi, roi, произносимые на его диалекте twé, mwé, rwé, в правильном французском языке (в сущности парижском) звучат, как twa, mwa, rwa, даже не слышав никогда, как произносится слово loi, легко может вместо формы своего говора lwé употребить форму lwa. Такого рода подстановки одной формы вместо другой приводят к результату, сходному с результатом изменений нормального типа, и, раз они произошли, часто бывает невозможно различить, с какого рода изменениями мы имеем дело. Но от этого не уменьшается различие между ними, ибо во втором случае дело идет о заимствовании из другого говора. Все говоры северной половины Франции испытали весьма сильное влияние общефранцузского языка, принадлежащего к парижскому типу речи; ни один из них не может рассматриваться как представляющий самостоятельное развитие латинского типа, на котором покоятся галло-романские говоры. От древней Греции сохранилось много надписей на диалектах, но почти во всех диалектальны лишь некоторые черты, и начиная с V в. до н. э. во всех них сквозит образец сперва аттической речи, а затем так называемого койне; только самые древние надписи представляют местные говоры в их чистом виде. Где бы это ни было, повсюду нелегко найти писаный текст, который бы представлял местный говор во всей его чистоте, безо всякого влияния со стороны какого-либо общего языка.

Под тем либо под другим из этих двух видов заимствование не есть явление редкое и случайное; это явление частое или, лучше сказать, постоянное, и новейшие исследования все более и более выясняют его важное значение. Ибо каждая из крупных языковых групп (германская, славянская, эллинская и т. д.) является результатом распространения какого-либо общего языка на более или менее значительную массу населения. У нас нет возможности определить, какая часть фактов, изучаемых нами и относящихся к периоду доисторическому, падает на долю заимствования. Но мы никогда не вправе предполагать, чтобы какой-нибудь говор являлся результатом одной только передачи языка из поколения к поколению и изменений, происходящих вследствие употребления язы-

ка и его передачи. Всюду мы видим, как преобладающие говоры являются образцом для подражания и как люди стараются воспроизводить речь тех, кто, живя в другой местности или занимая более высокое социальное положение, признается говорящими лучше. Если бы не существовало этой заботы воспроизводить господствующие говоры, то язык дифференцировался бы до бесконечности и не был бы в состоянии служить средством общения обширных групп людей.

Все существующие говоры происходят в действительности из ряда последовательных сближений и расхождений.

Наконец, третий тип изменений происходит тогда, когда население меняет язык.

Когда население перенимает язык победителей, иноземных колонистов или язык более цивилизованных людей, пользующийся особым престижем, взрослым представителям этого населения не удается в точности усвоить новый язык. Дети, начинающие говорить, когда новый язык уже распространился, успевают лучше, ибо учатся ему как своему родному и стремятся воспроизводить не ломаную речь своих взрослых сородичей, но правильный говор иноземцев, если только имеют возможность его слышать; и это им зачастую в достаточной мере удается. Так, ребенок, рожденный во Франции от француза и иностранки и воспитанный среди французских детей, почти совсем не воспроизводит недостатков говора своей матери. Тем не менее кое-какие особенности речи сохраняются. Более того, если население перенимает язык, глубоко отличный от своего прежнего языка, оно может вовсе не усвоить некоторых его характерных черт. Негры-рабы, которые стали говорить по-французски или по-испански, не приобрели ни точного произношения, ни правильного употребления грамматических форм как вследствие слишком большого отличия их родного языка, так в особенности еще и потому, что, не видя избавления от своего безнадежно низкого социального положения, они не чувствовали надобности говорить так, как их господа: креольские наречия сохранили черты африканских языков. Впрочем, в многочисленных сменах языков, которые происходили в исторические времена и происходят еще и теперь, многие народы выказали способность достаточно усваивать язык друг друга...

Ничто не заставляет предполагать, что особенности, характеризующие романские языки, ведут свое начало в большей своей части от самого момента проникновения латинского языка в область их нынешнего распространения. Не следует преувеличивать значения нынешнего распространения. Не следует преувеличивать значения этого типа изменений. Однако, по-видимому, этим можно объяснить некоторые значительные перемены в системе артикуляции, подобные германскому или армянскому передвижению согласных; не случайно армянская система смычных тождественна с системой смычных в грузинском языке, языке не индоевропейском. В тосканском диалекте, на территории былого распрост-

ранения этрусского языка, наблюдается особое произношение смычных, восходящее к произношению этрусского языка, в котором, насколько об этом можно судить по древней передаче, были глухие придыхательные, но не было звонких смычных.

Кроме того, как только замена одного языка другим совершилась, мы имеем уже дело с нормальными изменениями непрерывного развития. Все же особые свойства населения, принявшего новый язык, вызывают сравнительно быстрые и многочисленные изменения, могущие, впрочем, проявиться и много времени спустя после перемены языка.

Чтобы оценить важность факта смены языков, достаточно отметить, что во всех областях с более или менее древней историей язык сменялся в историческую эпоху по меньшей мере раз, а то и два и три раза. Так, на территорию современной Франции галльский язык проник лишь в первой половине последнего тысячелетия до хр. э.; затем в течение первого тысячелетия хр. э. он был сменен латинским языком. С другой стороны, языки изменяются тем в меньшей степени, чем устойчивее говорящее на них население; чрезвычайное единство полинезийских языков объясняется устойчивостью населения Полинезии; в одной из областей распространения индоевропейских языков, в Литве, где население, по-видимому, почти вовсе не сменялось в течение весьма долгого времени, язык отличается исключительной в некоторых отношениях архаичностью. Наоборот, язык иранцев, чьи завоевания охватили обширную территорию, изменился быстро и относительно рано; иранские говоры с самого начала христианской эры достигли уровня, который можно сравнивать с уровнем, достигнутым романскими языками лишь столетий десять спустя.

У каждого из индоевропейских языков свой собственный тип, произношение и морфология каждого из них характеризуются своими особыми чертами; едва ли можно предположить иные причины этого своеобразия, к тому же довольно глубокого, кроме тех особенностей, которыми характеризовались языки прежнего населения, сменившиеся индоевропейским. Это влияние языков, смененных языком индоевропейским, называется действием субстрата. К несчастью, субстраты почти всюду нам неизвестны, так что приходится довольствоваться недоказуемыми гипотезами.

Возможно, что каждому населению присущи некоторые наследственные тенденции, не меняющиеся в результате перехода людей с одного языка на другой и определяющие в их новом языке значительные перемены. В областях, где прежде говорили по-галльски, произношение приняло некоторые черты, напоминающие то, что можно найти в языках бриттских. Только там и нигде больше на территории романских языков прежнее латинское *ū* перешло в *ü* (фр. *u)* и образовалась система средних гласных типа фр. *eй;* там же интервокальные согласные претерпели наибольшие изменения; все это объясняется тенденциями, которые есть и в

бриттском. Едва ли возможно отнести эти изменения на счет того произношения, которое устанавливалось при постепенном переходе с галльского языка на латинский, но понять их можно было бы, если признать наличие у населения одинаковых тенденций, действовавших как на бриттской, так и на галльской территории.

Кроме того, не следует упускать из виду (и в большей степени, чем делали это раньше) такие периоды, когда одно и то же население пользуется одновременно двумя языками и когда, следовательно, в сознании одной и той же группы говорящих совмещаются два средства выражения, относящиеся к двум разным языкам; это так называемые периоды «двуязычия». Люди, располагающие двумя различными средствами выражения зараз, порою вводят в один из двух языков, на котором они говорят, приемы, принадлежащие другому языку. Например, в латинском языке той части Галлии, где господствовали франки, утвердился по образцу германских языков прием выражения вопроса, состоящий в постановке подлежащего после глагола; и доныне мы имеем по-французски вопросительное: êtes-vous venus? — «пришли ли вы?», противопоставленное утвердительному: vous êtes venus — «вы пришли». Таким образом, этот прием французского языка есть, собственно, прием германских языков, осуществляемый с помощью романских элементов.

3. О. закономерности развития языков

Изучение развития языков возможно лишь постольку, поскольку факты сохранения старого и введения нового представляются закономерными.

Есть два вида сохранения старого и введения нового. Один из них касается звучащей материи, служащей для языкового выражения, со стороны звучания и артикуляции; это область фонетики. Другой связан с выражаемым смыслом; это область морфологии (грамматики) и лексики (словаря).

Правила, по которым сохраняются старые и вводятся новые моменты произношения, называются фонетическими законами. Если какая-нибудь артикуляция сохраняется в одном слове, она сохраняется также во всех словах того же языка при одинаковых условиях. Так, закрытое *u* «народной латыни» сохраняется в итальянских словах nudo — «голый», duro — «твердый», fusto — «ствол» и во всех подобных словах; во французских же словах nu, dur, fflt и подобных оно переходит вофр. *u (ü).* В тот момент, когда нововведение, появляется, оно иногда обнаруживается сперва только в некоторых словах, но, поскольку оно касается способа артикуляции, а не того или иного слова, оно вскоре распространяется на все случаи, и для тех больших периодов, которые изучает сравнительная грамматика, неприметны эти колебания первых поколений при введении новшества. Было время, когда древние индоевропейские *p, f, k* превратились в германском в *ph, th, kh,* т. е. в *p, t, k,* отделенные от последующей гласной придыханием; в таких смыч-

ных с последующим придыханием смык бывает слабый; он был устранен, и в результате в германских языках появились *f,* þ, *x (x* обозначает здесь гуттуральный спирант, т. е. фонему того же качества, как современное немецкое глухое *ch);* следовательно, существовал ряд германских поколений, для которых *p, t, k* были непроизносимы, и действительно, индоевропейские *p, t, k,* начальные или между гласными, в готском языке никогда не отражаются через *p, t, k,* а всегда через *f*, þ, *h* (или соответственно через звонкие ƀ, *đ,* γ при определенных условиях). Таков принцип постоянства фонетических законов, что точнее было бы называть регулярностью фонетических соответствий.

Эта регулярность часто полная. Если латинскому ōcto соответствует французское huit, итальянское otto и испанское ocho — «восемь», в тех же языках старому nocte(m) соответствуют nuit, notte и noche — «ночь». Если лат. factum соответствуютфр; fait, ит. fatto и исп. hecho — «сделанный», таким же образом соответственно лат. lacte мы имеем фр. lait, ит. latte, исп. leche — «молоко». Кто знает, что ит. figlia, фр. fille (из лат. filia) соответствует исп. hija — «дочь», догадывается, что ит. foglia, фр. feuille (из лат. folia) соответствует исп. hoja — «лист», ибо судьба лат. *ī* здесь так же, что в ит. filo, фр. fil, исп. hilo от filum — «нить», а судьба *ŏ* та же, что в ит. voglia, фр. veuille из древнего *voliat.

Если бы не привходило никаких других факторов, можно было бы, зная фонетические соответствия, выводить из данного состояния языка его состояние в последующий момент, кроме, конечно, изменений грамматических и лексических. Но в действительности это не так. Количество всех особых факторов, которые, не нарушая действия фонетических законов, затемняют их постоянство, безгранично; необходимо отметить здесь важнейшие из них.

Прежде всего формулы фонетических соответствий приложимы, как явствует из их определения, только к артикуляциям, точно сравнимым между собою. Слова, имеющие особое произношение, поэтому отчасти не подчиняются их действию. Так, детские слова вроде *папа, мама* и т. п. занимают особое положение. Термины вежливости и обращения подвергаются таким сокращениям, что становятся неузнаваемы: фр. msyö не представляет регулярного фонетического изменения сочетания mon sieur; то же относится ко всем словам, на которые достаточно намекнуть, чтобы они были поняты, и которые поэтому нет надобности артикулировать со всею отчетливостью; др.-в.-нем. hiutu (нем. heute — «сегодня») не есть нормальное отражение сочетания hiu tagu — «этот день». Как общее правило, тот же звуковой элемент более краток в длинном слове, нежели в коротком (а во фр. pâtisserie — «пирожное», короче, чем в pâté — «пирог»), более краток во второстепенном слове предложения, нежели в главном; поэтому и изменения их могут быть различны. Некоторые артикуляции, как артикуляция, склонны предвосхищаться (например, во фр. trésor из лат. thesaurum — «сокровище») или переставляться (например, в новогреч. πρικός из πικρός—

«горький»), причем не всегда возможно свести такие изменения к общим формулам, так как они могут зависеть от особой структуры или от специальных условий употребления тех слов, в которых они встречаются. Другие же артикуляции длятся слишком долгое время; так, нёбная занавеска, опущенная при произнесении *n* в нем. genug — «довольно», остается в том же положении, в результате чего это слово диалектально звучит genung, и т. п. Бывают также действия на расстоянии: лат. *c* перед *e* и *i* дает в совр. французском языке *s* (пишется *c*), например в cep — «лоза», cil — «ресница», cendre — «зола», cire — «воск», а перед *a* дает *š* (пишется *ch),* например в char — «повозка», cheval — «лошадь», cnoe — «толчок», chantier — «мастерская», но начальное *c* лат. circāre ассимилировалось внутреннему *c* перед *a,* и по-французски получилось chercher — «искать». Фонетическое новшество является обычно результатом совместного действия нескольких различных и самостоятельных факторов; сочетание этих факторов иногда настолько сложно, что встречается только в одном слове.

Далее, изменения могут происходить от ассоциации форм; так, в аттическом, где интервокальное о исчезает, такие формы, как гр. ετιμησα — «я почтил», έλυσα — «я развязал» и подобные, не объясняются непосредственно, но, поскольку такие формы, как έδειξα — «я указал», έτριψα — «я растер», έσχισσα (έσχισα) — «я разорвал», вполне допустимы, окончание -σα могло сохраниться в формах ετίμησα, έλυσα и подобных. Это называется изменениями по аналогии. Таким образом, на сцену выступает смысл и нарушает регулярность фонетического отражения; морфология и лексика взаимодействуют с фонетикой.

Наконец, некоторые отклонения вызываются заимствованиями. Так, в Риме старое *ou* переходит в *ū*, а старое **dh* после *u* переходит в *b* перед гласной; лит. raudas, гот. rauþs, др.-ирл. ruad — «красный» и т. д. должно было бы, следовательно, соответствовать *rūbus, но в других латинских говорах *ou* переходит в *ō,* например в Пренесте. Поэтому rōbus, во всяком случае в отношении своего *ō,* не есть римское слово. В некоторых латинских говорах **dh* между гласными дает *f*; отсюда rufus. Ожидаемое римское слово *rūbus непосредственно не засвидетельствовано, но оно отражено в производных rūbīgō (наряду с rōbīgō) — «ржавчина» и rūbidus — «(темно) красный». Когда исторические условия вызывают много таких заимствований, фонетика языка становится в конце концов непоследовательной; так дело обстоит с латинским языком, включающим много сабинских элементов, а из современных языков — с английским, в образовании которого участвовали разные диалекты, в том числе и древнесеверный (древнескандинавский), а также значительные элементы романской лексики. Другим источником расхождений являются в историческую эпоху заимствования из . письменного языка; так, французский язык множество слов усвоил из латинской письменности. Например, лат. fragilem — «хрупкий» дало во французском frêle, а впоследствии из латинской

письменности заимствовано было то же слово в виде фр. fragile. И трактовка этих заимствований различна, смотря по эпохе; так, начальная согласная слова caritas, заимствованного весьма рано французским языком, трактована в charité — «милосердие» так же, как в традиционном слове cher — «дорогой», тогда как та же согласная слова canticum, заимствованного позже, передана во фр. cantique — «песнопение» не так, как в традиционном французском chanter — «петь» из лат. cantare. Эта последняя причина расхождения, существенная для нового времени, не действует в отношении доисторических периодов, рассматриваемых сравнительной грамматикой.

Чем более углубляем мы свое исследование, тем более мы убеждаемся, что почти у каждого слова своя собственная история. Но это все же не мешает вскрывать и определять те изменения, которые, как, например, передвижение согласных в германском или армянском, охватывают артикуляционную систему в целом.

Ничто из всего этого не противоречит принципу постоянства фонетических законов, т. е. изменений, затрагивающих артикуляцию безотносительно к смыслу; этот принцип сводится только к тому, что, когда при усвоении языка младшими поколениями какой-либо артикуляционный прием сохраняется или видоизменяется, это его сохранение или видоизменение имеет место во всех тех случаях, где данная артикуляция применяется одинаковым образом, а не в одном каком-либо слове. И опыт показывает, что дело происходит именно так.

Действие «закона» может, правда, уничтожаться через некоторый промежуток времени в результате изменений, затрагивающих отдельные слова, воздействием аналогии или заимствованиями, но «закон» из-за этого вовсе не перестает быть реальностью, ибо его реальность имеет преходящий характер и сводится к тому, каким образом говорящие в определенный период времени стали артикулировать. История языка рассматривает не результаты, могущие всегда исчезнуть, а события, имевшие место в определенный момент. Но «закон» может ускользнуть от внимания лингвиста, а это значит, что есть неустановленные фонетические изменения, которые навсегда останутся таковыми даже в хорошо изученных языках, если только, как это обычно бывает, у нас нет непрерывного ряда документов.

Редко, однако, удается наблюдать действие, вызвавшее те соответствия, которые формулируются в виде фонетических законов. Мы можем установить, что французское *e* соответствует латинскому ударяемому *a* (páter:père — «отец», amátum:aimé — «любимый» и т.п.), что начальное греческое φ соответствует санскритскому *bh,* германскому или армянскому *b* (гр. (φέρω— «несу», скр. bhárāmi, гот. baira, арм. berem), и ничего больше. Что обычно называется фонетическим законом, это, следовательно, только формула регулярного соответствия либо между

двумя последовательными формами, либо между двумя диалектами одного и того же языка. И это соответствие по большей части есть результат не единичного действия, но множественных и сложных действий, на осуществление которых потребовалось более или менее продолжительное время. Поэтому зачастую оказывается невозможным различить, что произошло от спонтанных изменений и что произошло от заимствования из какого-либо общего языка, взятого за образец.

То, что справедливо по отношению к фонетике, справедливо также по отношению к морфологии. Подобно тому как артикуляционные движения должны быть снова комбинированы всякий раз, как произносится слово, точно так же и все грамматические формы, все синтаксические сочетания бессознательно создаются снова для каждой произносимой фразы соответственно навыкам, установившимся во время усвоения языка. Когда эти привычки изменяются, все формы, существующие только благодаря существованию общего типа, по необходимости тоже изменяются. Когда, например, по-французски под влиянием tu aimes — «ты любишь», il aime (t) — «он любит» стали говорить в 1-м лице j'aime — «я люблю» вместо прежнего j'aim (отражающего лат.), все глаголы того же спряжения получили также *-e* в 1-м лице: распространение *-e* на первое лицо является морфологическим законом, притом столь же строгим, как любой фонетический закон. Морфологические нововведения сравнительно с фонетическими изменениями не оказываются ни более капризными, ни менее регулярными; и формулы, которыми мы располагаем, выражают только соответствия, а не самые действия, вызывающие эти нововведения.

Однако между фонетическими законами и морфологическими законами существует различие. Когда какая-либо артикуляция изменилась, новая артикуляция заменяет старую во всех случаях и новые поколения уже не в состоянии произносить по-старому; например, в области Иль-де-Франса после совершившегося перехода смягченного *l* в *y* уже не осталось ни одного смягченного *l*; равным образом ни одно *y* (согласное *i*) не сохранилось, после того как согласное *i* латинского языка перешло в *dž,* изменившееся затем в *ž* (пишется *j*); вместо латинских iacet — «лежит», iūs — «похлебка» и т. п. в современном французском языке может быть только gÎt — «почиет», jus — «сок». Наоборот, когда изменяется какой-либо морфологический тип, некоторые формы того же типа, утвердившиеся в памяти, могут продолжать свое существование; так, в индоевропейском языке существовал тип настоящего времени глагола, характеризуемый присоединением окончаний непосредственно к корню и чередованием огласовки корня с наличием *e* в единственном числе и с отсутствием *e* во множественном числе; например, гр. εί-μι — «иду, пойду», множественное число ίμ-εν — «идем, пойдем» и скр. é-mi — «иду» (древнее *ái-mi), множественное число i-máh — «идем»; этот тип, прежде игравший важную роль, исчез из употреб-

ления во всех индоевропейских языках, но ряд *форм* глагола *быть* сохранил его до настоящего времени, так как частое употребление укрепило их в памяти; поэтому латинский язык еще имеет по древнему типу es-t: s-unt, откуда фр. (il) est: (ils) sont; точно так же немецкий язык имеет (er) is-t: (sie) s-ind. Тип исчез задолго до первого закрепления на письме латинского или немецкого языка, но одна из его форм живет.

Одна из наиболее очевидных заслуг сравнительной грамматики состоит именно в том, что аномальные формы исторической эпохи она разъясняет как пережиток ранее существовавшей формы. Тип est: sunt, являющийся в латинском языке исключением, оказывается, остатком типа, бывшего нормальным в индоевропейском. Благодаря сравнительной грамматике мы различаем в развитии одного и того же языка последовательную смену норм.

Доказательство, наилучшее доказательство принадлежности языка к данной семье языков состоит в показе того, что язык этот сохраняет в качестве аномалий формы, бывшие нормальными в эпоху первоначальной мощности. Аномалии, не разъясняемые ни одним из законов того языка, в котором они наблюдаются, предполагают предшествующий этап развития, когда они были нормальны. Необъяснимые внутри латинского языка, такие формы 3-го лица, как est — «есть», ēst — «ест», fert — «несет», разъясняются на почве индоевропейского и дают основание предположить, что латинский язык является одной из форм развития индоевропейского языка. Построение сравнительной грамматики индоевропейских языков оказалось возможным именно потому, что все эти языки изобилуют аномалиями. Наоборот, языки со вполне регулярной морфологией, как, например, тюркские, плохо поддаются сравниванию, и поэтому нелегко установить, с какими языками находятся в родстве тюркские языки.

Тот факт, что фонетические и морфологические законы приложимы ко всем словам, в которых налицо элементы, подходящие под их формулы, является вполне естественным; факт, что они охватывают всех детей одного поколения, равным образом не удивителен; он означает, что одинаковые причины производят одинаковое действие у всех детей, обучающихся говорить в одинаковых условиях. В самом деле:

1. Хотя у элементов языка нет никакой необходимой связи с выражаемыми понятиями, все же между собою они связаны ассоциациями и каждый язык образует систему, части которой внутренне объединены. Фонетический состав славянских языков представляет прекрасную иллюстрацию этого принципа. Общеславянский язык обладал двумя рядами гласных: «твердыми» (с предшествующими «твердыми» согласными) *a, o, u, y, й* и «мягкими» (с предшествующими «мягкими»согласными), *ě, e, i, ĭ;* те языки, которые, как русский и польский, сохранили различие этих двух рядов гласных, сохранили также и различие *ы (y)* и *u(i),* а также *ъ(й)* и *ь(ĭ)* в форме о и е в русском языке, в форме е (твердого) и *ie* в польском; поэтому

русский язык имеет *сын* и *сила, день* (из *dĭnĭ) и *сон* (из *sŭnū), но те славянские языки, которые, как сербский, утратили различие этих двух рядов звуков, смешивают *у* и і, *й* и *ĭ,* сербское *и* в слове *син* такое же, как и в слове *сила; ĭ* слова dĭnĭ перешло в *а,* как и *й* слова sŭnŭ: *дан, сан.* Различие *у* и *і, й* и *ī* было, таким образом, чертою системы и с разрушением системы не могло устоять. Поэтому естественно, что это изменение произошло во всех сербских говорах и что аналогичные изменения имели место в других южнославянских языках и даже в чешском. Всякое серьезное изменение части фонетической системы языка отражается и на остальной части системы. В германских языках видоизменился не один ряд смычных, а все ряды их; что в этом не было ничего случайного, видно из армянского языка, который представляет совершенно параллельные изменения: индоевропейские глухие смычные **p, *t, *к* отражены в армянском языке придыхательными **ph* (откуда *h), th, kh,* которые представляют первую предполагаемую для германских языков ступень изменения, а индоевропейские звонкие **b, *d, *g* отражены глухими слабыми *p, f, k,* как и в германских языках. Точно так же в некоторых диалектах банту вместо *p, t, k* таких диалектов, как хереро и суахели, оказываются *ph, th, kh,* как, например, в диалекте конде, в других же *f, r* (обозначает глухой вибрант этих диалектов), *x* (глухой гуттуральный спирант), как, например в диалекте пели; наконец, в диалекте дуала на месте глухих — звонкие, например *l* соответствует звуку *t* хереро и звуку *r* пели, подобно тому как верхненемецкое *d* произошло из германского þ (английское глухое *th);* например, числительное *три* на диалекте хереро — tatu, конде — thathu, пели — rarọ, дуала — lalọ. Во всех этих случаях в какой-то момент изменилась не обособленная артикуляция, а самый способ артикулирования; параллелизм фонетических соответствий отражает здесь изменение, в какой-то период времени осуществившееся, артикуляционной системы. То же и в отношении морфологии: морфологическая система романских языков не та, что латинского.

2. Сочетания артикуляций, при помощи которых реализуются фонемы какого-либо языка, свойственны именно данному языку, но элементарные движения, составляющие эти сочетания, определяются и ограничиваются общими анатомическими, физиологическими и психическими условиями. Поэтому возможно установить, каким образом может видоизменяться артикуляция в том или другом случае. Возьмем, например, фонему *s*, которая предполагает поднятие языка к зубам при постоянном потоке воздуха и характеризуется свистом; если язык поднят недостаточно, шум от трения воздуха между языком и зубами исчезает и останется только выдох, т. е. *h;* если язык поднят чрезмерно, вместо *s* будет слышаться þ (англ. *th)* или даже смычная *t;* наконец, если к *s* прибавить вибрацию голосовых связок и тем самым ослабить силу выдоха, получится звонкая *z* (которая в свою очередь иногда переходит *в r:* «ротацизм»); прибавляя к этому еще переход к *š* в различных

условиях, получаем все возможные вариации фонемы *s*, каковы бы ни были особенности ее артикуляции. Возьмем еще такое звуковое сочетание, как anama или anama, где одинаковое артикуляционное движение, именно опускание нёбной занавески, производится два раза; если, как это случается, одно из двух движений не выполняется, то это обыкновенно относится к первому из них; фонема, в которой имело место это невыполненное артикуляционное движение, подвергается изменениям, которые делают ее произносимой и позволяют ей занять место в системе языка: anama или anama превращаются в таком случае в alana, alama или arana, arama. Возможные изменения грамматических форм не могут быть приведены к такой же простой и общей формуле, как изменения фонетические, так как они не зависят непосредственно от анатомических и физиологических условий, но в каждом данном случае они не менее ограничены.

Вообще возможные изменения определяются особой системой каждого данного языка и анатомическими, физиологическими и психическими условиями человеческой речи. Когда одна и та же совокупность причин начинает вызывать изменения, она приводит либо к тождественным, либо к сходным результатам у всех индивидов одного поколения, говорящих на одном языке; члены социальной группы обнаруживают тенденцию независимо друг от друга сохранять одни и те же черты прежнего состояния языка и вводить одни и те же новшества.

II. ПРИЛОЖЕНИЕ ОБЩИХ ПРИНЦИПОВ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ИНДОЕВРОПЕЙСКИХ ЯЗЫКОВ

1. Определение понятия «индоевропейские языки»

...Чтобы установить принадлежность данного языка к числу индоевропейских, необходимо и достаточно, во-первых, обнаружить в нем некоторое количество особенностей, свойственных индоевропейскому, таких особенностей, которые были бы необъяснимы, если бы данный язык не был формой индоевропейского языка, и, во-вторых, объяснить, каким образом в основном, если не в деталях, строй рассматриваемого языка соотносится с тем строем, который был у индоевропейского языка.

Доказательны совпадения отдельных грамматических форм; наоборот, совпадения в лексике почти вовсе не имеют доказательной силы. Действительно, из чужого, совершенно отличного языка не бывает заимствований грамматической формы или отдельного произношения; здесь возможно заимствование только совокупности морфологической или артикуляционной системы, а это означает перемену языка; но часто заимствуется отдельное слово или целая группа слов, относящихся к определенному ряду вещей, особенно слов технических, в самом широком смысле этого термина; заимствования слов происходят независимо одно от другого

и иногда могут совершаться в неограниченном количестве. Из того, что в финском языке много индоевропейских слов, нельзя выводить, будто он принадлежит к индоевропейским языкам, так как эти слова заимствованы из индоиранских, балтийских, германских или славянских языков; из того, что в новоперсидском языке масса семитских слов, нельзя выводить, будто он не индоевропейский язык, так как все эти слова заимствованы из арабского. С другой стороны, как бы ни был отличен от индоевропейского внешний облик языка, отсюда не следует, что этот язык не индоевропейский; с течением времени у индоевропейских языков оказывается все менее и менее общих черт, однако, покуда они существуют и как бы они ни преобразовывались, они не могут утратить своего качества языков индоевропейских, ибо это их качество есть только отражение исторического факта.

Общее сходство морфологической структуры почти ничего не доказывает, ибо возможные языковые типы не отличаются разнообразием.

Решающую доказательную силу имеют отдельные подробности, исключающие возможность случайного совпадения. Нет разумного внутреннего основания, чтобы падеж субъекта характеризовался окончанием -s. Наличие в языке именительного падежа единственного числа с конечным -s дает право считать данный язык индоевропейским тем более, что в большинстве языков падеж субъекта совпадает с самой формой имени без какого-либо окончания.

Раз доказательство уже добыто целым рядом частных совпадений, остается только, чтобы углубить его, установить, что морфологическая система рассматриваемого языка во всей ее совокупности может быть разъяснена как результат видоизменения или ряда последовательных видоизменений исходного языкового состояния.

Если бы мы не знали латинского языка и если бы италийские диалекты были представлены только французским языком, утратившим общий облик языка индоевропейского, все же было бы возможно на точных фактах показать, что французский язык индоевропейский. Лучшее доказательство мы имели бы в спряжении настоящего времени глагола être — «быть»: противопоставление форм (il) est : (ils) sont (произносимых il ẹ : il (скорее i) so) соответствует еще санскритскому противопоставлению asti — «есть»: santi — «суть», готскому ist: sind, древнеславянскому ѥсть : сѫть; личные местоимения moi, toi, soi, nous, vous, схожие с санскритскими mām, tvām, svayám, naḥ, vaḥ и древнеславянскими мѧ, тѧ, сѧ, ны, вы, дополняют это доказательство, которое могло бы быть подтверждено еще и некоторыми подробностями глагольного спряжения. Отсюда видно, сколь долговечны бывают морфологические особенности; среди французских наречий (patois) есть такие, в которых лексика почти целиком заимствована из нормального французского языка и слова почти полностью подведены под нормальный французский тип, но которые еще сохраняют, по крайней мере частично,

свою собственную морфологию. Но французский язык представляет уже немного подобных черт прошлого, и потребовалось бы небольшое количество изменений, чтобы устранить из него их последние остатки. С другой стороны, без знания латыни и средневекового французского языка затруднительно было бы показать, каким образом морфологическая система современного французского языка связывается с системой индоевропейской, хотя французский глагол и имеет еще несколько индоевропейских черт. «Индоевропейское» качество французского языка и в этом случае сохранялось бы, ибо оно выражает лишь факт непрерывной преемственности от индоевропейской общности доныне, но оно не было бы непосредственно доказуемо.

Можно, следовательно, представить себе, что есть в мире неузнанные индоевропейские языки. Но это маловероятно; так, невзирая на то, что албанский язык засвидетельствован поздними памятниками и подвергся весьма значительным изменениям, он без труда был признан индоевропейским. Так и «тохарский» язык, лишь только были поняты его несколько строк, признан был индоевропейским, а индоевропейский характер хеттского сразу же поразил его первых истолкователей. Это является следствием устойчивости морфологической системы. Грамматика даже наиболее изменившихся индоевропейских языков доныне сохраняет, в особенности в области глагола, кое-что от индоевропейского.

Возможно, что «индоевропейский язык» в свою очередь лишь форма какого-то ранее существовавшего языка, представителями которого являются также и другие языки, как ныне существующие, так и засвидетельствованные древними текстами. Уже отмечались разительные соответствия между языками индоевропейскими и угрофинскими, в свою очередь, быть может, родственными тюркским, а также между индоевропейскими и семитскими, с которыми связаны и «хамитские» языки; некоторые «азианийские» языки, как-то: ликийский и лидийский, — поскольку можно о них судить на основании того, что от них сохранилось и что в них истолковано, тоже, быть может, произошли от того же исходного языка, как и общеиндоевропейский язык; на подобную же гипотезу наталкивают и те данные, которые начинают выясняться в области сравнительной грамматики кавказских языков. Но до тех пор, пока между индоевропейской грамматикой и грамматиками иных языковых групп не будут обнаружены совпадения более отчетливые и более многочисленные, эта общность происхождения не может почитаться доказанной. Мы можем предполагать только, что все языки перечисленных групп друг другу родственны. Впрочем, если когда-либо будет установлен и доказан ряд соответствий между индоевропейской и иными языковыми группами, в системе ничего не изменится, только над сравнительной грамматикой индоевропейских языков надстроится новая сравнительная грамматика, которая, конечно, будет относительно скудной, подобно тому как сравнительная грамматика индоевропейских языков

надстраивается над более богатой и более подробной сравнительной грамматикой, скажем, романских языков; мы проникнем на одну ступень глубже в прошлое, с результатами менее значительными, но метод останется тот же.

2. «Восстановление» индоевропейского языка

Раз родство нескольких языков установлено, остается определить развитие каждого из них с того момента, когда все они были более или менее тождественны, до какого-либо другого данного момента.

Если древняя форма языка засвидетельствована, как это имеет место для романских языков, задача исследования вначале относительно проста: определяются соответствия между древней формой и последующими формами и при помощи исторических данных прослеживаются как можно точнее видоизменения языка в различных местах в различные моменты. Если же древняя форма языка неизвестна, как это имеет место для древних индоевропейских языков, то у нас только один способ исследования — установить соответствия, которые можно обнаружить между формами различных языков. В том случае, когда языки очень сильно разошлись, а соответствия редки и отчасти недостоверны, мы ограничиваемся одним только установлением родства. Для индоевропейских языков обстоятельства более благоприятны. Эти языки представляют многочисленные и точные соответствия, а три из них — хеттский, индоиранские и греческий — засвидетельствованы довольно древними памятниками, притом засвидетельствованы в форме настолько архаичной, что по ней можно предположить, какова должна была быть система индоевропейского языка; большинство остальных сохраняет архаизмы. Таким образом, система всех совпадений, представляемых индоевропейскими языками, допускает их методическое и подробное изучение.

Пример, взятый из романских языков, лучше всего даст представление о применяемом приеме исследования. Возьмем следующий ряд слов:

итальянок.	pẹra	tẹla	vẹro	pẹlo
испанск.	pera	tela	vero	pelo
сицилийск.	pira	tila	viru	pilu
др.-франц.	peire	teile	veir	peil
(совр. франц.	poire	toile	voire	poil)
	«груша»	«ткань»	«действительно»	«шерсть»

Поскольку известно из сравнения грамматик этих языков, что они между собой родственны, то не может быть сомнения, что мы имеем здесь четыре слова общего языка, именно «вульгарной латыни» или «общероманского» языка. Так как ударяемая гласная во всех четырех словах одна и та же, то мы можем заключить,

что имеем здесь дело с гласной этого языка, которую можно определить соответствиями:

ит. *ẹ* = исп. *e* = сиц. i = др.-фр. *ei* (совр. фр. *oi)*

Можно обозначить фонему, определяемую этим соответствием, как закрытое e. Но некоторые диалекты в Сардинии имеют, с одной стороны, pira, pilu, с другой — veru; поскольку различие между *i* и *e* не может быть объяснено влиянием соседних артикуляций, то оно должно быть древним, и мы приходим к установлению двух различных соответствий

сардинское *i* = ит. ẹ = исп. *e* = сиц. *I* = др.-фр. *ei*
сардинское *e* = ит. ẹ = исп. *e* = сиц. *I* = др.-фр. *ei*

Мы, таким образом, отличаем два рода закрытого *e* в народной латыни. Если бы латинский язык не был известен, мы не могли бы идти далее; сравнительная грамматика романских языков не дает права на какой-либо иной вывод. Случайность, сохранившая латинский язык, оправдывает этот вывод и делает его более точным; первое закрытое *e* есть краткое *i* древней латыни: pĭra, pĭlum; второе есть древнее долгое *e:* uērum, tēla.

Сравнительная грамматика индоевропейских языков находится в том положении, в каком была бы сравнительная грамматика романских языков, если бы не был известен латинский язык; единственная реальность, с которой она имеет дело, — это соответствия между засвидетельствованными языками. Соответствия предполагают общую основу, но об этой общей основе можно составить себе представление только путем гипотез, притом таких гипотез, которые проверить нельзя; поэтому только одни соответствия и составляют объект науки. Путем сравнения невозможно восстановить исчезнувший язык; сравнение романских языков не может дать точного и полного представления о народной латыни IV в. н. э., и нет основания предполагать, что сравнение индоевропейских языков даст большие результаты. Индоевропейский язык восстановить нельзя...

... Итак, метод сравнительной грамматики применим не для восстановления индоевропейского языка в том виде, как на нем говорили, а лишь для установления определенной системы соответствий между исторически засвидетельствованными языками. Все излагаемое в каком бы то ни было виде в настоящей работе должно разуметься именно в этом смысле даже в тех местах, где, с целью сократить изложение, индоевропейский язык предполагается как бы известным.

При наличии этой оговорки сравнительная грамматика определяется как разновидность исторической грамматики в отношении тех частей языкового

развития, которые не могут быть прослежены на основе документов...

...Приведенные нами определения тем самым устраняют два ошибочных взгляда, противоречащих духу сравнительного метода.

1. Долгое время думали, что индоевропейский язык есть язык первобытный; думали, что сравнительная грамматика позволяет заглянуть в «органический» период языка, когда он складывался и когда устанавливалась его форма. Но ведь индоевропейский язык по отношению к хеттскому, санскритскому, греческому и т. д. есть то же самое, что латинский по отношению к итальянскому, французскому и т. д.; единственное различие заключается в том, что у нас нет такой сравнительной грамматики, которая бы проникала в доиндоевропейское прошлое. Конечно, народности, говорившие по-индоевропейски, должны были стоять на уровне цивилизации, близком к уровню африканских негров или североамериканских индейцев, но в языках негров и индейцев нет ничего «первобытного» или «органического». Каждый из их говоров имеет уже сложившуюся форму и иногда тонкую и сложную грамматическую систему, относящуюся к тому или иному из многообразных типов речи. Сравнительная грамматика индоевропейских языков не бросает ни малейшего света на первые ступени языка. Индоевропейский язык, конечно, не древнее и во всяком случае не «первобытное» египетского языка пирамид и древневавилонского (аккадского).

2. Даже не увлекаясь мыслью, будто сравнительная грамматика может осветить процесс сложения языка, часто пытаются дать индоевропейским формам историческое объяснение. Например, задавались вопросом, не представляют ли личные окончания глагола древних местоимений-суффиксов или не объясняются ли определенными фонетическими изменениями такие чередования гласных, как гр. ειμι, ίμεν — «иду», «пойду», «идем», «пойдем». Но объяснения такого рода, сколько бы правдоподобны они отчасти ни были, не поддаются доказательству. И действительно, объяснить исторически какую-либо форму можно только другой, более древней формой, а в данном случае именно нет этих более древних форм; они не только не засвидетельствованы, но мы не можем даже их сколько-нибудь надежным образом «восстановить» при помощи сравнения. Исторически объяснять индоевропейский язык мы будем в состоянии только тогда, когда будет доказано его родство с другими языковыми семьями, когда, таким образом, окажется возможным установить системы соответствий и при их помощи составить себе представление о доиндоевропейском периоде.

Языковые факты настолько сложны, что не допускают догадок. Было бы наивно объяснять явления французского языка, не зная ни других романских языков, ни латинского; попытки объяснять индоевропейский язык не менее наивны и даже еще более нелепы потому, что мы не знаем самого индоевропейского языка, а имеем

только системы соответствий, которые косвенно дают о нем представление. Поэтому нами оставляются без рассмотрения те гипотезы, которые предлагались для объяснения подробностей индоевропейского словоизменения без какой-либо опоры на соответствия с языками, возводимыми к более древнему источнику.

Здесь мы будем рассматривать только одно: соответствия между различными индоевропейскими языкам и, отражающие древние общие формы; совокупность этих соответствий составляет то, что называется индоевропейским языком.

Ж. ВАНДРИЕС

ЯЗЫК ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ВВЕДЕНИЕ В ИСТОРИЮ[1]
(ИЗВЛЕЧЕНИЯ)

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЯЗЫКА

Самое общее определение, которое можно дать языку, — это назвать его системой знаков. Поэтому исследовать происхождение языка — это значит исследовать, какие знаки естественно были в распоряжении человека и как он принужден был начать ими пользоваться.

Под знаком в данном случае надо понимать всякий символ, способный служить для взаимного общения людей. Так как знаки могут быть различной природы, то и языки могут быть различными. Все органы чувств могут служить базой для создания языка. Есть язык обоняния и язык осязания, язык зрительный и язык слуховой. Мы имеем дел с языком всякий раз, когда два индивидуума условно придают определенный смысл данному действию и совершают это действие с целью взаимного общения. Духи, которыми надушено платье, красный или зеленый носовой платок, торчащий из кармана пиджака, более или менее продолжительное пожатие руки — все это элементы языка, если только два человека условились использовать эти знаки для передачи приказания или сообщения.

Однако же среди всех возможных языков есть один, который доминирует над всеми другими разнообразиями форм выражения, которыми он располагает; это язык слуховой, называемый также произносимой или членораздельной речью; только с этим языком мы будем иметь дело в этой книге. Он иногда сопровождается, а еще чаще заменяется языком зрительным. У всех народов в большей или меньшей степени жест сопровождает слово, мимика лица одновременно с голосом передает чувства и мысли говорящего. Мимика — это зрительный язык. Но письмо — также зрительный язык, как и вообще всякая система сигналов.

Зрительный язык, по всей вероятности, так же древен, как и язык слуховой. У нас нет никакого основания предполагать и во всяком случае никаких доказательств тому, что один из них предшествовал другому.

[1] Перевод под ред. Р. О. Шор.

Большинство зрительных языков, употребляемых ныне, являются только производными от языка слухового. Это верно относительно письма, как мы в этом убедимся в другом месте этой книги; это верно и относительно сигнальных кодов. Код морских сигналов, например, имеет целью дать зрительные эквиваленты словам и фразам существующих языков. Он нам не дает никакого материала относительно происхождения знаков как выразителей мыслей. Тот или иной знак выбран предпочтительно перед другим в результате условности, условности произвольной, но этот произвол предопределен заранее данными условиями. Подобные языки уже по своему существу искусственны.

Но нам известна и естественная форма зрительного языка — язык жестов. Некоторые дикие народы пользуются им наравне с языком слуховым. В этом случае речь идет не о жесте, сопровождающем речь, как это бывает и у цивилизованных народов, речь идет о системе жестов, выражающих без помощи слов мысли, подлежащие сообщению, так же как это могло бы сделать слово. Это язык зачаточный, но имеющий свои преимущества: он может употребляться на таких далеких расстояниях, когда звук не слышен, но движения видны; особенно же он удобен в тех случаях, когда мы не хотим привлечь внимания присутствующих звуком голоса. Школьники пользуются подобным немым способом общения в классе. Следовательно, язык жестов может иметь утилитарное происхождение. Однако же то обстоятельство, что у диких народов особенно часто он употребляется женщинами, подсказывает другое объяснение. Причина, вызывающая различие в языке у двух полов, обычно связана с религией.

Слова, употребляемые мужчинами, запрещено произносить женщинам, поэтому женщинам приходится пользоваться своим специальным словарем, приходится создавать его, приходится даже прибегать к жесту для замены слова. Сохранение языка жестов может, таким образом, быть объяснено религиозными запрещениями. Но каково бы ни было его происхождение, язык жестов — только суррогат слухового языка, к которому он приспосабливается.

Язык глухонемых тоже скопирован с языка слухового. Посредством жеста мы передаем глухонемым приемы обычного языка; мы даем им возможность общаться между собой и читать то, что пишут люди нормальные. Таким способом заменяют работу одних органов чувств работой других, чтобы дать глухонемым возможность обмениваться знаками языка...

...Язык образовался в обществе. Он возник в тот день, когда люди испытали потребность общения между собой. Язык возникает от соприкосновения нескольких существ, владеющих органами чувств и пользующихся для своего общения средствами, которые им дает природа: жестом, если у них нет слова, взглядом, если жеста недостаточно...

...Язык как социальное явление мог возникнуть только тогда, когда мозг человека был .уже достаточно развит, чтобы пользоваться языком. Два человеческих существа могли создать язык для своего пользования только потому, что они были уже готовы к этому. С языком дело обстоит так же, как и с другими человеческими изобретениями. Часто спорили о том, был ли при возникновении языка один язык или их было много. Этот вопрос не представляет никакого интереса. В тот день, когда ум достаточно развит, открытие происходит само по себе в нескольких точках одновременно; оно в воздухе, как принято говорить, его появление предчувствуется, как осенью падение зрелых плодов.

Психологически лингвистический акт состоит в том, чтобы придать знаку символическую значимость. Этот психологический процесс отличает язык человека от языка животного. Неправильно противопоставлять один из них другому, говоря, что второй — это язык естественный, а первый — искусственный и условный. Человеческий язык не менее естествен, чем язык животных, но человеческий язык принадлежит к более высокому порядку явлений в том смысле, что человек, придав знакам объективную значимость, может ее изменять до бесконечности благодаря ее условности. Различие между языком человека и языком животного лежит в оценке природы знака.

Собака, обезьяна, птица понимают себе подобных; у них есть крики, жесты, песни, соответствующие состоянию радости, испуга, желания, голода; некоторые из этих криков так хорошо приспособлены к специальным нуждам, что их почти можно перевести фразой на человеческий язык. И все же животные фраз не произносят. Они не могут изменять элементов своего крика, как бы последний ни был сложен, как мы меняем наши слова, являющиеся в фразе элементами, способными замещать друг друга.

Для животных фраза не отличается от слова. Более того: само это слово, крик или сигнал, как его ни назвать, не имеет независимой объективной значимости. Поэтому слово это не имеет условного значения, а следовательно,, язык животного не способен ни меняться, ни прогрессировать. Нет никаких признаков того, что крик животных был прежде не таким, каков он теперь.

Птица, испускающая крик, чтобы привлечь руку, дающую ей корм, не сознает своего крика как знак. Язык животного предполагает неразрывное соединение знака и обозначаемой им вещи. Для того чтобы эта связь разорвалась и знак приобрел значение, независимое от своего объекта, нужен психологический процесс, являющийся исходной точкой человеческого языка...

...У этого отдаленного нашего предка, мозг которого был еще не приспособлен к рассуждению, язык мог возникнуть в чисто эмоциональной форме. Это должно было быть вначале простое пение, ритмически сопровождавшее ходьбу или ручную работу, крик, похожий на крик животного, выражающий боль или радость,

страх или голод. Затем крик, приобретя символическое значение, стал играть роль сигнала, повторяемого другими, и человек, находя в своем распоряжении этот удобный прием, использовал его для общения с себе подобными, вызывая или предупреждая какое-либо действие с их стороны. Действительно, прежде чем стать средством рассуждения, язык должен был быть средством действия и одним из самых действенных средств, бывших в распоряжении человека. Раз сознание знака возникло в уме, оставалось только развивать это изумительное открытие; усовершенствование речевого аппарата шло вместе с развитием мозга. Внутри первых человеческих объединений закрепление языка происходило по законам, управляющим всяким обществом. В частности, в коллективных церемониях одинаковые речевые или хоровые акты воспроизводились всеми членами группы.

Таким образом, элементы крика или пения приобретали символическое значение, которое каждый индивидуум сохранял затем для личного употребления. И мало-помалу благодаря возрастающей частоте социальных сношений в конце концов установился в своем несравненном богатстве этот сложный аппарат, служащий для выражения чувств и мыслей, всех чувств и всех мыслей.

Эта гипотеза, хотя и недоказуемая, не лишена правдоподобия. Интерес ее — в объяснении того, как язык явился естественным продуктом деятельности человека, результатом приспособления способностей человека к социальным нуждам[1].

Нужно только идти от осознания знака. Овладев сознанием знака, язык развивается дальше путем последовательных дифференциации...

...Попытка найти первоначальные формы языка есть результат уподобления языковедения естественным наукам: геологии, ботанике или зоологии. Это неточное уподобление сослужило плохую службу лингвистике. Если нужно найти для языка какую-либо аналогию, скорее надо было бы ее искать в общественных науках. Мишель Бреаль сравнивал индоевропейское спряжение с значительными политическими или судебными установлениями, парламентами или королевским советом; учреждения эти, рожденные первичной потребностью, мало-помалу дифференцируясь, расширили свои функции до того, что следующая эпоха, найдя их механизм слишком громоздким, часть его отсекла, функции его распределила между различными и независимыми учреждениями, хотя и связанными все же до известной степени (и с очевидным доказательством своего первоначального единства) со своим прототипом.

Это сравнение может быть применено к языку, так как язык есть общественное установление...

[1] «Речь, первое общественное установление, своей формой обязана исключительно естественным причинам» (Ж.-Ж. Руссо, Опыт о происхождении языков).

ЯЗЫК И ЯЗЫКИ

Анализ различных частей языка ... дает о нем только отрывочные и неполные представления. Наше деление языка на звуки, грамматические формы и слова ... было искусственным. Несмотря на то что эти элементы кажутся различными, они теснейшим образом друг с другом связаны, они не существуют отдельно. Они растворяются в единстве языка. Отсюда следует, что задача лингвиста еще не выполнена, когда он произвел анализ этих элементов. Следующая его задача — изучить, как эти элементы существуют в своем единстве, иначе говоря, изучить, как функционирует язык.

Но, приступая к построению общей теории языка, надлежит помнить о двух опасностях. В результате одной из тех антиномий языка, о которых говорит В. Анри, язык в одно и то же время и един и многообразен; он един для всех народов и различен до бесконечности в устах каждого говорящего.

Совершенно ясно, что два человека никогда не говорят совершенно одинаково. Для фонетиста, наблюдающего язык в индивидуальных особенностях, язык ограничивается индивидуумом. Один из основных недостатков описательной фонетики как раз в том, что она принуждает лингвистику исследовать индивидуальные факты. Тот, кто ищет в языке отражения чувств, эмоций, страстей, найдет в нем также только индивидуальные факты. Символ с момента, когда он принят условно, приобретает общее значение. Но частные действия, производящие символы и их выражающие, могут быть наблюдены только изолированно в индивидуальном проявлении. Хотя не точно говорить, что лингвистические нововведения исходят от индивида, но тем не менее верно, что каждый индивид вносит свое в процесс обновления языка. Следовательно, не так уже ошибочно утверждение, что существует столько же разных языков, сколько говорящих.

Но, с другой стороны, не будет ошибочным и утверждение, что существует только один человеческий язык под всеми широтами, единый по своему существу. Именно эта идея лежит в основе опытов по общей лингвистике. Здесь делаются попытки формулировать общие принципы, приложимые ко всякому языку. Действительно, фонетическая система всех языков подчинена одним и тем же общим законам у всех народов; различия, которые мы устанавливаем при переходе от одного языка к другому, зависят от особых условий. Морфология языков, конечно, очень разнообразна, но те три или четыре основных морфологических типа, к которым это разнообразие сводится, не абсолютно различны, так как мы видим, что при развитии языка эти типы переходят один в другой. Точно так же ни один из этих типов не достаточен для полной характеристики языка человека. Что касается словаря, то он основан на следующем принципе: с определенной группой фонем соединяется какое-либо определенное понятие, и этот принцип мы находим во всех языках, он действителен для языка вообще.

Общая теория языка наталкивается, следовательно, с самого начала на трудность определения границ лингвистического исследования; исследователь колеблется между изучением языка индивидуума и языка всего человечества. Но эта трудность ослабляется с того момента, когда мы вместо языка как абстракции берем язык реальный. Язык есть орудие действия и имеет практическое назначение; поэтому для того, чтобы хорошо понять язык, необходимо изучить его связи со всей совокупностью человеческой деятельности, с жизнью.

Мы уже говорили о жизни языка. Признавая всю неточность и двусмысленность этой метафоры, ею все же можно воспользоваться в качестве гипотезы, направляющей исследование, или в методических целях более удобного изложения. Но языковые факты, использованные нами до сих пор, были чистыми абстракциями, созданными лингвистами; говорить о жизни языка в связи со звуками, грамматическими формами и словами, т. е. в связи с тем, что как раз лишено жизни, — это почти нелепость. Жизнь, которой мы теперь займемся, — это совокупность условий деятельности человечества, это действительность в ее бесконечном развитии. Что язык к ней причастен, слишком очевидно. Но в таком случае перед нами не теоретическая система, состоящая из отвлеченных положений. Перед нами самые разнообразные языки, на которых говорят весьма различно на всем земном шаре.

Между языком и языками можно установить такое различие: язык — это совокупность психических и физиологических приемов, используемых человеком при говорении; языки же — это практическое применение этих приемов. Для определения термина «язык» нужно выйти из рамок предыдущих глав и изучить роль, которую речь играет в организованном человеческом обществе...

...Только изучая социальную роль языка, можно составить себе представление о том, что такое язык.

Стало общим местом утверждение, что человек прежде всего существо общественное. Одна из черт, которой лучше всего выражается общественность природы человека, — это, без сомнения, инстинкт, заставляющий группы индивидов осознавать как общее объединяющие их особенности, противопоставляя себя другим группам, члены которых лишены этих особенностей.

Этот инстинкт очень могуществен, и мы его находим во всех подразделениях любого общественного организма; его источник в самом факте группировки...

...В любой общественной группе вне зависимости от ее свойств и величины язык играет важнейшую роль. Он — самая крепкая связь, соединяющая членов группы, в одно и то же время он — символ и защита группового единства. Может ли быть более действительное орудие для утверждения факта существования группы?

Язык так гибок, так богат оттенками, так тонок, так пригоден к самому различному потреблению; он — средство общения между членами группы, условный знак принадлежности к группе.

У каждого члена группы есть ощущение, что он говорит на определенном языке, который не является языком какой-либо из соседних групп. Таким образом, язык приобретает реальное существование в ощущении, общем у всех говорящих на нем. Это определение, на первый взгляд совершенно субъективное, опирается на тот факт, что к ощущению общности языка присоединяется у говорящих стремление к известному языковому идеалу, который каждый из говорящих старается осуществить в своей речи.

Между членами одной и той же группы как бы существует естественно установившееся молчаливое соглашение поддерживать язык таким, как это предписывается нормой. Часто не без основания эту норму считают следствием обычного употребления языка; но употребление не только не произвольно, оно представляет собою полную противоположность произволу. Обычные формы языка всегда определяются интересом языковой общины; этот интерес в данном случае есть необходимость взаимного понимания. Каждый член данной языковой общины поэтому всегда инстинктивно и бессознательно сопротивляется произволу в употреблении языка. Всякое нарушение обычного употребления языка со стороны отдельного говорящего сейчас же исправляется; смех наказывает виновника и отнимает у него желание повторить ошибку. Нарушение употребления приобретает силу закона только тогда, когда все члены общины склонны ее допустить в своей речи, т. е. когда ошибка воспринимается как норма и, следовательно, уже не чувствуется как ошибка.

Правильная речь (языковая норма) поддерживается очень жестоко во всех языковых общинах, во всех говорах. Иногда можно услышать, что даже образованные люди удивляются тому, что в говоре крестьян есть правила и грамматика. Им кажется, что правила существуют только в книгах, которые даются в руки школьнику; по их мнению, язык без письменности не имеет правил. Это ошибка. В говорах наших крестьян, так называемых «пату а», правила более строги, чем в языках, усвоенных из грамматик. В языках письменных иногда бывают колебания, споры: grarnmatici certant *(грамматики спорят),* как говорил Гораций. Говорящие же на говорах почти никогда не колеблются. Послушайте, как отзывается крестьянин о говоре соседней деревни; он в нем найдет сейчас же отличия, едва заметные постороннему уху; он с гордостью заявит, что только он и его односельчане говорят правильно и хорошо и что по ту сторону ручья или долины речь уже перестает быть правильной.

У человека из народа обыкновенно очень точное представление о своем языке; он чувствует с редкой тонкостью малейшие нарушения нормы. Малерб считал, что у грузчиков Port-au-foin наиболее верное чувство языка; он называл их своими учителями языка.

Известно, какая неудача постигла на афинском рынке Теофраста, родом с острова Лесбоса. Он спросил цену какого-то товара, и простая женщина узнала в нем чужестранца по его языку. Если мы сомневаемся в каком-либо языковом факте, нам надо обратиться к народу за разъяснением. Академии могут спорить о том, какого рода французское слово automobile, мужского или женского, и нагромождать доказательства на доказательства; это — теория. На практике народ сразу же решил, что это слово женского рода. Если было кратковременное колебание, то это потому, что во многих случаях род этого слова не мог быть выявлен грамматически. Это равноценно тому, что во многих случаях своего употребления это существительное не имеет рода вообще, но во всех случаях, где род грамматически обнаруживается, слово получило женский род: une belle, une grande automobile; l'automobile est verte ou grise.

Язык каждой группы приобрел четкие грани благодаря этому стремлению к правильности и уверенному закреплению нормы. Но мы нигде не найдем образцового языка, если вздумаем его искать. Многие говорят по-французски, но нет говорящих на образцовом французском языке, который мог бы служить нормой и примером для других. Того, что мы называем образцовым французским языком, не существует в речи ни одного говорящего по-французски. Поэтому праздное занятие задавать вопросы: где говорят на лучшем французском языке? Наилучший французский язык — это «идея» в том смысле, который придавал этому слову Лабрюйер; это — фикция, как и мудрец стоиков, который должен был быть совершенным, добрым, здравым телом и духом, если только, как кто-то сказал, его не мучит отрыжка. Наш лучший французский язык может потерять свое совершенство от любой ошибки памяти, ослышки или же обмолвки. Этот правильный язык — идеал, к которому стремятся, но которого не достигают; это — сила в действии, определяемая целью, к которой она движется, это — действительность в возможности, не завершающаяся актом; это — становление, которое никогда не завершается.

* * *

Можно обобщить сказанное, определив язык как идеальную лингвистическую форму, довлеющую над всеми индивидами данной социальной группы.

Теперь надо определить, что такое социальная группа. Этому в сущности будут посвящены следующие главы, так как характер языка зависит от природы и объема группы. Во Франции рядом с литературным языком, на котором везде пишут и который претендуют воплотить в своем говоре образованные люди, существуют диалекты, например диалект Франш-Контэ или Лимузена; эти диалекты в свою очередь подразделяются на многочисленные местные говоры. Здесь перед нами столько же язы-

ков, сколько их группировок. С другой стороны, внутри одного и того же города, как, например, Париж, есть налицо известное число различных языков, как бы наслаивающихся друг на друга; язык салонов — это не язык казармы, язык буржуа — это не язык рабочих; есть жаргон судейских, есть арго предместий. Эти языки часто настолько различны, что можно прекрасно знать один из них; совершенно не понимая другого.

Разнообразие этих языков зависит от сложности общественных отношений. А так как очень редко бывает, чтобы отдельный индивид жил замкнуто в пределах одной только общественной группы, то почти нет языка, который не распространялся бы на различные группы. Каждый член группы, перемещаясь, несет с собой язык своей группы, и его язык влияет на язык соседней группы, в которую он входит.

Две соседние семьи имеют не совсем одинаковый язык, но разделяющее их различие в языке, даже если оно содержит в зародыше основу для деления, могущую укрепиться в будущем, в настоящий момент так мало чувствуется, что мы можем его не учитывать. Кроме того, язык, на котором общаются эти две семьи, неизбежно унифицируется, так как взаимное сношение стремится с первого дня ослабить различия и установить общую норму. Представим себе для примера двух братьев, живущих вместе, но имеющих разные специальности. Каждый из них в мастерской будет соприкасаться с другой языковой группой, которая передаст ему неизбежно свой язык вместе с навыками мысли, занятиями, орудиями производства. Но это различие в языке двух братьев, которое устанавливается ежедневно и которое при отсутствии общения могло бы заставить их «заговорить на разных языках», будет стираться каждый вечер при их встречах. Таким образом, их язык в течение суток будет подчиняться попеременно двум противоположным тенденциям, постоянно очищаясь в их взаимном общении от приносимых извне дифференцирующих его элементов.

В этом случае мы имеем хороший пример борьбы за равновесие, борьбы, образующей закон всякого развития языка: Две противоположные тенденции увлекают языки по двум противоположным направлениям. Одна из них — тенденция к дифференциации. Развитие языка, как мы его набросали в предыдущих главах, приходит все к более и более дробному делению языков; в результате получается дробление, увеличивающееся по мере употребления языка; язык отдельных говорящих индивидов, предоставленных самим себе, без всякого общения друг с другом, роковым образом обречен на такое дробление. Но дифференциация никогда не завершается. Серьезное препятствие становится на пути такой дифференциации; дело в том, что, уменьшая все сильнее объем групп, общению которых язык служит, эта дифференциация лишила бы язык права на существование; язык должен был бы уничтожиться, став непригодным для общения между людьми. Поэтому против стремления к дифференциации беспрерывно действует тенденция

к унификации, восстанавливающая нарушенные отношения. Различные типы языков, диалектов, специальных языков, общих языков... возникают в борьбе этих двух противоположных языковых тенденций...

РОДСТВО ЯЗЫКОВ И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ МЕТОД

Термин «родство» в приложении к языкам двусмыслен и часто вводит в заблуждение людей, мало знакомых с наукой о языке. Но даже некоторые лингвисты, что менее простительно, принимали иногда эту метафору всерьез и строили для языков генеалогические таблицы. Эти лингвисты считали возможным говорить, что, например, французский и итальянский языки родились от латинского языка, говорить о языках-отцах, сыновьях и братьях. Это неудачная терминология, так как она дает неверное представление об отношении языков друг к другу. Нет ничего общего между «родством» языков и родством в физиологическом смысле слова.

Один язык не рождается от другого; ни один лингвист не смог бы указать момента, когда это «рождение» происходит. Говоря, что французский язык происходит от латинского, мы этим только хотим сказать, что французский язык — это форма, которую принял латинский язык в определенной стране в определенную эпоху. Во многих отношениях французский язык — тот же латинский язык. Как бы мы далеко ни проследили историю французского языка, мы найдем только различные его состояния, образующие ступени и приближающие нас мало-помалу к латинскому языку. Однако совершенно невозможно указать момент, где кончается латинский язык и где начинается французский. В истории французского языка есть пропуски; как раз те периоды этого языка, о которых у нас мало материала, играли решающую роль в образовании французского языка. С другой стороны, развитие французского языка, уведшее его так далеко от латыни, не всегда шло равномерно. Но, несмотря на разнообразие перипетий развития, между латинским и французским языками существует историческая преемственность, составляющая родство этих двух языков. Мы здесь касаемся той стороны языка, которую можно назвать «преемственностью».

Другая же сторона языка открывается перед нами, когда мы к нему подходим синхронически.

Пользуясь нашими выводами относительно естественного дробления языков, мы легко можем применить термин «родство» к двум диалектам, происходящим из одного языка. На протяжении известной территории язык, первоначально однородный, распадается на несколько диалектальных групп, из которых каждая имеет свои особенности, захватывающие большее или меньшее число соседних групп. Эти группы называются родственными и остаются ими, каким бы изменениям ни подверглась каждая из них. Как бы ни было велико расхождение между исходным общим языком и диалектами, явившимися в результате дробления, мы должны

считать их все родственными между собой, если это родство доказывается исторически.

...Сравнительный метод есть только распространение исторического метода на прошлое. Он заключается в применении к эпохам, от которых до нас не дошло никаких документов, метода, применяемого к эпохам историческим...

...Соединяя в одно общие черты всех этих языков, мы образуем то, что называется сравнительной грамматикой индоевропейских языков. Эта грамматика стоит над целым рядом сравнительных грамматик более ограниченного объема: сравнительной грамматикой романских языков, сравнительной грамматикой славянских языков, сравнительной грамматикой германских языков и т. д. Каждая из этих сравнительных грамматик восстанавливает часто чисто схематически языковое состояние, называемое, например, общегерманским или, скажем, общеславянским языком, и из которых каждое представляет аналогию с вульгарной латынью (или общероманским языком) — результатом реконструктивной работы сравнительной грамматики романских языков. Существование латыни дает романистам особенно прочную основу для их выводов; славистам и германистам часто приходится жалеть, что нет праславянских и прагерманских текстов, какие дали бы их реконструкциям драгоценное подтверждение. Но не нужно преувеличивать невыгод положения германистов и славистов сравнительно с романистами. Для последних латынь служит только контролем; они строят свои гипотезы, не заботясь о латыни, и иногда при проверке могут с удовлетворением констатировать свою правоту против латыни. Предполагаемый общий язык, восстанавливаемый под именем народной латыни, часто имеет для романиста больше значения, чем классическая латынь, дошедшая до нас в книгах. Классическая латынь часто служит романистам только для восстановления народной латыни, в одно и то же время исходной и конечной точки их исследовательской работы.

Лингвисты, восстанавливающие индоевропейский праязык, оперируя главным образом гипотетическими .реконструированными формами языков, осуждены на работу в крайней степени схематическую. Индоевропейский язык, восстанавливаемый учеными, лишен какой бы то ни было конкретной реальности; это, как было сказано, «только система соответствий». Отсюда следует, что самый глубокий знаток индоевропейского праязыка не сможет сказать на этом языке такую простую фразу, как *лошадь бежит* или *дом большой.* Самое большее, что мы знаем об этом языке, сводится к принципам его грамматического строя; никто не может говорить на этом языке, но всякий лингвист должен знать, какие были грамматические категории в этом языке, как они в нем выражались, каково было значение его суффиксов и окончаний.

А это основное, так как эти грамматические сведения дают нам возможность языковыми средствами восстанавливать исторические связи, соединяющие языки друг с другом. Сравнительный метод, хотя он направлен в глубокое прошлое, имеет значение только для поздних эпох, объясняя детали языков, дошедших до нас в текстах. Наиболее ясная ценность сравнительной грамматики индоевропейских языков заключается в определении родственных связей этих языков между собой...

...Из всего этого вытекает как ценность сравнительного метода, так и присущие ему недостатки. Он опирается исключительно на языковые принципы и может рассчитывать только на слабую помощь смежных наук. Действительно, надо остерегаться смешивать родство диалектов, вытекающее из их сравнения, с родством рас и родством культур. Это три различные научные области...

...Сравнительная грамматика представляет собой систему, в которой языки классифицированы по своим характерным чертам и распределены по языковым семьям. Сопоставляя звуки и формы, ученые ясно очерчивают новые черты каждого языка, противопоставленные пережиткам более древнего периода. Лингвистам удалось выяснить предысторию индоевропейских языков. Но они не знают тех, кто говорил на этих языках. Они не могут сказать, каковы были предки греков или германцев, римлян или кельтов. Они знают только, через какие изменения прошли прагерманский и прагреческий, праиталийский и пракельтский, прежде чем они приняли ту форму, которая нам известна из древнейших текстов. Даже названия, которые они дают восстанавливаемым ими языкам, чисто произвольные и условные. Если мы отбросим лингвистическое значение слова *индоевропейский,* то обнаружим, что оно не имеет никакого смысла, так же как и *праиталийский, пракельтский* и *прагерманский.* Эти слова имеют смысл только для лингвистов...

...Предоставленный своим собственным силам, сравнительный' метод иногда обнаруживает свое бессилие. Он предполагает, что развитие языков совершалось правильно, беспрерывно, без внешнего случайного вмешательства. Хотя сравнительный метод есть продолжение исторического исследования, он пренебрегает историей, так как он пользуется только теоретическими данными, беря исторический процесс упрощенным, сведенным к правильной последовательности причин и следствий, лишенным всего того, что составляет действительную сущность исторического процесса, — сложности и разнообразия. Можно сказать, что сравнительный метод подчиняется в этом роковой неизбежности, оставляя

вне поля своего зрения политические и социальные условия, в которых развился язык, он восстанавливает предысторию языка посредством лингвистических средств. На этой почве сравнительный метод чувствует себя твердо, так как опыт доказывает непрерывность языкового процесса, но отсутствие всяких точных данных об условиях исторического процесса в значительной мере уменьшает ценность выводов сравнительного метода относительно языкового родства. Приходится считать родственными языки похожие. Но этот метод опасен. Попадаются в природе иногда родственники, похожие настолько, что их принимают одного за другого, но не все двойники — родственники. В лингвистике, как и вообще в жизни, сходство бывает обманчиво.

Особенно не следует доверять сходству в словаре. Этимология нас учит, что в языках, историю которых мы знаем, слова, близкие или даже вполне совпадающие по форме, могут иметь совпадающее значение, будучи совершенно разного происхождения...

...Но, даже ограничивая свое исследование грамматическими критериями, мы не можем уйти от трудностей, ибо и грамматика дает почву для различных толкований. Устанавливая родство диалектов между собой на основании сходства их грамматического строя, мы предполагаем, что этот строй изменяется правильно и беспрерывно. Но что же доказывает нам эту беспрерывность?

Известно, как много внешних обстоятельств влияет на морфологию. Пока морфология затронута только в своих поверхностных и второстепенных слоях, в ней сохраняются характерные черты, достаточные для определения языкового родства. Но можно себе представить такую крайнюю степень изменения языка, когда он под влиянием повторного воздействия объединит в себе почти в равной мере грамматические особенности двух соседних языковых семейств. Это, надо сказать, случай очень редкий, приведенный нами выше под названием гибридизации. Всем известно, насколько гибридизация затрудняет классификацию в естественных науках, нарушая ее порядок и единство. В случаях гибридизации грамматический критерий становится недействительным.

Этот же критерий становится совершенно недействительным в случаях, когда грамматические изменения происходили быстро или известны нам только с такими большими пробелами во времени, что в двух данных языках, хотя имеющих общего предка, уже нет ничего общего. Если бы мы знали французский язык только в его устной современной форме, если бы мы, кроме того, не знали других романских языков и латыни, то не так уже легко было бы доказать, что французский язык принадлежит к языкам индоевропейским. Несколько грамматических деталей, как противопоставление И est и ils sont (произносится ilè, ison), или же форма числительных или личных местоимений плюс несколько словарных фактов, как, например, термины родства, — вот и все, что сохрани-

лось во французском языке от индоевропейского. Почем знать, может быть, нашлись бы более серьезные основания, чтобы причислить тогда французский язык к языкам семитским или финно-угорским?

На земном шаре, быть может, существуют не открытые еще индоевропейские языки; лишенные истории и принадлежа бесписьменному населению, они могли потерять все признаки, могущие показать их происхождение. Применяя вполне правильно наш метод, мы не можем доказать, что эти языки родственны греческому, латыни или санскриту. И точно так же на основании нашего метода приходится утверждать, что в равной мере невозможно доказать, что данные два языка не родственны друг другу...

...На основании этих соображений следует признать, что определение родства языков — вещь относительная. Оно зависит прежде всего от количества языковых свидетельств; эти свидетельства, подкрепляемые политической и социальной историей, и составляют более ил и менее внушительную совокупность доказательств; когда же мы имеем дело с языками, история которых нам неизвестна, то определение родства зависит также от богатства и разнообразия грамматических форм; наконец, внутри одной и той же языковой семьи родство языков часто затемняется взаимным воздействием одного языка (диалекта) на другой.

Некоторые лингвисты-теоретики могут сказать, что эта относительность не важна. Для них родство языков и диалектов существует как абсолютная норма, вне зависимости от какого бы то ни было доказательства. Они выводят, действительно, это родство из сознания и желания говорящих пользоваться тем же языком, что и их отцы. И в самом деле, в большинстве случаев чувство языковой непрерывности само по себе уже достаточно для установления родства языков. Но следует учитывать возможность ошибки самих говорящих: раз возможна гибридизация, соединяющая в одном языке характерные черты двух языков, то может случиться, что говорящий перейдет с одного языка на другой незаметно для самого себя. Таким образом, поколение переменит язык, не замечая этого. Это, понятно, редкий случай, который невозможен у культурных народов, но вполне допустим при некоторых языковых и социальных условиях. Мы все же должны учесть и такую возможность. Эта возможность крайне неблагоприятна для определения родства языков. В этом случае уже не только доказательство родства становится невозможным, но и самое понятие родства стирается и исчезает.

К счастью, родство большинства языков, особенно языков с хорошо известной нам историей, определено с большой точностью. Лингвистам удалось установить такие крупные языковые семьи, как индоевропейскую, семитскую, финно-угорскую, банту, малайско-полинезийскую и др. Родственные связи между языками этих

семей в некоторых частностях еще неясны, но в общем не внушают сомнения. Нет никакого сомнения и в том, что прогресс сравнительного языковедения даст нам возможность увеличить число языковых семей, установленных вполне точно...

ПРОГРЕСС В ЯЗЫКЕ

...Прежде всего нужно уточнить значение выражения «прогресс в языке». Люди, употребляющие его, чаще всего переносят в лингвистику мысль, заимствованную из истории литературы. В течение долгого времени привыкли в науке о литературе рассматривать понятие прогресса как догму; эволюцию литературных жанров оценивали или как движение к прогрессу, или же как упадок. Это — классическое представление, согласно которому искусство, достигнув высшей точки, приходит в упадок, и начинается порча вкуса. Филологи-классики перенесли это представление в науку о языке, полагая, что высшей точки развития после долгих усилий язык достиг в греческом и латинском и что затем он стал клониться к упадку...

...Эстетическая и утилитарная ценность языка не должны приниматься во внимание при оценке прогресса языка. Талант писателей в период высокой литературной продукции, национального расцвета и политической гегемонии может сделать язык как бы совершенным и тем самым создать ему славу на всем земном шаре.

Такова была судьба греческого языка в аттическую эпоху, латинского языка в век Августа, французского языка в XVII — XVIII вв. Но вопрос о прогрессе в языке надо ставить, отвлекаясь от преходящих достоинств того или иного языка. Достоинства языка и степень его развития — вещи разные; на основании первых нельзя судить о второй, даже если ограничиться какой-либо одной стороной языка — звуками или грамматическими формами.

Есть языки более и менее мелодичные и плавные, есть языки более трудные для произношения. Однако фонетические изменения в языке не зависят от желания говорящих придать произношению то или иное недостающее ему качество. Кроме того, оценка этих качеств языка в большей мере есть дело личного вкуса и, следовательно, вносит в обсуждение прогресса языка субъективный элемент, тем самым опорочивая его результаты.

В отношении морфологии тоже трудно оправдать идею прогресса, ограничивая свое рассмотрение грамматической структурой. Приблизительно сорок лет назад пользовалась большим успехом теория, учившая, что все языки неизбежно проходят через три стадии: изолирующую (корневую), агглютинирующую и флективную. Согласно этой теории, каждый из известных языков находится на одной из этих стадий в зависимости от его развития. Так намечался прогресс языка с грамматической точки зрения.

Сказанного нами раньше о морфологических изменениях и отношениях между словами и морфемами достаточно, чтобы понять ошибочность этого взгляда на историю языка. Нет никакого сомнения в том, что грамматические элементы часто возникают в результате снашивания ранее самостоятельных слов; можно иногда определить по словарю происхождение некоторых суффиксов и даже окончаний, которые время сковало с определяемыми ими словами; так языки обновляют свою морфологию, агглютинируя самостоятельные первоначально элементы. Кроме того, фонетическое снашивание укорачивает слова, уничтожает флексии, и язык, становясь из полисиллабического моносиллабическим, возвращается к изолирующей (корневой) стадии.

Но эти различные «стадии» — результат процессов, происходящих одновременно во всех языках, процессов, захватывающих морфологию языка во всех ее частях; их временный успех или неуспех всегда связан с особыми условиями, в которых находится данный язык. Помимо того, морфологическое изменение языка никогда не бывает полным; рядом с новыми формами продолжают существовать в языке старые формы; в языках с длительным развитием, как, например, французский или английский, можно наблюдать одновременно грамматические черты, относящиеся к различным «стадиям» и объединенные в одной системе...

...Никогда не нужно забывать, до какой степени всякий новый факт в языке непрочен. В языке нет прочных, окончательных приобретений, обеспечивающих богатство усвоившего их языка. Всякое приобретение ненадежно и чаще всего уравновешивается убылью.

...Устанавливая, таким образом, баланс потерь и прибылей любого морфологического развития, мы никак не можем вывести из него идеи прогресса. Каждое из изменений, претерпеваемых языком, относится к какому-либо из отдельных фактов и не имеет общего значения.

Правда, один и тот же язык в различные периоды своей истории выглядит по-разному; его элементы изменяются, восстанавливаются, перемещаются. Но в целом потери и прирост компенсируют друг друга. Мы уже объяснили, почему язык, развиваясь естественно, не может достичь логического совершенства, искусственно придаваемого выдуманным языкам. Различные стороны морфологического развития напоминают калейдоскоп, встряхиваемый бесконечное число раз. Мы каждый раз получаем новые сочетания его элементов, но ничего нового, кроме этих сочетаний. Все зависит, однако, от руки, которая встряхивает калейдоскоп.

Языковое развитие находится в тесной зависимости от исторических условий; между языковым развитием и социальными условиями, в которых развивается язык, есть очевидная зависимость.

Развитие общества увлекает язык по какому-либо определенному пути. Следовательно, мы вправе задаться вопросом, нет ли в истории языка как бы отражения истории культуры. Проблема прогресса в языке, рассматриваемая с этой точки зрения, предстает перед нами в совершенно новом свете; эту новую концепцию развития языка нам теперь надо рассмотреть.

* * *

Уже не раз указывали на то, что скорее развиваются те языки, которые больше перемещаются, на которых говорит большее число людей, более разнообразное по своему составу. Такие языки, распространяясь на области, где они приходят в соприкосновение с другими языками, действительно теряют свои наиболее специфические черты, они быстро изменяются под влиянием различных языков...

...Даже наша умственная деятельность регулируется социальными причинами. История языков, если она захватывает большой период времени, дает нам возможность констатировать влияние социальной эволюции на склад ума говорящих на этих языках. Была отмечена общая тенденция языков освобождаться от мистических черт и становиться более интеллектуальными, а также заменять конкретные выражения отвлеченными. Грамматический строй индоевропейских языков значительно более субъективен и конкретен в древних своих слоях сравнительно с более поздними. Категория времени выражается в нем в более субъективном аспекте длительности, но на протяжении веков понятие времени, как таковое, все более и более входит в языки и выражается ими.

Изучение языков дикарей подтверждает то, что дает нам история. В этих языках представлено лингвистическое состояние, на котором не отразилось почти совсем или в очень небольшой степени то, что мы называем культурой. Они изобилуют конкретными и частными категориями и этим отличаются от языков культурных народов, в которых все меньше частных категорий и все больше категорий общих и абстрактных...

...Само собою разумеется, что, изучая в данном случае психические процессы, лежащие в основе языка, мы отвлекаемся от грамматических условий, в которых этот язык осуществляется. Это две стороны, которые надо тщательно различать. Слабая способность к абстракции еще не исключает грамматической сложности. Невозможно установить никакого соотношения между природой категорий сознания и числом или сложностью грамматических категорий. Последняя зависит прежде всего от силы памяти, а у дикарей память обыкновенно очень развита. Их жизненные нужды настоятельно требуют от них сильно развитой памяти. У них нет

многочисленных приемов культурных народов, дающих этим последним возможность жить со слабой памятью. Как кажется, никто еще не изучал влияния состояния памяти на развитие языка. Однако же тот факт, что некоторые языки дикарей богаты различными формами и на долгом пути развития сохраняют это, иногда чрезвычайное, богатство сложнейших форм и словаря, очевидно, связан с особенным развитием памяти. Память есть по существу элемент консервативный. Следовательно, не в грамматической структуре надо искать отражения различия уровней культуры, а в том, насколько выражены в языке конкретные подробности. Есть определенное соотношение между степенью культуры, с одной стороны, и большей или меньшей конкретностью категорий мышления — с другой.

При толковании приведенных выше примеров надо учитывать связь между движением языка к абстракции и развитием культуры. Мы знаем, что язык есть отражение человеческого сознания и что по языку мы можем судить о мышлении, создающем этот язык. Мышление культурного человека более способно к абстракции, чем мышление первобытного человека, так как условия культурной жизни направляют ум к отвлеченному за счет конкретного. Торговля предполагает подсчеты, т. е. рассуждение; развитие политической жизни также благоприятствует привычке и вкусу к общим понятиям; и вообще мысль развивается от конкретного к абстрактному. Мы можем судить по самим себе, сравнивая себя со своими ближними, как велико может быть различие, с точки зрения степени отвлеченности, между двумя мышлениями...

...Можно вообразить себе условия, при которых французский язык возвратится вспять и вновь проделает ту дорогу, по которой он пришел к своему нынешнему состоянию. От выражения отвлеченной мысли он перейдет к конкретной. Он наполнится мистическими и субъективными категориями. Будет ли это прогрессом или регрессом? Говоря с точки зрения науки о языке, — ни тем, ни другим. Мы в нашей оценке должны отвлечься от выгод и невыгод, связанных с изменением культуры, даже от возвращения к тому, что называется варварством. Мы не имеем права считать отвлеченный и рассудочный язык более совершенным, чем язык конкретный и мистический, только потому, что первый принадлежит нам. Это два различных мышления, каждое из которых может иметь свои достоинства. Ничем нельзя доказать, что в глазах обитателя Сириуса мышление культурного жителя Земли не есть вырождение.

Из всего этого видно, что надо понимать под гипотезой прогресс в языке. Об абсолютном прогрессе, очевидно, не может быть речи, так же как и об абсолютном прогрессе в морали. Есть различные состояния, которые сменяют друг друга и в каждом из которых господствуют определенные законы, являющиеся результатом

равновесия действующих в них сил. Так дело обстоит и в языке. Некоторый относительный прогресс в истории языков все же можно отметить. Различные языки в различной степени приспособлены к различным состояниям культуры. Прогресс языка сводится к тому, что данный язык по возможности лучше приспособляется к потребности говорящих на нем. Но как бы действителен ни был этот прогресс, он никогда не бывает окончательным. Характерные черты языка поддерживаются до тех пор, пока говорящие на нем сохраняют те же навыки мысли, но эти черты изменяются, изнашиваются и исчезают. Неверно представление о языке как об идеальной сущности, развивающейся независимо от человека и преследующей свои собственные цели. Язык не существует вне тех, кто думает и говорит на нем. Он коренится в глубинах индивидуального сознания; оттуда он берет свою силу, чтобы воплотиться в звуках человеческой речи. Но индивидуальное сознание — только один из элементов коллективного сознания, диктующего свои законы индивидууму. Развитие языков, следовательно, есть только один из видов развития общества. В нем не следует видеть беспрерывного движения к определенной цели. Дело лингвиста выполнено, когда он обнаружил в языке игру социально-исторических сил и взаимодействий.

Э. БЕНВЕНИСТ

О ПРИРОДЕ ЯЗЫКОВОГО ЗНАКА[1]

Теория языкового знака, в настоящее время принятая или, по крайней мере, подразумеваемая в большинстве работ по общей лингвистике, восходит к Ф. де Соссюру. И очевидной истиной, не сформулированной явно, но бесспорной, считается утверждение, что, по мнению Соссюра, языковой знак по своей природе произволен. Эта формула получила признание. И теперь всякое исследование, посвященное сущности языка или различным свойствам речи, обязательно начинается с декларации о произвольности языкового знака. Этот принцип применяется настолько широко, что на него неминуемо наталкиваешься в любой области лингвистики. Тот факт, что этот принцип упоминается повсюду, и то, что он повсюду рассматривается как очевидный, — вот уже два достаточных повода, чтобы попытаться выяснить, в каком смысле Соссюр говорил о произвольном характере знака и какова природа выдвинутых им доказательств.

Положение о произвольности знака в «Курсе общей лингвистики» основано на весьма простых соображениях. *Знаком* называется «целое — результат объединения означающего [= акустический образ] и означаемого [= понятие]...». «Так, идея «сестра» никаким внутренним отношением не связана со сменой звуков s-ö-r (soeur), служащей во французском языке ее «означающим»; она могла бы быть выражена любым другим сочетанием звуков; это может быть доказано различиями между языками и самим фактом существования различных языков; означаемое «бык» выражается означающим b-ö-f фр. boeuf) по одну сторону лингвистической границы и o-k-s (нем. Ochs) по другую сторону. Отсюда делается вывод, что «связь между означающим и означаемым произвольна» или, попросту, что «языковый знак произволен». Под «произвольностью» знака Соссюр понимает его *немотивированность:* «означающее *немотивировано,* т. е. произвольно по отношению к означаемому, с которым у него нет в действительности никакой естественной связи». Эта особенность должна объяснять тот факт, в котором она сама проявляется: обозначения для любого понятия изменяются во времени и в прост-

[1] E. Benveniste, Nature du signe linguistique, «Acta linguistica», vol. I, fasc. 1 (1939). Перевод И. А. Мельчука.

ранстве и, следовательно, не имеют с понятием никакой необходимой связи.

Мы не собираемся оспаривать этот вывод с точки зрения других принципов или каких-либо иных определений. Речь идет о том, чтобы проверить, нет ли в этом выводе внутреннего противоречия и вытекает ли из него (если принять двусторонность знака, — а мы ее принимаем), что языковой знак следует считать произвольным.

Из приведенной выше цитаты видно, что Соссюр рассматривает языковой знак как состоящий из означающего и означаемого. Существенно, что под означаемым он имеет в виду *понятие.* Соссюр прямо пишет, что «языковой знак связывает не вещь и имя, но понятие и акустический образ». Несколько ниже Соссюр утверждает, что знак произволен по своей природе, потому что у негр нет никакой естественной связи с означающим,

В этом рассуждении содержится ошибка: неосознанное и незаконное обращение к третьему члену, который не участвует в исходных определениях. Этот третий член не что иное, как сама вещь, *действительность.* Утверждая, что понятие *сестра* не имеет необходимой связи с означающим s-ö-r, Соссюр не может не иметь в виду *действительность,* соответствующую этому понятию. Говоря о различии между b-ö-f и o-k-s, он невольно обращается к тому факту, что эти оба термина относятся к одной и той же *действительности.* И, таким образом, вещь, нарочно исключенная сначала из определения знака, проникает в него с заднего хода и порождает в нем противоречия. Ведь если мы справедливо примем, что язык — это *форма,* а не *субстанция,* мы должны будем принять — и Соссюр сформулировал это совершенно отчетливо, — что лингвистика является наукой, изучающей исключительно формы. А если так, то еще более настоятельной становится необходимость полностью исключить «субстанцию» *сестра* (или *бык)* из рассмотрения знака. Ведь только если мыслить животное «бык» как нечто совершенно конкретное и «субстанциальное», приходится считать «произвольным» соотнесение означающих böf, с одной стороны, и oks — с другой, с одной и той же действительностью. Иначе говоря, существует противоречие между подходом Соссюра к определению языкового знака и существенными свойствами, которые он приписывает знаку.

Подобная ошибка в строгом рассуждении Соссюра объясняется, как мне кажется, не просто случайным ослаблением его внимания. Я скорее готов видеть в ней проявление отличительной черты «историчного» и релятивистского мышления конца XIX века, обычный экскурс в область философских рефлексий, которыми отличается сравнительный подход. Так, например, если рассматривать реакции, вызываемые одним и тем же явлением у представителей различных народов, то бесконечное разнообразие поведения и мнений приводит к выводу о том, что ничто не является необходимым. От всеобщего несходства реакций делается вывод о всеобщей случайности этих реакций.

Соссюровская концепция в известной мере близка такому образу мыслей. Решить, что языковой знак произволен потому, что то же самое животное называется в одной стране boeuf, а в другой — Ochs, это все равно, что считать понятие траура «произвольным», поскольку символом траура в Европе служит черный цвет, а в Китае — белый. Произвольность существует здесь только для бесстрастного наблюдателя с Сириуса или для того, кто ограничивается констатацией внешней связи между объективной действительностью и человеческим поведением, из-за чего он и не может увидеть чего-либо, кроме случайности. Конечно, по отношению к одной и той же действительности все наименования равноправны; самый факт их одновременного существования доказывает, что ни одно из них не может претендовать на роль «абсолютного» наименования. Это верно. Это даже слишком верно — и поэтому малопоучительно. Настоящая проблема гораздо глубже. Она состоит в том, что, наблюдая внешние проявления какого-либо феномена, мы должны вскрыть его внутреннюю структуру и описать соотношение между этой структурой и множеством внешних проявлений данного феномена.

Все это относится и к языковому знаку. Один из компонентов знака, акустический образ, — это означающее; второй компонент, понятие, — означаемое. Связь между означающим и означаемым отнюдь не произвольна; напротив, она *необходима.* Понятие («означаемое») *бык* неизбежно ассоциируется, в языковом сознании француза, с последовательностью звуков — «означающим» böf. Как же может быть иначе? Ведь и понятие и соответствующая последовательность звуков вместе запечатлены в мозгу; в сознании они также возникают только вместе. Между ними существует столь тесный симбиоз, что понятие *бык* является как бы душой акустического образа böf. Разум не терпит пустых форм и неоформленных понятий. Соссюр сам писал: «В психологическом отношении наше мышление, если отвлечься от его выражения словами, представляет собой аморфную и смутную массу. Философы и лингвисты всегда сходились в том, что без помощи знаков мы не умели бы с достаточной ясностью и постоянством отличать одно понятие от другого. Взятое само по себе мышление похоже на туманность, где ничто не разграничено- Нет предустановленных идей, и нет никаких различий до появления языка».

Верно и обратное: разум принимает только такие звуковые формы, которые служат носителями представлений, идентифицируемых с помощью этих форм. В противном случае звуковые формы отбрасываются как чужие или неизвестные. Означающее и означаемое, акустический образ и мысленное представление — это две стороны одного и того же. Означающее является звуковым воплощением понятия, а понятие — мысленным соответствием означающего. Отсюда вытекает структурное единство языкового знака. Здесь уместно еще раз напомнить слова самого Соссюра: «Язык можно также сравнить с листом бумаги: мысль — это лице-

вая, а звук — оборотная сторона листа; мы не можем разрезать лицевую сторону, не разрезав в то же время и оборотной стороны. Точно так же в языке невозможно отделить ни звук от мысли, ни мысль от звука. Этого можно достигнуть лишь посредством абстракции, что неизбежно приведет либо к чистой психологии, либо к чистой фонологии». То, что Соссюр говорит здесь о языке, полностью относится к языковому знаку, в котором, безусловно, запечатлены существенные свойства языка.

Итак, мы видим, что зону «произвольного» можно ограничить. То, что именно этот, а не другой знак применяется для обозначения того, а не другого элемента действительности, — это в самом деле произвольно. В этом, и только в этом, смысле можно говорить о случайности. Однако признание этого положения еще не позволяет решить нашу проблему. Вообще нам придется по крайней мере на время отказаться от ее рассмотрения. Ведь эта проблема — пресловутая проблема φύσει или θέσει, и ее можно решить лишь путем декретирования. В самом деле, это переведенная на язык лингвистики метафизическая проблема соответствия между разумом и миром. Быть может, когда-нибудь лингвисты будут в состоянии успешно разрабатывать эту проблему, однако в данный момент для них лучше оставить ее в покое. Объявить отношение (между вещами и их знаками) произвольным — это способ лингвиста отмежеваться от указанной проблемы и одновременно от ее решения, которое бессознательно выдвигается говорящими. Для говорящих язык полностью адекватен действительности: знак покрывает собой действительность, доминирует над ней; более того, знак *является* действительностью (nomen omen, табу в языке, магическая сил» слова и т. д.). По правде говоря, носитель языка и лингвист смотрят на связь между вещами и знаками со столь различных точек зрения, что утверждение лингвиста о произвольности обозначений не отрицает прямо противоположных убеждений носителя языка. Однако все это нисколько не затрагивает природу языкового знака, если определять его так, как это сделал де Соссюр: ведь суть этого определения именно в том, что во внимание принимается только отношение между означающим и означаемым. Тогда сфера произвольного оказывается за пределами языкового знака.

Поэтому вряд ли следует отстаивать принцип «произвольности знака» против возражений, которые делают, ссылаясь на ономатопоэтические и экспрессивные слова. Дело не только в том, что сфера употребления этих слов сравнительно ограничена, а экспрессивность — это по существу нечто неустойчивое, субъективное, часто — вторичное. Гораздо важнее, что, какова бы ни была действительность, отражаемая в ономатопоэтическом или экспрессивном слове, связь с этой действительностью не является в большинстве случаев непосредственной; она существует лишь в силу обычной для символов условности аналогично тому, как связаны с действительностью обычные знаки системы. Таким образом, оказывается, что наше определение и выделенные в нем свой-

ства сохраняют силу для любого знака. Произвольность существует лишь по отношению к явлению, или к объекту *действительности,* но ей нет места в самом строении знака.

Теперь мы вкратце рассмотрим некоторые выводы, сделанные де Соссюром на основе принципа произвольности знака и имеющие большое значение для всех областей лингвистики. Например, он убедительно доказал, что можно говорить одновременно о неизменчивости и об изменчивости знака: о неизменчивости, поскольку знак, будучи произвольным, не может быть изменен в соответствии с какой-либо разумной нормой; об изменчивости, поскольку знак, будучи произвольным, всегда подвержен изменениям. «Язык совершенно бессилен против факторов, все время смещающих отношение между означаемым и означающим. Это одно из следствий произвольности знака». Ценность данного положения не только не уменьшится, а, напротив, повысится, если уточнить, какое именно отношение имеется в виду. Отношение, которое одновременно изменяется и остается неизменным, — это отношение не между означаемым и означающим, а между знаком и объектом; это, другими словами, *объективная мотивация* обозначения, подверженная, как таковая, воздействию различных исторических факторов. То, что говорит Соссюр, верно, но относительно *значения,* а не относительно знака.

Другая не менее важная проблема, с которой непосредственно связано определение знака, — это проблема *значимости* (valeur). Обращаясь к значимости, Соссюр искал здесь подтверждение своего взгляда: «... Выбор данного звукового сегмента для данного понятия совершенно произволен. Если бы это было иначе, понятие значимости утратило бы некую черту из своей характеристики, так как в значимости появился бы привнесенный извне элемент. Однако в действительности языковые значимости полностью относительны, и поэтому связь между понятием и звучанием абсолютно произвольна». Разберем это рассуждение шаг за шагом. Выбор, в силу которого определенный звуковой сегмент связывается с определенным понятием, отнюдь не произволен; этот звуковой сегмент не существовал бы без соотнесенности с соответствующим понятием, и обратно. На самом деле Соссюр, говоря о «понятии», всегда имеет в виду представление о реальном объекте и явно необязательный, немотивированный характер связи, соединяющей знак и обозначаемую вещь. Это доказывается следующим предложением, в котором я выделил наиболее показательную часть: «Если бы это было иначе, понятие значимости утратило бы некую черту из своей характеристики, *так как в значимости появился бы привнесенный извне элемент».* Мы видим, что в своем рассуждении Соссюр опирается на «привнесенные извне элементы», т. е. на *объективную реальность.* Однако если рассматривать знак в самом себе как носитель значимости, произвольность, безусловно, оказывается исключенной. Последняя фраза приведенной выше цитаты очевидным образом опровергает сама

себя: верно, что значимости полностью «относительны», однако нужно знать, как именно и по отношению к чему они относительны. Мы рассуждаем так: значимость есть элемент знака; если знак, взятый сам по себе, не является произвольным (а, как нам кажется, это было доказано), то «относительный» характер значимости не может зависеть от «произвольного» характера знака. Поскольку от соотнесенности знака с действительностью необходимо абстрагироваться, то тем больше оснований рассматривать значимость как атрибут *формы,* а не субстанции. Следовательно, когда мы говорим, что значимости «относительны», это означает, что они относительны по *отношению друг к другу.* Именно этим и доказывается их *необходимость.* Здесь речь идет уже не об отдельном, изолированном знаке, а о языке как системе знаков, и именно Соссюр, быть может, глубже всех других исследователей осознал и описал сущность системности языка. Система предполагает взаимосвязанность и взаимообусловленность частей в рамках единой структуры, стоящей над отдельными элементами и объясняющей их. В системе все *необходимо* настолько, что любые изменения целого ведут к изменению частей, и обратно. Относительность значимостей есть лучшее доказательство того, что они тесно зависят друг от друга в пределах синхронной системы, всегда находящейся под угрозой изменений и всегда самовосстанавливающейся. Все значимости противопоставлены друг другу и определяются только через отличия друг от друга. Участвуя в противопоставлениях, значимости взаимно необходимы друг для друга. Противопоставление лежит в основе необходимости, а необходимость приводит к оформлению противопоставлений. Если язык — это не просто хаотический конгломерат разрозненных понятий и случайных звуков, то это потому, что необходимость внутренне присуща его структуре, как, впрочем, любой структуре.

Итак, оказывается, что в той мере, в какой случайность находит себе место в языке, она затрагивает только наименование — звуковой символ действительности, точнее — его отношение к действительности. Что же касается связи между означающим и означаемым в составе знака, этого основного элемента языковой системы, то данную связь следует признать *необходимой: оба* компонента знака в равной мере необходимы друг для друга. Такое понимание *абсолютного характера языкового знака* влечет за собой признание диалектической *необходимости* значимостей, постоянно находящихся в противопоставлении, и приводит к структуральному принципу в исследовании языка.

Быть может, лучшим доказательством плодотворности любого учения является наличие таких противоречий, разрешение которых способствует его развитию. Выяснив подлинную природу языкового знака в рамках внутренней обусловленности системы, мы тем самым, вопреки букве соссюровских формулировок, подтвердили сущность его глубоких идей.

СОДЕРЖАНИЕ

От составителя … 3

ОЧЕРК ИСТОРИИ ЯЗЫКОЗНАНИЯ ДО XIX ВЕКА … 7

I. ЗАРОЖДЕНИЕ СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ … 28

Ф. Бопп, О системе спряжения санскритского языка в сравнении с таковым греческого, латинского, персидского и германского языков *(Предисловие) …* 31

Сравнительная грамматика санскрита, зенда, армянского, греческого, латинского, литовского, старославянского, готского и немецкого *(Извлечения)* … 33

Р. Раск, Исследования в области древнесеверного языка, или происхождение исландского языка … 40

А. Х. Востоков. Рассуждение о славянском языке *(Извлечения) …* 52

Я. Гримм, Из предисловия к „Немецкой грамматике” … 56

О происхождении языка *.(Извлечения) …* 57

II. ВИЛЬГЕЛЬМ ГУМБОЛЬДТ … 69

О сравнительном изучении языков применительно к различным эпохам их развития … 73

О различии строения человеческих языков и его влиянии на духовное развитие человеческого рода *(Извлечения) …* 85

III. НАТУРАЛИСТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ЯЗЫКОЗНАНИИ … 105

А. Шлейхер, Компендий сравнительной грамматики индоевропейских языков *(Предисловие)* … 107

Немецкий язык *(Извлечения)* … 110

Теория Дарвина в применении к науке о языке *(Извлечения)* … 116

Басня, составленная А. Шлейхером на индоевропейском праязыке … 122

IV. ПСИХОЛОГИЗМ В ЯЗЫКОЗНАНИИ … 123

Г. Штейнталь, Грамматика, логика и психология (их принципы и их взаимоотношения) *(Извлечения)* … 127

А. А. Потебня, Мысль и язык *(Извлечения)* … 136
Из записок по русской грамматике *(Извлечения)* … 142
В. Вундт, Проблемы психологии народов *(Извлечения)* … 170
История языка и психология языка *(Извлечения)* … 174

V. МЛАДОГРАММАТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ … 184
Г. Остгоф и К. Бругман, Предисловие к книге „Морфологические исследования в области индоевропейских языков" … 187
Г. Пауль, Принципы истории языка *(Извлечения)* … 199
Б. Дельбрюк, Введение в изучение индоевропейских языков *(Извлечения)* … 218
Введение в изучение языка *(Извлечения)* … 228

VI. МОСКОВСКАЯ И КАЗАНСКАЯ ШКОЛЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ … 233
Ф. Ф. Фортунатов, Сравнительное языковедение *(Извлечения)* … 238
И А. Бодуэн де Куртене, Некоторые общие замечания о языковедении и языке … 263
Н. В. Крушевский, Предмет, деление и метод науки о языке. 284
Очерк науки о языке *(Извлечения)* … 289
В. А. Богородицкий, Наука о языке и ее положение в кругу историко-культурных наук. Общая Характеристика природы языка. Вопросы чистого и прикладного языковедения … 295

VII. КРИТИКА МЛАДОГРАММАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ … 301
Г. Шухардт, Избранные статьи по языкознанию *(Извлечения)* … 304
К. Фосслер, Позитивизм и идеализм в языкознании *(Извлечения)* … 324
Дж. Бонфанте, Позиция неолингвистики … 336

VIII. ФЕРДИНАНД ДЕ СОССЮР … 358
Курс общей лингвистики *(Извлечения)* … 361

IX. СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ … 412
А. Мейе, Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков *(Извлечения)* … 416
Ж. Вандриес, Язык *(Извлечения)* … 440
Э. Бенвенист, О природе языкового знака … 459